Александр

Солженицын

Александр

Солженицын

собрание сочинений
в тридцати томах

Александр

Солженицын

собрание сочинений
том одиннадцатый

Красное Колесо

повествованье
в отмеренных сроках

Узел III
Март Семнадцатого

книга 1

Время

Москва 2008

ББК 84Р7-4
С60

Издательство выражает благодарность
Банку ВТБ за поддержку
в издании Собрания сочинений

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

редактор-составитель
Наталия Солженицына

дизайн, макет
Валерий Калныньш

ISBN 978-5-9691-0273-6
ISBN 978-5-9691-0032-9 (общий)

© А. И. Солженицын, 2008
© Н. Д. Солженицына, составление, 2008
© «Время», 2008

УЗЕЛ III

Март Семнадцатого

23 февраля – 18 марта ст. ст.

Книга 1

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ

1

В замкнутой тихости Царского Села Николай провёл шестьдесят шесть дней подле Аликс, своим присутствием смягчая ей безмерное горе потери. (К счастью, зимнее затишье на фронте позволяло такую отлучку из Ставки.)

От тревожной, мятущейся, убитой горем Аликс передалось и Николаю ощущение наступившей полосы бед и несчастий, которых сразу не изживёшь.

И ещё одна беда — что смерть несчастного легла чертой размолвки между ним и Аликс. Они и всегда по-разному видели Григория, его суть, значение, степень его мудрости, но, щадя чувство и веру Аликс, Николай никогда не настаивал на своём. А теперь — не могла Аликс отпустить мужу, что он не предал убийц суду.

Когда 17 декабря в Ставке во время военного совета с Главнокомандующими о плане кампании Семнадцатого года Государю подали телеграмму об исчезновении и возможной смерти Распутина — он, грешным образом, внутренне даже скорей облегчился: столько накопилось вокруг злобы, уже устал он слушать эту череду предупреждений, разоблачений, сплетен, — и вдруг объект общественной ненависти сам собой фаталистически исчезал, без того, чтобы Государю надо было предпринять какое-либо усилие или мучительный разговор с Аликс. Всё отпадало — само собой.

Простодушно же он настроился! Не представлял он, что почти тотчас ему придётся покидать и тот военный совет, столь долго устроявшийся, и Ставку — и мчаться к Аликс на целых два месяца — и заслужить град упрёков: что это — он своим равнодушием к судьбе избавителя-старца довёл до самой возможности такого убийства, а затем — и не желает наказывать убийц.

Да он и сам через полдня уже стыдился, что мог испытать облегчение от смерти человека.

И действительно: убийство было как убийство, долгая травля и злые языки перешли в яд и пистолетные выстрелы, — и не было никаких смягчающих обстоятельств, почему бы не судить. Но то, что жало укола выдвинулось из самой близи, из великокняжеской среды, и даже от Дмитрия, мягкого, нежного, взращённого почти как сын, любимого и балуемого (берёг его при Ставке, не посылал в полк), — обезсиливало Государя. Чем невыразимей и родственней была обида — тем безсильней он был ответить.

Кто из монархов так попадал? Лишь отдалённый, немой, незримый православный народ был ему опорой. А все сферы ближние — образованные и безбожные — были враждебны, и даже среди государственных людей и слуг правительства проявлялось так мало рачительных о деле и честных.

И разительна была враждебность внутри самой династии: все ненавидели Аликс. Николаша с сёстрами-черногорками — уже давно. Но — и Мама́ была против неё всегда. Но — и Елизавета, родная сестра Аликс. И уж конечно лютеранка тётя Михен не прощала Аликс ревностного православия, а по болезни наследника так и готовилась, чтобы престол захватили её сыновья, или Кирилл или Борис. И затем проявившаяся этой осенью и зимой вереница разоблачителей из великих князей и княгинь, с редкой наглостью наставляющих императорскую чету, как им быть, — и даже Сандро, тесный друг юности когда-то. Сандро договорился до того, что само правительство приближает революцию, а нужно правительство, угодное Думе. Что будто все классы враждебны политике трона, и народ верит клеветам, а царская чета не имеет права увлекать и своих родственников в пропасть. Вторил ему и его брат Георгий: если не будет создано правительство, ответственное перед Думой, мы все погибли. О себе и думают великие князья. Когда им плохо, они уезжают в Биарриц, в Канны. Император лишён такой возможности.

Теперь стыдно было перед Россией, что руки государевых родственников обагрены кровью мужика. Но и так душило круговое династическое осуждение, что в груди не изыскивалось твёрдости — ответить судебным ударом. И Мама́ просила — не возбуждать следствия. Николай не мог найти в себе безжалостной воли — преследовать их сурово по закону. Да при сложившихся сплетнях всякое нормальное судебное действие могло быть истолковано как личная месть. И всего лишь, что Николай решился сделать: определил ссылку Юсупову в его имение, Дмитрию — в Персию, а Пуришкевичу — даже ничего и не досталось, уехал со своим санитарным поездом на фронт. И даже эти мягкие меры были встречены бунтом династии, враждебным коллективным письмом всей великокняжеской большой семьи, а Сандро приехал и прямо кричал на Государя, чтобы дело об убийстве прекратить.

Они — совсем забылись. Они не считали уже себя подвластными ни государственному, ни Божьему суду!

А тут — дышала гневом Аликс, что Николай преступно мягок к убийцам и этой слабостью погубит и царство и семью.

И легла и протянулась на все эти два месяца в Царском — небывалая прежде, длительная тягость между ним и Аликс, неуходящая обида. Уж Николай старался в чём только можно уступить, угодить. Разрешил все особые хлопоты с телом убитого, охрану, захоронение тут в Царском, на аниной земле. И, ото всех прячась, будто затравленные изгои в этой стране, а не цари её, — хоронили Распутина ночью, при факелах, и сам Николай с Протопоповым, с Воейковым нёс гроб. И всё равно — не смягчалась Аликс до конца, так и осталось её сердце с тяжестью. (Одинокими прогулками она ездила теперь тосковать и молиться на могиле. А злые люди подсмотрели и в первые же дни осквернили могилу. И пришлось поставить там постоянную стражу — пока восставится на том месте и закроется часовня.)

Так страстны и настойчивы были от Аликс упрёки в слабости, царской неумелости, — потряслось доверие Николая к самому себе. (А его-то и никогда не было прочного от юности, во всём он считал себя неудачником. И даже поездки по войскам, которые так любил, — убедился он: приносят тем войскам боевую неудачу.) И даже маленький Алексей, ещё совсем не мешавшийся во взрослые дела, воскликнул в горе: «Неужели, папа, ты их не накажешь? Ведь убийцу Столыпина повесили!» И в самом деле: почему уж он был так слаб? Почему не мог он набраться воли и решимости — отца своего? Своего прадеда?

После убийства Григория тем более не мог Государь ни в чём идти на уступки своим противникам и обществу: подумали бы, что вот — освободился из-под влияния. Или: вот, боится тоже быть убитым.

Под упрёками жены и в собственном образумлении Николай в эти тяжкие зимние месяцы решился на крутые шаги. Да, вот теперь он будет твёрд и настоит на исполнении своей воли! Снял министра юстиции Макарова, которого давно не любила Аликс

(и равнодушно-нерасторопного при убийстве Распутина), и председателя министров Трепова, против которого она с самого начала очень возражала, что он — жёсткий и чужой. И назначил премьером — милейшего старого князя Голицына, так хорошо помогавшего Аликс по делам военнопленных. И не дал в обиду Протопопова. Затем, под Новый год, встряхнул Государственный Совет, сменил часть назначаемых членов на более надёжных, а в председатели им — Щегловитова. (Даже в этом гнездилище умудрённых почётных сановников Государь потерял большинство и не мог влиять: не только выборные члены, но и назначаемые всё разорительней играли либеральную игру и здесь.) Вообще намерился он наконец перейти к решительному правлению, пойти наперекор общественному мнению, во что бы это ни обошлось. Даже нарочно выбирать в министры лиц, которых так называемое общественное мнение ненавидит, — и показать, что Россия отлично примет эти назначения.

Самое было и время на что-то решаться. В декабре неистовствовали съезды за съездами — земский, городской, даже дворянский, соревнуясь, чьё поношение правительства и царской власти громче. И прежний любимый государев министр Николай Маклаков, чьи доклады всегда были для Государя радостью, а работа с ним воодушевительной, а уволил он его под давлением Николаши, — теперь написал всеподданнейше, что эти съезды и всё улюлюканье печати надо правильно понимать, что это начался прямой штурм власти. И Маклаков же представил записку от верных людей, как спасти государство, а Щегловитов — другую такую же. Не дремали верные, что ж поддался душою Государь?

А тут ещё со многих сторон, и от дяди Павла, поступали сведения, что повсюду в столице, и даже в гвардии, открыто говорят о подготовке государственного переворота. И в январе, в начале февраля зрела у Государя мысль — нанести опережающий удар: вернуть на места своих лучших, твёрдых министров и распустить Думу теперь же, и не собирать её до конца 1917 года, когда будет выбираться новая Пятая. И уже поручил он Маклакову — составить грозный манифест о роспуске Думы. И уже Маклаков составил и подал.

Но тут же, как всегда, обезсиливающие сомнения одолели Государя: а нужно ли обострять? А нужно ли рисковать взрывом? А не лучше ли — мирно, как оно само течёт, не обращая особого внимания на забияк?

О перевороте? Так это же всё болтовня, во время войны никакой русский не пойдёт на переворот, ни даже Государственная Дума, в глубине-то все любят Россию. И Армия — безпредельно верна своему Государю. Истинной опасности нет — и зачем же вызывать новый раскол и обиды? Среди имён заговорщиков Департамент полиции подавал таких крупных, как Гучков, Львов, Челноков. Государь начертал: общественных деятелей, да ещё во время войны, трогать нельзя.

Никогда ещё вокруг царской семьи не чувствовалось такое ноющее одиночество, как после этого злосчастного убийства. Преданные родственниками и оклеветанные обществом, они сохраняли только нескольких близких министров — но и их тоже, тем более, ненавидело общество. И верные тесные друзья, как флигель-адъютант Саблин, тоже оставались наперечёт. С ними и проводили святки, зимние вечера и воскресенья на малолюдных обедах, чаях, то приглашали во дворец маленький оркестр, а то кинематограф. Да ещё оставались неповторимо разнообразные прогулки в окрестностях Царского, даже новинка: на снеговых моторах. А по вечерам Николай много читал семье вслух, решал с детьми головоломки. Да с февраля стали дети прибаливать.

Аликс же эти два месяца почти сплошь пролежала, сама как покойница. Она почти ничего не усвоила, не знала, кроме смерти Григория, — и этой своей верностью горю каждый день как бы ещё и ещё упрекала Николая.

Семейная атмосфера была любимая атмосфера Николая, и так, нетревожимо замкнутый, он мог бы прожить и год, и два. Не пропустил ни одной литургии, говел, причащался. Однако, по соседству теперь со столицей, не мог он в эти девять недель уклониться от дел государственного управления. В одну из этих недель открылась в Петрограде конференция союзников, у Николая не было желания появляться в её суете, и от России старшим там действовал генерал Гурко, зато изрядно надоедал Государю долготою и резкостью своих докладов. (Но пришлось принять в Царском делегатов конференции, — и так сжался Николай, так мучился — чтоб ещё они не стали ему давать советов по внутренней политике.) Ещё каждый будний день Государь принимал у себя двух-трёх-четырёх министров или видных деятелей, с бóльшим удовольствием — симпатичных ему.

Но оттого ли, что нота погребальности не утихала в их доме все эти недели, уж слишком затянулись головные боли и рыданья

по убитому, где-то есть их и предел для всякого мужчины, — наконец стало потягивать Николая к немудрёной, непринуждённой жизни в Ставке, к тому ж и без министерских докладов. На днях приезжал в Царское из Гатчины Михаил (жена его, дочь присяжного поверенного, дважды уже разведенная, не допускалась, не признавалась) и говорил, что в армии растёт недовольство: отчего Государь так долго отсутствует из Ставки. Где-то появился даже и слух, что на Верховное Главнокомандование снова вступит Николаша.

Да неужели? Вздор какой, но опасный вздор. Действительно, пора ехать. (Тут ещё так неудачно получилось, что и прошлое его пребывание в Ставке было коротким: тезоименитство своё он проводил с семьёю в Царском, вернулся в Ставку лишь 7 декабря, а 17-го уже был вызван смертью Распутина, и вот до сих пор.)

Но — совсем не легко было отпроситься у Аликс. Ей невместимо было понять, как он может её покинуть в таком горе и когда могут последовать новые покушения. Согласились, что он поедет всего на неделю, и даже меньше, — чтобы к несчастливой для Романовых первомартовской годовщине, дню убийства деда, вернуться в Царское и быть снова вместе. И наследника в этот раз она не отпустила с отцом, что-то он кашлял.

А Николай утешался тем, что оставляет государыню под защитой Протопопова. Протопопов заверил, что все дела устроены, и в столице ничто не грозит, и Государь спокойно может ехать.

Когда уже решён был отъезд — вдруг спала и эта тяжесть упрёка, разделявшая их два месяца. Аликс протеплела, прояснела, живо вникала в его вопросы, напоминала, чтоб он не забыл, кого в армии надо наградить, а кого заменить, — и особенно недоверчиво и неприязненно относилась она к возврату Алексеева в Ставку после долгой болезни: зачем? не надо бы. Он — гучковский человек, ненадёжный. Наградить бы его — и пусть почётно отдыхает.

Но Николай любил своего работящего, незаносчивого старика и не находил сил отставить его. Да этого бы никак и не выговорить, неудобно. Связан с Гучковым? Так и Гурко, на той же должности, сейчас в Петрограде, по донесению Протопопова, встречался с Гучковым. И был связан с Думой. (И вот, десять дней назад, на докладе в Царском, налетел вихрем, голос как иерихонская труба: «Государь, вы губите и семью и себя! что вы себе готовите? чернь церемониться не станет, отставьте Протопопова!» — такого бешеного не бывало при Николае рядом, он уж раскаивался, что согласился взять его.)

Вчера после полудня Николай ехал на станцию — как всегда под звон Фёдоровского собора, они оба с Аликс вдохновлялись колокольным звоном. По пути заехали к Знаменью приложиться.

Как раз проя́снилось — и яркое, морозное, радостное солнце обещало добрый исход всему.

А в купе Николая ждала приятная неожиданность (впрочем, и обычный меж ними приём): конверт от Аликс, положенный на столик при дорожных принадлежностях. Жадно стал читать, по-английски:

«Мой драгоценный! С тоской и глубокой тревогой я отпустила тебя одного без нашего милого, нежного Бэби. Бог послал тебе воистину страшно тяжёлый крест. Что я могу сделать? Только молиться и молиться. Наш дорогой Друг в ином мире тоже молится за тебя — так Он ещё ближе к нам.

Кажется, дела поправляются. Только, дорогой, будь твёрд, покажи властную руку, вот что надо русским. Ты никогда не упускал случая показать любовь и доброту, — дай им теперь почувствовать порой твой кулак. Они сами просят об этом, сколь многие недавно говорили мне: “Нам нужен кнут!” Это странно, но такова славянская натура: величайшая твёрдость, жестокость даже, и — горячая любовь. Они должны научиться бояться тебя — любви одной мало. Надо играть поводами: ослабить их, подтянуть…»

Кнут? — это ужасно. Этого нельзя представить, ни выговорить. Ни замахнуться. Если *этой* ценой быть царём — то не надо и совсем.

Но быть твёрдым — да. Но показать властную руку — да, это необходимо, наконец.

«Надеюсь, ты *очень* скоро сможешь вернуться. Я знаю слишком хорошо, как “ревущие толпы” ведут себя, когда ты близко. Как раз теперь ты *гораздо* нужнее здесь, чем там. Так что вернись домой дней через десять. Твоя жена — твой оплот — неизменно на страже в тылу.

Ах, одиночество грядущих ночей — нет с тобой Солнышка и нет Солнечного Луча!»

Ах, дорогая! Сокровище моё!..

И как отлегло от сердца, что снова нет тучек меж нами. Как это подкрепляет душевно.

Как всегда, в пути по железной дороге Николай с удовольствием читал, отдыхая и освежаясь, в этот раз по-французски — о галльской войне Юлия Цезаря, хотелось чего-нибудь вчуже от современной жизни.

Снаружи холодно было, да как-то не хотелось и двигаться, за всю дорогу не вышел из вагона нигде.

Николай замечал не раз: наше спокойствие или безпокойство зависят не от дальних, хотя бы и крупных событий, а от того, что происходит непосредственно с нами рядом. Если нет напряжённости в окружении, в ближайших часах и днях, то вот на душе и становится светло. После петербургских государственных забот и без противных официальных бумаг очень славно было лежать в милом поездном подрагивании, читать и не иметь необходимости кого-то видеть, с кем-то разговаривать.

А уже поздно вечером перечитал любимый прелестный английский рассказ о Голубом Мальчике. И, как всегда, выступили слезы.

ДОКУМЕНТЫ — 1

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ. Телеграмма.

Ставка, 23 февраля

Прибыл благополучно. Ясно, холодно, ветрено. Кашляю редко. Чувствую себя опять твёрдым, но очень одиноким. Мысленно всегда вместе. Тоскую ужасно.

Ники

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ

Царское Село, 23 февраля

(по-английски)

Ну вот — у Ольги и Алексея корь. Бэби кашляет сильно, и глаза болят. Они лежат в темноте. Мы едим в красной комнате. Представляю себе твоё ужасное одиночество без милого Бэби. Ему и Ольге грустно, что они не могут писать тебе, им нельзя утомлять глаза. …Ах, любовь моя, как печально без тебя — как одиноко, как я жажду твоей любви, твоих поцелуев, безценное сокровище моё, думаю о тебе без конца. Надевай же крестик иногда, если будут предстоять трудные решения, — он поможет тебе.

…Осыпаю тебя поцелуями. Навсегда

Твоя

2

ЭКРАН

В петербургском обокраденном небе,
клочках и дорожках его между нависами безрадостных фабричных крыш —
пробилось солнце. Солнечный будет день!

Гул голосов.

= И даже тёплый. Платки с женских голов приоткинуты, руки без варежек, никто не жмётся, не горбится, свободно крутятся
в хвосту, человек сорок,
у мелочной лавки с одной двёркой, одним оконцем.
А из двёрки вытаскивается кто уже купил. А несут и один, и другой — по две, по три буханки ржаного хлеба,
большие, круглые, умешанные, упеченные, с мучным подсыпом по донцу, —
ах, много уносят!
Много уносят — так мало остаётся! И не втиснешься туда, так глазами через плечи иль со стороны через окно:

— *Белого много, бабы, да кому он к ляду. А ржаной кончается! Не, не достанется нам.*

— *Бают, ржануюмуку совсем запретили, выпекать боле не будут. Будет хлеба по фунту на рыло.*

— *Куда ж мука?*

— *Да царица немцам гонит, им жрать нечего.*

Загудели пуще бабы, злые голоса.

Старик рассудительный, с пустым мешком под мышкой:

— *Да и лошадёв кормить не стало. Овса в Питер не пропускають. А лошади, ежели ёе на хлебе держать, так двадцать фунтов в день, меньше никак.*

А из двёрки — баба. И руками развела на пороге: нету, мол.

Сразу трое туда полезли очередных, да не вопрёшься.

Закричала остроголосая:

— *Так что мы? зря стояли?*

Платок сбился, а руки свободные. Глаза ищут: чего бы? чем бы?

= Льда кусок, отколотый, глыбкой на краю мостовой.

Примёрз? Да нет, берётся.

Схватила и, по-бабьи через голову меча, руками обеими — швырь!!

= И стекольце только — брызь!

Звон.

на кусочки!

= Заревел приказчик, как бугай, изнутри, через осколки,

а по нему откуда-тось — второю глыбкой! Попало, не попало —

а всё закрутилось! суета! Суются в двери туда, сколько влезти не может.

Общий рёв и стук.

А из битого окна — кидают чего попало, прямо на улицу, нам ничего не нужно: булки белые!

свечи!

головки сырные красные!

рыбу копчёную!

синьку! щётки! мыло бельевое!..

И — наземь это всё, на убитый снег, под ноги.

* * *

Возбуждённый гул.

= Валят рабочие размашистой гурьбой по бурому рабочему проспекту.

К гурьбе ещё гурьба из переулка. Много баб, те посердитей.

Валит толпа уже в сотен несколько, сама не зная, ничего не решено,

мимо одноэтажного заводского цеха.

Оттуда посматривают, через стёкла, через форточки. Им тогда:

— *Эй, снарядный! Бросай работу! Присоединяйсь. Х л е б а !!*

Остановились вдоль, уговаривают:

— *Бросай, снарядный! Пока хвосты — какая работа? Хле-ба!*

Чего-то снарядный не хочет, даже от окон отходит.

— *Ах вы, суки несознательные! Да у вас своя лавка, что ль?*

— *Значит, что ж, каждый сабе?*

На ступеньки вышел плотный старый мастер, без шапки:

— *Что фулиганите? У каждого своя голова. Себе в сусек, что ль, снаряды складываем?*

А в него — ледяным куском:

— *Своя голова?*

Схватился мастер за голову.

Гогот.

= Гурьба рабочих-подростков.

Побежали! как в наступление!

И в широких раскрытых заводских воротах — что с этой оравой поделаешь? — сто́рожа обежали, закрутили его,

полицейского — обежали —

и-и-и! по заводскому двору!

и-и-и ! во все двери, по всем цехам!

Голоса из детского хора:

— *Бросай работу!.. Выходи на улицу!.. Все на улицу!.. Хле-ба!.. Хлеба!.. Хле-ба!..*

= Сторож схватился ворота заводить,

высокие сильные полотнища ворот вместе свести,

а уже и здоровых рабочих полсотни бежит снаружи —

да с размаху! —

скрежет,

и одно полотнище сорвалось с петли, зачертило углом, перекособочилось,

теперь все вали, кто хошь.

Полицейский — руки наложил на одного,

а его самого — палкой, палкой!

Гул голосов.

* * *

= Большой проспект Петербургской стороны. Пятиэтажные дома как слитые, неуступные, подобранные по ранжиру. Стрельная прямизна.

Дома все — не простые, но с балконами, выступами, украшенными плоскостями. И — ни единого дерева нигде. Каменное ущелье.

А внизу — булочная Филиппова, роскошная. В трёх окнах — зеркальные двойные стёкла, за ними — пирожные, торты, крендели, ситники.
Молодой мещанин ломком размахнулся, —
от него отбежали, глаза защитили, —
а вот т а к не хочешь?
Брызь! — стекло зеркальное.
И — ко второму.
Брызь! — второе.
И — повалила толпа в магазин.
= А внутри — всё лакированное, да обставленное, не как в простых лавках.
Чёрный хлебец? — тут утеснён. А буханки воздушные! А крендели! А белизна! А сладкого!..
А вот так — не хочешь? — палкой по стеклянному прилавку!
А вот так не хочешь? — палкой по вашим тортам!
Отшарахнулась чистая публика, обомлелая.
И продавцы — не нашлись, раззинулись.
Бей по белому! бей по сладостям! Мы не жрём — и вы не жрите!
Не доводите, дьяволы!!..

* * *

Позванивая,
= от Финляндского вокзала по переулку, через суету возбуждённого народа на мостовой, пробирается трамвай.
Группка рабочих стоит, забиячный вид. Чертыхнулись:
— *Ну куда прёшь, не видишь?*
Вожатый трамвая стоит на передней площадке за стеклом, как идол, и длинной ручкой крутит в своём ящике.
Догадка! Один рабочий вскочил к нему туда, на переднюю площадку —
не понимаешь по-русски? Отпихнул его,
сорвал с его ящика эту ручку — как длинный рычаг накладной —
и, с подножки народу показывая, над головой тряся
длинную вагонную ручку! —
соскочил весело.

Видели! Поняли! Понравилось!
Остановился трамвай, нет ему хода без той ручки.
Глядит тремя окнами передними,
и вагоновожатый посерёдке, лбом в стекло.
= Хохочет вся толпа!

* * *

= А на Невском — какое же гулянье, в легкоморозный солнечный денёк! Да какие же санки лихие проскакивают. С колокольчиками!
Сколько публики на тротуарах, и самая чистая: дамы с покупками, с прислугой, офицеры с денщиками. Господа разные. Оживлённые разговоры, смех.
Даже что-то слишком густо на тротуарах. На мостовой — всё прилично, никто не мешает извозчикам, трамваям, а на тротуарах стиснулись — как не гуляют, а в демонстрацию прут.
А-а, да тут и мещане, и мастеровые, и простые бабы, и всякая шерсть, втесались в барскую толпу, это среди рабочего-то дня, на Невском!
Но и чистая публика ими не брезгует, а так вместе и плывут, как слитное единое тело. И придумали такую забаву, сияют лица курсисток, студентов: толпа ничего не нарушает, слитно плывёт по тротуару, лица довольные и озорные, а голоса заунывные, будто хоронят, как подземный стон:
— *Хле-е-еба… Хле-е-еба…*
Переняли у баб-работниц, переобразили в стон, и все теперь вместе, всё шире, кто ржаного и в рот не берёт, а стонут могильно:
— *Хле-е-еба… Хле-е-еба…*
А глазами хихикают. Да открыто смеются, дразнят. Петербургские жители всегда сумрачные — и тем страннее овладевшая весёлость.
А мальчишки, сбежав на край мостовой, там шагают-барабанят, балуются:
— *Дай!-те!-хле!-ба! Дай!-те!-хле!-ба!*
= Там-сям наряды полиции вдоль Невского. Обезпокоенные городовые.

Где и конные.
А — ничего не поделаешь, не придерёшься. Это как будто и не нарушение. Глупое положение у полиции.

* * *

= А по Невскому, по сияющей в солнце стреле Невского, в веренице уходящих трамвайных столбов —
этих трамваев, трамваев что-то слишком густо, там какая-то помеха, не проедешь:
цепочкой стоят один за другим. Публика из окон выглядывает, как дура, не знает, что дальше будет.
Передняя площадка одна пустая.
Другая пустая, и переднее стекло выбито.
А по мостовой идут пятеро молодцов, мастеровые или мещане, с пятью трамвайными ручками, длинными!
и размахались ими, как оружием,
под общий хохот. С тротуаров чистая публика — смеётся!
= Помощник пристава, это видя,
деловито, быстро пробирается меж толпы —
уверенно идёт, как власть, по сторонам не очень и смотрит,
ничего дурного не ждёт, а если ждёт, так отважен, —
протянулся отобрать ключ у одного —
а сзади его по темени — другим ключом!
да дважды!
Крутанулся пристав и свалился без сознания,
вниз, туда, под ноги. Нету.
= Хохочет, хохочет чистая невская публика! И курсистки.

* * *

= Ребристый купол Казанского собора.
Знаменитый сквер его между дугами античных аркад
забит публикой, всё с тем же весёлым вызовом лиц и заунывным стоном:
— *Хле-е-еба… Хле-е-еба…*
Понравилась игра. Барские меховые шапки, котелки, модные дамские шляпки, простые платки и чёрные картузы:
— *Хле-е-еба… Хле-е-еба…*

= А по бокам собора стоят наряды драгун, на добрых крупных конях.
И офицер их, спешенный, поговорив с высоким полицейским чином,
вскакивает в седло, даёт команду
не очень громко, толпе не слышно, —
и драгуны по полудюжине разъезжаются крупным шагом,
и так по полудюжине, в одном месте, в другом,
наезжают на тротуары! прямо на публику!
конскими головами и грудями, взнесенными как скалы!
а сами ещё выше! —
но не сердятся, не кричат, и никаких команд, —
а сидят там, в небе, и наезжают на нас!
= Деваться некуда, разбегается публика всех состояний, шарахается волной —
прочь от сквера, в соседние проезды,
в парадные, в подворотни. Кто в снежную кучу врюхнулся.
Свист из толпы.
И — гордо кони выступают по пустым местам.
Но как съедут, — на эти же места и на тротуары — снова толпа.
Правила игры! Никто ни на кого не сердится. Смеются.
= А подле Екатерининского канала, по ту сторону Казанского моста —
полусотня казаков, донцов-молодцов — с пиками.
Высоко! Стройно! Страшно! Лихие, грозные казаки с коней косо посматривают.
К офицеру подъехал в автомобиле большой чин:
— *Я — петербургский градоначальник генерал-майор Балк. Приказываю вам: немедленно карьером — рассеять эту толпу — но не применяя оружия! Откройте путь колёсному и санному движению.*
= Офицер — совсем молоденький, неопытный. Смущённо на градоначальника.
Смущённо на свой отряд. И вяло,
так вяло, не то что карьером — удивительно, что вообще-то подтянулись, с места стронулись
шагом, а пики ровно кверху,
шагом, кони скользят копытами по накатанной мостовой,
через широкий мост и по Невскому.

Градоначальник из автомобиля вылез — и рядом пошёл.
Идёт рядом — и не выдерживает, сам командует:
— *Ка-рьер!*
Да разве казаки чужую команду примут, да ещё от пешего?
Ну, перевёл офицерик свою лошадь на трусцу.
Ну, и казаки, так и быть.
Но чем ближе к толпе — тем медленнее…
Тем медленнее… Не этак пугают… Пики — все кверху, не берут наперевес.
И, не доходя, совсем запнулись. И
радостный тысячный рёв!
заревела толпа от восторга:
— *Ура казакам! Ура казакам!*
А казакам это внове, что им от городских — да «ура».
А казакам это в честь.
Засияли.
И — мимо двух Конюшенных дальше проехали.
= Но и толпа ничего не придумала:
митинг — не начинается, ни одного вожака нет, — вдруг
грозный цокот,
лица испуганные — в одну сторону:
= с Казанской улицы, огибая по большой дуге собор и стоящие трамваи,
громче цокот!
разъезд конной полиции, человек с десяток — но галопом!
но галопом!! рассыпаясь веером, а шашек не обнажая — га-лопом!!!
= Страх перекошенный! и — не дожидаясь!
кинулась толпа, рассыпались во все стороны, —
как сдунуло! Чистый Невский — и аж до Думы.
= И шашек не обнажали.

3′

(Хлебная петля)

В ноябре 1916 сквозь великие сотрясательные думские речи, сквозь частокол спешных запросов, протестов, столкновений и перевыборов Государственная Дума всё никак не добиралась до продовольственного

вопроса, да и слишком частное значение имел этот вопрос перед общею политикой. В конце ноября назначен был какой-то ещё новый временный министр земледелия Риттих. Он попросил слова и почтительно извинился перед Думою, что ещё не успел вникнуть в дело и не может доложить о мерах. Его поругали, как всякого представителя правительства, но даже лениво, ибо сами ничего не ждали от собственной думской дискуссии, если она будет слишком конкретной. Да, продовольственный вопрос был важен, но не в конкретном, а в *общем* смысле, — и главное пламя политики уметнулось из Таврического дворца, скованного думской процедурой. Главное пламя политики, перебегая по обществу, взрёвывало то там, то здесь, даже больше в Москве. Там на начало декабря было назначено три съезда, и все три по продовольствию: собственно Продовольственный съезд и съезды земского Союза и Союза городов (не говоря о многих других одновременных общественных совещаниях; как шутили тогда: если немец превосходит нас техникой, то мы победим его совещаниями).

О продовольствии говорилось с дрожью голоса, — и правительство не смело запретить Продовольственного съезда, хотя и ему и собирающимся было понятно, что не в продовольствии дело, продовольствование России и без нас всегда как-то происходило, и как-нибудь произойдёт, — а в том дело, чтобы, собравшись, обсудить прежде всего *текущий момент* и как-нибудь порезче выразиться о правительстве, *раскачивая* обстановку. (Предыдущая революция показала, что её можно достичь только непрерывным раскачиванием.) Тоже всё это зная, правительство в этот раз набралось храбрости запретить два остальных съезда прежде их начала. Толпились на тротуаре Большой Дмитровки городские головы, земские деятели, именитые купцы, съехавшиеся со всей России, а полиция не пускала их в здание. Пока князь Львов составлял с полицией протокол о недопущении, земские уполномоченные перешушукались, утекли в другое помещение, на Маросейку, и там «приступили к занятиям», то есть опять-таки не к скучной продовольственной части, но к общим суждениям о *политическом моменте.* В подготовленной непроизнесенной речи князя Львова было:

> На самом краю пропасти, когда, может быть, осталось несколько мгновений для спасения, нам остаётся воззвать только *к самому народу.* Оставьте попытки наладить совместную работу с нынешней властью!.. Отвернитесь от призраков! — *власти нет, правительство не руководит страной!*

И похоже было, что — так. (Как выразился Щегловитов, «паралитики власти что-то слабо боролись с эпилептиками революции».) Всё более вырастающий в первого человека России князь Львов, бурно приветствуемый, нагнал заседание своих земцев на Маросейке, и принятая там резолюция была ещё резче его речи. Съезды Союзов, избегая разгона, собрались на частных квартирах — и полиция не сразу решилась на-

рушить неприкосновенность жилища. Когда же пришла, резолюции уже были приняты или голосовались тут же, при полиции:

> …Режим, губящий и позорящий Россию… Безответственные преступники, гонимые суеверным страхом, готовят ей поражение, позор и рабство!.. Этой безсовестной и преступной власти, дезорганизовавшей страну и обезсилившей армию, народ не может доверить ни продолжения войны, ни заключения мира.

И правда, что ж оставалось власти? Либо тут же уйти (а пожалуй, уже так было запущено и допущено, что хоть и уйти), либо всё-таки эти съезды запретить?

А ещё собрался в декабре и съезд промышленных деятелей, и тоже обсуждать продовольственный вопрос. И на хвосте тех программных пылающих резолюций нашлось два слова для начинаний Риттиха:

> новые меры правительства только довершают расстройство.

Ибо э т о правительство никогда не найдёт выхода ни в чём.

А скромный, малоизвестный Риттих возмерился и взялся вникнуть в подробности и выход найти. С первых же дней вступления в должность он установил: что хлеба заготовлена одна двенадцатая того, что нужно: сто миллионов пудов вместо миллиарда двухсот; что все партии и вся печать уже отговорили, что хотели, о твёрдых ценах, и забыли о них, — но твёрдые цены нависли над хлебным рынком, заперли его, и торговый аппарат безсилен извлечь хлеб из амбаров; позднеосенний съезд сельских хозяев, где было много председателей земств, кооперативов и крестьян, настаивал на повышении хлебных цен — так, чтобы эти цены оплатили стоимость производства, труда и ещё провоз от амбара до станции, который по ценам деятелей Прогрессивного блока предполагался нетрудоёмким и даже несуществующим, оплачивался, так и быть, за 20 вёрст доставки, хотя везли и 90, да по бездорожью.

Но повышать цены этою зимой было уже упущено: деревня только ждала бы ещё более высоких. Гужевой же транспорт от амбара до станции Риттих сразу, с 1 декабря, взял на себя смелость оплатить («франко-амбар», то есть цена считается у амбара, а доставка сверх), — за что был тогда же гневно разруган в Государственной Думе: «Вы ломаете твёрдые цены!» Эта мера Риттиха заметно увеличила приток хлеба, но не настолько, чтобы, с прочным запасом, накормить русскую армию и русский тыл до осени 1917. Твёрдые цены оставались ниже рыночных, и когда по установившейся зимней дороге зерно высовывалось из деревни в город, оно тут же поворачивало назад в деревню и исчезало там. Частная торговля разыскивала там его, но — по высоким ценам. И призрак *хлебной повинности* или хлебной развёрстки заколыхался перед свежим министром земледелия. И у него достало решительности сделать этот шаг, уже не им одним прозреваемый в русском воздухе.

Риттих вовсе не намеревался отбирать хлеб силою, это было бы по русским традициям святотатственно и для русского правительства позором: как же можно — не купить хлеб, а отобрать у того, кто его вырастил? Хлебная повинность — ужасная мера принуждения, не вмещаемая в русские умы. Нет, идея Риттиха сводилась

> к тому, чтобы доставку хлеба перевести из области простой торговой сделки в область исполнения гражданского долга, обязательного для каждого держателя хлеба. Объяснить населению, что исполнение этой развёрстки является для него таким же долгом, как и те жертвы, которые оно столь безропотно несёт для войны.

В развёрстку вошли: потребности армии, пуд в пуд, и рабочих оборонных заводов с их семьями (как уже и снабжали на многих заводах). Крупные же центры и непроизводящие губернии не были включены как потребители, ибо трудно было сообщить 18 миллионам крестьянских хозяйств как гражданский долг — снабдить столицы и Север. И полученные цифры

> были ещё понижены, чтобы развёрстка не оказалась по каким-либо причинам затруднительной для исполнения.

Полученную цифру губернские земства должны были разверстать между уездами, уезды — между волостями, а волостные и сельские сходы — между дворами. И что ж? раскладка пошла весьма успешно,

> первоначально чувствовался, скажу прямо, патриотический порыв. Эта развёрстка была увеличена многими губернскими и уездными земствами на 10% и даже более. (С просьбой о такой надбавке я обратился к ним — чтоб избытком накормить центры и Север.) Но сейчас же вослед в дело были внесены сомнения и критическое отношение к развёрстке, всё вниманье обращено, что развёрстка тяжело исполнима, что слишком много требуется от каждой губернии. Конечно, она тяжела, требуется очень много, но ведь, господа, и война тяжела.

Представителю ненавистного, презренного правительства надо выражаться перед разгневанною общественностью мягко, оглядчиво:

> Всё же я думаю, господа, что те методы, которыми доказывалась непосильность развёрстки, являются едва ли правильными. Вслед за первым порывом земств проводить эту развёрстку всё внимание гипнотизировалось: достаточно ли после развёрстки будет обезпечено население? Это уже охладило порыв, который был к развёрстке, свело его с великой цели на расчёты мер и весов, сколько каждому оставить в запас, сколько можно уделить на нашу армию.

У всех земских чрезвычайная чувствительность к местным интересам, они патриоты своего околотка. А вдруг будет неурожай, новые наборы, рук не хватит, хлеба не хватит, будьте осторожны, не везите лишнего…

А теперешний крестьянин — крестьянка, ей легко внушить: хлеба не везти, чтоб не помирали её дети.

И все губернии составили нормы потребления на 5-7 пудов выше, чем считались обычными в мирное время. Но при 150 миллионах человек это 900 миллионов пудов, то есть удержан весь внутренний оборот хлебной торговли. Губернии, всегда вывозившие десятки миллионов пудов, как Таврическая, оказались будто не могущими дать ничего, а в такую богатую, как Екатеринославская, ещё, оказывается, надо ввезти 14 миллионов пудов.

Сомнение было посеяно и так задержало развёрстку, что не в две декабрьские недели, как рвался Риттих, но лишь в феврале 1917 она дошла до волостей… И некоторые волости выполнили её, другие даже превысили, а кто и отказался. Риттих, однако, *не разрешил применять реквизиций:*

Относительно нашего производителя уже слишком много принято понудительных решительных мер,

но —

собирать сход ещё раз, быть может его настроение изменится, указать, что это нужно Родине, обороне…

И на повторных сходах развёрстка часто принималась. Или обещали доверстать, после того как выйдут озими. Первый результат развёрстки был тот, что крестьяне принялись усиленно молотить свой хлеб, до того покинутый в зародах. Поступление хлеба очень увеличилось уже в декабре и январе:

за декабрь — 200% среднего месячного осеннего поступления, за январь — 260%. И каждую неделю всё выше.

Пережили гипноз и земства: требуется — дать, а сами потеснимся и проживём. Хлебная проблема безусловно сдвинулась и начинала решаться. Риттих надеялся, что к августу 1917

великая цель развёрстки будет достигнута.

(Грозили голодом не ближние месяцы, замысел был — кормить лето.)

Тем временем подошло 14-е февраля и долгожданное открытие прерванных заседаний Государственной Думы. Русское общество с нетерпением ожидало взрыва, особенно от первого дня. Тем более готовились совершить такой взрыв лидер Прогрессивного блока Милюков и левый лидер Керенский: их уже заранее исторические речи должны были создать этот заранее исторический день Государственной Думы. С жаждою собралась публика на хорах Таврического дворца: какой оглушительный разгром ожидал правительство в ближайшие часы! И сам Председатель Родзянко предсмаковал не хуже других — но по деревянному уставу Думы не мог отказать министру, неожиданно попросившему слова. (Почти со времён Столыпина отвыкли, чтобы министры сами просили слова, — уж они рады помолчать в ложе, когда их не слишком сильно бьют.)

Это был министр земледелия Александр Александрович Риттих, за три месяца почему-то ещё не сменённый, только что воротившийся из поездки по 26 хлебным губерниям (уже и доложивший Государю о своих намерениях). Он вышел на трибуну с тоном примирения — совершенно, конечно, не в рост пылающим политическим задачам Думы, и более чем на час сорвал её накал, да просто погубил исторический день и широкие принципиальные политические прения своею скучной продовольственной конкретностью — всем процитированным выше.

Несколько лет правительство ушмыгивало из своей думской ложи, министры избегали выходить объясняться с Думою — и это было плохо, и поносилось заслуженно. Но вот министр выходил с подробными объяснениями, терпеливо присутствовал на целодневных прениях, готовно поднимался давать новые и новые объяснения — и тем более не угодил!

Александр Риттих, выпадавший из традиции последних русских правительств — отсутствующих, безличных, параличных, сам из того же образованного слоя, который десятилетиями либеральствовал и критиковал, Риттих, весь сосредоточенный на деле, всегда готовый отчитываться и аргументировать, словно нарочно был послан судьбою на последнюю неделю русской Государственной Думы, чтобы показать, чего стоила она и чего хотела. Всё время её критика била в то, что в правительстве нет знающих деятельных министров, — и вот появился знающий, деятельный, и на самом ответственном деле, — и тем более надо было его отвергнуть!

Как ни смягчал он своим предупредительным, даже почтительным отношением к Думе:

Я подчёркиваю, что я решился на эти меры не сам, а по одобрению и согласию, которые представляются весьма авторитетными: основания развёрстки были указаны Государственной Думой (шум слева), они повторены Особым Совещанием, —

так тем обиднее, что он взял *нашу* мысль, но проводит её *не теми* руками! что он «искусно подставляет себя под знамя общенационального дела». Риттих уже тем был нуден, что отсюда, с думской трибуны, рассказывал всем известное: как после тёплой сиротской зимы 1915—16 необыкновенно сурова зима 1916—17, с конца января почти три недели непрерывных мятелей и заносов, остановивших всякое железнодорожное движение и хлебный подвоз. И уж тем был особенно ядовит, что осмеливался не всю вину брать на обречённое бездарное правительство, которое одно только и мешало русскому счастью:

Но нет уверенности, что поступательное движение хлебных поставок сохранится. И не весенняя распутица страшна, она наступит не во всех местностях сразу, — опасно неуклонно отрицательное отношение к действиям министерства земледелия со стороны *известного течения*

нашей общественной мысли, такого крупного, что имеет способы внедрить свой взгляд в самую толщу населения. Все меры представляются этой критикой как принятые правительством, не пользующимся доверием, и стало быть неправильные и обречённые на неуспех. Зачем же держать флаг недоверия к правительству во что бы то ни стало, не вникая в сущность, не дав себе труда проверить последствия? (Шум слева. Голоса справа: «Дайте слушать, что это такое!») Хотят, чтобы в самой толще нашей деревни знали: не делайте этого, не везите хлеба, потому что к этому вас призывает правительство. (Шингарёв: «Неправда!» Справа: «Браво!» Воронков: «Много смелости!») Меня упрекнули в смелости. А я — боюсь этой политики больше, чем всех распутиц, я боюсь, что она погубит дело. (Справа рукоплескания.) Крестьянский хлеб вы путём расчёта не получите: крестьянин сейчас не нуждается в деньгах. Вот если бы общественность внушала крестьянству, что этого требует война и родина, то хлеб пошёл бы вдвое и вчетверо быстрей. Где случайно не оказалось противодействующих сил, там мы видим результаты изумительные.

В некоторых губерниях хлеб так повалил, что поволостной развёрстки даже не делали, например в Самарской: до 1 декабря едва закупили 4 тысячи пудов, а за декабрь привезли 19 миллионов.

Но там не проник этот яд: что это делается правительством, а потому не слушайтесь. Если бы мы все могли бы объединиться на почве простой искренности, не считаясь, кто к чему принадлежит, а только — желает ли своей родине добра…

А что предлагают критики? Реальных непосредственных мер не предлагают, а только — новые обсуждения, съезды. Недавно осенью был этот гигантский съезд, и только подрезал и предрешил всю участь продовольственной кампании, теперь приходится отчаянными усилиями поправлять. Я со страхом смотрю на эту политику разъединения потребителей от производителей. Все земства признают меры правительства правильными, даже единственно возможными, но на всё ставится штемпель недоверия: это придумано правительством и может повести только к краху. Если, не дай Бог, этот крах случится, то, господа, *придётся разобраться, где его причина.* Неужели около этого громадного дела, которое имеет такое страшное значение для России, мы будем продолжать вести политическую борьбу? Я с волнением буду ждать ответа от Государственной Думы. (Рукоплескания справа и в правой части центра.)

(Этим и опасно было его ненужное выступление, что он отрывал от Блока его правую часть, которая шла не обязательно только принципиально *против.* Он срывал тактику Блока — слитное психологическое давление на власть.)

И — ждал, сидел в министерской ложе, у подножья ораторов и лицом к депутатам.

Но Прогрессивный блок уж разумеется не стал обсуждать пустяковое заявление Риттиха, соотношеньем 2:1 Дума отодвинула это. А решили заслушать и обсуждать общее заявление Прогрессивного блока. И хотя оно по видимости касалось опять того же продовольствия, транспорта и топлива, но — в *общем* ракурсе, в том смысле, что ни один из этих вопросов нельзя решать как таковой, но прежде

> необходимо, чтобы люди, управляющие страной, были признанными вождями нации и встречали бы поддержку законодательных учреждений… Власть, которой бы каждый гражданин мог радостно повиноваться.

А пока это не так, без коренного переустройства исполнительной власти, нельзя даже обсуждать ни продовольствия, ни транспорта, ни топлива. И пусть эта ничтожная так называемая власть ответит:

> Что будет предпринято для устранения вышеизложенного нетерпимого положения вещей?

И так — снова могло политься торжественное течение думских заседаний, и выдающийся умник России и лидер её либералов и центра получал возможность произнести свою общеполитическую, возгласительную речь — очень высокого и широкого значения, разумеется не о хлебе. Милюков:

> Отношения между правительством и Государственной Думой — единственный вопрос текущего момента.

Но не обошёл и Риттиха, чьи рассуждения

> показали нам наглядно неспособность этих людей захватить вопрос во всей его широте и во всей его глубине. Самоуверенность, самодовольство, свобода обращения с фактами, неуважение к аудитории. Ни в одном намёке его речи не чувствуется понимания, что вопрос о продовольствии это не только…

не только… не только… о жевательных движениях зубов. Вопрос о продовольствии это — и почему преследовали попытки Земсоюза и Горсоюза самим, без правительства, решать народно-хозяйственные проблемы? И зачем закрыли Вольно-экономическое общество марксистов?..

А Милюков способен действовать и самыми строгими научными методами. Да вот, пожалуйста, — диаграмма, в его руках диаграмма, и показывается всей Думе. Объяснений подробных он не даёт (без большой науки депутатам в это не вникнуть), но все могут видеть взлёт:

> Вот кривая, которая высоко поднимается наверх после установления твёрдых цен. А вот когда она начинает падать — когда появляется Риттих.

И отсюда все видят, что

> твёрдые цены — вызвали хлеб на рынок!

То есть: пока выгодно было продавать — не продавали, а как стало невыгодно — тут-то все и повезли. Водопады падают кверху. И — не было «патриотического порыва», а раз Риттих предоставил такую выгоду, оплатил гуж до станции, то стало и выгодно сам хлеб продать ниже стоимости. Наконец, разоблачил Милюков и цифры Риттиха, что в декабре-январе по сравнению с осенью заготовка хлеба возросла до 260%: так никто не считает, надо сравнивать с теми же месяцами предыдущего года.

> Господину Риттиху верить не надо: он извратил идею, вырвавши её из связи, в которой она находилась. А её нельзя решить без решительного изменения внутренней политики.

А Керенский, в своей тоже исторической речи, почти и не связывался с Риттихом:

> этот господин, которого здесь в Думе многие называют «гениальным», этот первый ученик Столыпина свою школу прошёл на разрушении сельскохозяйственной общины

(тепло любимой издали и трудовиками и кадетами), весь его «патриотический порыв» — это классовый сговор помещиков. И получалось в обычном сумбуре Керенского, что свободная торговля так же плоха как и развёрстка, нетвёрдые цены — как и твёрдые, экономический анархизм — как и государственное насилие.

Тут ещё, при неполном зале, депутаты всё время сыпали в буфет, и нигде, кроме буфета, продовольственного вопроса не вспоминали, дискуссия шла общеполитическая, самая принципиальная.

Риттих, как терпеливый ученик, смиренно высидел весь день, так и не услышав больше о продовольствии ни от кого из думского большинства, а только из меньшинства — от правого профессора Левашова:

> Огромные запасы важнейших продуктов искусственно изъяты из употребления и преднамеренно скрыты в складах городских ломбардов, банков, акционерных товариществ и компаний — в ожидании более высоких цен.

И называет много городов и примеров — скрытые запасы спичек, мыла, риса в кавказских городах, мануфактуры в Старом Осколе, муки и сахара в Тургайской области, на 2 миллиона кож в Нижнем Новгороде, искусственный нефтяной голод от каспийских нефтедобывателей — это только всё уже раскрытое, но тысячекратно же не раскрыто? Одни воюют, а другие?

Однако, в чём только власть не понося, — либеральные думцы никогда не обвиняют её в потворстве промышленным компаниям и банкам.

Да им же надо голосовать теперь свой запрос:

> Что будет предпринято для устранения нетерпимого положения?..

И надо же обсудить незаконность изменений в составе Государственного Совета!

И надо же запросить о незакономерных действиях относительно профсоюзов и рабочих организаций…

А 16 февраля, хоть день и будний, — Дума не заседает.

А 17 февраля — надо вести прения по запросам. И вот старательный этот Риттих, аккуратно явясь снова к началу, просто уже раздражая думское большинство, пристраивается теперь как бы к ответу на запрос (поскольку там и о продовольствии упоминалось) — и нельзя не дать ему слова, — и вот он опять на трибуне и опять о своём. Он отзывается и на крохи, что за два дня были брошены по его вопросу.

> Я никак не мог понять, какая это кривая, о которой говорит член Государственной Думы Милюков.

(Почтительно, а тот его — просто «Риттих», и без «господина».)

> С нашим статистическим отделением я просмотрел и понял, вернее — догадался. Оказывается, господа, это хлеб *заподряженный*, но не находящийся у нас. Действительно, когда свободная торговля была совершенно изгнана с рынка, был заключён ряд сделок о поставке хлеба. Эти сделки имели бумажное значение, поступление плачевное, а заподряд — к весенней навигации. Говорить о поступлении хлеба, когда есть лишь бумага о хлебе, такими диаграммами занимать внимание Государственной Думы я не считаю возможным. (Справа: «Совершенно правильно!» Центр и левая не поддерживают.) Разумеется, я докладывал относительно того хлеба, который не в предположении, но реально получен в наши амбары, в приёмные пункты близ железных дорог, в склады близ мельниц, в сушилки.

И вот тогда получается: в результате убеждения и вопреки твёрдым ценам — 260%. Но если и так посчитать, как хочет г. Милюков, сравнивать месяцы не с осенью, а с прошлогодними теми же, то всё равно получится рост: в декабре — 196%, в январе — 148%.

Он не говорит — Милюков глуп или нечестен.

> Я не позволю себе объяснять это теми мотивами, которыми член Государственной Думы Милюков объясняет *мои* слова и цифры. Я объясняю это простой ошибкой: кто-нибудь из секретарей… Что же касается заявления члена Государственной Думы Милюкова, что твёрдые цены *вызвали* хлеб на рынок…

то на земских собраниях только бы посмеялись. Риттих ссылается и на члена революционной 1-й Думы Жилкина, в те же самые месяцы, что и министр, объехавшего ряд губерний, он в газете напечатал: да, от твёрдых цен хлеб исчез, а с декабря появился, как расколдовало.

Прогрессивный блок молчит. Если истина не на нашей стороне — пропадай и истина.

Вообще, говорить, что твёрдые цены вызвали хлеб на рынок, это я понимаю в виде остроумного парадокса.

В Самарской губернии после воззвания о нуждах армии вдруг обильно повезли хлеб безо всякой развёрстки — и что ж? *Общественность* кинулась предупреждать крестьян: «Не верьте, а то будете голодать».

Я считаю это очень близким к саботажу — ту *работу*, быть может даже и общественности, не знаю, как её назвать, разрушительную для интересов России.

К чему приведут крестьянские запасы, когда землю осквернит нога нашего противника? Быть может, сейчас решающий момент, и надо выбросить всё до последнего пуда, чтоб обезпечить успех. (Рукоплескания только справа. Милюков: «Надо иначе относиться к общественности».) Что же, участь войны зависит только от снарядов, а не от хлеба? Можно ли хотя бы на минуту откладывать решение? Нужно единодушное обращение к России, к крестьянству — всё отдать ради войны и победы!

А что предлагает общественность и её Союзы? Не оплачивать гужевую перевозку, остановить развёрстку, вести учёт, учёт, и конечно побольше совещаний, и конечно комитеты, составленные не из крестьян.

При таких комитетах вы ни одного пуда зерна не получите… Ещё внесли этот термин *аграрий*, покрывающий три четверти населения России. Я отлично помню обвинения, что спекуляция проникла в крестьянские классы,

и от этого спекулянта надо защитить городских потребителей. Непомерной защитой потребителя,

прямыми указаниями, что производителя надо сократить, — а его 18 миллионов хозяйств, — произвели этот страшный раскол, достигли, что главный производитель, крестьянин, вернулся со своими возами с базаров и перестал молотить хлеб, этот «аграрий» ничего не стал везти на рынок, и если мы прожили с августа по ноябрь, то исключительно благодаря хлебу помещиков, которые продолжали везти.

Очень это неприятное для Блока соединение, что в «аграрии» попали и крестьяне, не разделишь.

Тут были выпады лично против меня — первый ученик Столыпина, умоляю не поднимать меня так высоко. Я говорю: выход в том, чтобы вся общественность присоединилась бы к общему внушению крестьянам: везите всё до последнего! — и с волнением жду ответа, а меня упрекают в оптимизме. Но я безропотно снесу и буду счастлив, если всё обернётся против меня, а не против дела. Я понимаю, что нужно открыть известный клапан, надо найти виновного вне самих критиков, надо рушить систему, чтобы найти виновного. Так пусть нападают на меня, а деревенской России не мешают вывозить хлеба! (Рукоплещут только правые и правая часть центра.)

Простая человеческая интонация, которую редко услышишь с думской трибуны, разве только от безхитростных неумелых крестьян. Среди думцев не принято виниться, но — всегда оправдываться, но со страстностью и едкостью — прерывать, уничтожать других.

Что бы, правда, сейчас забыть партийные догмы, лидерское самодовольство, расчёты и счёты с врагами, очнуться: ведь Россия может погибнуть! И объединиться всем и единой грудью воззвать к деревенской России: спасайте, братья, нас грешных! мы тут передрались и напутали… Воздух недоверия можно сменить на воздух доверия — и в далёких волостях и рядом в столице, — так что булочных громить не начнут. И обойдётся.

Однако и Царское Село с гордо закинутой женскою головой не может уступить ни извилинки улыбки. И думские лидеры, затянутые инерцией вечных прений, возгласов с мест и голосований, возбуждениями, суждениями, разоблачениями и запросами, в этом тёмном закрытом зале, бывшем зимнем саду, не имеющем ни единого окна в Божий мир, а только мутно-стеклянный потолок, через который мерцающе проходят дневные отсветы, а в перерывах заседаний — ещё через восемь дверей, открытых тоже не прямо к свету, но в коридоры, — думские лидеры уже не могут остановиться, оглянуться, очнуться, переродиться.

Рука власти разобралась в своём конце верёвки — тёплая рука Риттиха ослабила её. Но отдалённая равнодушная рука Думы по-прежнему уверенно тянет свой конец. И — стягивается хлебная петля на питающем горле России.

Конечно, потянула достаточно и рука власти. Следующие ораторы напоминают, как затягивал её и министр внутренних дел Протопопов, задерживая поставки уже осенью, в решающие недели, своим проектом отобрать продовольствие у министерства земледелия и вернуть свободные цены. Левый Дзюбинский:

Неумелость развёрстки в том, что она произведена именно без совещаний с общественными организациями. Только при строго демократической общественности, когда всё население будет участвовать в комиссиях на строго пропорциональном представительстве…

(А на это нужны годы.)

Думаю, что исчезновение с рынка хлеба — только случайное совпадение с опубликованием твёрдых цен. *Post hoc,* а не *propter hoc.*

(Уж где «хок», тут не перехокаешь… Просто сам по себе хлеб почему-то исчез.)

Риттих нарушил твёрдые цены. Производителю *подарено* несколько десятков копеек на каждый пуд.

(Ты бы, мать твою за ногу, протащил груженую телегу девяносто вёрст по российской грязи — я б тебе сам подарил!)

Выпускают против Риттиха учёнейшего экономиста либерального лагеря Посникова, и он в просторной лекции долго, учёно разъясняет Государственной Думе и порочному министру:

Развёрстка продуктов — дело крайне деликатное!

(Это нам скоро покажут продотряды.) И возвышенно объясняет нам, почему нельзя оплачивать крестьянского подвоза к станции: это не соответствует теории ренты и теории рыночных цен.

А ещё один многословный дотошный законник Прогрессивного блока Годнев (через несколько дней — министр Временного правительства), добираясь всё глубже к сути вещей, открывает нам такой корень зла: хотя Дума произвела закон, что скот можно убивать только 4 раза в неделю, — вопреки тому Риттих самовольно разрешил в предрождественскую неделю ежедневный убой скота.

Вот и всё, что либеральные ораторы находятся сказать против Риттиха. Левое крыло ошеломлено таким министром: со столыпинских времён с ними не разговаривали так убедительно и настойчиво. Неважно, прав или неправ Риттих по существу, но он — царский министр, и поэтому он обязан быть глуп, туп, безсловесен и пуглив, — а Риттих нарушил весь кодекс. И ораторы не стесняются говорить о нём, как если б не дали себе труда его слушать, тот же Дзюбинский беззазорно извращает только что говорившего, только что из зала ушедшего министра: Риттих-де обвинил крестьянство в непатриотичности. (Он как раз наоборот, изумлялся его патриотичности.) Но в этом зале слева направо можно нести всё, что угодно, большинство глоток за оратора. Правый вскрикивает с места: «Передержка! Что он врёт?!» — но уже нет их сил протестовать и обсуждать. Так и закрепляется ложь в стенограмме навеки.

А левый оратор взнёсся на трибуну даже не для того, чтобы путаться в продовольственных подробностях, но поведать нам:

> Никогда общественная атмосфера не была так насыщена жаждой обновления внутренней политической жизни, никогда не были *нервы так взвинчены*, и в то же время страна окутана такою мглой. Острота речей и страстность, с которой они выслушиваются…

освобождает от обязанности говорить по делу. А вот: почему не шлют на фронт полицию? Разве крестьянам — нужна полиция?.. И как смеет министр земледелия призывать крестьян к патриотизму, если само правительство не *уходит*, как от него два года требует общество, — где же тогда патриотизм самого правительства?

> Истинный виновник — самодержавный строй. Правительство, которое не желает уйти, — будет свергнуто по воле и желанию народа!

Савич. Он — земец-октябрист. Состоя в Блоке, он должен быть согласен с левыми о немедленной смене правительства и о многом другом. Но находит мужество возразить своим соблочникам, что по продовольственному вопросу

> общественное мнение заблудилось. Очень мало лиц, которые разбираются безпристрастно и со знанием дела. И вопрос затуманен классовой рознью. Для блага государства надо найти среднюю линию.
>
> Всё то, что происходило нынешней осенью, имеет глубокие и давние корни в психологии нашей страны и общества: издавна и правительство, и города, и наша интеллигенция привыкли смотреть на деревню, как Рим смотрел на свои провинции, как метрополия на колонии. Деревня — резервуар солдат и податей. Деревня должна дать возможно больше возможно дешёвых продуктов и потребить по возможно большой цене городские товары. И правительство, и города хронически обездоливали деревню. Мы привыкли думать, что раз мы много вывозим за границу, раз мы имеем в городах дешёвые сельскохозяйственные продукты и дрова, то всего этого у нас избыток. Но это было заблуждение, а теперь оно стало колоссальной ошибкой. Никогда у нас чрезмерных запасов не было. Чтобы заплатить подати, которые из неё выколачивались, купить водку, к которой она привыкла, приобрести товары второго сорта по большим ценам, деревня вынуждена была отчуждать не от избытка, а от голодания. (Слева рукоплескания: «Верно!») И создалось мнение, что с нашей деревней церемониться нечего, она всё выдержит и даст. И война отозвалась на деревне неизмеримо тяжелее, чем на городе. Из деревни выкачаны все зрелые мужские руки.

(Левые начали с аплодисментов, не предусматривая, куда Савич повернёт. Стихли теперь.)

Процент призванных там гораздо выше, чем в городе; в промышленность лили капиталы, промышленности давали освобождение от повинностей, — деревне не давали. От первых же затруднений с хлебом начались по отношению к сельскому хозяйству такие репрессии, которых промышленность никогда не испытывала.

> И вот, сперва перестали торговать. Но ужас пошёл дальше: перестают сеять. И у городов и у правительства мысли не было, что деревня может когда-нибудь оказаться не в состоянии дать.

А осенью 1916 сельское хозяйство было добито психологически: началась

> большая травля против «аграриев», сведение политических счётов.

«Биржевые ведомости» предлагали: *взять с аграриев контрибуцию*, понизив хлебную цену на полтинник. Ошиблись только в том, что круп-

ное производство не может не выбрасывать хлеба на рынок, оно остановится тогда, а крестьянство — может без рынка и обойтись.

Полемика о ценах восстановила деревню против города. Многое испорчено. Деревня замкнулась. Она не имеет возможности ничего приобретать за деньги, и она от этих денег попросту отказалась. Будь цены немного повыше — и развёрстка прошла бы неизмеримо легче. Но сейчас уже нельзя обойтись без развёрстки, потому что в обмен на продукты мы не в состоянии дать деревне товары, в которых она нуждается. Львиная доля того, что в стране имеется, идёт в города. Вы все получаете по карточке 3 фунта сахара в месяц, а деревня и фунта не имеет. И так во всём. Теперь развёрстку надо выполнить силой власти.

(Стук сапогов и прикладов… Неизбежность идёт на Россию… Что бы далее ни случилось — от этого вопроса России уже не уйти. Вся история хлебной повинности тем и поучительна, что, когда подходит необходимость, её готовы проводить деятели самых противоположных направлений. Только не всем дана властность и жестокость осуществить её.) Впрочем,

это не должны быть военные реквизиции, то будет грабёж, но какие-то принудительные меры придётся… И — застраховать деревню от низких твёрдых цен в будущем. Дайте столько, чтоб сельское хозяйство могло не погибнуть. (Рукоплескания в центре и в левой части правых. Кадетам и левым не нравится.) Иначе скоро нельзя будет пахать, сеять, собирать.

Шульгин: Рабочие, приказчики, врачи, адвокаты, журналисты — они все могут без боязни отстаивать свои экономические интересы и оставаться патриотичны, но «аграрии» — ни в коем случае.

В твёрдых ценах виновны мы все, потому что среди нас были люди, которые отлично понимали, куда мы идём. Но, *аграрии*, они не смели возражать, они должны были отойти и дать совершиться этой пробе. Они и свой собственный хлеб отдали по этим низким ценам. А вот крестьянство оказалось менее уступчивым. Я думаю, наступило время отказаться от идолопоклонства перед твёрдыми ценами (голоса: «Правильно!») и одобрить действия министра земледелия.

Выступает полтавец и предлагает: для производящих губерний (для своей!) указать норму потребления и понизить качество пшеничной и ржаной муки — более простой помол.

Аграрий предлагает жертву… Но сидят Милюков, Керенский, Чхеидзе — они, наверно, и не понимают, что это — жертва. Да они — знают ли, что такое *помол*?

Выступает правый, Новицкий. — Дело совсем не в прокормлении Петрограда и Москвы, о чём больше всего заботятся, это — мелочь по сравнению с общегосударственной задачей.

А правительство не должно было так легко соглашаться на эти цены. Создать твёрдые цены на хлеб, обрабатываемый детьми на нетвёрдых ногах!.. Стомиллионное крестьянское население послало своих мужчин в первые ряды армии. Солдатка, обливаясь потом, варит, кормит детей и в это же время обрабатывает десятину. Три-четыре дня идёт на то, что доброму косарю на один день, а жнейкой в три часа. А в это самое время Громан и Воронков, у которых земля только на ботинках, подают протест, жалкое создание маленьких городских людей, не знающих земли, не знающих великой России, — протест, что цены на хлеб назначены слишком высокие.

А Дзюбинский не знает *дела*, я б ему и курицу не поручил выкормить. Не знают дела и думские уполномоченные по хлебу, уйти бы им.

Какое гнусное оскорбление! — и это передовым представителям общественности! это лучшим выразителям народных интересов!

Но теперь, разбереженные до нутра, полезли на трибуну *аграрии*:

Городилов (Вятская губ.): Как крестьянин живу в деревне. Твёрдые низкие цены на хлеб погубили страну, убили всё земледельческое хозяйство. Деревня сеять хлеба больше не будет, кроме как для своего пропитания. Кто же, господа, виновник? Закон о понижении твёрдых цен издала сама Государственная Дума по настоянию Прогрессивного блока. Нас, крестьян, в Совещание не допустили, а сами кадеты жизни деревни совершенно не знают.

Вы, господа, обвиняете министров, а посмотрите, кто поднимает восстание в стране? Это Прогрессивный блок. (Справа голоса: «Браво!») Вы, господа, опять закрепостили нас, крестьян, и заставили крестьянских жён и солдаток сеять поля и отдавать хлеб по самым низким ценам в убыток. За наш счёт хотят жить люди других классов. Все кто сколько могут с крестьянина взять — берут. Поэтому деревня ничего не стала продавать городу. Разве могут быть твёрдые цены только на хлеб? А — на железо, гвозди, ситец? За них берут кто сколько хочет, для купцов и фабрикантов твёрдых цен нет, они только для одного несчастного крестьянина. Вы, господа кадеты и Прогрессивный блок, с целью понизили цены на хлеб, а обвиняете во всём правительство. Из своей среды шлёте и уполномоченных для продовольствия по всей стране. Ужели у нас нет людей избрать на местах, которые бы правили этим делом?

(Пензенский помещик): Когда вините во всём правительство — на себя обернитесь сначала: вы сидели в Особом Совещании по продовольствию, ничего не понимая, и только помеху оказали. Войдя в Совещание, нельзя быть партийным. У вас мудрости нет, но претензий очень много. Те, кто в деревне живут, такого не понимают. Стыд один! Твёрдые цены — главнейшая причина нашей продовольственной разрухи.

На местных совещаниях, вырабатывавших цены, было по пять городских обывателей на одного земца, и они слышать не хотели, что цена не может быть ниже себестоимости. Возвысилась стоимость производства хлеба — и бросились охотно продавать его по низким ценам? Если хлеб и шёл на рынок, то по горькой нужде — расплатиться с долгами летнего времени.

Какой же это патриотизм — губить страну, делать разлад в продовольствии? Никакого патриотизма у этих господ нет вовсе. Люди из партии народной свободы лишены чувства народной свободы. Что делать — мы и все знаем, а вот укажите — как? Сколько я ни присматривался к господам с левой стороны — у них очень много критики, очень много шуму, но никакого творчества не бывает.

И Риттиху возражает: ещё и сейчас не поздно повысить твёрдые цены — и по ним оплачивать развёрстку. Во всяком случае, эти цены будут ниже спекулятивных. А хлеб, оставшийся сверх развёрстки, — пусть продают по открытым вольным ценам, какие сложатся.

(Этот план в феврале 1917 излагает аграрий, зубр, помещик. И потому это — реакционный замысел, не приемлемый для вольнолюбивой публики. Но перечтём его глазами 20-х годов — и мы узнаем НЭП, приветствуемый как благословенная свобода.)

(Курский помещик): А в Курской губернии хлеб доставили, но лежит на станциях, а он весь — сыромолотный, со снежком и льдом. При ненастной весне, при дожде — всё сгниёт. То собирали сухари на армию — и отдали крысам. То требовали скот на станции — и там он гиб от голода. Топлива нет — а в Петрограде нисколько не сокращается освещение, вечерняя торговля, театры, кинематографы. А сколько в Петрограде праздного лишнего населения, — зачем оно здесь? Разгрузить бы столицу.

(Эта мысль кажется наглой: нам, столичным, самим судить, не курскому помещику указывать. Петроград переполнен, да, но толпы беженцев — это всё армия свободы.)

(Депутат Воронежской губернии): Мы достигли момента, когда уже нечего говорить о политике. И в Воронежской: станции забиты хлебом, а вагонов нет (а где хлеба нет — там вагоны есть). Государственная Россия мало знала хозяйственность, были уверены, что проживём без экономии, — а сельская Россия этой хозяйственностью жива. Когда поезда заносит снегом — женщины, подростки и старики безропотно идут с лопатами отрывать их. В Саратовской губернии триста быков умерло от голода, потому что не дали сена, стерегли его «для армии», будто быки не для армии. Берегите деревню!

— Де-ревню?? — изумляется Керенский.

Помогать *деревне*, забывая о городе? Но ведь *мы*-то живём для городской культуры, ведь без города деревня не может ничего совершить! город — артерия государственного творчества!

Макогон (екатеринославский крестьянин): Кого вы видите в деревне? Одних старух с детьми в летнее время, да много домов пошло на развал. Кого вы увидите в поле? Седовласого старика 60 лет, кому время только на покой, со внуками и женщинами. И от этого старика вы хотите, чтоб он прокормил не только армию, но и всю Россию?

А в городах? Все дома заняты, молодые люди и средних лет, толпа праздных, заведующие и командующие, хоть отбавляй. И сколькие получили все отсрочки от воинской повинности?

Крестьянские дети сложили кости в боях — а эти? Крестьяне в последнее время поняли, что наших всех забрали — а кому-то дали отсрочки. И какую ж они цену заплатят тому старику за кусок хлеба — твёрдую или повышенную? Они получили цену жизни, остались на месте и спаслись.

Один министр твёрдо сказал, — а мы ему опять препятствия? У нас голос маленький, мы не можем сказать, нам мало верят. Но правду вы должны понимать, и если всё в дальнейшем не будет усмотрено — то может выйти плохим отражением.

Конечно, в думских стенограммах пропорция изложения другая: каждый такой серый — на двух страницах, а кадетские профессора — на десяти и пятнадцати. Конечно, всех этих серых учёные думцы слушают брезгливо, все доводы мужичьи — как серая вода. То ли дело — свой Милюков, свой Посников, теория ренты. Это так говорится — Государственная Дума, молодой русский парламент, а на самом деле 80% думского времени проговаривает всего 20 человек, — и этих 20 случайных политиков, очевидно, и надо понимать как истинный голос России.

И счастье, что среди тех двадцати есть Андрей Иванович Шингарёв — никак не случайный, но сердце сочащее, но закланец нашей истории. Однако же, если ты в двадцати — то тебе надо живо поворачиваться и отвечать часто. А если ты в кадетской партии — то не перестать же быть кадетом, но строгать лишь по той косой, как надо твоей партии, и защищать своего лидера и свою повсегдашнюю правоту. Не забывать сверхзадачу своей партии и своего Блока: в конце концов, важен не хлеб сам по себе — важно свалить царское правительство. А если Милюков не сумел оправдаться в проклятой диаграмме, так помочь же ему — надо выходить на трибуну: да, хотя поступление хлеба при Риттихе увеличилось, но можно считать, что оно уменьшилось — по сравнению с потребностью, сколько нам стало надо.

Возможно, что отдельные исчисления были неточны.

(И этот истинный сострадатель русского мужика, 14 лет назад ещё не член к-д, написал «Вымирающую деревню», где подсчитывал сотые доли копейки крестьянского бюджета!) Там, где Шингарёва ведёт партийный долг, он мельчится, а может быть и кривит. Изо всех сил защищает все виды общественных комитетов, особенно Земгор. Не замечает, как противоречит себе:

> Что это за недоумение, будто где-то можно обойтись без политики? Господа, ведь ваше собрание — политическое, вы — не продовольственный комитет. Политика — это существо государственной жизни. Если вы устраните политику — что же у вас останется? Величайшее заблуждение, что с каким-нибудь государственным вопросом можно и нужно не связать политику.

И тут же изломно возвращает правительству укор:

> Не вводите вашей безумной политики в продовольственное дело! У нас диктатура безумия, которая разрушает государство в минуту величайшей опасности.

Но и в партийные минуты нет в его речах высокомерия и злобности, как у других лидеров оппозиции. Он выговаривает все эти партийно-обязательные фразы — а слышится его грудной голос, придыхательно взволнованный русскою бедой. Он ощущает эти неоглядные просторы, застрявшие жизненные массы амбарного зерна, и тёмное (и разумное) мужицкое недоверие к городским обманщикам. И вдруг, как очнясь, свободную голову выбив из партийной узды, объявляет опешившей Думе:

> Министр прав, когда говорит: помогите и вы! Да, господа, хлеб надо повезти. Если отдавали своих детей, последних сыновей, то надо отдать и хлеб, это священный долг перед родиной.

А безпокойный, невиданно деятельный, неутолчимый в спорах министр земледелия — снова на трибуне! Но Дума не желает больше слушать его, и вся левая часть дико шумит, требуя перерыва.

> Родзянко: Покорнейше прошу занять места. (Шум. Голоса слева: «Перерыв! Перерыв! Это неуважение к Государственной Думе!»)

Родзянко еле успокаивает. Первые слова речи Риттих произносит несколько раз:

> Господа, с величайшим… (Слева шум : «Перерыв!») Господа, я буду очень краток. Я с величайшим… (Слева шум.) Я с величайшим удовлетворением, скажу прямо (слева шум: «Постановление Думы!»), с величайшим удовлетворением, прямо с радостью выслушал ту часть речи члена Думы Шингарёва, где он так искренно говорил о призыве к народу, о гражданском долге. Но, господа, я с величайшим смущением выслушал всё остальное из продолжительных речей членов Думы Милюкова и Шингарёва. Ведь вот второй оратор выходит из той партии, и что же нам приходится слышать? Член Думы Милюков обвиняет министра земледелия то — в преступном оптимизме, то уже — в пессимизме, не помню — преступном ли. О чём они со мной спорят, всё время доказывая, что я виноват? Тут и предмета спора нет: я чувствую себя неизмеримо более виноватым, чем они стараются доказать какими-то цифрами. Да, господа, днём и ночью меня гнетёт мысль, что я не сделал даже тысячной доли того, что должен был в эту страшную историческую минуту. (Справа рукоплескания.) К несчастью, я простой смертный, а в это время Россия должна была бы выдвинуть людей титанической силы. Я виноват, что такой силы у меня нет.

Безпристрастно: ну отчего бы таким тоном не говорить и лидерам оппозиции? Тогда б и столковаться немудрено. Но титаны оппозиции кричат:

> Аджемов: Уходите!
>
> Милюков: Земля не клином сошлась!
>
> Риттих: Да можем ли мы размениваться сейчас на чисто личную политику? Ведь это прямо ужасно. Господа, я мечтаю, что сюда выйдет не оратор, а просто человек, до самозабвения любящий Россию… Мне кажется, и быть может все это чувствуют, мы переживаем торжественную историческую минуту. *Может быть, последний раз рука судьбы подняла те весы, на которых взвешивается будущее России.*

Но у нас-то суббота и воскресенье, заседаний нет. То — умер член Думы — некролог, траур, панихида, три дня деловых заседаний нет. Только 23 февраля в полдень, когда на Петербургской стороне началось то самое, да никто в мире ещё этого не понимает, — опять открывается рядовое заседание Думы с обсуждением надоевшего хлебного вопроса.

Уже громят петроградские булочные, толпа останавливает трамваи, теснит полицейские посты. Кем-то принесенные смутные слухи доходят до думцев в перерывах.

Но в безоконном электрическом зале с ранней ночью под стеклянной шатровой крышею всё выступают знатоки и эксперты либерального лагеря, уже и 24 февраля после полудня — снова Посников, Родичев, Годнев, и, конечно же, каждый день Чхеидзе, и каждый день Керенский, и, наотмашь выплюхиваясь из этого надоевшего продовольственного вопроса, взмывом рук и возгласов, — не верить этому Риттиху!

> Родичев: И да будет с ним покончено с сегодняшнего дня!

Чхеидзе: Господа! Как можно продовольственный вопрос в смысле чёрного хлеба поставить на рельсы?.. Единственный исход — борьба, которая нас привела бы к упразднению этого правительства! Единственное, что остаётся в наших силах, — дать улице здоровое русло!

Так заканчивался двухсотлетний отечественный процесс, по которому всю Россию начал выражать город, насильственно построенный петровскою палкой и итальянскими архитекторами на северных болотах, НА БОЛОТЕ, ГДЕ ХЛЕБА НЕ МОЛОТЯТ, А БЕЛЕЕ НАШЕГО ЕДЯТ, а сам этот город выражался уже и не мыслителями с полок сумрачной Публичной библиотеки, уже и не быстрословыми депутатами Государственной Думы, но — уличными забияками, бьющими магазинные стёкла оттого, что к этому болоту не успели подвезти взваль хлеба.

4

Названо было Саше — набережная Карповки 32, а спросить не самого Гиммера, но его жену госпожу Флаксерман. Это оказалось на углу улочки Милосердия, нелепое название, наверное какое-нибудь благотворительное учреждение на ней, и прямо против черно-серого уродливого храма, глыб нарощенного камня, черносотенного гнезда Иоанна Кронштадтского, — в скудном освещении на убогой набережной Карповки он виделся чёрной горой.

От одного запаха ладана, который может донестись из церкви, Сашу всегда тошнило. Вот уж психоз эта вера так психоз. Пока есть Бог — не может быть свободы.

Саша шёл к Гиммеру весь напряжённый, собранный и с жадным интересом. За годы военных болтаний по всяким дырам он так отвык от подлинной социалистической атмосферы! Эти три месяца, как он счастливо перевёлся в Питер, он использовал для обдумывания, поисков и рекомендаций, чтобы наконец повидаться с каким-нибудь заметным теоретиком социализма. Не всё это время он и искал, первый месяц просто наслаждался тем, что дома, что опять в Петербурге, и вступил в трудное состязание за Еленьку, почти упущенную. Но после первого отдыха стала нарастать интеллектуальная пустота, нехватка серьёзного разговора и

серьёзного революционного дела. Простительно было обывательски закисать по захолустным армейским частям, как его до сих пор кидала судьба, — но уж в Питере-то?!

Однако и обезлюдел Питер за время войны, люди революционных настроений куда-то все рассеялись, истратились или припрятались, переличились, это не было то свободно кипящее общество, как раньше. Социалистические кружки в столице если и сохранялись ещё каким-то пунктиром, то настолько не соединены или увяли, что даже некуда пойти, не с кем потолковать. Направлений угадывалось много, а заметных личностей не было. И среди них сам Саша избрал Гиммера как недюжинного и к нему пробивался. Гиммер, подписываясь «Суханов», был важнейший автор в горьковской «Летописи» — почти, может быть, единственном петербургском журнале, который стоило читать. И хватка Гиммера, как ни приглушённая цензурой, была остро политическая, а направление — нескрываемо циммервальдское.

Квартира оказалась в первом этаже. Открыл Саше не сам Гиммер и не жена его, но приятный подвижный молодой человек, в солдатской пехотной форме, а явно студент, и уже от этого сразу тут дохнуло своим. (Потом оказалось — брат жены, тоже, как Саша, попавший в армейщину, но ему и университета не дали кончить, теперь в Нижнем тянет лямку.)

Тут вышел и Гиммер.

В первую минуту, от наружности его, Саша был разочарован. Гиммер не только не походил на вождя, но даже и на орла теории. Ростом он был значительно ниже Саши, не только худой, но даже тщедушный. Гладкобритое лицо его было жёлто-серого цвета, с безкровными губами и неприятно безбровое. Однако со всем тем оно было и выразительно-энергично — энергией не той, какую придаёт крепкое тело, а внутренним горением, воспалённостью взгляда. Тем горением, которое даёт нам только революционная мысль, никакая другая! — с узнаванием своего определил Саша, ещё только представляясь:

— Ленартович.

И ручка была маленькая и вялая, как из ваты.

— А я ожидал вас в военной форме, — сказал Гиммер.

— Я подумал — может быть для конспирации, в глаза не бросаться, так лучше? Да и вообще для свободы. Пользуюсь каждым случаем формы не надевать.

— А где состоите?

— Сейчас — в Управлении по ремонтированию кавалерии.

— Кавалерист? — поднял Гиммер те места, где должны быть брови. (Тому удивился, что кавалерия — самая непропагандируемая?)

— Да нет, — засмеялся Саша, — я даже не знаю, как к лошади подойти.

— И держат? — усмехнулся Гиммер.

— Там и другие такие ж есть знатоки, как и я. Там только надо бумажки писать и перекладывать. Да я и недавно, вот с ноября.

Квартира состояла из нескольких совсем маленьких комнат, соединённых все друг с другом. Они прошли маленькую столовую с незанавешенным окном в чёрный двор, где наискось стекла проходила внешняя железная лестница, и вошли в маленький кабинет с двумя зашторенными окнами, а на стене — небольшими портретами Маркса и Лассаля, и никаких больше глупостей не развешано, как это любят в городских квартирах. Эта прямизна и строгость очень обрадовали Сашу, здесь жили — духом.

— И какое ж настроение у офицеров в Управлении? — спрашивал Гиммер, ещё даже не посадив, с большой живостью.

Легко отвечал и Саша:

— Животов на службу родине не кладут. Очень большой штат. Старшие сходятся к двенадцати часам, чтобы вместе позавтракать, поболтать, с двух часов начинают уже уходить. Да все понимают, что кавалерия в этой войне куда меньше нужна, чем приходится её кормить.

— Нет, а — собственно настроение?

— Очень вольные разговоры. Вдруг один принесёт карикатуру из иностранной газеты: Вильгельм, расставив руки, меряет длину артиллерийского снаряда — а наш царственный идиот, став на колени и так же расставив руки, меряет у Распутина. Все офицеры смотрят — и смеются. Так что я могу держать себя довольно открыто. Но самые смелые из них, конечно — только до буржуазной конституции. И то — на языке.

Сели.

— Да, некоторая осторожность не лишняя, вы правы, — сказал Гиммер. — Я и на собственной квартире живу как бы полулегально.

— Почему ж застряли на «по́лу»? — улыбнулся Саша.

— Да потому что в мае Четырнадцатого меня приговорили к высылке из Петербурга. А я не захотел, не поехал. Тогда надо бы квартиру сменить — так лень, привык. И я стараюсь просто не слишком дразнить швейцара, хожу обычно с чёрного хода и чтобы не слишком поздно приходить. Да, впрочем, он знает, глаза закрывает.

— И никаких особых неприятностей?

— Нет. Даже на службе так и состою под своим именем.

Разговор легко пошёл, и Саша осмелился спросить:

— А где служите?

— В зануднейшем месте, — не кичился Гиммер и перед новичком. — В министерстве сельского хозяйства есть такой департамент земельных улучшений. А в нём — Управление по орошению Голодной Степи. Так вот — там. Удобно, что совсем рядом, тут, в конце Каменноостровского, на Аптекарском острове. И ещё удобно, что можно в служебное время много заниматься литературной работой. Там, знаете, всякие оросители, разбрызгиватели, водосбросы, я в них понимаю примерно столько же, сколько вы в конском деле, — но устроили хорошие люди, как всегда устраивают. И держат.

— Да, меня тоже. Нелегко было попасть.

Нет, первое неприятное впечатление прошло, и Гиммер начинал Саше нравиться.

Всматривался быстрыми, тёмными, жадными глазами:

— Ленартович — это фамилия истинная?

— Да.

— А псевдоним, кличка — есть?

— Псевдоним — нет, я собственно литературной работой ещё пока не… А кличка была, да. «Ясный».

(Давно была, мало пользовался. Какая у него там подпольная работа? И не было ничего.)

— Ясный. Хорошо, — оценивал Гиммер. — Может пригодиться.

Они сели через небольшой квадратный столик. За всё время их разговора никто не вошёл, не пытался что-нибудь предлагать, никакого намёка на угощение или питьё, — и эта нежеманность тоже понравилась Саше: чай с печеньем он мог выпить и дома, не для того добивался сюда. Была ли там где жена, да и в этой комнате не видно ухаживающей руки, которая выбирает расположение или поправляет. Хорошо. По-деловому — и сразу в разговор.

Саша весь собрался, понимая, как важно не показаться глупеньким или неосведомлённым. Но это ему и не грозило, он себя знал.

Гиммер не стал спрашивать ни о подпольной работе, ни о партийных связях: первого могло и не быть по молодости, второго, видимо, не было, раз вынырнул из неизвестности. Но стал спрашивать, сперва быстро перебирая, потом подробнее, — *что читал*, каких авторов, какие книги, на каких языках, за какими журналами следит. Из девятнадцатого века почти не спрашивал, а ближе к сегодняшнему дню. Обрадовался, что Саша владеет немецким, и спрашивал по современным немецким социал-демократическим авторам. Здесь он был очень подробен и о каждом журнальном органе судил категорично.

Очень живой, незаурядный ум. И — несётся в речи, стремителен, логичен, вот она, сила!

Больше всего интересовало Гиммера, циммервальдист ли Саша, — и Саше не надо было притворяться: он и был циммервальдист, ещё от начала войны, ещё прежде, чем это название появилось, хотя самой-то *литературы* в военное время и достать не мог. Вот — читает «Летопись».

— Да, — с гордостью согласился Гиммер, — мы совершаем просто чудо: в условиях полицейского государства и во время войны легально выпускаем антиоборонческий журнал, единственный интернационалистский орган. Конечно, имя Горького очень помогает.

Горького Саша искренно любил: не ушёл в литературные изящества, а всё размешивает гнусную гущу жизни, и сердцем с рабочим классом.

— И ни одной минуты, с 14-го года, заметьте, он не был патриотом!

Выдержать экзамен Саше оказалось легче, чем он думал, и только одною из приготовленных глубоких мыслей успел блеснуть в теоретической части. А дальше уже касались реального состояния революционных кругов в России — но это и было то самое важное, что привело его сюда: сблизиться с этими зажатыми, скрытыми кругами! Где-то текло основное подземное русло, где-то пылало горнило — и Саша не мог больше жить в тоскливой оторванности. Конечно, за время войны всё это сильно придавлено, искажено?

Гиммер сухо, едко усмехнулся:

— Состояние наших социал-демократических организаций — ужасное. И не от разгрома, а от внутренней слабости. Я бы сказал: горючего материала в массах — больше, чем среди наших социал-демократов.

Но, действительно, у него — самые обширные знакомства во всех революционных кругах столицы. Благодаря его особому положению межпартийного литератора, не включённого ни в одну группку, он с полным основанием сносится со всеми. Его работы популярны и ценятся. Не организационно, но лично он связан со всеми социалистическими кругами Петербурга. А как редактор «Летописи» имеет самые интенсивные связи с эмиграцией всех направлений. Так что ни одна попытка межпартийного блокирования (неудачная) не обходилась без его участия.

Знал он себе цену!

Замечательно, замечательно! Саша попал как раз куда ему нужно. Под рукой Гиммера он и сам ознакомится и поймёт, выберет себе наиболее подходящее направление.

— Но вы понимаете, — говорил Гиммер, у него была исключительно уверенная манера. — Социалистический, если можно так выразиться, генералитет весь находится в эмиграции, а отчасти в ссылке. Здесь сейчас в лучшем случае — социалистическое офицерство. Я имею в виду, — пошутил, — не офицеров-социалистов, как вы, это совсем единицы, а — средний командный состав среди социалистов. Так вот, он — очень средний. Это — второстепенные рутинёры. Политической высоты обзора у них нет. Теоретический уровень — почти никакой, пытаться глубоко осознать события — этого совсем нет. Даже лучшие утопляются — кто в думской игре, кто — в крохоборчестве по распределению продовольствия. Я уж не говорю о сотрудничестве с плутократией, как Гвоздев и его группа. Поэтому все как бы слепы, бредут абсолютно на ощупь. «Долой самодержавие!» — это, конечно, понятно всем, но это ещё не политическая программа. Некоторые готовы даже поддерживать цензовую Думу, что уже никак не допустимо для пролетарской борьбы. Ни одна партия у нас, в общем, не готовится к социалистическому перевороту, не готова ни к каким действиям. Все мечтают, раздумывают, предчувствуют… А надо же что-то готовить. Это жаль, что вы — не в полку, легче было бы заваривать.

Полковую лямку тянуть — спасибо, уже побывал. Но социалистический генерал прав: в самом деле, что можно сделать для революции в управлении по ремонтированию кавалерии? Однако ответил уверенно:

— Я думаю, что смогу быть полезным. Я — не в полку. Но для революции, — голос его дрогнул в несомненности чувства, — я готов в любой полк и под любой огонь.

Это и в самом деле было так. Саша Ленартович и в самом деле тяготился своей вынужденной томительной дремотой эти два с половиной военных года. Но он верил, что э т о будет! Как иначе?

— Да неужели же страна может простить все свои страдания, боли, оскорбления, издевательства от самодержавия? Страшно допустить такое предположение.

— Да, — хладнокровно приговорил серо-жёлтый безбровый вождь. — Это — неизбежно, и придётся вырезать поражённые ткани. Но вот при нынешних волнениях будьте осторожны: самодержавие обрушится с карой на всех подозрительных, чтоб навести террор. Эти волнения могут плохо кончиться. И если какие-нибудь записи компрометирующие, бумаги, — не держите у себя. Или спрячьте у других, или сожгите.

…К чему себя готовит человек и каким вырастает потом. Николай Гиммер был очень слаб от рождения, отставал от сверстников, созерцательный, с несчастным детством в разбитой семье, отец — опустившийся алкоголик. А мать, нищая дворянка, акушерка, зарабатывала ещё и перепиской рукописей Толстого. И к 17 годам Гиммер был захвачен толстовскими идеями, вегетарианец, и полагал принципиально отказаться от университета. От Толстого же набрался критики политического режима и экономического строя. Развиваясь дальше и всё влево, он попал за нелегальщину в Таганку, был освобождён оттуда в Пятом году толпой и ощутил себя революционером, затем и законченным марксистом.

5

Эта минувшая зима была наполнена архидраматической борьбой и могла бы завершиться пролетарской революцией в Швейцарии, а через неё и во всей Европе, — если б не подлая измена шайки вождей, измаравших, оплевавших, заблудивших всю швейцарскую партию, а прежде и гаже всех — из-за негодяя, интригана, политической проститутки Гримма. И старой развалины Грёйлиха. И других грязных мерзавцев.

Поверхностному филистерскому взгляду, а таков взгляд большинства людей и даже революционеров, свойственно не замечать крохотных трещин в колоссальных горных массивах и не понимать, что через такую трещинку при умении можно развалить весь массив. Напуганному обывателю, наблюдающему всеевропейскую войну миллионных армий и миллионы снарядных разрывов, невозможно поверить, что остановить этот железный ураган (изменить его направление) доступно самой малой кучке, но предельно решительных лиц. Для того необходимо, правда, событие огромное — всеевропейская же революция. Но для европейской революции может достаточна оказаться революция в маленькой нейтральной, но трёхъязычной, но в сердце Европы, Швейцарии. А для того надо овладеть швейцарской социал-демократической партией. А если ею нельзя овладеть, то её нужно расколоть и выделить боеспособную часть. А для того, чтобы расколоть такую партию, как швейцарская, — не поверят оппортунисты и книжные теоретики! — нужно всего человек пять решительных членов этой партии, да человека три иностранца, способных дать местным товарищам программу, готовить им тексты и тезисы выступлений, писать для них брошюры.

Итак, чтобы перевернуть Европу, достаточно меньше десятка умелых неуклонных социалистов! Кегель-клуб.

В кегель-клубе обдуманное осенью, вокруг кегель-клуба и завязалось начало этой работы. После неудачи на ноябрьском съезде швейцарской партии, сперва как бы лишь для психологического реванша *молодых*, Ленин составил им реальные практические тезисы — об их задачах в их борьбе. Углубление многих месяцев, даже чтение ничтожных швейцарских газет — всё пригодилось тут. Потом вокруг тезисов стал собирать разъяснительные заседания с молодыми левыми. Пустили тезисы течь по всей Швейцарии. Замысел был: хотя бы одна самая крохотная местная партийная организация *приняла* бы их — и тогда законно можно было бы требовать, чтобы социалистические газеты их опубликовали, — и так тезисы потекли бы в обсуждение ещё шире. Искали, как напечатать тезисы листовками, как распространить их несколько тысяч (все — говоруны, безрукие, кто хандрит, кто притворяется, — никто не может толком распространить).

Начать вообще самостоятельное издание листовок? Но главная опора, вождь молодёжи, Мюнценберг ворчал, что *литературы* и без того хватает. (Как будто *такая* литература бывала у них когда!) Слабы швейцарские левые, дьявольски слабы.

И нетерпеливый взгляд революционера заметил другую желанную трещину, она обещала больше и быстрей: приближался новый съезд швейцарской партии, назначенный на конец января и специально посвящённый (верхушку вынудили обещать) *отношению к войне.* Замечательная это была возможность, чтобы растрепать, расколотить всё оппортунистическое руководство и на глазах швейцарских масс расстрелять его неотклонимыми жизненными вопросами: допустимо ли довести Швейцарию до войны? допустимо ли потомкам Вильгельма Телля умирать за международные банки? допустимо ли… и т. д., и т. д., тут можно много наработать. Такой съезд был ещё потому особенно опасен для оппортунистов, что в сентябре будущего 17-го года предстояли выборы в парламент, и как бы теперь ни постановили они — *за* отечество или *против,* — партия на выборах неизбежно расколется или даже перестанет существовать — а то и нужно нам!

Оппортунисты смекнули и стали маневрировать: нельзя ли вообще отложить опрометчиво обещанный съезд, нельзя ли *вообще никак* не решать военного вопроса, пока, мол, Швейцария ещё не воюет, или уж решать военный вопрос, когда кончатся все войны?

И они ещё не знали, *как* будет нанесен им удар, *как* будет поставлено: не просто «за отечество» или «против милитаризма», но — с безпощадной решительностью: невозможно бороться против войны *иначе* как через социалистическую революцию! Голосовать, по сути, уже не по поводу войны, а: за или против немедленной экспроприации банков и промышленности! В кегель-клубе деятельно готовилась резолюция для съезда — Платтен написал, слабо, Ленин пересоставил от имени Платтена. (Работа нелёгкая, но благодарная. Надо было всеми интернациональными силами помочь швейцарским левым.) Надо было заострять по всем направлениям: немедленно демобилизовать швейцарскую армию! защита Швейцарии — лицемерная фраза! именно *швейцарская* политика мира — преступна! Успех мог быть колоссален: такая резолюция швейцарского съезда вызвала бы самую восторженную поддержку рабочего класса всех цивилизованных стран!

Но — оппортунисты зашевелились. Конфиденциально узналось, что верхушка готовит *отложить* съезд, каковы наглецы! В таких случаях — предупреждающий удар! отнять инициативу! И поручили Бронскому на собрании цюрихской организации выставить резолюцию: «Против тайной закулисной агитации за отодвигание съезда! признаки впадения в социал-шовинизм, осудить!» А была возможность подправить подсчёт голосования — и сделали так, что резолюция принята! Хор-роший удар по центристам! — они ведь боятся прослыть шовинистами.

Но так обнаглела их шайка, что и этого не испугались: через день же собрали президиум партии и сбросили маску. (На президиуме были и Платтен, и Нобс, и Мюнценберг, так что всё известно достоверно.) Старый Грёйлих полез порочить всю цюрихскую партийную организацию: в ней, мол, много дезертиров, мы за них поручались перед властями, и можно бы ожидать, что именно в вопросе защиты родины они будут… А другой кричал: если партия будет так мараться, мы, сент-галленцы, выйдем из неё! эти товарищи невысокого мнения о швейцарских рабочих (и даже с намёком, что *иностранцы* мутят)… Ещё один закатился до шовинистической истерики: идите вы с вашими формулами международных конгрессов! Обсуждение военного вопроса во время войны — безумие! в такие минуты всякий народ, мол, соединяется в общности судьбы. (Со своими капиталистами…) Как же демобилизовать армию, если она защищает наши границы? Да, если Швейцарии возникнет опасность, то рабочий класс пойдёт её защищать! (Слушайте, слушайте!) Но безстыднее всех вёл себя Гримм. Председатель Циммервальда, Кинталя — и такой подлец в политике: что ж, война начнётся — а нам поднимать восстание?.. Делал гнусные намёки против *иностранцев* и молодых. И, соединясь с шовинистами, 7 против 5, с ничтожным перевесом именно его, гриммовского, центристского голоса — отложили съезд на *неопределённое время* (считай — до конца войны)… Неслыханно позорное решение! Полная измена Гримма.

Ах, мошенник, скотина, предатель, бешенство берёт! Так тем более теперь развернуть в партии войну как никогда! Оставалось одно: сбить Гримма с ног! Всё упиралось в Гримма — и важно было сейчас же ошельмовать его, разоблачить, сорвать маску.

Как в драке ищет рука, какой предмет подсобнее схватить и ударить, так и мозг политического бойца выхватывает молниевид-

ные извилины возможных ходов. Первая мысль была: Нэн! Необычно, что Нэн, не очень-то левый, голосовал за нас. Значит: выгоднее всего опрокидывать Гримма через Нэна! А как? Написать в газету Нэна открытое письмо, *публично* назвать Гримма мерзавцем и что невозможно дальше оставаться с ним в одной циммервальдской организации!.. Нет, не так, пусть в с е пишут открытые письма в газету Нэна, все, кого только найдём, — и под этой лавиной открытых писем и резолюций протеста похоронить Гримма навсегда! Каждая минута дорога, повсюду собирать левых — и направлять против Гримма!

Драматический момент. В Шо-де-Фоне присоединился верный Абрамович. В Женеве колебались Бриллиант и Гильбо.

А в Цюрихе вечер за вечером собирались левые и молодые, вырабатывали методы нападения. И стало понятно: открытых писем — мало. Надо совершить *политическое убийство* — чтобы Гримм уже не встал никогда.

И вот какая форма. Не теряя часа, подхватились вместе с Крупской, Зиновьевым, Радеком, Леви, все силы, какие были в тот момент, — и за много кварталов пошли к Мюнценбергу на квартиру. И тут, когда все решительные собрались, — Вилли позвонил по телефону и вызвал к себе Платтена, не объясняя ему, в чём дело, а — срочно! Надо было взять его в западню, неожиданно. Платтен последнее время явно боялся — и Гримма, и раскола, не хотел учиться интернациональному опыту, проявлял себя слишком швейцарцем, ограниченным швейцарцем, как, впрочем, и Нобс. (Если вспомнить — откуда взялись они? В Циммервальде они просто *записались* в «левые»…) Так вот, надо было взять Платтена врасплох, за горло.

Он вошёл — и когда увидел не одного Мюнценберга, как ожидал, а шестерых, плотно сжатых в комнатушке, трое впритиску на кровати, и все мрачные, — на большелобом открытом его лице, не приспособленном играть, выразилась растерянность, тревога. Хоть одного бы он искал себе в союзники или ободрительного! — но не было ни одного. Затолкнули, посадили его в угол — дальше от двери и за комодом, в тупик, а вшестером — ещё надвинулись, кто на стульях, ещё нагнулись, кто на кровати. И Мюнценберг (так по ролям) — звонким дерзким голосом объявил: *мы*, вот все мы, наша группа, решили немедленно и окончательно рвать с Гриммом и опозорить его на весь свет! Платтену — выбор: или с нами, или с Гриммом. Платтен заёрзал — а подвинуться некуда, заволновался, переглядывал лица, искал, кто помягче, но и Надя смотрела, как застывшая ведьма. Платтен лоб вытирал, мял подбородок свой безхарактерный, просил отсрочки, подумать, — он говорил, а все шестеро не шевелились, хмуро молчали и смотрели на него, как на врага (это забавник Радек всё придумал), — и это было самое страшное. Платтен растерялся, подавался, он предлагал: не надо же так сразу! послать Гримму предупреждение, предостережение… Нет!!! Всё— решено!!! И остаётся Платтену только выбор: или — с нами, в честном интернациональном союзе, или — со своим швейцарским предателем, и опозорим обоих вместе! И отвечать — сейчас же!

Двумя руками схватился Платтен за голову. Посидел.

Сдался.

Брошюру на опозорение поручили Радеку писать. И он — в ту же ночь, в одну ночь, искуривая трубку свою, без всякого труда мог написать, лентяй. Но — не написал. И ещё много часов пришлось Ленину ходить с ним по Цюриху, уговаривать и поджучивать, чтоб написал, да похлеще, как он один умеет. Всё-таки журналист — несравненный!

Следующий шаг — напали на Гримма в заседании Интернациональной Социалистической Комиссии. Сам Ленин не пошёл, чтоб не выставляться, а Зиновьев, Радек, Мюнценберг и Леви напали, что деятельность Гримма в Швейцарии — преступление, безчестие, педерастия! — а потому он должен быть исключён из циммервальдского руководства! (Свергнуть с престола.) Тут же напали на Гримма и в мюнценберговском молодёжном Интернационале. Тут же возникла идея добиваться внутрипартийного референдума — устроить съезд теперь же, в марте! А мотивировка референдума была (пришлось самому написать) лучшее во всей кампании: что отсрочка съезда есть *поражение социализма*!

Что поднялось! Какая буча и пыль! Ч-чудесно!! Вожди партии заревели от негодования, кинулись в опровержения! — кто ж может выстоять в социализме против смелого резкого принципиального обвинения с л е в а?! Один обвиняющий голос может свалить тысячу оппортунистов!

Ч-чудесно! Это — удалось! Это — и нужно было!

Ещё на кантональном партсъезде удалось собрать за резолюцию левых одну шестую часть голосов — это было крупной победой!

Но и — высшей точкой кампании. Стала она спадать.

Гримм бешено напал на референдум — и испугал наших молодых.

Лисье-осторожный Нобс публично отмежевался от референдума.

А Платтен — а Платтен смолчал, раскисляй… Вот так и строй на нём борьбу. Нет, он безнадёжен. Он не хочет учиться, как организовать революционную партию.

И даже брошюру Радека — отказались печатать: «Напечатаем — выгонят из партии!» Ну и *левые*! Ну и вояки!..

А Гримм, почувствовав нашу слабость, собрал архичастное совещание и пригласил левых. Мюнценберг и Бронский конечно не пошли. А Нобс и Платтен поплелись… к хозяину.

Нет, они на три четверти уже свалились к социал-патриотизму. Нет, левые в Швейцарии — архидрянь, безхарактерные люди.

Запутывать, замазывать разногласия, вместо того чтобы их заострять, — какая ж это подлость!

А тут совершилась возмутительная история с Бронским. На общегородском собрании выбирали правление, несколько избранных отказались, поэтому список спустился ниже — и счастливо захватил Бронского, Бронский вдруг попал! Так обнаглевшие правые заявили, что с Бронским дружной работы не будет, они отказываются. А Нобс был председателем — и согласился выборы аннулировать!

И Платтен — скушал эту оплеуху…

Ленин сидел на собрании — молча, но вне себя! И уже на минуту не заснул в ту ночь.

Вообще, от этих ежедневных собраний — нервы швах, головные боли, сна нет.

Да вся швейцарская партия — насквозь оппортунисты, благотворительное учреждение для мещан. Или чиновники, или будущие чиновники, или горстка, запуганная чиновниками.

Разбежались левые от нашей помощи — и в Цюрихе, и в Берне. У одного Абрамовича хороши дела, но он далеко. А Гильбо и Бриллиант колеблются.

И вожди молодых, даже острый, резкий, непреклонный Мюнценберг, — потянулись на компромисс. Мюнценберг! — и тот отклонил брошюру Радека! (И уехал Радек в Давос, подлечиться, тоже замучился.)

Было бы смешно, если бы не так гнусно. Видимо, в Цюрихе — конец возни с левыми…

Но — не надо жалеть, хоть и проигрыш. Знал всегда, как гнилы европейские социалистические партии. Теперь и на практике сам испытал.

Не надо жалеть. Что было сделано — не пропадёт совсем бесследно. После нас, преемники наши — а создадут левую партию в Швейцарии!

23 февраля назначено было собрание левых — и даже не состоялось: просто не пришли, никому не нужно. Собирался Ленин доклад делать — сходил впустую, вернулся в бешенстве. В бешенстве на всю ночь.

Он завидовал — Инессе, Зиновьеву, как они там где-то ездили, выступали с рефератами: там видишь перед собой не социалистических мещан, а — свежих людей, рабочих, толпу, и влияешь сразу на массу.

Тут много было и других расстройств. С Радеком — вперемежку дружба и ссоры (он невыносим, когда в академизм лезет), а Инесса и Зиновьев восприняли их разлад тяжело. То ссора с Усиевичем. (А с Бухариным и не вылезали из ссоры, хорошо хоть не вынесли на публичность.) То Шкловский растратил партийную кассу. То Инесса вздумала «пересматривать» вопрос о защите отечества — и сколько же лишних убеждений пришлось потратить.

В письмах. Так и не приехала в Цюрих ни разу.

Скоро год…

6

Правильно говорят: тюрьма да сума дадут ума. В чём хочешь дадут. Прежде-то Козьма по пустякам попадал, сразу и выпускали. А теперь предъявили 102-ю статью Уголовного уложения: преступная организация, направленная на свержение…

Как и вся Рабочая группа, арестован был Козьма Гвоздев 27 января — но пристигло это его при воспалении лёгких, и дали ему три недели дома отлёживаться, только вот пять дней, как в тюрьму забрали. А ребята уже здесь и месяц.

Дома-то лежать куда полегше — и притекают новости, и газеты читай, и можно письмо отослать-получить, и знал Козьма, как весь рабочий Питер перебудоражен арестом их Группы, и Гучков

хлопотал за них грозно. Поднялся шум в их заступу, и не было туги, что вот теперь им сидеть долго, никакого тяжкого наказания не должно бы лечь: ни на кого же не опускалось, всё в стране плыло как пьяное, и вон даже убийц Распутина не арестовывали, — хотя нашего-то брата всегда легче сажают, а возвышенных — не-е… Но с ареста Группы был Козьма как в спине переломан, как палками избит весь: дело делал неправильное? или неправильно? Значит, не совладал все концы стянуть, не укрепил как надо. Да как его было от начала делать? Большевики кричали: «Стачколомы! предатели!» А большие газеты писали: «Они — настоящие патриоты», — и так заляпывали перед большевиками. Но самим заявить: нет, мы не патриоты! мы революционеры! — перед большевиками всё равно не оправдаешься, а перед правительством будешь изменник, тут вас и разгонят.

Так ведь — и патриоты же мы.

То и обидно, такое положение: ни в какую сторону не оправдаться, хоть вовсе дела не делай.

За эти месяцы почтил Козьму двумя письмами сам Церетели из ссылки. И ведь скажи: в Сибири сколько лет, а понимает дело лучше многих питерских. Да, Ираклий Георгиевич, ответил ему Козьма, вот так и я ищу-добиваюсь: ведь кроме нужд рабочего класса есть же и нужды самой промышленности, не останавливать её нашей борьбой. И есть нужды воюющей страны и армии. И всё это надо суметь зара́з пролить через одно русло. И в Европе как-то же умеют, а почему не мы? Да военное поражение России и отзовётся раньше всего на ком? — на нас же, рабочих. Классово борись-борись, но не так же, чтоб войну пропереть.

А что ж — пушки хлопайте чем хотите? А наших кройте в окопах — не жаль?..

Но приехал в декабре французский министр труда, и хоть в груди темнилось, в голове темнилось, а выговаривал Козьма за быстроспешными советчиками: «Ознакомить через вас пролетариат и демократию Франции и весь цивилизованный мир, как русское правительство собственными руками разрушает оборону и стремится погубить свою страну. При удобном случае оно не задумается совершить и ещё одно клятвопреступление, предать своих союзников». Объявились в декабре германские мирные предложения, и совали секретари речь: «Добиться контроля пролетариата над действиями дипломатий!» И другие члены группы, два десятка, поддаваясь чужому уму, выступая там и сям, — чего только не наболтали. Ещё удивляться, что правительство столько времени терпело. С декабря уже так и зажалась группа: не большевики ворвутся громить, так полиция, и отправят всех в Сибирь. 3 января из Военного округа пришло Гучкову письмо: «Рабочая Группа — противоправительственное сообщество, обсуждающее низвержение правительства и заключение мира. Поэтому на каждом заседании Группы должен присутствовать специально назначенный чиновник». Всего-то! Во время такой войны имеет правительство такое право, а помеха будет только листовкам. Так Борис Осипыч Богданов, главный теперь секретарь Группы, напёр: «Не допустить такого издевательства над свободой!» На следующие дни являлся чиновник — отменяли заседание, собирались втихомолку. Тут подходила февральская сессия Думы — и наседал Богданов: демократия должна вмешаться в затянувшееся единоборство между цензовым обществом и самодержавием! самое время ударить! И так объяснял обоесторонне: если и дальше терпеливо сдерживаться — это значит пропустить роковой момент небывалого падения престижа царской власти; а если вызвать рабочий Петроград на улицу, но в неудачный момент — этот призыв может стать роковым для Рабочей группы.

И всё это теперь проводилось не в заседаниях Группы, а между членами её, сокрыто, и сокрыто же слались агитаторы по заводам готовить выступление к созыву Думы. А тут — задержали нескольких членов московской группы (и Пумпянский попался там), обыскали непримиримую самарскую, — и Богданов заметался: момент борьбы пришёл, нельзя его упустить! И принёс — «Письмо к рабочим всех фабрик и заводов Петрограда». Де — собирайте собрания, читайте и обсуждайте. Пользуясь военным временем, правительство закрепощает рабочий класс. Ликвидировать войну должен сам народ, а не самодержавие. Насущнейшая задача момента — учреждение временного правительства! Демократии нельзя больше ждать и молчать! Теперь мы выросли, и пойдём *не там* и *не так*, как 12 лет назад к Зимнему Дворцу, — мы пойдём с властными требованиями, и пусть не будет среди нас ни одного изменника, который скрылся бы домой от общего дела!

Страсть не хотел Козьма такое пускать — но и удержать не мог. Да каково бы Рабочей группе смолчать, если даже бунтующие баре поносили самодержавие хуже нельзя. И никого их не трогали!

Против сердца, из последних, выпустил воззвание.

И ещё две недели после того не арестовывали Рабочую группу.

Бунтующих бар — не трогали, а рабочую скотинку — всё ж схватили.

Кому что дозволено.

А Ацетилен-Газ — сбежал, не попался.

И кто только не донимал Рабочую группу в предательстве. А вот все они свободные остались, а Рабочую группу посадили.

Тюрьма да сума дадут ума.

Обидно, что Сашка Шляпников небось торжество правит: вот, мол, лакеи, — служили вы, служили, за свою службу и в тюрьму угодили. А я всё время наперекор — и на воле.

Только Александр Иваныч Гучков и защищал их: по арестному следу тотчас собирал видных думцев, печатал заявление, что это — тяжёлый удар по национальной обороне, погашает в массах веру в плодотворность общей работы и только усилит брожение в рабочей среде. Да Коновалов выступал в самой Думе, что Рабочая группа была патриотичной, служила обороне и умиротворению политических страстей; что Рабочая группа была оплотом против других опасных течений в рабочей массе, а правительство бессмысленно разрушило её; совсем же не вмешиваться в политику рабочие никак не могли, когда все другие вмешиваются, а правительство — так прямо ведёт страну к гибели.

Козьма и его однодельцы в Крестах уверены были, что Протопопов уже сам напугался, их арестовавши, что правительство не выдержит, долго им сидеть не придётся.

Гнело Козьму не то, что из тюрьмы не выпустят, — а как он с делом не управился.

Нет в жизни простоты и прямого пути, всё закручено, и у всех головы закрученные. И меж ними вот — равновесь.

И гучковский промышленный комитет — тоже вода тёмная. За отечество они вроде и стояли, а денег своих тоже нигде не упускали, даже и сильно приращивали. За отечество — да, но и власть в том отечестве они хотели сами захватить, это верно.

Уже из-под домашнего ареста, сносясь, передал Козьма по заводам и убедил: не надо к открытию Думы общей забастовки. А — все к станкам. Дольше бастуем — свои же силы ослабляем. Наши же интересы зовут нас к станкам.

Как мог, так вёл Козьма. Настрелился. Всё что-то упускал, не так делал, прошибался, и все были недовольны. А посадили — заботы с плеч. Отдохнуть теперь на тюремных нарах.

Да не отдыхалось, скребло. Не манило и освобождение: опять идти в контору на Литейный, и опять всё та же затурмучка.

Пока в тюрьму принимали — прикоснулся Козьма и уголовников. И опрокинулось всё, как ни царя нет, ни Думы, ни социал-демократов, — а вот упрут сейчас твои любимые сапоги с лакированными голенищами, на пол не ставь, да смотри и с ног не снимут ли. Четвёртый десяток жил Козьма в исполегающем слое, ниже которого будто и не бывает. А вот, узнавалось, и пониже вас люди есть: тёмные, буйные, от которых и самое скромное имущество береги, да опасайся, чтоб они тебя самого революционно не сковырнули. На воле такие люди порознь живут, на село, на слободу — один-два, конокрад или вор известный, жулик, мазила, порою в шайки стягиваются, но шайками вместе их никто не видит, а в тюрьме они вот собраны. Поглядишь: а вот ежели э т и когда плечами двинут соединённо — так что будет?

А приняли Гвоздева в больничную камеру, и тут нашёл он двух своих — Комарова с Обуховского и Кузьмина с Трубочного. Жалко не с Богдановым. Пока по одиночкам их не рассовали — заняли три койки рядом, — и уж вот толковали вдоволь.

В каменном мешке — а думка вольна.

Перетолковали все рабочегруппские дела — и ни хрена не вывели: как же им правильно было?

А из давнего вспомнили такую называемую «махаевщину». Откуда она взялась? — никто не знал, а среди социал-демократов никак её не звали иначе как «махаевщина» и запрещали знать. Оттого ли «махаевщина», что рукой махнуть? Говорилось по той махаевщине, что интеллигенция — это паразитский класс, который живёт за счёт рабочих, а хочет господствовать надо всем обществом. Для того интеллигенты пока льстят рабочим, что они — самая прогрессивная часть человечества, а между тем внушают идеи, которых рабочие не в силёнках ни проверить, ни оценить. Такой обман есть и социализм: всё это подстроено, чтобы белоручкам захватить власть. По махаевщине же выходило: не надо рабочему классу брать власть, пока он не имеет образования, — обманут его, а надо вести борьбу только экономическую.

А ещё ведь жив, невесть где, Ушаков — наш, рабочий. Заклевали его. Он тоже говорил: зачем нам царя свергать? Трудящийся не может быть у власти, потому что необразован. А захватят власть господа интеллигенты. Так лучше пусть царь призовёт выборных от народа и будет с ними советоваться.

Вроде и верно, а?..

А ведь был же и Зубатов, вспоминали теперь с ребятами. Зубатова тоже прокляли социал-демократы и чтоб его не вспоминать иначе, как чёртом. А он, с крупных полицейских постов, то же самое говорил рабочим: зачем вам конституция? зачем вам политические свободы? — всё это нужно только вашему врагу, буржуазии, чтоб усилиться самой, и против власти, и против вас же. А вам нужен 8-часовой рабочий день и повышение заработков, — так этого вам самодержавие ещё лучше добьётся от фабрикантов, вы ему — верные сыновья, правительство вас и поддержит, а буржуазия — она-то и бунтует против государства.

А может и верно?

И одно время, в их троих ещё неразумную молодость, говорят, зубатовцы брали в Москве полный верх, и социал-демократов забили.

А вот почему-то не вышло.

Надёжа рабочего — только свой брат рабочий, верно.

Ежели переворот, то без образованных — никак не обойтись ведь. Как же без них страною управить? Ведь на какое ремесло кого нанесло. Государство вести — обык особенный.

А доверься образованным — они сразу и запутывают.

Закружилась, запуталась и Рабочая группа — и всё рабочее дело — и даже матушка Русь — и нет концов.

Уж поздно было, а сон в башку не входил, отоспались тут.

Раскинулся Козьма на койке, руками-ногами на все четыре угла, волоса его вольные вперепут, с верхней губы чуть усишки покалывают, не брил их этот месяц домашнего ареста, — и смотрел, смотрел в свод потолка. Беловато-серый, ровный, а где отколуп, где пятно — на каждое смотришь, как на что-то важное, койкой плывёшь под ним, как под небом.

И повёл вполголоса:

Ах, во том ли стружке, во снаряженном…

А свои ребята рядом подвзяли:

Удалых гребцов сорок два сидят.

Как это с песнями? Совсем о другом, а о твоём тоже:

Как один-то из них, добрый молодец,
Призадумался, пригорюнился.

Ещё и от другой стены стали вытягивать — наше-то, общее, все знают:

Эх, вы братцы мои, вы товарищи!
Сослужите вы мне службу верную…

А просить-то — изо всего целого мира только и осталось, только и выдохнуть:

Киньте-бросьте меня в Волгу-матушку,
Утопите вы в ней грусть-тоску мою…

Так попели немного, всё протяжные, всё грустные, — на сердце помаслилось, утишело.

И так, волос не распутавши, в подружку-подушку — унеси меня на ночь, да подальше!

7′

(К вечеру 23 февраля)

Для петроградского полицейского начальства события этого дня — и возникновение, и ход их, и окончание — остались необъяснимой случайностью. Ни единый сигнал осведомителя не предупредил о них, да видно, и из партийных вожаков никто вчера вечером заранее ничего не задумывал.

Разве только вот что: революционеры всегда придираются к какому-нибудь *дню*. 9 января у них не вышло, в день открытия Думы не вышло, а сегодня какой-то у них «международный женский».

Немногие забастовки начались сегодня утром на Выборгской и Петербургской сторонах, когда там недостало в лавках чёрного хлеба. Почему вдруг недостало? В пекарни отпускалось ровно столько же ржаной муки, сколько и в предыдущие дни, из расчёта полтора фунта на жителя, а на рабочих по два. Правда, никто не проверял пекарей, даже и мысли о таком контроле не возникало. (А между тем многие из них стали не выпекать хлеб, но продавать муку в уезд, где она была вдвое дороже.) Недостать могло по единственной причине: возникшему неудержимому слуху, что мука перестанет доставляться в Петроград, что скоро в городе будут ограничения в хлебе, то ли меньше его будет, то ли выдавать по карточкам, — этот слух мог возникнуть как отзвук думских прений и проекта городской думы вводить карточки. Этот слух мог быть развеян настойчивым правительственным объяснением, либо уж введением карточек, устойчивого распределения, — но ничего подобного не сделано, и слух загорелся: надо запасаться, сушить сухари! А так как в руки отпускали сколько угодно, то покупали вдвое и втрое, — и кому-то хлеба не хватало.

А те рабочие, которые с утра забастовали, — по известной изученной тактике, чтоб самим было легче, — шли на соседние заводы, силой выгонять других. Само собою были закрыты администрацией ещё вчера крупный Путиловский завод и его верфь — из-за того, что уже несколько недель на этом военном заводе упорно нарушался порядок работ — с какими-то дикими требованиями, как будто по чьему наущению: сразу добавить половину заработной платы. Но за весь этот день закрытие Путиловского не успело с Нарвской стороны ни распространиться, ни повлиять на столицу, и как раз Нарвский район оставался спокоен. На Франко-Русском заводе на Пряжке собрался трёхтысячный митинг, высказывались и бастовать, и против, были голоса против войны, но говорили и за, все бранились о недостатке чёрного хлеба, а разошлись спокойно, не забастовав. Не были затронуты волненьями ни Охта, ни Пороховые, ни Московская и Невская стороны. Забастовки распространялись там, где они начались, — на севере столицы, а пока оттуда не был закрыт переход мостами — перенесены в Литейную и Рождественскую части.

А быстрей забастовок в этот день распространилась по столице новая шутка: отнимать трамвайные ручки. Всем понравилось, огненно-весело распространилось по городу, полутора десятком вагонов закупорили все линии, а сотня трамваев сама уехала в парки. Вечером в Лесном рабочие опрокинули один прицепной вагон, но как озорство, — и стояли рядом, не мешая полиции поднимать его.

Не любили полицию, все до последнего переняли кличку «фараоны».

Другая мода пошла — бить стёкла в лавках и разорять, а то и грабить. Начали с булочных и с мелочных лавок, но когда толпа валила по Суворовскому или по Большому Петроградской стороны и подростки впереди били уже кряду все магазинные стёкла — как было толпе удержаться? — стали грабить и овощные, и зеленные, сгребали и выручку из кассовых ящиков. Вечером на Смольном проспекте ограбили уже и ювелирный.

И везде до прибытия полиции толпа разбегалась. Толпа нигде не хотела биться, без труда разгонялась полицией повсюду, но, рассеянная в одних местах, упорно и тотчас собиралась в других. Правда, за день случились и нападения на полицейских и на заводских мастеров, несколько их отправлены в больницу, кто без сознания, или с вывихом челюсти, или с переломом руки. А кроме сторонников порядка — увечий не понёс никто. При всех разгонах, — а на Большой Дворянской разгоняли толпу в четыре тысячи, на Литейном, на Невском по тысяче не раз, — не был повреждён ни один демонстрант. Нигде не было применено оружие, и за весь день в городе не раздалось ни выстрела. Не был высунут за весь день и ни один красный флаг, ни лозунг, толпа не была никем никак подготовлена, и не замечалось у неё руководителей — даже у Казанского собора, самого чувствительного места столицы, самого излюбленного революционерами, откуда всегда всё в Петербурге начиналось.

К вечеру стал восстанавливаться порядок и на Петербургской стороне и на Выборгской, снова безпрепятственно пошли по всему городу трамваи, возобновилась и обычная вечерняя жизнь Невского, хотя рабочие необычно присутствовали здесь, *гуляли* среди барственной и состоятельной публики, тем пугая её. Патрули городовых под руководством приставов «сортировали» публику, изгоняя пришельцев с чёрных окраин, с молодёжью это опять приняло характер игры, довольно беззлобной.

Так в этот день обе стороны начали, как нехотя, самонавязанный как бы спектакль.

В ходе дня градоначальник Балк просил для полиции армейской помощи — и получал наряды из полков 9-го кавалерийского из Красного Села и 1-го Донского, только что прибывшего в Петроград и пополненного новичками. Донцы лениво вели себя, но кое-где всё же помогали.

И поскольку днём привлекались к действиям отчасти и войска, то поздно вечером в градоначальстве совещание возглавил командующий Округом генерал Хабалов. Командующий же петроградской гвардией (а главным образом гвардия — только по названию — в Петрограде и стояла) генерал Чебыкин незадолго перед тем уехал в отпуск — и командиром гвардейских частей и, значит, начальником охраны столицы стал полковник Павленко, недавно с фронта, ещё не долеченный после тяжёлой контузии, больной и совершенно не знакомый даже с расположением петроградских улиц.

Департамент же полиции, ни начальник петроградского Охранного отделения генерал Глобачёв не имели сведений объяснить происшедшее сегодня и не могли указать на мотивы выступления. Они не исключали стечения случайностей, среди них — и наступившую хорошую погоду. Уже много месяцев Охранное отделение предупреждало о нарастании революционной ситуации вообще. Но именно в эти последние дни — ничего не предвидело. И — по какому же поводу возникло?

Голод? Никакого голода в столице не было. Купить можно было решительно всё без карточек, а по карточкам — сахар. Благополучно было с маслом, рыбой солёной и свежей, битой птицей. Вероятно, следовало теперь объявить населению, что муки достаточно.

А все остальные признаки были благоприятные, начальник Охранного отделения склонялся предположить, что завтра волнений вообще никаких не будет.

И на совещании в градоначальстве никто не предложил и не принял никаких решительных мер. Несмотря на ранения нескольких полицейских и заводских мастеров — не предложено было кого-либо арестовывать или разыскивать. Лишь приказано было войскам на завтра быть готовыми занять отдельные районы города.

Градоначальник обо всём писал рапорт министру Протопопову, который, впрочем, и своими глазами всё сегодняшнее мог видеть.

А надо ли было командующему Хабалову докладывать в Ставку Верховного? Да как будто ничего такого не произошло, о чём должен был докладывать строевой генерал.

Была уверенность, что порядок завтра будет водворён. И участники совещания разошлись спокойно после полуночи, с Гороховой разъехались по спящему, мирному полутёмному городу.

А заседания Совета министров в этот день вообще не было: они обычно собирались по пятницам, значит завтра.

8

Если из-под ватного одеяла чуть высунуть нос и открыть глаза — увидишь грубо беленную стенку дощатого домика при огоньке ночника, недавно таком перепуганном, но всё ж не задутом, а постепенно укачавшемся, усмирившемся, а с ним и все тени очертились определённо по стенам. И — полно и глубоко под морозными звёздами молчание Мустамяк, самого далёкого, глухого петербургского дачного места.

Эта старая тахта, одни пружины провалены, другие выпирают, так и не подсохла хорошо, ещё не прогрелась от осеннего насырения, от вымораживания за всю зиму, хотя они топили уже больше суток и дров не жалели. В этот раз переночевали в Петрограде только одну ночь, а вчера поздно добрались сюда. Но ни в первый петроградский вечер, ни в дороге, ни в сидении тут у огня, ни сегодняшним медленным просторным днём — Георг не открыл главного, от чего решительно менялась вся обстановка.

Ещё они ходили гулять под лёгким снежком и в гости обедать на другую дачу, в знакомую профессорскую семью, и Ольда как бы рассеянно выдавала их отношения, обмолвясь «ты», или ладонью на его руку, остерегая от лишней рюмки, — так что её любимые старички предположить не могли, что Ольда Орестовна была с ними двумя знакома лучше, чем со своим спутником. «Sic itur ad astra!»* — повторял Воротынцеву старичок своё первое суждение о первой книге Андозерской.

* Так идут к звёздам *(лат.)*.

Женщина выдающихся качеств, как Ольда Андозерская, имеет свои особые трудности в построении интимной сферы. На научные работы и успехи укатили лучшие её годы, и за это время разобраны были в мужья возможные спутники, достойные её. А ещё стесняло — само профессорство: не спутник для женщины тот, кто ниже её. Как говорится, замужество есть шапка на голову женщины, шапка для боярыни. Ольда любила и вслух повторяла Марину Мнишек:

Чтоб об руку с тобой могла я смело
Пуститься в жизнь — не с детской слепотой,
Не как раба желаний лёгких мужа.

Покрыть голову не той короной — это на всю жизнь, и погибла жизнь, уж лучше непокрытой.

И Ольда Орестовна сумела так утвердить себя в глазах всех, что не доводилось ей встретить сожалительного взгляда, а приняли все, что такой незаурядной даме и не нужен обычный удел. В этой наблещенной и льстящей броне она и ходила посегодня — но втайне знала, что внутри неё вот посквозило неуверенностью, неполнотой. И даже вдыхая волнующий запах старых книжных корешков (а раскроешь книгу — удар запаха! потом он слабеет, но всё ещё уловим) — в самые счастливые часы работы, стало проступать ей, как не было прежде, что ведь она — одна, одна. Столь несомненно превосходная — но и никем не доискиваемая?..

В октябре ей вздумалось привлечь этого случайного полковника, и даже усилия не понадобилось, так радостно и послушно он пошёл, — даже грозило оказаться и скучным. Но он удивил и занял соединением мужества и безопытности, — резвый, необструганный. Как деревенский парень смышлёный, за пахотой не ходивший в сельскую школу, без внятия, что оно такое, грамота, для кого «Г» — только коса, а «С» — серп, не буквы, а подучить его — уже б и гимназию кончал. Но он занял те осенние шесть дней её так самоуверенно, как будто всю жизнь она и ждала только его. Расспрашивал о чём угодно — о Германии, Франции, о теориях, о сегодняшнем университете, — только обминул спросить о самой женской жизни её, как бы вообще не предполагая этой стороны, — всё из той же неграмотности?

Ольду тоже затянуло тогда, но хотя допытывала она Георга о жене, скорее из привычки со всех сторон обглядывать всякое встреченное лицо, событие, — а представить себя открыто связан-

ной с офицером оставалось невозможно. Но вот он уехал, писал хотя редко, но пылко, а эти зимние месяцы всё больше мрачнело, гневилось, пошатывалось вокруг, и свой собственный озноб начинал бить явственней, — и Ольде вдруг так просто уяснилось: вот именно он бы и был ей муж! Из своей профессорско-интеллигентской среды всякий будет измерен: а как он соотносится с профессором Андозерской? — и если мельче, значит, вышла по безвыходности. А боевой полковник? никому и в голову не придёт прикладывать эту мерку, все примут как её чудачество: выйти за офицера! Если на маленькую голову её, начинённую мыслями, не находилось точёной короны — пусть будет просто шапка, но с которой струилось бы мужество на зябкие плечи.

И она звала его — приехать сейчас в Петербург. И, ожидая последние недели и встретив позавчера у себя на Песочной, окончательно решила, что с Георгом она соединяется, что минуло время забав и время переборов, и в её тридцать семь лет нельзя жаловаться, что союз плох. Конечно, нужно ждать конца войны. Но при его нетёсаной увальности ещё сколько потребуется разъяснений, советов и поддержки, пока он пройдёт не такой-то простой путь разъединения с нынешней женой, это тоже могут быть бои, к которым он совсем не готов, конечно.

Но чего она никак не ждала, какой нелепости никто б и предположить не мог, — он объявил ей только сегодня вечером. Опять долго сидели на чурбаках перед распахнутой печной топкой, как перед камином, всё клали, всё клали дрова и не сводили глаз с огня, в благодатном пышеньи его. Рядом с Георгом Ольда весело уничтожалась в малости своего роста, малости рук, малости ног, а он по-разному умещал её, складывал, изгибал, всю забирал, играл с её волосами, то распушивал вкруг головы, то стягивал над затылком и окунался лицом, как в пену. И вдруг — рассказал…

Изумительная своеродная тупость! Не потому так поздно рассказал, что хотел бы скрыть (хотя, видно, побаивался), а искренне считал, что это второстепенно и почти не относится к их блаженству в этом далёком доме у пляшущего огня. Рассказал, что ещё тогда, в октябре, воротясь к жене, тут же немедленно и открыл ей…

Как? То есть — к а к ? Сам? Без повода? К чему? Зачем? Хотел ли он (сладко у сердца, котёнок в незнакомых руках) уже тогда, в неделю готовый, начать расставание с женой? Он объявил ей своё *решение*? Нет… Так тогда — зачем же?

Обрушилась крыша, выбило стекло, морозный воздух тёк на них через пролом, уже не действовали больше законы огня, — а он так-таки ничего не понимал, для него ничего не изменилось, всё так же тянул её к себе на колени.

Но из котёнка отяжелев в утюг клиновидный, Ольда осела, отсела, требовала объяснений. Тут столько нужно было понять: *что* он имел в виду, когда объявлял жене? (Трудней всего было добиться.) И как вела себя жена? И как потом он? И опять она?.. Оказалась тут долгая история, Ольда сжигалась, а Георг не мог точно всё рассказать, потому что в голове у него перепуталось, что за чем шло и кто точно как говорил, он не думал, что это когда-нибудь понадобится. А почему он ни в одном письме ни разу… ? Да всё потому же. И — долго описывать, вот рассказать проворнее. Но от этого открыва тогда в октябре и до его сдачи…

— Какой сдачи?

…как изменилось его соотношение и с женой и с Ольдой, он понимает?

Нет, честно: не понимал, ничего не изменилось.

Не изменилось, если он никогда серьёзно об Ольде не думал.

А в этом письме жены, тогда в Ставку…? Да я уже сказал. Нет, ты вспомни точно! Стало неуместно при печном огне. Давай снова зажжём лампу. И опять — за стол. О, как томительно. Так тогда и поужинаем второй раз? Да хоть и поужинаем. И снова вопросы, и снова ответы. Что же именно ты написал ей из Могилёва? Ну, вот этого, убей, никогда не помню, написал и тут же отвалилось, я своих писем не перечитываю. О, как скучно! Собирались часов в восемь лечь, смотри — второй час ночи. Ну что об этом, прошлом, — опять и опять?

Спать, спать, он влёк её и согревал, сам искренне не изменясь и верить не хотя, не замечая, что Ольда могла измениться вот тут уже, у печки. И быстро заснул, глубоко, покойно, так что и верчение ольдиной безсонницы нисколько не будило его. Он заснул счастливым бревном, оставив ей все задачи и все решения.

И вот ночные часы, уже выныривающие к утру, Ольда раскладывала аналитично, по элементам, и достраивала полноту картины при недостающих клетках. Прижимаясь к этому горячему, дурному, всё более ей необходимому бревну, она восполнялась от него теплом и во сне его решала его будущее, даже безповоротнее, чем сутки назад. Раз уж так, то не откладывать было того, что прежде допускало постепенный ход.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЕ ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

9

— Ты спростодушничал неимоверно. Со стороны даже нельзя поверить, ты же не мальчик. Ты естественно уезжал на фронт — и хорошо. Зачем же ты завёл с ней разговор?

Не отвечал, не шевелился почти.

— Чтобы понять себя? Но это ты и должен был сделать сам. Ты не дал проясниться, окрепнуть собственному чувству. На это немало времени надо, но оно у тебя как раз было. А ты сам оттолкнул его.

Да, Георг теперь понимал вполне. Он раскаивался.

— Такие грузы нельзя перекладывать в сердце ничьё другое. А ты всё вручил ей, как *она* решит. Ты нашу с тобой судьбу вручил ей.

Ну, не очень-то. Он только…

— Как же нет? Смотри сам… И почему ты мог подумать, что она будет решать в твою пользу или тем более в нашу с тобой? Редкая женщина не будет удерживать мужа во что бы то ни стало. Женщина не может возвыситься и рассуждать безпристрастно.

Ничем-ничем нельзя ему отгородиться от беседы. А вылезать из-под одеяла в похолодавшую комнату незачем, и за окном пасмурно.

— Эти несколько месяцев проверять себя, советоваться — должны были мы с тобой. А когда уже стало бы ясно нам — тогда бы объявили ей.

Ну, может быть, это тоже не совсем честно…

— Дорогой мой, мы — нуждались в таком периоде. У нас с тобой сближение произошло слишком стремительно. Я не считаю, что… Но и не так же быстро! Мы себя обокрали, чего-то у нас теперь нет, и нужно время, чтобы это восполнить.

Шерстью подбородка молча водил по худенькому предплечью.

— А она, конечно, сразу поставила тебе ультиматум.

Ультиматум? Никакого.

— Да вот тó письмо! Самый настоящий ультиматум: немедленно выбирай! Одну из нас не увидишь!

— Да какой же это ультиматум, Ольженька? Это просто — раненый крик.

— Да никакой не раненый крик, дурачок. Это самый настоящий ультиматум. Вызов и борьба. Насилие над твоим несозревшим чувством, — вот тут его и давить, когда ты открылся по простодушию. Она — в выигрышном положении: у нас с тобой только розовое начало…

Нет, алое! — это не словами…

— …ещё никакого прошлого, — а у вас там десять лет, сотни уютных привычек, общих воспоминаний, знакомых, вырваться кажется невозможным: всё крушить? ломать? всем объяснять?

— Но знаешь, если и получилось у неё так, то не из расчёта… Не из расчёта принудить и вернуть, а — выход из горя, хотя бы путём жертвы… Она готова уступить…

— Г д е ты видишь жертву? Она жертвует тем, чего у неё уже не было. Только подтверди, что я — первая и несравненная! Она рискует, не рискуя. Достаточно зная тебя, как ты её — не знаешь.

— Но ты — тем более не…

— Нет, я — знаю! Даже вот по этим её приёмам. Она «отпустила» тебя — и этим сразу победила! И угрожала самоубийством. Безсовестный приём. И ты — сдался!

Очень омрачился.

— Хотя это касалось и моей судьбы тоже. Ведь ты сдавался — за нас обоих.

— Судьбы! Вот начнётся весеннее наступление — может убьют, и не то что судьбы, и не то что меня, а и вообще никакого Воротынцева на свете не останется.

Стихла:

— Жалеешь, что — нету?

— Раньше не жалел, а вот стал.

— Не жалей. Для смерти — может быть. А для жизни… Я — никогда и не хотела. Ребёнок превращает мать — единственно в охранительницу, и это сковывает всё творческое, останавливает развитие личности.

Но — не уклоняться:

— Ты нарушил не счастье её, а безпечный покой. Я ведь — не на её место пришла. Она тебя потеряла за годы, когда вы ещё оба этого не знали. А теперь — ринулась скорее подчинить тебя вновь.

С сожалением поглядывала на этого воина, такой растяпа против женского тканья. Искала понеобидней:

— Ты был — глинокоп. Тебе ничего не попадалось, кроме глины. Прости меня, ты просто ребёнок. — Поцеловала, приласкалась. — Но так жить нельзя. Ты погибнешь.

Чуть приласкала неосторожно, — а он совсем, оказывается, и не ребёнок. И — разорвана вся лекция, рассыпались доводы, как из прорванной корзины, она ещё пыталась держать связь речи, убежденье сейчас важнее всех забав, — но нет, не слышал уже всё равно.

И опять лежали, куда спешить. Подниматься — так сразу дрова готовить, кончились. А не поднимаясь — вот тут, у плеча и на ухо, как ангел или бесёнок, тихим методическим наговором, ещё сколько ему можно неуклонно вложить.

Он слушал, слушал, и:

— Всё-таки это ужасно. Меня удручает. Неужели между мужчинами и женщинами — как на вечной войне? Так жестоко, расчётливо, сложно? А я думал — только тут и отдыхают.

Не убедила.

Бои-то ему и предстояли, а он никак не готов.

— Как обмывают порез — не в горячей воде, не в тёплой, а в холодной, — вот так надо и тебе с Алиной объясняться. Твоя ошибка, что ты распустил всё в теплоте и сам в том раскис. А в *таких* делах нельзя быть добреньким: это и есть море тёплой воды, в нём всё безнадёжно размокает.

— Да, но… Ты как-то неправильно думаешь, что я её — не люблю? Ты пойми, я её — люблю, Алину!

Вот этого — она как раз не принимала. Этого наверняка не было. Если б он любил Алину (это — не ему) — он не пошёл бы в руки так готовно, за несколько взглядов, сразу. Но и надо же цель поставить. Как идти. Он этого не умеет… а самое было бы безболезненное:

— Послушай, не надо рубить жестоко, не пойми меня так. Но… было бы легче, если бы у неё появился утешитель. Ты не думаешь? Это возможно?..

Настолько не понял — не поддержал, не расспросил, как не заметил.

Не глинокоп, но — глина сам и которая плохо лепится. Надо бы здесь остаться подольше. Нужны — ночь и день, ночь и день, ночь и день, чтоб его пропитать собою и этим соком выместить всё, чтоб не мог бы он жить без Ольды во всём себе. Это — входит. И в такого — особенно входит. И Ольда — умела входить.

Да уж полдня прошло! Проголодались как! И дрова заготовить. Вскочили. Одевались. На остатках, околках кипятили чай, грели котлеты. Бодро побежали с санками, бревно подвезти.

Воздух был снежный, от выпавшего ночью. Нерушимая карельская хвоя ещё держала на ветках снежный напад. На сколзанках Ольда прокатывалась с разгону, по-девчёночьи, держась за его локоть, сдвигая ботиками снег с темнеющего льда, а Георг подбегал рядом.

Всё в мире казалось весело, исправимо.

Привязали бревно, притащили, пилили на козлах двуручной звенящей пилой. И Георг всему в ней удивлялся: да как ты бойко бегаешь… да как ты тянешь, пусти, я сам. И пилишь неплохо, это просто редкость.

— Я же в таком глухом уезде росла, почти деревня!

Уже и пар от них валил. Ну-ка, как сердечко, дай попробую. Да у тебя оно под самой кожей, вот тут, выпрыгивает.

И меняясь в голосе и в руке:

— Хватит пилить, пойдём! Я сам докончу, а пойдём!..

10

* * *

С утра по петроградским улицам было расклеено объявление:

«За последние дни отпуск муки в пекарни для выпечки хлеба в Петрограде производится в том же количестве, как и прежде. Недостатка хлеба в продаже не должно быть. Если же в некоторых лавках хлеба иным не хватило, то потому, что многие, опасаясь недостатка хлеба, покупали его в запас на сухари. Ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве. Подвоз этой муки идёт непрерывно.

Командующий войсками Петроградского Военного округа
ген.-лейт. Хабалов».

От уговариванья — не верилось. Слухам всегда больше верится, чем властям.

И откуда этот Хабалов взялся, с фамилией раззявленной, похабной, хабалить — значит нахальничать. И зачем бы это обывательским хлебом распоряжаться — командующему войсками Округа?..

* * *

Градоначальник (начальник городской полиции) генерал-майор Балк, назначенный недавно, из Варшавы, а Петроград ещё зная мало, сегодня с раннего утра объезжал главные места сосредоточения полицейских нарядов. Выходил из автомобиля и обращался к строю со словами уверенности, что чины полиции поработают даже сверх сил — для спокойного положения на фронте. И звучали ответы и выражал вид полицейских, что — понимают.

Но в бравости своей были уже отемнены. Все они знали, что им запрещено применять оружие, а против них — можно. Они знали своих вчерашних раненых и избитых в нескольких местах столицы. Им — стоять на постах уединённых, мишенями для гаек и камней, когда войска усмехаются сторонне, а толпа видит, что власти нет.

В закрытом дворе городской думы — в самом центре города, а населению не видно, был стянут большой отряд городовых и жандармов. Балк объявил им: распоряжением министра внутренних дел тяжело раненные вчера два чина полиции получат по 500 рублей пособия. (А им жалованья-то в месяц было 42 рубля, многие рабочие больше них получали.)

* * *

С раннего утра, едва собрались рабочие на заводе Щетинина, на комендантском аэродроме, — митинг. Оратор призывал:

— Товарищи! Моё мнение такое: мы должны все как один приступить к насильственному обоюдному делу, и только таким путём мы добудем для себя насущного хлеба. Товарищи, запомните ещё: что долой правительство, долой монархию и долой войну! Вооружайтесь кто чем может, болтами, гайками, камнями, выходите из завода, крушите лавочки с руки!

И все рабочие вышли, ворвались и во двор соседнего завода Слесаренко, выгнали всех оттуда. Вожак дальше:

— А теперь, товарищи, взойдём на железную дорогу и сделаем передышку.

Взошли на полотно, остановили пассажирский поезд. Отдохнули. А потом:

— Пошли всей кучей к Государственной Думе, на транвай никто не садитесь, а вдоль транвайной линии начинайте действовать по лавочкам!

* * *

На всей Выборгской стороне завод Эриксона — самый обезпеченный и самый мятежный. Кому по хлебным лавкам, а эриксоновцам — на Невский! Бастовать — так не по домам сидеть, а пусть буржуи трясутся.

Только Сампсоньевский проспект после завода — узкий, и две с половиной тысячи эриксоновцев колонной своей — весь закупорили. А впереди, ещё много не доходя до Литейного моста, — на конях казаки, выстроенные ещё с последних фонарей, при первом брезге утра.

Жутко. С шашками кинутся если сейчас — порубят, деваться некуда, не защититься и не бежать.

Однако уже — и сошлись, спёрлись в узости.

А фланговый казак тихо: «Нажимайте посильней, мы вас пропустим».

Но офицер скомандовал казакам: ехать рассыпным строем на толпу. И первый — врезался, пробивая путь конём.

А казаки — подмигивают рабочим. И — стягиваются гуськом, в коридор за офицером. И — тихо, по одному, не давя и шашек не вытаскивая.

И рабочие, от радости невиданной:

— Ура-а-а казакам!!!

Всем заводам дорога чистая к Литейному мосту.

* * *

Донесения в градоначальство просто не успевали. На Петербургской стороне вчера первые начали бить лавки, хлебные и мелочные, — обошлось, понравилось. И сегодня именно здесь про-

должали. С утра разграбили мясную лавку Уткина на Съезжинской, — хотя не о мясе шёл спор, а как-то само пошло: камнями — в стёкла, там одна баба вперёд, за ней и все, и — кур, гусей, свиные окорока, бараньи ноги, куски говядины, рыбины и масло плитами безо всяких денег захватывали и уносили. (В тот же день пошла полиция с обысками по соседним домам. У кого и нашли, а кто подальше жил — тю-тю, всех не обыщешь.)

И чайный магазин заодно разграбили: чай-то, он в руках лёгкий, а дорогой, чаю полгода не покупать — економично. (Захватили городовые двух баб и одного подростка, увели.)

А откудась-то поутру уже и толпа стянулась из малых улиц тыщи три — просто люди-жители и ученики разные, в формах своих и без форм, и студенты — вывалили с Большого проспекта на Каменноостровский, всю мостовую забили — и наддали к Троицкому мосту. Пробовали петь, но недружно получалось, не все знали, что ли.

Казачий разъезд нагнался на толпу — разбеглись.

Разбегались легко и, кажется, без обиды: вы — гонять, а мы — бежать. Привычно.

* * *

Стоят солдатики перед Литейным мостом.

Стоят не слишком бравые, иные ремнями, как кули, увязаны, еле туда в шинель упиханы, но форма единая, винтовки единые к ноге, — и оттого как бы строги. Стоят, молчат — и оттого строги.

А — ч т о будут делать, ежели… ?

Это — девкам лучше всего узнать. Мужчинам штатским к военному строю подходить не положено, неприлично: а ты, мол, почему не в нашем строю? Да и опасно: какой-нибудь там пароль пропустишь — хлоп тебя на месте!

А девкам — льготно. По две, по три под ручку собрались — и подкатили к самому строю, зирками постреливая, посмеиваясь или семячки полускивая:

— Чего эт’ вы, мужики, сюда притопали? Немец — не здесь, ошиблись.

Ежели что штрафно или смешно — так это на вас ложится, не на нас: войскам на улицах делать нечего всурьёз, а мы — бабы, у себя на Выборгской вот семячки лускаем.

Солдату из строя — не очень отозваться, дисциплина. Только улыбнётся какой украдкой. Девки-то — кому не понравятся? Ещё молоды, фабричной сидкой не замотаны, губы свежие, щёки румяные.

Да к строю самому вплоть не подойдёшь — впереди прапорщик похаживает. Хмурый очень. А сам-то молоденек, тоненек.

— Ваше благородие, что это вы больно хмурый какой? Или невеста изменила? Так другую найдём.

Засмеялся:

— А какая на замену?

— Да хоть я, — облизнула губы. Разговор совсем вблизи, девки слышат, солдаты нет, полиция нет. И ещё зырнув по сторонам: — Слушай, неужель в народ пришли стрелять, а?

Аж залился:

— Да нет конечно! Да позор такой. Ничего не бойтесь, мы не тронем!

Стоят и казаки конные поперечной цепью. Смирны, рабочие с ними заговаривают, те отвечают. Тогда из толпы стали прямо подныривать под казачьих лошадей и так пробираться дальше. Казаки не мешали, посмеивались. Тут подъехала конная полиция и пронырнувших загоняла назад.

* * *

А меж тем солнышко пробилось и заиграло не по-питерски. Морозец спал, только что не тает. С крыш капель посочилась.

Кому время пришло — это подросткам. Озорство — и дозволено, надо ж! Что к чему — это взростным знать, а нам! — с палками по Лиговке бегут и в мелочных лавках стёкла бей! бей! бей!

В шести разбили — дальше пробежали. И не поймаешь.

* * *

А собралось нас, чёрного народу, видимо-невидимо. Всю Пироговскую набережную уставили, и на Полюстровскую крыло и на Сампсоньевскую. Со всех заводов поуходила Выборгская сторона, изо всех улок выперла к набережным — тысяч сорок нас, право. А — чего дальше?

Так-то стоять час-по-часу и в хвосте можно, так там хоть с буханкой тёплой выйдешь, а тут чего? А всё ж таки: в хвосте стоять надсадно, как пригнули тебя, упинайся кому-сь в затылок. А здесь вольней, сами себе хозява, — вот, пришли и стоим!

Горит Нева, вся в солнце, в снежных искрах. И перегораживает и манит.

Мы — и не Питер вовсе, мы — так, слобода приписанная, для работы на их, на бар. Вроде и не на их — а всё на их. Вона-ка их чистый город — башни, башенки, дворцы да парки, так и отстроились особно, а наш люд — пиханули за Большую Невку. И никогда справедливости не будет: они повсегда будут чистенькие, а мы — корявые.

Не только мост перегородили, а у сходов с набережной к реке тоже стоят наряды полицейские.

И чего стоим, спроси? Ещё раз посмотреть на их город издали? Вроде город же единый, и трамваи единые ходят, и для того мостами соединено, а вот — спрашивай правду! Нету нам ходу! Вечор на этом самом мосту, на Литейном, кажный трамвай в город посерёдке моста останавливали, значит вхаживали околоточные с городовыми и шли по вагону проверяли ездоков, на глаз. Да только глаз у них мётаный, как свинчатка бьёт. По рылу, по одёжке, а то и руки покажи, документа не нужно: выходи! За что? Выходи, и всё. За что такое, в чём я повинен? Выходи проворней, меньше разговаривай. А то — и за плечики, за локотки. А остальные, свои, кто к образованным потесней, — те себе поехали дальше, зазвонил трамвай.

Заразы эти и трамваи, жисть бы их и не видать. Это ж придумали: чтоб ногами совсем не ходить, от дома до дома и то на колёсах.

И ничего там, в городе, заманного нету для нас, ржаником нашим и не торгуют, а ихними нежностями не напитаешься, все тамнии забавушки, кафетушки — ногою пни, и одёжка ихняя несуразная — дорогая, а вся в дырах, не греет. А вот — перегородили! Перегородили как не людям, и играет сердце обидою: на Невский! Айдате на Невский!

А ежели через Неву прямо? Лёд ещё крепок, не весенний. Снег небось по колено, не хожено?

Как вот на бабу, бывает, загорится, как будто ни кой другой не бывало: никни, и всё! Хотим — на Невский!

* * *

В полдень зазвонили сразу все пять телефонов в градоначальстве: прямо через Неву! по льду! гуськом! пошли вереницы людей непрерывные!.. Ниже Литейного моста!.. И выше Литейного моста! На Воскресенскую набережную, в нескольких местах!.. И к городской водокачке!

Во многих сразу местах! по глубокому снегу торят тропки! по-шли!!

А что полиции делать? Оружия, сказано, — не применять. На гранитных набережных левого берега стоят полицейские наряды у ступенек — но если безпорядки надо прекратить без толчка, без ушиба, без ссадины, — чем же они эту массу остановят?

Остаётся — пропускать?

Вот достигли левого берега, прут по ступенькам вверх. Где фараоны, в обхватку рук, силятся будто задержать, а где — как дремлют, не видят.

А что? — идут ребята, не озоруют, а не написано правила такого, что нельзя через реку пешком идти.

* * *

А на всех главных улицах центра публика — поплотнела, еле на тротуарах умещается, расширенное гулянье. Опять же и — солнечный, легкоморозный весёлый денёк. Чистую публику ещё больше тянет — что-нибудь да выкинуть, назло властям. Ждут рабочих на зачин.

* * *

По Каменноостровскому в сторону центра повалила новая семитысячная толпа — быстро они собрались, да ведь почти все не на работе, учреждения тоже закрывались. Из окон лазаретов помахивали раненые. Перед толпою кричали, плясали, забиячничали мальчишки и девчёнки.

Пристав велел прекратить шествие. Не послушали.

Тогда, отступая со своим нарядом, он приказал коннополицейской страже по соседству — выехать на проспект и рассеять толпу.

Зацокали лошади, выехали кривым крылом конные городовые. Смешанная публика — и мастеровые, и мещане, и почище, и гимназисты, и студенты — быстро очистила мостовую, пошла по панелям. Оттого сгустилась — и из этой большой густоты, уже при конце проспекта, против Малой Посадской — грохнули из револьвера в полицейский наряд! П е р в ы й выстрел этих дней!

Но — не попал, ни в полицейского, ни в кого. И — затолкался быстро в толпе, не обнаружили. Да толпа и не выдаст.

Сгущена толпа на тротуарах — как в ожиданьи высочайшего проезда. Только через дорогу вольно переходят, валом.

И теперь — по ту сторону, уже на Малой Посадской — из того же револьвера, или согласовано у них, — в ы с т р е л! Второй!

И закричала женщина, случайная. Упала. Ранена в голову. А в городового опять не попал!

Послали за каретой скорой помощи.

А голубчика — опять не поймали: густо стоит публика, и не выдаёт, не показывает.

Реалист у края панели закричал, что — вот именно этот городовой застрелил женщину.

Тут же подошёл полицмейстер, при всех проверил у городового патроны в револьвере. Ещё было время проверять правду. Все на месте. И в канале ствола нет порохового нагара.

Реалиста задержали.

Та женщина в больнице умерла.

* * *

Сколько по льду ушло охотников, а нас перед Литейным мостом — как и не убыло. И подполняются, и подполняются.

И даже оно само так получается, без умысла, задние подпирают, а мы исплотна — вперёд да вперёд, под самые головы лошадиные. Так вот, по вершку, а лезет толпа на лошадей. Лошади отфыркиваются, головами мотают, отпячиваются, — у лошадей-то сознание есть.

А конные чуть отступят — так и пешая полиция отходит, само собой.

Так по вершку, по вершку, беззаметно, из вершков — сажени, вот уже и у моста.

Полиция окрикнет — так ведь никто ж вперёд и не идёт. А напирают сзади просто. Не бранимся и мы в ответ, разве кто огрызнётся. Бабы — про хлеб добавят. Ежели на полицейских вот так бы близко часто смотреть вплоть — тоже ведь люди. Тоже подумать — и они на службе, и у них семьи и дети.

— А ваши бабы за хлебом стоят в хвостах?

— А где ж им брать?

— А что ж мы их не видим?

— А что ж им, нашу форму натягивать?

А уже мы почти и на мост ступаем. Тут поперёк ещё драгуны, кони в два ряда.

Вот теперь ежели рвануть — будут рубить? нет? Как бы с лиц драгунских вычитать? — не скажут же при полиции вслух.

Да ведь эвона сколько мы протоптались — что ж нам теперь, это всё пропятиться?

И как-то само взникает, ни вожаков же не было, ни сговора, только переглянулись чуть и заорали:

— Ура-а-а-а!

А сами ни с места. Сильней, и сзаду тоже:

— Ура-а-а-а-а!

Да вдруг — как толканули поршнем по мосту, это ж могута, толпа, с ног сбивает. И все:

— Ура-а-а-а-а-а!

Полицию ту прорвали и не заметили, а на драгун: ну-ка?..

Не бьют! не бьют! шашек не шелохнут, а кони пятятся.

— Ура-а-а-а-а! — пронесли через конницу! И — по мосту! И — по мосту бегом!

И — четь моста! И — полмоста!

А там — всего ничего, дюжина городовых — а шашки вон!

И у полковника — лицо зверячье. И у других не мягше: будут рубить! Будут рубить, сколь поспеют, а сами лечь готовы, да!

И остановилась тысяча перед дюжиной. Всё ж таки первым без головы остаться…

Но кто позадей, значит догадался, поднял и кинул — сколотого острого льда кусок — в городового! Тот схватился, кровью залитый, шибко залитый, и шашку выронил.

А как кровь пролилась — побежали через них. И кто-то по пути из снежной кучи выдернул — лопата! Она ещё страшней, если размахнуться!

Не рубят! Пробежали.

— Ура-а-а-а!

На Невский теперь! (А зачем — сами не знаем.)

А задних там оттеснили, они вопят:

— Кровопийцы, хлеба!

— Опричники!

— Фараоновы рожи!

А нам дорога пока свободная, ноги лёгкие:

— На Невский!

* * *

Не так понимать, что жизнь города прекратилась. Всё себе шло.

В редакции газеты «Речь» готовились к годовщинному банкету, будет сам Милюков и все вожди ка-дэ.

Из Луги приехал ротмистр Воронович (скоро мы о нём узнаем), сидел в Гвардейском экономическом обществе — никаких безпорядков не заметил, и никто ему не обмолвился.

Да и многие в городе ничего не заметили. Генерал Верцинский на извозчике по городу ездил, ничего не видел, только слышал с Невского шумы. Вечером поехал в театр, как многие.

Да сам премьер-министр князь Голицын испытал сюрприз, что не мог проехать обычной прямой дорогой от себя с Моховой — и в Мариинский дворец, на заседание правительства. Пришлось крюку дать.

На Совете министров в этот день были разные рутинные дела, городских волнений не обсуждали: и Протопопов на заседание не явился, а безпорядки эти сегодня от полиции переданы властям военным, с них и спрос.

11

Брякнула звонком, ворвалась Вероника с Фанечкой Шейнис:

— Ой, тётеньки, на минутку! Литературу зря брали, сейчас не до неё, положить, с ней и влипнуть можно, как Костя!

У Вероники — быстрота движений и решений, с прошлой осени, новая.

— Какой Костя?

— Мотин приятель, Левантовский, из Неврологического. Речь кричал к рабочим, полиция схватила, а в кармане сложенный лозунг на бязи: «Да здравствует социалистическая респу…»

— Ты что, тоже будешь речь к рабочим говорить? — тётя Агнесса с одобрением.

— Не знаю, как придётся! — смеялась Вероника.

И толстенькая добродушная Фанечка:

— Как придётся. А почему б и нет?

— Вероня, Фанечка, подождите, поешьте немного! — хлопотала тётя Адалия.

— Ой некогда!

— Ну вот паштета. И холодца. — Уже тарелки ставила.

Девушки присели как были, в шубёнках и в шапочках, на края стульев.

А тётя Агнесса, сильно волнуясь, третью спичку ломая перед ними, в досаде:

— Вот, задержала ты меня! Разве можно в такие часы дома сидеть! Мы всё пропустим! Что видели, девочки? Где, расскажите?

Паштет пошёл, однако. И с непробитыми ртами:

— Сперва у Сименса-Гальске, на 6-й линии. Кричали им, свистели. Сперва не шли, а потом хлынули — ну, тысяч пять…

— …Да больше! Семь тысяч! — выкатили из ворот…

— …И — к Среднему! А конные городовые — ну, куда, их мало! А тут же близко — казаков человек десять, и полиция позвала их на помощь…

— А они!! При всей толпе, ни слова не отвечая! — молча простояли! толпу пропустили! — и за толпой поехали, опять молча!!

— Сзади! За толпой! Как будто ни в чём не бывало!

Сияли девочки.

— Да скоро и в переулок свернули. Самим стыдно!

— Это поразительно! Казакам — и то стыдно!!

— А один казак пику обронил — так ему из толпы подали, по-дружески!

— Да-а-а? — дрожащую папиросу тянула, тянула тётя Агнесса и расхаживала по столовой.

А тётя Адалия на стул опустилась и сидела с зачарованной улыбкой.

— А потом толпа разделилась. Мы пошли с той, которая к Гавани. Тут стали ломать заводские ворота снаружи, чтоб и этих снять, подковный завод.

— Нет, ещё раньше вот тут, на 18-й линии, лавку громили — и на улицу хлеб выбрасывали, прямо на мостовую!

— Дожили мы, Даля, дожили! — Агнесса ходила и всеми суставами выхрустывала. *Казаки* переменились!! Ну, тогда *им* конец!

— Трамвайщики из депо с утра не хотели выезжать: обезпечьте сперва хлебом!

— Да им езда! Один вагон толпа уже стала толкать, опрокинуть. А солдаты за плечи оттаскивают, вагон спасти, потеха!

— Гимназисты — марсельезу поют, народ учат!

— Вообще — настроение у всех, тётеньки! Идите и вы скорей, ещё что-нибудь увидите! А мы — побежали. Если Мотя позвонит, скажите: не учимся! Да он и сам, конечно!.. А Саша не звонил?

— Надо вызвать стрельбу! Добиться стрельбы! — напутствовала тётя Агнесса. — А так — всё пропадёт даром, поволнуются, и кончится.

Фанечка уже утаскивала Вероню. Захлопнулась за ними дверь.

— А Сашу — не могут заставить давить? — сильно тревожилась тётя Адалия. — Учреждение не должны бы?

— Ну, Сашу ты не знаешь? Уж он никогда!

— А если заставят всех военных?

Агнесса закурила новую, но тут же стала гасить:

— Нет, пошли! А то я одна пойду. Ты подумай: может быть, именно этого дня и ждали, именно его мечтали на календаре увидеть — все, отдавшие…

Прислушались у форточки. Как будто издали — рабочая марсельеза, голосами молодыми.

— Эх, — махнула рукой Агнесса и пошла одеваться, — и марсельезу не так поют, разучились с Девятьсот Пятого.

12

24-го, в пятницу, вызвали один взвод учебной команды Волынского запасного батальона в караул на Знаменскую площадь. Командовать послали штабс-капитана Цурикова, весёлого лихого офицера, после ранения доздоравливающего в запасном, не знающего тут ни солдат, ни даже всех унтеров. А в помощь ему назначили фельдфебеля 2-й роты той же учебной команды старшего унтер-офицера Тимофея Кирпичникова — поджарого, с хмуроватым неразвитым лицом, короткой шеей, уши плоские прижаты. Давний волынец, ещё с мирных лет, унтер того типа, который службу знает отлично, — может, ничего другого, но уж её-то знает.

Из своих казарм пошли во всю длину Лиговки и в последнем доме её перед площадью спустились в просторную дворницкую, в подвал, где китайская прачечная. Там — скамьи были, можно было и сидеть, винтовки составив пирамидками. И курить, не все сразу. А снаружи — двух часовых.

Штабс-капитан не остался тут, ушёл в Большую Северную гостиницу, посидеть за столиком.

Жизнь солдатская, что-нибудь всё равно заставят: не ученье, так вот сидеть тут, в шинелях перепоясанных, друг ко дружке из тесна. Хочешь — молчи, хочешь — старое переговаривай, уже все про тебя знают, и ты про всех. Не солдатам, но дружкам-унтерам рассказывал не раз и Тимофей про свою сиротскую жизнь, разорённую семью, отца-шорника, мачеху, — и как только в армии нашёл он свой дом, да повезло ему попасть в гвардию, в Варшаву.

Это значит, для того их посадили, чтобы снаружи не видно было солдат, будто никого нету. Стесняются перед народом. А часовые у подворотни — мало ли что.

Но не так долго посидели, с часок. Прибежал Цуриков, ещё с лестницы кричит:

— Кирпичников!

— Тут, ваше высокбродь!

— Командуй «в ружьё»!

— А что такое? — Тимофей себе цену знает, не так уж сразу перед всяким офицером, не на каждую команду выстилается. Он и сам в школу прапорщиков метил, добивался. Не послали.

— Идут!

— Кто идёт?

— Да чёрт их знает, выводи!

Ну, скомандовал «в ружьё», разобрали винтовки, потопали по лестнице.

А снаружи — солнце, мороз лёгкий.

На убитом, уезженном снегу развернулись фронтом против Невского, поперёк него.

Видели: по Невскому, по мостовой, надвигается толпа. И — два флага над ней красных.

А обстановка нисколько ж не боевая: теснится публика прямо на солдатские ряды, сзади и сбоку, и подговаривает, да не отчаянно, а весело так, подбивисто: «Солдатики, не стреляйте! Смотрите не стреляйте!»

Кирпичников, оглядясь, офицер не вблизи, тихо:

— Да не бойтесь, не будем.

И что в самом деле за задача такая: среди города, среди народа стоять — и в народ же стрелять? Солдатское ли это дело?

А попробуй — команды не выполнить?

А толпа с флагами — валит, ближе. И почерней одета и почище, и из простых и из образованных. И кричат:

— Не стреляйте в народ, солдаты!

Но и сами не верят, как играют.

Штабс-капитан стоит не слишком струной, не строго смотрит. И никакой команды не подаёт.

Кирпичников подошёл к нему, тихо:

— Ваше высокбродь, они ведь идут — хлеба просят. Пройдут — и разойдутся, ничего.

Штабс-капитан посмотрел, плечами пожал. Он — в вольном полёте, тут ненадолго задержался, что́ ему служба здесь.

Да Тимофею и самому тут надоело, но задержали его в батальоне как хорошего обучающего.

А передние в толпе замялись. Смотрят на офицера, не идут дальше, на площадь.

Штабс-капитан улыбнулся, отмахнул ладонью лихо: проходи, мол, проходи!

Толпа разделилась — и стала огибать оба фланга солдатского строя. Сперва робко, потом смелей.

Потом кричать стали:

— Молодцы, солдаты! Спасибо!

А дальше громче:

— Ура-а-а!

А там, дальше, на площади, — вот тебе, стали собираться к царскому памятнику на коне. Нисколько не расходятся.

Худо дело. За это нас не погладят.

И там — заговорили крикуны с мраморного стояла.

О чём — сюда плохо слышно.

А то бы и послушать.

Из его роты ефрейтор Орлов, питерский рабочий, важивал его тайком на одну квартиру на Невской стороне. Простая квартира, рабочая, в посёлке Михаила Архангела. И из других запасных батальонов там приходило солдат пяток. И два студента всё-всё разъясняли им, какие были цари, все кровь народную лили и за счёт народа пировали. И — такие же все дворяне, и такие же — петербургские все правители. А теперь, вкупе с иными генералами, торгуют кровушкой русского солдата. И измену — передают немцам. И Распутин к этому приложен, а царица с ним валяется. И вот куда мы идём. И вся эта война нашему народу совсем не нужна.

Чего и правда, чего и наболтали. А сердце аж захолонывает.

Придумал штабс-капитан, махнул: уводи!

Верно. Нам теперь хуже тут стоять.

Ушли пока в дворницкую.

13

ЭКРАН

Меж четырьмя бронзовыми конями Аничкова моста
мчатся живые два! — красавцы-кони! —
извозчика-лихача —
мчат легковые санки, в них ездоки —
солидный господин, уверенный и с улыбкой,
и дама рядом, с меховым воротником, в широкой шляпе с перьями.
Но на самом скате с моста — кони поёжились, замялись, заплясали на месте,
извозчик откинулся — изумлённо или в страхе, —
= молодой мастеровой в поддёвке, шапке набекрень — стал на пути, не побоялся, руку поднял —
и так остановил коней. Одного за узду — и обходит,
показывает взмахом: слезай, мол, слезай!
Извозчик — надулся, лопнет, а господин —
господин монокль откинул, улыбается, недоразумение просто:

— *Товарищ! Зачем же так? Я тоже — за свободу! Я — корреспондент «Биржевых Ве…»*

= Но не для того парень под скок становился:

— *Биржевой? Накатался! Сле-зай!*

= За локоть сдёрнули с саней господина.

Господин — своё загалдел, дама — закудахтала, но слезают, извозчик — своё,

= ну! взамен вспрыгнули с двух сторон приятели:

— *Гони!*

Извозчик ощетинился:

— *А кто мне заплатит?*

= Парень в санках в рост, обеими руками размахнулся вольно — да на плечи извозчику, хлоп!

— *Е-дем!*

По-ка-тили!

Покатили ребята, не спрашивай почём, — да вдоль по Невскому!

Вдоль по Невскому

если глянуть вдаль

= что-то люда много на мостовой и трамваев слишком густо. Остановили их.

= Пассажиры в трамвае —

по-разному.

А в общем, что ж? — выходить, да пешком.

* * *

На Казанском мосту,

как проглядывается Спас-на-Крови вдоль канала,

смешанная толпа рабочих, баб, по одёжке видно, что с окраины, и подростков.

— *Дай-те хле-ба!*

И не все, но голоса отдельные тянутся вместе стянуть:

Вставай, подымайся, рабочий народ!

Иди на борьбу с капита-а-а-лом!

И — вырвался вверх красный флаг! Подняли там в середине.

И крик молодой надрывный, звонкий, одинокий:

— *Долой! полицию! Долой! правительство!*

А — хода им нет: тут же — конница,

кончилась песня,

драгуны наезжают конными грудями на рабочих — и

теснят их вбок — туда, вдоль канала.

Негрубо, без шашек — туда, к Спасу-на-Крови.

И флага не стало — упал, убрали.

Гул неразборчивый. Утихающий ропот. И только мальчишеские сдруженные весёлые голоса:

— *Дай-те-хле-ба! дай-те-хле-ба!*

= А на тротуарах — публика почище,

хорошо одетая.

Смотрят зеваками сочувственными,

но радости — как будто и поуменьшилось.

* * *

Церковь Знамения.

Памятник Александру III, на красном граните. Император-богатырь, вросший конём навеки в параллелепипедный постамент.

Тяжесть, несдвигаемость.

И — пятнадцать конных городовых,

отлитых молодцов, живые памятники,

с шашками наголо, не усмешечками, как казаки, — цокают

навстречу. А — шутить не будут.

А — не будут!?

Из глубины от нас — сви-и-ист! ви-и-изг!

А тут, через площадь от Лиговки, — ломовые сани тащатся, воз дров.

Сви-и-ист! Ви-и-изг!

И чья-то рука протянулась —

хвать полено!

да и — метнула в конного.

Со всей его гордостью, твёрдостью — а поленом в бок! Не хотел?

Метко наши ребята бросают — чуть не свалило его.

И лошадь завертелась.

А — пуще свист на всю толпу! и — орут!

и десяток бросился к тем поленьям — разбирать да швырять,

из-за воза, как из-за баррикады.
Двое конных было сюда — а тут нас и не возьмёшь.
Полено! — полено! — полено! — полетели как снаряды!
И помельче летят — то ли камни, то ли лёд.
А — свисту!
Перепугались лошади. Закружились — прочь уносят. В коне их сила — в коне их и слабость.
А одни ускакали — другим конным тоже не оставаться — завернули — и прочь, туда, к Гончарной.
= Один только коняка не шелохнулся — Александров. Конь-то — из былины.
И — Сам.
= Площадь — свободна, и всю запрудила толпа с Невского.
И что ж теперь? — Митинг!
И где ж? Да на постаменте ж Александровом, другого возвышенья и нет.
Взбираются кто как горазд.
Крепко ты нас держал — а вот мы вырвались!
И кричат — кто что придумает, люди-то все случайные, говорунов ни одного:
— *Долой фараонов!*
Ура-а-а-а!
— *Долой опричников!*
Толпа-то на площадь вся вывалилась, а в устьи Невского, замыкая его — полусотня казаков.
Чуть избоку на конях, снисходительно. Щёголи.
Так получилось — они тоже вроде на нашем митинге.
С нами!!
— *Братьям казакам — спасибо! Ура-а-а!*
— *Ура-а-а-а-а !*
Ухмыляются казачки́, довольны.
А ура — гремит. Ура-а-а-а!
И что ж им, чего-то делать надо?
А — раскланиваться придумали.
Раскланиваются на стороны.
Как артисты.
Кто и — шапку снимет, поведёт низко чубатой головой.
С нами! Казаки — с нами!

14

Одно горе всегда выталкивает другое. Корь, как тёмный огонь, охватывала одного ребёнка за другим — и подняла мать, совсем было сломавшуюся сердечную машину, и утвердила её на ногах, и отодвинулось всё раздирающее, гнетущее, не дававшее ей подняться уже третий месяц.

Началось со старшей, Ольги, всё лицо покрылось красной сыпью, сильно, — на 22-м году уже не детская болезнь, опасно очень. Потом — у Алексея, не так сыпь на лице, как во рту, и глаза заболели. Охватила корь сразу кольцом, от старшей до младшего, и уже ясно стало, что из этого кольца вряд ли вырваться остальным, подозрительно кашляли и те. Разделила детей, но поздно: сегодня было 38 с сильной головной болью уже и у Татьяны — главной сиделицы, умелицы, неутомимой помощницы матери во всех практических делах. Слава Богу, ещё держались две младшеньких. Александра Фёдоровна попала как в круговой бой, со всех сторон враг (да она так и привыкла за последний год…), а помощь малая и не решающая. Затемнив шторами комнаты заболевших и в своём привычном платьи сестры милосердия, она переходила от одного к другому возвратившейся твёрдостью шага.

И в первый день та же корь перекинулась на взрослую Аню Вырубову, которая и вовсе должна была перенести тяжело. Со страшного 17 декабря взяли её из её одинокого домика и держали у себя в Александровском дворце, опасаясь, чтоб и её не убили так же, как Григория Ефимовича, угрозы приходили ей давно, а она и вовсе была беззащитна, на костылях. Теперь она разболевалась при своих двух непрерывных сиделках, в другом крыле дворца, куда, через протяжения апартаментов, государыне и дойти было нелегко, её отвозили туда в кресле, и она просиживала там час утром и час вечером. У Ани разыгрался ужасный кашель, жгущая внутренняя сыпь, но главное — она не могла дышать, боялась задохнуться, сидела в постели, — она ещё кроме всего была мнительная, легко поддавалась панике. Умоляла: в первом же письме к Государю просить его чистых молитв за себя, она очень верила в чистоту его молитвы, и пусть заедет поклониться Могилёвской Божьей Матери. (Той монастырской иконе Аня очень верила, бриллиантовую брошь отвозила к ней.)

Сами по себе сиделочьи обязанности не только не были трудны государыне, — она считала себя прирождённой сестрой милосердия ещё и до госпитальной практики этой войны. Бывало, она посещала и чужих больных неафишированно, и сама выхаживала своих, Анастасию — от дифтерита, Алексея — во всех его болезнях. Но теперь сама она была так подорвана и разбита, на пороге сорока пяти лет называла себя руиной.

Слава Богу, сейчас Алексей болел не в тяжёлой форме, для него всякая болезнь — насколько страшней. Но — что теперь будет с ним вообще, после смерти Друга? Убили — Единственного, кто мог спасти наследника. Теперь можно было только мучительно ждать неотвратимого несчастья. Григорий когда-то предсказывал, что через 6 недель после его смерти жизнь наследника будет в большой опасности и вся страна окажется накануне гибели. Правда, вот истекло уже 9 недель, но страх не исчез.

И как раз этой чёрной осенью Друг стал предсказывать лучшее: что выходим изо всего дурного, что осилим врагов. Впрочем, когда в последнее свидание в домике Ани Государь попросил при прощании: «Григорий, благослови нас всех», — Друг внезапно ответил: «Сегодня — ты благослови меня».

Предзнавал?

И государыня, как предчувствовала, в декабре виделась с ним едва ли не через день, — она искала поддержки в той смертной травле, которою была окружена. Сгустилась вокруг столичная ненависть и злословие — и с самыми близкими встречалась царская семья под покровом ночи и тайно.

В самый день убийства государыня послала Аню отвезти Григорию икону, привезенную из Новгорода. Воротясь, та рассказала, что поздно вечером Друг едет знакомиться в дом Юсуповых с Ириной. Государыня удивилась: какая-то ошибка, Ирина в Крыму. А — не придала значения, не предупредила. Как постигает нас затмение! Утром 17-го позвонила дочь Григория, жившая при отце: как уехал поздно вечером с Юсуповым, так и не вернулся. И тут ещё не придала значения. Через два часа позвонили из министерства внутренних дел: постовой полицейский показывает, что пьяный Пуришкевич, выбежав из дома Юсупова, объявил, что Распутин убит. Потом военный мотор без огней отъехал от дома. Но и тут, уже поняв, что случилось дурное, государыня не могла поверить в смерть Божьего человека! Затем стали звонить сами убийцы (но ещё она не знала, что убийцы!): Дмитрий, прося принять к чаю в 5 часов.

Отказала ему. Затем — Юсупов, прося позволения приехать с объяснением, звал к телефону Аню. Не позволила ей подходить, а объяснения пусть пришлёт письменно. Вечером принесли безстыдное трусливое письмо Юсупова, где клялся великокняжеский лжец, что Григорий в тот вечер у него не был: была вечеринка, перепились, а Дмитрий Павлович убил собаку. Лишь через два дня у проруби близ Крестовского острова нашли галошу Григория, затем водолазы нашли и тело: руки-ноги его были спутаны верёвкой, пальцы правой руки сложены как для креста, огнестрельные раны, рваная рана от шпоры — били шпорой, — но и ещё был жив, когда бросали связанного в воду: лёгкие ещё действовали, вскрытие нашло их полными водой.

А гнилая столица ликовала, все поздравляли друг друга: «злого духа не стало!», «зверь раздавлен!».

Разве это не было — убийство?? Разве это был не такой же случай террора, за которые революционеров заслуженно казнили? Убивали великих князей — и революционеров казнили, а убили мужика великие князья, вместе с крикливым извращённым Пуришкевичем, — и все хвалили, и никто не ожидал наказания! Но хуже: и растерявшийся ослабленный Государь не решался коснуться убийц! Как же можно простить злодейское хладнокровно задуманное убийство — и не наказать никого? Даже не арестовать, даже не судить, — простить? Но тогда в государстве не остаётся никакой справедливости и никакой защиты для остальных! Ведь лютые замыслы могут ползти и дальше, ненависти хватает. То-то Николай Михайлович в ноябре предупреждал в Ставке: *начнутся покушения*! Так это был — общий замысел великих князей?

За все годы — как-то не страшилась покушений царская семья. Да после убийства Столыпина и не было покушений. Казалось, это ушло навсегда.

Как же можно дозволять, чтобы нас попирали ногами?

Не было пределов всепрощению и слабости Государя! Постоянно оглядчивый только на мир и лад, Государь ни от каких событий не накоплял в себе грозы.

А династия не только не почувствовала себя обвинённою, но — обвинительницей! Великокняжеская семья в полный голос требовала, чтоб Государь не смел наказывать убийц, — как будто в убийстве и преступления нет. И между собою звонили, захлёбывались по телефонам, и писали по почте, — и зловредная Марья

Павловна-старшая, и бывшая сестра Елизавета, и княгиня Юсупова, мать убийцы (государыне доставили её перехваченное письмо к государевой сестре Ксенье: жаль, что не довели дела до конца и не убрали *всех, кого следует*; теперь остаётся *её* запереть!).

С династией, с большой семьёю монарха, как и с великосветскою средой, от самого начала и до конца не найден был тон. Не состоялось сближение даже с императрицей-матерью — а тем более, что мамаша прислушивалась ко всем столичным сплетням. Програничились и другие многие обиды. Марья Павловна как-то просила руки царской дочери для своего прожоги, кутилы Бориса, — государыня в ужасе отклонила такой брак, спасая свою девочку, — и нажила себе нового смертельного врага. Две черногорки, Милица и Стана, с которыми так были дружны когда-то (со Станой вместе волновались за стеной, когда подписывался Манифест 17 октября), и даже особенно — на сокровенной почве мистики, и вкруг мсьё Филиппа и потом Григория Ефимовича, — сестры-черногорки давно уже были лютыми врагинями, замышляющими, как посадить на трон своего Николашу. Но — и ни с кем во всей огромной великокняжеской семье не осталось ни сердечных связей, ни даже дружественности, — разве только с дядей Павлом, хотя он был обижен наказаниями. А вот любили Дмитрия как своего сына — и как он отплатил! У всех были свои счёты, свои причины обид, и даже монахиня Елизавета, родная сестра Александры, давно стала непримиримым врагом и не желала даже выслушать никаких объяснений о Григории. Великокняжеская клевета сама ринулась на соединение с клеветой великосветской, приёмная дочь великого князя Павла Марианна Дерфельден распространяла слух, что государыня спаивает Государя спиртными напитками, другие — что тибетскими зельями, — и какая же беззащитность у царской четы против этого злословия! Где, как, в какой форме, кому надо было опровергать, что Государь пьёт лишь за обедом обычную мужскую рюмочку?

Этой печальной зимой в Александровском дворце разрешили себе лёгкое отвлечение — позвали на три концерта, в крыле у Ани, маленький румынский оркестр, — и уже злословила вся столица, что во дворце — оргии.

И — спешили бросить свои обвинения! После визита Николая Михайловича в Ставку — приезжала в Царское всегда надутая и обиженная Виктория, теперь жена Кирилла, а прежде жена брата Эрнста, и по праву родства дерзко учила Александру Фёдоровну, что надо и чего не надо делать. Взбалмошный Сандро, муж Ксеньи, добивался у государыни аудиенции, когда она пластом лежала в постели этой зимой, умученная всем пережитым, — и Государь не в силах был отказать, только ту защиту выставил, что молча присутствовал при его обличительном, оскорбительном, отвратительном, лживом монологе.

«Господи, что я сделала? Что я им сделала?» — рыдала или замирала Александра после этих встреч, упавши лицом в руки. Против сплочённости династии она была безсильна.

Вся эта зима была временем писем и разоблачений. Уже какая-то из княгинь Васильчиковых, даже не взяв приличествующей высочайшему обращению бумаги, вырывала неровно листки из случайного блокнота и небрежным торопливым почерком гнала: «Вы не понимаете Россию, Вы иностранка, уйдите от нас»!

— Идёт охота на твою жену, как ты не понимаешь! — восклицала государыня мужу.

Простивши всем оскорбителям, всем наглым поучителям, даже не снимая мундиров с придворных чинов, даже Родзянке простив распространение записи своей беседы с Государем, только и сделал он в защиту: эту Васильчикову и болезненно болтливого Николая Михайловича, перешедшего меру в великокняжеских сплетнях, выслал в их имения.

А в защиту супруги ото всех остальных нападчиков — нечем было ему разразиться.

Всей великокняжеской семье всего-то царского неудовольствия могли они выразить: не послать им в это Рождество подарков.

Государь — не был защитой супруги.

Защиты у неё не было. Только — Бог и молитва.

Она особенно любила и утешалась 36-м псалмом: Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены. Покорись Господу и надейся на Него. Перестань гневаться и оставь ярость: делающие зло — истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.

А само собою эти месяцы не останавливалась в нападениях вся думская клика, и все Союзы, и бушевали в Москве беззаконные съезды их, понося власть. Государыня бы с чистой совестью передо всей Россией отправила бы в Сибирь — Львова, Гучкова, Милюкова, ехидного Поливанова, и это было бы только спасением России! Как можно терпеть внутреннюю измену, когда идёт война? Но Государь не только ничего не предпринимал против них, но ис-

кал, как уступить им: не посоветовавшись с женою, удалил старого Штюрмера, и несколько раз порывался пожертвовать даже преданным Протопоповым, и взял в премьеры вероломного Трепова, флиртующего с Родзянкой, и давал ему руководить собой (а его надо было повесить!). И ещё скольких сердечных уговоров стоило убедить Государя изгнать последних враждебных министров, и взять честного князя Голицына, и джентльмена Беляева наконец военным министром.

Будучи тут, в Царском, Государь сам вёл все дела и приёмы. Отъехав теперь на несколько дней в Ставку (отпустить его — снова было терзанием и страхом его новых ошибок), он оставил запись и назначение приёмов, хотя и второстепенных. Государыня могла и не выполнять за мужа этого распорядка, да ещё при болезни детей, но долгом чести считала вытянуть назначенное.

И так сегодня, сменив лёгкое платье сестры милосердия на тяжёлое шерстяное (какое попалось, государыня не очень их выбирала, а во время войны не сшила ни одной новой вещи), — вышла в зал и через немоготу, с головою занятой, старалась быть достаточно внимательной, принимая целую череду докучливых иностранцев — бельгийца, датчанина, испанца, перса, сиамца, двух японцев, это полтора часа, потом ещё кой-кого неотложных, — а потом и помощника дворцового коменданта генерала Гротена.

Дело в том, что, хотя государыне никто ничего не доложил, она вчера за вечерним чаем узнала от близких друзей-гостей, флигель-адъютанта Саблина и от Лили, жены флигель-адъютанта Дена, о том, что в Петрограде были безпорядки, громили булочные. Но такие вещи государыня хотела бы узнавать и через своих официальных лиц! Она вызвала Гротена и поручила ему выяснить у Протопопова — что там? Протопопов успокоил по телефону, что ничего серьёзного. Сегодня же с утра, говорят, безпорядки продолжались даже хуже, и вызывали казаков, — Гротен ездил к Протопопову и привёз успокоение: безпорядки уже спадают, всё это передано в военные руки, генералу Хабалову, завтра всё будет спокойно.

Ещё не раз за день отвлекали государыню и к телефону, день был такой раздёрганный, и захотелось ей умиротвориться, заглянуть в свою любимую церковь Знаменья, в Царском.

Хотела взять с собой двух младших дочерей — Марию и Анастасию, но в горлах у них доктора обнаружили подозрительные признаки. Ах, так и будет!.. Поехала без них.

Морозец был всего 4 градуса, бледное солнце, а воздух показался совершенно дивным, изумительным — каким только может быть чистый морозно-снежный воздух в самый канун весны.

В дневной полутьме и тишине церкви опустилась на колени. Поставила свечки за всю семью и молилась за всех. Пусть пламя свечей подымет её молитвы к небу! А особенно — за слабого духом Государя. Чтобы в нынешнем своём тяжёлом одиночестве в Ставке, без тепла от жены и от сына, но перед чередою неотклонимых государственных дел — был бы сам он неуклонен, нешаток, достоин той твёрдости, которой жаждет страна.

Делающие зло истребятся. И потомство нечестивых истребится. Потомство же праведника в благословении будет.

15

Ликоня была для Саши Ленартовича какое-то заклятье, искус. Её недоуменно-загадочные поводливые глаза так и играли перед ним все эти годы, хотя за всю войну он приезжал только два раза коротко. Когда же ему приходилось видеть её — то всякое свиданье она ударяла в сердце как первый раз! и всякий раз новая! В этом маленьком лице скрывались неизмеренность очарования, всякий час поворачиваясь чем-то новым.

Саша понимал, что Ликоня, — все звали её так, а он для себя и для неё Еленькой, Ёлочкой, — никак не подходит к направлению его жизни и к размаху ожидаемой борьбы. Он хорошо представлял истинный идеал русской женщины:

Не для пошлых и низких страстей
Ты таила на сердце богатства свои.
Ты нужна для страдающих братьев-людей,
Для великого общего дела любви.

Женщина должна быть — помощница, соратница и сама по себе энергичная деятельница на общее благо.

По всем сашиным воззрениям, женщина не смела играть такую роль в жизни революционера, какую уже взяла Еленька, — или уж, во всяком случае, должна была тогда быть и сама революционеркой. Она же — отдалась самой изломанной буржуазной моде, неприятному модернистскому стилю, — так что даже покладистая Вероня не могла с ней далее дружить, разошлись совсем, —

а не мог Саша выбросить её из мыслей ни на день, презирал свою слабость — и не мог. И всякую свободную минуту — прожигающе вспоминал её. И даже мог уразуметь, что она нескрыто подражает загадочной Комиссаржевской, что всё это может быть только поза, — а тянуло к ней одурчиво.

Если бы не война, не армия, и он все эти годы был бы в Петербурге — может быть, он сумел бы подчинить её своему духу, своей воле, направить как надо, и даже воспитать для себя, и всю завоевать. Но из армии, а она в Петербурге, среди всего этого яда, — ничего он поделать не мог. Она и нисколько не была им занята, и нисколько не пыталась привлечь, — на письма отвечала ему изредка, коротко, малосмысленно — а он так же безсмысленно эти письма хранил и даже (стыдно) целовал, испытывая нежность к самим листикам.

Подчинить своей воле! — куда там. Она даже с матерью своей не считалась, жила не по её понятиям, а своим (а отец её умер давно). А за военные годы, как можно догадаться, она с кем-то и сходилась, и так же легко разошлась, — а Саша, как затравленный дурак, любовался издали её фотографией, — ни в чём, никогда он не вёл себя так несамостоятельно, так ничтожно!..

Что ж, у каждого должны быть пороки. В других отношениях Саша был чрезвычайно удавшийся индивидуум — так где-то должны были его настичь недостатки. Пусть уж лучше — такой и в таком виде, самому даже отчасти приятно: красивый порок. Странный цветок на революционере.

Но и обременительный же. Сколько он требовал лишних усилий и лишнего времени. Сам перевод из Орла в Петербург этой осенью потребовал стольких хлопот и не всегда принципиальных приёмов, обращаться и понравиться влиятельным лицам, хотя и вполне прогрессивным, но не хотелось бы к ним обращаться. Он и в Орле уже состоял в офицерско-канцелярской должности, и, не будь Еленьки, его б и не тянуло сюда, мог бы и там устойчиво дослужить до конца войны, устроен неплохо, и был там весёлый земгоровский кружок с самыми лучшими общественными устремлениями. Однако уж тогда б он и вовсе упустил Ёлочку.

Но хотя и приехав — нисколько не добыл. Чтобы здесь потягаться за неё — он должен был не только отказать себе в разумном досуге, в чтеньи полезных, важных книг, но не свою играть роль, но попадать в странные компании и даже унизительные для себя обстоятельства.

А Ликоня — именно такая: переливчатая? переменчивая? — её нельзя выпускать из рук, надо быть всё время рядом и заниматься пристально ею.

Сегодня как раз и был один из самых безвыходных случаев: в Александринке среди бела дня, в будни, когда весь трудящийся народ на работе, — там собирался весь театральный, и это бы ладно, но и весь притеатральный мир, какой-то сбор ночных призраков днём, — присутствовать на генеральной репетиции какого-то, будто бы небывало особенного, четыре года готовимого спектакля режиссёра Мейерхольда по лермонтовскому «Маскараду», — так можно было понять, что Мейерхольд сделал там больше и важнее Лермонтова. Нечего было и думать отговорить Еленьку, чтоб она не шла, — она не могла пропустить такого праздника искусства! Но и невозможно было попасть туда вместе с ней — потому что билеты на такое торжество, разумеется, не продавались, а льготно распространялись среди заведомых членов того призрачного мира, и кто не доказал своего первейшего понимания тонкостей сцены и не мог вести диалога на восхитительных ахах — тому, уж конечно, билета достаться не могло.

Да кроме того, как все дневные деловые люди, Ленартович был всё-таки на службе. Хотя, конечно бы, отпросился.

Вот в такие минуты он и чувствовал остро, что Еленьки ему не удержать. Что она, как привидение, ускользает, если и замкнуть кольцо рук, — и своей покачливой, нетвёрдой походкой движется в мире этих призраков, куда ему никогда не будет доступа. А мир-то — совсем не призрачный, но даже слишком реальный, где красивой женщины не минуют все глаза и все руки. И там премножество всяких липких, неотвязных хлюстов.

Да и вся эта обстановка утончённых духовных красот, томных стихов, страдающей музыки, мягких тонов, мягкой мебели, полумрака — уводит она к отвлечённым мечтам, забываешь о суровой действительности. По-настоящему Саша ясно понимал, что всё его влечение к Еленьке — губительно, что она ему не подруга, что для сохранности своих убеждений и своего революционного пути он конечно должен от неё отказаться — сам, первый.

А — не только не мог отказаться, но вот на службе не мог усидеть сегодня, представляя её там в чужой, скользкой обстановке. Ревновал. Мутило. И безсмысленно, но и безотказно потянуло его хоть прийти туда к разъезду, встретить её в вестибюле, с кем она выйдет? И — попытаться отобрать её у сопровождающих, хоть тут.

(И какой ты сразу позорно лишний и неумелый становишься…) А может быть, выйдет одна?

Окончание спектакля могло быть часов около четырёх пополудни, ещё засветло. А может быть, на полчаса раньше? Не пропустить бы. Саша придумал предлог, под каким уйти, но и в три пополудни показалось ему поздно — он постарался улизнуть из конторы ещё раньше.

А между тем на улицах продолжались вчерашние волнения. Был солнечный весёлый нехолодный день, никак не препятствующий демонстрациям, — и все тротуары были затолплены студенческой молодёжью (мало кто учился, молодцы), отчасти рабочими да и просто обывателями.

На этих взволнованных улицах Саша почувствовал себя двойственно: он сиял навстречу этому вы́сыпавшему студенчеству, он был — частица их родная, но по шинели они могли принять его только за подавителя, которому завтра велят — и он будет их разгонять и расстреливать.

Такое недоразумение можно было бы выяснить, только в каждом отдельном месте вступая в разговор и выражая толпе своё сочувствие. А время до театра ещё и было, да как радостно влиться в такую толпу, вообразить себя снова студентом.

Тротуар был весь полон молодёжи. Студенты и курсистки весело громко то скандировали:

— Дай-те-нам-хле-ба!

То запевали на протяжный разинский мотив:

— Почему-у нет хле-э-э-эба?

И хохотали.

И так хотелось Саше позабавиться вместе с ними, да мундир не позволял. Но он стоял в их тесноте и со смыслом улыбался им. Весёлые глаза курсисток уже поняли его и приветливо светили.

А по мостовой шагом проезжала сотня молодых донцов — тоже весёлых почему-то, с улыбками и даже переговорами к тротуару.

Молодёжь стала кричать:

— Молодцы донцы! Ура, донцы! Наши защитники!

И казаки довольно кивали.

Саша не понял, спросил соседей. Объяснили ему, что сегодня в разных местах города казаки показали, что они не поддерживают полицию, а сочувствуют толпе.

Вот как? Вот так новость, небывалый поворот!

Ах, сколько ещё силы молодой, какие ещё возможности! Если на третьем году войны демонстрации проводят с озорством, как бы в шутку, играя в волнения, а не волнуясь.

Да не в такую и шутку. Заворачивая через площадь, проскакал на вороном коне раненый конный полицейский — в чёрной шинели, в чёрной шапке-драгунке с чёрным султаном, а с лицом окровавленным. Он с трудом держался на лошади.

А донцы вослед ему, издеваясь, закричали:

— А что, фараон, получил по морде? Теперь держись за гриву, а то закопаешь редьку!

Да-а-а-а… Потрясающий поворот! Саша шёл дальше под большим впечатлением, даже забывая свою цель.

Вот так, когда-нибудь, при его жизни, и даже ещё в молодости, — вдруг?..

Революция! Волшебное слово! Как его нам напевают в детстве! Дивное мелькание красных знамён с наклонными древками сквозь дымы ружейных залпов! Баррикады! — и гавроши на баррикадах! Взятие Бастилии! Пламенный Конвент! Бегство и казнь короля! Высшее самопожертвование и высшее благородство! Фигуры героев, застывающие в изваяния! Слова, застывающие в веках!

Какое земное чувство может сравниться с чувством революционера? Это светлое упоение, распирающее грудь, выносящее выше земли! Для какого более высокого дела мы можем быть рождены? Какой более счастливый час может пересечь жизнь поколения? Унылы и темны те жизни, которые не пересеклись с революцией. Революция — больше, чем счастье, ярче, чем ежедневное солнце, — это взрыв красного зарева, взрыв звезды!

И Саша вполне мог быть Гаврошем в Пятом году, ему уже было пятнадцать, — но баррикады состоялись в одной Москве, а гавроши не ездят из столицы в столицу. А вся остальная революция протекла как-то незримо, без этих знамён, прорывающих ружейные дымы, — больше в рассказах и впечатлениях интеллигенции, да в коротких перестрелках экспроприации или выстрелах смелых террористов. Революция Пятого потому и потерпела поражение, что не была полнозвучная, полноцветная.

А тогда — какая ж надежда была у Саши дожить до следующей? Настоящие большие революции так часто не сходят на землю. Предстояло ему безцветно проволочить свою жизнь в безысходной российской мерзости? И первым, самым мучительным её

видом была армейская служба. Не четыре года в армии — четыре года тупящего кошмара доживал Саша, затянувшуюся болезнь. Он носил мундир как какие-нибудь пыточные вериги при железном воротнике. Как насильственной заразой вводили в него эти военные команды, военные знания — а он старался не запоминать, не знать, внутренне отталкиваться, и особенно от строя, от ведения огня. К счастью, удалось ему перекинуться на разные тыловые околичности и так сохранить себя для будущего (а что за будущее, если без революции?).

Но! — безсмертная диалектика! Как ни презирал Саша военную форму, а уже стал поневоле к ней и привыкать. И к военным жестам. И даже к отданию чести. И даже заметил, что у него это неплохо получается. (И даже Ликоне нравится.) И если форма сшита по фигуре (а он в Орле сшил хорошо), то она делает мужественным, этого не оспоришь.

И что в самом деле интеллигенция, всегда презирающая спортивные и военные упражнения, а физического труда лишённая, — что ж интеллигенция отдаёт эту мужественность и эту действенность — всю врагам, офицерам, полиции, государству? Интеллигент даже не может себя защитить от физических оскорблений. А для того чтобы вступить со всеми в бой — надо и мускулы иметь, и военную организацию. Вместо мягкой распущенности, домашнего халата, эканий и меканий — да быть гладко выбритым, подтянутым, в ремнях, с твёрдой стремительной походкой, — чем не хорошо? Только помогает завоеванию мира. (Ликоне нравится, да, но не настолько, чтоб этим и увлечь.)

16

В Петербурге особенно заметен этот размах: от поздней осени, когда и дней почти нет, — и до расцвета лета, когда нет почти и ночей. Здесь особенно заметен к весне быстрый прирост света — и каждый год Фёдор Дмитриевич зорко за ним следит и радостно отмечает его явления, записывает приметы. Весна — это значит скоро ехать на Дон. Хотя главная жизнь Фёдора как будто плывёт в Петербурге — а нет, душа-то всё время на Дону, и рвётся туда!

Так и сегодня, ещё совсем зимний день — но солнечный, но с крыш к полудню — звучная, даже гулкая, дружная капель, и этот

первый уверенный стук весны, эти множественные вкрадчивые ступы её ударяют в сердце. А уж яркость и глубина света — ещё днями раньше нагляжены приметчивым глазом.

И рад, что весна, что разомнётся скоро за плугом в поле, с лопатой в саду, — и ещё спешней того успевать до весны продвигать роман! В станице — работы, работы, не попишешь. А в эту весну — уговорились, приедет в станицу Зинаида. Знакомиться с сестрами. И с донской жизнью. Увидеть хозяйство. Что будет? Что будет? И сладко, и страшно. И — тем больше пока успеть написать и отделать дорогих, душевных страниц.

Сколько видено и пережито казаков, и сам же казак, — а один вот выдвинулся, видится всё время, — черночубый, высокий, мало доброжелательный, — как он подъезжает к водопою и встречается с женой соседа. А казачка та — соединённая из нескольких станичных баб, которых Феде самому досталось повалять в шалашах, у плетней, под подводами, или только поласкать глазами. (Одна-то из них —так и прилегает, только она неграмотна и никогда этого романа не прочтёт.)

Фёдор Дмитриевич Ковынёв продолжал квартировать у своего земляка в Горном институте и работать институтским библиотекарем, — так был ему и кров, и постоянный приличный заработок, какого литературная работа принести не может. Но счастливые и главные часы его были — когда ему доставалось писать. А счастливые телефоны — все литературные: самой редакции в Басковом переулке, и сотрудников её по разным местам города. И из своего дальнего угла на Васильевском острове, откуда не всегда он мог выехать в любимую редакцию, такая поездка забирала много времени, — он любил иногда и позвонить по телефону, узнать новости.

Да теперь ходить по Петрограду — только расстраиваться: все стали какие-то жёлчные, нервные, — и приказчики в магазинах, и чиновники в учреждениях, и извозчик курит под самым носом седока, и даже ломовые — бьют перегруженных лошадей и ещё сами садятся на воз. А солдаты в караульной амуниции толкутся в Гостином Дворе, в Пассаже, — дико смотреть: что они, с поста ушли или из караульного помещения? А ещё, городские власти любезно разрешили солдатам безплатную езду в трамваях — как уважение к защитникам отечества. И теперь если солдату надо один квартал пройти — он ждёт трамвая. Шляющиеся их толпы завоевали весь трамвай, и уже стали недовольны, что частная публика тоже хочет

ехать. С кондукторами не считаются, забивают вагоны, обвисают гроздьями с площадок.

Вчера Фёдор Дмитриевич не выходил из института, хотя слышал, что кое-где громили булочные, трепали мелочные лавки. Сегодня как раз по телефону узнал, что по Невскому полиция не пускает — и, как всегда в таких случаях, сразу замялось сердце в радостной надежде: а может что-нибудь *начнётся*? Всё общество, всё окружение, все петербургские друзья Фёдора Дмитриевича постоянно жили этой надеждой: да *начнётся* же когда-нибудь?!

Будний день. И с работы не так удобно отлучиться, но что-то и не сиделось. А пройтись коротко по Васильевскому!

Пошёл, сама погода наружу тянет. Пошёл, лицом своим не нежным ловя первый солнечный пригрев и шапкой и плечами охотно подбирая капли с крыш.

Прошёлся — но только и повидал жиденькую молодёжную демонстрацию на Большом проспекте, никем не разогнанную, не задержанную. Да один остановленный трамвай.

Вернулся опять на службу. Но слухи доходили весь день и будоражили. И как закрыл в конце дня библиотеку — так отправился Фёдор Дмитриевич в центр, своими глазами посмотреть. Получится из *этого* что, не получится, — а свой глаз всё сметит, сохранит. Да в записную книжку.

Но сколько ни шёл до Казанской площади — ничего так особенного не увидел. А Казанский сквер весь был запружен народом, но и тут ничего, собственно, не происходило: не стреляли, не били, не хлестали нагайками, не давили лошадьми. Иногда конные казаки, но проездом бережным, чуть перегоняли волны народа через цветники к колоннаде — и снова всё устанавливалось.

Видеть верховых казаков на петербургских улицах всегда было для Феди мучение и раздвоение. Мучение, что их прислали сюда палачествовать, стыд, как будто это он сам, клеймо это он на себе носил. (Не могут себе полицию завести, какую им надо, всё валят на казачье имя!) Но и всё равно радость и гордость от одного лишь казачьего вида и от фырканья славных коней, взращённых и справленных на Дону.

Однако сегодня казаки как-то ласково вели себя, и не бранили их из толпы, и Феде это так и помаслило по сердцу.

Кое-где, огораживая, стояли серые солдатские ряды с малиновыми погонами, толпа вплотную теснилась к ним, иногда местами вскрикивала чему-то «ура» — но не было ничьих, никаких действий. Всё было — добродушно, где с любопытством, где с лёгким переругиванием.

Ничего серьёзного произойти не могло.

И Федя сам проникся этим мирным добродушным настроением, ничего уже не ждал и записывал в свою неизменную записную книжечку только — типы, одежды и выражения.

Солнечный день ненахмуренно переходил в красный закат, однако набирая и холодка. Красный, как предвещающий радость? А может кровь? Поверх городских громад ложился алый свет на пятые этажи Невского, на стеклянный купол Зингера. И как всякий закат в стынущее таянье был почему-то печален.

И сперва это мирное народное добродушие, а затем эта печаль — перебрали, перебрали к себе федино сердце. И на мирном расходе толпы он тоже отправился домой, уже размышляя только о своём внутреннем.

Неужели он был на неотвратимом пороге женитьбы? Какой такой «пятый десяток» он всегда всем тыкал? Вот — и нет пятидесяти! Самая пора, вполне сок, для мужчины. И вообразить себя, вольного, окольцованным — невозможно. А и сладко: уже соединиться, слиться безраздельно и навсегда. И лестно взять молодую, и сколько страсти ещё впереди.

Но и страх отчаянный: погубить женитьбой не столько даже жизнь, сколько писательство. Щедро награждены мы жизнью, но и скупо: каждый возраст один, никогда потом ненагоняем, и каждый выбор в жизненном разветвлении почти неисправим. И упустить можно целый мир, а выиграть — никогда мир целый. До сих пор спасительно осторожно Федя всегда решал — нет и нет. Но с Зинаидой пошло так пробуравливая, взнимая, перепластывая, — так и врезалась она в его жизнь.

И он — в её. Что ж он наделал? Ведь сына погубил ей он — что поленился к ней в деревню, вызвал в Тамбов. И в Тамбове он её не поддержал. Он что-то, кажется, совсем не то делал. И ещё вослед чуть не добил её своей глупой ложью о «другой». Так — несло их и врезáло друг в друга. Видно, судьба.

Зимой приезжала Зинуша в Петербург — и какая ласковая, приёмчивая, как всегда мечтается подруга, без ошеломительных взрывов. Не в Тамбове осенью — вот здесь она его припалила до конца. Уж так съединились с нею слитно, подладно, такой — готовен он был и предаться.

А воспитанника Петьку — Зинаида охотно и примет.

Но, как всякий человек в новой обстановке, совсем же не предвидела она, сколько чужести и враждебности встретит в станице — как русская. Совсем нелегко будет понравиться сестрам, и всем вокруг, и войти женой в казачью судьбу. Может и очень удаться, а может и не стать.

Она-то хотела повенчаться ещё перед Доном, чтобы туда приехать уже супругами, — но Федя-то знал, что никак нельзя. Это — нельзя.

С этой новой разбережей брёл Федя, не замечая вполне уже обычного Невского, вышел к Дворцовому мосту. Подстывающий закат поднимался по шпилю Петропавловки всё выше, всё у́же, — с острия уже стекая в небо.

Как ни живи, как ни решай, а какое-то чувство занывное, что в любви нельзя решить правильно — никогда.

И одно только верное правильное — тетрадочка с первыми главами донского романа. И идти скорей, садиться за них опять — и млеть над каждой строкой.

17

У начала Съезжинской улицы, близ Кронверкского, лежал опрокинутый одиночный моторный трамвай. Когда его валили, здесь, должно быть, много было народу, а сейчас уже и мальчишки на нём своё отсидели, отпрыгали, убежали в другие места. И прохожие почти не останавливались около него, мало задерживались, будто вид трамвая, поваленного среди улицы, был обыкновенным. Может, перед тем они видели необычнее или ждали такое, куда спешили.

Но один высокий прохожий в инженерной фуражке и тёмном суконном пальтишке с полевой кожаной сумкой через плечо, как носят офицеры, — остановился, руки в карманы, суконный воротник без меха поднят на шее. И так стоял, стоял у поверженного.

Трамвай был грязно-зелёного натурального цвета, каким бывает кожа иных больших животных, — и, как такой большой рабочий буйвол, он лежал, издыхая или уже издохнув, на грязном снегу. Стеклянный лоб его был в трещинах: перед тем как забить животное и свалить, его перелобанили. Побит и помят был бок, на который его повалили, дребезги стекла там резали его. Далеко за спину и неестественно вывихнутый лежал хобот с привязанной верёвкой. Четыре мёртвых чугунных круглых лапы торчали вдоль земли — и видно было, как повредился рельс, когда выворачивали лапы. А ещё — брюхо несчастного животного, никому никогда не видное, с его потайными нависами, зашлёпанными уличной грязью, теперь было выставлено на посмеяние.

И хозяева не шли за раненым. Все покинули его.

И как же его теперь — проще всего поднять?

Ободовский наклонялся к телу его, и через верхние стёкла просматривал, что с нижним боком, и обходил вокруг, заглянул в тамбур вагоновожатого и пощупал приводную дугу. Уже к сумеркам было, когда он побрёл дальше.

Ему немного оставалось, тут на Съезжинской они и жили, чуть не доходя круглого заворота на Большой проспект.

Привычным тёплым, мягким объятием и поцелуем в губы встретила его Нуся. И с мгновенной переимчивостью, развитой у них, переняла от мужа мрак — и на это невольно сразу поправились её подготовленные возбуждённые рассказы.

Нуся сегодня далеко не ходила, а многое видела тут, поблизости. Слушала удручённое описание упавшего — а она как раз и знала, как этот трамвай останавливали: он шёл под охраной, на передней площадке пристав и требовал от вагоновожатого не заминаться, ехать дальше. Но из толпы двумя кусками льда ранили пристава в ухо, вагоновожатый соскочил на другую сторону, потом ссаживали всех пассажиров.

Пётр Акимыч обедал, как всегда не замечая еды. Он двигал всею кожей головы, и уши двигались нервно.

Толпа! Странное особое существо, и человеческое и нечеловеческое, вся на ногах и с головами, но где каждая личность освобождена от обычной ответственности, а силой умножена на число толпящихся, однако и обезволена ими же.

Чего больше всего и было за день тут, в окру́ге, — это били стёкла: в хлебопекарне на Лахтинской, в хлебной лавке Ерофеева по Гесслеровскому, в мясной лавке Уткина, в мелочной Колчина, во фруктовых магазинах, — со зла. А при каждой толпе есть кто-то, подростки или взрослые, кто и в выручку руки запускал. А ещё малые группы, без толпы, разграбили на Большой Спасской мясную лавку и чайный магазин.

Такие ж случаи и на Охте, Петру Акимовичу рассказывали, — били стёкла, а выручку уносили.

Эта выручка, унесенная во многих, значит, местах по Петрограду, делала события непоправимыми, как делает их и стрельба: чтобы не искали виновных — надо завтра опять бить и грабить дальше.

А что было в центре! — это он видел сам. Никогда не думал, что до этого придётся дожить: стоять у Казанского собора, у заветного центра всех революционных студентов уже тридцать лет, — и видеть, как открыто поют, никто не мешает, — «Вставай, подымайся!», выбросили красный флаг — и сердце само невольно, по старому такту, подпрыгивает.

Человеческий челночок — из двух пар глаз, мужчина и женщина, они всегда вместе, они во всём согласны — и струною взгляда и струною чувств невидимо подправляют друг друга, как держать им, когда хлестнёт с разных сторон. Двуполюсная магнитная стрелка устанавливается сквозь эти бурные силы.

И ключ рассказа, ключ отношенья ко всему, что видели за день, — поворачивается.

И во многих местах казаки — ничем не препятствуют! Через Николаевский мост пропустили целую толпу подростков и женщин. Нейтральность казаков — это самое поразительное во всём, такого ещё не было никогда!

Охватывало восторженное предчувствие.

Грабёж магазинов, конечно, мерзость, но такое всегда при массовом движении.

— А разве в Иркутске в Пятом это было, Петя?

— В Пятом не было, так в Шестом было везде.

Настроение двоилось.

Этот упавший, безсмысленно изгаженный трамвай, чудесное творение рук.

После ареста Рабочей группы Ободовский так негодовал — собственными кулаками дробил бы министерство внутренних дел, само здание их безчувственное! Ослы тупоумные, они неспособны развиваться, не понимают, что такое был и мог быть для них Гвоздев! Не понимать оттенки — признак ослов!

Но вот поднялось — кажется, нам на выручку, самое н а ш е?

И опять сейчас закишат все эти *социал-демократы*, слово-то какое безобразное, — и те, которые нахрапом, и те, которые заумно змеятся между десятью поправками и оговорками?

— И что ж, нам идти в баррикадники, Петя?

Нет, не иркутское настроение.

Одновременно — страх, что рухнет всё, налаженное с Пятнадцатого года, — всё военное снабжение, вся арттехническая подготовка, — что же будет с нашим наступлением весной?

Эти волнения на оборонных заводах на некоторых, на Путиловском, даже подозрительны, как бы чувствуется скрытая рука?

Нет, подозрительно второй день бездействие власти: ни одного выстрела, ни одного ареста. Как будто подготовленный уличный спектакль: неужели — грандиозная провокация? и будет невообразимая расправа? Неужели власть бездействует умышленно, чтобы вызвать волнения ещё большие — и потом утопить их в крови?

На сто лет? Ещё на сто лет!! Несчастная наша страна!

А может быть наоборот: колеблются? пойдут на уступки? Уберут идиота Протопопова? Согласятся на ответственное министерство?

Неужели наконец весь этот ужас может ослабиться? Или даже — рушиться?

Несдвигаемое, нерушимое — и вдруг рушится?..

И наступит светлое равноправное общество, где тупые чинуши на жирных окладах и в бляхах нагрудных звёзд не будут загораживать все пути? Ни у кого не будет равнодушия к общественному благу?

Сердце выпрыгивает: о, победи, революция!

И опадает: во время *такой* войны! до чего же некстати! Безумие…

— Стоял я, Нуся, около Казанского, в этом пении под флагами, — и, поверишь, не только не был рад, но готов был, как поп примиряющий, с распростёртыми руками уговаривать толпу: братья! не надо! потерпите ещё немного! Ведь какое время! Ведь только немцам на радость! Подождите ещё весеннего нашего наступления! Вот скоро всё кончится —и тогда-а-а…

18

Что Алину оставить никак нельзя — это Воротынцеву было совершенно ясно. Да он ведь и не собирался! — его самого поразил тот счастливый перехват дыхания, когда Алина написала, что —

освобождает… Нет! — он отвечает за неё, и будет её беречь, и обязан вернуть ей равновесие, которое так неразумно нарушил (как мог рассказать?? — сам не понимал). Она слабенькая, вот как её сокрушило, что и за месяцы не придёт в себя: слала и слала ему упречные письма, то безсильные, то яростные, — а он не давал себе раздражиться, отвечал уговорчиво, как ребёнку, писал часто (к штабной писанине ещё одна добавилась), — и только когда придумала, что приедет к нему в штаб армии, — вот тут отказал твёрдо, это было б уже невыносимо.

Все её упрёки он заслужил, да, вполне, — но, пожалуй, они становились такими бичующими, что уже сам себя в этом злодее не узнавал. И хотя ведь он сам же всё рассказал, и её не оставил, — она снова и снова требовала больше, и как непременного условия: чтоб он вернул ей уверенность, что она для него — лучшая и несравненная. Но, по совести, вот тут ему стало трудно солгать. И писала ему так, будто он в летние лагеря отлучился, не в Действующую армию, где давно он мог погибнуть, где уже перенатянут был его счастливый жребий. И так она гневалась, и так ужасалась, что ещё станет другим известно, — выступило ему: а ей бы, кажется, легче потерять его убитым, чем ушедшим к другой.

А весеннее наступление всё ближе, и все офицеры спешат съездить в отпуски зимой, пока живы, предложили и Воротынцеву. В штабе Девятой только три месяца — он и не думал об отпуске. Но в первую же минуту откинуло: к Алине? прямо под эту грызню? Ни за что. А если… А что, если? Теперь ведь не от полка. Пока, правда, жив… Что ж, никогда больше к Ольде не припасть? Невозможно!! А она всё время его звала, звала, то пришлёт рисованное — какие-то зверьки, таинственная девочка с зелёными глазами, какие-то ребусы, приезжай, отгадаем вместе, — и сладил он себе дюжину дней, три дня туда, три дня назад, и, минуя Москву, помчался прямо в Петроград — и даже Вере тут не объявился, не смущать её, пусть не знает.

И во всю дорогу не усумнялся в своей поездке и только думал: шесть дней — да это один вздох, не хватит. А от минуты, как достиг ольдиного дома, — восстало всё как новое, и ещё сильней, жарчей, — будто они оба помолодели, поозорнели.

Как будто для этих встреч, для этой воронки вкружливой он и жил всегда. Опять всего изнутри как пересвежили: грудь — другая, дыханье другое, глаза другие, весь — счастливый.

А вот так, так легко-весело, как на ребусы смотрел, — не оказалось. В этот раз что-то и понуживало. Тут тоже был свой обряд, обряд говоренья-слушанья. Особенно всю поездную дорогу до Мустамяк, пока они обречены были к одному говоренью. Знать-то Ольда множество чего знала, но уж очень учительно, отчего сразу становилось из интересного скучновато. Как будто в обводе её опыта уже и заключалась вся главная жизнь.

Об объяснениях тогда осенью с Алиной, что он открылся и что́ из этого потянулось, — Георгий избегал Ольде в письмах: на письме не передать, да и в рассказе передашь ли, тут столько сложного, неназовимого. Тогда обошлось благополучно, в Петроград Алина не поехала, можно не вспоминать. Да и неприятно, как всякий просчёт. Но теперь при встрече скрыть — тоже как бы нечестно. Томило. И здесь, не сразу, рассказал.

И вот — не предвидеть было: как Ольда взволновалась, как стала подробно и перекрестно выспрашивать и сколько ещё о том говорила, заснуть было нельзя. А с утра, чуть глаза размежили, — снова и снова. Вот эти разговоры на сутки уже стали ему и тяжелы. Это опять было учительно, даже нудно, — и здесь тоже упрёки! Из того, что он делал промахи, Ольда вывела, что теперь она будет направлять его по своим оценкам, внушать план, как поступать. И такой иногда тон, что если вот сейчас она не скажет Георгию суровой правды, то и никто ему не скажет. Она думала за него как уже за своего мужа, так уверенно говорила, что — мужем своим признала его, будто они уже и под венцом побывали. Почти так подразумевалось и в гостях у соседа-профессора, и Георгий подумал: нет. Да если был бы он сейчас и свободен, — вот так прямо? Нет. Слишком ли много в ней настойчивого, даже властного?..

А между тем весь её внушаемый план к тому и сводился, чтобы он боролся *за неё*. И Георгию стало перед ней же неловко, чтобы ей возразить. А она так понимала его молчание, что он впитывает, и развивала дальше.

Впрочем, если это — голосом певучим, уговорчивым, у тебя при плече журчит, — так хоть и пусть. В уговоры не так-то можно и вслушиваться, что́ пропустить, не отозваться. Эти докуки соскальзывали, а девочка с зелёными глазами была вот она. Да не с такими уж зелёными, как раскрашивала карандашами, всего-то с призеленью. Тут всё двоилось. Рядом с собою он ощущал Ольжень-

ку как сокровище, он и всегда, наверное, будет ждать её зова и томиться без неё. Но к Алине оставался долг и вечно ноющее чувство, к Ольде не было такого.

Сама ж говорила, что время — безценный помощник, и сама ж вот торопила, что теперь уже откладывать нельзя. Ч т о — откладывать?..

А тут ещё стала Ольда учить жутковато, как доброта губит в личном, как порезы надо лечить холодом и как бы надо Алине утешителя…

Георгий не показывал вида, всё опасаясь обидеть, а сердце в нём — заныло.

Он не заметил точно, когда именно и отчего, от какого именно толчка. Да может, он и проснулся уже с необъяснимо занылым сердцем.

Как появляется этот первый наслой душевного стеснения — мы не всегда замечаем отчего. Когда вчера гуляли по безлюдным Мустамякам с забитыми на зиму домиками и ходили к профессору — уже что-то тяжелило или потягивало куда-то вон.

И днём бегали за бревном и пилили весело, — а что-то сжимало и сжимало, неуклонно.

За таким стесненьем если не уследишь — то легко ошибиться: это сжатие сходно бывает и от предчувствия беды в будущем, и от раскаяния в уже совершённом. Эти два мрака очень сходны.

От ольдиных уговоров? Как будто нет. Хотя и они вложились. Но было что-то и обхватней.

Когда же он пошёл колоть дрова и уже стоял в одном кителе распаренный, в облоге разваленных плах с желтоватым щепенистым телом, — вдруг обняло такой тоской, так схватило! — уворовало прочь сердце, почернели снега, и вдруг показалось невыносимым ещё дальше оставаться в этой хвойной, снежной, дачной тишине.

Он внушал себе, что это — дико, он ехал две тысячи вёрст за этим жарким уединением, а другое всё — всегда его. Но — не внушалось. Внутри потемнело, обвалилось — и ничто не утешало.

Ощутись это слабей — он сробел бы, постеснялся сказать Ольде и остался бы через силу.

Несколько часов назад была радость — и вдруг безо всякой причины обвалилось.

Пришёл с охапкой наколотых дров, кинул под печь и сказал:

— Ольженька, что-то мне стало сердце тянуть, не по себе. Что-то у меня предчувствие, что ли, какое-то дурное.

И ушёл, не дожидаясь ответа. Принёс вторую охапку, грохнул на первую, тогда:

— Давай — раньше уедем, а?

— Нет! нет! — оживилась она. — Так тихо! так хорошо! в кои веки мы вместе!

Но видела его лицо. Подошла, притянулась, снизу вверх смотрела:

— Я тебя успокою.

Георгий — голосом уставшим, как перебитым:

— Вот не знаю… вот не знаю… Вдруг стало мутно.

Но и её лицо стало теперь несчастным, темнота погналась по маленькому лбу, на глаза.

А ведь бывает — что и успокаивается, внезапно, как началось.

Они собирались уезжать отсюда в воскресенье днём. А сейчас была пятница, впрочем уже и за полдень.

Ольда нешуточно отемнилась, даже и обидой. Строго поджала губы.

Да и стыдно мужчине — гнать куда-то по предчувствию или сомнению. (О сомнении — он не дал Ольде и догадаться.) Ладно, остаёмся, а там посмотрим.

Не так уж долго и до ранних северных сумерок. Раскалили печку и сидели на чурках перед открытой топкой, всё в огонь. И Георгий устыдился, что вдруг стало ему в тягость оставаться тут. Какая женщина прежде одарила его одной десятой этой радости, как Ольда!

Она опять пыталась много говорить, теперь и о другом, но он её утишил, чтобы молчала, и долго нежно держал на коленях, прижатой бочком к своей груди, даже именно к сердцу. Почему-то если вот так прижать и держать, то тревога тает. В домике темно, свет один — от горящих дров, как в пещере, двадцать тысяч лет назад: мы укрыты от опасностей, есть у нас пища, есть огонь, и если мне, сильному, так легчает от твоего прижатия, то насколько же тебе! От врагов, от мороза, от голода, от смерти только и нужны — теплота и лад между нами. А слов не надо. Да мы ещё, может, и говорить не умеем.

Уж какие сладостные у них бывали вечера — но благодарней этого не было.

И — нежная, нежная тихая ночь, всё время в обнимку.

19

Так и знал, так и знал Михаил Владимирович, что народное негодование неминуемо прорвётся! Даже французская делегация говорила недавно: «Вы заслуживаете лучшего правительства, чем есть!» И вот — правительственная политика начала давать свои роковые плоды! Она вызвала недоверие всех мыслящих русских кругов к своему государственному аппарату! Строй государства с каждым днём отставал от самосознания общества! По вине этого правительства и создалось роковое разъединение власти и народа! Своей манерой повелевать оно и сеяло первые семена будущей революции! Уже с 1914 года Председатель Государственной Думы да и другие пророчили, что правительство не справится, наделает массу ошибок! И действительно: все распоряжения высшей власти как бы направлялись к особой цели: ещё более запутать положение страны. Можно было не обинуясь утверждать, что правительством руководит распутинский кружок, а сам он служит интересам Германии!

Да и чего можно ждать от этих ничтожных людей, кто случайно появляется у власти и не умеет проявить ни одного высокого порыва? Они не могут добровольно отрешиться от власти, ибо им не хватает любви к народу. Той самозабвенной любви к народу, которою кровоточат все сердца народных представителей — и вдесятеро от них огромное тревожное сердце Михаила Владимировича!

А привело себя к крушению правительство потому, что сопротивлялось общественной самодеятельности, усилиям всего общества помочь общей беде — безо всякой же задней мысли, с одной целью поддержать правительство в трудную минуту! Чьей-то невидимой рукой упорно вносилось в народ раздражение и недоверие!

А зловещим олицетворением этой преступной политики стал гнусный Протопопов — перебежчик и двурушник! И всей Государственной Думе, и всему Прогрессивному блоку было оскорбительно, что этот видный, успешливый их член оказался такой низкий изменник, падко кинулся в лагерь правительства, но Михаилу Владимировичу Родзянко оскорбление было двойное, ещё и личное: что этот ничтожный человек годами замещал его в председательствовании Думой, что Родзянко прежде сам предлагал его в министры, правда, промышленности-торговли. Но каково ж было его

изумление, когда Протопопов, воротясь главой думской делегации из заграничной поездки, — пришёл с отчётом не к Михаилу Владимировичу, но был вызван к Государю *помимо* него! — и так начались их таинственные и позорные переговоры со Штюрмером о министерстве внутренних дел. Возмущению Михаила Владимировича не было границ.

И вот — народное негодование прорывалось! Вчера были в Петрограде волнения, которых Михаил Владимирович не мог оставить без внимания: рабочие покидали заводы и большими толпами шли в центр города — правда, с неизвестной целью: почему-то не к Государственной Думе. Сегодня, справедливо (да и с чувством возмездия) ожидая продолжения волнений и желая разгадать это народное движение, — Родзянко, покинув думские прения полыхать часть дня без себя, самолично поехал туда, откуда движения начинались: на Васильевский остров и Выборгскую сторону. И ему самому довелось наблюдать величайшее волнение рабочих женского пола, по-видимому — из-за неравномерности продажи хлеба. И снова толпы шли к центру с неизвестною целью.

А чем избывал всегда Михаил Владимирович — это инициативой и энергией. Кто-кто, но не он мог бы быть безучастным зрителем развала государственности! Ещё не успел его автомобиль воротиться с заречной стороны, а его проницанию уже представилась и вся картина: преступное и безпомощное правительство пожинало плоды своей тёмной политики! Прорвалось именно то, о чём всегда предсказывали лучшие люди общественности!

Глубоко глядя, дело было, конечно, не в хлебе — но в народной обиде на то, как обижало правительство его народных избранников. Дело было не в хлебных перебоях, а в политическом недоверии населения к власти. Почему бы вдруг стало не хватать хлеба? Потому что население не везёт зерновых продуктов на рынок. А почему оно не везёт зерновых продуктов на рынок? Потому что не доверяет *этому* правительству и опасается неумелых распоряжений властей.

Итак, дело-то, конечно, не в хлебе, и ситуация требует радикального лечения. Но даже и в узком хлебном вопросе можно было оказать народу решительную помощь, вместе с тем принципиально потеснив правительство, а заодно нанеся и сильнейшее поражение Протопопову: ведь Протопопов всё время боролся за захват продовольственного дела от министерства земледелия в министерство внутренних дел, — так вот теперь от всяких

вообще государственных чиновников да передать хлебное дело Петрограда — петроградской городской думе! Это значит одновременно: и передать в верные руки общественности, которые заботливо, горячо схватятся за дело, — и ещё раз показать всей столице и всей стране неумелость, бездарность и обречённость правительства.

А когда что закипало в объёмной груди Родзянко (склонять свою фамилию по падежам он не одобрял и не разрешал) — то этому ревущему пламени мало кто мог противостоять. Так и сейчас: деятельный думский вождь прежде всего бросился на квартиру к Риттиху. Тот был простужен и с сильным насморком сидел дома. Давя его всею своей крупнофигурностью и значением такого домашнего визита, Второй Человек государства легко получил согласие министра земледелия: занятый всем необъятным движением хлеба из далёких углов страны, он легко уступал внутристоличное распределение, а скрытой здесь общественной мины не увидел.

Теперь надо было так двигаться в недрах правительства, чтоб обойти стороной изменника и подлеца Протопопова, пока он не узнал и не догадался. И уговорил Родзянко Риттиха — просто жаром своим оплавил, что только быстрое действие здесь может спасти Россию: ехать немедленно к военному министру, а через того воздействовать на премьера князя Голицына.

И хотя путь этот был необъясним с точки зрения закономерной, но в вулканическом родзянковском дыхании всё пробилось — и часа через два в роскошном своём думском кабинете Михаил Владимирович получил телефонный звонок, что сегодня же вечером в Мариинском дворце состоится совещание по предложенному им плану. Собраться — не для стенограммы, но для делового сговора.

И вечером в синебархатном зале состоялось это экстренное совещание. Неутомимый трёхжильный Риттих докладывал всё то же, что и в Думе. Что запасов ржаной муки в Петрограде — более полумиллиона пудов (не считая военных складов, где значительно больше). Даже при раздутом до двух с половиной миллионов населении Петрограда — это, на потребляющих ржаной, по фунту хлеба в день на человека, если не будет никакого подвоза. Что опасения, проявляемые населением, не имеют основания, а вытекают лишь из тревожных слухов. Что острый мятельный перебой железных дорог — уже позади, завтра же прибудет 100 вагонов с подгородней станции Любань, и будут рассасываться заторы узловых

станций, в марте должно приходить не меньше 35-40 вагонов каждый день, а каждый вагон — это тысячи пудов муки. Что проблема скорей в лошадях, которых в Петрограде до 60 тысяч, и большая доля хлеба скармливается им. Зато мяса — 180 тысяч пудов, и столько же у армейских уполномоченных, а из Сибири надвигается 1000 вагонов мороженого мяса, сколько не могут даже принять холодильники Москвы и Петрограда.

Родзянко это выслушал и настаивал, что продовольственное дело должно быть немедленно передано городскому самоуправлению.

Так и правительство согласно.

И холодно взвешенный, твёрдый, сообразительный председатель Государственного Совета Щегловитов тоже мгновенно поддержал своих обычных противников.

И оказалось — никого против!

Правда, придётся менять некоторые статьи законов: расширить права городских самоуправлений. Но правительство взялось сегодня же ночью составить проект и завтра же заявить его в Думе. Родзянко дыханием благородной груди заверил, что Дума примет законопроект в самом спешном порядке. Щегловитов обещал, что не задержит и Государственный Совет.

И в тёплом единении решили единогласно (как ничто нигде уже давно). Правда, сколько-то дней, недели две, понадобится на процедуру, знал Родзянко свои думские затяжки и своих говорунов о постороннем, — но всё равно, одержанная им сегодня победа была колоссальна! Наконец-то хлебное дело перейдёт в честные и расторопные руки общественности!

И он везде успел сегодня: и Думой продолжал руководить — и спас столицу от голода!

20

Вчера на могилёвском вокзале Государя встретил обычный состав штабных офицеров во главе уже с Алексеевым: он вернулся до истечения отпуска, а Гурко уехал в свою Гвардейскую армию. Не виделись почти четыре месяца, и приятно было Государю снова усмотреть немудрящее, несановное, котоусое лицо своего неизменного начальника штаба. Тепло обнялись. Но следы нездоровья

ещё очень были на нём видны, держался силой воли. Государь пожурил его, что так спешил из Крыма — мог бы и ещё полечиться две-три недели. Но Алексеев выразил, что хочет участвовать сам во всей подготовке весеннего наступления.

Он только-только вернулся, ещё не успел и вникнуть в дела. В Управлении поговорили с ним полчаса — не на служебные темы, а так просто. И остался Николай на долгий вечер — один, в отвычном одиночестве.

Правда, отрыв от Аликс никогда не был полным: каждые несколько часов что-нибудь между ними да проскакивало. Так и вчера вечером примчались две телеграммы: одна от Алексея, что он чувствует себя хорошо и жалеет, что не с отцом, не поехал в Ставку, и другая от Аликс — что Алексей и Ольга заболели корью. И Николай тотчас же ответил телеграммой.

Так и случилось, не миновало: подозрительный этот кашель, этот кадетик, игравший с Алексеем десять дней назад. А уж если началось, так наверно теперь и все схватят, и уж лучше скорей все заодно, только бы без осложнений. И хорошо, что не взял Алексея сюда, — каково было бы заболеть ему здесь! Но и как же безпокойно будет теперь для Аликс! Хотя бы ей сократить — под предлогом кори — государственный приём.

А стал разбирать вещи и приводить в порядок комнату и смежную спаленку, — сиротливо стало около походной кровати Бэби, где разложены были его маленькие вещи, фотографии, безделушки. Как согревал его сердце сын, какая надежда — и вечная тревога — росла в нём!

За обедом увидел всех союзных военных представителей, по которым соскучился за два месяца. Объявил им о кори детей — все огорчились очень. И старик генерал Иванов бородатый был за обедом — такой милый, такой чудесный рассказчик.

С вечерними часами — одиночество врастало в душу. Было в нём и возвышающее, очень успокаивающее — такая тут стояла тишина, никакого человеческого шума не донесётся, слышно, если в ветре пошевельнётся железная обивка подоконника. Но и — тем острей не хватало присутствия Аликс, и мирного при ней получасового пасьянса каждый вечер. Эта тишина — она и угнетает. Надо будет найти работу. И надо будет по вечерам возобновить игру в домино.

Уже больше суток он не видел своей Sunny — и тянуло писать ей письмо. Вчера же перед сном и начал писать. А сегодня прилож

жил для Алексея новую радость — вручённый представителем орден от короля и королевы бельгийской, то-то порадуется новому крестику.

А тем временем слышней проступали и прорабатывались в Николае последние наставления Аликс, ещё повторенные и в том её письме, которое он нашёл у себя в вагоне: будь твёрдым! будь повелителем! пришло время быть твёрдым.

Да, она права — и с большим душевным усилием Николай готовился стать непременно и только твёрдым. Да он уже — и чувствовал себя твёрдым. Да, чувствовал. В этот раз он приехал в Ставку совершенно твёрдым.

Но тут — не надо и перебрать. Быть повелителем — не значит ежеминутно огрызаться на людей направо и налево. Очень часто совершенно достаточно бывает спокойного резкого замечания, чтобы тому или другому указать на его место. А ещё чаще — нужна только ясная твёрдая доброта и справедливость, — и люди проникаются, понимают, думают наилучше.

С этим сознанием, с этим размышлением — как научиться быть по-новому, по-монаршему твёрдым — окончил вчера письмо и вчерашний вечер, — и с этим же сознанием проснулся и начинал новый день.

А день наступил — ни признака весны: пасмурный, ветреный, потом повалил густой снег. Всё охолаживало душу.

Пришла ещё одна телеграмма от Аликс, о здоровьи детей: кажется, начиналась корь у Татьяны и Ани Вырубовой.

Ставочный — строго распорядный, малословный, тихий день. Несмотря на дурную погоду, стала душа Николая расправляться. Жизнь здесь была — род отдыха: не было приёма министров, не было этих запутанных, напряжённых проблем, претензий, конфликтов с Думой. Сходил к Алексееву послушать доклад — о неподвижности фронтов, о мелких случаях, переформированиях, генеральских назначениях, а все решения были заранее подготовлены. Потом — приятный часовой завтрак со свитой. Хотели ехать в обычную прогулку на моторах за город — но уж очень густо валил снег, не поехали.

Из-за этой снежной бури опоздал и дневной петроградский поезд, с ним — и ожидаемое письмо Аликс, — а уже очень хотелось письма.

Послал телеграмму: не переутомись, бегая от одного больного к другому, мой кашель меньше, нежнейшие поцелуи всем.

Кое-как дотянул до вечернего чая — а уже принесли и письмо от Солнышка. С жадностью читал — и все подробности болезни, в каких комнатах расположились, где завтракают, где обедают. Алексей и Ольга грустят, что болят глаза и нельзя писать отцу, а Татьяна (единственная в мать — и волей, и дисциплиной, и тёмными волосами), ещё вчера не отдавшись болезни, прилагала письмецо от себя.

Страдала Аликс, как Ники ужасно одиноко без милого Бэби — и как самой ей одиноко без мужа.

И особо напоминала: если будут предстоять трудные решения — надевать тот вручённый ею крестик, уже помогший в сентябре Пятнадцатого года.

Как всегда, в восемь вечера — обед, с союзными военными представителями и избранными людьми свиты.

После обеда дал Аликс ещё одну телеграмму — благодарил за письмо, всем больным горячий привет, спи хорошо.

А отослав телеграмму — почувствовал ещё незаполненность и сел писать ответное письмо.

Ещё раз благодарил за дорогое письмо. Сейчас беседовал с доктором Фёдоровым, он расспрашивал, как развивается болезнь. Он находит, что для детей, а особенно для Алексея, абсолютно необходима перемена климата, после того как они выздоровеют, после Пасхи. Оказывается, у него — тоже сын, и тоже болел корью, и потом год кашлял — из-за того, что не смогли сразу вывезти. На вопрос, куда же лучше всего детей послать, — назвал Крым! Ну, так думал и сам Николай! Великолепный совет! — и какой это отдых будет и для тебя, душка! Да ведь комнаты в Царском после болезней придётся дезинфицировать, а вряд ли ты захочешь переезжать в Петергоф — да ведь насколько лучше Крым! и как давно не были, всю войну.

Рисовалось Николаю это новое счастливое устройство семьи с весны — и он тепло расплывался над письмом. Сколько вставало радостных ливадийских подробностей, всего не напишешь. Но мы спокойно обдумаем всё это, когда я вернусь.

Надеюсь, что я вернусь скоро — как только направлю все дела здесь, и мой долг будет исполнен.

Сердце страдает от разлуки. Я ненавижу разлуку с тобой, особенно в такое время.

Ну, дорогая моя, уже поздно. Спи спокойно, Бог да благословит твой сон!

21′

(К вечеру 24 февраля)

План охраны столицы составлялся ещё в 1905 году. Но тогда в Петербурге стояла вся полная гвардия, её не брали на Японскую войну, десятки тысяч отборных, потому и не пригодились. А теперь вся гвардия ушла на фронт, а в Петербург, по поливановской идее стягивать запасных в крупные города, натянули гарнизон в 160 тысяч, и бóльшая часть под видом «гвардии», — но это были еле набранные никудышние войска, и расчёт был только на полицию, конную стражу, жандармов, всех-то — немного за тысячу. Принять ещё надёжных боевых войск отказался Хабалов в прошлом месяце: нет казарм, везде набито запасными. Но ещё в ноябре министр внутренних дел Протопопов хвастливо показывал Государю цветно-раскрашенный план Петрограда, разделённый на 16 районов, к каждому прикрепляется своя войсковая часть и полиция. А кто кому будет подчиняться? У Протопопова было много забот, и он придумал: в случае чего серьёзного — военным. (Полицию, специально приспособленную к охране города, подчиняли проходным незнающим военным.)

Когда сегодня в половине первого пополудни градоначальник Балк доложил генералу Хабалову по телефону, что полиция не в состоянии остановить скоплений и движений на главных улицах, Хабалов покряхтел и решился нехотя: хорошо, войска вступают в третье положение. Передайте своим подведомственным чинам, что они теперь подчинены начальникам военных районов.

И обещал, для лёгкости совместного управления, сам, со штабными, переехать в градоначальство сегодня. Балк позвонил Протопопову, тот ничего не добавил. А военный министр Беляев посоветовал Хабалову: если будут люди переходить Неву по льду — стрелять так, чтобы пули ложились впереди них. Нельзя, Государь непременно выразил: обойтись без оружия.

Итак, в градоначальстве, на Гороховой 2, создался штаб командующего, кабинет Балка наполнился военными. Полицейские чиновники прекратили приём посетителей, но по телефонам всё звонили состоятельные граждане за успокоением. Вокруг градоначальства не было простора и помещений для войск. В маленький каменный двор был введен жандармский дивизион, подходившие же войска располагались на узкой Гороховой и на Адмиралтейском бульваре.

Что же делать с толпами? Хорошо поняв свою безнаказанность, они, в одном месте рассеянные конными отрядами, без применения оружия, тут же сгущались в другом — и такие перегоны продолжались несколько часов кряду, по всей длине Невского от Николаевского вокзала до Мойки.

На Гороховую стекались полицейские донесения. Были толпы по тысяче, по три тысячи, сегодня первый день появлялись кой-где и красные флаги. Были ранены городовые на Литейном проспекте, на Знаменской площади, на Петербургской стороне, и некоторые тяжело, за эти два дня ранениями и ушибами пострадало 28 полицейских, но ни полиция, ни войска не произвели ни единого выстрела, никого не ранили холодным оружием, никого не ушибли при разгонах. У Калинкина моста, как и в других местах, толпа пыталась опрокинуть вагоны трамвая, но тут городовые помешали и за то были осыпаны железными гайками, из метавших подростков задержан 17-летний Розенберг. На вечер полиция хотела ставить в вагоны трамвая охрану, но трамвайные не захотели так работать и отвели пустые вагоны в парк. Движение трамваев вовсе прекратилось.

Второй день сплошные волнения раскатывались по всей столице, из 300 тысяч рабочих сегодня бастовало до 200 тысяч, но вот к вечеру всё стало утихать, и когда поздно собрались в градоначальстве все полицмейстеры и все начальники военных районов — то положение вновь, как и вчера, не казалось серьёзным. Ведь толпы — разошлись, успокоились, как будто ничего в городе и не происходит? Может быть, сегодня толпа была несколько сердитее, чем вчера, но в общем всё равно благодушна, стихийна, случайного обывательского состава, не видно никаких агитаторов, вожаков, никакой организации.

Может быть, всё и обойдётся само собой? Хотелось бы так верить — и мирно настроенному Хабалову, не готовому ни к каким сражениям, и выздоравливающему от тяжёлого ранения полковнику Павленко, и приехавшим уже на второе сегодня совещание начальникам Охранного отделения и Жандармского управления. Сегодня утром на квартире Хабалова их всех заверили продовольственный уполномоченный Вейс и городской голова, что мука отпускается в ежедневной норме, не снижалось, и хлеб выпекается, никаких причин к мятежу не видно. Происходили безпорядки и раньше десятки раз, и всегда кончались.

А если всё же завтра опять? Не было указания применять оружие, значит продолжать и завтра ту же безкровную тактику рассеивания. Вот только — проявили нерешительность в разгоне донские казаки? — так вызвать из новгородской губернии гвардейский кавалерийский полк. (О казачьих полках в Петрограде был зимой спор: Ставка требовала их на фронт, Двор хотел иметь их в столице.) «А почему казаки не разгоняют нагайками?» — удивился Хабалов. Из старших казачьих офицеров ему ответили, что нагаек — нет у них, это боевой полк с фронта. — «Так выдать им по полтиннику, пусть себе изготовит каждый».

Кто-то спросил: а как настроение в войсках? Даже неуместный вопрос: войска есть войска, какое у них может быть «настроение»? Охранный генерал Глобачёв ввернул, что рад бы знать настроение в войсках, но ещё до войны генерал Джунковский провёл высочайше одобренный циркуляр о том, что Охранным отделениям запрещается иметь внутреннюю агентуру в войсках. И с тех пор никакими усилиями

этого не удалось изменить, и Охранное отделение не может знать вредные элементы, которые там безусловно есть.

А вообще, по данным агентуры, левые *верхи* застигнуты врасплох благоприятностью для них обстановки. Сегодня у них решено: если завтра опять соберутся толпы, то — настойчиво агитировать, а при сочувствии — расширить безпорядки до вооружённого выступления.

М-может быть так. Может быть не так.

А если наступающей ночью попытаться арестовать зачинщиков, по их домам?

Но — есть ли такие зачинщики? Оставалось неясно. Налететь на ночные квартиры вихрем и арестовывать без разбору каждого сорокового? Такого не может позволить себе законная власть. Во всяком случае, Охранное отделение произведёт несколько обысков. В рабочей среде, разумеется, выше нельзя посметь.

Балк попросил: поскольку многие полицейские вчера и сегодня пострадали в одиночку — больше их по одному не ставить, посты сдвоить. Хабалов разрешил.

А — что ещё?..

Вот они все сидели вместе, Верховной властью назначенные военные и полицейские руководители столицы, кроме их руководящих министров Протопопова и Беляева, остававшихся эти дни более чем спокойными. Сидящие здесь — что бы могли угадать, предложить более решительное или действенное? Что вообще можно предпринять против прущей народной толпы? Более решительное оставалось только — рубить шашками, стрелять. Но одна память 9 января 1905 года подавительно висела над ними всеми, одни газетные либеральные полосы заставляли губернаторов бледнеть и оправдываться в своих мерах. А ещё тем более теперь, в разгар войны, — как же пролить кровь своего народа? И своя рука не подымалась, и Беляев предупредил: трупы на Невском произвели бы на наших союзников ужасное впечатление!

Объяснить чернолюдью? Так везде и развешан приказ командующего. А когда Балк позвал рабочую делегацию от Литейного моста ехать с ним, смотреть приходные хлебные книги — ведь не поехали. Хотя пущенный злой слух работает: а вдруг перестанут хлеб выпекать? кто прячет муку за высокими стенами?..

Петровские шрамы, та разлиновка, которою так гордился наш голландский император, навсегда вросли и въелись между русскими сословиями.

Вместо диспозиции войск на завтра — догадаться бросить войска этой самой ночью на работу? — нарядами в военные пекарни, из военных запасов напечь хлеба вдвое, втрое, да войсками же и развозить добавочный хлеб по булочным, чтобы видел народ: вот, не разгонять вас идём, а кормить, и хлеба завались!

Кто это смеет так догадаться? И это — ведение действительного статского советника Вейса.

А что безпрекословно обязаны были эти власти — письменно доложить своему начальству о полных событиях минувшего дня.

Однако ежедневные рапорты столичного градоначальника не могли нарушить образца, установленного ещё Николаем I: сперва — движение больных по госпиталям, потом — несчастные случаи с воинскими чинами, лишь под конец кратко о событиях в столице — которые вообще не должны были иметь место. Эти рапорты писал особый умелый чиновник, хорошо знавший форму и очень красивым почерком. Большие события не вмещались в тот рапорт — да большие, кажется, и не произошли?

Да министр внутренних дел и сам пребывал в Петрограде, и сам был осведомлен о волнениях, и без этого рапорта. Но считал бы уроном для своего положения серьёзно докладывать императору о столь ничтожных событиях, как эта беготня по улицам. Ведь он всегда уверял Государя, что справиться с бунтарями ему не стоит ничего. О чём же теперь суетиться писать?

А по военной линии генерал Хабалов и сегодня, как вчера, решительно не находил, о чём бы ему докладывать в Ставку Верховного: его войска не сделали ни одного выстрела, не имели ни одного ушиба, не произвели ни одного серьёзного манёвра.

Так и 24 февраля никакого доклада о столичных событиях Государю подано не было.

Очень близко к истине будет сказать, что в этот обманчиво-тихий вечер 24 февраля столичные власти уже и проиграли февральскую революцию.

22

Полфевраля большевики звали рабочих на Невский — те не шли. И вдруг вот — сами попёрли, незваные. Нет, стихия народа — как море, не предскажешь, не управишь.

Звали на Невский и к Казанскому — нарочно, отвлекая от меньшевицкого призыва идти к Думе в день её открытия, как звала Рабочая группа, ещё до своего ареста. И опять непредвиденно: сам арест гвоздёвской группы рабочие перенесли спокойно, не поднялись. А к Думе 14 февраля безпременно хотели идти. Эту меньшевицкую затею надо было во что бы то ни стало сорвать: хоть никуда не идти, только бы не к Думе! И большевики двинули в массы такую типовую резолюцию: не поддерживать Думу, а прекращать войну и низвергать царское правительство; «правительство доверия» — буржуазный лозунг, только ослабит революционное движение пролетариата; Государственная Дума помогает войне, она безсильна принести народу облегчение, и меньшевики зовут к Таврическому предательски. Никто не идите к Думе, а все — на Невский!

А межрайонцы откололись, они сейчас никакого выступления не хотели: рабочий класс не готов к революции, и армия не поддержит. Вообще они фракционщики, не хотят действовать слитно. Да у них и деньги, видно, большие, платят стачечным комитетам, Путиловским едва не овладели, держатся независимо. Да собрали к себе лучшую пишущую молодёжь, выпускают листовки чаще других: «Хлеба!», «Равные права евреям!» и «Долой войну! Долой войну!» Но «долой войну» — ещё плохо понимают рабочие массы, и большевики с этим лозунгом поосторожней.

А ещё ж есть меньшевики-интернационалисты, у тех ещё своя позиция, раскололся волос начетверо, полный разброд социал-демократии.

Но полфевраля пробороли́сь БЦК и ПК с ними со всеми — и таки сорвали: 14-го к Думе рабочие не пошли!

Шляпников сам проверял ревниво: надел буржуазное пальто, шляпу, взял под ручку, как барышню, курсистку и долго бродил с ней по Шпалерной, выжидая, не будет ли массового движения. Нет, не было, разве человек пятьсот, — а то стояли любопытными кучками только прислуга барских домов, дворники да прохожие.

А почему рабочие и на Невский не пошли — сама большевицкая головка виновата, перемудрили: чтобы верней от меньшевиков отделиться, решили и день сменить, вместо 14-го — 10-го, в годовщину суда над депутатами. Но никто не вспомнил, не сообразил: ведь это — последние дни масленицы, даже все военные заводы законно не работают, все рабочие по домам блины едят, — кого же вытянешь на демонстрацию? Спохватились, перенесли стачку на 13-е — но уже не все знали, оповестить не удалось.

Ладно, не состоялось «на Невский», но не состоялось и «к Думе» — всё равно победа большевиков.

И вдруг вчера — всё с а м о! Здорово! Застигнутые БЦК и ПК собирались где могли и совещались, Шляпников — со своими недотёпами, Молотовым и Залуцким, а там и с ядром сормовичей, и все — до раззёва ртов: никто рабочих не звал, с чего они вдруг?

Но уличные демонстрации всегда хороши. Чем бы они ни кончились — они всегда ведут к обострению борьбы. При уличной демонстрации — всегда что-нибудь случится. Солдаты эти дни дер-

жались очень пассивно, вяло оттесняли публику, вяло заграждали путь, вступали в разговоры и даже некоторые ругали полицию. Хорошо! От всякого стояния против демонстраций войска разлагаются, слушают демонстрантов и что-то усваивают. Хотя всё ещё у толпы не хватает злости. Как повернуть её решительно от желудка к политическим требованиям?

Власти оба эти дня вели себя что-то очень уж вяло — поразиться, как нерешительно. Ни одного выстрела — и даже ни одного ареста. Пошёл даже слух среди товарищей, что это — правительственная провокация: мол, нарочно запускают движение, дают разрастись, чтобы потом потопить в крови.

Но Шляпников этому не поверил сразу. В действиях властей, и особенно в сегодняшнем уговорительном хабаловском объявлении, он почувствовал — истинную слабость власти, очень похожую на ту внезапную слабость 31 октября, когда он безо всяких сил переборол их! Они — просто не уверены в себе, они — не знают, что делать. А между тем, никак не сопротивляясь движению, они и проигрывают.

Но и — что было делать нам? Как овладеть движением и как обойти остальных социал-демократов? Какие бросить стержневые лозунги? В производстве у нас — одна плохонькая листовка про озверелую буржуазную шайку, и та от руки, и та, может быть, с политическими ошибками? А момент, может быть, самый решительный, ещё важней, чем был в октябре, — как не ошибиться? Минует эта пора — и оборотному взгляду будет всё понятно. Но — как быть сейчас?

Ах, нет у Саньки Шляпникова ленинской головы! И — эх, нет рядом Сашеньки, распроумницы!

Ясно, что: не дать остыть! Чтоб забастовка не кончилась за два-три дня! Доводить борьбу до предела, до схваток с полицией (где не получаются — подтолкнуть!), до уличных битв, пусть до кровавой бани! Если и пойдёт в отлив — всё равно эта баня не забудется и не простится, и даже поражение — есть победа!

Но движение, возникшее так неожиданно и сразу во всех местах, — невозможно направить! Нет влияния, людей, даже связных по районам. У нас, как и везде, любят болтать, петушки наскакивают, вроде Васьки Каюрова, а публика пустая, революционеров настоящих нет. И теперь, вместо того чтобы стать при массах на улице вождями, — все надежды положили только на стихию, а сами собирались по квартирам на Выборгской и толковали до одури: какую тактику выбрать, которой, может, никто и выполнять не будет. Да наверно надо, чтоб нас вся Россия поддержала? Да наверно надо бы всеобщую всероссийскую стачку подымать? Да кого посылать, когда с одним Питером не справимся? С армией связаться? За полгода не связались — в день не свяжешься.

Тьфу! Хорохорились против оборонцев, а у самих сил совсем нет.

И оставалось Шляпникову: брести по столице да смотреть самому, что делается, — улица и есть важней комнатных размышлений. Днём через мосты не пускали, к вечеру схлынывало, всё открывалось, — Шляпников и вчера и сегодня ходил вечерами на Невский толкаться и наблюдать.

Вчера — была непринуждённость, обстановка обычная, всё открыто, все гуляют, и даже полиция выпроваживала с Невского рабочую молодёжь как бы в виде игры.

А сегодня не было гуляющих солдат и даже офицеров — очевидно, перешли на казарменное положение. Иногда разъезжали взводы казаков. Потом: трамваи, извозчики, автомобили быстро заметно редчали, прежде обычных сроков. Но пешеходы на Невском не так редели, и Шляпников видел тут много рабочих, совсем в неурочное время, а полиции не было — гнать их с чистой столичной улицы. И в таком окружении франтоватая, фланирующая публика, хотя никто прямо, кажется, не мешал ей, — не чувствовала себя свободной для развлечений и тоже исчезала. И раньше времени закрывались кондитерские, кафе, рестораны, гасли роскошные витрины, всегда торговавшие до глубокой ночи.

Утренние хабаловские объявления кое-где уже были полусодраны.

Дух буржуазного Невского был сломлен — и вот безо всякого боя, в темноте, его забирала тёмная толпа. Собирались в кучки.

Вдруг на углу Невского и Литейного, где перестали пересекаться трамваи, несколько кучек содвинулось с разных сторон — и стала толпа! И на чём-то сразу же нашлось подняться первому оратору. Шляпников не узнал его, но видно, был опытный — закричал уверенно, сильно и сразу к делу, не с копеечными лозунгами меньшевиков, а наверно межрайонец:

— …Глухая ночь правительственной реакции!.. Обман обороны отечества!.. Дёшево обошлась им победа в Девятьсот Пятом! Но прибавилось у нас опыта за двенадцать лет! Долой кучку бандитов, затеявших войну! Распутное правительство…

Бойко нёс. И слушали — без возражений. Открывалось Шляпникову, что уже можно лозунги ставить смелей и смелей. Опять опережали межрайонцы.

— …Отомстим насильнику на троне, царю-последышу! Погибель царским прихвостням, народоубийцам!..

И тут услышали все, хотя мягко ступали копыта по снегу: по Невскому от Знаменской прямо на них ехали казаки!

Оратор замолчал. И провалился. Все зашевелились, обернулись — в тишине ещё слышней был ход подков.

Но странно ехали казаки: рассыпным строем, поодиночке, и не только оружия не вынимая, а даже рук не держа на рукоятях шашек, и не выхватывая нагаек, — тихим шагом, как будто задумавшись, куда им дальше.

Как может ехать всадник в сказке.

Толпа стала раздвигаться к тротуарам, но не разбегалась, и даже посреди улицы остались многие. Уже и не боялись. За эти дни появилась и на казаков надежда.

Казаки молча, тем же медленным шагом, так же поодиночке, бережно въехали между людьми, разве крупом кого толканув, — и так проехали через разреженную толпу, а на просторе снова сблизились — и дальше, не задержась, не оглядясь.

И из толпы, и с тротуаров — зааплодировали, закричали:

— Браво, казаки! Браво, казаки!

И толпа — опять смыкалась, и тот же оратор вылез и продолжал: что надо вовлекать армию в революционную борьбу.

Потом расходились, уже без понуждения, и кричали:

— Завтра — опять на Невском!.. Приходите завтра на Невский!

Шляпников ни во что не вмешивался. Теперь он крупно зашагал по темноватому пустеющему проспекту. Ему до Павловых было больше пяти вёрст.

Только бы не угас пыл у рабочих: ещё день — ещё день — ещё день, раскачивать, а на работу не возвращаться.

Прямо бы — на крыльях радости нестись, вот сейчас товарищам расскажет, там у Павловых соберутся на всю ночь.

Но почему-то радости полной, настоящей — Александр Гаврилович не ощущал, заметил. Кажется — этого только и ждал, для этого жил! — а вот…

Или — начинал уставать? Столько уже месяцев — то под слежкой, то переодеваясь, с фальшивым паспортом. Ездил опять в Москву и на Волгу — везде слабо, нигде ничего не готовится, и никакой всероссийской забастовки сейчас не раздуть, он знал. А в Питере — тайные встречи на адвокатских квартирах — с Чхеидзе, с Керенским, и те закатывали истерику, что большевики — сектанты, и Шляпников 14 февраля погубил подготовленное торжество демократии, помог царскому правительству.

Может, и правда где что не так сделал. Спросить некого.

Или — просто устал от подпольщины?

И вот в сегодняшние дни забрала его почему-то не радость, а, как Сашенька выражается: меланхолия.

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ФЕВРАЛЯ

СУББОТА

23

А проснулся Георгий — ныло опять в груди, разнимало тоской хуже вчерашнего.

Испарилась куда-то вся радость, вчера ещё спасённая у огня. Хотелось — уезжать. Но вчера уже обиделась — как ей теперь повторить? Ольда не привыкла, чтоб ею вертели. Но и оставаться ещё до завтрашнего полудня казалось пусто, немыслимо.

Да проснулся, как назло, рано.

Вскоре и она.

Встретились глазами — а уже не всё на лад. Что-то сдержанное пролегло в глазах, разделяя.

Но и молчанье чуть-чуть продлись — будет размолвка. А говорить — опять она будет об Алине?

И толчком:

— А поедем в город?

И она неожиданно: ладно, едем.

И печки уже не разжигали. А наружу вышли — так даже теплей, чем в дачке.

И по тропке.

Вот Распутин убит, так что? Пока он был жив, редко кто не мечтал: хоть бы его убрали! И сперва — ликование было, особенно в образованном обществе, все поздравляли друг друга, даже — приёмы, банкеты.

— У нас штабные офицеры — тоже, искали шампанского выпить.

Да, произошло убийство, как бы единодушно желанное всем обществом. Впрочем, разве это — первое убийство, которому общество аплодировало? Но совсем оно не к добру. Прошли недели — и стало хуже, чем с Распутиным: теперь не на кого больше валить. И это пятно: убили великие князья. И никто не наказан — тоже пятно.

— Это да. Обхожу роты, в одной новой дивизии, беседую. Встаёт старый солдат: «А пущай бы нам ваше высокоблагородие высказали, почему это сродственники Государя императора, кто забили Распутина, на свободе позастались и суда на них нет?»

Да ведь законы даже не приспособлены к такой дикости: арестовывать великих князей как убийц. И можно себе представить, как защита злоупотребляла бы и поносила трон.

Удивительно, как Распутин долго держался — в тоне, в роли. И что-то же советовал. И советы принимались.

— И с каким уровнем? Как он мог дорасти до государственных советов?

— Значит, какая же природная трезвость ума. И уменье ответить не впросак. И очевидно, религиозный экстаз — умел же он, ничтожный пришлый мужик, так убеждать епископов, что они возвышали его. Тут уж на женщин не свалишь. Только банкиры играли им.

— Но какой бы ни был у него здравый смысл — унижает каждого из нас, подданных, что государственные вопросы могут решаться на таком уровне. И каждый думает: что ж это за монархия?

— Конечно, это всё — ужасное несчастье. Может сердце отказать в терпении…

Пришли на станцию раньше времени. Всего несколько человек на платформе, утоптанный снег кочковатый. Всё ещё света северного мало. И мрачные ели густо у станции.

— А всё же — ты с осени изменилась. Ты уже не так это всё поддерживаешь.

— Нет, ты ошибаешься. Поддерживать трон — в этом я не изменилась. Даже: сейчас ещё нужней, чем тогда, сплочение твёрдых верных людей. Ведь сколько же умных и твёрдых, но все рассеяны, друг друга не знают — и безсильны.

Сумочка не мешала за кистью, она сплела пальцы в перчатках, — и было безсильное умоленье в этом жесте, но была уже и сила.

— Да не нужна им наша помощь. Никто из них её не спрашивает. И — некому предложить, и — нет путей, доступа нет на сто вёрст. Ты же не можешь придумать — к а к.

Брови Ольды и лоб дрогнули вместе:

— Так что ж — не спасать страну?

— Страну — спасать. Но укреплять трон помимо воли трона — абсолютно невозможно. Как помогать тому, у кого нет воли? Как только соединяешь себя с троном — вот ты и скован всей там налегшей, прилипшей рухлядью.

— Нет, ты не монархист, — печалилась она. — Ты и осенью так же говорил. А время было взяться — тогда, на поддержку.

Гудел поездок, подходя. Доболтал вагончики, остановил. Вошли. Дачный вагон слабо нагрет печкой от середины, и там вблизи сидят.

— Холодно тебе будет?

— Нет, ничего.

Поколебался. И:

— Тогда… я тебе не всё сказал.

— А как?

Всего — и теперь не выразишь. И — долго.

— Да разные мысли бродили. Но неточные. Оказалось всё очень-очень сложно. И не в думских кругах найти союзников.

— Да уж не Думе в рот смотреть. Тот же Распутин для Думы был — просто находка. Не такие уж могучие «тёмные силы», как раздувалось. Молва всегда нагораживает избыточное, это закон молвы. А нечистота прилипает и на всех уровнях. Выступать против Распутина стало в обществе очень выгодно. Каждый, кто заявит, что он — жертва Распутина, сразу становится фаворитом общества, обезпечена повсюду горячая поддержка.

Нравилась ему эта сдержанная ровная страсть её, как она всегда говорила об общественном. Чуть-чуть запрокидывая голову.

И затолпились в Петрограде слухи, да какие. Что убийством Распутина начинается новая эпоха террора. Даже будто: стреляли в Протопопова, уже! Уже хотели отравить генерала Алексеева! Задумано убить императрицу и Вырубову! Не где-нибудь, а среди знати спорят: убьют ли только императрицу или Государя тоже. Уже называли и полки, в которых готовится заговор. Потом — что заговор великих князей, и будет государственный переворот, а то: перед Пасхой будет революция. О заговорах среди гвардии — из десяти мест.

— И ты думаешь — есть доля правды?

— Думаю: всё болтовня. Но ходит. То будто: на союзнической конференции в январе постановили: взять русское правительство под опеку и посадить англичан и французов в русский Генеральный штаб.

Воротынцева передёрнуло.

Немощные карельские деревца за окном. Заснеженная долина речушки.

Слухи — напирают, измучивают, не бывает дня без их горечи пустой. То: к февралю подпишут сепаратный мир. То: ожидается железнодорожная и всеобщая забастовка. То: вот, через полчаса перестанут давать ток и остановятся трамваи. Но — к т о говорит! В придворном мундире, камергер, вдруг называет, правда в небольшом обществе, Зимний дворец — вороньим гнездом! Вообще, среди придворных — очень много предателей, они больше всего и сплетен пускают, подлаживаются к обществу. О царской семье — любые мерзости, будто у них оргии…

— И всё это — свободно вслух?

— Совершенно! Сейчас говорят — всё, что хотят.

Все те же скудные хвойные стволики в снегах — и вдруг оскалится гранитный валун.

Как будто и легче стало в движении. Наверное, в этом всё дело — требовалось движение.

А нет. Та вчерашняя посасывающая пустота — всё же осталась в нём.

Неловкость между ними как будто разрядилась. Он снова любовался её поводимой головкой и выражением строгой рассудительности, которое очень шло к ней. Но странно звучал их разговор — как знакомые встретились в вагоне. Куда делась их обоюдная слитная радость?

А — что было перед самым убийством? Эти *съезды* разгорячённых тыловых героев, безо всякого намерения обсуждать что-нибудь полезное, а только как-нибудь проголосовать уже готовую ядовитую резолюцию — и распустить её по всей России тучами прокламаций. И даже если не проголосуют — всё равно распустить: например, что правительство *умышленно* ведёт Россию к поражению, чтобы с помощью Германии ликвидировать Манифест 17 октября! Всеобщая жажда успеть прослыть либеральными охватила и дворянство, на дворянских съездах тоже злобствование: «постыдный режим», это считается нормальным определением российского государства. И нет сильного весомого голоса, который бы прогремел: да остановитесь вы! нельзя же так лгать!

Голубая фуражка начальника станции. Вошли молочницы с вёдрами.

До сих пор не замечали, не слышали людей. А тут открылись их уши. И в вагоне, уже изрядно наполненном, они различили разговоры о каких-то питерских волнениях: о разбитых магазинах, остановленных трамваях.

Воротынцев насторожился, но Ольда отмахнулась:

— И такое бывает, в феврале уже было, и на Петербургской стороне.

Но затем они разборчиво услышали, что сегодня — трамваи вообще нигде не ходят.

Вот так так, значит, и конка от Ланской к Строганову мосту тоже, наверное, не ходит? Тогда нельзя сходить на Ланской, как думали, — а ехать до Финляндского.

Какой-то мещанин позади них рассказывал, что вчера вечером подле вокзала сунулся в переулок — а там в полной темноте, без огней, без звука стоит спешенный казачий отряд, затаился, пики составлены, только лошади тихо фырчат. Затаились — и ждут.

Вот как? Значит, дело серьёзное. И вот когда Георгий выбранил себя: зачем они поспешили? Как хорошо там было вдвоём! Какая это в жизни редкость, и что за характер проклятый — всё отбрасывать и всё вперёд куда-то?

Виновато погладил запястье Ольды, за перчаткой.

Она печально улыбнулась.

24

* * *

С утра на петроградские линии вышло мало трамваев — и вскоре все ушли или остановились без ручек.

Утренние газеты вышли не все. На Петербургской стороне человек 800 подошло к государственной типографии, чтобы сорвать рабочих, — но были рассеяны пешими и конными городовыми.

* * *

День рассвёл с восемью градусами мороза, безветренный, с лёгким снежком.

Улицы все были хорошо убраны, дворники работали усердно, как всегда.

Сенная площадь изобиловала продуктами всех видов, дешёвыми колбасами.

На уличных стенах появилось новое объявление генерала Хабалова: чтоб работы на заводах возобновились со вторника 28 февраля (воскресенье и понедельник давались для осадки). О демонстрациях и уличных безпорядках, избиениях полиции — ничего не поминалось.

* * *

Близ девяти часов утра рабочие Обуховского завода на Невской стороне, прекратив работу, тысяч пятнадцать, вышли на улицу — и с пением революционных песен и одним красным флагом двинулись в сторону города, по пути снимая с работы карточную фабрику, фарфоровый завод. На проспекте Михаила Архангела толпа была встречена нарядами конной полиции и рассеяна — уговорами, а там нагайками и ударами шашек плашмя.

* * *

А полиция, подчинённая теперь воинским частям, телефонно докладывала им дислокацию, какие заводы забастовали, где какой непорядок. Многие офицеры и названий тех не знали.

* * *

По Косой линии Васильевского острова шёл городовой с двумя подручными дворниками. Толпа рабочих решила, что он ведёт арестованных, — накинулись, отняли шашку, ею же покрестили до крови, зубы выбили.

* * *

На Выборгской стороне среди бастующего многолюдья — кой-где митинги. Вот поднялся оратор, по одежде — рабочий, но по языку — с привычкой выступать:

— Довольно нас эксплуатировали! Долой их всех! — жандармов! полицию! фабрикантов! правительство! Война для нас гибель, а для буржуазии выгода! Довольно лили нашу кровь!

После него поднялась на тумбу нервная девица из аптеки, с пискливым голосом. Сначала её высмеивали, а потом всё больше слушали: заворачивала круто туда же — «долой! долой! долой!».

* * *

Часть толпы пришла *снимать* Трубочный завод артиллерийского ведомства на Васильевском острове. Многие его мастерские не желали бастовать. У ворот стояла рота запасников лейб-гвардии Финляндского батальона. Из толпы насмехались над её командиром подпоручиком Йоссом, а один слесарь угрожал кулаком к носу. Подпоручик выхватил револьвер и уложил его на месте. И толпа сразу разбежалась. Но задержали реалиста 6-го класса Эмилия Бема, у которого отняли заряженный револьвер казённого образца.

* * *

Воинские караулы стояли близ многих правительственных зданий, у почты, телеграфа. Также — и на Фонтанке у дома, где живёт Протопопов.

Городовые, чаще по двое, стояли в центре на всех обычных уличных постах.

Воинскими частями охранялись мосты, речные переходы с окраин в центр. И ещё кой-где перегораживали, но как? — разомкнутыми цепями на шаг солдат от солдата, и ничему не мешали: публика обходила их, насачивалась с двух сторон, ругалась, кричала — в конце концов всех и пропускали. И сами солдаты об офицере думали: и глупый же приказ. А толпа только уверялась: везде прорываться!

* * *

Гнал санный извозчик с двумя офицерами по Троицкой площади — и на пересечении с Кронверкским, на завороте, угодил полозом в жёлоб трамвайного рельса. Дёрнуло, завизжало железом — застрял.

Соскочил извозчик, вышли и полковник с капитаном.

А от дальней чёрной толпы рабочих к ним двинулись, даже и побежали — полудюжина, опережая остальных.

Что это?

Да и поперёк площади шли туда-сюда разные, тоже чёрные, — и тоже стали стягиваться.

А полиции — нигде не видно.

А уж слышаны рассказы, как ссаживают господ с извозчиков, — и на знакомой площади своего русского города, среди соотечественников, офицеры замялись — в отчуждённости. И капитан положил руку на эфес — хотя разве выдернет?

Но бежали чёрные, как на игру, весело:

— Что, господа офицеры? Или площадь узка?

— Что ж ты, дурак, зевло распахнул?

Дружно схватились, вытолкнули.

И на чай не взяли.

* * *

Между тем на Невском толпы набирались и бродили — частью рабочие с окраин, а много своих, из центральных районов, — студенты, особенно много из Психоневрологического, курсистки, подростки, и много праздной городской публики. И уж, конечно, все городские подонки за эти три дня притянулись. За вчера и позавчера у толпы создалось чувство полной безопасности, она привыкла к патрулям и что они не трогают.

* * *

На подходах к Литейному мосту с Выборгской стороны и сегодня стягивалось много тысяч рабочих. Навстречу толпе выехал по Нижегородской улице старик-полицмейстер полковник Шалфеев с полусотней казаков и десятком полицейских конных стражников. Поставив из них заслон у Симбирской улицы, Шалфеев один выехал вперёд к толпе и уговаривал ее разойтись. Толпа в ответ хлынула на него, стащила с лошади, била лежачего кто сапогами, кто палкой, кто железным крюком для перевода рельсовых стрелок. Раздробили переносицу, иссекли седую голову, сломали руку.

А казаки — не тронулись на помощь. (Толпа на это и рассчитывала.)

Бросились выручать конные городовые, произошла свалка. Здоровый детина замахнулся большим ломом на вахмистра, тот сбил нападавшего рукояткой револьвера. Из толпы бросали в конных полицейских льдом, камнями, затем стали стрелять. Тогда ответили выстрелами и полицейские.

После первых выстрелов казаки (4-й сотни 1-го Донского полка) повернули и уехали прочь полурысцой, оставляя полицейских и лежащего при смерти на мостовой Шалфеева.

Тут подбыли от моста другие городовые, конные и пешие, и оттеснили толпу.

* * *

Петроградская интеллигенция жаждала событий, но всё ещё не верила ни во что крупное. Карташёв на квартире у Гиппиус сказал: «Всё — балет, ничего больше».

* * *

После 11 часов утра с окраин Петрограда уже не поступало донесений: повсюду начался разгром полицейских участков. Чины полиции скрывались или были преследуемы и убиты.

25

Вышли на перрон — приятный лёгкий морозец, и срывается лёгкий снежок. На вокзале — всё обычно. Но вышли на пасмурную площадь — трамваи действительно не ходят, и не ползёт через площадь обычная медленная вереница гружёных ломовых, и редко проскакивают занятые извозчики. С Симбирской улицы выходило свободное какое-то шествие с красным флагом — а полиции не видно было нигде ни человека.

Поразился Воротынцев.

Ожидающих извозчиков не сразу и найдёшь, обошли здание. И просят неимоверно, впятеро дороже. Сели в санки. Ольда подрагивала, хотя не холодно. Георг поправил полсть на её коленях и держал обе руки в одной своей.

Поехали через Сампсониевский мост. Нет полиции на перекрестках. Почти нет и военных. И не столько идущих уверенно прохожих, сколько бродящих никуда. Или стоящих группами, рабочие. Улицы были людны — а казались безлюдны, оттого что не было обычного колёсного и санного движения. Какой-то пасмурный праздник. На Посадской улице все лавки — заперты, окна закрыты щитами.

А город и без того-то был не сияющим, как минувшей осенью, но запущенным, даже и грязноватым.

На Каменноостровском — торговали, роскошные магазины — без хвостов, а попроще — с хвостами. Никто ничего не громил, да вот и городовые попадались, постами по двое. Нет, в одной булочной разбиты были стёкла, торговли нет. Теперь встречались и извозчики, иногда автомобиль. А что-то висело больное в воздухе.

Извозчик по пути тоже рассказал им: одни фабрики бастуют, другие полуработают. А то — озоруют: видят, господа на извозчике едут, останавливают и ссаживают.

Мол, и вас бы не ссадили. Глупое, действительно, было бы положение — с дамой и против толпы, и — что делать?

Проехал наряд конных городовых. С тротуаров дерзко кричали им, не боясь. Городовые не оглядывались.

А вот и Песочная набережная у заснеженной Невки — и чистый упругий снег под полозьями, здесь — никакого разорения. Тут хоть забудься и дальше.

Но не проходило в груди дурное грызение, которое выгнало Георгия с дачи.

Поднимались изогнутой лесенкой в их ротонде.

— Всё это мне начинает не нравиться, — качала Ольда головой.

Сбросили верхнее — и сразу обнялись, как будто давно не обнимались. Постояли, молча покачиваясь.

— А узнаю-ка через телефон, что где делается, — сказала Ольда.

И стала звонить из коридора в одно, другое, третье место.

А Воротынцев переходил, курил, садился. В этой квартире такой был для него приёмистый, обнимающий уют — а сейчас почему-то сердце не на месте.

И глупо, что вернулись с дачи.

А может быть ещё глупей — вообще, что приехал в Петроград. Не зря ли он вообще ездил?..

В спальне появился на стене увеличенный портрет Георгия с фотографии, которую он ей прислал с фронта.

Этим Ольда признала его, приняла, ввела в свой дом.

А — кем?

Было и гордо от этого. И — смущение.

Пришла Ольда. Узнала: рабочих через мосты в центр не пускают, они тянутся там и сям по льду через Неву. В разных местах избивают полицейских. У Казанского собора с утра — маленькие группы студентов, их разгоняют. А сейчас по Невскому от Московского вокзала прошла большая возбуждённая толпа к Гостиному Двору. Отряд драгун помешал полиции разгонять толпу, толпа кричала драгунам «ура».

Ничего себе.

Всё то же ощущение, как всегда: наверху нет твёрдости.

Какая-то серая пустота. Невозможно бы сейчас — лечь, даже просто бездействовать, впустую разговаривать.

— А знаешь, позвоню я Верочке. Что ж теперь скрываться?

— Конечно.

Пошёл в коридор, повертел ручку, попросил барышню дать телефон Публичной библиотеки, второй этаж, выдача, он его не помнил.

Соединили. А там и Верочку позвали довольно быстро.

Вера только охнула в трубке — но меньше, чем он ожидал.

— Ой, как хорошо, что ты отозвался!

Странно.

— Я — в Петербурге.

— Знаю! Уже третий день знаю.

— Откуда???

— От Алины. Телеграммы. И даже телефон.

Так и обвалилось. Холодно-горячим.

— От Алины?? Почему? Откуда?..

— Она зачем-то телеграфировала тебе в штаб армии — и ей ответили, что ты в Петрограде.

Так и обвалилось. Ещё валилось, валилось, даже нельзя охватить. Неисчислимо. Вот оно было предчувствие, не обмануло.

— А — ты что?..

— Я отвечала: ничего не знаю. Так и есть. Хотя, честно сказать, сразу поверила. Но я так боялась, что ты не объявишься мне.

Пытался сообразить своё нужное быстрое действие — и не мог. Обвал! Снизил голос, чтоб Ольде не донеслось:

— А — что она?..

Что с ней сейчас? Боже, что с ней?

— Мне — не верит. Обвиняет — меня. Проклинает тебя. Говорит… Ну да приезжай, Егорик.

— Нет, что говорит?

Молчанье.

— Что говорит? Скажи скорей! Едет сюда?

— Не знаю. Нет, возможно… Вообще, не знаю. — И по телефону можно было различить в веренькином голосе страдание. — Да приезжай скорей.

— А что? Плохо?

— Да… вообще…

— А что именно?

— Ну, там… Приезжай.

Обваливалось дальше и дальше, рухалось до конца.

Всё, что строено эту зиму, — всё обрушилось. И опять весь кошмар снова?.. И даже удвоенный?

Трубку держал, а в потерянности замолчал. Как одурел, ничего не мог придумать. А Верочка:

— Что на улицах делается…

И до чего ж не повезло. Как же не подумал, что она может телеграфировать, никого в штабе не предупредил.

— Около Гостиного — тут большая свалка, в окна видим. Смяли полицию, бьют. С красными флагами ходят по Невскому.

Да, ещё это же. Но это всё — полуслышал. А главное — не мог сообразить, что нужно делать.

— Но ты приедешь к нам сегодня? Няня волнуется!

Сразу всё в голове поворачивалось, целый мир. Теперь невозможно возвращаться прямо в Румынию, не избежать ехать в Москву. Сплести, что была срочная командировка. Но тогда побыстрей и ехать. Но не поверит! — если б сам не открылся в октябре, идиот.

— А что там около Московского вокзала?

— Там-то бурней всего эти дни. Тебе билет? Я сама пойду брать, а то ты ввяжешься.

Вот влип так влип, ещё эти уличные волнения, действительно ввяжешься, нелепо.

— Егорик! Ну, ты можешь ехать к нам? И я тогда иду домой. Только Невский минуй, не пересекай. Как-нибудь от Фонтанки слева приезжай. Ты… — через паузу, — на Песочной?..

Наконец всё довернулось и решилось. И ломящее предчувствие — мрачно заменилось ясным действием.

— Да. Еду. Через час буду.

Но ещё докручивал ручкой резко отбой — а уже понял: с *этим* он не может выйти к Ольде. Он — всё равно не может ей передать, насколько и почему это ужасно. А если открыть — она начнёт снова воспитывать и учить его, как твёрже себя вести с Алиной, а это невыносимо, потому что она не понимает. И если открыть — сейчас невозможно будет уехать, а нужно остаться и разговаривать, разговаривать… Невозможно.

Стыдно лгать любовнице, но петроградские события давали ему единственную возможность вывернуться. (А что он такое от Веры услышал? — он едва сейчас вспоминал.)

Ольда с испугом встретила его лицо.

— Да… — бормотал он, — очень серьёзно…

— А — что?

— Около Гостиного — полицию избивают. А около Московского вокзала что-то ещё хуже.

Да он конечно бы ей всё сказал! Если б она не отпугнула его вчерашними упорными внушениями. Была какая-то запретность — с ней это всё обсуждать.

— Как разыгралось! — не сводила Ольда с него глаз, и он побоялся, что угадает. — Что ты думаешь?

Он молчал.

— Ну, не Девятьсот же Пятый, — уговаривала она себя и его. — Уже бывало. И в октябре, в тот самый день, когда мы познакомились, помнишь?

Да, правда, тогда было похожее. Так недавно. Тогда ещё не было у него этих маленьких плеч. Прошлые часы он совсем к ней остывал. А сейчас, как расставаться, — стала опять мила, желанна. Счастье моё неожиданное! Спасибо тебе за всё. Но — очернело во мне, стеснилось, и ты не можешь утешить. А вслух:

— Надо мне поехать кого-нибудь в штабах повидать, понять. На что ж рассчитывают? Как же можно так запускать? Вот тебе и… Самодержавие без воли — это, знаешь…

Делать-то надо же что-то. Сами же говорим.

Да, верно. Так.

— Но ты же к вечеру вернёшься? — то влекла вперёд, а вот уже удерживала.

Положение, и попрощаться открыто нельзя.

— Если не разыграется. Если там не понадоблюсь.

— Но тогда — хоть завтра! — ещё же завтрашний день наш!

Он вздохнул.

— Ну, ты, по крайней мере, скажешь мне в телефон — что и как?

— Да, конечно!

Поедим?

Нет, уже не сидится, всё колышется, корёжится.

— Но ещё же мы не расстаёмся? — сильней встревожилась Ольда.

— Да кто его знает, — недоумевал он с отсутствующим лицом. — Чемоданчик на всякий случай возьму.

— А ты — не к *ней* поедешь? — вдруг догадалась и впилась ему в китель.

— Ну с чего ты взяла? — почти искренно изумился он.

Вот повернулось: скрывал жену, как любовницу.

— Это — нельзя! — внушала Ольда большими глазами. — Я буду ревновать! Теперь ты — мой!

— Да ну что ты?.. Да откуда?..

Вот — и миг прощанья. Она подняла, положила ладони ему на плечи и с сияющими глазами выговаривала:

— Для меня твоё появление — как второе рожденье моё. Я столько ждала!.. Я уже теряла надежду, что дождусь… Я шла как через пустыню… Я всю эту зиму вспоминала твой последний взгляд тогда, у моста. И верила, что мы будем вместе. Я верю и сейчас! Я — люблю тебя! Люблю!

Он снял с погонов её ладони и целовал.

Он был плох с ней последние часы. И ещё хуже был бы сейчас, если б она требовала остаться. Но вот она легко освобождала его — и вспыхнуло перед ним, какая ж она драгоценность! И как он самозабвенно любит её! И пожалел, что даже — мало она ему говорила. И ещё недохватно он её целовал!

У неё трогательно неловко искривилась верхняя губа:

— Мужчины почему-то придают большое значение годам женщины. А для женщины… Ну, разве я для тебя стара?

— Я такой молодой, как ты, — не касался…

26′

(Дума кончается)

Много толстых томов стенограмм четырёх Государственных Дум, кто только одолеет их, дают несравнимое впечатление ото всей реки общественных настроений России за одиннадцать её последних лет. И если б даже не иметь больше ни единой книжки мемуаров, свидетельств, фотографий, — по одним этим стенограммам так неоспорно восстанавливается и вся смена забот и настояний, сшибка страстей и мнений, и даже — характеры, и даже голоса самых частых ораторов, десятков двух.

Начав читать эти томы ещё с полным неведением, с полным доверием, никакого мнения не имея и не предожидая, — от заседания к заседанию вдруг испытываешь тоскливую пустоту от резкой, оскорбительной, никогда не связанной с *делом* и никогда не предлагающей осуществимого дела говорильни левых. Можно представить, что в западных парламентах и самая крайняя оппозиция всё-таки чувствует на себе тяготение государственного и национального долга: участвовать в чём-то же и конструктивном, искать какие-то пути государственного устроения даже и при неприятном для себя правительстве. Но российские социал-демократы, трудовики, да многие кадеты совершенно свободны от сознания, что государство есть организм с повседневным сложным существованием, и как ни меняй политическую систему, а день ото дня живущему в государстве народу всё же требуется естественно существовать. Все они, и чем левее — тем едче, посвящают себя только поношению этого государства и этого правительства. Все они, выходя на думскую трибуну, обращаются не столько к этой Думе, не столько рассчитывают склонить её к какому-то деловому решению, сколько срывают аплодисменты *передовой,* либеральной, радикальной и социалистической общественности — и ничего не жаждут, кроме её одобрения.

Обсуждается продовольственный вопрос. При чём там урожаи или неурожаи, доставка, мельницы, хлебные цены! Как будто двести последних лет Россия и не клала на зуб ни краюхи: дворянская власть — и кризис неразрешим, пустите кадетов, социал-демократов — и Россия будет сыта. (Через несколько дней кадет Некрасов застонет, что нет сил разгрузить приходящее — ещё при царе разнаряженное — в большом количестве в Петроград продовольствие: мятели кончились.)

По каждому частному осязаемому вопросу — эти холостые провороты, без зацепленья с истинной жизнью, лишь накал обвинений:

Чхенкели: Правительство у нас было и остаётся врагом народа, это для всех ясно. Должно быть покончено с политической системой, приведшей страну на край гибели. Час настал!

(И до чего ж несвободная эта Россия! — вот так не дают ни слова вымолвить.)

Скобелев: Вся страна ненавидит эту власть и презирает это правительство.

Чхеидзе: Правительство виселиц, правительство военно-полевых судов, правительство белого террора, архиреакционное по своему составу… Всякое сотрудничество с этим правительством есть предательство народных интересов. Россия народа и Россия этого правительства — *две вещи* несовместимые, у них нет общих ни радостей, ни печалей, ни поражений, ни побед. Нам надлежит идти путём, которым пошли предки наших милых симпатичных друзей-французов. Буржуазия в XVIII веке не словесами занималась. (Скобелев: «Сметала троны!»)

Что стесняться им, если вся Дума уже вставала за неприкосновенность парламентских речей — и останавливала даже государственный бюджет, все финансы Империи, пока думским с-д не дозволят наговориться всласть. И это глаголанье в раскалённой пустоте, до визжанья, до свинголоса, надменно обращается и к сотоварищам по Думе, и особенно к кадетам, всегда недостаточно революционным:

Чхеидзе: Вы не можете, господа, не считаться с *указаниями улицы.*

Чем малочисленнее горстка социал-демократов в Думе, тем с большим высокомерием они глумятся над остальною Думой, то корят Прогрессивный блок, то свысока поощряют, а постояннее всего выпячивают собственное предвидение и многознание, сыпят мишуру социальных откровений. Чем малочисленнее они, тем длительней и щедрей переводят не своё, думское, время и, далеко отклоняясь в оглушительно-холостые провороты, уверенно знают, что как левых их не посмеют прервать.

Суханов: Это правительство ведёт политику изменников и дураков.

Родзянко: Прошу вас быть осторожнее.

Суханов: Это слова депутата Милюкова.

Родзянко: Покорнейше прошу не повторять такие неудачные слова.

Родичев (*с места*): Почему неудачные? (Шум, смех.)

Или

Чхеидзе: Я очень просил бы не делать мне замечаний с места, занимаемого товарищем председателя, это злоупотребление своим положением. (Слева рукоплескания. «Правильно!»)

Волков (к-д): Эти господа (указывая на места правительства) должны сесть в тюрьмы, ибо они настоящие преступники, мешающие нам обратить все силы на борьбу с внешним врагом. (Аплодисменты. Председатель не прерывает.)

(ещё социалист): Старый режим опоздал с возможными уступками. Теперь, только перешагнув через труп старого режима, возможен путь к хлебу.

Родзянко с готовностью заметает:

Ваша метафора несколько неосторожна, но я не сомневаюсь, что прямой смысл не мог быть у вас.

Тот даже не даёт себе труда оправдаться и, спустя немного, повторяет ту же «метафору», вполне безпрепятственно.

Как бы считает себя обязанным седлать Думу по часу едва ли не через день уморительно-нудный Чхеидзе, с его дребезжащим произношением, с его непрочищенным языком:

— при том положении, которое находится в стране;

— Блок стал в положение священника, который заготовленную проповедь оставил в старых штанах.

Когда сменили Штюрмера и на трибуну вышел новый премьер Трепов, ещё никак себя не показавший, социал-демократы не давали ему даже выступить с декларацией, — а кричали, буянили, потом каждый по пять минут дерзил и хулиганил с трибуны, и все выведены вон на 8 заседаний.

Очень заметно: когда социалисты выведены, только и начинается в Думе спокойное деловое обсуждение.

С социал-демократами постоянно соревнуясь, ни на тон, ни на выкрик от них не отстать ни в резкости, ни в поношении правительства, ни в презрении к думскому большинству, ни на раз не выступить реже Чхеидзе, ни на пять минут не говорить меньше, мелькает руками, в беге речи обгоняет колченогий смысл, с общими местами гимназического багажа, проклинает и предсказывает — адвокат, вошедший в моду перед самою войной, настойчивый ходатай сосланных думских большевиков — Керенский. Войдя возглавителем к серым трудовикам, особенно хорошо чувствуя крестьянство:

Крестьянство проснулось и поняло, что третьиюньская система привела к гибели государства;

он постоянно ощущает себя и выразителем всей России, всех трудящихся, любимчиком русского общества за стенами Думы и первоблестящим оратором в ней:

наше мнение, ничтожной кучки здесь, учитывается европейским общественным мнением. Вы, господа, до сих пор под словом «революция» понимаете какие-то действия, разрушающие государство, когда вся мировая история говорит, что революция была средством *спасения* государства!

Иногда в пируэтах своего красноречия Керенский задерживается и над теми местами, где заложена истина, и метко разит кадетов:

Если у вас нет воли к действиям, тогда не нужно говорить слишком ответственных и тяжких по последствиям слов. Вы считаете, что ваше дело исполнено, когда вы сказали эти слова отсюда. Но когда поддержка готова вылиться в грандиозных движениях масс, вы первые вашим «благоразумным» словом уничтожаете энтузиазм! Не есть ли это способ остаться в своих тёплых креслах? Вас объединяет с властью идея империалистического захвата! Посмотрите на эти зарницы, которые начинают полосовать небосклон Российской Империи… Будьте осторожны с народной душой! —

уже в изнеможении, все нервы растратя, с трибуны едва не свисая.

Мы цитируем Керенского непропорционально мало, обходя кубические километры пустословия, отбирая лишь то, что прилегает к повествованию, оттого представляя его концентрированней, чем он был, и даже прозорливцем. Вдруг, теснимый предчувствием (впрочем, уже 15 февраля):

В этот последний момент, перед великими событиями… последний раз спросим себя: можем ли мы спасти народное достояние прошлого, которое попало в наши руки? Страна уже находится в хаосе, мы переживаем небывалую в исторические времена нашей родины смуту, перед которой 1613 год кажется детскими сказками…

Однако крайне левым не откажешь в последовательности большей, чем у кадетов, кто сами не поспевали за своими крылатыми речами и плохо понимали, куда ж они, собственно, тянули.

Кадеты были изумлены неожиданной победой своей атаки 1 ноября 1916, когда внезапно им удалась главная цель — свержение Штюрмера в несколько дней. Прецедентов тому ещё не бывало в нашей парламентской жизни. Прогрессивный блок показал, что он — сила, с которой весьма считается императорская власть.

Но тем более такая победа и обязывала: атаковать дальше, свергать дальше (в первую очередь аппетит разгорался на ненавистного Протопопова), свергать и сшибать каждого, вот и Трепова, до тех пор, пока в правительство позовут их, избранников народа.

А между тем бушевание вырвалось за стены Думы. Шли съезды за съездами и выносили страшнейшие резолюции.

Историческая власть стоит у бездны. Правительство ведёт Россию по пути гибели… Время не терпит, истекли все отсрочки, данные нам историей…

Читающая Россия обращалась к газетам — там по совету Маркова 2-го не было больше белых полос, но не было и рассказа о случившемся. Однако уже была привычка и техника самооповещения — от руки, на пишущих машинках и на ротаторах, — и всю осень и зиму текли по Рос-

сии, достигая даже глухой провинции, подлинные и вымышленные думские речи, записи встречи думцев с Протопоповым, и вот теперь резолюции всех декабрьских съездов, которые назвал Милюков

> высшей точкой достигнутого нами успеха. На наших глазах общественная борьба выступает из рамок строгой законности и возрождаются *явочные формы* 1905 года.

Но эта высшая точка успеха была всё-таки вне Думы — а что-то же надо было делать в Думе, собираясь весь ноябрь, полдекабря, полфевраля? Прогрессивный блок должен был не уставать произносить:

> Страна находится во власти безумцев, изменников и ренегатов.

> Аджемов: Первым делом будущего правительства будет — *посадить на скамью подсудимых* предательски действующее нынешнее правительство. Предел перейден, и остаётся стране самой себя спасать. В решительную минуту Дума будет с народом, а *народ пощады не даст*!

Испытывали кадеты заминку и даже растерянность внутреннюю: что же правильно делать? как использовать Думу и своё лидерство в ней? Естественно было: по каждому возникающему вопросу противоборствовать правительству. Самая большая победа тут была одержана, когда дружно потопили министерство народного здравия — уже созданное министерство, уже назначенного министра, начавшего деятельность, но без согласия Думы, — и за это отменили его со всеми его антиэпидемическими и санитарными мероприятиями — назло правительству! Ещё сорвали проект ввести обязательную трудовую повинность, хотя бы в прифронтовой полосе:

> Принудительный труд? Полицейские меры? Позор! Долой!

или бездействующих беженцев обязать к работе:

> Для беженцев вводят крепостное право?!

Уж тем более бурно протестовали и сорвали проект милитаризации оборонных заводов — то есть лишить рабочих права бастовать, увольняться (зато и кормить на заводе): уж это тем более крепостное право и солдатчина для пролетариата! Эта мера — для удушения революционного движения!

Возникали и деликатные положения, где Прогрессивный блок не мог проявить разоблачительного гнева: всякий раз, когда выплывал вопрос о промышленном капитале и банках. Звучал в Думе одинокий голос священника Околовича:

> Есть вампир, который овладел Россией. Своими отвратительными губами он высасывает кровь из народнохозяйственного организма, крепко держит голову, мешает работать мысли. Это — банки: Азово-Донской, Петроградский международный, Петроградский учётно-ссудный, Сибирский торговый… Банки финансируют не войну, а дороговизну. Они стали собственниками многих заводов. Они задерживают сахарные отправления в Петроград. Они закупают продукцию и не направляют её в места спроса и голода. Идёт азартная биржевая игра вокруг овса. Банки поставили коммерческие интересы выше родины. Всё хозяйство страны — под надзором, а банки — не под надзором.

Но Дума, не слыша, миновала такой голос. Банки — сила, замахиваться на них нельзя. Надзор за банками предлагал Шингарёв весной 1916, Прогрессивный блок отклонил. Для публики оставалось во всём виновато правительство, и лучше нельзя было придумать.

Своим чередом подполз из многолетних думских залежей законопроект о волостном земстве, давний-предавний вопрос русского развития, затянутый, замедленный, как всё важное на Руси: исполнилось 55 лет тщетным попыткам определить и создать волостное земство, 11 лет — усилиям провести его через законодательные палаты, — и вот в третью военную безхлебную зиму, за три месяца до революции, в декабре 1916, волостное земство вдвигается в думские прения.

Проект создать всесословную волость родился даже прежде 1861, ещё когда только обсуждали крестьянскую реформу: крестьянство, только что вышедшее из крепости, привыкшее безпрекословно повиноваться любой власти, не отстоит себя от государственной бюрократии; да и обособление помещиков углубит их рознь с крестьянством; хорошо бы объединить их во всесословное земство, чтоб они вместе осознали и отстояли интересы земли. И государство перестанет быть для крестьянина пригнетением.

Но не дано было крестьянам овеществлять крестьянскую судьбу. Своему утоплению в крестьянстве сопротивлялись многие помещики. Не сочувствовала проекту и радикальная интеллигенция 70—80-х годов: узкие волостные интересы отвлекут от широких горизонтов, местное самоуправление только свяжет общее развитие демократии (безбрежное сладкое море политики). И теперь заключал

> Стемпковский (воронежский помещик): Мы — не граждане, объединённые одною мыслью, но — хозяин и работник, но — начальник и подчинённый. У нас не было места, где мы могли бы сойтись и поговорить о будущих нуждах, где бы наши интересы сливались воедино. Мы сталкивались всегда при обстановке, не располагавшей восстановить единство и добрый мир. И даже расходов волости не берём на себя, сколько раз признавая, что так несправедливо.

И сверх земских сборов собираются с крестьян мирские средства, а могли бы доплачивать помещики.

С давних пор томится уездное земство: так близки к населению — и так удалены. Как сблизиться? Вечный спор: начинать ли сразу с развития гражданского сознания скудоимущих и неграмотных? или — сперва грамотность, потом — улучшение экономического быта, тогда у них появится досуг, тогда и реформы?

Разразился голод 1891, и яснее зинула эта пропасть: не было волостного земства, которое знало бы, кого кормить, кому ссуду давать. Да даже и несведущие благотворители не допускались к голодающему населению помимо земского начальника.

А между тем немногие крестьянские гласные в уездном земстве хорошо оправдали себя: они ярко понимали своё положение, права, интересы, высказывали отчётливые мысли о нуждах и задачах.

Ещё во 2-ю Думу Столыпин внёс проект волостного земства, равного для всех сословий. Через 10 лет вынужден был признать даже

> Керенский: Отдаю дань его памяти. Он смело, честно и открыто отказался от куриальной системы в земстве, сказал, что это — факел вражды, который вносится в местную земскую жизнь.

Но в Думах проект загряз надолго.

В крестьянской и христианской России четырём Государственным Думам образованного класса ни один крестьянский закон или христианский вопрос никогда не казался ни спешным, ни важным. И если какие из них они всё-таки иногда проводили, то только если это означало явное торжество над правительством. Так они 8 лет квасили в комиссиях вопрос о крестьянском равноправии — и не дали. А теперь: время ли затевать волостное земство, когда идёт война?

Шингарёв, горячо: да, да! Для войны-то оно и понадобится! Во время войны все опасности и опасней. Вот придумываем разные местные комитеты по продовольствию — а было бы у нас волостное земство? — через него и учёт запасов, и закупка хлеба, и распределение товаров, и использование беженцев, военнопленных… Волостное земство предохранит нас от анархии.

Думе скучны эти прения, а может быть, и сама себе она уже скучна. Обсуждается волостное земство, — а по залу свободно ходят, громко разговаривают, больше половины уходят в фойе и в буфет, в зале присутствует порой лишь 150 человек из 440, то и дело нет на месте записавшихся ораторов, и даже Шингарёв оказывается в отсутствии.

Шестидесяти лет оказалось мало проекту — он поспешен, сыр, непродуман, его критикуют с обоих флангов и просто все, кто взял труд подумать: как же можно проводить такую основательную объемлющую реформу, даже не спроси крестьянского мнения на сходах?

И Керенский о том же — у постели умирающего не говорят о житейских делах. Нечего есть в городах, неизвестно, будем ли живы, — а нам предлагают проект волостного земства…

Вдруг — обостряется спор до ярости, и, как часто бывает, пока не привыкнешь, сперва непонятно, с чего это?

> Городилов (крестьянин): Как это проводить выборы в волостное земство, когда всё население на войне? Оскорбление просто. Волостное земство понадобилось господам прогрессистам, чтобы по окончании войны насадить своих людей, которые наполнят деревню чуть не самым последним элементом. А вот в нынешние волостные правления, чисто крестьянские, посторонним элементам нет доступа.
>
> Шингарёв: Как мог быть подписан циркуляр: «на волостные сходы посторонних лиц не допускать»? Кто же — посторонние в Российской империи? *кого* нельзя пускать?

И прорывается пламенем — подразумённое, спорящим ясное, клокочущее и жгучее: да — беженцев! и — евреев, что ж вы их нам — равноправными членами земства? деревней нашей управлять? а на земле они работать — будут?

И таким же неугасимым огнём такие же горячие языки взлизывают на трибуну:

> А иначе будет нарушено правосознание общечеловеческое и народное! Угнетая еврея, вы даёте козырь Германии: где же борется Россия за права народностей?

В этой Думе (как, впрочем, и во всех парламентах) — чем правее, тем позорнее перед обществом, тем связанней в доводах. Что б ни говорили правые, — нет им ни веры, ни поддержки, ни даже простого уважения. Их легко подавляют голосованием, или замечаниями председателя, или просто — криками с мест, ибо левых глоток много больше. Им почти не дают говорить, прерывают, нелегко продляют время выступления, а чаще обрезают прения, чтоб не дать им выступить вовсе, в пулемётном порядке проводят резолюции против них.

> Мы, русские националисты… (Слева: «Прусские!» Смех.) …Ораторам не из Блока нельзя говорить с этой кафедры, вы их постоянно прерываете…

Думское большинство постоянно пренебрегает своим правым меньшинством. Молодому русскому парламенту доступна идея голосования и совсем чужда и странна идея согласования, на которой строилось древнерусское соборное понимание.

И это всё — не главное, отчего трудно в Думе правым. Им тяжко оттого, что они верны династии, которая потеряла верность сама себе, когда самодержец как бы околдован внутренним безсилием, им тяжко оттого, что они должны подпирать столп, который сам заколебался. Но — какой же путь показать, когда шатаются колонны принципов и качается свод династии? Самодержавие — без самодержца!.. Правые — рассеяны, растеряны, обезсилены. Если уж и верные люди не нужны Государю?.. Если сама Верховная власть забыла о правых и покинула их?.. Сдаться? Безропотно уступить власть кадетам? Так ведь не удержат, всё дальше и дальше будут передавать её налево. Переубеждать?

А ещё: каждый шестой депутат Думы — крестьянин. (Побоялось правительство дать всеобщее равное право деревне, само себя лишило

правого большинства в Думе — уж эти бы серые «аграрии» не допустили бы хлебной петли осенью 1916.) Крестьяне — смирно сидят, боясь развязных насмешек, выступают редко и кратко, стеснённо, то с доверчивой умилительностью:

Третий год кровавой войны мы всё отдаём, братьев и сыновей. Помоги вам, Господи, разбить дерзких и кровавых врагов… А гвоздь повышен 20-30 рублей за пуд…

то с корявостью речи:

Злоупотребляют нашему целому войску… Какое внушение идёт для народа…

вызывая только улыбки своими неукатанными, несостроенными речами. Они годами не могут привыкнуть к дерзким порядкам этих образованных господ в Думе — к облаиванию и обрёвыванию, какие неприличны были бы на сельских сходах. Или тому, что в ладоши хлопают не по согласию с речью, а — если *свой* говорит. А коль и верно, да не свой — так чаще молчат. Депутатам-крестьянам надо несколько лет отереться тут, чтобы приобыкнуть, что это и есть Государственная Дума.

И как же эту Думу вести благообразно и успешно? Задача Родзянки, безпокойнейшего из председателей. Вот уж он не бездействует! Положение России — очень сложное, только и обозримое с председательского места. Иногда — пойти на секретное заседание бюро Блока, иногда — не отказаться и вместе с правыми поехать на обед к Штюрмеру. То — скрыть от Думы неприятные бумаги, то — вступить лично и непосредственно с Францией в переговоры об аэропланах, обойдя и все министерства и Верховное Главнокомандование. Но напряжённее всего и болезненнее всего — добиваться аудиенций у Государя, всякий раз трепеща получить или отказ, или холодный приём, или испытать унижение: быть вычеркнутым царицею из списка приглашённых к высочайшему завтраку или в правительственном поезде получить самое неудобное отделение. И вдруг осенью 1916 разносится слух — для самого́ неожиданно, неведомо откуда поднявшийся, но сладко и властно охватывающий слух: премьером и министром иностранных дел будет РОДЗЯНКО!! Ещё никем официально не предложено, ещё не спущено это милостивое слово свысока, — а ведь уже надо обдумать условия, достойные великого человека: императрицу — в Ливадию, пост принимается не менее как на три года, министры — по собственному выбору, Поливанов вместо генерала Алексеева, а великих князей — снять с военных должностей. Увы, этого ультиматума никогда не услышит Россия: слух так и остался слухом.

И снова взносить себя по дубовым ступенькам на высшую кафедру Думы и запорожским басом лениво отводить:

Председатель сам знает, не вступайте в пререкания…

В опасные дни, избегая скандала, окружать себя думскими приставами (они многие с головами стрижеными и крупными физиономиями под своего Председателя), а в трагический день, когда грубиян Марков 2-й,

размахивая руками и грозя кулаком, подымется на Председателя, видимо драться, — оказаться без реальной обороны, кроме графа Бобринского, схватившегося за графин, вся другая помощь опоздает.

Прискорбный этот эпизод произошёл после того, правда, как полноября думское большинство поносило и всё правительство вместе, и отдельно по министрам, а Родзянко возражал, может, и слишком бережно (но не ссориться ж ему с большинством!):

Покорнейше прошу господ членов Думы несколько менее часто перебивать оратора…

Чхенкели: Один выход — революция!

Родзянко: Призываю вас к порядку за подобное выражение,

но дал договорить, а Маркова 2-го за ответ «не кричите!» — удалил с кафедры. И этот необузданный депутат подошёл к Родзянке и объявил ему громко вслух:

— Болван! Мерзавец!

Родзянко: Член Государственной Думы Марков 2-й позволил себе такое оскорбление вашему Председателю, которого в анналах Государственной Думы ещё не имеется. (Шум. Голоса: «Какое?») Но я не могу… (Шум.) Но ввиду этого обстоятельства я попрошу моего Товарища предложить ту меру возмездия…

В. Бобринский: За невероятно тяжёлое оскорбление Председателя Государственной Думы (Голоса: «Какое?») …я не повторю этого выражения…

Марков исключается на 15 заседаний — предел, даваемый уставом. Но, по уставу же, виновному дозволяется объяснение поступка, и Марков 2-й успевает объявить:

С этой кафедры осмелились оскорблять высоких лиц безнаказанно. Я в лице вашего председателя, пристрастного и непорядочного, оскорбил вас!

Всё же этот эпизод окончился к вящей славе Родзянки: и аплодисменты Прогрессивного блока, и сочувственные телеграммы от земских и дворянских собраний, городских дум, и орден Почётного Легиона от президента Франции!

Руководство Думою сложней симфонического дирижёрства, тут надо много предвидеть, менять тоны, приёмы, виды голосований.

Тем более важно не ошибиться при открытии напряжённо-ожидаемой сессии после вынужденного перерыва, как 14 февраля. Тем обиднее, что выступлением Риттиха отодвинута центральная речь Милюкова, — и он произносит её на другой день при неполном зале, даже без кворума депутатов, увы, уже без торжественного стечения публики.

Милюков: Мы, законодательные учреждения, разорвали с правительством. Там (указывая на ложу правительства) нет никого, кроме вот этих бледных теней.

(Рукоплескания. Аджемов: «Там всякая дрянь!») Страна далеко опередила своё правительство… Зрелище, глубоко оскорбительное для великого народа… Будет ли с пути народа сброшено это позорное и досадное препятствие?.. Господа, в патриотической тревоге, которою полны ваши собственные сердца, не в молчании, не в примирении я вижу наше спасенье. Вы, которые знаете больше, чем я могу сказать с этой кафедры, вы знаете, что тревога эта основательна. И если в самом деле укрепится в стране мысль, что с *этим* правительством Россия победить не может, то она победит *вопреки* своему правительству, но победит!

(Крупнейшим знатоком внешней политики это было сказано 15 февраля. Уже Соединённые Штаты явно входили в войну, и победа союзников рисовалась едва ли не автоматической. Почему же могло казаться так Милюкову да и всем почти? Гипноз желанного. Конечно, отплывя по реке истории, узнав берега и промерив дно, легко критиковать. Теперь-то, за всё расплатясь, мы знаем, что обстояло как раз обратно тому, как сказал Милюков: с *этим* правительством Россия уже неизбежно победила бы, *вопреки* же ему она проиграла войну.)

Из глубин России несутся надежды к нам. Это мы должны, не довольствуясь речами, совершить какое-то необычное и особенное действие… «Все речи уже произнесены, действуйте смело!» — говорят нам со всех сторон. Эти надежды нас глубоко трогают, но и несколько смущают.

Это — требует мужества, когда слева социал-демократы жёлчно поливают:

Как, господа, можно назвать вашу тактику? Вы продолжаете твердить, что готовы бороться лишь *законными средствами* с властью, которая ведёт страну к гибели! Это — хуже, чем всякое пораженчество!.. Вы же говорите, что эта власть изменяет стране?

О, этот левый ветер, как он больно режет лицо! И ведь правда, ответить нечего. Заслоняются, тупятся, переминаются кадеты:

Очень прискорбно, когда между нами и нашими товарищами слева появляются разногласия, к радости тёмных сил.

Внутренняя слабость кадетов в том, что, безпощадные в критике, они не могут дать увлекательной программы: чаще — не имеют её, иные пункты скупятся высказать, чтобы правительство не перехватило себе. Ну, разве что

Милюков: Освободите этот народ от лишних стражников и полиции. Пожелание народа: возьмите полицию на фронт! Почему эти упитанные остаются неприкосновенными?

А то — лишь одно, лишь одно повторяют они, и в этом главная их программа:

Родичев: Когда там (указывает на ложу правительства) будут сидеть люди, заслужившие народную веру, люди, самые имена которых говорили бы стране: *жди и веруй*, ибо эти люди сделают своё дело или погибнут…

Лишь бы власть ушла, мы заступим — и всё пойдёт.

И что другое, правда, предложишь, кроме *правительства доверия*?

Ефремов: Такое правительство может совершить чудеса: его вдохновляет народная душа, с ним будет творить и работать весь народ.

(Скоро, на Временном правительстве, мы это и проверим.)

Опережая лидеров Блока, на завоевание новой популярности ринулся

Керенский: *Кто же те*, кто приводит сюда эти тени (указывая на места правительства).

И дальше — о *тех*, выше правительства. Он и осенью уже так заводил, а теперь-то! Он верно сообразил, что поношение правительства — уже не ораторское достижение, пришла пора поносить трон. И верно сообразил, что в Думе уже *всё* можно. И верно сообразил, что Родзянко не посмеет выдать его. (Премьер князь Голицын запросит стенограмму — Родзянко ответит, что ничего предосудительного там не было.) Все опасные места будут изъяты. А уже такое умеренно мягкое место:

С нарушителями закона…

(то есть с правительством)

…есть только один путь — физического их устранения! (Слева рукоплескания, «Верно!») —

даже и в стенограмме не сокращено. И, упиваясь достигнутым уровнем смелости и ожидаемым восторгом страны, парламентарий объявляет, что́ до сих пор лишь подразумевалось, а теперь пусть растекается в гектографических листках:

Я, господа, свободно могу говорить, потому что вы знаете: я по политическим своим личным убеждениям разделяю мнение партии, которая…

(теперь можно признаться: не трудовик — а тайный эсер!)

…на своём знамени ставила открыто возможность террора… к партии, которая признавала необходимость тираноубийств.

И после такой зажигательной речи кто ж будет слушать унылые уговоры правого? —

Левашов: Кучка безсердечных честолюбцев старается использовать затруднительное положение родины,

чтоб незаконно захватить власть над ней, не дать правительству сосредоточиться на сокрушении могучего неприятеля. …Песни еврейской печати, истерические выкрики думских ораторов, что теперешнее правительство не может вести Россию к победе…

А социал-демократ Скобелев:

Не только к правительству и не только к *центральной фигуре,* которая дёргает этих марионеток. (Председательствующий не мешает.) Много накопилось, что́ может предъявить рабочий класс к теперешней власти. Или эта власть с её приспешниками будет сметена — или Россия погибнет. (Рукоплескания слева. Председательствующий не возражает.)

Когда партии, парламентские фракции, газеты и ораторы привыкают, что общество и студенчество аплодируют им, жадно следят за ними, — они, того не замечая, втягиваются в соревновательную игру: каждый следующий оратор и журналист, каждое следующее заявление и резолюция рассчитаны вызвать удивление, восторг и поддержку — сильнее, а хотя б не слабее, чем предыдущие, — такова инерция этой игры. А чтоб этого достичь — мало просто таланта говорения, писания, быстрой сообразительности: этого постоянного подъёма и нагрева общественной поддержки можно достичь, только если пользоваться подбодряющим рядом фактов и пренебрегать удручающим рядом их. Рост голоса и рост успеха невозможны, если эти ряды честно и взвешенно сопоставлять. Так эта общественно-парламентско-газетная игра (мы наблюдаем её накануне российской революции, но усталым зрением часто видим и на сегодняшнем Западе) становится увлечённым обманным шествием, карнавалом, перед тем как опрокинуться: глаз и нога перестают различать, где ещё твёрдая земля, где — уже зеркальное призрачное отражение.

В последнюю неделю российской Государственной Думы это соревнование достигает отчаянной надрывности. Ни одно обсуждение — ни о волостном земстве, ни о транспорте, топливе, ни о продовольствии — не доводится до конца, но прерывается каким-нибудь истерическим спешным запросом, а тот сшибается и заталкивается новыми и новыми запросами и вопросами, также не доводимыми ни до какого решения, один запрос острей другого, повестка дня разладилась, ораторы, сбивая единое течение, выступают каждый, о чём их жжёт.

Крупный текстильщик, не знающий этих твёрдых цен на свой ситец, революционнейший деятель Прогрессивного блока Коновалов, с золотым пенсне на длинном шнурке, выступает с запросом о беззаконных административных действиях, с длиннейшей речью.

После того место выскочить и Чхеидзе, на то его неприкосновенное право, слушайте, хоть очами повылазьте. Самое время напомнить о сосланных в 1907 социал-демократических депутатах 2-й Думы — и почему Дума не хлопочет о них?

Не наступает ли, господа, момент, когда внешняя война благодаря этой власти будет превращена, господа, именно в *гражданскую* войну? И я предлагаю вам, господа, иметь в виду эти перспективы!

(И за что уж Ленин так безпощадно поносил этого милого Чхеидзе?)

Чем далее отмалчивается правительство, тем смелее депутаты. Правительство честят в тех словах, как будто его уже и нет в России. В успешной новой роли любимца общества не устаёт выламываться и Пуришкевич, в последние месяцы совершивший сенсационный перескок из крайне правых едва ли не в кадеты и безнаказанный за убийство. Трибуна не остаётся пустой, и ораторы переполнены нарастающим избытком чувств и слов. Уже торжествует с трибуны Скобелев, что на петроградских улицах — волнения и отбирают трамвайные рукоятки.

Керенский: Мы требуем, чтобы вы, власть, подчинились требованиям страны и ушли с ваших мест!

24 февраля переполашивается Дума новым срочным запросом: какие меры предпринимает правительство для урегулирования продовольственного положения в Петрограде? Как пропустить такой прекрасный повод для раздирающих речей? То шёл — продовольственный вопрос вообще в России, почти академический, его можно было и покинуть. Теперь — жизненный; тут, у нас, в Петрограде!

Подан грозный запрос. Да знают лидеры кадетов, что через 2 часа на совещании Родзянки с правительством всё решится полюбовно, в самом благоприятном смысле. О нет, теперь-то и повод осветить политические аспекты и разжечь страсти!

Родичев: Мы переживаем тот двенадцатый час, после которого нет спасения! Правительство, в котором министра не отличишь от мошенника, — и все они назначены влиянием, которое мы не можем не назвать изменническим. (Слева рукоплескания: «Верно!») Это им — казнь, достойная дел, которые они совершили. Именем голодного народа мы требуем власти, достойной судеб великого народа! — призвать людей, которым вся Россия может верить!

А теперь как же обойтись без Чхеидзе? Сколько ни выступай — ведь хочется ещё рассчитаться, ещё поклевать.

Чхеидзе: Игнорирование улицы — это свойство правительства и многих из вас.

И — десятикратно подробно, с размазыванием, с обильным напоминанием, что он сам и его фракция всегда были правы, всегда это знали и предсказывали.

Какое ж разрешение продовольственного вопроса? Упразднение этого правительства и этой системы!

А наготове, рвётся, со вчерашнего дня не выступал

Керенский: Вчера мы говорили с этой трибуны, и никто в России не узнал. Я не раз формулировал и говорил о причине всех причин несчастий, которые мы переживаем. Но, господа…

отдать ему справедливость, он способен опоминаться быстрей с-д и даже к-д,

…когда мы уже вступили в период развала, катастрофы и анархии, когда разум страны гаснет, её захватывают стихии голода и ненависти, тогда я не могу повторить с этой кафедры то, что сказал депутат Родичев: настал двенадцатый час, сегодня или никогда. *Остерегайтесь слов,* если вы сами не хотите превратить их в дело. Слишком ярка перед нами картина гибели государства. Будьте осторожны, не трогайте этой массы, настроения которой вы не понимаете. Как мы были правы, когда говорили… —

и много о том, как были правы, когда говорили.

Только в народе спасение, и к нему мы сами должны пойти с покаянием

(как, впрочем, это известно ещё с XIX века).

Вдруг появляется на кафедре священник. Он — под свежим впечатлением, что видел сейчас на улицах. Громадная масса залила всю Знаменскую площадь, весь Невский и все прилегающие улицы, и — совершенно неожиданно: проходящие полки и казаков провожают криками «ура!». Один из конных полицейских ударил было женщину нагайкой, но казаки тотчас вступились и прогнали полицию. (Слева — продолжительные рукоплескания, «Браво!» Караулов: «Ура!»)

Да в этом душном закрытом зале просидишь, ничего не увидишь!

Аплодируют левые. Выступает от правых: что всякому русскому человеку больно, когда законодательные учреждения только тем занимаются, что мечут зловонной жидкостью в русское императорское правительство, вместо того чтоб созидать законодательство.

25 февраля на утреннем заседании на последний запрос отвечает всё тот же обязательный, услужливый, быстрый Риттих. Несмотря на упадок подвоза от мятелей — держались в норме более трёх недель. И ржаного хлеба хватало, даже некоторые хлебопекарни заявляли, что — избыток, не разбирают. Отсутствия муки не было, пекарням всё выдавалось по норме. Видимая нехватка началась лишь три дня назад, и особенно на Выборгской стороне. По поручению Риттиха уполномоченный объехал тамошние булочные и пекарни и выяснил, что во всех есть запас: от нескольких дней до нескольких недель.

Но произошло нечто необычайное: вдруг появились громадные хвосты и требование именно на чёрный хлеб. И все указывали, что лицо, купившее хлеб в одной лавке, сейчас же переходило и становилось в хвост у другой. Разыгралась прямо паника: все старались запасаться хлебом, чтобы делать из него сухари. Нечто подобное было две недели назад, но довольно скоро прошло, и потом население большими коробами продавало эти сухари.

Теперь же — обычной выпечки стало не хватать, и часть булочных и часть желающих купить ещё — стали оставаться без хлеба. Хотя общепетроградский запас остаётся больше чем на две недели. Уже назначены специальные маршрутные поезда в Петроград для пополнения нехватки. Уже вышло 19 поездов, это идёт двухнедельное количество.

Теперь, не дожидаясь нового закона, как только петроградская управа сорганизуется хотя бы несколько, чтобы принять это дело, оно немедленно, в тот же день, будет ей передано! Если она может принять сегодня — сегодня же это будет сделано!

Это так проверено: когда смотришь, как грузчики носят мешки, кажется — да и я бы легко! Но когда начинаешь хоть угол такого мешка перенимать своим плечом, — о, как мозжит он и плющит! Вот — первый уголок государственной тяжести, который дают перенять Прогрессивному блоку. И кадет Некрасов уже оговаривается:

Мы знаем, что в руках общественных самоуправлений не будет многих из тех возможностей, которые были у правительственных органов.

Шингарёв: Однако город может взяться за это дело, если ему будет обезпечен подвоз хлеба. Как может он иначе взять ответственность перед населением Петрограда?

(Уже подавливает мешочек.)

…Быть может, у *них* теперь одна надежда: мы до этого довели — а спихнём городу?

Ещё выдвигают проворные думцы законодательное предположение (со шпильками, что во всём виновато правительство) — обсудить и принять за три дня. Ну, кажется, схватились за дела и хоть на сегодня закончилось словомолотье? Как бы не так! А —

Чхеидзе: Посмотрим, что из этого выйдет, то, что сейчас предлагается. На Кавказе продовольственный вопрос стоит острее, чем где бы то ни было.

А вот что: три дня — слишком долго, надо успеть в два, к понедельнику.

Ну — и Керенский же! Хоть несколько слов, хотя бы присоединиться: скорей! скорей за работу!

Несколько заявлений: прекратить общее заседание, чтобы продовольственная комиссия немедленно начала работу!

Как — а по мотивам голосования? прекращать ли работу заседания — нужны мотивы голосования. Опять-таки

Керенский: Министр земледелия ничего нового нам не сказал.

А формула перехода (вот к тому, чтобы скорей начать продовольственную работу):

> Выслушав объяснения министра земледелия и считая их совершенно неудовлетворительными, Государственная Дума признаёт, что дальнейшее пребывание у власти настоящего Совета министров совершенно нетерпимо… Создать правительство, подчинённое контролю всего народа! И — немедленная свобода слова, собраний, организаций, личности…

Обскакал-таки дружка Чхеидзе! Какой же ловкий манёвр! Но — не упущено, наверстать! По мотивам же голосования (о прекращении этого заседания) —

> Чхеидзе: Я совершенно не желаю возражать против той формулы, которую огласил мой товарищ Керенский. Но мы не можем отказать себе в некотором, так сказать, праве ещё раз высказаться по тому, что объяснил нам господин министр. Поэтому я предлагаю не откладывать заседания, продолжить обсуждение этого вопроса, выслушать с трибуны ещё раз…

(ещё раз и ещё раз Керенского и Чхеидзе)

> …и ещё раз зафиксировать в памяти населения то, что нужно сказать. *Потом хватит времени*, я думаю, и для разработки законопроекта

о передаче продовольствия общественным комитетам.

Десять минут назад он сам же говорил, что даже до вторника ждать невтерпёж, чтобы к понедельнику сделали всё! — и вот уже — давайте прения хоть на неделю!

Страшно не то, что на трибуну Думы во всякое время может вырваться любой демагог и лопотать любую чушь. Страшно то, что ни выкрика возмущения, ни ропота ниоткуда в думском зале — так ушиблены все и робеют перед левой стороной. Страшно то, что таким ничтожным лопотаньем кончаются 11 лет четырёх Государственных Дум.

В 12 ч. 50 м. Родзянко закрывает заседание.

Это всё — выписано мною из думских стенограмм последних недель русской монархии. Это всё до такой степени лежит на поверхности, что одному удивляюсь: почему никто не показал прежде меня?

Эта Дума никогда более не соберётся.

И я сегодня, прочтя её стенограммы с ноября 1916 насквозь, а ранее многие, многие, так ощущаю: и не жаль.

27

А сегодня от учебной команды волынцев уже не взвод пошёл на Знаменскую площадь, а вся 2-я рота — так значит, Кирпичникову тем более выпало идти. Вот попадает, уж как бы хотел не пойти.

Сказали: сегодня там будем до двенадцати ночи, горячее пришлют туда. Не допускать народ стекаться на площадь.

Опять сидела рота в подвале дворницкой, а нарядами по очереди патрулировала.

Выезжали, проезжали и казаки взводами, и во всей боевой амуниции. Вид их и копытный стук на улицах был грозный. И не только у толпы, но и у покладистых солдатских патрулей сердце ребром становилось против этих казачьих проездов. Хотя они и нагаек не вытаскивали, а смирно проезжали вхолостую.

А полиции — в этой толпяной густоте не видно было вдоль Невского, и только стояли коротким строем у вокзала. Мало их.

Вернулся Кирпичников в подвал какой-то притомлённый. Ото всей долгой службы, что ли. На войне — за жизнь берегись, в мирное время — парадами изматывали, а тут вот что придумали — народ гонять.

И опять прибежал в подвал вестовой штабс-капитана — вызывать роту строиться. И тут же прибежали и прапорщики — Воронцов-Вельяминов и Ткачура, по одному на каждую полуроту. За те два года, что не был Кирпичников в Волынском полку (по мобилизации в пехотный полк попал, потом ранен, потом лечился), — тут многих прежних офицеров повыбило, мало кого и встретишь. Эти — новые.

Вылезли наружу. А вид у гвардейцев — шинели не пригнаны, кто и в ботинках, где уж там стойка-выправка.

Построились, но теперь сбоку наискосок, так что толпе с Невского путь к Александрову памятнику оставался открыт. Они и повалили туда с красным флагом. У памятника остановились.

И сперва шапки сняли и пели все «вечную память».

А потом стали выходить оруны, сюда плохо слышно.

Не выдержал один пожилой солдат, ретивый, и из заднего ряда крикнул своему офицеру:

— Ваше благородие! Оратель — речь кую-то говорит!

Кирпичников одёрнул его:

— Замолчи, серенький.

Понимал бы ты, знал бы ты всё…

Прапорщик Вельяминов пошёл просить у капитана разрешения разогнать толпу.

Штабс-капитан Машкин 2-й ничего не ответил. Не приказал.

Кирпичников подумал: а ведь по-хорошему обо всём бы можно с людьми договориться. И Вельяминову:

— Разрешите, ваше благородие, я один схожу к ним.

— Да тебя убьют.

— Да никогда во веки.

Не пустил прапорщик. Пошёл опять сам к штабс-капитану — просить разрешения разогнать.

Ах, беда, опять к худому. Опять: как солдатам быть?

Вернулся Вельяминов, и первому взводу:

— На-пле-чо! За мной, шагом марш!

И пошёл, сам отмахивая, отстукивая. А они за ним, вяловато. Он тогда звонко:

— Крепче ногу!

Солдаты ворчат:

— Тут не кузня, ногу держать.

Кирпичников остался с другим взводом. Отсюда не слышно, а видно хорошо: там, у памятника, подняли красную тряпку и растопырили над головами, а на ней: «Долой войну!».

Ошалели, что ли? Как это, долой войну? А немец куда?

Шагов через двадцать скомандовал Вельяминов взводу: «На руку!» Повернул фронтом — и пошли цепью, с винтовками наперевес — прямо на красный флаг.

Подступы памятника — из красного гранита, его от снега очищают. И чёрные людишки на нём.

Вельяминов кинулся вперёд, оторвался от строя — поскользнулся — и упал ничком.

И в него тотчас кинули палкой, в спину угодили.

А «долой войну» меж тем свернули, спрятали.

Толпа тоже робела.

Прапорщик бодро вскочил, подошёл, сорвал красный флаг с древка — и вернулся к солдатскому строю.

Спросил своих солдат — кто его ударил? Отвечали, что не заметили.

Повернул взвод, опять «на плечо» — и вернулся сюда, к роте.

Едва построились — из толпы пришла кучка, просила у штабс-капитана вернуть флаг.

Штабс-капитан вежливо просил их, что надо разойтись.

Вельяминов и Ткачура окрикнули их:

— Вы — разойдитесь, а то стрелять будем!

Подошёл один, в студенческой форме, без руки. И целой рукой тычет Вельяминову в значок на шинели:

— Вместе на одной скамье сидели, а теперь ты хочешь в меня стрелять? Ну, стреляй!

Грудь подставил.

Вельяминов ему:

— Армейская служба — есть служба. Без этого — нет страны.

Это правильно.

Откуда-то прискакали казаки на лохматых сибирках. Покрутились, копытами поцокали. Посмеивались. Наезжали на толпу, а мягко.

Толпа переливалась с места на место. «Мельница».

Офицеры ушли сидеть в гостиницу, а Кирпичников с солдатами всё стоял.

Когда толпа слишком наседала, окружала — сами солдаты взмаливались взойти в их тяжёлое солдатское положение, податься дальше.

Тоже служба — не своё дело делать. Люди хлеба хотят, и поговорить хотят, — чего им перегораживать?

Прибежал вестовой: идти пока в дворницкую.

28

За эту мрачную зиму приблизилась ещё одна милая преданная молодая женщина — Лили Ден, жена флигель-адъютанта, моряка, назначенного командовать выкупленным у японцев крейсером «Варяг». Именно вчера она проводила мужа, они ушли в Англию, может быть на полгода, менять машины, — и приезжала вечером посидеть. Огорчённая, тревожная (сколько одних германских мин по дороге!), — держалась молодцом. И от сходных чувств, при уехавших мужьях, возникло с ней проникновенное понимание.

К полуночи присылала звать Аня, и государыня ездила к ней в кресле черезо всю пустоту дворца, часа полтора успокаивала её, та лежала в жару, в задыханьи, в испуге, совсем плоха.

А дети пока переносили корь сравнительно нетяжело, по утрам температура спадала, к вечеру набиралась. Лежали все в тёмных комнатах, и мать попеременно ходила от одной к другому, сменяла сиделок. Осложнения — пока не проступили. А младшие девочки держались, хоть и на грани, Анастасия — с очень подозрительным горлом.

А за утренним окном шёл лёгкий приятный снежок, и при лёгком морозце. Мягко и безпечно падал на нетронутые снежные массивы царскосельского парка. Так могла бы быть легка и безпечна жизнь!

Кому-то другому…

Утром же подали государыне письмо от Протопопова. Он объяснял городские волнения этих дней (кажется, не прекратившиеся и сегодня?): это — вызывающее, просто хулиганское движение мальчишек и девчёнок, которые бегают и кричат, что у них нет хлеба, — просто для того, чтобы создать возбуждение. И — бастует часть рабочих, а по злостному обыкновению не пускают работать и других. Социалисты хотят пропагандой помешать правильному снабжению города. Если погода была бы холодна, то все бы сидели по домам. Но возбуждение спадёт и пройдёт, объяснял Протопопов, лишь бы хорошо вела себя Дума.

Да и никогда не бывает покоя, если Дума собрана. Все вместе в Петрограде — они всегда ядовитый элемент. А рассеянных по стране их никто не уважает.

И ещё вчера вечером доверенный, близкий друг, флигель-адъютант Саблин, повидав Протопопова за обедом, передавал по телефону его успокоения: всё будет хорошо.

Вот послал Бог министра! — не чужая равнодушная рука, как большинство из них всегда, но преданный всей душой, но не дремлющий на страже царских интересов. И вместе с тем — умный, смелый, энергичный, проницательный, с большим пониманием людей и обстановки. И вместе с тем — милый, обаятельный, сердечно-сочувственный человек, которому можно душевно пожаловаться, — за четверть века ещё не бывало министра, с которым было бы так просто разговаривать, — такой нечванный, простой, сразу принят в тесное окружение царской семьи; настолько не гнался за государственным церемониалом, что можно было для скорости сноситься через Аню и пересылать важные бумаги. За четверть века ещё не бывало министра, которого приятно было бы принимать в домашнем кругу как своего, не стесняясь перед ним в самых откровенных высказываниях. (И даже может быть — тонкопонимающая мистическая душа, сродственная таинственным свершениям.) Поверить нельзя, что этот человек почти 10 лет вращался в Государственной Думе: её отравленная атмосфера злобы не задушила его. Он так непосредствен, откровенен, прям, чист, как только может бывать в России, как бывает у юродивых Божьих душ, ничуть не загрязнён петербургским бездушием, — и так безоглядно, с первой встречи, полюбил Государя. Долго искали, трудно искали, перебрали многих — министр внутренних дел важней любого другого министра и даже министра-председателя! — и наконец нашли. И высмотрел его и предложил — конечно наш зоркий незабвенный Друг. И Протопопов всегда понимал Его сердце. А теперь остался защитником как бы вместо Него, возместительной тенью.

Любопытно было наблюдать пристрастный мгновенный поворот Думы к Протопопову: то держали его у себя в лидерах, то, за верность Государю, прокляли и насмехались. Но общество так уже ослеплено, что не видит и этой думской несуразности.

Протопопов распоряжался деятельно. Направлять полицейские дела взял себе в помощь Курлова, безжалостно задвинутого когда-то после столыпинского дела. Недавно арестовал гнездо революционеров — «рабочую группу» при злоумышленнике Гучкове. Когда убили Друга и заревело от радости всё гнусное общество, а министр юстиции Макаров не спешил приступить к расследованию, — Протопопов проявил чудеса поиска, и его полиция быстро нашла тело, в далёком рукаве Невки, подо льдом. И сумел тактично незаметно провезти покойного в Царское Село. И успел задержать бегство Юсупова из Петрограда — и тот понёс бы кару, если б имел Государь мудрость и твёрдость наказать. И пользуясь своим аппаратом перлюстрации, приносил государыне эти коварные злобные письма великих княгинь, где горько изведала Александра Фёдоровна бездну человеческого предательства. (И вот почему, ещё раз и ещё раз: министр внутренних дел должен быть абсолютно приближенный, свой человек.)

Да всё обойдётся, если Дума будет вести себя прилично. Корень бунта и подстрекательства — в ней, а не в уличных шествиях. Ах, не убедить миролюбивого Государя, что нельзя прощать мятежные и даже антидинастические думские речи. Там что-то ужасное говорится, что Родзянко и не включает в стенограмму, чего и нельзя получить прочесть, а небось по стране пускают на ротато-

рах. Военное время! Такого не потерпели бы в Англии — а у нас всё прощается.

И два месяца рядом прожив, не могла перелить государыня в мужа свою горячекровную волю. Он всё уклонялся совершить мужскую государственную работу. Не наказал ни одного думского оратора, ни одного крикуна на мятежных съездах Союзов. У него не хватало решимости отделаться от неискреннего, непреданного Алексеева: достаточно было только продлить ему отпуск подольше, а Государю показалось неловко. И Алексеев вернулся. И других чужих насажали в Ставку — Лукомского, Клембовского, а милого Пустовойтенку убрали, — и Государь мирился. И даже пристрастную комиссию Батюшина, которая без надобности будоражила евреев и всё общество, безжалостно вцепляясь то в Рубинштейна, то в сахарозаводчиков, то в бедного Манасевича, он не решался разогнать. (Александра и в сегодняшнем письме просила Ники уволить наконец Батюшина.)

Писала письмо Ники, но приходилось оторваться, потому что и на сегодня были ещё Государем назначены опять приёмы, и твёрдо, деятельно она должна была заменить супруга. Снова приходилось влезть в официальное платье и идти принимать, опять-таки иностранцев: одного китайца, одного грека, а аргентинец явился с женой, а португалец — с двумя дочерьми. Так безконечно чужи они были сами и их претензии в эти тяжёлые дни.

Но состоялся и живой интересный приём — новоназначенного крымского губернатора Бойсмана. У него и о Петрограде оказались трезвые соображения. Во-первых: что здесь надо иметь настоящий боевой кавалерийский полк, а не расхлябанных, распущенных запасных, ещё и состоящих более чем наполовину из местного петербургского и чухонского люда. (И действительно! Сколько об этом ни говорилось, сколько раз ни решали вызвать в Петроград боевой гвардейский полк или улан — всё почему-то необъяснимо не осуществлялось, не помещалось.)

Во-вторых: бастующим рабочим, чтоб они очнулись, прямо сказать, чтоб они не устраивали стачек, иначе их будут посылать на фронт или строго наказывать, ведь время военное!

Все мысли понравились государыне ясностью и простотой. Кажется, и проблемы никакой не было, и задумываться не о чем, — понять нельзя, отчего должностные лица не делают самых простых шагов.

Императрица очень всегда вдохновлялась, если приём не оставался в пределах пустой любезности, доклад — в пределах специфически женской деятельности, но от частной проблемы поднимался до государственного значения. Со своей настойчивой волей она тотчас шла к важным решениям для укрепления и возвышения России — и затем либо внушала их Государю в письмах, либо сама искала кратчайшие пути исполнения здесь.

По своему проницанию и решительности государыня способна была стать главой и направительницей всех верных и правых. Ещё когда-то, едва только приехав в Россию, она обнаружила, что окружающие Государя неискренни, не любят ни его, ни страну, пользуются его неопытностью, никто не исполняет обязанностей добросовестно, а каждый думает о своей выгоде. Люди вокруг, вблизи — очень низки. С этим горьким ви́дением она и жила многие годы, рожая одного ребёнка за другим, трепеща над наследником, не вмешиваясь ни во что. Лишь с ходом нынешней ужасной войны она не могла более держаться в стороне.

Но государыня уже 22 года в России и знает её. И знает, что народ — любит августейшую семью. И совсем недавно в Новгороде народ показал это так единодушно, с таким порывом… Пусть видят и Дума и общество!

Поездка в Новгород в декабре ещё стояла в ней не воспоминанием, но живым вдохновительным ощущением. Всего один день — но в народную глубину, чистоту, безхитростность! Огромные народные толпы, влекомые любовью, приливами бросались к её автомобилю при остановках, целовали руки, плакали, крестились, — какое открытое ликование на тысячах простонародных лиц! И всё это — под слитный звон новгородских древних колоколов, всё вокруг говорит о прошлом, и переживаешь старинные времена. Шпалеры войск, восторженные гимназисты в Кремле, молебен в Софийском соборе, самоявленная Богоматерь в часовне, Юрьев и Десятинный монастыри, навещание старицы, навещание раненых, — переезжала и переходила, окружённая плотным народным восторгом, столько любви и тепла везде, чистота и единство чувств, ощущение Бога, народа и древности. В расширенном сердце государыни стояло ликование от этой взаимной верности: её — православному народу, и православного народа — ей.

И разве в одном Новгороде? А когда перед войною плавали с Государем по Волге? — население выходило по колено в воду и

кричало им привет и любовь. Да даже вот, в войну, студенты в Харькове! — встретили её с портретом и факелами, выпрягли лошадей и сами повезли карету.

И — какие же жалкие потуги петроградских затуманенных мозгов могли этому противовесить? Только свет и общество Петербурга и Москвы были против царской четы.

29

* * *

Чем отличался сегодняшний день — не было весёлого настроения, как бы игры, двух предыдущих. Больше не было напевания «хлеба! хлеба!», да и лавки громить остыли. Народ вполне уверился в дружелюбии войск и особенно казаков. (Подходили женщины вплотную к их лошадям, поправляли уздечки.) Третий день среди демонстрантов не было потерь — и полицию тоже народ перестал бояться, напротив — сам на неё лез, и с нарастающей злобой.

А полицию — уверенность покинула. Никто не был за них, ни даже само начальство, и потерянными точками в тысячных толпах они должны были что-то сдерживать.

Стала чувствоваться власть улицы.

* * *

Сквозь все окраинные кордоны в центр города проникли уже большие толпы, и главные действия разыгрывались тут. Здесь — и своих густилось, особенно по Невскому. На тротуарах, лицами к уличным шествиям, уставились служащие, обыватели, ни сочувствуют, ни порицают. Кричат им с мостовой:

— Что там стоите? Долой с панели! Буржуи, долой с панели.

* * *

В толпе увеличилось молодёжи — интеллигентной и полу-. Разрозненно, по одному, но во многих местах, стали появляться красные флаги. И когда ораторы поднимались, то кричали не о

хлебе, а: избивать полицию! низвергнуть преступное правительство, передавшееся на сторону немцев!

* * *

На Знаменской площади длился теперь уже непрерывный митинг: менялась толпа, менялись ораторы, а митинг продолжался. И всё — вокруг памятника Александру Третьему.

Несоответственней и придумать нельзя, чем эта прочная, несдвигаемая и безучастная фигура императора на богатырском замершем коне с упёрто-опущенной головой. Вокруг — высокие металлические фонарные столбы. И близко сзади — пятиглавая церковушка.

Ораторов и не слышно от гула и от «ура». Вся площадь полна. У вокзала и по обеим сторонам Лиговки — казаки и конные городовые. То полицейский чин, обнажив шашку, кричит: «Разойдись! Разгоню!» Толпа не верит, не движется. Пристав махнёт шашкой казакам: «Разгонять!» Те, с хмурыми лицами, наезжают не всерьёз — толпа перетекает, съехали — и на старом месте. А то и конные городовые с саблями наголо поскачут на толпу — та мечется, зажата, — а никого не ударили.

Никто не знает, что с толпой делать.

* * *

И Невский запружен народом, море голов, красные флаги.

Попали на Невский военные грузовики и проехать не могут. Медленно ползут вслед красным флагам, как бы пристроившись.

* * *

Поперёк Садовой и вокруг Гостиного Двора — плотные строи вооружённых солдат. А толпу, как всегда сзади, так и выпирает на солдат, грудями прямо на выставленные, наклонённые штыки.

Сзади поют революционные песни. А передние курсистки солдатам:

— Товарищи! Отнимите ваши штыки, присоединяйтесь к нам!

Напирает толпа. Солдаты переглянулись — и стали приподнимать штыки, так что они уже не колют.

Ура-а-а! — ещё поднапёрла толпа, и всё смешалось.

* * *

Большая толпа стянулась у Казанского собора и Екатерининского канала. Среди приличной публики есть и очень возбуждённые дамы, тоже спорят в кучках, в летучих митингах. Простых баб почти нет в толпе, а много курсисток.

Казак на лету вырвал красный флаг, проскакал с ним два десятка саженей, оторвал от древка. Знаменосец побежал за казаком, упрашивал вернуть. Казак, незаметно для начальства, сбросил — и флаг уже подхвачен и в кармане.

Из толпы стали бросать в городовых пустыми бутылками. Потом дали по городовым с полдюжины револьверных выстрелов — одного ранили в живот, другого в голову, тех ушибли бутылками.

Полицейский офицер ответил двумя выстрелами. Раненых городовых увели.

* * *

На углу Невского и Михайловской внутри кофейной «Пекарь» дежурил полицейский надзиратель. Догляделись — стали бросать в кофейню бутылки, камни, разбили три оконных стекла. Добрались внутрь до полицейского, отняли и поломали шашку. Кафе спустило железные шторы.

* * *

Часть толпы подступала по Казанской улице ко двору, где городовые караулили человек 25 арестованных.

Тут подъехал взвод казаков 4-го Донского полка с офицером. Толпа замялась.

А казаки обругали городовых:

— Эх вы, за деньги служите!

Двоих ударили ножнами, а кого и шашкой по спине. Под рёв толпы выпустили арестованных.

* * *

У Московского вокзала по Лиговке прошла стороной, своей дорогой, воинская часть на погрузку. Шли солдаты в полной амуниции, хмурые, не обращая никакого внимания на всю агитацию и крики.

* * *

У Аничкова моста молодой человек в студенческой фуражке вытащил из-под пальто предмет, стукнул о свой сапог — и бросил под конных городовых, в середину. Оглушительный треск — и лошади взорваны, седоки навзничь.

* * *

А на Знаменской площади под конём тяжелостопным Александра Третьего — всё тёк митинг, ораторы разливались с красногранитного постамента. И рядом держался большой красный флаг.

С Гончарной въехал пристав, ротмистр Крылов, с пятёркой полицейских и отрядом донских казаков. На коне сидел он как хороший кавалерист. Обнажил, высоко взнёс шашку — и поехал в толпу.

И остальные за ним: полицейские — с выхваченными шашками, казаки — не вынимая, лениво.

Толпа расступилась, качнулась — из неё началось бегство в обтёк памятника: «ру-убят!».

Но — не рубили. Крылов поехал вперёд один, как добывая кончиком шашки высоко вверху своё заветное.

И никто не мешал ему доехать до самого флага.

Вырвал флаг — а флагоносца погнал перед собою, назад к вокзалу.

Мимо полицейских. Мимо казаков.

И вдруг — ударом шашки в голову сзади был свален с коня на землю, роняя и флаг.

Конные городовые бросились на защиту, но были оттеснены казаками же.

И толпа заревела ликующе, махала шапками, платками:

— Ура-а казакам! Казак полицейского убил!

Пристава добивали кто чем мог — дворницкой лопатой, каблуками.

А его шашку передали одному из ораторов. И тот поднимал высоко:

— Вот оружие палача!

Казачья сотня сидела на конях, принимая благодарные крики.

Потом у вокзальных ворот качали казака. Того, кто зарубил? не того?

* * *

Молодым человеком Крылов служил в гвардейском полку. Влюбился в девушку из обедневшей семьи. А мать его — богатая и с высокими связями, жениться не разрешила. Он представил невесту командиру полка, получил разрешение. Представил офицерам-однополчанам — она была очаровательна, хорошо воспитана, офицеры её приняли. И Крылов женился. Тогда мать явилась к командиру полка: если не заставите его подать в отставку — буду жаловаться на вас военному министру и выше. Командир вызвал Крылова, тот сам решил, что ничего больше не остаётся, как уходить из полка. Начал искать службы по другим ведомствам — но мать везде побывала и закрыла ему все пути.

И удалось ему поступить — вот только в полицию…

* * *

Лежал, убитый. Глаза закрыты. Из виска, из носа, по шее кровь.

Все подходили, смотрели.

* * *

Либералы и черносотенцы, министры и Государственная Дума, дворянство и земство — все слились в одну озверелую шайку, загребают золото, пируют на народных костях. Объясняйте всем, что спасение — только в победе социал-демократов.

Бюро ЦК РСДРП

* * *

30

Так хорошо, что страшно.

Оглушённая.

Не хочется, чтобы время шло: оно непременно принесёт хуже. И это взлетённое состояние начнёт слабнуть — и уйдёт.

Просто сидеть и наслаждаться, ни о чём не думая.

Ни о чём.

Так много мыслей — и все хорошие.

Многое невозможно, но Ликоня и не хочет невозможного.

Увидела в Екатерининском сквере и подкосилась. Поняла: если сейчас не скажет, то никогда уже больше. И всегда будет страдать, что не решилась.

И как-то ноги донесли. И как-то проговорило горло:

— Я хотела вам сказать… Я счастлива, что я с вами познакомилась. А теперь, я слышала, вы уедете… Так вот я…

Он — очень приветливо отнёсся. Но обычные внешние слова.

Пошли рядом. У неё рука плясала, и он сочувственно встречно сжал её.

А там аллейка короткая, вот уже и конец, и расставаться.

Он сказал, что это прекрасно, что она сказала, что раскаиваться в этом не надо, он её благодарит.

За что же *благодарит*? — удивило.

И: что она ему тоже сразу очень понравилась.

Но если б это было так — почему ж там он ни разу не взглянул особенно и ничего особенного не сказал?

Хотя он там, между актами, скорей посмеивался, со стороны. Себе на уме. Здесь таких нет. Высокий! В облитых сапогах. Бородка белокурая. (Бело-курится?..) Такой прямой! И с волжской свежотой. В театральном толканьи — как светлый орёл. Прилетел с ветряного простора.

— Но вы не навсегда уезжаете? — спросила.

Нет. Сейчас — только дней на пять уедет. Потом сразу ещё приедет. Да вообще он в Питере бывает от поры до поры.

Поцеловал ей руку.

Всё длилось, может быть, две минуты. А теперь — часов мало, пока это разворачивается как надо.

Всего так много, это нельзя сравнить ни с чем, это переполняет!

Всегда хотелось Ликоне говорить другим не всё (себе оставить). А сейчас бы ему — всё!

И могла. И хотела: всё.

И даже мучиться от ещё не досказанного.

Кого благодарить?..

31

В положении нынешнего министра внутренних дел были свои очаровательные лёгкости и свои невыносимые трудности.

Главная лёгкость была — сердечная близость Протопопова к царской чете. Как нас согревает эта ласковость высших! И как бодро себя чувствуешь, когда уверен в дружелюбном к тебе расположении с самых верхов! И какая это была эмоциональная вспышка: летом прошлого года, при первом приёме у Государя, оказаться им очарованным! — после всего неприязненного и злого, что говорилось о монархе в думских кругах, — и одновременно видеть, что и тобою очарованы. Вероятно, тактически было правильнее скрыть своё восхищение, но честность и открытость натуры не позволили, и Протопопов всюду говорил, что он Государем очарован, чем и нажил себе непримиримых врагов. Но как было не восхититься всем сердцем, близко узнав эту оклеветанную августейшую семью, не только без хитростей, козней, злобы и разврата, как приписывали враги, но живущую в такой душевной простоте — в любви и молитве! И какой обворожительный установился обычай: после доклада Государю каждый раз иметь счастье зайти к государыне и просто-просто с нею поговорить, не обязательно о службе, о чём угодно, о физиократах. Между их душами установилось то высшее отношение, которое перешагивает в неземное и мистическое. С распущенностью и ненавистью болтало об императрице всё общество — и не знали, как она умна, развита, и по-заграничному твёрдая женщина, английская складка.

А главная трудность министра была — травля от общества, от прежних его думских друзей. Теперь все думские отзывы и упоминанья о нём были насмешливы, презрительны, ненавистливы и третировали его не только ниже уровня государственного деятеля, но ниже уровня человека. Наверно, ни на одного министра, ни в одной стране не вылили столько грязи, сколько на него. Вместить, переварить всю эту брань, найти на неё ответы — было невозможно, а только — привыкнуть и перестать чувствовать. (Но он не мог перестать чувствовать!) И ненавидели его не за деятельность и не за бездеятельность, но за самое его появление на этом посту с верностью Государю, за то, что называлось изменой и перебежкой, поскольку Дума считала себя в состоянии войны с властью, а он, заместитель председателя Думы! — согласился принять из царских рук министерский пост. И не гнушались никакой клеветой! Хотя о своих встречах с немцами в Стокгольме Протопопов тогда же подробно отчитывался коллегам по Думе, и они его не обвиняли, — как только он был назначен министром, пустили клевету, что угодил Двору своей связью с немцами. Всё было забыто! — что сам же Родзянко хлопотал для Протопопова о министерском месте, что английский король и английская пресса давали о Протопопове восторженный отзыв, когда он ездил туда с парламентской делегацией, что хвалил его Сазонов, что Кривошеин тоже рекомендовал его в правительство, — всё забыто, и осталась только ненависть! Теперь никакой мелочи не могли ему забыть, всем пеняли.

Но уж если они травили его так безжалостно, то было чем ответить и ему! Они его знали — но знал же и он их слабости! Травили его, плевали в него, атукали — но и он же им задаст! Ну подождите, ожесточили на свою голову. Как когда-то вместе с ними он легкомысленно возмущался действиями трона — так сейчас душило его возмущение от того, что вытворяет Земгор. Бессовестно, нагло вытесняют нормальную государственную власть изо всей государственной жизни. Работают на одни казённые средства, разбрасывая их без жалости, — и тут же врут, создают у всех впечатление, что — на деньги, собранные обществом. И когда Протопопов решил опубликовать, чьи там деньги, — безстыдные либеральные газеты ни одна не опубликовала, им это невыгодно, мерзавцы! Да Земский союз ещё с Японской войны не представил отчёта в восьмистах тысячах рублей, — значит, потратили по частным надобностям, и только. Правительство трусит, утверждает все их безумно роскошные бюджеты, по всем позициям превосходящие сметы министерств, — а они ещё имеют наглость каждый раз просить по несколько миллионов «запасного» капитала, сверх бюджета!

Так и с продовольствием: Протопопов знал, почему его надо было забирать к губернаторам. Под видом продовольствования тоже происходит обман и развал государственной власти: мини-

стерство земледелия отдаётся в полную власть земств, а земства — уже не прежние простодушные отдельные земства, но соединены в Земсоюз и делают только политику. Уж Протопопов 10 лет в их котле варился, ему ли не знать, как там делается: только бы назло власти! только бы вырвать себе! Во время войны кто распределяет продовольствие — тот и решает настроение страны. Губернаторы обезкуражены, они лишены прав в своих губерниях, уполномоченные по продовольствию и по топливу распоряжаются без них. Местные продовольственные комитеты составлены из оппозиционных элементов, — и достаточно им объявить забастовку весовщиков и амбарных служащих — и остановлен весь хлеб, для всей страны! А если бы всю заготовку хлеба вернуть губернаторам, то и земствам пришлось бы честно служить вместо оппозиционных речей.

Побывав на обеих воюющих сторонах, Протопопов особенно хорошо всё понимал! — но травлей обречён был на безсилие, — и этот бой за продовольствие он не решился дать.

Зато он пугал думцев слухами: что распустит их, что пойдут депутаты на фронт не с санитарными поездами, как они красуются, а в солдатской скатке. Или: что сам без них проведёт отнятие помещичьих земель, — вот напугалась Дума больше всего: без них?? (Да в 1905 году, когда рабочие захватили его суконную фабрику, но его же и выбрали директором, — он уже тогда устраивал митинги и издавал брошюры, что надо принудительно отчуждать помещичьи земли.)

Да сила правительства по сравнению с оппозицией безмерна, это понял Протопопов, став у власти. Но просто смелость почему-то у всех потеряна.

Счастливые проекты роились в голове — прославиться и победить на том, чтобы разделить помещичью землю. А другой раз мелькало: дать полное еврейское равноправие, и тоже обойти на этом Думу! (И уже дал по Москве начальный циркуляр.) И на волнах общественной благодарности проводить свою сильную политику! Сблизиться с евреями ему очень было бы нужно: это давало бы ему опору на капиталы и промышленные круги. (И Рубинштейна он спешил освободить для того, чтоб не отбросить банковский мир в оппозицию.) Он сам был — фабрикант, и он понимал силу финансово-промышленных кругов.

Ужасно ему хотелось сделать что-нибудь великое и для всех хорошее! Он-то знал, что не случайно назначен на этот пост, милостивой государевой волей внезапно взлетев уже не в министры торговли-промышленности, как он грезил, но в министры внутренних дел! — не вхолостую, но призван спасти Россию! Однако решительно ни с какого конца нельзя было приступить. Всё в нём трепетало, кружилось от гордости, от счастья и от боязни. Он сшил жандармский мундир — но носить его смел только дома. Ему очень требовалось ещё звание генерал-майора, и он через посредство просил у Алексеева, — но тот не присвоил, противный.

Однако даже и промышленно-банковские круги подвели. С опорой на них Протопопов широко размахнулся: выпускать собственную газету, которая защищала бы и разъясняла действия правительства, такая очень была необходима. (Ведь остальных газет лучше бы не раскрывать: в каждой из них лились на Протопопова помои.) Эту газету — «Русская воля» («воля» не в смысле всеобщей распущенности, но повелительность к действию) — соглашался возглавить самый модный писатель Леонид Андреев, и обещали сотрудничество другие крупные писатели, а банковские круги отпускали деньги не скупясь. И что же? Эта самая «Русская воля» с первого номера вышла из повиновения и язвительно нападала на Протопопова же! И так блистательный замысел не состоялся!

Остановить же газетную брань своею властью министра внутренних дел он не мог, так как у его министерства давно не было никакой власти над печатью, ни даже цензуры: в обеих столицах действовала только военная цензура, которая в поношении министров ничего опасного не видела.

Поносили Протопопова левые — но поносили и правые, с которыми он не был близок по своей прошлой деятельности — и которых он осуждал за недостаточную решительность против крамолы. И Пуришкевич, впрочем как бы перескочивший влево, яростно поносил его в Думе, — и Протопопов пытался ответить грозно, но Трепов запретил ему отвечать, министры боялись столкновения!

И когда же его успели так возненавидеть? Всего лишь пять месяцев, с сентября, как был он назначен, но травили так ненавистливо, что напуганные министры убедили его ехать в Ставку и просить увольнения. И Александр Дмитрич съездил — но лишь укрепился у Государя. Только с Рождества он стал полновластным министром.

Они сами, они все — травили, бередили, не щадили его нежную душу! Они — сами ожесточили его! «Вы губите Россию!» —

бросали ему. Отвечал жертвенно: «Тогда и я погибну под её развалинами!» Теперь — он стал как лев на защиту трона!

Он — хотел нанести им всем смертельный удар! И понимал, что главная революция сидит в военно-промышленных комитетах и в Земгоре. Но не решался тронуть таких высоких людей, как Гучков, и таких пронзительных, как Керенский. (Хотя были агентурные донесения Охранного отделения, что на частной квартире он своим трудовикам прямо говорил о перевороте.) И решился в конце января — арестовать Рабочую группу. Хотя бы — накинуть узду на морду революции.

Но бороться с революцией, но владеть министерством внутренних дел — всё же надо владеть полицейским делом. У Протопопова — не было таких знаний (он всё путал этих большевиков, меньшевиков, интернационалистов, никогда не мог запомнить). Нужен был сильный советчик и помощник. Кстати, такой и наличествовал: Павел Григорьевич Курлов, величайший знаток полиции, несчастно пострадавший на столыпинском деле, потерявший высокую пенсию, теперь в горьком отстранении. Через тибетского врача Бадмаева, у которого оба лечились, они и сговорились этой осенью. Курлов обещал помощь, поддержку и обучение. Курлов и надоумил: железной рукой распустить Думу, но одновременно произвести популярные меры для евреев и крестьян. И Государь согласился на Курлова: хорошо, я два года на него сердился за Столыпина, потом перестал. Сговорились с Курловым так, что Протопопов возьмёт его к себе в товарищи и вернёт прежний пост командира корпуса жандармов, а потом и на департамент полиции.

Но — не пришлось. Сразу прорвался слух: «опять Курлов!» И хотя кадеты никогда не сожалели о Столыпине, теперь они ужаснулись, зашипели, — и, опасаясь горших думских атак на себя, ещё этого плеска не добавляя на раскалённую сковороду, Протопопов не решился опубликовать назначение. Курлов только посостоял месяца два «в распоряжении министра», подписывал часть бумаг за него, — и вынужденно отступил в тень, правда уже на выхлопотанную пенсию в 10 тысяч. И остался Протопопов без верного друга и замечательного специалиста.

Но и — сильно облегчалось положение министра внутренних дел тем, что в Петрограде, как и во всех местностях, отнесенных к театру военных действий, его министерская власть была нулевая, никакая: всем распоряжалась, но и за всё отвечала военная

власть, — раньше Главнокомандующий Рузский, сейчас — командующий Округом Хабалов. Таким образом, все нынешние уличные безпорядки вовсе не касались Протопопова, ему не надо было и голову ломать. Блеснёт счастливая мысль — посоветовать Хабалову: дать объявление, что хлеба в городе хватает.

Министерство внутренних дел — как вести. Можно так вести, что кружится голова, белеет в глазах, берёт полное отчаяние, хочется рухнуть, особенно если все бумаги и донесения читать: этого и за годы не охватить, не понять, не вытянуть. А бывает — после ласкового приёма у Государя, после подбодрения у государыни, или после визита в царскосельский лазарет к притягательной сестре милосердия Воскобойниковой, и от счастливого взлёта настроения, от веры в себя, или от приятного обеда в дружеской компании овладевала Александром Дмитриевичем эта реющая, летящая лёгкость — так что мгновенно воспарился он выше всех оскорблений, недоразумений, затруднений и напоился счастливым сознанием своего всемогущества, удачи и победы. И в такие минуты всегда видится, что на самом деле трудность управлять министерством — лишь кажущаяся, что на самом деле, как ни ступни, как ни направь, — или будет хорошо, или само как-нибудь сделается.

В этом крыльном состоянии он проплавал и минувшую ночь с приятнейшими снами в своём министерском доме на Фонтанке (со вчерашнего дня дом охранялся) и мог рассчитывать держаться на высоте целый день сегодня.

В утренние часы он разговаривал с одним, с другим чиновником, смотрел ту папку или эту, — весёлая лёгкость не покидала его, и он шутил, миловал (он и по натуре всегда был снисходителен к людским недостаткам), прощал промахи, был очарователен, и знал это. (А промахов было много: даже переписка министра так и не была хорошо разобрана за его смятенные министерские месяцы.)

Тут осчастливила его телефонным звонком государыня из Царского, — этот особый телефонный аппарат в Царское стоял тут в его кабинете всегда, и не бездействовал, даже часами они говорили. Государыня желала узнать подробней об этих неприятных уличных безпорядках.

Собственно, слишком подробно Протопопов не знал и сам, имел сведения от градоначальника отрывистые, больше вчерашние, не освежал их ещё сегодня, но так как всей душой он желал

государыне только приятного, а она желала бы успокоиться, то он бодрым, беззаботным голосом и послал ей по проводам отменное успокоение. (По-английски, как было принято между ними.)

Да не придётся ли, Александр Дмитрич, протелеграфировать что-нибудь и в Ставку? Ведь слух дойдёт, раздуют, забезпокоятся и там.

Согласился, надо.

Вскоре за тем протелефонировал и градоначальник: что на Знаменской площади пристав убит казаком. Ай, как нехорошо, и почему же казаком?

Вообще — бедная полиция, вот ещё одна из проблем, которых Протопопов не успевал решить. Глядя на императорскую Россию со стороны, да даже с думских скамей десять лет подряд, никогда бы не подумал, не поверил, что полиция — совершенно нищая, полицейские получают немного больше чернорабочих. Оттого и почти везде некомплект, и полиция ничего не осилит без армии, и полицейское дело передаётся неумелой армии. А сельские стражники вообще разбросаны поодиночке по лику Империи, теряют всякий военный вид, и полицейские власти не имеют даже права сводить их в уездные отряды.

Надо каким-нибудь приказом вдохновить конную жандармскую стражу.

Шёл служебный день, приходилось, как всегда, принимать многих лиц и просителей. Тут подошёл и час дружеского приёма, назначенного жандармскому генералу Спиридовичу. Его, ныне ялтинского градоначальника, сам же Протопопов и вызвал с неделю назад телеграммой, согласно велению Государя. По всему видно, что замысел Государя был — назначить Спиридовича петроградским градоначальником вместо Балка. За него ещё с осени очень просил и Курлов. Спиридович приехал, но Государь тем временем выехал в Ставку — и отложил приём, и не объявил решения прямо. Итак, Спиридович ждал в Петрограде возврата Государя, а Протопопов не уполномочен был ничего ему официально объявить, но мог восполнить повышенной приветливостью, которая так естественно ему давалась.

— Александр Иваныч! Милейший мой! — сверхуставно, двумя протянутыми руками приветствовал он высокого, молодцеватого, замкнутого, чуть рыжеватого генерала с мягко напряжённой походкой. — Посмотрите, я как доброжелательный сфинкс на вашем пути. Я принимал вас в первый день моего прихода в министерство — и вы поехали в Ялту. И вот — принимаю опять, чтобы вы поднялись ещё куда-то, — но я сам не знаю куда. Поверьте, не знаю, ха-ха-ха!

Не проговорился, как и вчера за обедом.

И усаживал дорогого гостя.

— Но я искренне рад, что на вашей блистательной карьере не отозвалось это несчастное киевское событие… Которое так отравило жизнь моего горемычного друга Павла Григорьича. Ведь он и ваш друг. На вас не отозвалось, вы прекрасно вышли. А он… И вот, уже возвращался в прежнее влияние — но увы, увы, должен был покинуть нас…

32

Этот столыпинский эпизод пятилетней давности, как прилипшая кожа убитого дракона, — кажется, никогда уже не мог быть начисто отодран от генерала Спиридовича.

Ничем нельзя было его уколоть так неприятно, как припомнив «несчастную киевскую историю», хотя б и самым доброжелательным образом. Сколько раз его задевали даже сочувственным расспросом, на который если отвечать, то пришлось бы снова и снова теребить объяснение, что это не входило в его компетенцию, что он по часам и минутам так занят был на охране государевой особы, что не мог заниматься ловлею террористов, и так далее. Но и когда ему не напоминали, то, кажется, он ловил в иных глазах подразумеваемую упречную память о событии. И что особенно возмущало Спиридовича: даже те, кто должны были только радоваться смерти Столыпина, — и те выражали фальшивое сожаление или повышенную преданность законности.

И к самому Столыпину, за то что он стал постоянным предметом укора, Спиридович стал испытывать раздражение вида ненависти.

Да, пострадал, выбит из карьеры был один бедный Кулябко. На Веригине — не отразилось, вот в войну он стал гражданским распорядителем Архангельска, окна в Европу. И служба самого Спиридовича — высокая задача охраны государевой особы — никак не пострадала, да. А Курлов, увы, перенёс многое. Высочайше про-

щённый после киевской истории, он снова выплывал в крупные начальники в Риге — и снова трагически попал под следствие о злоупотреблениях. И с осени снова выплывал в товарищи министра внутренних дел и шефа корпуса жандармов — и снова сорвался, в этот раз от слабости Протопопова.

Но именно сейчас, перед своим министром, да так фантастически близким царственной чете, таким сияющим, уверенным сановником, да во всей зависимости своей карьеры, Спиридович не мог принять выражения холодности или недоумения, но подхватил сожаление о Курлове.

Спиридович, столько лет обращаясь в высшей среде, владел безошибочным умением состраивать единство с собеседником — будь то великий князь, важный чиновник или влиятельная дама. Искусство его было — всякому понравиться.

И сейчас Спиридович всем вниманием наблюдал, втягивал и старался понять этого почти легендарного своего министра. Профессиональным взглядом Спиридович отлично видел, что Протопопов никак не подходит к своему посту, даже на уровне анекдота. Как давний офицер полицейской службы, как исконный жандарм и даже теоретик охранного дела, изучавший повадки и принципы революционных партий (и написавший о том две книги), Спиридович знал, что министерство внутренних дел — это специальность, и ещё какая! Он понимал, что Протопопов никак не подготовлен к этой службе и даже за несколько месяцев не мог бы овладеть течением дел. Ясно, что Протопопов мог бы держаться только Курловым, а вот — предал его. На поверхности металась его перекидчивость, слабость воли. И Спиридович имел сведения через знакомых в министерстве, что новый министр так безалаберен, прямые подчинённые не могут попасть к нему на приём неделями, а бумаги застревают месяцами. И читал, как на все корки разделывала Протопопова пресса, и знал все сплетни о нём, что его обвиняют в психической ненормальности, и что он спиритическими сеансами якобы вызывает дух Распутина — спросить у него государственных советов. И эти последние дни в Петрограде слышал от собеседников насмешки, что Протопопов — хвастун, болтун, пустозвон, блефист, достойное порождение Государственных Дум. Но — такова прихоть высочайших назначений, и кто смеет спорить с нею! За Протопоповым стояло несомненное доверие царственной четы, а удачливость всегда покоряет, — как не присоединиться к победителю? Это и будет теперь его начальник, и надо

наилучше угодить ему (и угадать его слабости). Эти несколько дней в Петрограде Спиридович наслушался и мрачных разговоров, предчувствий, предсказаний о заговорах, переворотах (называли даже полки, офицеров, великих князей), ожидаемых новых убийствах высокопоставленных лиц, даже люди в придворных мундирах развязно болтали обо всём этом, да ещё же третий день бурлили в столице уличные волнения, — а вот именно министр внутренних дел просто сиял и ликовал от удачливого их состояния! У этого жизнерадостного блондина среднего роста, с выхоленными, вскрученными усами, а всё лицо сбрито начисто, с удивительно красивыми глазами — карими с поволокой, живыми, но с оттенком грусти, было столько шарма, и так красиво он говорил, настолько не было ни тени озабоченности, такая неомрачённая живость и схватчивость (нет, никак не глуп! нет, никак не докажешь ненормальности), такая сосредоточенность на своём собеседнике и такая пугающая, необычная в чиновных кругах откровенность, — нет, этот человек прочно держался! нет, он что-то верное знал, в чём-то был надёжно уверен! — отпадали все сплетни и приходилось преклонить голову перед его ослепительным служебным успехом. Удача — не судима!

Это всё имело для генерала Спиридовича не психологический интерес, а самый жизненный: в эти дни решалась его карьера, и как бы не ошибиться сейчас. Десять лет он был начальником дворцовой охраны и в глазах всех созрел для административного продвижения. Но как ни возвышенна была его почётная служба в Ялте и как ни на виду у царственной четы — она же и закрывала всякое продвижение, чем больше ему были благодарны и ценили. И уже два года он пытался найти выход выше. Спиридович и мечтал о градоначальстве, но петербургском, — но именно на это место рвались десятки кандидатов. Дворцовый комендант Воейков всегда выдвигал Спиридовича и обнадёживал. Однако подвело именно особое государево расположение: прошлой осенью вдруг освободилось градоначальство Ялты, в которое входил весь южный берег Крыма, все места царского пребывания, и великокняжеских поместий, и царской охоты за Яйлой. И Государь доверил Спиридовичу своё любимое место жизни, сказал: никого другого туда не назначу! И, осчастливленный, Спиридович никак же не мог отказаться: Государь, провожая и даря фотографию со своей подписью (каких, впрочем, несколько было развешано в этом кабинете, и императрицы тоже), завидовал, что не может бросить Ставку и

уехать туда же сам. Но именно потому, что царственная чета не жила там теперь, Ялта оказывалась служебным тупиком. (Впрочем, успел представиться там десятку великих князей.) И минувшие месяцы Спиридович писал кое-какие письма, и ему писались кое-какие, обнадёживающие относительно петроградского градоначальства. Так что вызов сейчас не был ему неожидан, он так и понял, что его назначат в Петроград взамен Балка. И тут, обласканный Воейковым, он получил фактическое подтверждение, что так и будет, лишь вот Государь отлучился в Ставку. И сейчас, хотя Протопопов делал вид, что не знает назначения, — всё это была милая прозрачная игра. Протопопов, правда, подкупал обращением. (У него и думская кличка была — «Сахарный».)

Однако же, эти дни походя по Петрограду и услышав крики толп на улицах, Спиридович ощутил, что никого эти события не касались бы так близко, как его самого, если б он уже был назначен. Пожалуй, и хорошо, что Государь не успел его назначить: пусть это всё пройдёт без него, не хочется брать столицу в таком взбудораженном виде (хотя можно и прославиться успокоением).

Но уличные волнения разыгрывались, думские речи раскалились, а в петербургских гостиных был всё тот же кошмарный мрачный воздух, — и вдруг вся лестница ценностей, как она представлялась Спиридовичу все годы и последние месяцы в Ялте, стала колебаться. Разумно рассчитанное восхождение могло привести не к успеху и чести, но — к шаткой, трудно защищаемой позиции. Конечно, Спиридович был — звезда охраны, а не безтолковый Балк, и, сиди он сегодня на Гороховой 2, — не был бы он так безпомощен, и может быть, эти волнения уже бы кончились. А если нет?.. Он готов был бороться испытанными средствами, но что если при нынешнем общественном отвращении средства уже отказывали? Не благоразумней ли было бы сообразить это заранее, пока ещё Государь не вернулся объявить решение, сообразить вот сейчас, пользуясь приёмом у министра внутренних дел, — и тогда избрать для себя другую линию? Начать какое-то боковое перемещение? Или в Ялту назад? Если дело тут вдруг проигрывается, то зачем заниматься донкихотством и лезть с пикою в первый ряд? А если нисколько не проигрывается — то как бы это сейчас верно почувствовать?

И Спиридович выказывал всю свою тоже обворожительную любезность — и впивался разгадать министра внутренних дел.

А живой, улыбчивый, рассыпчатый и перескальзывающий Протопопов был ещё более обворожителен, и произносил монологи, и закидывал голову, и закатывал глаза.

Нет, он знал нечто верное!

Пользуясь исключительной приветливостью приёма, Спиридович, в нарушение иерархического этикета, осторожно высказал о смутном настроении общества и, вот, по поводу уличных волнений.

Но как личному давнему другу Протопопов положил ему руку на плечо и с искренней простотой, поблескивая глазами:

— Дорогой мой! Милый мой генерал! А когда наше общество, а когда наш петербургский свет был настроен не смутно? Когда бывал доволен? Разве ему можно угодить? Можно бы утешиться, что народ не разделяет настроений интеллигенции, и конечно не разделяет! Но — кто народ? Крестьянство — совершенно инертно, закрыто в себе. Рабочие — захвачены не нашей пропагандой. *Правых* — как людей, как влияния — не существует, это миф, названье пустое, никто их не организует. Духовенство — на нищих деньгах, унижено и подавлено. Скажите мне, где те слои в России, на которые власть опирается или могла бы опереться? Не на банки же!

А веки его вблизи были припухлы, больноваты. И веял тонкий аромат духов.

— Есть только одна опора: обаяние царского имени! Народу, в общем, безразличны всякие партии и программы, но не безразлично, что есть у него Царь. И вот это — наша надежда. И можно надеяться, что это *всё пройдёт* — как много уже раз проходило!

И вдруг — в ажитации, полуэкстазе, с ослепительными глазами:

— Конечно, если понадобится — зальём Петроград кровью! Для спасения Государя — пожертвуем нашей жизнью.

Но и потух так же быстро.

Рассмотрел план большого преобразования самой Ялты и щедро разрешил Спиридовичу не скупиться в расходах по представительству и приёмам. Наконец рассматривали карту проектируемой прирезки земли от ялтинского градоначальства к дворцовому ведомству — для расширения царской охоты в предгорьях Крыма.

33

Накануне Гиммер много звонил по телефонам, уговаривая заметных товарищей от каждой социалистической группировки собраться бы в субботу в 3 часа на квартире Соколова на Сергиевской. Обещали быть Керенский и Чхеидзе, а хотел Гиммер дозваться и самых неуговоримых — Шляпникова от большевиков и Кротовского от межрайонцев, и на этом совещании думал он развернуть свой дерзкий теоретический план, или не план, так хоть постановку вопроса.

Николай Дмитриевич Соколов — невысокий, лысолобый, но с густой, строго прямоугольной чёрной ассирийской бородой — был самых жарких революционных убеждений, но, как и Гиммер, тоже не помещался ни в какую партию, содействуя всем им. А так как он был известный в столице адвокат, то полиция никогда не смела нарушить черты его барской, богато обставленной квартиры, — и была она вторым после Горького прибежищем, где открыто сходились представители социалистов обсудить позиции и попикироваться (объединяться никогда не удавалось). А Горький был почти открытый большевик, и к нему не все бы пошли, например Керенский и Чхеидзе, потому что опасались бы нарваться там на оскорбление.

Пока остальные не сходились, Гиммер повёл Соколова в его же кабинет — свою новую сенсационную теорию проверить на Соколове.

Собственно, срочности не было никакой, но эти городские волнения, третий день подряд, нисколько не новые, уже бывали такие сто раз, напоминали, однако, что когда-нибудь вот так и настоящие долгожданные события застанут их всех врасплох.

У Гиммера была любимая позиция: горячо, длинно и настойчиво говорить, переклонясь вперёд, как бы всверливаясь в собеседника. В таких случаях Соколов отклонялся назад, жевал нижнюю губу над бородой и мог долго слушать, — а он не многих имел терпение слушать, но Гиммера уважал за проницательность (да набирался от него ума).

А вот что последнее время безпокоило Гиммера: мы обращаем всё внимание на агитацию, на лозунги, на форсирование движения, — но кто из нас занимается теоретическими проблемами? (Один он и занимался. В Питере, во всяком случае.) Мы бросаем:

«Долой самодержавие!», «Долой войну!» — и думаем, что всё остальное как-нибудь придёт. А — как придёт? Мы никак не обсуждаем проблему власти, а она и есть самая главная. Если вдруг совершится переворот, хотя бы типа дворцового, и самодержавие действительно падёт или зашатается, — кто подхватит власть? Нет сомнения, что только буржуазия. Власть, конечно, и должна стать буржуазной, иначе всякая революция погибнет. Потому что демократическая Россия распылена, пролетариат способен создавать боевые дружины, но не государственную власть. Захват власти социалистическими руками был бы — неминуемый провал революции. А главное: и зачем, когда вся цензовая Россия тоже сплотилась на борьбу с царизмом?

Но пока идёт война — тут дополнительная и главная трудность: социалистическая власть не имела бы никакого морального права продолжать войну, она должна была бы немедленно её окончить, — а это значило бы, кроме всех трудностей государственной власти, взять на себя ещё новые непосильные задачи: демобилизацию, массовую безработицу и перестройку промышленности на мирный лад. Это непосильно и непомерно, социалистическая власть тут же бы и рухнула. Поэтому и тут тактически правильно возложить войну и задачи внешней политики на буржуазию, а пока между тем вести как бы борьбу за ликвидацию войны.

Это — очень дерзкая мысль, и вот её-то хотелось проверить на товарищах. Секрет в том, что цензовые круги никак не могут принять лозунг «Долой войну!», — они и против царизма борются как бы для более успешного ведения войны. Относительно войны лагерь Милюкова-Гучкова не примет никакого компромисса. Если переворот произойдёт как движение против войны — он погибнет от внутренних раздоров. А вопрос власти не стои́т так: отдать ли власть буржуазии? Но: *согласится ли* буржуазия принять власть? Если откажется, то это катастрофа, даже одним своим нейтралитетом она погубит революционное движение, отдав его стихии и анархии. (Вон, уже волнения приняли характер грабежей.) Всякое «долой войну» цензовые выдадут на разгром реакции. И вот он, Гиммер-Суханов, последовательный циммервальдист, интернационалист и пораженец, — он сегодня пришёл к выводу и осмеливается заявить вслух: чтобы погнать буржуазию смелее брать власть, чтобы заставить её взять власть — мы, социалисты, должны приглушить лозунг «Долой войну!», а может быть даже временно — и снять его!

А? Это — дьявольски смелое решение, это — фантастический пируэт! — но Гиммер лёгок на пируэты, малой фигурой, но мощной мыслью. И собирается теперь выдвинуть на общесоциалистическое обсуждение. Это — очень смело, но это вместе с тем и — так, никак иначе! Внешне это выглядит как измена основным принципам? — на самом деле это блистательный тактический шаг!

А лысый озадаченный Соколов, к радости Гиммера, с какого-то момента стал ему немножечко подкивывать — сперва глазами, потом и целой головой. Это очень вдохновило Гиммера продолжить и развить свой монолог. Наконец, кивал ему такой же антиоборонец, такой же интернационалист-циммервальдист, что — да? Да. Они увлеклись с отрицанием войны, и грозит им не только потеря единого фронта с буржуазией, но даже и раскол в собственных рядах. Потому что и эн-эсы, пешехоновская компания, — на этом лозунге отколются. А у нас — и засилие оборонческого меньшевизма. Да, для спасения единства — антивоенный лозунг надо было бы притормозить. Если бы… если бы не большевики.

Соколов и сам лучший друг большевиков, вот что. Но одобрение Соколова не так много и стоит, потому что, увы, увы, не так-то и умён.

Ах, эти большевики! Прямолинейные, негибкие до дурости, неспособные вдумываться глубоко, а только сдирать с поверхности популярные лозунги. Таков и Ленин в Швейцарии (любимый и жуткий противник-союзник!), таков и Шляпников здесь. И с ними-то — придётся побиться. И нет никакой уверенности, что…

Но успокоил Соколов, что из уст такого известного ненавистника патриотизма, как Гиммер, подобная теория не зазвучит злостно контрреволюционно. Уже хорошо.

Эти дни течёт стихийное народное движение, а между революционными центрами — с кем и о чём можно договориться? Разброд и растерянность. Про себя глотали слюнки, что создать бы Совет рабочих депутатов, как в Пятом году, но… но…

Тут из гостиной раздался характерный звонко-надорванный голос Керенского — и оба поспешили туда.

Чхеидзе не пришёл. А Керенский пришёл только как рыцарь слова, потому что обещал, — но совершенно некогда: после думского заседания вот был сеньорен-конвент, а через час надо…

Керенский всегда так выбегивался в движениях, так выговаривался в речах и разговорах — что по контрасту на короткое время любил и умел принимать в креслах опущенно-расслабленные положения: кисти свешивались с подлокотников, узко-длинная голова с коротким бобриком повисала назад, замирала, отказывал язык, и даже, вот, глаза закрывались. В такие миги Керенский отдыхал, для новых взрывов и прыжков, но вопреки видимости — всё хорошо слышал, что говорилось, и важного не пропускал.

А говорилось — тут ещё прибыли свежие — что всё-таки разлив волнений необычайно велик в этот раз: на центральных площадях — почти сплошной митинг, на Знаменской площади левые ораторы говорят непрерывно и безпрепятственно. Все винят самодержавие как источник всех бедствий и продовольственной разрухи. Казаки никого не давят, а один даже, говорят, наскочил на пристава и отрубил ему голову. Но самое замечательное, что сочувствует обыватель центральных кварталов, — это создаёт благоприятную обстановку в буржуазной части города. Создаётся такое общее настроение, что всё штатское население — заедино и против военно-полицейских властей, замечательно! А в действиях властей, напротив: никакой решительности, ни — планомерности. Их бездействие воодушевляет. Весь Петроград, во всех конторах и редакциях, не занимается, а только все говорят о событиях. Движение разливается — свободно! И… и… И — что же?

И что же? — никто не знал. Насколько же этим всем можно руководить?

На Керенского всё сказанное не произвело заметного впечатления, он так и прокаменел, ни разу не вздрогнув, не воскликнув. И этим охладил многих здесь. Да кому ж, как не ему, было и видней? самый яркий демократ в Думе! Да ведь все здесь и хотели не столько ему рассказывать общеизвестное, сколько от него услышать, чего не знает никто. Вот он пришёл с сеньорен-конвента, то есть с совещания одних лидеров думских фракций, куда допущено всего десять человек. А перед тем сидел несколько часов на думском заседании, и наверно же выступал, ещё тоже никто не знает. А самое-то интересное — это кулуарные думские разговоры, кто у кого что подслушал, — этого уж совсем никто не знает, а там дуют ветры истории, и в этом весь интерес!

Гиммер ли не знал Керенского (и восхищался им, порой завидовал его активной роли). Сколько раз на его квартире скрывался, ночевал в его кабинете, с длинными разговорами за полночь, когда оставался Керенский непрочным барином в ярком

сартском халате, или в холодноватой квартире покашливал в фуфаечке, как гимназист. Сколько между ними было язвительных пикировок, никогда согласия, и всё вновь возобновляемые диспуты. Достаточно привык Гиммер и к патетическим взрывам Керенского, но и достаточно знавал его упадочную хилость, когда тот спотыкался и еле волок принятую на себя роль громозвонного разоблачителя режима. И даже бóльшую роль предсказывал Гиммер ему на будущее: что при его популярности, левости, радикальности и неистощимом ораторском темпераменте — ему не миновать стать центральной фигурой будущей русской революции, если их поколение до неё доживёт; предсказывал, не всегда и веря сам, — а Керенский только похохатывал, отрицая (но сам определённо задетый). Даже знал Гиммер подробности нелегального участия Керенского в эсеровских подпольных делах, как он безтрепетно злоупотреблял своим депутатским положением и был уже запутан полицейскими уликами, а последние месяцы через одного провокатора впутан в историю настолько вязкую, что ему грозила, как он хвастался, по истечении депутатских полномочий будущей осенью, если не виселица, то каторга, — и благоразумней было думать не о переизбрании, а скорей — эмигрировать вовремя; и даже, может быть, последняя смелая речь его против трона, с думской трибуны десять дней назад, нигде не напечатанная, была сумасшедшей попыткой славно погибнуть в этом капкане. Привык Гиммер, знал, — но в каждую минуту не мог ожидать, с какой силой, каким движением этот бурнопламенный политический импрессионист вдруг перейдёт от задумчивости к извержению мыслей и слов.

Так и сейчас, прокаменев, прокаменев эти рассказы о якобы невероятном разливе движения, Керенский как будто вселился вновь в своё узкое юношеское тело из какого-то невидимого полёта, посмотрел на собравшихся с огромным значением и сказал:

— Прогрессивный блок, господа, левеет непоправимо! Хотя буржуазная депутатская масса — в панике и растерянности. Она не пытается стать на гребне событий, но пытается их избежать. И это открывает небывалые возможности перед демократией!

И быстрый взгляд его зажёгся, удлинённое лицо осветилось, и голова легко поворачивалась на шее тонкой и слишком даже длинной, но и охваченной высоким крахмальным воротничком, как только что был он в Думе, — и он стал говорить, без разгону, сразу возбуждённо, захваченно, — о тех ослепительных комбинациях, которые сейчас могут составиться из сотрясённого думского калейдоскопа, и видно было, как он любил эту думскую жизнь, и каким виртуозом был в ней.

И в этом чистом воодушевлении, каскадном потоке речи Гиммер уловил новое подтверждение своему плану: вот-вот! так может быть, Дума и в самом деле не потеряна для целей пролетариата? От провúдений Керенского слушателей всегда брала дрожь. Почти пулемётная речь этого моложавого депутата — сносила и сбивала.

И Гиммер — сробел, не нашёл в себе сил выступить сейчас здесь со своим теоретическим открытием, хотя Керенский как революционный оборонец мог как раз и оценить мысль. А мог — и сбить её совсем.

Задавали вопросы о Думе, говорили о Думе, строили предположения о разных положительных возможностях, — вдруг Керенский выскочил из кресла по диагонали, как бы вдогонку за промелькнувшей молью, — и, уже не задержась для дальнейших обсуждений, а только бросив на ходу, что спешит в кипящую Думу, но через час они могут зайти к нему на Тверскую за новостями, — ушёл, почти убежал к своим обязанностям и возможностям.

Через час Гиммер с эсером Зензиновым шли к Керенскому домой. Такая была вытягивающая, возбуждённая обстановка, что только и оставалось весь день до конца и до глубокой ночи — слоняться, переходить с острова на остров, дальше обязательно к Горькому на Кронверкский, и только узнавать новенькое, узнавать новенькое.

Керенский жил позади Таврического сада, и надо было им теперь идти по Сергиевской до Потёмкинской, потом либо взять налево по Шпалерной, либо направо по Кирочной, — всё придумские кварталы. И странно: может быть, под куполом Думы и клокотало, как говорил, самим собою изображал Керенский, — но клокотание это вот не передавалось ни на единый квартал: не было сейчас во всём Петрограде более тихих мирных кварталов, чем близ Думы, таврические.

Нет, не была Государственная Дума никаким центром движения, ни надеждой его, и что-то не рвался сюда ни единый человек.

34

Утром пришёл в пустую библиотеку, где томился Ковынёв, один профессор. И уверял, что видел сейчас на Невском настоящую казачью атаку. Федя скрыл усмешку: что может профессор понимать в казачьей атаке. «Рубили?» Рубили или нет — профессор не видел, потому что быстро свернул в боковую улицу. Но — шашки сверкали, сам видел.

Федино сердце упало. И потому упало, что, значит, *ничего не будет*, всё безнадёжно. А больше упало — за казаков. Он чувствовал себя в Петербурге чуть не главным ответственным за всех казаков, ведь именно его будут попрекать порядочные люди за каждый казачий проступок. Вчера у Казанского ему так показалось, что казаки трезвятся и не будут больше охранными псами. А значит — опять?..

Замутило, затянуло, и, освободясь в библиотеке, не сел он к своей любимой тетрадочке (да завтра воскресенье, весь день свой) — а опять поплёлся на Невский, да не поплёлся, а наддал ходóй.

На Николаевском мосту стояла преграда — из военных и полиции, но как-то никого не задерживала, лишь бы шли порознь. Мост над снежной Невой со вмёрзшими судами был полон по тротуарам, как добрая улица.

Стало пасмурно, малый морозец, и еле-еле сыпался мелкий снежок.

После моста Федя вскоре ждал смуты, следов боевых столкновений. Но ничего подобного не было, и ни по какому признаку не догадаться, что в городе где-то безпорядки. Прошёл Английской набережной, пересек Сенатскую площадь, мимо львов военного министерства пошёл на улицу Гоголя. Люди шли с обычной озабоченностью по своим делам, кто с покупками, свёртками, куклами, портфелями, нотами.

Только по Адмиралтейскому проспекту под мальчишечий рассыпной крик проехали разомкнутой стеной казаки, но никого не трогая. До Исаакия и назад.

У банка Вавельберга стояло несколько лакированных автомобилей, ожидая своих богатых седоков. Тут, зазевавшись на переходе улицы Гоголя, Фёдор Дмитрич едва не попал под извозчика: тот нанёсся за спиной совсем внезапно и слишком поздно крикнул резко:

— Брг-ись!

Федя выскочил из-под самой лошади, замявшейся на ходу, крикнул бранное кучеру, тот ему, едва охватил глазами двух молодых дам, отъединённо беседующих в быстрых санках, и в то же мгновение услышал за спиной ещё громче и резче:

— Брг-ись!

И опять шарахнулся, но это был не извозчик, а озорной рабочий парень в финской шапке, и крикнул он не Феде, а тому кучеру, в ответ и в предупреждение. И ещё успел напугать дам: две головки дружно обернулись через середину, опоминаясь о какой-то уличной жизни, — а парень высунул им язык.

Фёдор Дмитрич отошёл в первое же стенное углубление и всё это записал.

Невский вовсе был свободен сегодня от не вышедших на линии трамвайных вагонов, вчера замерших, возвышенных над окружающим, — весь просторен в длину и казался шире обычного, да что-то и толп не видно, а говорили, не загорожен и армейскими строями, — а неслись извозчики, собственные рысаки, фырчали автомобили, густо шла тротуарами обычная публика проспекта, сейчас без примеси ватных пиджаков рабочих парней, шли чиновники, нарядные дамы, офицеры, гимназисты, рассыльные, бабы-мещанки в полушубках, приказчики из магазинов, — и все магазины торговали бойко, да ведь суббота вечер, и ни одно стекло не разбито, и кой-где городовые стоят, но только то необычно, что по двое.

Увы, будняя жизнь опять безпросветно заливала неколеблемую столицу.

А может — и к лучшему так, чтоб не разрывали сердце казаки.

Вдаль, в лёгкую дымку снежка, уходили бездействующие трамвайные столбы.

На расширении у Казанского собора всё же надеялся Фёдор Дмитрич увидеть вчерашнее море голов. Нет. Была ещё толпа — но не такая необъятная. И ничего не делала. И как будто расходилась. В истоптанном снежном сквере чернели порознь, всяк себе, Барклай-де-Толли и Кутузов, и дуги ребристой колоннады уводили в собор.

Ну, а если уж у Казанского всего-то — то и нигде.

Вчерашнее не повторилось, как не повторилась и вчерашняя удивительно светлая вечерняя заря.

Правда, два раза проехали верховые отряды, в ту и в другую сторону, сперва казачья полусотня, потом конная стража. Они

проезжали зачем-то во всю ширину Невского от дома до дома, вплоть к тротуарам, то ли силу давая почувствовать, — но и никак не угрожая. Но публика, не пугаясь, сдвигалась, а извозчики и автомобили задерживались накоротко, — и снова всё двигалось.

Дальше не пошёл. Сильно усталый, отчасти и в досаде, вернулся Фёдор Дмитрич к сумеркам домой.

И тут вскоре один приятель из их редакции, заметный среди народных социалистов, позвонил ему на квартиру возбуждённо.

— Ну? Вы знаете, Фёдор Дмитрич? На Невском…

— Что на Невском? — с невесёлой насмешкой отвечал Федя. — Да я только что его прошёл весь, до Аничкова моста. Ничего там нет.

— Говорят, на Знаменской, у вокзала… Стреляли. И казаки ваши — зарубили пристава!

Ну и соврут! Ну и придумают! Казаки — пристава?..

— Вот до Знаменской не дошёл. Так именно там?

— Очевидцы рассказывают…

— Этих очевидцев, знаете, слишком много развелось. Как старожилов. Никому не верьте.

И — молчали в телефон. Именно потому-то и не надо было верить, что так хотелось!

— Со вчерашним днём никак не сравнить, схлынуло, — уверял Фёдор Дмитрич. — Значит, сил наших не хватает. А *они* сильны. Знаете, у Чехова есть такой рассказ — «Рано»? Пришли нетерпеливые охотники на вечернюю зарю, постояли-постояли, — нет, не летят, р а н о …

И сколько же жизней человеческих надо? Сколько сил душевных, чтоб дотерпеть, дождаться?.. Да *будет* ли вообще когда-нибудь, хоть при внуках наших?

Печально молчали в телефон.

35

Колыхает подводной загадкой измена так же, как и любовь. Есть причина у любви — есть и у измены?

Тогда, в октябре, Вера сама видела, как эта измена рождалась. Ото взгляда ко взгляду изумлялся и завлекался брат. В один вечер огненно забрало его. У Шингарёвых она смотрела на неравные пересветы двух лбов, и гордость за брата, что Андозерская его оценила, заслонялась страхом: эта женщина просто брала его, открыто тянула, а он принимал её взгляды вопросительно-готовно. А потом он исчез на пять дней, почти до отъезда. Вернувшись, ничего не объяснял. Понималось — не называлось, Вера не могла переступить первая. Потом — сумасшедшая телеграмма из Москвы, что может нагрянуть Алина, — то есть уже узнала?

Нравственное право вести или не вести себя так стояло и перед Верой. Если приложить встречные усилия, она уже притянула бы Михаила Дмитриевича к себе. Но такого права она не смела себе присвоить. Хотя и чувством и разумом знала, что это было бы для них обоих единственное счастье, — она не смела вмешаться и подогнать то, как оно само течёт невидимо и непредвидимо нами. Её вера разрешала только: ждать, как Бог пошлёт, и надеяться. Как няня говорит: наша доля — Божья воля.

Георгий прожил сорок лет и женат десять, а как будто никогда не придавал значения женитьбе больше, чем общепринятой жизненной обыкновенности. А Вере виделась в браке тайна бóльшая, чем просто любовное схождение двоих: в браке — иное качество жизни, удвоение личности, и полнота, не достижимая никакими другими путями, — завершённая полнота, насколько она вообще может быть завершена для человека.

Этого удвоения, нового наполнения — она не видела в Георгии.

Четыре последних месяца Вера ничего не знала о брате, он написал-то один разик. Андозерскую встречала изредка в библиотеке, здоровались, но ни по шелоху нельзя было ни о чём угадать. И вдруг вот — всё прорвалось от Алины, телеграммами, упрёками, и сразу Веру бичевали как союзницу и укрывщицу измены. И, на словах отрицая, она душевно приняла эту роль, уже обвинённая, так и ладно. (Всё хотел их с Алиной сдруживать — и вот поссорил.)

Душевно приняла, душевно же не принимая: невозможно и самым близким уступать, где вообще уступать невозможно. Если признать всеобщую правоту измены, то кончится всякая вообще жизнь. Если не радостное бремя любви, то долг надо нести, иначе всё смешается и порушится.

Но здесь были: любимый брат и очень нелюбимая Алина. В Алине так многое не нравилось Вере — больше всего отталкивала её напряжённая, нервная гордость, за этой гордостью не чув-

ствовала Вера, чтоб Алина любила Георгия, а скорее всегда себя, и чтоб он прилюдно выражал к ней любовь. Так многое не нравилось — легче было пересчитать, что нравилось.

Неединое и запутанное чувство возникло у Веры.

По телефону она не решилась передать брату угрозу Алины, в которую сама не поверила, — угрозу самоубийства. Но когда он приехал на Караванную — уже очень смущённый, и даже потерянный, — не могла дальше скрывать.

И Георгий — сразу посерел. Он опустился на стул, даже не скрывая, какая повела его, подёргала мука. Энергия и обычная уверенность покинули его, твёрдые губы потеряли определённость, кожа лба ссунулась на глаза.

— Я ведь тогда жить не смогу, Веренька! — сказал открыто.

И одно его было желание — скорей, мгновенно перенестись к Алине, откладывать — только невыносимей. Уж скорей туда! Скорей билет!

Но не только не соглашалась Вера отпустить его самого на вокзал, — он объехал Невский стороной, а что на Знаменской творится, он не представляет! там сегодня казак зарубил полицейского! — в таком потерянном, проигранном состоянии, да ведь и не решено ничего, — так мгновенно она и вообще не хотела отпускать его к Алине. Он должен был очнуться, побыть тут, у них с няней, укрепиться.

И она взялась тотчас идти сама, перекомпостировать ему билет с Виндавского на Николаевский вокзал. А чтоб он помылся, поел, пожил пока часы дома. Няня уже вступала властно в свои заботы: ещё пока воду не пресекли, а то не будет?

Не уверенная, что работает городская станция на Большой Конюшенной, Вера пошла прямо на Николаевский вокзал. Шла совсем погружённая, захваченная этим новым душевным переплетением, куда её втягивало. Как помочь брату? Он совсем потерян, не знает, как быть, но, кажется, не только жалеет Алину — он её боится. Так явно и по телефону, и сейчас: ужасно не то, что *это* всё произошло, происходит, — а ужасно, что Алина узнала, и теперь весь кошмар объяснений снова.

Переходила по Невскому Литейный — ничего особенного не заметила, только густое оживлённое, не стеснённое трамваями движение во все стороны и наискосок по перекрестку. На нём высился разъезд конной полицейской стражи, два всадника, ни во что не вмешиваясь. А прошла ещё шагов тридцать — сзади раздался оглушающий взрыв, такого в жизни не слышала! — сердце остановилось, не успела испугаться — второй! Все люди кинулись в разные стороны, Вера тоже — как шла, но упёрлась в людскую стену: все остановились и оглядывались, боролся страх с любопытством. И кто повыше или позорчей объявил: бросили две бомбы под лошадей, лошади ранены и один жандарм.

Да что ж это, Господи? Скорей проталкивалась Вера вперёд и уходила к вокзалу.

Очень было густо в конце Невского. И вся Знаменская площадь невиданно залита народом — возбуждённым, бездельным, чего-то ожидающим, — благо не безпокоили их ни в какую сторону трамваи, ни со Старо-Невского, ни по Лиговке. У памятника стояли с красными флагами, руками размахивали, не слышно. И полиции в этом толпяном море не было видно, и на конях не возвышались, ни казаки.

И внутри вокзала толпилось народа больше, чем могло бы уехать или встречать. Может быть, грелись.

А у кассы — не много людей. Стала в очередь.

Почему он так ослабел? Почему он так потерял опору? В самом себе. И в любви? Кто любит — тот всегда силён.

Заносы на Николаевской дороге прекратились, поезда возвращались в расписание. На сегодняшний поздний вечер — были билеты, правда, не слишком хорошие. Но Вера решилась не брать.

Затруднений с Виндавской дорогой не оказалось, перекомпостировали на Москву на завтра, на 11 утра. Ну, вот так хорошо.

На площади стояло и переливалось всё то же самое. Страшновато было возвращаться опять по Невскому, но иначе много крутить. Да все валили. Вера пошла теперь по другой стороне.

Осенью уезжал такой стремительно-счастливый, всё в нём пело. А сейчас узнать нельзя.

Трое полицейских стояли против Николаевской улицы. Их не трогали.

И на углу Владимирского тоже трое. Но к ним подтеснялась толпа, и на вериных же глазах — бросились. Один городовой вытянул вверх руку, выстрелил из револьвера, другой выхватил шашку, она мелькнула высоко над головами, всем видно, — но тут раздался новый выстрел, и шашка рухнула. И была толчея, толчея, несколько криков, — и можно было идти дальше. И Вера быстро пошла по тротуару не оглядываясь. Говорили, что полицейских разоружили, и только.

Странно: разоружают городовых, как будто так и должно быть, и жизнь продолжается как ни в чём не бывало. Густо и возбуждённо текла по тротуарам публика. Много мещанок и рабочих баб, каких на Невском не бывает. Иногда насмехались над богато одетыми, кричали им ругань.

После Аничкова моста Вера ушла с Невского. На Итальянской и на Караванной было всё обычно.

И не вся б эта беда — то какая радость видеть Егора дома! (И как бы отклонить его, чтоб он сегодня вечером не поехал к *ней* опять?) Была на нём старая домашняя куртка, которая держалась годами специально для приезда брата, — и вот он был в ней сейчас вместо кителя, при военных брюках, но и в чувяках, такой одомашненный.

Взяла на себя Вера преувеличить и задержку поездов от заносов, ничего подходящего на вечер, а завтра утром — хорошее место и уверенно. Взяла преувеличить и грозность на площади, рассказала и случаи на Невском. Брат был поражён, он такого не видел, когда ехал по городу. Да впрочем, всё сегодняшнее, откуда ни собери, состояло в том, что полиция нигде не стреляет, публика легко разоружает полицию, а войска не вмешиваются.

Всё это было как будто и очень серьёзно, а вместе с тем жизнь текла вроде обычная.

Няня стояла в дверях и ахала. А у нас рядом, в Михайловском манеже, стоят конные городовые вместе с казаками, так говорят: мы казаков больше боимся, чем бунтарей.

Брат на каждую новость вскидывался, хмурился, удивлялся: если б не от сестры да не от няни, так поверить было нельзя. (Вскидывался-то он да, но охмур у него был уже круговой, серый, нельзя узнать, и глаза не блестели.) Самое непонятное, почему власти не принимают совсем никаких мер. Так понимал Егор, что правительство — запуталось.

Он был просто болен — такой весь вид, и домашняя куртка на нём — будто надел по болезни.

Теперь бы само открывалось брату и сестре разговаривать прямо? Не о том, разумеется, как э т о случилось, как он полюбил (да полюбил ли? вот что! — она и этой новой любви на лице его не видела), а: что же теперь делать? Сам по себе Петроград ещё не был бы полным доказательством для Алины. (Егор рассказал теперь сестре, что в октябре сам, по глупости, открыл Алине. А Вере — понравилось, это было прямодушно, это — был её брат!) Но то, что

он никак не сообщил ей о поездке — ни при выезде, ни с дороги. А теперь…

— Ведь это очень серьёзно у неё, — повторял он над письмами Алины, перечитавши десять раз. — Ведь я её знаю, она решительная…

Ну — не так. Ну, не настолько. Ранена? уязвлена? но не в таком же отчаянии? — уговаривала сестра.

— И разве мне её теперь пере… убедить… пере…

Угнёлся брат. Угнулся.

Как его укрепить?

Его поддержала бы любовь сама — или там, впереди, к жене, или отсюда, из-за спины, — ураганная? сверкающая? Но Вера вглядывалась, вслушивалась — и с тоской, и почти страхом не видела укрепляющих знаков ни той ни другой. А — потерянность, и даже пустота.

Что ж, ему этот дар вовсе не дан?

Видно, ему и самому показалось святотатственно ехать сейчас назад к Андозерской. Мрак на душе. Сказал, что ночует здесь и до поезда никуда не поедет.

Вере — и радость. После того как брат позвонил Андозерской — позвонила и Вера своей сослуживице и отдала ей билет на премьеру «Маскарада» сегодня в Александринке. Так задолго покупала его, так долго ждали все этого дня, — но брат, и вдруг дома!

Не сказала ему ничего о спектакле.

Егор потерял свой обычный темп и порыв, много сидел, задумавшись, а ходил по комнатам совсем медленно. Улыбался смущённо:

— Вот видишь, как получается, Веренька…

Он уже весь был под нарастающей властью Алины. Уже готовился только к ней.

Самое правильное было бы сейчас — посидеть вечер да разобрать вместе все осколочки, все ниточки.

Когда думал, что Вера не смотрит, — осунутое лицо.

Он совсем не был готов.

— А из Москвы прямо в армию?

Ободрился:

— Да, сразу в армию.

Ему только бы Москву как-нибудь проскочить.

Кормила их няня постным обедом: рыбным заливным, грибным супом, пирожками с капустой. С Верой она всегда вместе ела,

а тут, как ни заставляли сесть за тарелку, — поспешала вскочить и услужить. Услужить не как господам, а — как маленьким, ещё не умелым ложку держать, из кружки пить.

Егор уж отвык от её лица, но Вера сама видела складку горя — сегодняшнего, за него.

А тоже и няня сама не заговаривала. Только и не продрагивалась в улыбку.

Что-то сказал Егор о посте, что на фронте не блюдут, разве Страстную. Няня, губы пережимая, посмотрела на него стоя, сверху:

— И ведь не говел небось?

— Нет, нянечка, — с сожалением Егор, даже искренне.

— А тебе-то — больше всех надо! — влепила няня, не спуская строгого взгляда.

Егор сам себе неожиданно, лицо помягчело:

— А пожалуй, ты и права, нянечка. Поговеть бы.

— Да не пожалуй, а впрямь! — спохватилась няня. — Ноне суббота, идём-ка ко всенощной в Симеоновскую. И исповедуешься. А завтра до поезда к обедне успеешь. И причастишься.

Отодвинула форточку — слышно: звонят. Великопостно.

Но когда это вдруг открылось совсем легко и совсем сразу — Егор замялся. Видно, уже большая у него была отвычка. А скорей — не хотелось ему исповедоваться — вот сейчас, по горячему делу.

Замы́кал, замекал, что — пожалуй, не успеет. Что, пожалуй, другой раз.

Прикинули — и правда, может завтра до поезда не успеть: по этим волнениям пути не будет, и извозчика не найдёшь, и не проедешь.

— Ну, дома помолимся! — не сразу уступила няня.

В кругу, где обращалась Вера, где служила она, — в церковь ходить или посты соблюдать было не принято, смешно, и даже говорить серьёзно о вере. И там — она хранила это как сокровенное, другим не открытое.

Но Егор — не готов был душой, она видела. И защитила его перед няней, что он никак не успеет.

Подошла няня к сидящему со спины, он так приходился ей по грудь, положила руку ему на темя, и певуче:

— Егорка-Егорка. Голова ты моя бедовая. А делать нечего. Пожди, пожди. — Другой рукой, углом фартука, глаза обтёрла. — И что у вас, сам дель, детей нет? Другая б жизня была.

Сказала — как толкнула. Егор глаза распялил:

— Правда, нянечка, нет. Кончились Воротынцевы.

— И эту, — рукой на Веру махнула, — замуж не выгоню. Хоть бы уж для меня-то подбросили.

Егор хорошо, светло и прямо посмотрел на Веру. Как будто они об этом всегда и говорили легко.

Вера закраснелась, а взгляда не опустила. Открыла им няня эту простоту.

Слишком добросовестно собирала справки для читателей? Засиделась в уголке за полками?

А когда и встретишь — так женат. Или связан.

Да как же хорошо втроём, всем вместе! Хоть один-то вечерок!

Оттаял Егор:

— Хорошо мне у вас. Никуда не пойду.

Не пошла и няня ко всенощной. Редкость.

Уже стемнело. Няня зажгла в своей комнате лампадки, позвала Егора, подтолкнула:

— Тебе лишние разговоры сейчас — только крушба. А подит-ка там у меня посиди, не при нас. Да и помолишься. Всякому благу Промысленник и Податель, избави мя от дьявольского поспешения!

36

А сегодня стояла в Могилёве ветреная серенькая погода, хорошо, что не мятель. Эти снежные бури последних дней на юго-западных дорогах сильно прервали армейское снабжение. (И оттуда доносят, что продуктов осталось на три-четыре дня — но, по армейской привычке, конечно пригрозняют положение, чтобы не остаться пустыми.)

Утром пришла телеграмма от Аликс: у трёх заболевших температура высока, но признаков осложнений пока нет. Ане — особенно плохо, просила помолиться за неё в монастыре. В Петрограде — безпорядки с хлебом, но спадают, и скоро всё кончится.

Сходил на обычный доклад к Алексееву. После столького перерыва он продолжался полтора часа, озирали положение всех фронтов и снабжение.

Погода позволяла обычную загородную прогулку на моторах. Выехал раньше, заехал в Братский монастырь (за высокой стеной он был близко на городской улице), приложился к чудотворной Могилёвской иконе Божьей Матери, помолился отдельно за бедную калечку Аню Вырубову, и за всех своих, и за всю нашу страну.

Съездили по шоссе на Оршу.

После чая пришла, сегодня не задержалась, петербургская почта — драгоценное письмо от Аликс, вчерашнее и длинное. И ещё — от Марии. Успел жадно пробежать их, но надо было идти в собор ко всенощной.

Пошёл в кубанской казачьей форме.

Хорошо пели, и служил батюшка хорошо.

Воротясь, послал Аликс благодарственную телеграмму за письмо. И теперь сел перечитывать его несколько раз, с наслаждением и вникая. Много дорогих подробностей.

Она — неутомимо носилась между больными и даже продолжала деловой приём. Сколько же в ней сил, несмотря на все нездоровья, и сколько воли — собрать эти силы! Солнышко!

И в новом письме она снова повторяла свои уговоры последних дней: что все жаждут и даже умоляют Государя проявить твёрдость.

Все эти одинокие дни в нём и так уже прорабатывалось. Твёрдость — да, без неё нельзя монарху, и надо воспитывать её в себе. Но — не гнев, но не месть: и твёрдость должна быть — доброй, ясной, христианской, только тогда она принесёт и добрые плоды.

Тут же Аликс напоминала о бунтовской речи некоего депутата Керенского, произнесенной в Думе дней десять назад. Говорят — он там призывал едва ли не к свержению монархии. Депутат — и открытый мятежник, это уж совсем парадокс, правда. Но уже немало обойдено Верховной Властью дерзких думских речей этой осени — хоть и Милюкова, хоть и Пуришкевича, или мятежных речей на съездах Земского и Городского союзов, — и что же? Ничего, всё спокойно обошлось. Поговорить, даже позлобиться — людям надо давать, в это уходит их лишняя энергия, после этого они работают лучше.

Ещё просила Аликс — то о должности для генерала Безобразова (но после больших потерь в гвардии неудобно было пока его ставить), то непременно написать английскому королю о поведении посла Бьюкенена.

Это — верно она напоминала. Бьюкенен давно перешагнул все дипломатические приличия и правила. Он открыто сближался со всеми врагами трона, дружески принимал Милюкова, обвинившего императрицу в измене союзному делу, у него в посольстве думские вожди и даже великие князья заседали, злословили, обсуждая интриги против Их Величеств, если не заговоры.

А на последнем приёме, под Новый год, Бьюкенен перешёл все границы, выразившись, что Государь должен заслужить доверие своего народа. С изумлением посмотрел Государь в холодное лощёное лицо посла с рыбьими глазами. И ответил, что — не следует ли обществу заслужить доверие монарха прежде? Даже сесть ему не предложил, оба простояли весь приём.

И с того дня Бьюкенен не переменился, интригует даже пуще прежнего.

Неизбежно писать Георгу, да. Чтоб он воспретил наконец своему послу вмешиваться во внутреннюю жизнь России. Ибо это ослабляет русские усилия в войне и, таким образом, не идёт на пользу и самой Англии. Георг поймёт, исправит.

Просить большего — отозвать посла, Николай считал слишком резко, это будет Георгу досадно и даже оскорбительно. Но и о меньшем Николай всё откладывал написать. Потому что он любил своего двоюродного брата Джорджи и не хотел доставлять ему неприятных минут.

Да, ещё же писала Аликс о безпорядках с булочными в Петрограде, разбили вдребезги Филиппова. Но теперь мятели прекратились — и всё скоро наладится.

И в это самое вечернее время, пока Николай сидел над письмом Аликс, намереваясь отвечать, — принесли от неё телеграмму: что в Петрограде «совсем нехорошо».

Вот тебе раз… Не знал бы что и думать, но тут же принёс Воейков телеграфное донесение Протопопова: просто — распространились по Петрограду слухи, что отпуск хлеба в день на человека будет ограничен по фунту — и это вызвало усиленную закупку хлеба, рабочие забастовки и довольно большие уличные безпорядки, шествия с красными флагами, задержки трамваев, пострадало несколько полицейских чинов, ранен один полицмейстер, убит один пристав.

Довольно серьёзно, — нахмурился Государь. Но тут же прочёл дальше: что зато, напротив, буйствующие толпы местами привет-

ствуют войска, а ныне принимаются военным начальством энергичные меры. В Москве же — спокойно.

Молодец, Александр Дмитрич. Умница. (А то стало казаться поздней осенью, что у Протопопова — какое-то перескакивающее внимание, несосредоточенность, видимо последствие болезни. Но, слава Богу, преодолел. Чудесный человек!)

И от военного министра Беляева была телеграмма, что меры приняты, ничего серьёзного нет, к завтра всё будет прекращено.

Аликс могла просто слишком принять тревогу к сердцу, да при больных-то детях. Государственные дела надо воспринимать с холодком, а она слишком всегда горячится.

Но — всё никак не удавалось Николаю сесть за письмо к жене. Какой-то урожай телеграмм: пришла ещё и от князя Голицына, и странная: что он просит либо расширить его полномочия — либо назначить вместо него другое лицо.

Бедненький князь Голицын, не по нему эта должность. Куда ж ещё шире ему полномочия, чем председатель Совета министров, — и с подписанным готовым указом о перерыве в занятиях Думы, только проставить дату?

Но — где найдёшь для России достойного премьер-министра? Нету их.

Телеграфно успокоил Голицына, подтвердил его полномочия…

Что ж такого? — забастовки, безпорядки, но идущие к концу? Бывало и раньше.

37

Даже смерти хотелось. Именно смерти: чтоб ничто другое не пришло на смену этому.

Ушла в себя — значит, ушла в его тепло. Он — речной, ветряной, а от него идёт тепло, — даже не то, которое передавалось руке. Всё от него — тёплое.

И теперь жила этим теплом, не тратя его.

Почти всегда можно скрыть плохое настроение. Но такое чудесное — скрыть невозможно. Кто видит, каждый спрашивает: что с тобой?

Ни — читать, и ничего делать. Просто сидеть и наслаждаться таким чудом.

Все мешают. И поклонник-революционер. Отойдите, оставьте меня.

А могло — ничего не быть. Он мог не оказаться там в ту минуту. Или не решилась бы подойти. (Это в ней не своё проявилось — подойти.)

Знает Ликоня, что глупо вела себя в сквере. Но он — так добро встретил.

А может быть потом — раскаялся?

Почему он сказал — «не раскаивайтесь»?.. Боже, да поверил ли он, что у неё никогда *такого* не было? Что он подумал о ней?..

…Но вот чего не ждала — что он вмешается в этот день снова! Рассыльный принёс от него — записку!

Что-нибудь плохое??.. Со страхом горячим разрывала конверт.

Нет, хорошее…

Что он не всё сказал ей в сквере и непременно хочет видеть сразу, как вернётся.

А тогда — рано! Хорошее — рано! (И так уже вся — смятая…) Слишком много для одного дня! Нужно время! Она нуждается во времени — разобрать в душе полученное, зачем ещё и записку сразу?

А теперь хочется вобрать и записку. Нет, он не подумал о ней плохо, нет…

Задохнуться можно!..

Разбавить…

Уж нынешней ночью не будет сна совсем, это видно.

А, так и надо! Не по частичкам, не по дозам, а — сразу! Так и хочу: сразу!! Пусть задохнусь!

Пылают щёки на ветру —
Он выбран! он — Король!

От наслоения чувств, от скорости их — всё вихрится внутри, до кружения. Исхаживаться по комнате! Швырять себя на кушетку! Искручиваться.

И только стрелки часов накаминных прозреваются всё на новом месте, каждый раз — на час, на полтора дальше.

Ночью смогла стихи читать.

…Мне счастья не надо, — ему
Отдай моё счастье, Бог!

Так!

38

Карточки на хлеб! — в девятом часу вечера, в городской думе на Невском, с её взнесенной конструкцией-каланчой, изломанными лесенными всходами, взбрасывающими наверх, в Александровском зале, где бывали и пышные приёмы иностранных гостей, открылось совещание гласных думы совместно с санитарными попечительствами и попечительствами о бедных.

Но такое возбуждение кипело в грудях ото всего происходящего в городе, и такая была потребность где-то говорить и слушать, что сюда, в этот безопасный зал, куда не могут наезжать конные, собралось со всего Петрограда немалое число и просто *сознательных*. Очень ждали самого Родзянку, но он никак не мог. А прибыл и занял место в президиуме постоянный болетель о народном продовольствовании депутат Государственной Думы Шингарёв.

Городскому голове консерватору Лелянову, собравшему совещание, вопрос не казался сложным: что хлебные карточки надо вводить — уже согласились все: и правительство, и Дума, и общество, и так было сделано в других воюющих странах. Предстояло обсудить, кем и как будут готовиться материалы, кто будет ведать составлением списков и раздачей карточек.

Но первый же оратор, известный либеральный сенатор Иванов, со страстью изменил постановку вопроса: настоящее собрание не может и не должно биться в таких узких рамках — техническое введение карточной системы. Уж раз собравшись, мы, конечно, должны обсудить положение общее. Что ж так поздно додумалось правительство передавать продовольственное дело в руки города? А теперь мы должны обсуждать шире!

И тон был задан! И радостно отозвались ему сердца со всех концов зала! Именно и хотелось того всем: поговорить и послушать — *вообще*! А карточки сделать немудрено, с ними и попечительства справятся.

И, поддерживая этот порыв как бы с верхов, своими вензельными эполетами, — гласный генерал-адъютант Дурново призвал не верить обещаниям правительства, также и в отношении хлеба. Сейчас привозят муки на Петроград — 35 вагонов в день. А правительство пусть-ка обезпечит по 50 — а иначе мы должны сообщить населению.

Аплодировали. Радовались. Уж если генерал-адъютанты так говорят — значит, сгнил режим, сгнил!

Тщетно пытался гласный Маркозов перенаправить собрание: не надо зажигательных речей, а давайте лучше займёмся делом.

То есть что же — вот этой самой техникой составления списков и выдачи карточек? Он просто смеялся над собранием!?

А когда осмелился сказать, что в продовольственном кризисе виновато не одно правительство, но также и общество — это просто оттолкнуло от него собравшихся, его уже и не слушали дальше.

Но опасность собранию увязнуть в малых делах — была. Выступил с нудным докладом председатель городской продовольственной комиссии. Он перечислял вагоны, отдельно ржаной, отдельно пшеничной муки, и пересчитывал вагоны на пуды, и ещё вникал в пропускную способность пекарен, — и получалось, что город полностью обезпечен мукою на две недели, даже если не поступит ни одного вагона больше, а они даже при мятелях поступают в размере трёх четвертей от нормы.

Ах, разве о том нужно было говорить! В этих скучных выкладках терялось главное: тупая неспособность власти справиться даже с хлебной проблемой! Неужели в этот зал собирались из мятежного города, иные пешком с Выборгской или Московской стороны, чтобы послушать сии выкладки? Не так важен сам хлеб или не хлеб, как свидетельство безсилия власти.

Тут вскинулся на трибуну пламенный адвокат Маргулиес — и языками огня стало лизать лица в зале. Он именно в *общем* виде говорил — о неспособности, о тупости, о полицейских ограничениях — не допускают избрания рабочего класса в районные комитеты по распределению продуктов… Так рабочие выберут свой Центральный Комитет! Он мог бы, видно, и вдесятеро ещё назвать и пересказать правительственных злоупотреблений — но взмахами рук своих, но всплесками голоса уже передал залу всё необходимое — и поджёг его радостно-безвозвратно!

Следующий гласный потребовал захватывать комитеты явочным порядком, не считаясь с тем, что думают в *сферах*.

Я в о ч н ы й порядок — ударом набата прозвучал в зале: явочный порядок был самой сутью славной революции 1905 года: каждый человек и каждая общественная организация делала то, что считала нужным, не спрашивая правительства. Именно такой порядок и должен быть в России! Именно так пришла пора посту-

пать и теперь! Блики пожарных огней радостно перебегали по лепному потолку и стенам.

И вышел говорить Шингарёв. Всегда любимый оратор общественности, с его удивительной искренностью и тем набуханием чувства, где, уже близко, за одной переломной гранью могут хлынуть и слёзы, слёзы сочувствия к страдающим и слёзы назревшего самоосвобождения, своим голосом неповторимо сердечным коснулся он всех сердец. Он не говорил «явочный порядок», но отстаивал именно его: право рабочих и общества — самим решать, а властям бы — не вмешиваться! Да, город может сам взяться за распределение хлеба — но если правительство обезпечит подвоз, пусть дадут гарантии! А то нет ли здесь ловушки: они довели до развала, а город возьмётся распределять, а хлеба нет — и будет виновата городская дума?

Бурными, долгими аплодисментами провожали народного любимца.

А тут вышел ещё один гласный, Шнитников, совсем не левый, и перекинул собрание прямо к делу: нынешнее правительство как абсолютно неспособное должно вообще уйти!!! А вместо него пусть возникнет коалиционный кабинет!

В разламывающих аплодисментах объявили перерыв: уже непосильно было только слушать, но хотелось ходить в кулуарах и делиться друг с другом.

В перерыве ещё разогрелись, ещё тысячу раз высказали это, и ещё это, и ещё следующее, — и уже после перерыва трибуна бы не выдержала скучного благоразумия, ни серых подсчётов, — теперь каждый оратор говорил, о чём хотел, и председатель уже никого не останавливал. Заседание потекло вполне революционно.

Выскочил Каган, кажется даже не гласный, — и сенсационно сообщил о расстреле: вот тут, рядом с самою думой, около часовни Гостиного Двора! — стреляли в толпу, убили и ранили! — и о каком же хлебе можно говорить теперь тут, рядом, в думе? Надо что-то сделать, что-то обязательно сделать, и не позже этой ночи!

— Но что же сделать? — отчаянно крикнули из зала.

— Я не знаю, что сделать! — задыхался Каган на трибуне.

Тут вышел новый оратор и предложил почтить память невинно погибших вставанием.

Зал поднялся. И грозно выросло короткое молчание.

И так собрание переступило ещё одну ступень чувств.

И снова говорил оратор от кооперативов: разве движение — только за хлеб? Разве рабочим нужен только хлеб, а не участие в управлении? Мы — сами всё возьмём!

Тут выступил гласный Бернацкий, профессор. Он вот как высказал: может быть, голод и утолят, правительство как-нибудь извернётся и утолит голод, — но всё равно! не дадим начавшемуся движению остановиться! революционное движение не должно остановиться!! — но валом докатиться до конца!!

Ах, замечательно! Эта мысль овладела собранием: не в голоде дело! — но пусть докатится всё до конца!!

И в эту разгорячённую минуту — кто же? о, кто же? чья лёгкая стройная фигура вдруг промелькнула по залу — над залом — уже узнаваемая, уже трепетно приветствуемая, и вот захлёстнутая бурею аплодисментов?! Сам Александр Керенский, оратор среди ораторов, излюбленный трибун, безстрашный революционер, чуть прикрытый легальностью, посетил нас! — вступил на трибуну! — и вот уже говорил вне очереди.

Говорил страстно, что — была, была, была возможность уладить продовольственный вопрос — но тупое правительство, как всегда, не вняло голосу общественности, — и вот упущено, упущено, упущено. А теперь, когда совсем уже безвыходно, правительство хочет увильнуть от ответственности и всё свалить на городские самоуправления. Это кажется уступкой, но это — дар данайцев, и общество не должно на этом попасться! Город должен поставить твёрдые условия, чтобы правительство уж тогда вовсе не вмешивалось бы в продовольственное дело. И даже — совсем ни во что! уж тогда совсем бы устранилось! Населению должна быть дана полная свобода собирать собрания о хлебе. Свобода собраний!

А тут появился ещё один член Государственной Думы — Скобелев, его сперва и не заметили в блеске Керенского. А у этого была смазливенькая наружность, звонкий приятный голос, но глуповатое лицо, — зато известный социал-демократ. Он объяснял собранию, что продовольственный вопрос нельзя решать отдельно, он слишком тесно связан с политическим, а политический — ещё трудней. И надо использовать теперешнюю растерянность правительства! Что правительство нашло свой путь борьбы с продовольственным кризисом — *расстреливать едоков*, но мы, здесь присутствующие, должны заклеймить такой предательский способ — и должны потребовать возмездия!! Правительство, обагрившее руки народной кровью, должно у й т и!

Тут выступил рабочий лесснеровского завода Самодуров, большевик из больничной кассы: что современный государственный аппарат невозможно никак, ничем исправить — а только уничтожить до основания! Только тогда наступит в России успокоение, когда нынешняя правительственная система будет вырвана с корнем!

Аплодировали.

Мы именно *хотим* повторения атмосферы Пятого года! мы *хотим* дышать тем грозовым воздухом! Так стройнее наши ряды! так яростней напор на правительство! — чтоб оно опрокинулось!!

Снова возвысился узкий Керенский — и строго призвал собрание *ещё раз* почтить вставанием память погибших сегодня рабочих.

И собрание поднялось — ещё раз.

Пронёсся гул, что сейчас внесут сюда и трупы.

39

Сегодня, в субботний вечер, в Мариинском театре Саша Зилоти вместе с Жоржем Энеско давал концерт. И конечно, Марья Ильинична пошла.

И конечно, Александр Иванович остался дома — и отдыхал, и наслаждался этими часами, что её нет. Он, разумеется, не имел желания, чтобы уличные безпорядки задержали её на обратной дороге, но и нисколько не безпокоился от такой возможности.

А вот завтра, напротив, она будет дома — а он уедет куда-нибудь, только бы не сидеть с ней воскресный вечер, ощущать, как она дуется. Уедет к Коковцову разговаривать хоть о финансах, или к другому отставному государственному мужу, они любят поговорить, и всегда есть чему у них поучиться. Уедет хоть к молодым Вяземским, брату или сестре.

Даже самому страшно становится, что не просто тоскливо с ней, но отвращенье наплывает на неё смотреть. Потом проходит.

Были годы, и недавние, — они здесь, в петербургской квартире не пересекались вообще: в думские сессии Гучков жил тут один, дети с гувернанткой, родители менялись по согласованию, удивляя детей: гнали-гнали к папе, а папа уехал два часа назад и маме оставил где-то ключ. Или только что проводили маму, а папа вернулся, эх ты, папа, как же ты опоздал?

А последние месяцы, после смерти Лёвы, вопреки непрощенью, как могла она не уберечь мальчика, деревянное не материнское сердце, — вопреки этому, напротив, при оставшихся двух младших стали жить вместе.

Как бы — вместе.

Потому ли, что постарели. Что силы уже отказывают перебарахтывать все несчастья. Что уже не осталось сил для отдельных резких движений.

Но когда Марья Ильинична была тут, в квартире, хоть за тремя стенами, — каким-то косым каменным углом вступало Гучкову в грудь, присутствовало постоянно. Даже если не ожидалось, что она войдёт в кабинет и что-нибудь скажет, взмутит. И вот любил он, когда её не было дома.

Что такое дурная женитьба! Это горе — совершенно неотклонимое, неустранимое. Как бы ни текла вся остальная жизнь, хотя бы блистательно (но не текла…), — дурной уклад семейной жизни вложен в нас как испорченное лёгкое или печень, их невозможно сменить, от их болезни невозможно забыться.

И постоянное, долголетнее, неисправимое сожаление: зачем женился? Зачем вообще женился?

Всё это вместе живёт в мужской душе: иметь свободу движений, не дать опутать рук и ног, и — дать опутать их, о, если бы их увязить! Увы, это не *вместе*, венчан богами тот муж, кому это послано вместе.

А — как начинается? Как эти царапины первые наносятся на кожу? Ты их и не замечаешь, как ветки бы раздвигал, позже смотришь: когда это поцарапался?

На пороге твоих тридцати лет. Поздняя тёплая Пасха. Знаменское под Избердеем, тамбовское имение весёлой, многолюдной, гостеприимной семьи Зилоти. С девятнадцатилетнею Машей ехали на шарабане, въехали в лесок — а пошёл дождь. Александр остановил лошадь, развернул свой тяжеловатый непромокаемый плащ — на Машу. Нет. Нет? То есть да, но — чтоб и он тоже. И решительным движением приняла на себя — но лишь половину плаща. Одно вот это движение больше иных слов, разговоров, переглядов — приняла на себя его покров, разделила с ним, плечо к плечу.

И запало в душу? Может быть и нет. Может быть, это она потом внушила — что это движение решило всё. Забыл.

А какой весёлый дом! Дворянская семья, но сильно смещённая в искусство. Сама и Знаменка особенная, с приворотной башней, с особенной этой Иаковской церковью. Два своих исключительных пианиста в гостиной запросто: Саша Зилоти и двоюродный брат Серёжа Рахманинов. А старший брат, Серёжа Зилоти, морской офицер, на липецких водах влюбился и уже на правах невесты привёз в родительский дом — Веру. Эта Вера бредит о театре, простительно юной девушке. Этой Веры фамилию — Комиссаржевская, ещё в России не знает никто. Их женитьба с Серёжей не состаивается, но сколько веселья, влюблённости и шума среди этой молодёжи!

Ещё год, ещё два, — а ты, при молодости, уже член московской городской управы. И вдруг — букет. Ему — от неё. От той девушки, с которой он на шарабане… Игра, кто в этом возрасте не играет? Ответить галантным письмом. Куртуазности, легко доступные тому, кто читал французские романы (да если ещё и с французской кровью сам). Не дремлет и Маша: вам что-то не нравится во мне! скажите — что именно?.. Ах, коварная Вера Фёдоровна! Я думал, она передаст вам только то, что вам приятно, она же, видимо, передала вам всё. Теперь вы ставите меня в тупик. Но ещё вопрос, выиграете ли вы, когда мне в вас будет нравиться всё. Ещё письмо на письмо, и вот уже выпытывает Маша: *только имя*! Только — имя той, которая нравится вам! — Отвечать не прямо (да если имени такого определённого и нет?), а как-нибудь этак: вот вы пишете, что сильно меняетесь, тогда и это *имя* может измениться…

Но всё это — туманится, блекнет, отодвигается. Чаще видится Вера, передающая машины письма. Они дружны где-то там, куда Александр не ездит больше, но дружит Вера и с Варей Зилоти, а Варя теперь замужем за Костей Гучковым — и к ним на московскую квартиру из Вышнего Волочка приехавшая третьим классом безкостюмная, безденежная, безызвестная Вера блестяще проходит первую театральную пробу на инженю.

И сегодня законно, и как будто вне ревности, висят в его кабинете несколько фотографий Веры — она одна, и с Машей в обнимку, и с Машей на штабеле брёвен у старого провинциального забора, — Маша со взором ищущим, а Вера — отрешённым.

Для чего-то же так рано, через нескольких Зилоти, скрестились их пути с Верою Комиссаржевской? Но где бывают наши глаза, чем отвлекается наша воля, чем затрудняется наша речь в какие-то короткие часы или дни, — и оброненное вытягивается, вытягивается потом на годы? Грудь борца и завоевателя не тотчас ощущает, что отпущено ей вдохнуть аромат разбора высшего. Да и острый взгляд хрупкой женщины что-то видит вдали более важное, мимо плеч завоевателя. И — годы. У тебя — второпланная женская череда, у неё — крушенье любви и кручинная болезнь. В те самые годы, когда на арену политики тяжелоступно вышел крепчающий Гучков, — на сцену театра, поздно для женщины, вышла воздушным шагом Комиссаржевская. Так совпадало: почти ровесники; он создал свою партию — она свой театр; он безстрашно шёл против газетного воя — и она; он был деловой человек — однако чудом каким так точна в делах артистка? Он произносил свои лучшие речи — она играла свои лучшие роли. Только ему как мужчине ещё предстояло много возраста, зрелости и силы, она в сомнениях шла к надлому. И была у неё смелость — оборвать, когда путь её театра показался неверен. (Тогда ещё не ведал Гучков, что скоро и ему к своей партии октябристов понадобится эта смелость.)

Был Гучков не просто поклонником, собирающим её программки, фотографии, посылающим по-купцовски неохватные букеты, но барьером ложи замыкающим свой восторг — от этих слёз, слишком искренних для игры, когда душа урывает вверх из тела невесомого, а ещё слишком весомого для себя; от этого голоса ворожебного, уводящего за самое сердце. Он — и живые руки её нередко брал в свои, и её глаза — слишком синие, слишком провидческие, видел так близко, как только можно сдвинуться двум головам. Но велеть — «иди за мной!» — никогда не мог. Не смел.

Потому что *она* не могла пойти *за*. Как редкий из мужчин, знала она свой жребий: до конца изойти собственный путь.

Александр Гучков, всю жизнь занятый движеньями материальных масс — партийных сторонников, армейских колонн, госпиталей, станков, капиталов, — удостоился сокоснуться ненадолго — с этим ангелом напряжённым, никогда не весёлым, вот забредшим к нам, а вот и уходящим.

Нет, не ангелом никаким, она — женщина была и ещё как терзалась самым плотским, но то, что простым женщинам достав-

ляет цельную радость, её приводило в угнетённость и в новый толчок — очиститься и взлететь. Она — женщина была, но в ролях играла не женщин, а души их. Своим волнующим голосом, своим утлым станом — выводила их, выпевала, — необычно сложных, с такою внутренней тоской, на вечную нам загадку.

Она прошла через жизнь Александра Гучкова как будто простой собеседницей, шутницей, посредницей (то букет, то записка от Маши, поручения, что купить в Берлине для машиной мамы), телеграфные поцелуи ему, как и, равно, Гучкову-отцу, — но только потом, после смерти её понялось: она прошла неотмирной тенью, как чтоб навсегда оставить ему одинокость, показать другую ступень бытия, не того тщетного, каким занимался он, другую ступень обладания — не того, что забывается воином через час, но цветком засохшим, а пахучим безсмертно, носится под кольчугой — или под костями грудными? — столько лет и столько битв, сколько ему осталось до последней.

Прошла — и растаяла. Уже решив поворот своего дела — бросить театр, на этом непосильном изломе ушла из жизни, запахнутая псевдонимным плащом подвернувшейся чёрной оспы. Умерла так далеко от Петербурга, как только достала, — в Ташкенте. Умерла в те самые недели, когда *его* борьба требовала все силы собрать: когда он стал председателем своей Третьей Думы.

И в чём-то же был смысл, рок (или насмешка), что именно Вера постоянно передавала что-то от Маши, напоминала о Маше, склоняла к Маше: в Маше вы найдёте человека, который вам больше всех нужен. Кто бы мог жить с таким шалым, как вы? Она — всё сделает для вашего счастья. Маша — исключительная натура!.. Там шарабан не шарабан, разделённый покров плаща, но это зерно забытое никакого роста бы не дало, когда б не постоянное внушение Веры: Маша — избранная натура, приглядитесь!

Вера как будто восполняла, чего сама на земле подарить не могла навечно: своего изменившего мужа женила на той подруге, с которой изменил. А другую подругу подарила Гучкову вместо себя. И, поженив их, ещё семь лет улыбалась, шутила, сносила шутки, звала в Италию, приезжала в Знаменку…

Так забылся Гучков — зазвонил телефон, застав его перед фотографиями Веры у стены.

Так забылся — что́ за дни в Петрограде, и что за мерзкое правительство у нас, и что же с ним делать, — но даже коротких минут забывчивости грустной не отпускается бойцу.

Зазвонил телефон. И сообщали, что в помещение Рабочей группы на Литейный пришла полиция. Арестовала собравшихся там рабочих кооператоров — и ещё двух членов Рабочей группы, до сих пор уцелевших с январского ареста!

И — слетела с Гучкова вся мерехлюндия и рассредоточенность, взвился, как на ногу наступили! О, тупоумие безконечное! О, как же *они* надоели, проклятые, как же он их ненавидит, когда мы от них избавимся!? В январе развалили, переарестовали Рабочую группу — и хоть расшибись о каменную стену. В феврале запретили в Москве даже съезд Военно-промышленных комитетов — душат всякую живую деятельность! — всё боятся за себя. Сами ни на что не способны — и другим не дают делать дело. Перевёл съезд в Петроград — запретили и тут: по данным департамента полиции, съезд начнёт с выражения недоверия правительству. (Так и намеревались, разведка у них верна.) Жаловался Родзянке. Родзянко добился открытия съезда. Но местный участок не знал и пришёл закрывать. Опять Родзянке. Тот — бешено телефонировал градоначальнику: «Поеду сам и за шиворот выброшу пристава!» Открыли наконец. Так теперь дотянулись опять в Рабочую группу.

А что такое? К чему придрались? Чем занимались?

Да кооператоры обсуждали, не избрать ли Совет рабочих депутатов.

Нет, нельзя спускать!

Дёрнулся — звонить градоначальнику. Сам не подходит, оттуда мекали, что на собрании присутствовали посторонние рабочие разных заводов… А хоть бы и разных?

И позвонил — тому же Родзянке. И тот тоже заревел по-медвежьи у телефона.

И ясно стало, что надо сейчас вот, в ночь, прямо ехать в градоначальство и буянить.

Нет, поехать прямо домой к председателю Совета министров!

Э т о г о нельзя было уступить. Именно потому, что уличные волнения в городе не удались, уже остывали, — надо было вытягивать линию Военно-промышленных комитетов и Рабочей группы во что бы то ни стало! Это был удачно найденный рычаг, которым Гучков сотрясал власть. Это была ему — замена Четвёртой Думы, куда его не выбрали, и твёрдая ступень в Пятую, будущей осенью. Пятая Дума будет его последняя верная попытка, уже в 55 лет, какое-то место в России занять и ещё поворачивать её спасительно.

Иначе — зря он бился все двадцать лет. Хуже нет этой муки безсилия: жить в стране и не мочь повлиять на жизнь её — никак.

Называется, посидел один вечер дома, помечтал…

40

Охта была весь день от города отрезана: стояли отряды войск на мосту Петра Великого, на набережной Невы и между Охтой и Выборгской стороной, никуда не выпуская охтенцев. Через реку по льду тоже не многие пошли: невский лёд против Охты выдался ненадёжен, да и весенний, против Смольного уже кой-где и вода его покрывала, чуть и не по колено. Так и не знали весь день: что же такое творится в других районах и по ту сторону Невы? Кто пробирался — рассказывал, что там большие толпы ходят по улицам, везде войска, а заводы ни один не работают.

Но Охта — и сама как отдельный город, только не столичный. Толпились охтенцы по своим захолустным улицам, собирались где большими кругами, где малыми, спорили, а то и речуны выступали, у кого язык хорошо ворочается.

Полицейские патрули проходили иногда, но разогнать такие толпища было им не под силу. Иногда проезжал казачий разъезд и страшно сек нагайками воздух — но только для острастки, никого не трогали.

Где узнавали охтенцы в своей толпе переодетых полицейских доглядчиков — отмолотили.

Был слух, однако, что дело добром не кончится. Что если только начнётся общий бунт — власти взорвут Пороховые, и взлетят на воздух вся Охта и пол-Питера.

Не все разошлись и к вечеру. Ещё долго шумел, бродил народ на улицах. Стали в разных местах разводить и костры, где наломавши досок от казённых заборов.

На набережной подле больницы Елизаветинской общины стояло с дюжину казаков в конном строю и посматривали на один такой костёр.

А от костра — на них. То подсмехались вслух над ними, то свистели им. Потому что — нутро бередят, зачем стоят, что за надсмотрщики? Громко об них:

— Продажные герои!

— Кудрявые лыцари!

Ино дети да подростки подбегали к ним ближе, кидали снежками. Тем — и хочется детей стегануть, да взрослые близко.

Ладно, как будто их нету. Вылез на кучу твёрдого снега один мастеровой пожилой, да и пьяненький, и голосом, как плача, рассказывает про Пятый год:

— И сам министр Витте на коленях елозил перед нашим Носарём, во как было! А — всё у нас отобрали. А всё — из-за этих длиннокудрых псов! — И рукой туда, на казаков. — Каб не ихние нагайки, так до сих пор бы… Сволочи они, вот что!

И — туда на них зазявился. И — все туда на них.

И вдруг казаки — всё слышали! — тихо двинулись. Шагом. Сюда!

Замерла толпа. И бежать стыдно — и устоять как? Боязно.

И чем бы решилось, но парень один смекнул, схватил варежкой головешку из костра — и кинул прям в них! Да метко: один казак еле увернулся, стряхнул.

Чего-то грозное крикнули.

— Я те дам, холуй царский! — крикнул кто-то отчаянно, как резали его. — Бей их, ребята!

И поддержали:

— Бей!

— Бей их!

И зашевелилась толпа — кто за головешкой, кто за ледяшкой, кто досчину остро обломанную метнул. Заревели! засвистели!

И казаки — попятились на конях. И — на поперечную улицу.

Попятились шагом — но вослед им досочки, ледяшки.

И — вскачь укинулись казаки.

— Хе-ге-ге-ей! — завеселилась, заулюлюкала толпа. — Удрали, сволочи?!

А на небе — сполохи сильные играют. Синё, красно.

41

* * *

Перед темнотой у Гостиного Двора демонстранты запели революционные песни и выкинули флаги «долой войну». Офицер

учебной команды 9-го кавалерийского полка, пришедшей на отдых в проулок у Гостиного, предупредил прекратить. В ответ из толпы раздалось несколько револьверных выстрелов, метили в офицера, а ранили одного драгуна в голову. Взвод спешился и открыл ответный огонь по толпе, убил троих и ранил десятерых. Толпа рассеялась.

Эти трупы и вносили потом в городскую думу.

* * *

Только этим вечером, третьего дня городских волнений, были посланы в Ставку первые сообщения о них: от министров внутренних дел, военного и генерала Хабалова. Изо всех трёх донесений понималось, что хотя и возникли некоторые безпорядки, они успешно и почти безкровно подавляются.

А между тем день был проигран властью во всех отношениях: было явлено толпе, что полиция изолирована от войск, а войска подавлять не будут.

* * *

Уже немало полицейских участков на окраинах было разгромлено и не имело связи с центром.

Пристава полковника Шелькина, 40 лет служившего в одном из выборгских участков, рабочие — знали его хорошо — переодели в штатское, кожаную куртку, перевязали голову платком, как раненому — и увезли перепрятать, пока полицию громят.

Пристав дальнего Пороховского участка скрылся от толпы в подъезд, там купил у швейцара лохмотья (швейцар потребовал 300 рублей) и в таком виде ночью, когда всё успокоилось, пошёл к семье на Невский.

* * *

К 10 часам вечера с Невского ушли все манифестанты до последнего, и центральные улицы стали мирно пустынны, только кое-где военно-полицейские посты. Да разъезды конной стражи, драгун, казаков.

Все демонстранты разошлись по домам и покойно спали, не опасаясь налётов, обысков, арестов.

Так идёт революция.

А днями — погода не холодная, гуляй, манифестируй.

* * *

Брат Государя, великий князь Михаил Александрович, приехал со своей супругой Натальей Брасовой на автомобиле из Гатчины в Михайловский театр на французский спектакль. Но заметив скопленья народа на Невском и узнав о сегодняшнем убийстве пристава, под тяжёлым впечатлением отказался от театра. Просидел вечер на квартире своего секретаря Джонсона, писал письма. После спектакля подъехал к театру за женой — и уехали в Гатчину.

* * *

Увеселительные места — театры, кинематографы и лучшие рестораны — были и сегодня вечером полны, как всегда. В императорском Александринском театре показывали премьеру лермонтовского «Маскарада» в необычайно роскошной даже для императорских театров постановке, её готовили несколько лет, и дорого. В конце спектакля по особому замыслу режиссёра Мейерхольда вместо обычного занавеса опускался тюлевый чёрный прозрачный с белым венком — а за ним молча проходил скелет в треуголке. Успех был грандиозный, бенефициант Юрьев в ударе, ему много аплодировали, потом чествовали при открытом занавесе — и поднесены были ему от Государя золотой портсигар с бриллиантовым орлом и от вдовствующей императрицы бриллиантовый орёл.

Однако разъезд публики произошёл мгновенно: через четверть часа после окончания не было ни одного извозчика, ни автомобиля, площадь перед театром пуста.

И город вымер.

* * *

Поздно вечером в градоначальстве выслушивались рапорты и обсуждался минувший день. Командир 1-го Донского полка Троилин решительно отрицал, что казак мог убить пристава. Полицейские чины настаивали, что именно так. Генерал Хабалов, недо-

вольный поведением казаков в эти дни, решил во всяком случае на завтра оставить их в казармах, а на смену он ждал кавалерийские части из Красного Села и Новгорода. Да с лошадьми, целый день не поенными, кавалерия выматывалась на разгоне толп, ничего не давала.

Но — что же делать? По выслушании докладов начальников военных районов все высказались за энергичное применение оружия.

Решиться на оружие? И самовольно, без приказа сверху?..

Хабалов нехотя дал согласие: если толпа большая, агрессивная и с флагами — после троекратного сигнала открывать огонь. И распорядился составлять новое воззвание к населению в решительной форме.

Охранное отделение докладывало на совещании, что бунтарство, по-видимому, будет продолжаться и завтра, но у руководителей и до сих пор нет согласованного плана.

Не было его и у Департамента полиции. Арестовывать? — кого? в каких размерах? не будет ли хуже? До арестов устрашительно-массовых ни у кого и мысль не доходила. Известных пять членов Петербургского комитета большевиков взяли всех потому, что они все собрались на одной квартире. Скольких-то взяли в по мещении Рабочей группы на Литейном. Всё-таки — не бездействие.

Приехал в градоначальство и Протопопов. Всех поразило его истерически приподнятое настроение, глаза его сияли. Произнёс напыщенную речь благодарности верным защитникам, велел объявить свою благодарность в приказе по градоначальству, молитвенно вспомнить погибших и выдать пособия раненым.

— Молитесь и надейтесь на победу!

* * *

Вечером по Невскому солдаты тянули телефонный провод. Разжигали костры — перегреться.

* * *

Пустынны были улицы, и мало кто видел: в этот вечер пылало редкое сильное Северное сияние. По небу, за облаками, метались языки света, ярко-синие, лиловые, красные.

42

Наконец в городе всё глубоко успокоилось. А в эту квартиру на Моховой, казённую квартиру председателя Совета министров в хорошем старом доме, и днём-то не шумно доносилось. А сейчас и тяжёлые оконные шторы были задёрнуты, до конца замыкая комнатное пространство. И внутри был отчётливо слышен каждый звук отдельно — негромкие переговоры министров, и все двенадцать звонко-втягивающих ударов полночи в коробке стоячих пристенных часов.

Где только не заседал этот Совет министров (не вовсе этот, не слишком этот, потому что состав его менялся, менялся, менялся), — и в Зимнем дворце, и в Мариинском, и в Елагином, и в Ставке, и в Петергофе под председательством самого Государя, когда в мундирах со всеми орденами, когда в чёрных сюртуках, когда в ослепительно белых кителях. Но даже и давнишние здесь министры — трёхлетний Барк, двухлетний Шаховской (а самый давний Григорович болел, не присутствовал) — никогда не заседали на этой квартире, ни при Горемыкине, ни при Штюрмере, ни при Трепове. Это правительство своею кожею не помнило тех лет, когда министров рвали на бомбах, — и не было обстоятельств, чтобы встречаться им так поздно и так тайно. Не хотелось ли князю Голицыну два раза ехать по городу — он назначил заседание не в Мариинском, а тут, у себя, когда всё успокоится. И автомобили министров были закачены с улицы во двор, чтобы снаружи не привлекать внимания.

Никто не мог бы подумать или укорить, что они прятались: они могли другого времени не найти за тревожный день из-за городских волнений. А теперь, передвинувшись в ночь, они как бы переехали в другой, спокойный город.

Но сами-то понимали, что — прячутся.

В этой квартире предусмотрены были комнаты для торжественных приёмов и раутов, а вот комнаты для делового заседания не было. Собирались в большой гостиной и рассаживались где придётся — за овально-фигурным лакированным столиком, за малым круглым в стороне, просто в креслах, стульях, стоящих отдельно, и на золочёном диване с тёмно-зелёной бархатной обивкой. Горела верхняя люстра, но не слишком ярко, не так, чтобы много писать, — да как будто не предполагалось протокола этого ночного

заседания, не было секретаря, и сами министры не выражали склонности записывать.

Не сразу собрались, неровно. Пока разговаривали частно, негромко, по двое, по трое, больше и не о делах. Подлинно объединённым правительством они никогда и не были: каждый министр мог вести политику своего ведомства довольно независимо, сам докладывая Государю и от него получая указания, а дела политики внешней и военной министрами вовсе не заслушивались, и даже председатель мало знал о них. А сейчас ещё — министры были много раз перетрясены, обновлены, пятеро было двухмесячных, включая и самого председателя, трое — всего лишь с ноября, они ещё и не все перезнакомились как следует, и каждый день ожидали новых перестановок и увольнений, всё это не придавало уверенности.

Среди собравшихся выделялся отнюдь не министр-председатель, а прокурор Святейшего Синода Раев — мужчина крупный, в расцвете лет и сил, безотносительно к своему духовному поприщу весь налитый здоровостью, весёлостью и плотоядием. И в масляном взоре его и в усах дуговых, кавалерски вскинутых, выражалось это радостное поглощение жизни. Да он и держался здесь едва ли не всех свободнее — шутка ли, на посту уже состоял полгода, ветеран.

А самые-то ветераны, Барк и Шаховской, от этих частых смен тем более чувствовали себя здесь засидевшимися, чужими, они были последние из тех восьми министров, кто дерзнул подписать коллективный ультиматум Государю в Пятнадцатом году (тогда такая волна была дерзкая), пятеро давно были уволены, один умер — а их вот и не отпускали. Уже по дважды и по трижды они просили у Государя отставки, не ожидая, пока их прогонят, — а он всё не давал им увольнения. Впрочем, Барк до последних тревожных месяцев и сам держался умело. Слишком долгий путь он шёл к министру финансов — ещё Столыпину обещал русификацию кредита, а попавши в министры, стал невольно расширять космополитичность его, и сам вёл крупный банк и тесен был с банкирами Манусом и Рубинштейном, и не давал провести государственный надзор над банками, нравился Горемыкину, не дерзил Распутину, избегал острых диспутов в Совете министров, угождал англичанам и считался незаменимым у Государя. Но зачем это всё теперь, когда остро ощущал он, что всё здание шатается?

А ещё в эти дни Барк — упитанный здоровяк, с толстыми, далеко разведенными и тоже вскрученными усами, был в нервных нарывах, сидел больной и безучастный.

Печально-полусонный, вчуже поглядывая, сидел на диване Покровский — любимец общества, знаток экономики, но с контролёрства вот назначен с ноября на министерство иностранных дел, как всех теперь назначали неуместно. За эти три месяца он уже четырежды просил у Государя отставку — и не получал.

А лысый старичок Кульчицкий, с января министр просвещения, как будто нарочно взятый из грибоедовских персонажей очаковских времён, — сидел в углу с выражением недоуменным, как будто он недослышивал или недовиживал, не приёмист к мыслям извне.

Никто в комнате не курил.

Всего в правительстве состояло роковое число тринадцать. Четырнадцатого, министерства народного здравия, Дума никак не давала создать. Только неявкой того или другого министра, как сегодня морского — Григоровича, обещало сохраниться приличное число двенадцать. Впрочем, никак не ехал Протопопов, его и ждали.

Впрочем, на сегодняшнее заседание ещё были вызваны командующий Военным округом Хабалов и градоначальник Балк. Они прибыли раньше и уже сидели, как раз по обе стороны от стоячих часов.

По обе стороны часовой башенки сидели как будто сторожами далеко укрученных стрелок утекающего ночного времени.

Протопопов как раз и опаздывал, всех задерживая! Но в такие грозные дни министр внутренних дел мог быть и занят несравненно с ними, остальными?

Протопопов — не ехал, а ещё бы лучше совсем не доехал, сломил бы где-нибудь голову. Без него — даже этот пёстрый кабинет, кажется, мог бы существовать, мог бы прийти к согласию. Но не с ним!

Наконец появился — в великолепно сшитом костюме, сером, в цвет к седеющим тёмно-русым волосам, с великолепными, тонко подкрученными, на дамский вкус, усами на гладком бритом лице, и так на ходу чуть поводя присогнутыми локтями, как если б он ими слегка-слегка отряхивался. Очень хорошо он был бы сложен, если б не сутуловат.

Итак, они могли начать? — князь Голицын сидел у стены в кресле с высокой спинкой, ею подравнивая слабую спину. Да вот начать с неприятного объяснения: что там за аресты произошли сегодня вечером, и опять в этой злополучной «Рабочей группе»? В такой важный острый момент — как можно допустить такую неосторожность?

Протопопов был похож на только что разгримированного артиста с ещё не угасшим острым взором от сложной психологической роли, с задержавшимися оттуда и движениями, слишком эффектными для здешнего серого сборища. Ещё он весь витал на тех высотах, а тут его спрашивали… ?

Нет, он решительно ничего не знает об этом случае.

Но как это может быть? Как будто специально для агитации — на ту же болячку… Вот и Керенский уже схватился, и Гучков. В нынешней раскалённой обстановке разве можем мы допускать?..

Нет, нет, дорогие мои, министр внутренних дел ничего не знает. (У Протопопова была такая привычка: говорить «дорогой мой» даже по первому знакомству, а уж после десятка фраз — с несомненностью. Из него изливал избыток доброжелательства, и даже так сладко-льстива была его манера разговаривать, что его и называли «Сахаром Медовичем».)

Но тогда нам объяснит господин градоначальник?

Нет, генерал Балк тоже не знает.

А генерал Хабалов?

Тем более.

Ах, вот упустили: нужно вызвать сюда ещё начальника Департамента полиции.

Пожалуйста. Чуть отряхиваясь локтями, Протопопов сходил к телефону и вызвал.

Вообще, жаловался Голицын, в городской думе этим вечером произошёл ужасный революционный митинг. Собрались для организации хлебных карточек, а перешли к требованию сместить правительство!

Кое-кто об этом уже слышал, а Протопопов — нет, не слышал.

Князь Голицын, как новичок в правительстве, ещё не совсем привык, но, впрочем, как всякий русский образованный горожанин должен был бы и привыкнуть: любое собрание в крупном русском городе для того и собирается, чтобы потребовать отставки ненавистного мерзкого правительства, а пока перейти к действию безо всякого правительства.

И будь ты хоть не без ума и способностей, но вступив в эту проклинаемую кучку — каково тебе в этом правительстве быть?

Князь Голицын в 66 лет ещё был бы и не стар, да уж очень донимала его подагра, отчего ноги порой приходилось просто волочить, подхрамывал. И с зубами был не полный порядок, слегка присюсюкивал. А ещё — он вовсе, вовсе был лишён инстинкта власти, — и вот пребывал в состоянии безысходной озабоченности от момента своего внезапного назначения под Новый год — назначения, которого он никогда не домогался, не ждал, и даже просто умолял Государя, чтобы чаша сия миновала его, и чернил себя перед Государем как только мог, и объяснял, что устарел от своих давних губернаторств, не способен, 14 лет его работа была не государственная, а судебная, сенаторская, назначение будет неудачно, — всё тщетно: рекомендовала его императрица! И сразу после Нового года князь снова был высочайше принят, и отважился нарисовать Государю мрачную картину состояния умов, особенно в Москве и Петрограде, и что даже жизнь царственной четы в опасности, в гвардейских полках открыто говорят о провозглашении другого царя! Но, к изумлению Голицына, Государь ответил невозмутимо: «Мы — в руке Божьей, и да будет воля Его». И тогда с новой силой князь взмолился об отставке — и снова отказ.

И вот, едва начав, — доправился до нынешних тревожных дней, и резолюции о ненавистном, мерзком правительстве сыпались на его среброволосую голову.

И что это за стрельба около часовни Гостиного Двора? — как раз же рядом с городской думой и как раз же перед началом её заседания! нарочно не подгонишь! Как же генерал Хабалов объяснит: трое суток мы воздерживаемся от стрельбы, в этом наша тактика, — и именно в такой момент и в таком месте стреляем?

Хабалов, низко на мягком стуле у башенки часов, как незаконно присевший часовой, теперь тяжело поднял грузное тело. Это был генерал солдатского типа, туповатый на вид.

Мы и воздерживались. Но если войска при оружии, то и нельзя отвечать за каждый ствол. Из толпы стреляли раньше.

Но мы, настаивал князь, только на том и держимся, что не стреляем.

Протопопов, с лёгкой морщью лба и перебирая пальцами свой оголённый раздвоенный подбородок, беглым замечанием, как полупропущенная реплика, возразил, что как раз наоборот: безпорядки должны подавляться только силой.

Так может быть, министр осветит события подробней?

Увы, оживляющийся тон Протопопова сразу и опал. Он этими событиями непосредственно не занят. Вот здесь командующий Округом, вот градоначальник.

Голицын старался ровно держать больное тело и говорил строго вежливо, но уже и он был измучен этим Протопоповым, как язвой, — за что этой мукой наградил их всех Государь? Голицын на высочайшей аудиенции девять дней назад от имени всех министров и уже не первый раз просил Государя освободить их от такого коллеги — и тщетно.

Тогда попросим его превосходительство командующего Округом?

И опять поднялся тяжёлый Хабалов. Особенно после легколётной, полурассеянной протопоповской манеры Хабалов выказывался тяжелодумом. Как медленно выползали его слова, сколько времени отнимали! — да это мычанье было скорей, и без ясной связи. Вот он говорил — а всё не складывалось: так что же именно происходит, и насколько успешно для правительства? И какие меры он предполагает дальше? И чьим капризом он высунулся из всеобщего незнания, из захолустного уральского края — да на столичный Военный округ, на вершинный пост Петрограда? Никто его тут близко не знал, никто не мог вспомнить за ним ни одного боя.

В общем, Хабалов предполагал, что безпорядки прекратит. Количество пехоты — достаточно, а кавалерию он ещё усилит, вызовет добавочный полк. Да сейчас он ещё не может доложить всех подробностей, так как до полуночи ещё не получил донесений от начальников всех войсковых частей.

И правда, сколько раз другие волнения кончались — отчего бы и этим не кончиться?..

Да пристало бы тут спросить высшего военного мнения — военного министра Беляева? Но генерал Беляев как пришёл своей нетвёрдой походкой — сидел в уголке дивана беззвучный, насупленный, узенький, впалогрудый, редковолосый, а с глазками, так углублёнными в глазницы, — настоящая «мёртвая голова», как звали его в армии. И не высматривал из глазных впадин, а так и пребывал темно углублён в себя, — даже вызывала сомнение его подлинность: он — человек или маленькая кукла?

Он не только не просил слова, но он всем отстранённым видом показывал, чтоб его не смели спрашивать и не смели к нему притрагиваться. Если морского министра нет, то зачем тут он, военный, сидит — неизвестно. Лишний человек, зачем-то втянутый в их глупую политику, его дело — снабжать воюющую армию. (Он и был назначен с Нового года министром за то, что говорил по-английски и по-французски и имел опыт поездок за границу по военному снабжению.) Если министр внутренних дел ничего не может сказать, то почему должен знать военный?

Тогда — попросили доклад от градоначальника Балка. Этот был — специалист полицейского дела, но, увы, лишь недавно назначенный из Варшавы, а в Петрограде тоже чужой. Всё же он описал главные события этих трёх дней — с профессиональной резкой точностью полицейских донесений, прочитывая с бумаги и точные места, и точные часы-минуты.

И вдруг — этих событий выгрудилось сразу так много, и таких жестоких, — они переваливали через представления министров, хоть и проезжавших по улицам в эти дни, но не попадавших в главную сутолочь.

Так что ж это делается, позвольте, господа? — вполне серьёзно некоторые задумались лишь впервые.

Кульчицкий тревожно выставил одно ухо — и как будто всё слышал.

Министр юстиции сенатор Добровольский не скрыл не то что кислую, но отчаянную гримасу. Светский человек и бонвиван, однако замученный трёхлетней болезнью жены (и полтора года она без сознания), запутанный в денежных долгах и векселях, он так добивался министерского поста, так рассчитывал поправить свои дела, — и только назначен в декабре — и вот попал теперь, зачем и добивался?

Ах, какие незаконно вторгшиеся события, отвлекающие от главных дел. В голове энергичного маленького Шаховского — снабжение железом, расценки по нефти, закупка в Америке новых рудничных машин — а тут?..

А уж лысый Кригер-Войновский, всю жизнь страстный инженер — по тяге, по движению, по эксплуатации подвижного состава, никогда не знал ни свободных вечеров, ни воскресений. А вот пришлось принять с декабря управление министерством путей. От сильных морозов полопались трубы в локомотивах — а тут какие-то городские волнения, что такое, зачем?

Да и всё правительство собралось вовсе не для того, чтоб этими досадными петроградскими волнениями заниматься. У прави-

тельства своя извечная проблема — война с Государственной Думой, а не случайные городские безпорядки.

У градоначальника прозвучала и жалоба на армию: что полиция сопротивляется одна, несёт потери, многие же армейские части вовсе бездействуют.

Хабалов молчал, будто к нему не относится.

Какие же меры предполагает генерал Хабалов для водворения порядка?

Генерал отвечал без уверенности. Даже — и пресекая оружием. Сейчас печатаются и до рассвета будут расклеены по городу объявления в большом количестве, что скопища будут рассеиваться оружием.

А — правильно ли это будет? — прошло по министрам сжатие.

Покровский, едва за пятьдесят, обычно вяловатый, с приспущенными веками, обвисшими усами, в речи и обращении всегда мягкий, — тут твёрже обычного выразил, что подавлять оружием ни в коем случае нельзя, подавление не поможет. А надо — идти на крупные уступки.

Но это уже был разговор внутренний. Князь Голицын отпустил Хабалова и Балка.

И, уже никем не охраняемые, часовые стрелки закатывались далеко за час ночи.

Министры негодовали, что военное командование ничего не знает и не умеет.

То — не прения были, мнения не подсчитывались, а так, скольжение мыслей рядом и вокруг. Покровского поддерживает общество, к нему надо прислушаться. Но министры имеют слишком мало власти, далёкий Государь не уполномочил свой кабинет на такие действия — «крупные уступки». Да, конечно, какие-то реформы нужны — но разве Государя переубедишь?

Кульчицкий поворачивал ухо на каждого говорящего, а сам ничего не выражал. У Раева был вид самый удовлетворённый, у Добровольского самый кислый, но они не вмешивались. У Барка нарывы, Беляев, может быть, просто нарисован на канцелярской промокательной бумаге, глаза за большим пенсне, а усы приклеены? Протопопов отдыхал, красиво закинув голову. Тревожными фразами обменивались Риттих, Шаховской, Кригер — все деловые. Но и они знали каждый только своё ведомство и не ведали, что делать против неугомонной толпы.

Если развешивать такое объявление — так это что ж, начало осадного положения?

Осадное положение имело бы то преимущество, что тогда по закону прекратились бы всякие собрания, — а значит, и занятия невыносимой Государственной Думы? Или нет?

Распространяется ли на Думу? Это спорный вопрос.

Да вот какая теплилась надежда у князя Голицына: завтра — воскресенье, в воскресенье забастовка не имеет смысла, её нет, и на улицу не повалят, каждому своё время будет жаль, — и так всё утихнет? Так и кончится, дай Бог?

В этом правительстве, столько раз за войну сменявшемся, сменявшемся, сменявшемся — до потери уверенности, до потери значения каждого, и где половина, включая председателя, только и думала, как бы отделаться от своей должности, — на что ж и могла быть надежда? — на умеренность, на соглашение, на течение времени. В этих двенадцати грудях оставался ли хоть кубик настоящей борьбы?

Оставался. В министре земледелия Риттихе, по молодости втором. Из младших сотрудников Столыпина, он и с Думой состязался безстрашно, как было забыто со столыпинских времён, — и сейчас, не теряя достойного вида, отличных манер, с пенсне на привскинутой голове, говорил твёрдо, волнуясь.

Что жестоким уличным безпорядкам и массовому калечению полиции может быть противопоставлена только сила и ничто другое, как это и делается во всякой иной стране, хотя бы и Франции, в подобных обстоятельствах. Если в войска уже стреляют из толпы — то что же остаётся войскам? Безпорядки потому и приняли такой затяжной характер, что власти хотели избежать кровопролития. Но ужас перед пролитием крови обманчив: если упустить время, прольются несравненно бóльшие потоки, даже моря крови. Только решимость не останавливаться перед немногими жертвами может остановить это расхлябанье.

Очень непреклонно и неприкрыто это сказал. Все стихли.

И тогда Покровский, кривя губы, несильным голосом, но с призвуком насмешки отозвался:

— Вздор. Вот это и есть губительный путь, Девятое января. Только — крупные уступки. И безотлагательно.

Надо было на что-то решаться? О, как не хотелось! Да смеют ли они без Государя? А он — в Ставке.

О, скорей бы возвращался Государь! (Да всего-то три дня как уехал.)

Тут доложили о прибытии вызванного начальника Департамента полиции. Пригласили его для объяснения.

Какие бывали раньше легендарные главы полиции! — всем существом в струне полицейской службы, воодушевлённые вровень с революционерами и полагавшие собственную жизнь на защиту политического строя. Вошедший действительный статский советник Васильев был — нет, совсем не из них. Показался он неуверенным, даже жалким — и только один Протопопов озарился ласковой к нему улыбкой. Имя «Васильев» никогда не гремело, и тут не помнили, как он выдвинулся и почему. (А нравился он жизнелюбивому Курлову тем, что за службой не забывал себя, любил выпить, играл в карты. При Курлове он хорошо поднимался, потом застыл, а сейчас при коротком возврате Курлова в министерство, под его рукой, стал директором департамента.)

Место щекотливое, но Васильев старался не замазаться в реакционность, а слишком мрачные предсказания петроградского Охранного отделения последние месяцы освобождал от пессимизма, чтобы не огорчать начальство. Так и сейчас в эту тихую ночную комнату Васильев вступил не овеянный, не обуренный событиями этих дней, но с подсчётом своих донесений.

Смотрели на этого Васильева. И видно, что — не настоящий. А не ущипнёшь, доводы сходятся у него. Отпустили.

А Васильев, кланяясь, напомнил почтительным взглядом Протопопову: сегодня ждёт министра к воскресному обеду, ведь вон уже воскресенье, стрелки — за два часа завалились.

И никто не мог удержать их хода.

Ах, какая отдохновительная тишина в отшумевшей ночной столице! И что бы ей задержаться на наступающее воскресенье! И потом после воскресенья?..

Да главный-то вопрос был — не улица сама, а конечно — Государственная Дума. Она-то и была возбуждающий центр волнений, она и поддерживала духом своим безпорядки. Но она же могла стать и ключом к успокоению, если с ним освоиться? Завтра, в воскресенье, не будет и Думы, как хорошо. Но в понедельник там ожидаются резкие речи — и как их остановить?

Покровский, мало шевелясь на своём диване, меланхолически отозвался, что с Думой надо ладить, с Думой надо уметь работать, а без Думы жить нельзя.

Как ни уныло это было произнесено, но очень убедительно. Да эти запуганные измученные министры только и искали, как бы поладить с Думой. Восклицания думских ораторов — это были ужалы от тучи ос, министры не знали, как отмахиваться.

Как же, однако, с нею можно поладить, возражал уверенно Риттих, если вот по хлебному вопросу после всех речей совершенно ясно, что Дума ничего существенного не может возразить против мероприятий министра земледелия, а одобрить голосованием тоже не может, потому что никто в Думе не имеет морального права соглашаться с правительством.

А у князя Голицына тут, дома, в столе, лежал уже подписанный Государем указ о перерыве думских занятий — и он уполномочен был проставить число и опубликовать. Но — что верно? Прервать Думу? А не лучше ли сговориться? Худой мир всегда лучше доброй ссоры. И тогда просить членов Думы своим престижем облагоразумить толпу? — вот и самый лучший выход из волнений.

Покровский, от спинки дивана, устало и как об известном: но для этого кабинету придётся принять все требования Думы. И может быть — уйти самому.

Деляга Кригер-Войновский: если этот состав правительства не угоден Думе — так и разумнее всего ему уйти в отставку.

И опять Покровский, без энергии, но это так ясно:

— Да, господа, это единственный выход! Немедленно всем нам отправиться к Государю-императору и молить Его Величество заменить нас всех другими людьми. Мы — не снискали доверия страны и, оставаясь на своих постах, ничего не достигнем.

И самовдохновлённому Протопопову всё более приходилось спуститься в это заседание с высоты, где он витал. Никогда он не баловал заседания кабинета длинными выступлениями, справедливо понимая, что не здесь, а в других, частных и высших, аудиенциях решаются все дела. Но поскольку тут действительно начинали доверяться собственному заблуждению — может быть, впору было им и объяснить?

И стал объяснять описательно, стараясь при этом быть очаровательным. Министры переглядывались: во всём повышенно подвижном лице Протопопова, остро-переброcливых глазах, а улыбке при этом растерянной, — была же явная сумасшедшинка? Весьма опасная для министра внутренних дел.

А Протопопов не понимал, как они не понимают такого ясного? Как же можно складывать и отдавать портфели, когда в столи-

це бунтует чернь? Дума — слишком взвинчивает настроение страны, нам с ней не дотянуть до конца войны. Надо перестать забегать и заискивать перед Думой! Она стала средоточием революции — и её надо вовсе распустить. Не на короткий срок прервать, но — распустить, закрыть совсем, до осени, — а осенью полномочия её кончаются, будем выбирать Пятую.

Распустить Думу — совсем? Министры отшатнулись от такого ужаса.

— Ничего особенного! — победоносно декламировал Протопопов. — Япония одиннадцать раз распускала парламент, почему мы не можем?..

Но, к облегчению, вопрос не стоял так срочно именно сегодня. В воскресенье Дума не заседает, прерывать её или не прерывать можно только с понедельника.

Так нельзя ли было бы — и договориться с Думой по-хорошему? Чтобы не было этих возбудительных речей, которые жалят и воспаляют публику. Не попробовать ли завтра, пользуясь воскресеньем, войти в сношения с лидерами фракций и личным обменом мнений выяснить возможный компромисс? Позондировать настроения благоразумных членов Думы.

Вот Покровский наиболее вхож в думские круги. И для равновесия ему — Риттих, противоположная точка. И как-нибудь договориться, чтоб выйти из положения. Тихо, мирно.

А Голицын попробует завтра поговорить с самим Родзянкой.

В эту тихую ночь, и уже к трём часам, таким усталым, ка́к им хотелось — тихо, мирно.

Они ещё не знали, что в этот самый вечер городская дума постановила: «С этим правительством, обагрившим руки народной кровью…»

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

43

* * *

В градоначальство под утро явился пороховский пристав, который вчера покупал себе лохмотья у швейцара, — и доложил, что пороховский участок больше не существует. И подсчитать убитых и раненых полицейских — некому.

* * *

Утром 26 февраля на стенах Петрограда появилось ещё новое объявление:

«Последние дни в Петрограде произошли безпорядки, сопровождавшиеся насилиями и посягательствами на жизнь воинских и полицейских чинов.

Воспрещаю всякие скопления на улицах.

Предваряю население Петрограда, что мною подтверждено войскам употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для наведения порядка в столице.

Командующий Петроградским Военным округом
ген.-лейт. Хабалов».

Но как это объявление было уже третье подряд, а и первые два не выполнены, то и это не звучало. Если до сих пор не стреляли — то уж, видно, не будут стрелять.

Да и прочли объявление поздно: воскресенье, не торопились подыматься, не торопились на улицу выходить.

Мимо приказов шли, почти не читая.

* * *

Сегодня в Петрограде не вышла ни одна крупная газета.

Вчера был первый день без трамваев, сегодня — первый день без извозчиков: напуганные угрозами, они не выехали нигде.

Фабричные районы замерли: не гудели, не дымили заводы, не дребезжал трамвай. Только громыхали ещё поезда пригородных железных дорог. На четвёртый день забастовки утянуло из воздуха всю муть. Небывало чистое небо.

* * *

Сегодня с утра в рабочих районах полиция уже не появлялась, даже и конная.

Среди рабочих слух, что в Москве и в Нижнем Новгороде то же самое творится, что и в Петрограде, наша берёт!

* * *

Василеостровские большевики собрали собрание на 14-й линии. Всем раздавали заготовленные воззвания к солдатам. И приняли: продолжать демонстративные выступления, доводя до крайних пределов; собирать оружие для боевых дружин; разоружать городовых неожиданными нападениями.

* * *

В городской образованной публике такой слух: все эти волнения правительство допускает нарочно, чтоб изобразить революцию и иметь право на сепаратный мир. И будто многие демонстранты — не рабочие, а переодетые дворники.

* * *

Только в самом центре ещё стоят сдвоенные посты городовых. Их всегда привыкли видеть уверенными, строгими, так странно — растерянными.

Зато войск сегодня было выведено больше, чем те дни. Все невские мосты и протоптанные переходы по Неве охранялись цепями патрулей.

Но малыми группами, как бы семейными, рабочих пропускали.

А где валили уже и большими группами, запрещёнными, топтали и новые дорожки через Неву.

И солдаты отворачивались, чтоб не видеть.

К самим патрулям теснились рабочие, работницы и уговаривали их.

Все эти цепи и патрули тоже были как вымученные: будто ждали насилия над собой. Будто даже хотели, чтоб их прорвали, разоружили.

44

С утра Шингарёв позвонил в несколько мест Петрограда своим знакомым, кто мог бы видеть новые уличные события. Все отвечали, что ничего не происходит, спокойное воскресное утро.

А вчера в городской думе так бурлило, не поверить бы, что разойдутся, успокоятся, опустеет. Андрей Иваныч и спал тревожно, ему и мерещились толпы, сборища, состояние невозвратимо упускаемого чего-то. Никак не разумно было бы желать новых волнений — а из внутреннего задора почему-то желалось! Совсем странно было, что вот — спокойное утро, нигде ничего. И можно было заняться какой-то работой? А у него и неотложное лежало, были материалы военно-морской комиссии, послезавтра заседание. А сегодня днём в 3 часа — заседание бюро Блока. Но сейчас, с утра, можно позаниматься.

Хлеба в доме не было, вчера за свежим девочки не стояли, а тот уже подъели. А высших сортов Шингарёвы принципиально не покупали. Андрей Иваныч выпил кофе с сыром, поговорил немного с девочками, радуясь их цветению и беззаботности, обещал, что этим летом поедут в Грачёвку вместе. И пошёл в кабинет.

Не так сразу голова и переключалась: инерция вчерашнего бурного вечера и вся эта продовольственная перебудоражка, да и после собственных выступлений в Думе Андрей Иваныч не быстро отходил. В последние месяцы втрепало его ещё и в продовольствие, но, вот они, лежали глубинные дела, от которых воистину зависела судьба России; как продолжено в последние недели, после союзнической конференции, снабжение армии к весеннему на-

ступлению? Уже второй год занимаясь военным бюджетом, этим цифрам Шингарёв мог только изумляться, год назад и присниться не могло ничто подобное: за всю войну до конца 1916 мы произвели 34 миллиона выстрелов, а сейчас наготовлено было 72 миллиона. Через месяц русская армия начнёт наступать — и поразит врага такой лавиной огня, какой никогда на Восточном фронте не бывало, а только под Верденом.

И собственно, это одно перевешивало и решало всё. И несомненность близкой русской победы. И значит, зря вся их горячка думских боёв: власть — останется на своём месте, самое большее — сшибут одного-двух министров. Который раз из полной, кажется, безвыходности *они* выскальзывали.

Работы тут было довольно — по соотношению казённых и частных заказов, по срокам и долям оплаты. Но мысль Андрея Ивановича с трудом сосредотачивалась на деталях, а по разгону этих дней всё текла в каком-то общем виде. В общем виде — и в общей какой-то неуяснённости, недоверии или тревоге. Цифры были самые ободрительные для русской победы, а настроение всё равно смутное. Смысл отчёта был самый неуклонный, — но какое-то заползающее чувство повевало тревожным холодком и мешало терпеливой работе.

Тут раздался не звонок в дверь, но почему-то стук — троекратный, а как будто клювом птицы. Как будто в дверь, но он не повторялся и даже не был похож на то, как обычно стучат. Фроня не отозвалась, да ей было и дальше. Может — и не было стука? Андрей Иваныч всё же пошёл проверить.

А за дверью таки стоял — не птица, а в пальто и в мягкой шапке пирожком — высокий, но теряющий рост на сутулости, никак не старый человек, но и не молодой, с прекрасными напряжёнными глазами, по которым на светлой лестнице сразу и узнавался — Струве!

— Пётр Бернгардович! А я думал — послышалось. Вы почему же не позвонили?

Впустую было его и спрашивать: не видел он кнопки звонка. Он мог и полной аудитории не заметить: прийти на лекцию, подняться к кафедре, достать из портфеля книгу и стать её про себя читать.

Со своим удивлением навстречу:

— Андрей Иваныч, вы дома сидите? Как это?

— А что же? — ёкнуло у Шингарёва.

— К Василию Витальичу я зашёл — его нет, — милым оскрипшим голосом то ли жаловался, то ли хвалил. — Хорошо, вспомнил, что вы в этом же доме.

— Да что же случилось? Да зайдите, Пётр Бернгардович, раздевайтесь.

— Где там раздеваться, — с безпокойством ответил Струве, поводя головой, поводя. — Надо идти. — И оставался на лестнице. Была в его руках одна простая ходовая палка с крученой головкой, больше ничего. Где пуговица недостёгнута, где горбилось пальто, рыжеватая и с проседью редкая бородка не подстрижена, но смешного ничего, а передавалась едва ль не жуть.

— Куда ж идти?

— Не знаю, — тревожно отвечал Струве и покручивал в пальцах головку палки.

— Да что же случилось?

От сутулости и приклонённости головы у Струве манера смотреть получалась как бы исподлобья и оттого пронизывающая, да ещё через пенсне. Нутряно-тревожным голосом отозвался:

— Андрей Иваныч, неужели вы не чувствуете? Да как же можно в квартире сейчас усидеть? Я, например, не мог… Я даже среди ночи проснулся… Да ведь где-то что-то… А?

Он повёл головой вкруговую, с недоверчивостью — как будто вынюхивал гарь, не горит ли их дом тут.

И в Шингарёве сразу соединилась эта тревога гостя с его собственным неуложенным чувством. Вдруг отдалось ему, что не могло не быть событий, никак не могло, верно! — только о них ещё неизвестно. И все, кто его по телефону успокаивали, — ошибались. А сердце говорило правильно. И на окраине в четырёх стенах всё просидишь и пропустишь.

Сразу объяло его — и теперь уже, он чувствовал, если и не пойдёт со Струве, то всё равно дома не усидит, покоя не будет. Конечно рано — 10 часов, а бюро Блока в 3, но там, в думской комнате, была у него и другая работа. И в такие дни правильней всего находиться в Думе конечно.

— А вы на чём приехали, Пётр Бернгардович?

— На чём же! Извозчиков нет. На одиннадцатом номере, вот с палкой.

Это из Сосновки, от Политехнического! Был Струве на год моложе Шингарёва, но от сутулости, от некрепости, от пренебрежения телом вызывал к себе ощущение едва ли не как к старику.

Тело его было — временное, неудобное помещение для духа, и перемещалось не по своим потребностям, а как духу было надо. И даже часто очень подвижно.

Нет, теперь окончательно не усидеть! Тревога так и побежала по коже. Сказал Фроне. Оделся и сам. Пошли.

Ловил себя на том, что хотелось поддерживать Струве на спуске с лестницы, на шагах через пороги. А ведь ничего, и без лифта поднялся.

Стоял ясный морозный день, градусов на восемь Реомюра. На улицах было совершенно спокойно, и даже пустей обычного. И даже казалось, после вчерашнего гула, что люди разговаривают вполголоса.

Правда, легче, когда ноги движутся: столько накопилось за эти дни, на месте трудно сидеть.

С Большой Монетной свернули на Каменноостровский — и нигде не видели следов волнений или погромов, не попадались им и разбитые магазинные витрины. Тем более Каменноостровский без трамваев и извозчиков казался пуст. Без трамвайного грохота и звонков — казалось бы, спокойнее нервам?

Нет.

— Обойдётся, — успокаивался Шингарёв. (Или, наоборот, разочаровывался? Какое-то раздвоенное чувство.) И с чего им обоим показалось? Город был мирен, как никогда, всё кончилось. — И хорошо, потому что с этими безпорядками до чего докатилось бы… Не обойдётся только с нашим правительством. Терпеть его — невозможно.

— Зато посмотрите, как терпят *они*, — рыжеватыми бровями над пенсне увеличивал Струве ищущий охват своих глаз. — Просто ангелы терпения. Не стреляют, а? Ведь никакая бы немецкая, английская полиция не выдержала? — Шёл и приспотыкивался о бугорки утоптанного снега. — Андрей Иваныч, никакое рассмотрение не плодотворно, пока не исследуешь точку зрения противника. Станем на их точку зрения: а что им делать?

Шингарёв кому только не пересочувствовал за жизнь! Но не хватало ему ещё забот — ломать голову: что делать *им*?

— Уходить! — безжалостно знал. — Если мы мало терпели их, то сколько можно ещё? Камни треснут!

Ноги Струве не ступали уверенно, это не были здоровые ноги, перетомившиеся от сидения.

— Уходить?? — неловко пошатнулся он и подкрепил пенсне. — Но это не нормальное человеческое движение. А скажите: что́ мы им оставляем делать последние, ну, пятнадцать?

Дней, понял Шингарёв, Струве не всегда кончал фразы.

— Да почему ещё в этой хлебной катавасии я должен за них…

— Лет! — неожиданно докончил Струве.

— Что лет?

— Пятнадцать. Скажите… Если будет политическое сотрясение, мы… не… ?

— Что?

— Обеднеем?

— Да в чём же?

— А… а… — потянул. — Духовный организм, возникающий из толпы… это загадка для мистиков. А — что мы там черпнём в недрах народного духа?

Шингарёв покосился с удивлением. Это и был человек удивительный, давно известно, ни на кого не похожий. В бурном русле русской политики он всю жизнь брёл, как и все брели, понуждаемый мощным течением, — но, не как все, ещё совершал непрерывное боковое перемещение: губернаторский сын, начал у самого левого берега — с анонимного «открытого письма Николаю II» в ответ на его «безсмысленные мечтания». Потом — автор первого манифеста РСДРП и создатель социал-демократической партии у нас. Тут же вскоре вослед что-то заговорил о Боге, первый среди марксистов. Передвинулся чуть правей, но — в крайние радикалы: главный редактор незабываемого «Освобождения», безпощадный грозный эмигрант герценовского размаха, «штутгартский рыцарь». Однако уже с первых дней свободы Пятого года — затаённый первый «веховец» ещё не задуманных «Вех», и уже с этих пор его жизнь была — вереница вызовов общественному мнению. В кадеты он вступил с большими колебаниями, после милюковских уговоров. И дальше, слева направо, он перешёл, перебрёл весь кадетский поток, перебыл и членом ЦК кадетов, и депутатом гневной Второй Думы (где Шингарёв, разумеется, не подымался из кресла выслушивать тронную речь, а Струве всех поразил, поднявшись). И сбивался всё правей, сердя Милюкова, наконец в позапрошлом году и вовсе вышел из партии. С думской трибуны он оказался негоден, слишком комнатен, невнятен, да вообще не давалась ему практическая политика. Но отчётливое у него было перо, и, поведя «Русскую

мысль», он уверенно продолжал всё то же движение: из оппозиции — и вправо, в государственника, патриота. И когда в первое военное лето понадобилось от имени Верховного Главнокомандующего писать воззвание к полякам наполеоновским языком — то совсем неожиданно для этого пригодился Струве. И вот сегодня на Монетную он пришёл сперва к Шульгину, а не к Шингарёву. Уже сильно прибивало его к правому берегу. А вместе с тем — как будто никуда и не уходил, оставался свой вполне.

— Да что же, Пётр Бернгардыч, мы можем в народном духе черпнуть, кроме самой здоровой, родниковой основы? На этом — вся наша вера, вся наша деятельность, двадцать — тридцать — сорок лет…

Да что доказывать, обоим ясно.

Но Струве — не было ясно. Он — запнулся в ходьбе, остановился, не сразу нашёлся в речи. Голова его приклонялась, и взор был снизу вверх:

— А — удержимся ли мы в чувстве меры?.. Свободное избрание путей — о-о-о… На строгую свободу духа способны очень немногие.

— Ну-у! ну-у! Что уж вы в такую высь заоблачную!

Струве укрепил пенсне на носу и смотрел, высвечивая взглядом, что не вталкивалось в речь:

— А если мы не достигнем э т о й свободы — то не освободят нас и самые свободные политические формы. Возможность свободы — ещё не есть свобода.

— Да о том ли речь! — отмахивался Шингарёв. — Нам бы — посадить толковых министров. Улучшить веденье войны, чтоб её не проиграть. Снабжение фронта и городов. Элементарные исправления внутренней политики. Ведь что эти чучела делают! Сколько они напутали!

— Это самое лёгкое — искать ошибки у противника, а не у себя. Но если именно я… э… сидя за границей, в Четвёртом году, доказывал Трубецкому моральную неправомерность понятия «крамола»? А потом, воротясь в Россию, в разгар, как было не увидеть, что это… э… реальное понятие?

Струве волновался, как не мог бы волноваться перед Шингарёвым. В его горле фразы как будто уплотнялись и спорили, какой раньше проскочить. Он для того и останавливался, чтобы легче говорить. И свободной от палки рукой делал странные движения, как будто искал, на что б и второй руке опереться.

— Да, правители проспали. Но и мы гипнотизировали себя всё одной блистающей точкой. Мы с такой страстью… столько лет против правительства, будто главные интересы России в этой борьбе. Или как будто вообще можно жить без правительства. Если мы умней — так первые должны были опомниться: с какой осторожностью надо решать задачу освобождения… Не политическое землетрясение, но нормальная эволюция. А мы только вели войну против власти, одну войну! Мы всё настаивали, что государство не стоит без свободы — но и свобода же не стоит без государства! Это порок нашего сознания: в собственной стране жить постоянно на мятежном положении.

— Ну, Пётр Бернгардович, понимал бы я раскаяние, если бы это мы им шею свернули. А то — они нам скручивают, аж хрястит. А царь? Даже не имея выдающегося ума, мог бы он с самого начала править нами иначе. Ведь ему не пришлось переступать на трон через убитого отца и при этом услышать ультиматум народовольцев. Отец его умер внезапно, страна была действительно в скорби. Самодержавия никто не оспаривал, общество было — спокойным, и всего только просило: чтобы за земствами было признано… Чтобы до престола доходило мнение не только ведомств. И никто б не попрекнул молодого царя в слабости, если б он пошёл тогда навстречу обществу. Возобнови он линию 60-х годов — и подмораживание Александра Третьего было бы даже оправдано: самодержавие доказало бы, что оно сильно и сделает всё само. А молоденький Николай… заминку отца объявил как курс на вечные времена.

Струве всё же подавался идти. Он шарил глазами, то ли видя тротуар под ногами, то ли нет, и проверял его палкой, и в отчаянии искал, искал рукой соскочившее на привязке, отболтнувшееся пенсне и снова его насаживал. Мысль выжигала его раньше, чем он успевал произнести, и в самом процессе говорения он её нагонял, и уплотнял фразы, насаживая следующую на неоконченную.

— Он — мог иначе, но и мы?.. А какие были наши вот, Союза Освобождения, инструкции? Я сам их печатал. Не пропускать ни одного удобного случая обострить конфликт между обществом и самодержавием… Как пошло от выстрела Засулич: правонарушение простительно, если направлено против врага. Для торжества в одном коротком бою мы не боялись оставить любую тяжесть следующему поколению. Как мы злорадствовали убийствам минист-

ров. Мы же наперебой… с революционерами. Даже в Париже… совещание с террористами. Мы поддерживали всякий террор, вы только вдумайтесь! И грозно обругивали тех, кто осмеливался террор осудить. От правительства мы всегда требовали только безусловной капитуляции, ничего другого! И сегодня то же самое. Разве мы когда стремились к какому сговору, реформам? Наш лозунг всегда был один: уходите прочь!

— А *он*?? — Лично в себе Шингарёв не набирал ненависти к царю, но когда говорил обобщённо: — Он раздул вопрос о самодержавии так, что ничего больше не осталось под небесами. Это — его советчики объявили, что лояльное земство — враг самодержавия. Неужели никогда ни одного вершка нельзя было уступить либералам?

— Как так? — запнулся, заикнулся Струве и палкой нащупывал твёрдость. — А Святополка кто же оттолкнул? И моё же «Освобождение» поносило его. Да больше всего на свете мы ненавидели именно компромисс! Мы же и посылали инструкции на все банкеты: принимать непременно резкие резолюции. А с земствами как наш Союз играл? Просто использовали их названье и вывеску.

Странно это было слышать от недавнего кадета, но ещё странней была манера Струве спорить: он как будто отсутствовал, и не Шингарёву всё это говорил, а только распирался мыслями изнутри. Как будто отсутствовал, а первый заметил, и закрутил головой даже испуганно: они — как в комнате разговаривали, настолько не было никого вокруг, не гремели, не скрипели снегом, не ехали, не обходили их на тротуаре, не видели их, не слышали, — и оттого вдруг пронзило, как будто весь Каменноостровский их слушает, и даже весь город.

— Устал народ, — с сожалением объяснил Шингарёв. — Отдыхают.

Струве кивнул. И дальше понёс пригорбленные плечи, как нагруженные:

— Разве мы когда-нибудь серьёзно относились к нашей исторической власти? Да все учреждения прошлого всегда были для нас только обузой и никак не частью возможного будущего. Зато любая революция была нам предпочтительней существующего. Под революцией мы всегда понимали нечто прекрасное и оздоровляющее. А революция… всегда неестественна.

Свободной рукой схватился за своё отогнутое длинное ухо. Потоптался, как пританцовал. И брёл дальше:

— Высшей целью считалось — сохранить репутацию в левых кругах. Наша постоянная ошибка была: не отмежеваться резко от левых, от всех *эсов*.

Наконец Шингарёв уже серьёзно заволновался. Многое можно было этому чудаку простить, но не столько. Повёл его за рукав дальше:

— Мы и начали эту войну с доверия правительству. Но вот сложилось — удивительно, позорно: что правительство само себе не желает победы! Что народ должен выиграть войну — помимо правительства!

— Нет! Нет! Нет! — живо предупреждал Струве дыханием прерывистым, недостающим на плавность. И несносно опять остановился, чтобы удобнее углубиться в собеседника. Так наклонял голову, что лучи глаз его прорезались уже через брови. — Не может быть, Андрей Иваныч, чтобы вы думали так. Это вас партия заставляет! Вот она, трудность свободы: надо быть выше партийности! Ну неужели вы серьёзно верите в измену на верхах или даже в придворных кругах? Ведь это — партийная клевета, ничем не доказано!

Нет, так грубо не думал Шингарёв, не измена. Но — равнодушие. Но какая-то закоснелая бездарность, которая умеет даже победы обращать в поражения:

— И вот всё обернулось на сто восемьдесят градусов: мы, пораженцы Японской войны, теперь единственные верные патриоты.

Они как раз дошли до барельефа «Стерегущего». И вышло напоминание: вы-то были пораженцы, а мы, двое последних на мёртвом миноносце, затопили себя, чтобы не сдаться.

Струве опять остановился, упнулся палкой:

— Мне ли вы об этом говорите! Я перехватывал побольше вашего! Когда пришло известие о Цусиме — я дрожал от радости, и именно в этом считал себя патриотом. Я очнулся, только когда в Париже японский агент стал совать мне деньги…

Далеко раздвинулся проспект, они выходили на площадь перед крепостью. Нельзя было не заметить какой-то особенной чистоты в воздухе, небывалой синевы неба. Могло ли так показаться обоим? Или уж особенно сверкало солнце?

При такой просторности и особенной тишине на улицах, и так особенно чисто в небе, и такое особенное солнце, — стоял над петровской столицей как будто праздник. Как будто ожиданный давно.

— Мы и сегодня всё полагаем, что управлять государством легко.

— Ну, и не так уж трудно! — бодро возразил Шингарёв. — Думская работа тоже нас кое-чему научила.

— Вы так полагаете?

— Мы готовы.

— Ну, завидую вашей уверенности.

Справа сверкала в солнце петропавловская колокольня — до взнесенного ангела. Мирно, налито глыбностью, дремали толстые башни и куртины крепости, когда-то грозной, а вот уже давно не сидели там узники, и уже не будут: всё-таки льётся смягчение нравов и к нам.

Блистательно и покойно. Даже слишком.

А сердце почему-то подавливало.

— А что ж нам остаётся? Если императорская власть изменяет своему долгу быть вождём Империи? Можно ли хуже развалить, чем он уже сделал?

Струве опал из подъёма, будто и не спорил. Кротко:

— Все мы Россию любим — да зряче ли? Мы своей любовью не приносим ли ей больше вреда?

— Пётр Бернгардович! — положил ему Шингарёв широкую кисть на несильное плечо, и голос его стал срывчатым. — Сказать, что мы Россию любим, — это банальность, и неловко даже повторять. Но я вот — ничего кроме России не люблю. И не вынес бы узнать, что служил ей — не так. Что любил её — не так, неправильно. Я лично — ни к какой власти не рвусь, я хочу только, чтобы было хорошо России. Но если наши глаза видят лучше, а *их* глаза отказали, а по дурности нрава они не хотят ни советоваться, ни осмотреться, ни прислушаться? Как же нам с ними сотрудничать? Они это сами исключили.

Устал ли Струве говорить? окунулся в мысли? — ничего не возразил.

Поперёк входа на Троицкий мост стояла редкая цепочка солдат, но пропускали свободно всех.

Люди всё-таки шли. И рабочие, одетые по-праздничному, кто и в котелках.

Шингарёв и Струве пошли по плавно-медленному взъёму моста, по правому тротуару, у бетонного парапета, вот уже за черту петропавловских бастионов и набережной линии. Налево посмотреть было ярко, невозможно. А направо. Белела Нева под снегом. На нём, потемней, сохранялись пересекающие поперечные тропки, проделанные вчера многими пешеходами. Выше Дворцового моста, недостроенного, с деревянными будками, нарушавшими стиль, чернело вмёрзшее на зиму судно. А пройдя дальше — видно было и несколько таких, за Биржевым, у Пенькового Буяна.

За первым тройчатым фонарём потянулась узорная решётка перил, убранная мелкими иголками изморози.

И самый Троицкий мост, в двух рядах гроздевых фонарей, — без трамваев, без извозчиков, почти и без пешеходов, — невероятный, завороженный, праздничный стоял в этом морозном солнце.

Невозможно было не остановиться, не посмотреть направо, к солнцу спиной.

По левому берегу, без обычной колёсной суеты и без вальяжных экипажей, тянулись пустынно-праздничные гранитоберегие набережные перед столпищем дворцов — от серого Мраморного до многолепного бурого Зимнего. А справа, поперёк Невы подпоясанная простыми затягами Дворцового и Биржевого мостов, — мощно, царственно стояла Биржа, как античный храм, на своём возвышенном гранитном стилобате — с преднесенными ростральными колоннами, как дивными подсвечниками, и с уходящей двумя набережными василеостровской симметрией. А ещё правей, в вечных каменных жёлтых складках, молкла Петропавловская крепость, ни движения не было на ней.

— В нашей свободе, — медленно говорил Струве, щурясь, — мы должны услышать и плач Ярославны, всю Киевскую Русь. И московские думы. И новгородскую волю. И ополченцев Пожарского. И Азовское сидение. И свободных архангельских крестьян. Народ — живёт сразу: и в настоящем, и в прошлом, и в будущем. И перед своим великим прошлым — мы обязаны. А иначе… Иначе это не свобода будет, а нашествие гуннов на русскую культуру.

Всё, всё видимое было беззвучно, глубоко погружено в какой-то неназначенный, неизвестный праздник, когда свыше и очищено небо, и все земные движения запрещены, замерли в затянувшемся утре долгого льготного дня. И щедро было подарено этому празднику торжественное солнце.

Как будто весь завороженный город обдумывал свои столетия.

Суетливым петербуржанам, всегда мчащимся в занятости, как было не застояться сейчас? Тревожными глазами глядеть и не насладиться?

Однако — нигде ничего не происходило. И — куда они так рано пошли, зачем?

Нигде ничего не происходило — и жаль. И — жаль было Шингарёву: опять победила власть, и опять потащит Россию по старой колее.

И в безпокойную голову Петра Струве, растесняя кипящее там прошлое и кипящее будущее, — тоже вдвинулась эта архитектурная несомненность настоящего, заставляя молчать и преклониться.

И — сладко было смотреть, но глазам обезпокоенным не всласть. Праздник был до того торжественный, что сердце пощемливало опасением. Всё было — даже уж слишком мирно, неправдоподобно.

Прошли за середину моста. Уже открылось им и Марсово поле, весело залитое боковым солнцем. И высвечивался без резких контуров заслеплённый Инженерный замок.

— Что бы ни случилось, — взмахнул щедрой кистью Шингарёв, — наш народ найдёт правильный путь, в это я верю. И этот правильный путь будет демократическим развитием. Понадобятся десятилетия культурной работы — мы приложим их, как уже и делали. Надо — верить. Сомненьям — нельзя дать собой овладеть. Мой старший брат всё мучился над вопросами жизни — и в двадцать пять лет отравился цианистым калием.

Вышли к Троицкой площади, к Марсу-Суворову.

А до бюро Блока — ещё много времени.

И что так спохватились? и куда пошли?

— Мороз не велик, а стоять не велит, — сказал Шингарёв. — Знаете что? — зайдёмте-ка к Винаверу. Он — тут на Захарьевской, не так далеко. Если есть какие новости, мы там узнаем. У него доверенные друзья в левых кругах. Если действительно что намечается — он должен знать.

45

Максим Моисеевич Винавер окончил гимназию и университет в Варшаве, но адвокатскую практику начал почти сразу в Петербурге, в конце 80-х годов. Юриспруденцию он избрал отчасти потому, что еврею в России эта карьера была менее затруднена, отчасти к тому вели его многие качества: владение ораторским искусством, до афоризмов, умение говорить увлечённо, аргументировать богато, сильный юридический диагноз, аналитический ум, чутьё к настроению зала и суда. Он не занимался криминальными, ни политическими делами, избрал цивилистику — область, наиболее свободную от государственных интересов, имел хорошую практику, стал очень известен, — и сам искренно любил судебную систему Александра II. Легко прославиться на защите уголовной — тут реакция прессы, публики, а знаменитость цивилиста достигается трудно: его могут оценить только судьи да коллеги. Первые же работы его похвалил сам Пассовер. Как еврея, Винавера долго не пускали в звание присяжного поверенного, всё держали в «помощниках», — но и он умел отыграться на Сенате: так выступить там, что сенаторы немели. А ещё и — много юридических разборов вышло из-под его пера.

Но перо-то — перо влекло его и дальше! Он осознал, что истинное его призвание — не юрист, а литератор. Юриспруденцией был насыщен ум его, но не чувства, — чувства влекли его в литературу. И он стал издавать также и очерки лиц, встречаемых на жизненном пути, затем — и крупнейших событий, в которых привелось ему участвовать. Эти книги самому ему доставили высокое наслаждение.

Однако сердце далеко не насыщалось и этой деятельностью. Не меньше душевных сил и энергии ему удалось за десятилетия отдать еврейскому движению. Ещё в начале 90-х годов он вошёл в кружок петербургской молодой еврейской интеллигенции, собиравшей сопротивление надвигающимся тёмным силам. Винавер преобразовал «Общество для распространения просвещения между евреями России», возглавил его историко-этнографическую комиссию — духовный центр, где вырабатывалось национальное самосознание и обреталась бодрящая вера в неиссякаемые силы еврейства. Прикосновение к еврейской старине было для этой молодёжи, как для Антея прикосновение к матери-земле. Начав свою деятельность хмурыми и вялыми — они вышли из неё крепкими и ясными. На рубеже века Винавер уже оказался в центре борьбы с еврейским безправием и погромной агитацией. В Петербурге они создали «Бюро защиты» евреев: «Мы должны сохранять активное настроение. Мы только начинаем проявлять свою политическую силу. Мы, наконец, нашли арену для действия! Мы организуем борцов». Линия Винавера была: ни в коем случае не усваивать пунктов от отдельных политических партий, русское еврейство должно быть сплочённым. «Теперь — единственный момент, когда в наших руках быть может решение нашей судьбы!» Главным орудием защиты они наметили прессу — в России и заграничную: активно привлекать общественное мнение на Западе, а к нему русское правительство всегда прислушивается. После кишинёвского погрома 1903 года этот род их деятельности усилился, а с 1906 был создан в Париже и специальный орган печати о положении русских евреев.

Но и как адвокат выступал Винавер. В Вильне организовал защиту Блондеса, обвинённого в убийстве прислуги с ритуальной целью, —

и выиграл процесс. А по гомельскому погрому впервые выступил в уголовном процессе истцом от имени евреев — что вызвало сенсацию среди евреев России. Там же он произвёл и демонстрацию: объявил ведение суда пристрастным — и увёл с процесса всех адвокатов, защищавших евреев. Это выступление в Гомеле в октябре 1904 создало ему такую популярность в еврейских массах, что он стал практически их всероссийским вождём, в марте 1905 в Вильне председательствовал на съезде всех еврейских партий и групп и возглавил «Союз полноправия еврейского народа». До Пятого года он не вёл общеполитической борьбы, придерживался чисто еврейской. Но тут у него произошёл раскол с сионистами, большинство ушло туда, а демократ Винавер возглавил лишь антисионистов. Роль еврейского вождя миновала его. Тут он вступил в кадетскую партию и быстро выдвинулся в ней.

В ноябре 1905 он в составе делегации евреев посетил Витте с требованием уравнения в правах. Витте отвечал: чтобы он мог поднять этот вопрос — евреи должны усвоить себе совсем иное поведение, нежели которому следовали до сих пор, а именно отказаться от участия в общей политической распре: «Не ваше дело учить нас революции, предоставьте это всё русским по крови, заботьтесь о себе». И некоторые члены делегации согласились, но Винавер пылко ответил, что как раз теперь-то и наступил момент, когда Россия добудет в с е свободы и полное равноправие для всех подданных, — и потому евреи должны всеми силами поддерживать русских в их войне с властью.

И никогда с тех пор он не склонился к разделению еврейских интересов и общереволюционных. Он только настаивал всегда, в кадетской партии, затем и в Думе, чтобы вопрос о равенстве евреев был выделен из общего вопроса о равенстве национальностей как наиболее острый.

Распространённое мнение о Винавере было, что он — холодный разум, отличный умственный аппарат, умеет находить среднюю примирительную формулу для спорящих, умеет затушёвывать слабые стороны своих суждений и выдвигать сильные. А на самом деле он всё более кипел общественной страстью, он ощутил себя призванным политическим вождём. Эта новая яркая страсть, политическая борьба, отбивала вкус к прежним занятиям — юриспруденции и литературе. Винавер стал председателем учредительного съезда кадетов в Москве, тотчас же вошёл в их ЦК и уже оставался в нём до конца. Он входил в фактическую правящую четвёрку, ещё и нежной дружбой связанный с Петрункевичем и Кокошкиным, а в Петербурге все главные решения принимали вдвоём — Винавер с Милюковым.

Для выборов в Первую Государственную Думу повсеместно создавались еврейские избирательные комиссии, и Винавер сперва выставлялся от евреев Вильны — затем, однако, получил более почётное выдвижение от Петербурга, по кадетскому списку, — и в самой Думе правил кадетской фракцией в триумвирате с Петрункевичем и Набоковым.

Первой Государственной Думе, в её незабываемые 72 дня, Винавер отдал всю свою энергию, запас умственных сил, поэзию души — и уж конечно перо: они с Кокошкиным вдвоём составляли во взлётные дни дерзкий ответный адрес на тронную речь, а в горький день — Выборгское воззвание, блеск молнии.

Первая Дума совершила своё державное блистательное шествие, вдохновенный полёт эпохи, в короткое время одолела все трудности новизны и уже чертила контуры нового государственного строя, обновляла всё государственное здание — когда нанесен был Думе жестокий коварный разгон, — и вся постройка рухнула.

В жестокий день разгона Первой Думы Винавер ехал на извозчике к Петрункевичу, оглядывался на лица людей, ища гнева, даже на мёртвых петербургских камнях ища отражения совершившегося несчастья, — нет! И это — заключительный аккорд великой эпопеи? Таков был отзыв и благодарность глухой страны… Народ — не поддержал своей Думы. В этом была катастрофа — и откровение. Кричать хотелось от боли и ужаса.

После Выборга он потерял право избираться, был вышвырнут из политики снова в юридистику, лишь остался вторым человеком в кадетском ЦК. И разумеется, не оставлял защиты евреев: участвовал во множестве еврейских изданий, культурных организаций, при деле Бейлиса — активно снабжал материалами мировое общественное мнение. Он твёрдо перестоял несколько лет депрессивной атмосферы. А в эту войну Винавер снова был во главе борьбы за еврейское равноправие, но не теряя связи с общей освободительной борьбой.

Он как будто продолжал — и с блеском — все виды доступной деятельности, — не мог же он оставить их в 45-летнем возрасте. Но огонь сердца и свет глаз постоянно были под пеплом — и все минувшие 10 лет он как бы каждый день снова и снова хоронил и оплакивал свою незабвенную Первую Думу — ни одна не шла ни в какое сравнение с Той. И оттого тон жизни получался — как будто и несостоявшейся.

Зато эти последние дни — как раскалённая пирамидальная игла, прорывая серое прозябание, выдвигалась в небо. Максим Моисеевич и Розалия Георгиевна жили в светлых предчувствиях, не находя себе места. О — е с л и б ы это прорвалось до конца! — нельзя же дальше жить в такой нуди и безпросветности! О — если б это не кончилось «безпорядками»!

Закрылись редакции, духовная жизнь столицы замерла, но сведения притекали по телефону и от очевидцев (и прислуга приносила хозяевам вести с улицы). Эти дни собирались у Гессенов. Сведения грозно нарастали! И вдруг оборвались сегодня с утра, всё затихло, как кончилось.

Неужели кончилось? Неужели??

Винавер от знающих добивался по телефону намёками или через посыльных: не *предполагается*? — но — что-то же предпринимается?

Не могло, не должно было так просто утихнуть, он верил!

Сейчас Максим Моисеевич читал в кабинете, вошла Роза и с удивлением:

— Ты знаешь, пришли — Шингарёв и Струве.

Винавер поднял брови:

— И Струве? Они предупреждали?

— Нет.

— Безцеремонно.

При нынешнем падении кадетской думской фракции, когда не стало в ней имён и умов, игрою времени Шингарёв стал вторым лицом во фракции и даже едва ли, так сказать, не гремел на всю Россию. (А Винавера, с Шестого года, — забывали, забывали…) На самом деле был он не только другого идейного поколения, чем основатели кадетской партии, но и — недоученный провинциал, так и не прикоснувшийся к истинной петербургской культуре. Серьёзно вести с ним разговор на равных Винавер бы никогда не стал, они и не дружили никак, ну, встречались на заседаниях ЦК, на совещаниях. А Струве, — Струве был исконный давний освобожденец, и яркий деятель, и тонкий человек — но тем более непростительно, что изменник: покинуть левый лагерь и сознательно перейти к консерваторам — этого нельзя простить! это отвратительно! И со Струве — Винавер уж совсем ничего общего не имел, и неприятно встречаться.

И — зачем они вдруг пришли? Как всякий серьёзно занятый человек, Винавер этого не любил.

Но может быть, принесли новости?

Он вышел к ним в гостиную умеренно любезен, но и давая почувствовать холодноватость, как он умел. Впрочем, они и сами были стеснены, чувствовали встречу, едва присели. Шингарёв сразу оговорился:

— Простите, Максим Моисеевич, простите, мы только на минутку. Всё-таки положение необычное, и это была моя идея, осведомиться у вас: что вы знаете о скрытой стороне событий: что-нибудь *будет*? Намечается, *там*?

Ну вот, они даже ничего и не принесли.

Действительно, Винавер отличался и в кадетской партии и во всём политическом движении, что у него никогда не было врагов слева — ну разве малые столкновения, когда те по горячности навязывали чересчур неосуществимое. Напротив, слева — у него всегда были союзники, и он обычно знал больше других.

И присутуленный, необихоженный, потерянный Струве и простак Шингарёв — хотели теперь занять знания?

А Винавер не только мог знать, но обязан был знать, но и добивался узнать тайный план революционеров.

Однако — не было его.

Тайна знания была у него, но само знание состояло, увы, в н е т.

Но ещё глубже этого знания была у него сердечная вера, что: должно быть! Что слишком долго мы страдали под этим режимом, и подходят же концы терпению!

Но — и не ославиться неудачливым оракулом. Посетители могли получить фактический ответ:

— Увы, господа. Я узнавал. Ничего не будет. *В кругах* — ничего не предполагается, не задумано.

Лица обоих перед ним не то чтобы вытянулись в прямом разочаровании, но — в тенях.

Винавер тоже вздохнул. Уж ему-то досталось этих разочарований в жизни. Лицо его было желтовато, или от комнатного недосвета. Лоб, далеко залысый на всё темя. Поседевшая круглая борода. Пронизывал умными глазами. И сказал ослабясь:

— Ничего не будет, господа, займёмся своими делами. Проиграли мы — в Шестом году, и видно, надолго.

46

Вадим Андрусов был по матери внуком Шлимана, раскопщика Трои, и, от него ли сохраняя неуёмный ищущий нрав, всё никак не мог определиться в жизни: перед войною кончив гимназию, дважды поступал в Академию Художеств и дважды проваливался. Поступил на историко-филологический факультет — остался недоволен, перешёл на юридический. Тем временем уже вовсю шла война, и надо было как-то избежать мобилизации. Брат Вадима,

эсер, ощутил себя также и толстовцем, заявил толстовские убеждения — и стал санитаром. А Вадим не додержался: уже в 16-м году был мобилизован со второго курса и отправлен в Красное Село на ускоренные курсы прапорщиков. Но и всё не кончался 16-й год, а курсы кончились — и неизбежно было получать следующее назначение. Казалось, с таким хилым военным образованием, ещё вполне штатский, да сын разночинца, Андрусов мог получить назначение только в захудалую пехоту куда-нибудь за две тысячи вёрст, — нет, его назначили в императорскую гвардию, куда прежде добивались из самых богатых и знатных семей, а теперь разжиженную как попало, в знаменитый Павловский полк, в запасной батальон его, стоящий в самой столице! — не за какие-нибудь успехи молодого человека, а потому что совсем не было офицеров. Но шинель была гвардейская, без внешних пуговиц, и по-гвардейски приходилось подписывать листы пожертвований и по-гвардейски же проходить экзамен хорошего поведения, то есть отлично пить водку, чем знаменит Павловский полк. Как быстро и круто может меняться судьба человека — и вот уже начинаешь вживаться в новое положение, какое оно ни странное. Да ночевать-то отпускали домой.

И назначили Андрусова в учебную команду, то есть в отборную часть внутри полка, где готовятся унтер-офицеры. Было там два таких прапорщика и два подпоручика, не намного умелей, а над всеми ними — штабс-капитан Чистяков, офицер настоящий, глаза как пистолеты. На Марсовом поле, прямо перед своими казармами, проходили они строевую и штыковую подготовку, раз возили их за город на газовые учения, а до стрельб ещё не дошло.

Ещё как-то в феврале раза два посылали их учебную команду гулять по городу с духовым оркестром: музыкой и строевой выправкой подбодрять население. А с началом городских волнений посылали в караульное помещение в Гостиный Двор.

Там и был Андрусов в воскресенье днём, когда телефон сообщил ему, что от Знаменской площади движется по Невскому громадная толпа и надо её задержать. Андрусов вывел свою команду и по новой инструкции, на случай необходимости стрельбы, не расставил, а положил, лежком рассыпал своих солдат поперёк Невского, против середины Гостиного. А все лавки его по воскресному дню были закрыты, торгового движения не было, и людей вообще немного. Сам Андрусов расхаживал впереди, перед штыками, а сзади сбоку был трубач.

На небе по-зимнему светились ложные солнца, ещё четыре вокруг одного — и бело-серебряные пояса тянулись к ним от главного.

Толпа стала хорошо видна, как поднялась на Аничков мост. Безпрепятственно и густо стекала с него, заливала Невский. Андрусов велел трубачу дать первый сигнал рожком.

Но толпа — шла, надвигалась — и вот уже равнялась с Елисеевским магазином. Тут Андрусов кивнул трубачу, дали второй сигнал.

Но толпа и тут не вняла или не понимала, или далеко ещё было — весь квартал до Садовой, Садовая, половина квартала Гостиного, — и вдруг раздались выстрелы! Без третьего сигнала солдаты сзади Андрусова стали стрелять?

Для того и положили, чтобы стрелять (лёжа не выстрелишь в воздух), для того и трубач, чтоб дать третий сигнал, — но не было третьего! Начали стрелять позади прапорщика — смотри, самому ноги пробьют.

Андрусов отскочил назад через стрелявших — и шашкою в ножнах стал бить по задницам лежащих солдат, чтобы перестали стрелять.

Но уже стрельба сделала своё дело. Толпа рассыпалась — одни отхлынули к Александринке, прячась за выступ Публичной библиотеки, другие — в Екатерининскую улицу, мимо Елисеева, третьи — назад, кто жался в подъезды и к воротам домов — середина проспекта очистилась, стала пустынной белой полосой, а на снежной мостовой — убитые и раненые.

И один солдат-павловец лежал, как лёг: с какого-то этажа или с крыши его пришило пулей после второго сигнала. И наверно от того выстрела — возбуждённые солдаты и стали стрелять, с того началось.

Со стороны Адмиралтейства подкатывали автомобильные санитарные кареты — и забирали раненых. Потом и убитых.

Через четверть часа на пролётке прикатил из полка штабс-капитан Чистяков со своей постоянно перевязанной от ранения рукой. Через всё самообладание скрыть он не мог, что изумлён и расстроен.

Движенья по Невскому больше не допустили.

Солдатские наряды ходили к рассеянной толпе и уговаривали расходиться.

Но от толпы перенялось, и шёпотом, шушуканьем и даже вслух потекло: Павловский полк покрыл себя позором!

47

Все эти дни Всеволод Кривошеин, под видом того, что в университет, уходил с утра из дому и сколько угодно толкался по улицам, и бегал от шашек, и ложился на снег, и в ворота прижимался, — наиспытался и насмотрелся всего, очень интересно, и почему-то так и тянет на опасность. Верней, понимаешь, что опасность, и надо бы, конечно, бояться, — а страха внутри как-то нет. Только вчера, когда досталось ему бежать в толпе со Знаменской площади под крики «рубят! рубят!», — не сами эти шашки, которых взнесенных он так и не видел за спиной, а общая безудержная паника толпы, друг от друга передаваемая рёвом, тиском, сжатием, толканием, — вполне захватила и Всеволода. Но и то был не настоящий страх смерти, вот вдруг перестать жить, а мелькало, что смерть — какая-то безсмысленная, ненужная: непонятно, за что он умирал, убегая в этой толпе. (Но ещё они бежали, как со стороны площади, им в спины, донёсся рёв торжества и ликования — и всё остановилось и стало возвращаться на площадь — и передавали друг другу, что казак убил полицейского конного офицера, а остальная полиция разбежалась. Толпа долго радовалась, и ничего больше не происходило.)

Однако сегодня так просто уйти из дому было нельзя: воскресенье, никакого университета нет. К тому ж вернулся домой и отец — с Западного фронта, где он служил теперь уполномоченным Красного Креста, — чтобы присутствовать в понедельник на сессии Государственного Совета, чьим членом он состоял после отставки с министра земледелия — обычный удел всех, кому позолачивали отставку. Отец ехал, ничего не зная о происходящем в Петербурге, — и тем более омрачился по приезде. Сразу вся обстановка в доме сгустилась сильно озабоченная — и младшим мальчикам неприлично стало выказывать оживление или самовольничать.

Из пяти сыновей Кривошеиных двое старших уже были офицерами на фронте. Средний, Игорь, тоже теперь прапорщик, готовился на фронт. И Всеволод, по-домашнему Гика, хотя студент, всё оставался в младших — с самым младшим, 12-летним, у кого ещё и гувернантка была.

Квартира Кривошеиных, хотя и наёмная, в доходном доме, была сама как замкнутый дом, 15 комнат и ещё подсобные, по двум

сторонам коридора, настолько длинного, что мальчики по нему катались на велосипеде. Парадные комнаты, выходящие зеркальными окнами на Сергиевскую, походили даже и на музей — были обставлены старинной богатой мебелью, увешаны мраморными барельефами, множеством старинных картин, не самых знаменитых мастеров, но достаточно ценных, отец много их скупал. Семья жила здесь уже 30 лет. Хотя потом 8 лет подряд отец был министром и мог бы жить на казённой квартире на Мариинской площади, но предпочитал свою: так он избавлялся от необходимости давать официальные обеды и рауты.

Гика сидел за утренним кофе со взрослыми и томился. Он тщетно изобретал предлог, зачем бы ему нужно в город. Но отец сидел до такой степени расстроенный и тёмный, и мать и тётка были строги, как если бы в доме случилось несчастье, — и неловко было что-нибудь сболтнуть.

— Довели, — говорил отец. И ещё потом после большой паузы: — Довели. — И ещё с долгим промежутком: — Кто? Кого набрали? — И ещё потом: — Отгородились от мира, ничего не представляют.

В этом году ему исполнялось шестьдесят, и появилось в нём стариковское.

Послал Гику за газетами — но только до угла Воскресенского, до киоска, и чтоб сразу назад.

Тут, до Воскресенского, было неинтересно, совершенно мирно, обычно. Но и газет таких, настоящих, которые бы отец стал читать, не оказалось ни одной, не вышли, а только черносотенные — «Земщина», «Свет», нечего и брать. Купил «Правительственный Вестник» — там назначения, перемещения, распоряжения, они всегда интересуют отца, — но безо всякого следа происходящих событий, безмятежный.

Отец сидел в углу прямоугольного большого дивана в кабинете, как бы ссунутый в угол, как бы безпомощный, белолицый, с повисшими, неподстриженными усами, — вот тут впервые понял Гика, насколько же серьёзное творится. Жалко стало отца. Но не было привычки приласкаться.

А отец был поражён, что нет газет, он ждал кипы, заказал полдюжины. Раскрыл «Вестник» сразу — и осматривал хмуро. И опять ворчал:

— Ничего не предпринимают… Три дня не утихает — власти не смотрят… Идём к анархии.

Потом Гика томился у себя в комнате, с окном во двор. Открывал форточку, никаких грозных звуков, ни стрельбы, тихо. Коридорный телефон (у них было два в квартире) звонил часто, и мама, и тётя, и сам Гика, и мадмуазель тоже звонили друзьям, узнавали что где, — но нигде ничего не происходило.

Убедясь в этом, отец после такого же тяжёлого, подавленного дневного завтрака отпустил Гику погулять — но только в центре и не больше двух часов. А младшему — никуда.

После яркого утра с боковыми солнцами свет по небу стал радужный, рассыпанный, как будто расплывался в облачка.

Едва Гика вырвался — сразу пошёл, конечно, к Литейному, а по нему на Невский. Как и вчера, не было трамваев, но не было нигде и ни одного полицейского, ни солдат, — а только висел на домах ещё новый приказ генерала Хабалова, угрожавший оружием. Кое-где висел со вчерашним рядом, кое-где все три, а то полузаклеены один другим или полусорваны.

Так и шло подряд жирно: Хабалов — Хабалов — Хабалов, и ощущалось обидно, что у русского правительства к русскому народу в такие дни — нет другого голоса, нет другой подписи.

Невский заполняла обычная для воскресного дня гуляющая публика, реки пешеходов по обоим тротуарам — нарядные дамы, офицеры, студенты, чиновники гражданские, чиновники военные, женщины с детьми и колясками, раненые солдаты, приказчики, прислуга, — но и мастеровые с окраин, явно они, их тут не бывало раньше. Однако все удерживались на тротуарах, и середина проспекта была пуста.

Вдруг — показалась толпа со Знаменской площади — тысяч больше двух, кого там только не было, много студентов, курсисток, интеллигентов в котелках, но более всего — рабочих в простых шапках, работниц в платках, но одетых почище обычного, не будничная чернота, — и к ним ещё доливалось с тротуаров. А в передних рядах несли, высоко держа, два красных знамени: «Долой самодержавие!» и «Долой войну!».

Шествие шло — никто ему не препятствовал, не перегораживал дорогу. Шло медленно, заливая всю мостовую, нигде не встречая пикетов. Оно нагоняло Гику около Аничкова моста, когда он перед ходом его перешёл на ту сторону Невского, к Екатерининскому скверу. И ещё подумал, вслед отцу: до чего ж мы дожили! вот такая толпа идёт — во время войны — с такими знамёнами — по Невскому — и никто не мешает. Что это значит?

Как нарочно: промелькнула такая мысль — и вдруг услышал он неизвестно откуда резкие удары, как толчки или как рвали бы большую ткань, — Гика никогда такого близко не слышал, не догадался бы, если бы толпа не стала раскидываться по сторонам, бежать и кричать, что — стреляют. И, как давеча на Знаменской, Гика вместе со всеми побежал, не успевши нисколько испугаться. Только уже в беге, видя, как испуганы другие, стал и он перенимать испуг или какое-то смутное состояние.

Побежать ему пришлось за укрытие Публичной библиотеки. Здесь стрельба слышна была глуше, и, видимо, пули достать не могли, толпа стояла плотно.

Все хотели знать, что произошло, — но не идти же назад, а отсюда никому ничего не видно.

Однако постепенно стало по толпе передаваться, что стреляли от Гостиного Двора, остались на Невском убитые и раненые.

Серьёзно.

Толпа постепенно рассасывалась — в обход Александринского театра.

Сошлось их тут близко две синих студенческих фуражки: стоял рядом и громко возмущался высокий студент. Он бранил военную власть, бранил самодержавие, потом сказал соседу:

— Коллега, эти негодяи вас напугали. Стреляют по толпе, какая низость, палачи! Уже ничего не стыдятся. Вам, может быть, далеко до дому? Где вы живёте?

Гика назвал.

— Далеко, — сказал тот. — Невского сейчас не перейти.

А между тем толпа быстро рассасывалась, опасаясь чего дальнейшего, как бы и сюда не завернули с выстрелами. Хотя они прекратились.

— Меня зовут Яков, а вас? Пойдёмте пока ко мне на квартиру, я живу тут близко. Там и переждём. Да хоть и ночевать оставайтесь.

— Ну что вы, ночевать! Мне — надо домой, меня ждут.

Но тронут был этим приглашением, этой вседружественной теплотой студенческой корпорации: как бы ни худо попал — нигде ты не один, а тысячи у тебя друзей.

Пошли через Чернышёв мост. В невыразительном сером переулке невыразительный серый петербургский дом, мрачная лестница с невеселящей клетчатой плиткой на площадках, тёмный коридор, из него двери, большая комната с серым светом внутреннего

двора-колодца, удивительно неуютная, до неопрятности, хотя ничего грязного не было, в безпорядке заполненная мебелью, вещами, а посередине — стол, но не обеденный, а с бумагами, книгами, и над ним свисала не горевшая сейчас лампа под бордовым абажуром. И стоял запах накуренного.

Там уже были студент и курсистка. Яков объявил:

— Всеволод. Шимон. Фрида. Вот привёл товарища, а то его чуть не пристрелили на Невском.

Встретили любезно. Но приход постороннего студента утонул в обсуждении происшедшего. Все негодовали, достойных слов не находили бранить царских опричников.

— Осмелились-таки!

— Я думал — не решатся.

— А Николай Второй, — желчно сказала Фрида, она сидела у окна нога за ногу, — конечно удрал в Ставку. Всегда конечно он подальше от ответственности.

— Но никуда он от неё не уйдёт! — блеснул Шимон. — Войска не могли стрелять сами. Был дан приказ, и приказ этот, через царского холуя — его личный. И ему это запомнится.

— Но чего стоит наша жалкая толпа! — сжигалась Фрида у окна, колена с колена не снимая. — Стоило дать несколько выстрелов, чтобы все разбежались.

— Да, но завтра может начаться снова! — пообещал Яков.

— Не-ет, не-ет! — замахала руками Фрида с каким-то даже злостным удовольствием против самой себя. — Всё-о! Движение — подавлено! Завтра — уже никто не выйдет на улицу.

Тут пришли ещё два студента и с ними курсистка. И обсуждение пошло во много голосов сразу: подавлено или не подавлено?

Склонялись больше, что — подавлено. И не надо было начинать, а помнить, что народ не способен к настоящей революции. Теперь изо всей ситуации самодержавие выйдет только более окрепшим.

Гика почти не говорил, сидел в неловкости: весь тон высказываний был непривычен ему, резал слух и сердце. И он уже понял, что они догадались, что он — *белоподкладочник*, хотя ни в чём внешнем это не выражалось. Да и взаправду он ощутил себя белоподкладочником: было ему тут чужо, неприятно. Эта комната, эта обстановка так разительно отличалась от их домашней — даже не на улицу захотелось, тоже суматошную, а к себе, в покойное «дома». А самое неловкое было бы, если бы сейчас спросили его фамилию: соврать он не мог, да не унизился бы лгать, но и произнести здесь фамилию хоть и либерального, но царского министра, да ещё столыпинского сподвижника, — было невозможно. (А два часа уже прошло, что там отец? Не говорить, что попал под стрельбу.) Гика досиживал как-нибудь ещё, до приличия, и вскоре бы уйти. (Может быть, ещё и потому Яков его сюда привёл, что принял за еврея? Гику и са́мого старшего брата частенько принимали.)

Непрерывно курили, дым уже повисал.

Скорей домой, и отдышаться, вернуться в привычное.

Вошли ещё двое — и с порога объявили, что на Невском ранили Юльку Копельмана и сейчас увезли в автомобиле.

Это — разорвалось! Все вскочили, загудели. Это был случай уже живой, он задевал больше, чем общие сожаления. Ещё — живой ли? Ещё останется ли жить? Настроение стало грозней и злей, но и унылей.

Как меняются события! — вчера и сегодня казалось, что жалкий позорный режим проваливается в тартарары, совсем ослаб и безпомощен. А вот — в нескольких местах постреляют, и он может снова укрепиться — и ещё долго будет длиться его зловонное существование!

— До каких пор ему гулять на свободе? — говорили о царе.

Кто-то стал рассказывать о некоем Грише:

— Знаете, такой маменькин сынок, сионист? Говорит мне: «Нас, евреев, здешняя революция не касается, это пусть русские занимаются». Вот мерзавец, или скажете нет?

Загудели против этого Гриши и против сионистов: это настоящие предатели общего дела, только ищут, как уклониться от революционной борьбы.

Тут вошёл молодой прапорщик — красивый, стройный, с гордой осанкой, не по-офицерски безусый, гладко выбрит.

Все его, видимо, знали, шумно закричали:

— Саша, что же это делается?

— Ленартович, вы же офицер! На вас падает пятно! Что ж вы теперь — вместо казаков?!

Роста выше среднего, ещё и держась подтянуто, он стоял на пустом придверном пространстве один, всем видный во весь рост, ещё сняв фуражку и открыв густой пышноватый русый зачёс назад.

Он не сразу ответил, и за это время все замолчали. В тишине сказал торжественно и вызывая веру:

— Можете быть спокойны. Этого дня мы им так же не простим. Как и Девятое января.

48

Легко жить уцепистым ловкачам: они всегда сухие выскочат. Таков, знать, был и подпрапорщик Лукин, фельдфебель 1-й роты учебной команды. Вчера уже поздно вечером, заполночь, когда воротились со Знаменской площади в казармы, был приказ, что наутро волынцы опять пойдут, но уже 1-я рота, и с пулемётами.

С пулемётами!..

Полегчало Кирпичникову, что теперь-то не он. А по особице спросил Лукина:

— Неуж ваши будут стрелять? Я предлагаю: давайте лучше не стрелять.

Лукин поглядел тоуро:

— Да нас завтра же и повесят.

Так и не договорились.

А рано утром, глядь, Лукин ушёл в лазарет, будто зашибся. И там остался.

Пришёл начальник учебной команды штабс-капитан Лашкевич. Кирпичников доложил ему, что Лукин в лазарете.

Лашкевич — вот уж барин, кровь чужая, тело белое. Носит золотые очки, а через них так и язвит глазами. Ответил как укусил:

— Не время болеть!

Будто — это сам Кирпичников уклонялся.

И метнул: Кирпичникову быть сегодня фельдфебелем 1-й роты, а свою 2-ю передать пока другому.

То есть третий день так переменялось, что Тимофею всё идти, и идти, и идти? Да заклятье, ну просто взвоешь! Ну сил уже нет, отпустите!

Но — не Лашкевичу говорить.

Нечего делать, вскоре и пошли — с боевыми патронами в подсумках и покатя пулемёты. И при роте пошёл сам Лашкевич, за все дни первый раз. Сошла рота опять в тот же подвал, но Лашкевич не пошёл сидеть в гостиницу, а выходил смотрел и сюда же возвращался. И Кирпичникова держал при себе. А велел посылать дозоры по площади, разгонять толпу.

Но разгонять пока что, полдня, было некого. И стал Тимофей полагаться: может, ничего и не будет, обойдётся.

А на небе света — больше солнца, полосами, столпами.

Нет, часам к двум стала публика стекаться, поднапирать: по другим улицам никак гулять не хотят, а вот тут, у памятника, им сладко.

И начали гудеть, попевать, покрикивать.

Близ к вокзалу полиция их не пускала. Казаков — вовсе не было сегодня. А дозоры волынцев — разгоняли плохо. И Лашкевич на площади бранил ефрейторов, что тряпки, а не солдаты.

А ефрейтор Иван Ильин перетоптался, ответил ему:

— Не солдатское это и дело — разгонять.

Лашкевич аж как ужаленный дёрнулся — и приказал сейчас же снять с ефрейтора лычки.

Как это? — заслуживал лычки годами — а тут в один миг и снять? Волей Лашкевича?

Ох, не привыкли от народа правду слышать.

И кому же лычки срывать — опять же Кирпичникову?

Ну хорошо — Ильин не дался срывать. Сам снял.

У Тимофея такое чувство, будто с него самого содрали.

Чужая рота, Кирпичников не знал этого Ильина. Но отводя его в дворницкую, на лестничке в подвал пожал ему руку:

— Молодец!

А самому — тяга, нудь: теперь Кирпичникову и поручил Лашкевич наблюдать за дозорами.

Ну, голова служивая, всё на тебя!

Пошёл сам между дозорами по площади. И вежливо и без надежды просил публику разойтись.

— А ты что? — вылупливались рабочие. — Мы тебе не мешаем. Мы же тебя не просим уйти.

И ничего не скажешь.

А ещё велел Лашкевич передать всем дозорам, чтобы по звуку рожка бежали к Северной гостинице. Кирпичников, толкаясь по площади, передавал унтерам и ефрейторам, кого видел. А какому из них, ещё смерясь (не своя же рота), добавлял:

— Только не очень торопитесь.

За это — не повесят. Кто и донесёт — ещё не докажешь.

Опасался Тимофей этого хужего момента, когда созовут по рожку и прикажут стрелять из пулемётов, — вот тогда что делать?

Лашкевич сказал: сам пойдёт с Кирпичниковым и с одним дозором и покажет, как разгонять.

Пошли. Первого же попавшегося штабс-капитан поддал кулаком и ногой — тот, правда, сразу убежал. И другие вблизи стали растекаться.

А барышня стоит гордо — мол, её не тронешь.

— Уходите скорее прочь! — скомандовал Лашкевич.

Стоит, не шевельнётся:

— Торопиться мне некуда. А вы будьте повежливей.

Вот — что с такой делать? А их — все тут такие.

От Лашкевича отстал Кирпичников, в толпе перешёл к другому дозору:

— Ну что, ребята? Настаёт гроза, цельная беда. Что будем делать?

Те:

— Да… Верно, беда… Так и так погибать.

Никто ничего не знает, никто ничего не решается. И подкрепил их Тимофей:

— Прикажут стрелять — не стрелять нельзя. А бейте вверх.

Перешёл к третьему дозору:

— Мало нас учили-били. Думайте больше.

Понял и Лашкевич, что дозорами не разгонишь. Приказал выводить роту из подвала, строить от Северной гостиницы и к памятнику. Горнисту — сигнал.

Вывели. И перед строем разъяснил, золотоочкастый:

— Здесь перед вами — те негодяи, кто бунтует на немецкие деньги, когда идёт война. Пойдёте на них — с винтовками наперевес. Нужно — и бить прикладами, нужно — и колоть. А понадобится — будет команда и стрелять!

Назначал команды по разным местам площади.

Прапорщику Воронцову-Вельяминову приказал пойти с отделением стать против Гончарной и там рассеивать. И Кирпичникова — с ними.

Вельяминов выстроил свою дюжину поперёк Гончарной — а та вся запружена людьми, напёрли с Невской стороны. Скомандовал сигнальщику играть сигналы.

Один.

Два.

Три.

А люди, видно, не понимают, к чему такое рожок, или делают вид — но не расходятся.

А военная машина — неотклонная, раз рожок — значит стрелять. Скомандовал прапорщик:

— Прямо по толпе! — шеренгою!.. — предупреждаю — раз! два! три!..

Не расходятся.

— …Четыре!.. До семи. Пять!.. Шесть!..

Не расходятся.

— Пли!

И — залп!

И с верхних этажей посыпалась извёстка. Толпа шарахнулась, раздалась — но не видно, чтоб единого ранило, не то что убило.

Значит, все били вверх. Молодцы.

А в толпе стали подсмеиваться.

И прапорщик рассердился:

— Лучше цельтесь! В ноги! Шеренгою — раз! два! три! — пли!!

Опять залп. Опять колебнулась толпа, разбежалась.

А — ни убитых, ни раненых.

Прапорщик:

— Да вы стрелять не умеете! Зачем волнуетесь? Стреляйте спокойно.

И — ещё дали залп!

Толпа — опять вся разбежалась по подворотням.

Но на снегу остались тела. Кто и шевелится.

Угодили всё-таки…

Вот и дошутились. Вот и война. На городской улице.

Больше толпа не собиралась, не напирала.

А Тимофею мутно. Ох, мутно!

Приехала «скорая помощь» и забирала раненых. Им помогали, и оттуда на солдат кричали. Но сюда не пёрли.

А солдаты стояли поперёк Гончарной, ружья к ноге. Никто больше не напирал. Но в подворотнях толпились, затаились.

Кирпичников всё был позади, теперь подошёл к офицеру:

— Ваше благородие, вы озябли. Пойдите в гостиницу погрейтесь. А я за вас тут побуду и докажу.

И Вельяминов тряхнулся, самому легче:

— Правда, побудь.

И пошёл быстро. А Кирпичников послал за ним солдата — проследить, войдёт ли в гостиницу. Как воротился солдат и доложил — Тимофей махнул публике:

— Идите кому куда нужно, поскорей.

А солдатам:

— Мало нас секли. Думайте больше, куда стреляете.

Прошли, ушли, разрядилось. Гончарная чистая. Трупы тоже увезли.

Вернулся Вельяминов:

— Ну, как тут? Стрелял?

Показал Кирпичников:

— Вон, всех разогнал.

49

В воскресенье утром, когда Шляпников снова пересекал город пешком, — стояло так спокойно, как ничего и не было.

От воскресенья? Или устали?..

Теперь, когда вовсе не стало ни трамваев, ни конок, — так тем более только ноги остались. На воскресенье ночевал у сестры за Невской заставой, теперь ему утром надо было переть через весь город на Сердобольскую.

На Выборгскую утром перейти ничего не стоило, да в ту сторону и всегда пропускают.

По тысячезнакомому Сампсоньевскому проспекту шагал мимо корпусов, домов, заборов, мимо казарм Московского полка, потом Самокатного батальона. Везде было смирно, а заводы пустые молчали.

У Павловых огорошили: на Сампсоньевском к ночи арестовали весь Петербургский Комитет, пять человек, когда они сошлись.

Вот тебе и не нужна конспирация! Вот тебе и бездействие власти. Хватают.

Был бы — разгром, если бы ПК составлял что-нибудь порядочное. А так — пятая нога.

Тут собрались сормовские, совещались, как быть. Решили просто: пока все полномочия ПК передать выборгскому райкому. (А другого райкома у большевиков и не было, тут и всё.)

Завёлся спор об оружии. Сормовичи, особенно Каюров-забияка, точили зубы — вооружаться! Схватить от полиции, сколько удастся, ещё где-нибудь. Шляпников отвечал: много не соберёте, стрелять не умеете, а по горячности примените нетактично — всё испортите. Если употребить оружие против солдат — то только раздражить их, они ответят оружием. Один наш верный путь — дружба с казармами. Надо — агитировать армию, пусть солдатская кислая шерсть пропитывается революционностью. И вот когда армия сама присоединится — тогда… Эх, жаль, нет у нас в запасных полках партийных организаций. Ни к чему мы не готовы.

Вполне может быть, что на этом и вся забастовка кончилась. Сегодня, в воскресенье, отгуляют, успокоятся — а завтра потянутся на работу. А армия — так и не шевельнулась.

Ничего больше не решили. И пошагал Шляпников в центр, посмотреть, где что, может, делается.

На голове у него была приличная мягкая шапка пирожком, виден галстук на шее, вид мелкобуржуазный, даже и попытки не могло быть задержать его на мосту.

Да никого не задерживали: толпа не напирала, а для приличных одиночек проход свободный.

И вот так жалко, ничем — всё кончилось?

Но нет, в центре — толпы были. И солдатские цепи. И митинги около них, разлагающие сознание солдат.

И около Казанского собора — море разливанное.

И наконец, у Гостиного вдоль проспекта стреляли! — все ложились, и Шляпников лёг с радостным сердцем.

Стреляют! Это хорошо. Значит, так не пройдёт. При всех случаях запомнится.

И на Владимирской постреляли. И на Знаменской — серьёзно, десятка два наверно ранили, есть и убитые.

Запомнится!

Засновали кареты скорой помощи. Появились — кто-то догадался — гимназисты с широкими повязками Красного Креста на рукавах пальто. И курсистки настаивали: ехать вместе с ранеными и ухаживать за ними. На правах общественной помощи-контроля, как теперь везде. И полиция робела, допускала курсисток.

Нет, снова на улицах умякло. И стрельба кончилась. Кончилась. Сгустились солдатские и полицейские оцепления.

Снесли и это.

Шляпников пошёл на одну из Рождественских улиц, где назначил явку курьеру-курсистке, ехать в Москву. Пришла такая, «товарищ Соня». Дал ей денег на дорогу. А само поручение было почти никакое, что же было посоветовать московским товарищам? Призывать их теперь к выступлению — было бы провокацией. Очевидно, и самим тут придётся кончать. Все оборонцы уже так и хотят.

Чего дальше можно было ждать от движения? И как его направлять? Вот постреляло правительство — а ответить нам нечем.

Плохо мы организованы. В который раз пролетариат не готов ни к какому бою. Зря эти дни метались, толкались…

50

— Да *спасать* его надо! Спешить — спасать! От этой женщины, безусловно насквозь испорченной, если она способна затягивать женатого человека! Ах, зачем вы меня задержали! Если бы я сразу поехала — я бы застигла их вместе! Он меня ещё не знает!

— Алина Владимировна, вы сделали бы хуже.

— И осенью вы меня отговорили, а как я рвалась! И что результат? Вы видите…

— Такая встреча, если б она имела скандальный конец, — могла бы вызвать огласку.

— А-а, это им двоим страшней, я ни на какой службе! Моё самолюбие — и так уже растерзано! *Он* смел мне изменить, вы подумайте! Посмел предпочесть мне — другую! После десяти лет восхищения, преклонения! Меня — жжёт, я не могу на месте, без действия!

— И наконец, как точно мы ни сопоставили — а вдруг ошибка? А вдруг это всё-таки не Андозерская?

— Ну, принесла бы ей извинения, значит — претензии не к ней. Ах, не хватило у меня выдержки тогда осенью, выведать у него самого, уже близко было, я сорвалась. Я б уже тогда поехала, всё ей вылепила! А так — что ж, они и решать там будут без меня?

Тогда Сусанна Иосифовна в первую минуту удержала, а потом, как и всякий яркий порыв у Алины — круто оборвался, и почувствовала себя мертвецом. И душевного подъёма хватило только — написать ему письмо в Могилёв, это Сусанна одобрила. И забоялась, скисла — как он в ответ? И — новый порыв, чередование! — чувство выздоравливающей: оттого, что сама первая разрывает, — легче. Послала письмо — и бросилась в парикмахерскую, менять причёску! И замыслы — о прожигании жизни! И в тот же вечер пошла в театр. Пылать так пылать! И уже в голове кружилась перестановка в квартире, и зрели планы безумств. Но тут пришла ответная жалобная телеграмма Жоржа. И насколько же легче стало узнать, что и он разбит.

— Но, Сусанна Иосифовна! Но чего ж это всё стоило, если они теперь опять вместе?!

— Что ж я могу, милая Алина Владимировна?.. Я могу только плакать вместе с вами…

Сусанна уже второй раз подавала ей валерьянки сегодня и десять раз за эти дни — умеряла жгучую готовность Алины вот отсюда прямо бежать и мчаться в Петроград, — а вот опять порыв опал, как проколотый, Алина утонула в диване, обвисла руками, и теперь Сусанна распорядилась принести, наоборот, крепкого кофе.

Безсильно утопленная в мягком, Алина вялым голосом жаловалась:

— С этих осенних страшных переживаний веду дневник. И записываю — спала ли, и сколько часов. И видно теперь, сколько пережито этих провалов, когда просыпаешься с сосущей болью, живой мертвец, потерян всякий интерес ко всему в жизни. Потом, среди дня, медленно светлеет.

Несчастная женщина, не придумано было её страдание. Ей надо было преподать совсем другую линию женского поведения, но она упрямо не способна была усваивать, а только подбрыкивала по своему наторённому:

— Какой же я была жалкой! Восемь лет я прилаживала себя к его роду жизни, к его занятиям, и эта жертва меня саму и загубила. Я должна была ехать учиться в консерваторию. Как я рано сложила крылья! Мне нужен был простор для развития, а не быть тенью другого. Но я привыкла слышать: ты моя необыкновенная, ты моя единственная, ты моя звёздочка! — и верить этому. Я всё пригибалась для него, только в войну стала полноценно жить и дышать — и сразу такой удар?! Ах, почему я не первая изменила ему? Он поймёт, что во мне упустил, но будет поздно! Сусанна Иосифов-

на, ведь все мы — личности, и я — незаурядный человек, а я так была подавлена! Вот теперь, без него, я только и почувствую себя раскрепощённой. А почему я должна сдерживать себя ради изменника? Вы знаете, последнее время у меня находят новое что-то в лице, говорят — глаза...

Она сама не слышала, что говорила.

Сусанна Иосифовна уцепилась за её же выражение:

— Вы правильно говорите: раскрепоститься. Вы попробуйте так и смотреть на всё. Прежде всего вы должны стать независимы от поворотов этой истории. И когда вам больно — научитесь притворяться, что вам не больно. Достойно молчать.

Чего Алина ни разу за эти месяцы, видимо, не предположила: что это может быть и разгром всей её жизни, а только — что смели кого-то с нею сравнить. И — как ей это высказать? Не отвага её вела — вела слепота. Нисколько не настаивая, вполне теоретически:

— Алина Владимировна... вы знаете, бывает такая мужская черта: с какого-то момента часть внимания переносится на других женщин. Вообще всяких встречаемых женщин. Вы... не допускаете, что ещё раньше всех этих происшествий... ослабло его чувство к вам?

Алина вскинула голову:

— Нисколько! Он по-прежнему меня боготворит! Вы ещё далеко не все письма читали, я могу вам показать! Он безумно меня любит, и он всё равно раскается, но я хочу, чтоб его раскаянье было глубже!

— Вы помните, я и осенью предупреждала вас... А вы настаивали, что женщины — вне круга его внимания.

— Но это — и было так! — сверкнула Алина и выразительно настаивала бровями. — Я совершенно не понимаю, как это переломилось! Что его может оправдать — это только незнание и непонимание женской души.

Она хорохорилась вот так, но уже потерянный был взгляд, и потерян порыв, и кофе не помог. Пригорбилась, вздохнула:

— Да, конечно, теперь он уведен от меня, захвачен... Втянут новым миром, который кажется ему ярким.

Сусанна с зябнущим движением плеч, плечи её как бы раньше всего передавали всякое чувство:

— И значит, тем более потребуется длительное время, чтоб этот мир стал погасать и распался. Потребуются методические

усилия, ваше правильное поведение... Более всего: он никогда не должен видеть вас плачущей и страдающей. У него от вас всегда должно быть ощущение *лёгкости*! Не упрекайте, не доказывайте, а молчите, как бы не было ничего. Всегда, при любых обстоятельствах — ощущение лёгкости! И ещё: будьте всегда для него — новы, всегда загадка, — вы понимаете? — с надеждой смотрела Сусанна.

Но лицо Алины приняло беззащитное, если не плачущее выражение:

— Это — красивый совет! А как ему следовать, если всё валится из рук? Если чувствуешь себя казнимой?..

Сусанна, ровно сидя на твёрдом стуле, строго покачивала головой:

— Вам не только нельзя было ехать за ним сейчас, но вы и в Москве не должны его дожидаться, если он вдруг приедет. В таком состоянии вы не годитесь для встречи.

— Это правда! — потерянно-обрадованно схватилась Алина. — Я уеду. Я даже боюсь с ним встречи сейчас. А теперь он не посмеет миновать Москвы.

— Вот-вот. Очень хорошо. А пока следующий раз увидитесь — многое прояснится, установится.

— Но я уеду — и оставлю ему решительное письмо! Что если он немедленно с ней не рвёт, то чтоб я никогда больше не видела ни его самого, ни его вещей в нашей...

— Вот этого не делайте! — живо забезпокоилась Сусанна. — Не повторяйте ходов. Он может взорваться, и эффект будет прямо противоположный.

— Теперь я уверена, что нет! — прихлопнула Алина по твёрдому валику. — Если он не взорвался на то письмо осенью, то и сейчас. Или потеряю безвозвратно, или завоюю навсегда! Ва-банк! — Её глаза сжигались действительно с картёжным азартом.

— Нет! Нет! Нет! — безпокоилась Сусанна. — Вы сделаете только хуже. И кроме того: ничего не узнаете для себя, никаких выводов...

Алина обеими руками взялась за виски — и осветилась, и умолительно сложила ладони:

— Сусанна Иосифовна, дорогая! Если он приедет и меня не застанет, и никакого письма — он непременно кинется к вам спрашивать. Так вы — не возьмётесь ли с ним поговорить? Прощупайте его, поймите, узнайте?! А? Сделайте мне такое одолжение?!

И вот так мы затягиваемся в лишние дела, в чужие истории. Совсем ни к чему было Сусанне это посредничество — но и как отказать близкому горю?

— О, спасибо, спасибо вам, милая Сусанна Иосифовна! Это — так, наверно, полезно: посторонний человек, спокойное увещевание. О, повидайтесь! Но, — косая морщина прорезала снова погордевший лоб Алины, — пожалуйста, снисхождения мне не просите! *Выпрашивать* милости я у него не хочу!

— Ну вот именно, вот именно! — обрадовалась Сусанна. Украдкой взглянула на часы.

51

Сколько уже раз, который уже раз в 11-й комнате Таврического дворца заседало бюро Прогрессивного блока! И заседания запомнились как бы всегда при электричестве: или по вечерам, или даже если днём, то по недостаче петербургского света зажигали настольные лампы под тёмно-зелёными абажурами, и отбрасывались светлые круги на зелёный бархат, раскрытые блокноты, карандаши, автоматические ручки и пиджачные рукава.

Заседали и сегодня, несмотря на воскресенье. Но сегодня, в ярко-солнечный день, доставало сюда и света. Хотя и в нём ощущалась печальная недолговечность, падающая на озабоченные лица.

Во главе заседания, как всегда, сидел простолицый Шидловский, председатель бюро Блока. И говорил долго, путано, как всегда, когда речь его не написана вперёд, смысл был не всюду уловим, теченье утомляло. А сбоку от него сидел истинный председатель и вождь Блока — Милюков. При невозможности держать речь постоянно самому, он избыток своей умственной энергии направлял на карандашную запись тезисов всех выступлений, хотя и сам не видел в том значительного смысла.

В этой комнате сколько раз за полтора года, то полудюжиной, то полутора десятком, только свои или из Государственного Совета тоже, или ещё с приглашёнными от Земгора, собирались они тут, сдвигались, горячились, даже вскакивали на небольшом пространстве или, напротив, млели, дремали, только отсиживали регулярные заседания. Говорилось тут всегда откровенно: держали хорошо тайну дубовые двери, замазаны двойные рамы окон, в комнате нет ни тайных шкафов, ни занавесок. И все перипетии, переломы, взлёты и падения Блока отмечал терпеливый милюковский карандаш.

И только один Милюков, как он был уверен, понимал всю высокую сложность рисунка.

А сегодня они находились ещё на новом переломе, в сложнейшем контуре — и Милюков даже не тщился развернуть эту сложность своим посредственным собеседникам.

После его штормовой речи 1 ноября, после яростного всплеска союзных съездов 10 декабря — январь и февраль протянулись как бы в сером прозябаньи. Вся констелляция оказалась такова, что Дума и Земгор впали в пассивность, несмотря на всю свою активность. Ноябрьский могучий удар растратился, не дав окончательного победного результата. Но если мы не будем действовать — народные массы перестанут идти за нами.

А вот прошло двенадцать дней новой думской сессии — и как будто опять легко одерживалась победа над правительством? — но опять не выявлялась полностью. Как угодно бичевали, полосовали, поносили, плевали, применяли уже запредельно возможные резкости, с тем разгоном, какой свирепеет от безответности, — оставалось только, как верно сказал Маклаков, бить правительство кулаками. А в ответ — растерянное молчание, кроме единственного Риттиха, правительство, как всегда, пряталось, — пряталось, однако же вот не уходило! И даже не сшибли премьера, чего так легко добились в ноябре. Как будто победа, а выхватить её до конца не хватало средств и путей. А следующей осенью будут перевыборы Думы, и Блок рискует самим ходом времени потерять свою опорную 4-ю Думу — там ещё кого и как выберут, придут новые люди. А царь укрепится победой в войне.

Да, жалкое правительство, — но как занять его место без сотрясения? Как вытеснить правительство, не поколебав парламентского строя, не допустив до революции? Выгодный вопрос — тяжёлое положение с продовольствием, но может исправиться ещё до весенней распутицы. Ни на фронте, ни во внешней политике не происходит сейчас никаких крупных событий, на которых можно было бы эффективно продвинуться. Распутин? — и того не стало. Безвыходность победного состояния: вереница моральных побед над правительством грозила кончиться пшиком. Нависал кошмар завтрашнего пустого заседания Думы, с неизбежным новым запросом или криком — а громче уже не получалось.

Правда, стрельба на Невском вчера вечером и вчерашние убитые давали новую неотразимую платформу для атаки. Вчера, по горячему следу, городская дума постановила: «Это правительство, обагрившее руки в крови народной…» — и можно развить, и завтра в Думе принять от Прогрессивного блока: «… это правительство не смеет более являться в Государственную Думу, и с этим правительством Дума порывает отныне навсегда!» Трусливые убийцы, они решились на боевые патроны! Должна была Дума грозно ответить!

Однако. Однако в борьбе с правительством требуется чувство меры, и — именно при таких волнениях! — нельзя доклонить до анархии. Поколениями штурмовали эту стену режима, били её таранами, — а вдруг как будто не стало стены? Осторожно! Дума — нервный центр страны. Мы —управляем народным движением и отвечаем за него, а оно справедливо направлено против Протопопова и царицы.

Вот Гучков, Гучков пустомеля! Как надеялись на его обещанный заговор! Как он живописно, таинственно молчал на совещаниях — значит, близко?.. Но всё никак не совершал переворота.

И выход начинал видеться сейчас — в конфиденциальных переговорах с правительством. Догрызть министрам голову до конца — конфиденциально: что они — никуда не годятся, что дело их проиграно, и пусть уходят тихо, все сразу — а Блок займёт их места. И если для этого понадобится Думе тоже прерваться на неделю-две, то — можно. (Даже ещё и лучше, говорить совсем не о чем.)

И такие именно важнейшие переговоры велись именно сегодня днём, сейчас, между двумя министрами и двумя думцами. Однако те переговоры вёл не Милюков, но Маклаков. А Милюков сидел заманеврированный на ненужном пустом заседании. Досадно, он и ревновал к Маклакову, да и был мастер дипломатии, он сумел бы лучше вымотать министров.

А тут ещё, ко всей никчемности заседания, язвительный Шульгин задел больное место. С особым умением неприятно вставить жало, он, через продолговатый стол по диагонали от Милюкова, с улыбкой под вздёрнутыми усиками выговорил почти нежно:

— Господа, мы очень незапасливо дерёмся. В критике — просто нет равных нам, мы — короли критики! И правительство почти пало и лежит в пыли. Ну вот, считайте, что победа уже одержана, что завтра Государь будет до конца убеждён и призовёт наконец *людей доверия*. Мы второй год единодушным хором настаиваем на *лицах, которым верит вся страна*. А скажите, есть такой список, чтобы завтра подать его Государю?

И острым взглядом посматривал на Милюкова, ибо кто же был здесь более достоин уколов, и чья кожа была лучше всех защищена толстотою, если не Милюкова?

Да, конечно, этот список давно должен был быть составлен. Но столько было недоговоренностей, сцеплений и расцеплений сил, комбинаций, игра влияний, лаборатория настроений, а иногда сплетен и скандалов, что *назвать* кабинет — значило бы разрушить многое и кого-то прежде времени оттолкнуть. Осторожнее пока не называть. Да, признаться, настоящих специалистов в министры никто и не знал. Только общее интеллектуальное и политическое превосходство Милюкова обезпечивали ему несомненно портфель иностранных дел.

А Шульгин всё ввинчивал своё:

— И разве в «великой хартии Блока» — действительно деловые вопросы? Разве с первого дня нам придётся заниматься малороссийской печатью и еврейским равноправием? Нам придётся, господа, вести получше саму войну и поставить тыл для войны — а умеем ли мы? Ведь правительство — это и знание аппарата и приёмов управления, — так разве мы, например, с вами готовы?

Между первой его тирадой и второй было, кажется, противоречие: в первой предполагалось, что они не знают, кто будут *эти лица*, а во второй — что это будут почти они. Да зная всех ораторов и всех деятелей — трудно было вообразить, где б это со стороны набралось новое правительство, а не главным образом из думской головки.

Да конечно — так и будет. Но даже ещё и премьер-министр не ясен. Последнее время называли земского князя Львова. (А по сути — твёрже всего тоже было бы Милюкову.)

И Милюков ответил Шульгину, но не на тот вопрос. Ответил, что программа Блока как нельзя более практическая: добиться власти, облечённой народным доверием. А как только она утвердится — то каждую отрасль и поведут наилучшие люди. Достойные министры — залог хорошего управления, это и на Западе так. Но, конечно, нас искусственно устраняли от государственной деятельности, оттого у нас мала и практика.

Посмотрел на Шингарёва за поддержкой. Шингарёв был, увы, слишком простодушен. Он полностью всегда поддерживал Милюкова, но нельзя было его ввести ни в какой пружинный тайный

ход. Так и сейчас, полагая, что подкрепляет своего лидера, он ответил, мягкие руки впереплёт на столе:

— Василий Витальевич, но мы не раз этого вопроса касались, однако побереглись переступить. Это неудобно, нетактично. Что скажут о нас?

Шульгин сделал сальто-мортале карандашом между пальцев:

— Андрей Иваныч, вот это и есть политика по-русски: все плохие, а чуть к делу — неудобно имена называть. Так никогда дела и не будет.

Тут черноусый, чернобровый, голочерепый Владимир Львов, согнувшись в стуле (сведенные руки между коленями не до пола ли свисали?), из глубоких своих глазниц сверкнул профетически и известил:

— Правильно! Пришёл час — называть имена. Это — наше право! И мы не можем никому доверить.

Довольно безумный чёрный блеск глаз его и некоторые иногда обороты речи заставляли опасаться, не свихнут ли этот Владимир Львов, как и злосчастный Протопопов, за кем ведь тоже порой замечали, но не поостереглись. А ведь как-то уже приспособляли этого Львова к церковным делам: после университета он вольнослушателем ходил в Духовную Академию, приучил Думу и Блок, что он специалист по церкви, да и взор у него был как бы фанатика.

Бюро Блока молчало. Кто вздохнул, кто пошелестил бумагой.

День за окнами угасал. Стволы деревьев Таврического сада стояли среди осевших, уплотнившихся сугробов.

Молчали восьмеро в комнате — и снаружи ни один звук не достигал, ни одно движение. Столько уже было переговорено за полтора года, столько! — и всё по одному месту. Уже и говорить не хотелось.

А Маклаков не возвращался.

52

Не дождавшись Маклакова, устроили перерыв. Кое-кто вышел в Екатерининский зал.

Больше всего любил Шульгин во дворце этот необыкновенный по форме зал, когда-то открывшийся балом по взятии Измаила, и особенно как сейчас, когда в семь высоченных венецианских окон западного полукруга попадали последние лучи заката. Это было долгое озеро паркета, во сто шагов длины, до второго такого же восточного оконного полукруга, и во всю длину его с каждой стороны шло по восемнадцать пар коринфских колонн, и даже внутри колонных пар можно было свободно идти по трое. Паркет, натёртый в субботу, переблескивал и отражал в себе белые колонны, а можно было смутно уловить и люстры — семь огромных трёхъярусных люстр с плоского потолка, ободы с двуглавыми орлами и белыми многосвечниками вкруговую. Был ослепителен этот зал в балах, был оживлён и живописен как думские кулуары, когда из зала заседаний вытекало пятьсот депутатов в парадных сюртуках, рясах и крестьянской одежде, а по лесенкам сходила с хор публика, и особенно дамы, дамы. Но больше всего поражал этот зал вот в такой пустынности, в незаседательные дни, когда можно в одиночестве задумчиво-медленно пересекать это невероятное сверхдомовое пространство, обдумывать что-либо или просто помечтать — мечталось тут особенно просторно, и Шульгин имел такую склонность. В пустынности, да ещё в закат этот зал ликующе-тоскливо соединял душу с какой-то высшей стройной красотой.

Но сейчас увидел Шульгин, как из Купольного зала в Екатерининский почти одновременно вошёл и Маклаков. Выражения его лица, доволен или недоволен, нельзя было различить издали, — но и издали создавала его уверенная, ловкая фигура, всегда в прекрасно сшитом, но не слишком новом костюме, впечатление законченности. И Шульгин, оторвавшись от спутников, пошёл быстро ему навстречу. Он и всегда Маклакова любил — за остроумие, за афоризмы, за находчивость быстрого ума, за весёлый блеск глаз, за глубину, тонкость и гибкость юридической аргументации в его речах, сделавших его златоустом, сиреною Думы.

Василий Маклаков был самой яркой фигурой кадетской партии — а не лидер её. И даже вообще, принципиально — не лидер. Он утверждал такую ересь, что партийная программа вообще не нужна, нельзя требовать единомыслия во всех пунктах, а лишь бы совпадало общее направление. И никогда он не произнёс даже единой речи по поручению фракции, а лишь когда хотел, располагал сам. (Он речи выбирал такие, где мог бы проявить наибольший блеск, иметь наибольший успех.) О, разумеется, соединять в

оркестр двадцать разных мнений и все их удерживать в русле Блока — Маклаков никогда бы не стал и не мог. Никогда не входил он и в бюро Блока. Так он как будто и не был соперником Милюкову? Нет, был. Таких пронзительных суждений, аналитических речей и свежих мыслей — никогда не исходило от Милюкова. Во всех идеях опережал всегда Маклаков: и когда пора заняться интенсивной борьбою с властью, создать в Думе искусственно сплочённое большинство (сама идея Блока) — или когда пора проявить терпимость и начать сотрудничать с правительством, как думал он едва ли не единственный последние месяцы, — оттого что он вообще считал законом жизни постепенность и эволюцию. Маклаков опасался даже самого начатка революции, а остальная кадетская головка нет: она считала, что направители всего общественного мнения могут использовать начало революции против власти, а потом остановить. Баловень судьбы и публики, всё в жизни легко получавший, удачливый охотник на уток и на женщин, всегда уверенный в удаче, Маклаков, отчасти от этих успехов, отчасти от юридической безпристрастности, когда поднимаешься выше спорящих сторон, всегда первый призывал прислушаться к тому, что справедливо в доводах противников, и так изо всей кадетской фракции был самым приемлемым для правительства, если вести переговоры. Потому именно его и октябриста Савича послали сегодня на переговоры с Покровским и Риттихом в министерство иностранных дел на Певческий мост.

Отношения Милюкова с Маклаковым по разности взглядов, приёмов, образа действий вызывали постоянную личную противонапряжённость. Каждый из них не мог заменить другого, но и примириться с другим не мог.

И — как же сегодня? что? — спешил узнать Шульгин. И образовалась их группа при встрече, другие подошли.

А Милюков — стоял издали, у колонны. Но получилось так, что здесь уже была группа, и Маклаков мог и уже начал сообщать новости, — и пришлось Милюкову через нехотя, не торопясь, как бы унижаясь, идти к ним сюда же.

Что у Милюкова был взгляд твёрдо убеждённого кота в очках — это и многие так знали. Но Шульгин особо считал, что у Милюкова наружность учёного прусского генерала, только одетого почему-то в штатское. Кому Шульгин выражал это сходство — смеялись, так оказывалось похоже. И голову твёрдо держал, и взгляд был твёрдый, лоб широкий, невысокий, со всеми признаками

твёрдости, да ещё от усвоенной доктрины; и гладкая седоватая причёска, жёсткие усы, золотые очки.

А Маклаков был — живая художественная переливчатость, лишь на каждый данный миг принявшая адекватную форму, всем чертам — привольность изменений. Уже ведя за спиной вереницу знаменитых адвокатских и политических речей, умница и удачник, он не вёл за собой партию и оттого ли был моложе своих 47 лет, в обаянии быстрой улыбки вспыхивали молодые белые зубы, и негромким, но явственным чистым голосом, слегка грассируя, вот сообщал:

— Ну что ж, господа, министры в полной растерянности. Практически мы их добили. Больше половины их вполне согласны на отставку. Но это, конечно, не значит, что отставку или пересоставление правительства разрешит царь.

— Но вы их ещё хорошо добавочно припугнули? — спросил Милюков.

Сосредоточенные умные глаза Маклакова не оставляли сомнения, что всё было взвешено и высказано.

— Да, они рвутся Думу распустить. Но я им… Я их предупредил: именно разогнанная Дума и станет всесильной. Заговорит вся Россия: за что распустили? И вы сами с извинениями будете через несколько недель упрашивать нас вернуться.

— Но — на несколько дней можно, вы сказали? — требовательно проверял Милюков. Всё равно лучше него никто не мог провести переговоров.

— Да, конечно, — легко, но и внимательно смотрел делегат не Блока, но свободной мысли. — Дня на три распускайте, я сказал, мы тоже отдохнём. Распускайте, но только при отставке всего кабинета. И за эти дни чтобы новый премьер собрал новый кабинет и при открытии привёл его в Думу.

Милюков не возразил, он всегда медленно обдумывал. Но кажется, так Маклаков и был уполномочен? Однако не всё:

— Но я сказал им: только в премьеры упаси вас Бог брать общественного деятеля.

Милюков нахмурился, стал неприступен и даже покраснел:

— Да почему же?

Маклаков незатруднённо объяснял всем:

— А что мы понимаем в управлении? Техники не знаем, учиться некогда. *Облечённые доверием* — это очень хорошо, но что мы умеем, кроме речей?

— А к… кто же? — поперхнулся Милюков. Рано называть *лица*, но что общественные деятели — это единственно возможно! С лёгкой улыбочкой Маклаков самовольно снял все их усилия?

А тот с приветливым наклоном, скользяще, быстро:

— Ну конечно — бюрократы. Хорошие, умные, просвещённые бюрократы. Пусть возвращают Кривошеина, Сазонова, Самарина. А в премьеры я посоветовал им — только генерала! Конечно, не Алексеева — звёзд не хватает. А — Рузского: и умён, интеллигентен, и с общественной амбицией. Он — политично составит кабинет, явится в Думу как представитель военного командования, и Дума ему ни в чём не откажет. Гарантирую шумные аплодисменты.

Но тут иной генерал, в ином виде и смысле, был возмущён, глаза налились:

— Василий Алексеевич, это непростительно! Вы превзошли свои полномочия! Вы не были…

Наискосок зала, из глубины, сюда шли. Маклаков поспешил дообъясниться:

— Павел Николаевич, но это — реальный и лучший выход сейчас. И то ещё — если кабинет подаст в отставку и если высочайше примут. Задача политика — строить из того материала, который имеется. Не в том дело, чтоб непременно прийти к власти нам, — а в том, чтоб и в сотрясении сохранить государственную стабильность. Власть и не входит в число либеральных ценностей.

То — шёл Керенский, быстро, узкой фигурой вперёд в наклон. А за ним поспевал нетёса Скобелев.

Группа у колонн замолкла: социалисты — чужие.

Но Керенский кокетливо избочь посмотрел на группу и, на проходке, возгласил:

— А-а-а, Блок!.. Что же вы, Блок, почему же вы не берёте власти?

И — шёл. И Скобелев за ним, как адъютант.

Милюков, Маклаков побрезговали отвечать, а Шульгин, всегда расположенный к насмешке, отозвался:

— Боимся не справиться с министерством внутренних дел.

— Ну! ну! — охотливо клекотнул Керенский. И одной рукой приветливо помахал, выворачивая кистью: — Немножко свобод… Немножко собраний, союзов и прочего… Торопитесь, торопитесь, господа!

И сам торопился, легко спешил в Купольный.

Они прошли — и Милюков ещё решительнее осудил:

— Нет, это непростительно! Вы не имели… так предлагать.

Маклаков поднял писаные брови. Опустил:

— Павел Николаевич! Quieta non movere!*

53

Чем была замечательна квартира Горького на Кронверкском — проходной революционный штаб! постоянно действующий, в вечном приходе людей и новостей — и неприкосновенный для полиции, на эту квартиру они посягнуть не решились бы! И к тому же всегда кормили (не то чтоб обслуживали, а было что взять поесть, кто там часто бывал). Приходили люди и совсем не знакомые ни хозяину, ни постоянным посетителям, — но кто-нибудь их привёл, и что-нибудь они тоже рассказывали. Сам Горький очень любил этот поток людей, рассказы и новости, то и дело бросал своё писанье, выходил из кабинета и толокся тут со всеми, сидел и сам вызывал людей на рассказывание историй. Правда, к нему и глуповатых много приходило, совсем уже темнота или пьянчуги, но и революционеров много бывало, особенно большевиков.

Гиммер, как правая рука Горького по «Летописи», да просто фактический редактор и основной работник, бывал почти каждый день, и совсем как свой. Так и вчера он весь остаток дня и вечер провёл здесь. Так и сегодня, поздно встав по воскресному дню, сообразил, что лучше не будет места, как пойти к Горькому. Когда новости сами к Горькому не приходили, то Гиммер лазил за ними в телефон — садился и начинал обзванивать разных знакомых ему людей — не самых главных деятелей, но всё ж из буржуазного, адвокатского, интеллигентского, литературного мира и даже периферии бюрократического.

Но сегодня за несколько полуденных часов, сидя у Горького, ничего узнать не удалось. И тогда Гиммер, другой сотрудник «Летописи» Базаров (в честь тургеневского) и ещё — отправились не-

* Не трогать того, что покоится *(лат.)*.

большой компанией собрать личные наблюдения. Надо бы идти, конечно, на Невский, все события там, но уже перед Троицким мостом толпа запрудила площадь. Правда, и в ней гудели плотные группы вокруг людей, уже вернувшихся с той стороны. Все рассказывали — со своих глаз или чужих слов — одно: что сегодня в городе стреляют, боевыми патронами, и есть жертвы, — одни говорили — человек тридцать, другие — несколько тысяч, весь Невский устлан.

Если так, то становилось и опасно туда идти, может быть лучше узнать как-нибудь иначе. Ещё здесь постоять.

На стене Петропавловской крепости близ пушек перехаживали солдаты. Ожидались ли военные действия? Хотя выстрелы оттуда разметали бы толпу, но сейчас она наблюдала с любопытством.

Троицкий мост перегораживали запасные гренадеры. Хотя тут был и офицер, но шла оживлённая беседа толпы с солдатами. Лепили им откровенно — и о правительстве, и о Распутине, и о царе, и о войне, — одни солдаты молчали, другие посмеивались, никто не защищал. Нет, с этими солдатами вряд ли начальство могло бы действовать по подавлению, нельзя представить, чтоб, например, этот отряд взял ружья на прицел.

Не пропускали всех сразу, толпу, а поодиночке на ту сторону пройти было можно. Но вернее будет вернуться к Горькому и всё узнавать по телефону.

Что-то интересное заваривалось!

А Горький — так и просидел все эти часы у телефона. Он уже знал о расстрелах и знал, что общественные круги потрясены, но вместе с тем и растеряны, ибо никто не придумал, как надо на это ответить. И видно, не поднимались их обывательские головы выше «самых решительных представлений».

Тут повис на телефоне и Гиммер, стал звонить своим левым деятелям. На вечер было предположение собраться и обсудить, да вероятно у Керенского. Все согласны были, что левые должны использовать этот момент, но никто не знал — за что взяться.

Кому Гиммер не мог позвонить — это Шляпникову, не было такого телефона, они жили там, по берлогам Выборгской, без телефонов.

Нервы изнемогали.

Но много времени спасительно заполнял телефон: за телефоном как-то не замечаешь часов.

54

Воскресенье — и не чувствовалось ни в чём, от одного больного к другому. И в церковь к обедне не пошла, потому что уже с утра устала — и больше нужна была здесь, больным.

Тяжелее всех переносила — Аня Вырубова, при её характере паническом и сосредоточенном всегда только на себе. Каждую минуту около неё дежурила не одна, а сразу две сестры, и утром приходило четыре детских доктора, и потом попеременно то Боткин, то Деревенко, а минувшую ночь близ неё провёл ещё один доктор, которого она особенно любит, — вполне занимала Аня собою целое крыло дворца. И требовала, чтобы младшие незаболевшие дети приходили к ней трижды в день, а государыня — дважды, и утром, и вечером, — и государыня покорно исполняла желания этой своей вычурной, утомительной и навсегда уже доверенной подруги.

Мари и Анастасия гордились, что они не больны, то сидели у постелей, то телефонировали друзьям, сообщали новости и узнавали их. В общем, они очень помогали матери, но боялась она, что свалятся и эти две. У всех больных был сильный кашель, сильная сыпь, Бэби покрыт ею, как леопард, у него, к опасенью, ухудшилось, и температура была под сорок.

От гвардейского экипажа трогательно прислали Ольге, Татьяне и Ане по горшку ландышей — и в их занавешенных тёмных комнатах теперь тянуло тонким запахом.

А вообще, в эти дни затруднилось получение цветов — и уже не стояли в каждой комнате разные, свои, как всегда.

Что там в городе? Днём пришла милая записка от Протопопова, написанная им в 4 часа утра, после ночного заседания министров. Предприняты аресты революционеров, самых главных вожаков. А городской голова не справился в городской думе с дерзкими речами — и он, и ораторы будут привлечены к ответственности. Принимаются энергичные, строгие меры, и в понедельник будет уже всё совершенно спокойно.

Ну, слава Богу. От разных передающих стало известно, что вчера днём убит бедный полицейский офицер. Но, вообще, волнения нисколько не походят на Девятьсот Пятый: все — обожают Государя и озабочены только недостатком хлеба.

Идиоты, не могут наладить хлеб.

Пришло письмо от Ники, прижала его к губам. (И Алексею — пришёл бельгийский крест.) Боже, как ему должно быть ужасно его одиночество в Ставке!

Такое солнышко светило сегодня — такое солнышко чистое, радостное, всё должно окончиться хорошо!

Звало наружу. Наилучший час: съездить помолиться на могиле Друга.

Взяла с собою Мари, самую здоровую, поехала в автомобиле. Могила — на краю леса, на аниной земле. Ободрительно светило солнышко, хотя и отусклилось.

С тех пор как в прошлом месяце над могилой надругались — пришлось поставить здесь пост, постоянного дневального.

От этого, правда, терялась та глубина, незатруднённость общения с умершим, какая бывает в одиноком посещении. Но уже вокруг могилы стали воздвигать и сруб часовенки — и сегодня он достиг той высоты, что, зайдя внутрь, — ты оставалась видна дневальному и шофёру только выше плеч. А Мари — и совсем не видна.

Квадрат сруба — создал уединение. Сверху было — Божье небо, солнце, а с боков — не видели. Ощущение храма.

Мари стояла строго, молча, понимая.

Александра опустилась перед холмиком могилы — на колени, прямо на снег, на подвёрнутые края своего пальто.

Вот она рядом была, ощущала Божьего человека, беседовала с духом Его и одновременно с Богом.

Убили Его — убили её собственную душу, началось беззащитное голое существование. Всегда так успокаивало знать, что Его молитвы, иногда в безсонные ночи, следуют за царской семьёй. Звучали в ушах его поучения: не ума спрашивайся, а сердца. Пусть будет благодать ума. Радость у престола.

О Боже, нам всем ещё отдастся, что Его нет с нами. С того дня всё и рушится. Он так и предсказывал. Теперь все катастрофы возможны. За Его убийство — пострадает вся Россия.

Но он — и жил, и умер, чтобы спасти всех нас.

А теперь будет заступником-молителем на том свете.

Как же они, ничтожества, ненавидели Его! Добились своего…

От этого святого места теперь разливалось спокойствие и мир.

Для души созерцательной и мистически-чуткой, какой обладала Александра, не было непроницаемой преграды между миром тем и этим — но туда и сюда переходили воздействия наших поступков, мыслей — и небесных воль. Божий человек — убит, но и не умер, и вот сейчас она была настолько немешаемо рядом с ним, как и раньше, во времена бесед, когда его сильные серые глаза источали ей спасительный свет. Она — всецело чувствовала Его здесь, рядом, и сквозь снежный покров, земляную насыпь и гроб.

Спасительного чуда для трона и для России ждала государыня — от самого народа, от праведных его молитвенников. (Никак она не больше — а меньше! — немка, чем Екатерина, признанная в этой стране — великой.) И посланный Богом прозорливый Друг был явным выражением этой всеправославной связи и всенародной помощи.

Александра всегда искала через веру — таинственности, знамений и чудес. Она — ждала их! Она — верила в них!

Но — свойством ли натуры своей, или касаясь непреодолимой истинной сути вещей — она больше склонялась к предчувствиям дурным и к меланхолии. Ехали ли летом Четырнадцатого года на яхте в финские шхеры — что-то печально наговаривало в ней: а может быть, это последний раз так счастливо едем вместе? Покидали Ливадию весной того же года — всё грустно пело: а может быть мы никогда-никогда уже сюда не вернёмся? Узнала вечером 19 июля о начале войны — и рыдала, рыдала, предвидя неминуемые бедствия.

Вот и в декабре в Новгороде: зашла к старице Марье Михайловне в крошечную келью, где та лежала на железной кровати, и железные вериги рядом. Ей 107 лет — а без очков шьёт бельё для солдат и арестантов. Никогда не моется — и никакого запаха. Курчавые седые волосы, миловидное лицо с молодыми сияющими глазами. И — что ж она провидела в вошедшей? Протянула высохшие руки: «Вот идёт мученица царица Александра!» Благословила. «А ты, красавица, тяжёлого креста не страшись!» И через несколько дней опочила, как будто этого визита только и ждала.

Почему — мученица? Кажется, жизнь властной царицы наиболее от этого далека?

Значит, видела что-то.

Всё — ко злу и к падению.

55

Для генерала Хабалова город Петербург не был совсем новым: в прошлом веке он служил тут 14 лет кряду на разных штабных должностях. А потом, 14 лет этого века, — в других городах, всё по военно-учебным заведениям, на воспитании юношества. А там, смотришь, и жизнь проходит, в 55 лет назначен был военным губернатором Уральской области и наказным атаманом Уральского казачества — как раз перед войною. А там и всего-то было девять полков, и все ушли на войну, и Хабалов мог покойно служить в глубоко верноподданной области. Но, увы, летом прошлого года был переведен командующим перегруженного, многозаботного Петроградского военного округа, правда, не самостоятельного, а подчинённого Северному фронту, — так что главные заботы с этим говорливым городом, и его военной цензурой, и его шатущими рабочими ложились на генерала Рузского.

Но вот неделю назад, роковым образом, а верней по подсказке Протопопова, Его Императорское Величество пожелал сделать Петроградский округ отдельным — так что вся тяжесть легла на плечи Хабалова. (Правда, должность равновелика Командующему армией, и жалованья больше.)

А тут сразу всё и началось. Ко дню открытия Думы 14 февраля какое-то назначалось большое революционное шествие — и пришлось Хабалову издать воззвание, что Петроград на военном положении и всякое сопротивление законной власти будет немедленно прекращено силой оружия. (Он так писал, но сам не знал, а как ему сверху скажут, а сверху велели: ни в коем случае, ни одной пули.)

То шествие, к счастью, раздробилось и не произошло. Но обстановка в Петрограде была сильно безпокойная. А по железным дорогам за двухнедельными заносами да ударили сорокаградусные морозы, а безлюдная деревня не успевала разгребать пути — и сократился подвоз муки в Петроград, и от слуха возникли ожесточённые хвосты за чёрным хлебом. (Дело серьёзное, и жена генерала изрядно запаслась мукою, крупою и маслом.)

На случай волнений был разработанный план, как распределять войска по районам, но всё это знал генерал Чебыкин, он знал и весь офицерский состав, — а в эти дни возьми да уедь на отдых в Кисловодск. (И главный экземпляр плана без него тоже найти не

могли.) А заменивший его полковник Павленко состоял после тяжёлого ранения, Петрограда не знал, и никого тут. Да все командиры запасных батальонов были так или иначе больные, потому что здоровых офицеров не отдавали фронтовые гвардейские части. И ещё начальник корпуса жандармов генерал граф Татищев — тоже отлучился, как раз накануне, в тот же день, когда и Государь уехал из Царского Села в Ставку. И как раз тут всё началось! И уже не обратишься за указаниями на соседний фронт к Рузскому. И до Государя не дотянешься. Да и что его зря безпокоить?

И вот — третий день сидел Хабалов даже не у себя в штабе, а в градоначальстве, куда лучше сходились все линии связи, пока полиция не была разгромлена. Тут в нескольких смежных комнатах с распахнутыми дверьми все они и сидели — Хабалов со своим начальником штаба Тяжельниковым, контуженный полковник Павленко, командование войск гвардии и полицейское начальство. Генерал-майор Тяжельников был тяжёлым ранением выведен из строя навсегда. Но не принята была его отставка, а назначен сюда, в штаб округа, с ещё не зажившей раной, — собственным распоряжением Государя. Павленко настолько был контужен, что сильно растягивал слова, рядом в комнате не всегда можно было его понять, а когда по телефону говорил — то что там на другом конце? А к полиции ещё текла и текла череда каких-то совсем посторонних людей, горожан, приходивших со своими страхами или вздорными просьбами и толчеёй своей только мешавших всем.

Хабалов так себя ощущал, будто попал он в котёл, где и варило его какой день, и он сам мало что мог сделать. Всё, что происходило, — доносились голоса, выставлялись лица, испрашивались решения, — всё через гул этого чужого котла.

Такого положения, как сейчас, — и представить не мог, никогда не попадал: уставы — как будто перестали действовать. Войска у него были — и как будто не было, а всюду свободно бродили неуправляемые толпы, которые и сами не знали, чего хотели, — потому что и хлеба, кажется, не хотели. И позавчера, вчера ещё занятый, как устроить лучшую выпечку хлеба, генерал сегодня и о хлебе перестал хлопотать, руки опустились. Хабалов попал в состояние, что его несло, толкало, поворачивало, и всё под этот гул, и только та его поддерживала надежда, что когда-нибудь да кончится же день, а на ночь, слава Богу, успокаивается — и тогда можно поехать домой поспать, заложив телефон подушками. А пока нужно было сидеть тут и делать вид, что управляешь событиями.

И до того уже распускались, что лезли с непрошеными советами какие-то приходящие офицеры: капитан из Гатчины, у него автоброневая команда, 8 броневиков, мол, с надёжными офицерами и солдатами, даже только пройдя по улицам, она сильно воздействует на толпу.

— Потрудитесь, капитан, не мешать властям исполнять свой долг. Не ваше дело предлагать советы. Отправляйтесь к вашей части!

И ещё время от времени требовал Хабалова к телефону военный министр, кукольный генерал Беляев, и всё спрашивал сообщений, что делается в городе, — хотя ничего же сам предпринимать не мог, а всё равно Хабалов. Да и сведения, притекавшие в градоначальство, не все были доступны проверке, а некоторые и просто фальшивы.

А то позвонил Хабалову сам Родзянко — а почему? по какой субординации надо было ему отвечать? — «Ваше превосходительство, зачем стреляете? Зачем эта кровь?» — «Господин Председатель, я не менее вашего скорблю, что приходится прибегать к такой мере, но заставляет сила вещей». — «Какая такая сила вещей?» — «Раз идёт нападение на войска, то они не могут быть мишенью, но тоже должны действовать оружием». — «Да где же нападение на войска?!» — Перечислил ему. — «Помилуйте, ваше превосходительство, да петарды сами городовые бросают!» — «Да какой же им смысл бросать?»

Городской бой! Где это слыхано? Как его вести? Хабалов, во всяком случае, не ведал.

Вчера Хабалов долго поверить не мог, что казак — убил пристава. Если так — то как же? то что же делать?

Вчера вечером волнения приняли уже такой размер, что Хабалов должен был телеграфно обстоятельно доложить генералу Алексееву в Ставку. А воскресенье с утра так обнадёжливо началось, и Хабалов доложил, что в городе спокойно. Но с полудня всё равно пробрались, набралось с окраин, и все — на Невский, с северной и восточной стороны. В боковых улицах начались столкновения, пока только с конной полицией. Но в войска летели куски льда, камни, бутылки — и не всё же войскам терпеть? В нескольких местах на Невском, от Гостиного Двора до Суворовского, стреляли, сперва в воздух, кой-где холостыми — но от этого толпа не рассеивалась, а только насмехалась, уже привыкнув к безнаказанности. Тогда стреляли и прямо в скопища. Но и рассеянные, оставив на мостовой убитых и раненых, они не разбегались далеко, а прятались в ближних дворах и переулках и опять начинали собираться. Что делать?

После очистки Знаменской площади собирались в переулках при Старо-Невском и оттуда из-за углов стреляли в воинские наряды. Но всё ж обходилось без крупных нападений толпы на войска, и была надежда, что пыл толпы охлаждается, а вот скоро и смеркнется. Уже и Невский очищался, забирали власть вооружённые патрули, да разъезжала конница, можно было ждать благополучного окончания дня. Всё же первая стрельба подействовала на толпу подавляюще.

Как вдруг по телефону доложили о событии невероятном: что 4-я рота лейб-гвардии Павловского запасного батальона из здания придворно-конюшенного ведомства, где расквартирована, выбежала на улицу без офицеров, стреляя вверх, с какими-то криками, затолпилась на Конюшенной площади — и оттуда стала продвигаться по каналу — к храму Спаса-на-Крови.

Телефонные звонки последовали за звонками — с докладами и запросами, что делать. Отсюда надоумливали естественно: уговорить — напомнить о присяге — вызвать командира Павловского батальона.

А оттуда доложили: взбунтовавшаяся рота поимела столкновение со взводом конно-полицейской стражи, залегла и обстреляла его.

Это новое сообщение показалось Хабалову вовсе недостоверным: с какой бы стати солдаты стреляли в конно-полицейскую стражу? В том гуле-гуде, который не прекращался, любую чушь могли соврать.

Доносили: рота требует отвести в казармы весь Павловский батальон и прекратить стрельбу по городу!

Такого не может быть!

Доносили: прибыл полковник Экстен. Но пока он уговаривал бунтовщиков — сзади него собралась толпа, и оттуда студент револьверным выстрелом тяжело ранил полковника в шею.

Ничего себе!

Тем не менее оказалось, что рота успокоена уговорами полкового священника — и дала отвести себя в казармы.

Слава Богу.

Теперь казармы — заперты, и офицеры находятся при своих солдатах. Понемногу согласились сдать и винтовки. Винтовок там было далеко не на всех, может быть — одна на десятерых, но и из тех двадцать одна исчезла! Исчезли из казармы, значит ушли в городскую толпу. А может быть, с ними и сами солдаты? Ещё не посчитали.

В таком необычном случае — что делать командующему? Доложил по телефону военному министру Беляеву. Тот потребовал сию же минуту полевой суд — и расстрелять зачинщиков.

Как это? С какого конца браться?

Для следствия и суда рота оказалась слишком велика: кажется, их там около 800 человек. Звонили прокурору окружного суда: возможен ли полевой суд без предварительного дознания? Оказалось: невозможен. Но 800 человек и в неделю не допросишь.

Тут выяснилось, что их — не восемьсот, а вся тысяча пятьсот, таковы раздутые запасные роты, больше нормального батальона. Но тогда не то что дознание, а не оказалось в Петропавловской крепости и помещения такого, чтобы принять полторы тысячи.

Звонил ещё раз военному министру, о безвыходном положении.

Постановлено было посадить в крепость хотя бы зачинщиков.

56′

(Бунт павловцев)

Сохранён для нас каждый поворот мысли Родзянки, Милюкова или Керенского (хотя б и оформленный позже, в эмиграции), донесен до нас каждый их шаг. А мысли, действия и самые имена полутора тысяч солдат 4-й «походной» роты запасного Павловского батальона — никем не записаны, не оправданы, не изъяснены, — и только вступили в нашу историю окаменевшей вспышкой, своим коротким конечным результатом. Никто не оставил записок или рассказов, обычная немота простых людей. А из образованных никто не догадался затем расспросить их посвежу да записать. (Наш Александр Блок сушил своё перо на записи допросов в Чрезвычайной Следственной Комиссии, ожидали там сенсации.) Сохранилось только короткое групповое письмо павловцев в газету. В ожоге тех дней ничто не было утвержено документально, но если б

и было — то ещё прошло ли бы сквозь четыре года вымирания Петрограда и полувек пренебрежения Февралём?

Итак, подошла страница описать бунт Павловского батальона — но черпать не достанет без догадки.

Рота эта называлась «походной», потому что составлялась из тех, кто ближе к походу, — из более уже обученных и из выздоравливающих после фронтового ранения, стало быть солдат, уже испытавших войну и ожидавших новой отправки туда же. Эту роту все минувшие дни не выводили на уличное охранение, она ничего сама не видела, лишь понаслышке. Но по спешке набора в гвардейские запасные батальоны сюда попадали теперь и свежемобилизованные питерские рабочие, а они сохраняли живую связь с городом, и с кем-то кто-то виделся, и в иные казармы приносили листовки и прокламации. Известно, что казармы содержались распущенно, в них и раньше проникали посторонние, звали поддержать братьев-рабочих. А в эту полосу городских волнений — в казармы могли проникать агитаторы и ночами, рассказывать и взывать.

Есть свидетельство, что в воскресенье после полудня группа рабочих подвалила к дневальным у ворот 4-й роты, да прямо с Невского, наверно, и прибежали, — и рассказывали, что только что павловцы стреляли вдоль проспекта. И ясно, что упрекали *этих* за *тех*: как же они терпят, что их полк стреляет в народ? (Сами эти агитаторы не были честолюбивы, или не слишком развитые, ибо никто из них не напечатался в ближайших за тем газетах, жаждавших любых рассказов или сплетен о Феврале — так мы не знаем подробностей.) Ну и висело, конечно, известное: «А вы тут на трёхэтажных нарах клопов кормите!»

А в 4-й роте были и кто уже посражался под знамёнами Павловского полка — и хоть не все, но некоторые проняты честью полка. Как же так: «Ваш полк стреляет в народ!» От образованных — и к нам обрывки смутные: «*Не туда* вас ведут!»

Да солдатское ли дело — стрелять по толпе? (А что ваша полиция делает?)

И вот — рванулась 4-я походная рота, стала выбегать на улицу! (А были и выгоняльщики, из питерских.) Сперва, конечно, пять-десять человек, а потом и несколько сот — а там, гляди, и все полторы тысячи: кто — всё ж в казармах удержался, а кто во двор, а кто и за ворота. Сперва, может, без винтовок, но быстро смекнули, что надо винтовки брать, а их всего сотня на полторы тысячи, да и то, наверно, ружья разных марок. Выбегали, не понимая, что именно надо делать, а — остановить! чтоб не стреляли наши павловцы в народ! чтоб вернули в казармы все павловские роты! И чтоб вообще не стреляли!

А вывалили — и куда бежать-то непонятно. Значит, сгрудились, остановились, кто кричит, кто винтовкой трясёт, кто закуривает, кто нос утирает.

А носы — носы ещё были в один фасон, не прежние подборные павловцы, а всё ж низкорослые да курносые, под Павла I, их поболе.

Ещё не было пяти часов пополудни, запеленившееся солнце ещё не вовсе ушло с неба, хотя стояло низко. До конца светлого времени оставалось часа полтора.

Вывалили, из бывших придворных конюшен с полукруглою колоннадой — на Конюшенную площадь, одно из укромных и неповторимых мест Петербурга: тот уголок у Мойки между круглым рынком с барельефами бычьих голов и кубической маленькой церковкой, где лежал мёртвый Пушкин и должен был быть здесь отпет, но стекалась толпа — и ночью увезли его в Святогорский монастырь. Тот закрытый уголок, откуда один извив трамвая или сотня шагов мимо подвального «Привала комедиантов» Серебряного века (бывшей «Бродячей собаки») — выводит на неохватный простор Марсова поля, а с Конюшенной — кажется, и выхода ни в какую сторону нет, всё замкнуто.

Но уже знали, сообразили — и повалили, без строя, как попадя, не солдаты, а толпа — прямою дорогою к Невскому, а это узкий берег Екатерининского канала, между решёткою набережной и домами, там если бы построиться по четыре, так вот и всю ширину заняли. Не повернуться, не обойти.

И до Невского было им всего триста саженей, но пробежать-прошагать пришлось только двести: остановились не где-нибудь, а как раз у храма Спаса-на-Крови, через канал от рокового места, где разорвало бомбою Александра Второго.

Безсвязный, шумный, дикий их поток с криками, матом, размахиванием, никакого строя — привлёк внимание наряда конной полиции, охранявшего подступы к Невскому по каналу.

Полиция, всеми ненавидимая, никем не поддерживаемая, в пешей части своей уже разгромленная в предыдущие дни, ещё на конях держалась в этот день и во многих местах держала толпы. Как всех предыдущих дней подробности сохранены нам не историками — революционными, либеральными или консервативными, но лишь в донесениях полиции, с завидной обстоятельностью и точностью, — так и возникшее столкновение с павловцами было бы известно нам подробней, если бы полиция просуществовала ещё один день.

Конная полицейская стража, десяток верховых, — и преградила путь павловскому потоку, да и павловцы кому-то же и шли доказать — вот, полиции! Винтовки сами и начали стрелять, да почти все в воздух — видно, и у тех и у других руки не брали стрелять по живому.

А место выпало — самое непроходное, где два стрелка могут задержать хоть полк. Так — ни павловцам к Невскому было не пробиться, ни конной полиции сшибить их назад на Конюшенную. Да, наверно, была толчея и паника, ведь несколько сот безоружных. Наверно, продирались через своих назад, и через мостик пёрли спрятаться за храм, уже многие думали, как отсюда бы спастись, а не править правду.

Потерь у павловцев — не донесли, знать, не было. А у полиции — один городовой убит, один ранен, да два коня. На таком-то сходном расстоянии это была не перестрелка, а как сердитый перекрик, ещё угулченный теснотою улицы.

А скоро у павловцев и патроны кончились, не во много их было больше, чем винтовок. И стали они подаваться, подаваться назад — от Спаса-на-Крови да опять к Конюшенной площади.

За всем тем прошёл, может быть, почти и час. У павловцев были только эти двести саженей узины вдоль канала, да безсилие, да безтолочь, да уже сожаление: зачем ввязались? зачем выбежали из казарм? А где-то, неслышимые, звонили телефоны, где-то кого-то вызывали, направляли, уже двигались оцеплять Конюшенную площадь по роте преображенцев и кексгольмцев, каждая с пулемётом, и примчался в санях сам командир Павловского запасного батальона полковник Экстен.

А между тем на суматоху — с Малой Конюшенной улицы, с Итальянской, с Инженерной тоже подбывал народ, самый разношерстный и никем не оцепляемый, так что мог он поднапирать на зрелище.

А между тем уже и смеркалось.

И когда полковник Экстен, не имея возвышения, стал громко и сильно говорить к своим бунтарям, не так усовещивать, наверное, как разносить, — близко сзади из гражданской толпы раздался револьверный выстрел — полковнику прямо в шею сзади, на том его речь и кончилась.

По всем этим дням замечаем мы, как там и здесь студент, или даже гимназист, юнец с идеями, делает из толпы зачинный выстрел (револьверы, у кого нужно, есть) — и всегда удачно усиливает тем столкновение.

Раненого полковника отвозили. В толпу не отвечали выстрелами, а стрелявшего не найти. Сумерки сгущались. Других желающих увещевать солдат — не находилось. Но по обязанности вызван был и должен был говорить батальонный священник.

Его — и имени мы не знаем. Ни — прежнего служения, ни последующего. Ни — из речи той ни единого слова и довода. Но кто не задумывался над постоянно горькой этой двойственностью полкового священника? — проповедовать Слово Божие и миролюбие тем, кто несёт меч, и в пользу того, чтоб этот меч лучше разил? А сейчас, хотя звал он свою паству воистину не стрелять, а смириться, — так ведь не для того ли, чтобы другие стреляли безвозбранно?

Может быть, священник кололся этими противоречиями и едва выговаривал. А скорее — все готовые фразы и все нужные тексты сразу подворачивались, и так пронесло его гладко. На много убедил он павловцев или нет, — но после его речи уже в темноте оцепленные стали втягиваться понемногу в казарму.

Одна была свобода у павловцев после события — разбежаться вгорячах, пока не окружили. Да страшно бежать солдату, особенно не здешнему, из казармы — а куда? Где солдату приют, где его ждут и накормят? А словят?

Всё же двадцать один человек с винтовками скрылись — так знали куда? Вокруг остальных замкнулось кольцо из таких же запасных гвардейских — и стой не стой на площади, а одна дорога — назад в казарму.

Уже не в казарму, а как бы в тюрьму. Винтовки — сдавали.

Кончилась вспышка, и день кончился, казарма стала заперта — и остались павловцы сами по себе, на медленное передумье.

Говорят, с ними вошли и офицеры. Но офицеров в их роте вообще было несоответственно мало: раненых фронтовиков — почти никого. А этих прапорщиков сопливых, нигде ещё не бывших, да и сюда присланных лишь недавно, никто и не слушал.

В окружённых казармах остались павловцы одни, захваченные и подавляемые тоской: что же теперь с нами будет? Не мальчики, понимали, что произошёл военный бунт, да в военное время — так значит, и смерть?

Так и потянуло слухом, как холодом близ пола: что велено их всех, полторы тысячи, расстрелять в 24 часа.

Не до сна.

Были зачинщики, а были — просто скотинка серая, ни сном ни духом. И в безсонной ночи с нар на нары перекидывался ропот: «Из-за вас…»

В этих событиях порывных люди сами себя не узнаю́т — ни когда бегут с криками, ни когда опохмеляются.

А тут ночью наехало много начальства, чужие офицеры, серебряные да золотые погоны, сколько вместе не видели отроду.

А душа-то — опадает, как гирей оборванная.

И — строили в несколько шеренг перед нарами, и перестраивали, и разделяли, таскали на допрос в канцелярию отдельно, и грозили, и требовали: назвать зачинщиков!

Их только что и называли, друг перед другом, в лицо. Да самые-то рьяные ушли, и с винтовками. Да кто-то и сам не понимал, чего он кричал и бежал, в другой раз ни за что не побежит.

Кто укажет нам страсти потяжче, чем эта вынуда круговая, из-подстопудово-каменная: рот раскрыть и голосом не своим назвать товарища, чтобы он погиб, а не ты? Кто эти хриплые голоса если слышал — забудет?..

Поздно ночью 19 выданных зачинщиков отвели в Петропавловскую крепость.

57

За телефоном не замечаешь часов. Да ещё менялись с Горьким. И другие тоже лезли звонить. Уже и стемнело давно, уже и вечер.

Позвонил Горький, между прочим, Шаляпину и узнал странную новость: Шаляпину только что перед тем звонил Леонид Андреев, а этот квартировал на Марсовом поле, рядом с павловскими казармами. Так вот он лично видел из окна, как пехотная часть с Марсова поля наступала на павловские казармы.

Если ему не померещилось, то что ж это такое могло быть? Борьба между войсками? Уже совсем невероятно!

Гиммер лихорадочно усилил телефонную деятельность. Звонил ещё, звонили ещё — и стали получать подтверждения, что — да, что-то случилось около Павловского полка, и тоже была стрельба на Екатерининском канале.

Наконец повезло: застал дома самого Керенского — только что прибежал из Думы. И Керенский захлёбно-торжественно, содрогновенным голосом объявил в телефон: что Павловский полк в е с ь в о с с т а л, вышел на улицу и обстреливал своих пассивных, кто остался в казармах!

Это было потрясающе! Это превосходило всякие ожидания! Если это было так, то карта царизма бита! Огромное событие!

Гиммер ушёл от телефона и пытался уединиться (в квартире Горького это было невозможно, разве что в уборной, и то не надолго), — обдумать, что ж из этого следовало. В Петрограде не было сейчас сильных умов революции (Керенский поверхностен, Чхеидзе расслаблен, Соколов — глуповат, Нахамкис — осторожен слишком, Шляпников — неразвит, остальные ещё того бледней) — один Гиммер и должен был для всех наметить путь, что делать, какие мероприятия необходимы? Но вот — он нервничал, и сам не мог сообразить.

Ясно одно, что для крупных политических решений, о которых он всё время думал, подошло время!

Может быть и мог бы сообразить, если б ему дали покой размышлять, но его опять тянули к телефону и к разговорам — а тем временем явился товарищ, подлинный свидетель с Екатерининского канала, и всё рассказал не так: один маленький отряд павловцев, куда-то зачем-то посланный, был обстрелян конной поли-

цией, видимо по ошибке, но стал ей отвечать, — а потом сдался и дал загнать себя в казармы.

И всё радужное возбуждение опало. Это — не был великий случай, не была брешь в твердыне царизма.

Но и не было теперь необходимости принимать важное решение.

Стал Гиммер снова дозваниваться до Керенского. Телефон его был изнурительно занят, уже барышня устала и отказывать, там разговаривали просто непрерывно. И был уже девятый час, когда Гиммера соединили.

Керенского голос узнать было нельзя — такой потушенный. Да, ввели в заблуждение: всего одна рота — и та сразу покорилась.

И проговорил в телефон пророчески:

— Много прольётся крови. Жестоко подавят.

Так что ж? Правительство, получается, сегодня победило?

Да, выходит, что так.

Значит, все эти дни метались зря?

Казалось, так.

58

В воскресенье Государь, как всегда, отправился на литургию — в старую семинарскую церковь Святой Троицы, на круче Днепра, епископ отдал её Ставке, и называли её «штабной». Тут было недалеко, и Государь охотно пошёл пешком — он любил ходить в церковь пешком, так верней, да не было всегда на то свободы. Пошёл с двумя конвойцами и сам в форме Конвоя. В штабной церкви было для него устроено на левом клиросе отдельное место, полузакрытое от храма колонной и большими иконами: легче молиться нестеснённо, когда сотни глаз тебя не изучают. Незамеченному — хорошо.

Обычная шла служба, и стоял молился вполне как обычно. Внимательно следовал за словами всего произносимого и поёмого, изученного с детства, — а местами сосредоточивался и на крылья молитв налагал просьбы. Да первая-то просьба к Господу, самая обширная и самая постоянная была — за наши храбрые войска и за дарование им заслуженной победы. Вся жизнь государства и самого Государя сошлась теперь в это: ничего нельзя было в стране устроить, ни даже жить — не выйдя победно из этой войны. И утром и вечером, каждый день возносил эту молитву Николай — и когда молился, то всегда посещала его уверенность, что так оно и исполнится. И — за саму страну, за Россию, за славное и вечное будущее её.

Сегодня — был день рождения отца, мудрого и могучего Государя. Всегда этот день помнил Николай — и всегда обращался к отцу за поддержкой. Не досталось ему вести такой ужасной войны — но он-то вышел бы из неё с громовой победой. Как перенять у него силы?

А ещё молился Николай — как выражались они с Аликс — за свою семью большую и малую: малая — это сами они с детьми, а большая — не династия уже, нет, это родство как бы отсохло, а те несколько десятков людей, близких к ним и верных, кто служили, помогали, сочувствовали.

Стоял и молился как обычно, и всё было как обычно, никакой бы сегодняшней особой тревоги, волнения — а вдруг, откуда ни возьмись, острой болью вступило в середину его груди, таким сжатием необъяснимым, сжатием и вместе проколом снизу вверх. То ли острая боль, то ли острый страх. Не только вздохнуть или остояться — но, кажется, остановилось само сердце — такое ощущение возникло, что сердце перестало биться, и всё в теле остановилось. Николай схватился за перильце позади себя, чтобы не упасть. Он — позвал бы кого-нибудь, но ещё для этого надо было два шага ступнуть и высунуться. А ещё — недостойно было, сразу звать помощь, ни от чего видимого.

И так схватило, и страшно держало. Но в эти минуты, к счастью, вспомнил, что уже было так однажды в жизни, и отлегло за десяток минут: это когда он узнал о катастрофе самсоновской армии, оказался тогда сердечный припадок. Пройдёт. Да и после сдачи Львова пошалило сердце.

Пройдёт. Должно вот-вот пройти. Однако не проходило, — и он потерял ощущение времени, он не знал, сколько это длилось. Вцепился в перильца, а сердце совсем не слышалось, а от боли нельзя было шелохнуться, и выступил обильный холодный пот, — и вдруг вошло в него сознание, что вот так и умирают, что вот это — может быть предсмертно.

И в этом ощущении он нашёл силы оторваться от перильца, и перешагнуть в сторону, к образу Пречистой Девы, — и опустить-

ся на колени перед ним, и лбом почти упасть на коврик: взмолиться о помощи — а если умереть, то вот так.

И вдруг — вдруг всё прошло, с той же внезапностью, как и постигло! И сердце вот уже отчётливо работало! Только остаточная слабость отдавалась по всему телу, так что легче было ещё постоять на коленях, чем подняться. И Николай отёр рукою лоб от пота.

Оказывается, он весь припадок не слышал ни слова службы и пения — а теперь услышал, и по разрыву определил, что припадок был не две минуты — а с четверть часа. Уже пели Херувимскую.

Так никто и не заметил случая с ним.

И хорошо.

Отстоялся на коленях — поднялся.

Но долго ещё сохранялась в теле — усталость. И возвращался Николай из собора уже на автомобиле. И с мыслью — как бы прожить воскресенье тихо, покойно.

Вообще-то Николай был — совсем здоровый и даже молодой человек, он не только чувствовал себя хорошо, но даже с годами лучше, так находили врачи.

Миновало — и уже не хотелось говорить доктору Фёдорову, как-то и стыдно возбуждать безпокойство. Если будет ещё раз — ну, тогда.

По краткости пребывания Государя в Ставке доклад Алексеева, тоже молившегося на литургии, предполагался и в воскресенье, и должен был состояться после церкви. Государь не отменил, пошёл выслушать.

Да вот уже, за три доклада, они как будто и обсудили всё главное, что делается с армией. Всё текло нормально, только перебивалось провиантское снабжение на Юго-Западном. Все армейские дела, по сути, были уже и направлены. Послезавтра, пожалуй, можно и возвращаться к своему Солнышку в Царское Село, ей очень тревожно и одиноко.

Ещё подал Алексеев телеграмму Хабалова. Да, в Петрограде же… Ну, что там? От Хабалова это была первая телеграмма. Он сообщал — ещё только за 23 и 24 февраля, что бастующих рабочих около 200 тысяч, — это много, правда бастовщики снимают работающих насильственно. Останавливали трамваи, били стёкла в трамваях и лавках, прорывались и к Невскому — но были разогнаны, причём войска не употребляли оружия. (Это — верно, так Государь и распорядился, ещё не хватает повторить ужас того страшного 9-го января.) И 25 февраля так же разгоняли с Невского.

Серьёзно ранен один полицмейстер, и при рассеянии толпы убит пристав. Перечислялось 11 эскадронов кавалерии, более чем достаточно.

Тут заметил Государь пометку, что телеграмма доставлена в Ставку вчера в 6 часов вечера. Отчего ж уж так за весь долгий вечер, да уже скоро и сутки — Алексеев её не доложил? Хотел спросить, но взглянул на трудолюбивое и даже измученное лицо Алексеева, кажется даже очки несущее с трудом, так было ему нехорошо, — и не решился огорчать старика. Он ещё не вышел из болезни, вероятно, вечером трудно было подняться идти. Да значит, и не придавал значения. Да тут, и правда, нет ничего особенного.

Перед завтраком получил и читал целительное, нежное письмо от любимой Аликс, вчерашнее. Боже, как она тоскует несказанно! Но и сколько успокоения, радости и твёрдости всегда вливается от её писем. Она тоже писала об этих волнениях — но тоже так понять, что ерунда, возбуждение мальчишек и девчёнок. А вот очень верные мысли: почему не наказывают забастовщиков за стачки в военное время? И почему до сих пор не введут карточной системы на хлеб? Этого Николай и сам не понимал и не мог добиться. Просто было какое-то заклятье с этим продовольственным вопросом, не давался он в руки никому.

Слишком много препятствий почему-то всегда встречается от высказанной воли до исполнения.

Всё верно она писала, надо постепенно так всё и устроить.

И Хабалову Протопопов должен был дать, и конечно даёт, ясные определённые инструкции. Только бы не потерял голову старый Голицын — ему всё невпривычку.

Ещё сколько ей, бедняжке, ухода за больными детьми, это при её здоровьи.

Забывался и оживал Николай над дорогими письмами. (Ещё и от Настеньки, младшей, была писулька.)

Очень в этот раз не хватало в Ставке Алексея, его шалостей и болтовни. Какое же он утешение и развлечение!

Но уже пора была идти на завтрак. По воскресеньям завтрак был всегда многолюден, тут и все наличные иностранцы. Надо было много говорить, слушать, но всегда о постороннем пустяковом, отлагая всякие серьёзные мысли. Впрочем, этим ритуалом Государь хорошо владел, приучился за четверть века.

После завтрака первым делом сел — и написал Аликс письмо в ответ.

А погода стояла солнечная, морозная. Решил ехать на прогулку. Подали моторы — поехали на Бобруйское шоссе, остановились у часовни памяти 1812 года. Погулял там. Ясная, бодрящая погода. Уже и не оставалось в теле никаких следов сегодняшнего сердечного сжатия. Нет, врачу пока не говорить.

Вернулись в Ставку — уже и чай пора пить.

Потом принял одного сенатора.

Надумал, что долго для Аликс — до завтра ждать его сегодняшнего ответа. Решил тотчас послать ей телеграмму с благодарностью за письмо. Как уже соскучился! Как хотелось к ним назад!

Отправил — а тут, одну за другой, принесли две телеграммы от Аликс. Одна была — вполне семейная и сдержанная (Аликс всегда очень стеснялась, что многие военные люди читают их телеграммы), другая — позже — открыто-тревожная: «Очень безпокоюсь относительно города».

Именно зная сдержанность её в телеграммах — можно было понять, насколько ж это *очень*.

Однако почему не было никаких официальных телеграмм? Алексеев — ничего не нёс, и неудобно было к нему идти с телеграммой жены.

Были в Ставке сейчас великие князья — но все стали чужие, не хотелось с ними разговаривать.

Стемнело. Обедали — всё тем же размеренным, отвлечённым распорядком.

Однако что-то расходилась в груди тревога. Не стала бы Аликс зря.

После обеда послал ей ещё телеграмму: поблагодарил за её телеграммы и твёрдо обещал, что послезавтра выедет в Царское.

Сели играть в домино.

Уже к концу игры пришёл дворцовый комендант Воейков — тоже в руках с чем-то, — а по лицу было видно, что хотел бы Государю доложить. Николай встал, вышел с ним к себе в кабинет.

Телеграмма была от военного министра Беляева: что некоторые воинские части отказываются употреблять оружие против толпы (но кто им велел применять оружие?) и даже переходят на сторону бунтующих рабочих. (Это уже позор! — может ли это быть?) Впрочем, заверял Беляев, что всё будет усмирено.

А Воейков волновался. И доложил Государю настроение всей свиты (ни за обедом, ни прямым докладом, разумеется, никто не смел выразить): что положение в Петрограде очень тревожное.

Николай и сам уже не знал, что думать. Но владея собой, ничего не пообещал, вернулся доигрывать в домино.

Однако всё более разыгрывалось в нём, что в Петрограде тревожно.

Обращаться к Протопопову было излишне, этот умница знает, сообразит всё и сам. Голицыну — уже вчера телеграфировал, да и не очень надеялся Николай вселить в него мужество. Но прямо по военной линии, командующему генералу Хабалову (а знал он его совсем мельком) — надо было придать твёрдости.

И написал, и дал на отправку телеграмму:

«Повелеваю завтра же прекратить в столице безпорядки, недопустимые в тяжёлое время войны с Германией и Австрией. Николай».

59

Эти дни Михаил Владимирович не уклонялся предпринимать всё человечески возможное для того, чтоб умерить народные волнения и остановить кровопролитие. Даже в часы напряжённого руководства думскими занятиями он не утомлялся участвовать в событиях по телефону, понимая ответственность, что при таком далёком отсутствии царя сам он из Второго Человека России превращается фактически в Первого. Он телефонировал этому тупице Хабалову, предупреждал, что будет обвинять полицию. И звонил градоначальнику, что сам сейчас поедет душу вытрясет из того полицейского пристава, произведшего аресты. И звонил военному министру: почему толпы не разгоняются водой из пожарных брандспойтов? (Тот и сам не знал, ему понравилось, позвонил Хабалову, но ответ был: существует запрет на вызов пожарников, потому что окачивание водой только возбуждает толпу.)

А сегодня днём Родзянко встречался с изнеможённым князем Голицыным, как бы сказать — для переговоров, хотя какие между ними могли быть переговоры! Вся страна разделилась на две неравные части: одна — народ, армия, общество, Дума и во главе их полный могучих сил Родзянко; другая — перессоренные между собой министры и во главе их последние недели этот дряхлый князь. Не переговоры, а Родзянко настаивал, чтобы правительство в полном составе поскорей подавало бы в отставку. А Голицын отвечал,

что и рад бы подать, только и мечтает о покое, но боится неблаговидности как бы позорного бегства: слуга царя не может покидать пост в минуту опасности. В закоснелости монархической службы, если не прислушиваться к бурному народному дыханию, — это выглядело так, да. Но если нельзя вмиг спасти Россию в один день объявленным общественным министерством, то, по крайней мере, пусть же освободит Голицын свой кабинет от этого мерзавца прощелыги Протопопова! Ведь вся Россия вздохнёт свободно! Ах, ах, сокрушался Голицын, он и сам бы рад освободиться от Протопопова, но ведь тот поставлен и держится *не им*.

Так-то так. Однако, поглядывая на любезного князя, не мог же Родзянко не вспоминать те три хранимые у него, в минуту откровенности показанные вариантные указы: о полном роспуске Думы и назначении новых выборов будущей осенью; о роспуске её до окончания войны; или перерыве на неопределённое время. Никакой силы не было у правительства, ничто! — однако в любой день этот расслабленный старик мог добиться роспуска Думы — и историческое злодеяние свершилось бы! Эту встречную угрозу Родзянко тоже должен был учитывать для осторожности своих грузных поворотов.

Всякую угрозу Государственной Думе воспринимал Родзянко с острейшей тревогой, да острее, чем если бы грозились убить его самого! Опасностью роспуска Думы он как сам был душим за горло. Ведь Дума — единственный источник правды в России, единственный светоч для её растревоженных умов. Депутаты Думы — единственные выразители воли народа. Если распустят эту Думу — кто же поддержит бодрость и мужество в стране, а особенно при военных неудачах? В случае роспуска Думы— в стране воцарится глубокий мрак, вся страна будет безконтрольно отдана в руки Протопопова, царицы, распутинского кружка и немецких шпионов! Дело несомненно покатится к сепаратному миру и позору России.

А для себя самого — Михаил Владимирович не видел тогда другого исхода, как арест и высылка.

Эти мрачные предвидения носились уже несколько месяцев, после ноябрьского конфликта с властью, когда удалось прогнать Штюрмера. Они ещё накалились в декабре после громогласных общественных съездов. А в январе Родзянко приглашал к себе нескольких предводителей дворянства и прямо просил их: в случае его предвидимого ареста (ссылки в Сибирь или даже повешения) стать вместо него на страже интересов Родины: если Думу можно святотатственно разогнать, то уж дворянство нельзя ни разогнать, ни упразднить.

Эти предвидения уже месяцами носились, и Львов, Челноков, Коновалов звали Председателя приехать на их земгоровский съезд в Москве и там гласно всё выразить. И понимал Родзянко, что такой шаг мог бы изменить ход истории. Но не поехал. Достаточно того, что осенью он написал Государю предупредительное письмо об опасности вмешательства царицы в управление Россией — и письмо ходило по рукам. С февраля он, по своему укладу и значению, видел способ спасти отечество прямее: всеподданнейшим докладом у Государя, который непременно должен иметь место перед открытием думской сессии. Можно сказать, что доклады Родзянко царю были эпохами в истории России. Кто, как не Родзянко, в обстоятельном январском письменном докладе открыл глаза царю на ход всей войны, добросовестно изложил всё, что узнал от гениального дружелюбного Брусилова: почему не Брусилов виноват в остановке наступления 1916 года; и как на Румынском фронте дела обстоят ещё гораздо хуже, чем у Брусилова; и хотя не назвал нигде прямо Алексеева, но сам материал указывал, что во всех ошибках виноват Алексеев. Да никогда прежде Родзянко не чувствовал себя таким знатоком в военных вопросах, как в этом докладе.

И как же обидно бывало, когда царь отвечал неблагодарно — сухим приёмом, как две недели назад, последний раз.

Этот февральский доклад Родзянко готовил с тёмной решимостью, как бы идя на медведя. Наконец всё должно было быть высказано отчётливо, до конца, чтобы царь устрашился и раз навсегда отшатнулся бы разгонять Думу, но — всячески укреплял бы общественные силы. Это должен был стать самый великий поворотный доклад изо всех докладов Председателя. И если Государь не станет читать и не даст прочесть полностью вслух, то лучшие фразы и главные мысли успеть ему выразить наизусть.

Что победа в войне уже невозможна без немедленного коренного изменения всей системы управления — это убеждение всей мыслящей России. Россия — объята тревогой, и тревога эта естественна и даже необходима. С горечью добавить, что наша общественная тревога передалась уже и союзникам. Многое в стране испорчено настолько непоправимо, что теперь даже если к делу управления были бы привлечены гении, то и они уже не смо-

гут много исправить. Но тем не менее настоятельна и смена лиц, и смена системы управления. В новых лиц население будет верить! Государю невозможно узнать правду от нынешних министров, а только от Председателя. И вот она: необходимо не только сохранить Думу, но продлить её полномочия долее пяти лет, так чтоб захватить и мирные переговоры после войны.

Но Государь был замкнут и раздражён, не принимал родзянковской правды. Он то начинал папиросу, то бросал. Тщетно напоминал ему Родзянко о своих прежних добрых советах — Государь отвечал, что раскаивается в принятии их. И тогда Председатель, обуянный уже гневом, сказал:

— Ваше Величество! То, что вы делаете, — раздражает население. Всякий проходимец всеми командует. Вас повели по самому опасному пути. Вокруг вас не осталось ни одного надёжного и честного человека. И вы, Государь, пожнёте то, что вы посеяли.

Ещё и сегодня грудь его ходуном ходила, когда он вспоминал тот приём.

А сегодня — снова готовился коварный удар по Думе.

Задыхаясь под высокими потолками своей квартиры, задыхаясь в её комнатах-полузалах, Михаил Владимирович, не одеваясь и с непокрытой полулысой головой, как был, вышел своей бычьей фигурищей на просторный балкон над Фурштадтской улицей, прямо против сербского посольства.

Тоже символ: он жил-сторожил клятву союзной верности.

Если Дума вмещала в себя чаянья народа, то тем более вмещал их в себя Председатель. Он так и ощущал: свою грудь — собранной грудью всей России, свою громоздкую фигуру — её могучим корпусом, свой колокольный бас — её голосом. Редкое сочетание, когда вся народная воля отчётливо собирается в одном человеке.

А сам он всегда подчинялся толчкам своего огромного сердца.

Сейчас толкало его, что при таких событиях надо совершить что-то очень большое. Энергично спасти Россию.

Как фигура уникальная, он должен был и действовать, ни с кем не согласуя, уникально.

Такое действие в его положении было одно: Второе лицо в государстве, он должен был обратиться к Первому.

Хотя Государь и не хочет слышать.

Обратиться — с грозным предупреждением.

С уразумлением, может быть последним.

Накатить ему в Ставку — громовую телеграмму! Оглушить, даже, может быть, несколько преувеличивая, но чтоб вывести из косности Верховного Главнокомандующего… (Уж сам бы на себя посмотрел! Зачем принимал на себя ещё это губительное Верховное Главнокомандование!)

Но разве он — внимет? Даже и могучему голосу? В который раз колотиться в нечувствительное сознание монарха?

Кого бы, кого бы ещё позвать на помощь, присоединить?..

И блеснула у Председателя светлая догадка: не царю посылать телеграмму! не царю, он безнадёжен! А послать — нескольким Главнокомандующим фронтами. Во-первых, Брусилову, с которым замечательное взаимное понимание, он энергично поддержит. Затем Рузскому — он всегда хорош к Думе. Ну и, по команде, придётся Алексееву, хотя он человек неприятный. И хватит, Эверту не надо, реакционер. Телеграфировать — им, и взывать, чтобы *они* присоединились и *они* умоляли царя!

Гениально! Тогда телеграмма не останется частным шагом, но — распространится по обществу, но явится — на суд, на позор и во свидетельство!

И что тогда ответит царь перед лицом всех?? Не укроется! — прислушается к Главнокомандующим!

Какой план!

Фразы накатывались громыхающими колесницами! Родзянко потопал с балкона в кабинет — и перьевидной четырёхгранной полуаршинной красной ручкой набрасывал вершковые буквы, не помещаемые ни в какой телеграфный бланк.

В Петрограде — паника от полного недоверия к власти, неспособной вывести страну. Голодная толпа вступает на путь анархии стихийной и неудержимой. Транспорт, продовольствие, топливо? — да что говорить… Развиваются события, которых сдержать будет невозможно, ценою пролития крови… Жизнь страны в самую тяжёлую минуту… России грозит военное поражение и унижение…

(А если ещё будет распущена Дума — так просто армия откажется сражаться. Так говорил Брусилов.)

…И единственный выход — это призвать *лицо, которому может верить вся страна*… За которым пойдёт вся Россия, воодушевившись верою… В этот небывалый по ужасным последствиям и страшный час — нет иного выхода на светлый путь… Промедление — смерти подобно!..

(А такое Лицо, такое Лицо… Ну, должны догадаться сами.)

И Председатель Думы просит его высокопревосходительство ходатайствовать перед Его Величеством…

Грандиозно задумано!

Подумал — послал и Эверту.

60

Ваське Каюрову по линии революции всю жизнь доставались одни ответственные должности. Сенгилеевский деревенский паренёк, сын сельского ткача и присучальщицы, задавленный патриархальным религиозным бытом, он мальчишкою собирался едва не в схимники. Начитался потом вперемешку Еруслана Лазаревича и Рокамболя, но ещё и плотником судостроительной верфи в 20 лет пугался, как чертей, этих страшных «социалистов», какие ни в Бога не верят, ни царя не признают. Только уже подрастя да женясь, по-за 24 своих годка, стал он к этим социалистам притрагиваться на сормовском заводе, — а смотришь, и получил свою первую ответственную должность: кассир социал-демократической сормовской организации. (Там и познакомился с писателем Горьким и на его квартире сам получал от певца Шаляпина 100 рублей в свою кассу, только имени не указывать.) А тогда ж и поучаствовал в выпуске листовок, после чего пришлось уйти с завода, и в том же Сормове мог он работать только в рабочем обществе потребителей — и тут Каюров стал ещё более ответственным: книжный и железо-скобяной отделы кооператива распространяли нелегальную литературу, взрывчатые вещества и оружие. Сам Василий лично хранил 265 револьверов, а ещё выменивал у эсеров динамит за листовки, отпечатанные для них в кооперативной типографии. Но после сормовской свободной республики осенью Пятого года и декабрьских там боёв пришлось Васе Каюрову оттудова смываться, а ехать в свою родную деревню Тереньгу, где тоже он без дела не сидел, но со временем создал нелегальный социал-демократический кружок — и взяли его в тюрьму, и жестоко не отпустили даже помочь семье убрать урожай, — а сослали под гласный надзор в Самарскую губернию. Потом, перед войной, переехал в Питер — модельщиком на Новый Лесснер, потом и на Эриксона — и тут опять не миновала его ответственная

должность руководителя страхового движения. Перед самой войной, когда буянили на Выборгской, складывал Каюров баррикаду у себя в Языковом переулке, а в войну на Эриксоне непримиримо боролся с гвоздёвскими ликвидаторами, даже и табуреткой. Так постепенно выдвинулся он в Выборгский большевицкий райком, и даже последние недели секретарь его.

А прошлой ночью арестовали весь ПК, и нонче утром назначил Шляпников весь их выборгский райком в полном составе быть и Петербургским комитетом.

Поднялся сенгилеевский, сормовский парень до высоты, какая ему и не грезилась: всем Петербургом управлять!

Ну, разорваться! Куда кидаться? А тут воскресенье: кто по домам рассыпан, кто по городу, не то что рабочих не собрать поговорить, а даже и своих райкомовцев. Кинулся и Васька гонять по Невскому, по Лиговке.

Стреляют царские сатрапы, не дрогает ихняя рука! А тут ещё какой-то дурий броневик проехал по улицам, своим стуком и железным грохотом буквально панику навёл среди рабочих, хотя и не стрелял. И в этом громыхании броневика исчезали яркие краски пока, видимо, несбыточных мечтаний. Рабочие волнения явно ликвидировались.

Заходил Каюров в казармы к казакам — на улицах они сочувственно себя вели. Но в переговорах ничего не обещали.

Так и день прошёл. Вечером решили собрать райком. Но после провала ПК ни одна квартира члена не безопасна, могут захватить? Решили пойти на огороды, уже в темноте.

Там и отаптывались на снегу. Обсуждали, и так больше склонялись, что забастовку надо кончать.

Да хоть бы и не решили, так сами рабочие наверно завтра кончат.

В это время доглядел Каюров, что кто-то толкается среди них в солдатской шинели. Переполошил всех: это кто такой среди нас? зачем? Всё слыхал, что мы тут говорили! Да это, мол, дружок. Да как можно непроверенных товарищей пускать на подобные заседания, когда обсуждаются вопросы чрезвычайно важные!

Оказалось, этот товарищ — из броневого дивизиона.

— Так почему ж вы нам не помогаете? Это ваш был броневик, ездил сегодня?

Ихний.

— А мы-то перепугались! Зачем же вы выезжаете на улицу, ободряете полицию и вносите замешательство в рабочие ряды?! А пока — покиньте, товарищ, наше заседание!

Ушёл в темноту. Ещё и без него побузовали, а решить — ничего не решили. Мороз крепчает, ноги мёрзнут у кого не в валенках.

Да зря мы на огороды погнали, своей тени боимся.

— Ладно, — объявил Каюров, — завтра утром пораньше, прямо с семи часов ко мне на квартиру собираться. Там и решим — кого чего.

61

В разговорах неслужебных, какие бывали у него нечасто, всегда коротких и только с лицами, близко окружающими, генерал Алексеев говорил о себе: «Я — кухаркин сын, я человек простой, из низов, и знаю жизнь низов, а генеральские верхи для меня чужие». А уж тем более — слои династические и высшего света.

И это было говоримо искренно и во многом правильно, хотя не так уж прямо он был кухаркин сын, лишь потомок крепостного, а сын бедного пехотного штабс-капитана, участника севастопольской обороны. И училище он кончил пониженное, юнкерское. И службу начал под турецкую кампанию прапорщиком, и 9 лет не дослуживался даже до ротного. Но без знатностей, без связей, без заступ, он поднимался своим редкостным трудолюбием и упорством, всего в жизни достиг одними своими трудами. В Академию поступают после трёх лет армейского стажа, Алексеев поступил после одиннадцати. Но после Академии, при кропотливости и аккуратности вниканья в каждое дело, вскоре стал и в самой Академии профессором истории русского военного искусства. Да началась Японская война, и Алексеев ушёл на неё уже генерал-квартирмейстером армии, то есть вторым начальником штаба, там он возвысился через успех на штабных должностях, прямо для него и созданных, и был уже генерал-майор. Затем на манёврах 1911 года очень понравился Государю своим обстоятельным разбором операции. Это запало Государю (да такие-то скромные, работящие, неназойливые ему всегда и нравились) — и сказалось в войну. С началом её Алексеев стал начальником штаба Юго-Западного фронта при Иванове. Всё такой же исступлённо-аккуратный, со вниманием к каждому вопросу, хоть крупному, хоть мелкому, но среди генералов на редкость независтливый и даже, кажется, мало честолюбивый, он разработал ту галицийскую операцию 1914 года, которую Рузский и Иванов только портили, но получили всю славу они, Рузский — и генерал-адъютантство, а скромный Алексеев — лишь крестик Георгия 4-й степени, как получают младшие офицеры. Но хотя понёс невольную обиду, а не травился ею. Он и не умел напоминать о своих заслугах. А доверие и милость Государя не оставляли его, и с начала 1915 года он перенял от заболевшего (или уклонившегося?) Рузского Главнокомандование Северо-Западным фронтом (ещё не разделёнными тогда двумя фронтами — Северным и Западным), 37 армейских корпусов — три четверти всей воюющей русской армии, и это в год, когда предстояло отступать из варшавского мешка, четыре месяца отступать по всему фронту без снарядов и с недостачею даже винтовок, принять на свои незаметные плечи бремя, которого русская армия ещё не знала. Многие горячие офицеры обвиняли Алексеева в «мании отхода», что он «сохраняет живую силу, но топит дух», и сам он, удручённый, счёл себя достойным лишь увольнения или снижения: тактика непрерывного ускользания из множества окружений, которую он ставил себе в заслугу, вдруг и самому ему, по результатам, представилась тактикой капитуляций. В августе 1915 он просил у Николая Николаевича увольнения: «Несчастливая у меня рука». Но, напротив, в те дни увольнение нависло над самим Николаем Николаевичем, а Государь, принимая Верховное Главнокомандование, назначил своего любимца начальником штаба Верховного, — и недоброжелатели Алексеева говорили: «Сдал все крепости немцам и получил повышение».

При таком Верховном, как Государь, не ведшем реально ни одной операции, ни одного организационного дела, Алексеев стал, по сути, не начальником штаба, а безконтрольным Верховным Главнокомандующим всех сил России. Но и так поднявшись, он нисколько не переменился — ни в образе своей работы, ни в ровном спокойном обращении с подчинёнными, ни в равнодушии к высокопоставленной публике, не стал думать о себе иначе, чем раньше, голова его не вскружилась нисколько. Как и прежде, в любом низшем штабе, он готов был бы вообще не подниматься от стола, ни даже для завтрака и обеда, так и умереть с цветными карандашами над картой или с пером над бумагой. Он знал только один интерес: детальное проникновение в каждый вопрос и точное содержательное решение его. И он настолько был предан работе, что не мог разрешить какой-либо части её пролиться мимо своей головы. Никто не мог ему помочь, никто не мог облегчить его труда, да он тогда и не чувствовал бы себя самостоятельным. Он и не умел выбирать помощников. Он избегал и всяких совещаний, даже и с Главнокомандующими: от совещаний затуманивается мысль, колеблется воля, и решения принимаются какие-то средние. Он должен был составить и решить всё сам, охва-

тить всё до мелочи самолично, и даже лучше — собственной рукой исписать все приказы, собственным бисерным, чётким, ровным почерком.

Но чем серьёзнее относился Алексеев к каждому, даже мельчайшему, вопросу, тем больше он увязал во всех них. И иногда охватывало Алексеева безнадёжное прозрение, что одному — никак не управиться.

А Государь во время ежедневного выслушивания докладов постоянно во всём был согласен с начальником штаба (иногда, может быть, рассеян, иногда не вполне вникнув) и если вмешивался, то только по иным личным назначениям. (Государь часто прощал провинившихся генералов и склонен был назначать их вновь на равные должности и даже на прежние посты, не задумываясь, как же теперь к ним отнесутся подчинённые.)

Государь был привязан к терпеливому, ровному характеру своего косого друга, к его тихой душе — такой же, как у него самого. Он — просто полюбил Алексеева. Такие симпатии бывали у Государя глубже, чем расположение к мировоззрению или политической линии министра. И он уважал военный опыт и знания этого генерала, и особое душевное доверие вызывал в нём Алексеев своей неподдельной религиозностью: он не только усердно молился и долго стоял на коленях и отбивал поклоны на своём незаметном месте у колонны в штабной церкви, как (знал Государь) и в кабинете, не только крестился перед каждой едой и после, но молитва и вера были его постоянной настоятельной потребностью.

Так же и Алексеев был приворожен мягкостью, сердечностью и простотою Государя, особенно удивительными на троне и особенно ощутимыми при ежедневном тесном общении. К тому же не мог он не быть благодарен ему за доверие и за своё невиданное возвышение. И не мог не сочувствовать Государю, близко видя нелёгкое его положение и против штурмующего общества, и с великими князьями. Самому-то Алексееву вид и разговоры всех этих сиятельных и титулованных были тошнотворны, и он не только не тянулся находиться среди них, сидеть за императорскими обедами, как был постоянно приглашён, — но то большая была бы для него тягость, неделовая потеря времени и отвлечение (и отвращение) — и он раз навсегда отпросился у Государя обедать в штабной офицерской столовой.

Однако привязанность Алексеева к Государю должна была пройти и большие испытания. Минувшим летом императрица, приехавши в Ставку, взяла генерала под руку и, водя по саду, уговаривала его открыть Распутину доступ в штаб. Со смущением (обычным у неё, когда надо объясняться по-русски, но генерал не знал ни одного языка), она убеждала Алексеева, что он несправедлив к «старцу», что это — святой и чудный человек и посещением Ставки принёс бы большое счастье войскам. Алексеев, однако, не поддался и прямодушно ответил:

— Как только он появится в Ставке, я, Ваше Величество, тотчас буду вынужден уйти с занимаемой должности.

Государыня выдернула руку и удалилась, не попрощавшись.

Алексееву показалось, что с этого момента Государь к нему несколько охладел. (Хотя он и сам, ещё в начале их пребывания в Ставке, стеснительно попросил Алексеева о том же, получил отказ, но не обиделся. И даже — Алексеев брал на себя смелость уговаривать Государя устранить Распутина подальше, а тот терпеливо отвечал, что это — личное, частное дело, никакого поста Распутин не занимает.) Но не мог Алексеев довести себя до посмешища визитом Распутина в Ставку.

Такое наступило в России время, что ни один образованный человек не мог заниматься просто своим делом, но ещё и непременно врезывалась в него политика. И если он ею, по отвращению, не заинтересуется, то, поднявшись в начальники штаба Верховного, станет для неё весьма интересен. Да и кто куда мог уйти от общественных представлений, если, едва выучась грамоте, а уж тем более в гимназиях, всякий русский подданный первое, что узнаёт: что наше правительство никуда не годится. Общество, образованный класс всегда действовали именно доводами, и невозможно было возражать их логике, их свободный, вольный умный язык убеждал, нельзя было найти разумного ответа, почему, например, Распутин или другие несуразные лица и куклы могут толпиться подле трона? Да если даже все громкие, гордые великие князья постоянно испытывали на себе властно поворачивающий общественный ветер, то безродному, безсановному, тихому генералу как остаться нечувствительным к этому ветру?

Да с общественными воззрениями, только более резкими, была прежде всего жена Алексеева, которая не выносила и самого Государя, говорила о нём с дрожью презрения как о лисьем хвосте, палаче, пробивателе лбов, отверженце природы, душевном калеке, духовном карлике, истукане, только и посланном для завершения всех гнусностей романовской династии, и что он — Николай

Последний. (С таким названием была в Европе издана и книжка, богато иллюстрированная.) Так думали во всех либеральных кругах, так же думали и в окружении Алексеева. В неслужебных разговорах от своих этих генералов наслушивался Алексеев всяких политических крайностей, которых не разделял сердцем.

Но жена настолько не владела собой в отношении к царю, что супруги из благоразумия установили, чтоб ей никогда не приезжать в Ставку, когда Государь здесь, дабы не встретиться ни на минуту и не исказиться лицом. А Государь удивлялся, почему так совпадает, что жена начальника штаба приезжает всегда без него, а раз и спросил шутливо: может, она избегает встретиться? Алексеев ответил, что просто в отсутствие Государя он свободней. Но после того вызвал её раз и при государевом пребывании.

Хотя эти убеждения, женины и сотрудников, не завладевали Алексеевым, но не оставались без последствий. Они как бы давили на него сбоку и смещали. По ним он дважды мягко отказывался от предложенного ему звания генерал-адъютанта, чтобы не причислиться к «придворной клике», и не носил ордена Белого Орла, а Государю нравились его отказы, он приписывал их скромности, вряд ли когда задумываясь, что у генерала Алексеева могут быть свои отдельные политические симпатии. Но прошлой Пасхой Государь прямо принёс генерал-адъютантские погоны и аксельбанты в подарок — уже нельзя было не принять, хотя смущённо лепетал Алексеев: «Не подхожу я, не подхожу...»

Однако весь этот сбой не мешал безупречной военной службе Алексеева. Военные соображения он ставил выше всякой политики, да «внутреннюю политику» вообще не любил, не понимал, зачем такая и нужна. Но сложность современной войны обступала со всех сторон, и Алексееву приходилось подолгу заседать с приезжающими в Ставку министрами или деятелями тыла, обсуждать финансы, промышленность, транспорт, снабжение, продовольствие, коннозаводство. И хотя в этих изучениях он всё больше склонялся (и убеждал Государя) к необходимости единой диктатуры тыла, а значит, ограничения Земгорсоюза, — его отношения с Земгором, как и со всеми либеральными деятелями и думцами, оставались наилучшими. (Всё же рекомендовал он мягко князю Львову уменьшить число евреев в Земгоре до приличной доли.)

Назначение генерала Алексеева начальником штаба Верховного было в России той редкостью, что на нём сошлись и выбор

императорской власти, и симпатии общества. Государь считал его верным слугой монархии, думцы — тайным республиканцем. И по происхождению, и по окружению общество угадывало в нём своего, и постоянно его хвалило, и он радовался такому двустороннему доверию. И в особенности своего обоюдного положения Алексеев начинал даже видеть возможность примирить царя и общество. И он решился давать Государю советы по гражданскому управлению: то — запретить в газетах белые места, дразнящие всех, то — отставить Штюрмера, так невыносимого для общества. Скромно воздействовать, чтобы Государь перестал слушать дурных советчиков.

Но не этого от него хотели, больше. Гучков ли, Коновалов или князь Львов, кто б с той стороны ни беседовал с Алексеевым, казалось им, встречали в этом тихом генерале полное согласие, что в российской жизни многое загубляется правительством или *тёмными силами*. И стали поступать с генералом довольно безцеремонно, или даже непорядочно. Стали намекать о каких-то планах: то ли арестовать и сослать царицу, то ли вынудить из Государя министерство общественного доверия. Такие действия будто должен был совершить кто-то в тылу, в Петрограде, а Алексеев в нужную минуту чтобы занял позицию, помогающую плану. Алексеев даже немел от этих развязных предположений и всегда возражал, что никакой переворот недопустим во время войны, он создаст смертельную угрозу фронту.

Гучков использовал имя Алексеева просто как адрес для своего обличительного письма, которое и пустил по рукам, вовсе не Алексееву и предназначая. Это письмо едва не погубило добрых отношений генерала с Государем, сильно надломило их. Алексеев испытал и унижение и опасность до того, что почувствовал себя накануне отрешения от поста. А пост был дорог ему не сам по себе, но ради той работы, которую открывал, ради того решающего удара в марте 1917 по Австрии, до полного её развала, которому уже столько послужено от первых дней Алексеева в Ставке. История с этим гучковским письмом так потрясла Алексеева, что вспыхнула его застарелая болезнь почек — и до того, что в ноябре он готовился умереть: уже причастился — и охлаждающая тень Отхода уже отодвинула все эти мелкие безпокойства и отлучила от войны, которую он вёл так пристально. И со спокойным чувством отдавался Алексеев Господнему отзы́ву: что он всю жизнь трудился для России, а своего не искал.

Но после причастия стал оживать. А Государь милостиво отпустил его в Крым, полечиться месяца два-три, ещё успевалось до великого наступления.

Однако развязность общественных деятелей оказалась такова, что они добивались видеть Алексеева и в Севастополе, где он провёл месяц между жизнью и смертью, потом стал поправляться. Там посетил генерала князь Львов и заводил разговор о перемене внутренних порядков, о настроении фронта в случае переворота. А Алексеев был и болезнью изнурён, и утеснён душой от этих неприличных домоганий, — уж научило его гучковское письмо, чем могут кончиться такие легкомысленные разговоры.

В Севастополе Алексеев стал получать для работы материалы, как готовится главная операция. А к 20 февраля приехал в Ставку сам, ещё с температурой, полубольной, чтоб не упустить последний месяц подготовки. Это наступление становилось — делом всей его жизни. Ничего сравнимого по значению он никогда не готовил. Для успеха этого наступления он погасил, не дал помощи брать Босфор, как просили моряки. Для успеха этого же главного наступления, где понадобится каждая часть, а особенно гвардейская, Алексеев много месяцев противился и просьбам Государя (тот часто не имел воли настоять, а только просил) послать в петроградский гарнизон крепкие гвардейские части.

И вот, недолеченный, он воротился в Могилёв пять дней назад и успел встретить Государя, тоже два месяца не бывшего в Ставке. Гучковское ли тогда осенью письмо или эта долгая разлука сказалась: прежние устойчиво-доверчивые отношения с Государем если и восстанавливались, то ощупью.

Алексеев сразу ввергся в полную работу — и снова одолела его слабость, поднялась температура, и врачи потребовали несколько часов в день лежать.

Именно в это время начались волнения в Петрограде, которым, однако, не было основания придать серьёзное значение. Сами петроградские власти и правительство два дня даже не сообщали о них вовсе, первое сообщение было от Хабалова вчера вечером и указывало на эпизодичность волнений. Второе — сегодня днём, не тревожнее, хотя в одном месте взводу пришлось открыть огонь.

Уже поздно вечером, в половине одиннадцатого, пришла вдруг захлёбная телеграмма от Родзянки с грозными выражениями. Но Родзянко и всегда выражался чрезмерно, с подавляющей самоуверенностью, что только он один всё знает. Да ещё эта прозрачно-хитрая попытка воспользоваться петроградскими волнениями, чтобы выдвинуть себя в председатели Совета министров.

Государь не любил поздних вечерних безпокойств, да и Алексеев не видел причины выпереживаться. Он испытывал озноб и рад был лечь. Будет завтра в половине одиннадцатого рядовой доклад Государю — тогда и доложится родзянковская телеграмма.

62

* * *

В Петрограде весь день, кто с телефонами, много телефонировали. Узнавали и передавали новости. Все советовали друг другу запасаться водой и наполняли ванны. В телефоне косвенно слышались, скрещивались и другие напряжённые, поспешные разговоры. Барышни отвечали невнятно, забывали взятый номер, переспрашивали нервными голосами.

* * *

Одни говорили: солдат переодевают в полицейские шинели, чтобы казалось больше полиции. Другие говорили: полицейских переодевают в солдатские шинели, потому что им стыдно своих мундиров.

* * *

К вечерне гудел колокол Исаакия, и закатное солнце попадало лучами через взнесенные окна. А народу внутри немного: женщины, пожилые мужчины, набожные солдаты.

* * *

Известный адвокат Карабчевский с женой и гостем поехали в автомобиле в Мариинку. Но хотя был самый балетоманский абонемент и танцевала выдающаяся балерина — в театре было пустовато. Да ведь у кого нет своего экипажа, автомобиля — так

надо пешком, и ночью назад. (Никак не думал Карабчевский, что и сам последний раз едет, завтра его автомобиль отберут и угонят.)

После спектакля намеревались ехать, как всегда, ужинать у Кюба — не поехали. Неуютно на улицах.

Пикеты. Костры.

* * *

Поздно вечером, уже после театров, на Фонтанке ярко светился дом князя Леона Радзивилла, перед ним дожидался длинный ряд экипажей, автомобилей. Был в разгаре бал, даваемый княгинею.

* * *

Вечером на квартире у Керенского, за Таврическим садом, несколько ведущих социалистов собрались потолковать.

Сам Керенский весь день, кроме короткого часа с восстанием павловцев, был настроен мрачно: уверен, что волнения жестоко подавят и полностью распустят Думу. А тогда он лишится депутатской неприкосновенности — и его тотчас арестуют за последнюю дерзкую речь.

Но даже и Кротовский от межрайонцев, самых отчаянных, категорически заявил, что никакой революции нет и не будет, движение сходит на нет, и нужно готовиться к долгому периоду реакции.

Все шансы на революцию рушились. Помощи ждать неоткуда.

* * *

Шляпников по безлюдным улицам, через цепь на Литейном мосту, угнал опять к себе на Выборгскую, на квартиру Павловых.

Говорят, рабочие на Выборгской толкуют: хватит нам ходить на убой на Невский.

От соседки: будто в каком-то полку сегодня что-то было, какой-то бунт. Но — никто больше не слышал. И Шляпников вот в городе был, не слышал…

* * *

Ночью с башни Адмиралтейства бил по вымершему Невскому синеватый луч прожектора.

63

День рождения Ликони был 29 февраля, несчастливый Касьянов день, в четыре года раз. Но когда выросла — стала в этом находить необычайность. Появлялась мода на дни рожденья вместо именин — а её дня не уловишь, всегда какой-нибудь рядом. Вот собрались друзья в воскресенье, малочисленнее обычного, из-за городских волнений.

Граммофон пел о любви, танцевали.

И Ликоня танцевала, но меньше других, и была как не с ними. Ей этот праздник был как и не праздник, и не в этом праздник, а самое счастливое она держала в глубине. И двое смотрели на неё требовательно, и Саша пытался отвести и внушать что-то о стрельбе, о моменте. А она так двигалась осторожно, чтоб не сломать и не отпахнуть внутреннего.

И вдруг очнувшись: а может, *ничего не было*? И, тайком скользнув к себе в комнату, смотрела записку.

Было! Всё — так. И — вот эту руку он поцеловал. Как налил её душу горячим восторгом — и теперь он еле подстывал, как тёплый воск. Всё внутри заполнял.

И — рада Ликоня, что она может чувствовать так! (Она уже боялась, что не может.)

И опять двигаться среди гостей улыбаясь.

И представлять его улыбку — какая у него победная, щедрая, тёплая.

Но он — и другим всем так улыбается?

Он, наверное, не любит и стихов.

Но любит театр.

Меняли пластинки. Отзывалась, пропустив вопрос.

Тогда, в компании, он кому-то говорил, ярко, свободно, она не всё слышала. И впервые такое чувство: не хочется, чтоб он всем говорил, а — только бы ей.

Так нужно было к нему! Сейчас, будь он в городе, бросила бы их всех, именинных, — побежала бы к нему в гостиницу в туфельках по снегу, придерживая платье, чтоб не путаться, — мимо этих патрулей с кострами, расставленных.

И — стала бы у двери его: впустите!

64

И сегодня поздно вечером снова было назначено экстраординарное заседание Совета министров, и снова не в Мариинском дворце, а в квартире князя Голицына на Моховой. И снова Александр Дмитриевич Протопопов туда опоздал, засидевшись на приятном обеде у Васильева, начальника Департамента полиции. Приехал, вошёл туда в лиловатом костюме, в десертном разгорячении, — в квартире князя Голицына показалось ему ещё темней, чем вчера, ещё напуганней, глуше, да и людей меньше: не было никого вызванных, и министры не все.

Протопопов вошёл к ним в легкопобедном состоянии: уличные волнения явно кончались, стрельба отрезвила толпу, ещё прежде сумерок наступила в столице тишина, войсковые наряды полностью владели пустынными улицами. Да Васильев ещё доложил, что за сегодняшний день арестованы, кроме пятерых самых главных ночью, ещё 141 зачинщик-революционер. Кто именно такие — Протопопов не переспрашивал, он в революционерах разбирался слабо, но факт тот, что арестованы, может быть и не 141, но результаты налицо — очевидно, всё кончилось.

И был очень удивлён, застав среди министров совсем другое, растерянное состояние. Тут уже до него Покровский и Риттих докладывали о своих переговорах с думцами и ответе Маклакова, что распустить Думу вовсе не может быть и речи, произойдёт общественный взрыв, допустимо прервать на несколько дней, но чтобы правительство немедленно ушло в отставку, и целиком всё, и чтоб новые министры были «приемлемы для страны», а новый премьер популярен — и лучше всего генерал Рузский.

Вот как?? — роспуск Думы уже не зависел от Верховной императорской власти, а напротив — Дума диктовала распуститься самому правительству? И министры — так устали, и так равнодушны, и так сами хотят уйти в отставку некоторые, что, кажется, и готовы к роспуску? Голицын — не имел решительности ни на что. Маленький Беляев сидел совсем неподвижно, молча, как отсутствующий или неживой. Покровский — склонял к отставке. (Сам он, конечно, рассчитывал, что попадёт и в новое правительство.) Шаховской, правда, вспомнил, что в Пятнадцатом году в августе тоже казалось страшно распускать Думу, а обошлось спокойно.

И Протопопов, с изумлением вскинувшись на одного, другого, третьего, пришёл в нервное состояние — и начал к ним взволнованную речь. Неужели они не понимают, что Дума-то и будоражит улицу, и пока её не разогнать — ничто не стихнет. Но даже если бы состоялось соглашение с Думой — это не решает улицу, там нужна правительственная твёрдость, и вот она проявлена, и результат налицо. Да, например, только сегодня Департамент полиции арестовал… ну, больше сотни революционных вожаков, и это дало эффект. Да и потом: как может правительство самораспуститься? — такого нет готового бланка, чтоб его подписать и разойтись. Значит, составлять коллективную просьбу к Государю, как в августе Пятнадцатого? — так мы только разгневим Его Величество окончательно!

Да понимал Протопопов, что они готовы пожертвовать только им одним. Но знал же и он за своей спиной царственную волю! Там — верили ему, и вся сила его была оттуда…

А князь Голицын, имея готовый, с государевой подписью указ о перерыве думских занятий, всё не решался вставить туда завтрашнее число. И значит, завтра с утра в Думе опять польются поносные речи?

Пока министры разноречили — князя вызвали. Воротясь минут через пятнадцать, он сообщил, что приезжали трое решительных и даже возмущённых правых из Государственного Совета: Николай Маклаков, Ширинский-Шихматов и Александр Трепов, недавний председатель этого самого кабинета. И они настаивали, что Дума превзошла все пределы, спасение — только в её немедленном роспуске.

И обсуждение склонилось. Проголосовали, некоторые удивляясь собственной смелости: в ночной тишине поджигали бикфордов шнур? Голицын, прихрамывая, сходил в другую комнату, принёс лист указа — и тут же при всех вписал завтрашнее число.

Протопопов не мог скрыть ликования: вот этого последнего удара ещё только и не хватало для победы!

Возник ещё вопрос: а не объявить ли в Петрограде осадное положение? Этим запрещались бы не только всякие уличные сборища, но и выход из домов в определённые часы.

Но все предыдущие дни волнений такая мера казалась бы слишком крутой. А сегодня — может быть, она уже и не нужна, успокоение достигнуто? А она бы — многих озлобила.

Да осадное положение требует и авторитетного, сильного военачальника. А с тупым неуклюжим Хабаловым можно только набраться новых бед.

Тогда уж походатайствовать перед Государем о смене Хабалова? Да здесь же был военный министр (ни слова не произносивший). Просить его пока — что?.. Поговорить с Хабаловым, внушить.

Ещё пообсуждали продовольственное положение — и всё обсуждение угасло. Да и света в гостиной будто недоставало, чтобы видеть ярко и ясно. И решили разъезжаться. Князю Голицыну предстояло теперь ещё о перерыве Думы телеграфно доложить Государю и сегодня же протелефонировать Родзянке.

Протопопов, любя свою свободную походку, свою лёгкость никому не подчинённого человека, — здесь, в столице, сейчас никому не подчинённого, зато вся столица находилась именно в его власти, — вышел из парадной двери и на пустынной улице, при военном патруле, дежурившем у дома Голицына, перешёл в ожидающий его автомобиль.

Сейчас он был свободен ехать домой, но подумал, что уместно было бы близ полуночи посетить подчинённое ему градоначальство: и всегда подчинённым полезно, когда к ним нагрянывают высшие власти, а сейчас даже и похвалить их есть основание, и как раз сейчас они там все собрались.

И он велел ехать на Гороховую, в пути не наскучивая наслаждаться автомобильным удобством, откидом спины на кожаные подушки, и мчаться. Велел ехать мимо Михайловского дворца, затем на Большую Конюшенную, чтобы миновать всегда неприятную городскую думу.

На иных перекрестках стояли ночные караулы, кое-где с малыми кострами от изрядного ночного мороза. Разъезжали конные наряды казаков. На башне Адмиралтейства повесили прожектор — и он призрачно светил вдоль Невского. Проспект, всегда в это время кишащий толпою, был пуст. Иногда проходили другие автомобили, проезжали закрытые частные кареты, а было — пустынно. И на Адмиралтейском тоже.

С сознанием своей особенности и центральности, Протопопов со вскинутой головой вошёл в градоначальство и затем в военно-полицейское совещание. Все поднялись, приветствуя его, Хабалов тяжело, а Протопопов с лёгкостью велел им сидеть, продолжать, и сел рядом с градоначальником Балком (Протопопов сюда и назначил его из Варшавы по просьбе врача Бадмаева). Здесь было десятка три военных и полицейских чинов, очень яркий, резкий свет на всю комнату.

И чёткий военный разговор. Только что кончились доклады начальников районов. Они носили успокоительный характер: подобных безпорядков много видели за последние годы, всегда с ними справлялись, а без жертв с обеих сторон обойтись и не может. Правда, некоторые воинские части очень устали. Так, капитан Машкин 1-й, представляющий тут командира Волынского батальона, жаловался, что волынцы ежедневно на постах с рассвета и до позднего вечера, весь день без горячей пищи, возвращаются в казармы голодными.

— Но, — возразил градоначальник, — волынцами сегодня все любовались.

Машкин улыбнулся, а с горечью:

— Да, правда, действовали отлично. Но страшно измучились. А ведь приходится — каждый день. Вот, завтра в шесть утра надо их опять поднимать, это нелегко.

Он и сам, и многие тут выглядели устало.

Да, кстати, надо распорядиться починить трансформатор на Знаменской площади: толпа камнями вывела его из строя, и теперь вся площадь в полной тьме.

Протопопов показал, что будет говорить, и выразил удовлетворение как действиями войск, так и согласованностью их с полицией. Ему казалось, что он собирается много им сказать, но как-то не нашлось. Пожелал им дальнейших успехов.

Прервали совещание, отдельно поговорил с Хабаловым. Он был вял, мрачно подавлен, особенно свежей депешей от Государя: прямо ему! первое обращение прямо к нему! И Государь категорически требовал — завтра же прекратить в столице все безпорядки.

Завтра же! А если они опять начнутся? Что генерал может сделать? Если б у него были здесь его уральские казаки! Теперь

он ждёт ещё добавочной кавалерии и казаков, но они не прибыли.

Кто-то рядом всё высказывал мысль призвать на охрану города бронированные автомобили. Хабалов мрачно отказывался:

— Но я не знаю, кто там будет сидеть внутри. Может быть, такие же революционеры. Настроение технических команд ненадёжно.

Пожелав успеха, Протопопов уехал домой. Он испытывал облегчение, что Государь наложил всю тяготу разгона не на него, а на Хабалова, да это было и справедливо: сила — у военных властей.

Однако он подумал, что Государь будет рад его собственному сообщению о делах. И решил тотчас же ночью составить телеграмму в Ставку, дворцовому коменданту, а тот передаст Его Величеству. В общем, итоги дня были положительны: большую часть дня спокойно. Часов до скольких? Ну, скажем, до трёх. (Протопопов не помнил точно.) Потом образовывались значительные скопища. После того как стрельба холостыми вызвала только насмешки толпы — пришлось прибегнуть к боевым. И вот уже, скажем, к началу пятого Невский был очищен. Но затем 4-я рота Павловского батальона самовольно вышла расправиться со своей учебной командой… Нет, об этом не надо, Государю будет больно узнать. А вот: сегодня арестован 141 партийный деятель, среди них 5 самых руководящих, — это будет в заслугу министру.

Что за ночи! — всё совещания, вчера писал письмо императрице, вчера составлял телеграмму Государю. И сегодня. И почётно бремя министерское, но и нелегко.

Из градоначальства расходились и все военные. Хабалов так устал, что зевал открыто, уехал спать домой к Литейному мосту и не велел будить себя ни в коем случае.

Оставшиеся в штабе на ночь заспорили, как всё-таки понять: есть у восставших руководящий центр или всё хаотично?

По сведениям Охранного отделения, рабочие, вечером расходясь, говорили преображенцам: «Чёрт вас дери, мы за вас стараемся, а вы в нас стреляете? Да пропади вы прахом! Завтра утром поспим, а после обеда станем на работу».

Да и штабным пора была спать. Остался при телефонах дежурный.

…И в третьем часу ночи он решился разбудить градоначальника: вызывал начальник Охранного отделения генерал Глобачёв. Поступили очень тревожные сведения: во 2-м флотском экипаже намереваются завтра утром перебить всех офицеров, как только они придут на занятия в казармы.

Градоначальник кинулся звонить Хабалову — тщетно: никто не подошёл. Значит, так устроился спать, чтобы звонки не доходили.

Погнали своего пристава: предупредить командира экипажа.

65

Лейб-гвардии Московский полк, знаменитый своею доблестью под Бородиным, где устоял в штыковом карре против конницы Мюрата, был назван оттуда Московским. С давнего времени он квартировал в Петербурге в казармах на Выборгской стороне. И там теперь его запасной батальон оказывался в самой гуще рабочих волнений, в самом опасном месте.

А разбух запасной батальон от притекающих и притекающих необученных пополнений — уже и до 6000 человек, стал крупней, чем снабжаемый им боевой полк. Так его роты немыслимо оказались по полторы тысячи человек. В таком объёме уже и полковые казармы не вмещали всех, строили трёхэтажные нары, держали в спёртости, а новобранцы размещались ещё и в разных частных зданиях по всей Выборгской стороне, теряя связь с батальоном. Роты были по полторы тысячи человек, — но винтовок на роту было всего по 150 — и их забирали те, кто шёл в караулы и наряды. Учить оставалось нечем, хоть делай деревянные болванки ружей, да и негде учить в городе на мостовых: ни окапываться, ни стрелять, только шагать. И так непомерные роты без смыслу и толку сидели, по зимнему времени, в закрытых помещениях безо всякого дела, но на казённом пайке, скучая и озлобляясь. Среди четырёх рот особенно трудной была 3-я: там была доля выздоравливающих солдат, и, надеясь на их влияние, туда переводили всех штрафованных и скверного поведения молодых солдат из трёх остальных рот, и туда же назначались поступающие фабричные рабочие, даже с этой же Выборгской стороны, лишённые отсрочки за проступки и преступления. И выздоравливающие потонули там — да они

и отчислялись снова на фронт. И так рота, вместо того чтобы перерабатывать скверноту в солдат, сама расслабилась и разложилась — и теперь ей уже не давали ни одной винтовки и не посылали ни в какие наряды, а держали в замкнутом котле.

Одно время успокоению рабочих кварталов помогали воскресные прогулки с оркестром: музыкантская команда и небольшой строй при ней несколько часов без объяснения ходили по Выборгской стороне и завлекали часть населения своими маршами, к ним охотно присоединялись. Но последние дни уже не такое было настроение, чтобы посылать оркестр, а только охрану в важные места. Особенно важным был Литейный мост — для пресечения сообщений с центром города туда выставлялась большая застава; и удобные медицинские клиники близ него — и туда тоже помещались заставы. И во главе каждого такого отряда ставились не молодые прапорщики, но сами командиры рот, которые вот сегодня и отсутствовали целый день, и вернулись в батальон поздно. Последние дни и всякие занятия в батальоне прекратились.

Сегодня вечером командир батальона полковник Михайличенко был вызван в штаб гвардии, воротился лишь в 11 часов — и собрал начальствующих офицеров. Командир 3-й роты капитан Якубович не мог прийти: сегодня днём близ Литейного моста его ногу повредила лошадь полицейского офицера, и он слёг. Но и среди явившихся командир 2-й роты капитан Нелидов был с палочкой: после ранения в поясные позвонки у него была атрофирована нога от бедра, он с трудом ходил. А капитан Дуброва 3-й, начальник учебной команды, после сильной контузии под Тарнавкой был нервный инвалид. (Тарнавка был ещё один знаменитый бой лейб-гвардии Московского, и тоже 26 августа, как и Бородино, только в 1914.)

Командиры сошлись в комнате офицерского собрания, и Михайличенко объявил им, что узнал сам: во-первых, события в Павловском полку. Это было — угнетающе. Ещё вчера невозможно. Сейчас, когда уже произошло, — очень казалось возможно, даже при нынешнем состоянии батальонов — и неизбежно. А тут у них, у московцев, ещё в центре рабочих кварталов, — тем более могло произойти. Во-вторых: на завтра ожидаются крупные толпы — и боевые подразделения должны быть с четырёх часов утра готовы к вызову на подавление.

Приказ есть приказ. Но все собравшиеся офицеры понимали, что по раскинутой Выборгской стороне, набитой десятками тысяч мятежных рабочих, выполнять его почти нечем. Совсем неопытные прапорщики, или никуда не годные из запаса, или молодые, только что кончившие ускоренные курсы, с которыми самими ещё надо было заниматься и заниматься. Мало обученных унтеров. Жалкая доля винтовок. Мятежный опасный сброд в 3-й роте — и необученные, не умеющие держать оружия, и даже неприсягавшие молодые солдаты в остальных, — хуже, чем их бы не было вообще. Да ещё с осени в роты и даже в офицерское собрание приходили по почте анонимные революционные прокламации, их уничтожали, но часть доходила и до солдат.

Наших солдат не то что посылать на подавление, но самих оборонять как угрожаемую массу.

И офицеров-то не хватало старших. Ещё, правда, жили в квартирах при офицерском собрании два брата Некрасовых, коренные полковые: капитан Некрасов 1-й — но с деревянной ногой взамен утраченной, и штабс-капитан Некрасов 2-й, приехавший из действующего полка в короткий отпуск.

Готовность — ранняя, скорей надо было расходиться спать.

Но едва ушли и легли, полковник Михайличенко снова вызвал их всех после часа ночи. Собрались, уже изнеможённые.

А вот что. Из штаба гвардии передали, что получена телеграмма Государя: приказано все безпорядки прекратить завтра же. И штаб гвардии надеется, что Московский полк честно выполнит свой долг.

66

Даже уже надоело Гучкову: куда бы он ни приходил — его или прямо спрашивали, когда же будет переворот, или косвенно намекали, или не смели, но косились допытчиво, как на человека, знающего необыкновенную тайну. Он и сам прежде не мешал слухам просачиваться, говорил, даже и при женщинах, все жадно впитывали. Тем свободней выражался, чем расплывчатей рисовался путь осуществления. А вот — изговорился, надо быть посдержанней. Всем — так хотелось государственного переворота, и даже хотя бы

только этого острого ощущения — «переворот!», — уж очень всё уныло заклинилось.

Так и сегодня просидел Гучков вечер у Коковцова — и тот, конечно, не смел ни о чём спросить прямо, но так уже намекал, доводил, доглядывался.

Вообще, заметил Гучков за отставными государственными мужами такую черту: большую решительность, и даже безпощадность суждений, какой они никогда не проявляли, будучи на своих постах. Это проявлялось теперь и у Коковцова, обычно всегда такого дисциплинированного и с узким воображением. И ещё больше Гучков наблюдал это у покойного Витте, жёлчного, ненавидчивого до смерти, такого потерянного в разгар Пятого года и такого проницательного задним умом. Но может быть эта черта была даже неизбежна для деятелей? Гучков учился на опыте стариков, он оттачивал на них свои государственные способности. Ему было очень интересно и с Коковцовым сегодня, и он возвращался домой на автомобиле по утишенным пустынным улицам, кой-где с солдатскими патрульными кострами, поздно.

Он и за собой уже замечал не раз эту странную обречённость наших самых ясных планов: что они или крушатся, или дают результаты, обратные задуманному. Как это получается, почему?

Заговор? Всё не состаивался, всё откладывался, всё никак до него не дотянуться. Ничто не успето, никакие даты не назначены. При заданной простоте это оказалось ускользающее предприятие, со многими вероятностями, уклонениями. А вот в Петрограде тысячные толпы, а вот на Невском стреляют, а вот взбунтовалась рота павловцев. Бездна показывает своё зевло: как она близка и как может всё поглотить.

Заговор — был нужен как никогда, срочен как никогда. А всё — не вязалось.

Многое зависело теперь от ожидаемого приезда генерала Крымова на днях, не позже середины марта. Без его генеральской руки не мог Гучков справиться.

Вернулся домой — так политически настроен, так не хотелось сейчас разговаривать с Машей, и даже видеть её.

Остановил шофёра, не доезжая по Сергиевской до Воскресенского, до своего углового дома. Дошёл пешком. Тихо поднялся по малой лестнице в бельэтаж, тихо отпер и запер дверь.

Тишина. И пошёл сразу к себе в кабинет.

Зажёг свет — и белый бюст Столыпина увидел первый перед собой.

Посмотрел на его каменные веки.

Вот э т о т — всё делал вовремя и на месте. Не брюзжал бы потом с опозданием.

Так хотел и Гучков. Он и поставил себе бюст для неизменного подбодрения. Он хотел бы быть ещё одним Столыпиным. И после свершений готов был даже и кончить так, как он.

Лёг, потушил свет, но спать совсем не мог.

А через стенку ощущал Машу, даже угрозу входа её — и так не хотелось. И так мешала она мыслям, сбивала, даже из-за стены.

Чем ни займись, куда ни рвись, — а женитьба давит глыбой.

Как это получилось? Зачем? Как не видел?..

От того шарабана и разделённого плаща под весенним дождём — десять лет и знакомства-то не было, только через Веру перекидка полушутливых фраз да уверений опасной посредницы, что почему-то Маша Зилоти как раз и есть та женщина, которая всё сделает для его счастья.

А когда встретились через десять лет, Маша поразила его открытым порывом: что она все эти десять лет — его любила! только им жила! ждала! без надежды!..

Такое прямое признание стучит в твоё сердце. Это поразительно, правда: с девятнадцати лет до двадцати девяти любить и ждать без надежды! Такую любовь — преступно растоптать. Если столько лет тебя ждали, то и у тебя возникает как бы долг. А тут — и Гучкову-отцу она, оказывается, понравилась. И всем родным, и все одобряют. И тебе уже скоро сорок, безпутный, и надо же когда-то угомониться. Даже приятно так подумать о себе: угомониться. Объявить и почувствовать себя наконец пожилым.

И правда, удивиться: десять лет любила и ждала! Действительно — избранная натура. Она всё сделает для моего счастья.

По-настоящему сомневаться и тревожиться надо не о своей судьбе, но: каково придётся — ей? Ведь ты — неугомонный, жить с тобой, должно быть, не сахар.

Верно, тут же и сошлось: весной 1903 года предженитьбенные радостные заботы перекрылись зовущей тревогой воина: в Македонии — восстание против турок, как же не поехать помочь? Дав-

но ль из Трансвааля, давно ли сгладилась хромота? — а грудь гудит: в Македонию!

И вот она — первая припутанность, первая не-себе-йность. Раньше отцу — ничего вперёд, а уже с дороги: мол, иначе не мог, когда там совершается народное дело, вернусь — заглажу вину перед тобой. А теперь: надо уговорить, получить разрешение от невесты, объяснить, как же так: после десятилетнего ожидания за что ж ей ещё эта разлука? В самые радостные предсвадебные месяцы — почему, какая Македония, разрушая весь ритуал, разрушая всю праздничность невесты, — а он о *ней* подумал?!

Ах, голова твоя бедовая, ты не приучился думать ещё и о *ней*… Да славянская льётся же кровь!.. Впервые треснула твоя воля, не знаешь, как быть… Да ведь пустая малая оттяжка — май, июнь, июль, Марья Ильинична, голубушка, не осуждайте меня, вы знаете — я шалый, я не прощу себе, если эту кампанию пропущу, я — жить не смогу, если не поеду!

Отпросился у надутых губок до сентября. С каждой станции — открытку, из Адрианополя — золотую монету с профилем Александра Македонского и фразою, хоть высекай на камне: «Если б не вы — я стал бы им. Александр». (Это — ещё молодость, когда тебе имя своё нравится, да ещё в совпаденьи таком. А вот когда стошнит тебя жизнью как следует, то не в шутку бросишься на телеграф: только не назовите племянника Александром!)

И ведь был же поставлен предупреждающим знаком косой запретный крест: младший брат Константин женат на её сестре Варваре, и теперь по церковному закону запрещено жениться ещё кому-нибудь из братьев Гучковых ещё на какой-нибудь сестре Зилоти.

Но все эти запреты давно обсмеяны в образованном кругу, отошли. (Много позже: а прав был дед, только у старообрядцев и остались крепкие семьи. У всей интеллигенции и семьи какие-то раздёрганные, и дети невесть куда.)

Впрочем, женатой жизни не везло начаться. Свадебное путешествие на Иматру в октябре — холодные дожди, просидели безрадостно в гостиницах. И тою же зимой, не успели своим домом устроиться, — Японская война. Машенька, как же я могу не поехать?..

Да, конечно… Ты так привык… Но у тебя есть и новые обязанности — мужа. Ты иногда и на мою точку зрения должен становиться. А мне? — снова в Знаменку, под родительский

кров? Оскорбительно, как будто я не замужем, ничего не изменилось.

У тебя — будет сын, Лёвушка!..

Шли самые главные годы России — Девятьсот Четвёртый, Пятый, Шестой, Седьмой, — и ощущенье, что для этих-то самых лет родился и сгодился Гучков. Но прежней свободы движений и решений больше нет, а всё: как Маша? где Маша? Всегда и опять недовольна, как умягчить? В бумажнике возил с собой её фотографическую карточку. В раскидных палатках, в вагонных купе, в гостиничных номерах десятки раз выставлял её перед собою, срастался с привычкою, что женат.

И естественная мысль: будет легче, если взять её в сомышленницы, попробовать объяснять ей свои шаги как равной, русская жена часто бывает такой. Вот: почему так горько презрение общества к Японской войне. Вот: русский несуматошный путь совещательной Думы, Земского Собора, — и как бы убедить в этом Государя. Вот: подробные впечатления от приёма царственною четой. Несдержанная обозлённость Первой Думы — это не наше. Знаю, ты будешь на меня сердиться за моё возможное решение войти в столыпинский кабинет, но я берусь переубедить тебя.

Саша, отчего ж это беда — министерство? Я вполне одобряю! Я готова разделить с тобою все петербургские тяготы, возникающие из того! Я готова сплотить твой круг, твоих единомышленников!

Поняла, разделила? О, счастье какое! Вот так терпеливо и вырабатывается семейная жизнь.

Но в министерство не пошёл. Но выступил в поддержку столыпинской обороны от террора. И всё прокадетское общество накинулось, клевало и травило. Затмились горизонты.

Печально-вытянуто: вот как? А я-то мечтала стать дамою света.

Милая Маша, я так тронут твоим сочувствием в моих делах. Но «дама света» не вмещается в мои представления о жене и матери. Что выше и слаще жребия верной домашней подруги?

Удивительное рассуждение — домашняя подруга! Я для тебя потеряла целый мир искусства! Я думала найти в тебе другой ослепительный мир, а ты запер меня в Знаменке рожать и выращивать… Ты уже не нуждаешься восхищаться мною…

А разве… ? А когда он уж так обещал — восхищаться? Он говорил — делить жизненный путь. Какой придётся.

Из девушки в жену — как быстро преображается понимание и растут права. Бьёшься объяснять ей тонкости и трудности общественных решений, почему нельзя было пойти выгодным путём, а необходимо подставить себя под удары, — получаешь какие-то косые ответы, косые по внезапности, по несоответствию, как наотмашь наискось брошенную тарелку.

И когда хочет душа побеседовать — садишься писать другому. А то и — другой…

А она — мятётся в сельской жизни, страдает без говоренья и встреч. Дама света… ?

Ах, поспешил!.. Со стороны поверить нельзя: ведь не юнец, ведь кажется давно неуязвим. И к сорока годам так много сделав уже, — отчего, казалось, не позволить себе роскошь семьи?

Но в год и в два обуглилась подвенечная белизна. И ты видишь себя связанным и несчастным.

И — куда ж испарилась десятилетняя девичья ожидательная любовь?

И… — была ли она?

Вообще — разучились понимать друг друга. У неё — то и дело всплески бурного негодования. Уже боишься спросить о ней самой что-либо: уверен, что каждый твой вопрос будет встречен враждебно. Ничего не хочется и о себе: не сомневаешься, что для неё это потеряло интерес.

С первыми шажками Лёвы и Веры (любимица, в честь Веры другой) уже спотыкается и союз родителей. И какая же радость, когда прорвётся от Маши весёлое, лёгкое письмо, — ах, милая, как бы сохранить тебя такой весёлой на всю жизнь! Я, если хочешь, готов во многом каяться.

А в ответ опять косой передёрг, новая разбитая тарелка. Страдание! страдание, которого и мир не знал! — да уж чем так? Голубка, вставай-ка с правой ноги! Я весь — в пробоинах, полученных в боях, утекают силы, а от тебя поддержки нет.

Прикрикнешь — слышит лучше, как-то образумливается. Но не дай Бог в усталую минуту призвать её к простой взаимной жалости — этот слабый голос менее всего дойдёт до неё. Уговорить её мягко — совсем невозможно.

Она порывиста в причудах, то слишком громка, многоречива, то безтактна, нетерпелива, извергающийся вулкан. В гостиной уже собираются гости, в столовой уже накрыт стол к обеду, — Маша громким шёпотом закатывает мужу сцену ревности. Тогда Гучков безумно-спокойно, глядя ей в глаза, начинает тянуть убранную скатерть. Предметы падают, Маша очнулась, горничная бежит собрать и подтереть.

В таком зрелом возрасте жениться — и так непрозорливо? Куда деваются наши глаза в минуты выбора? — такого несомненного, когда решаешь, такого смутного потом! Как он попался? Как он на всю жизнь приковал себя к чужой женщине? Когда все способности различения, суждения, решения ты отдаёшь общественной борьбе, войне, странствиям, всею страстью утянулся туда, ты становишься слеп к тому, что́ от тебя в аршине, уродливо безпомощен против сферы иной. И чем безошибочней ты привык решать и действовать в большом — тем слепей ты ошибаешься в этом малом, а этого малого, этой третьестепенной, побочной, совсем не общественной ошибки достаточно, чтобы в короткое время ослабить тебя, спутать, съесть силы твои и утопить.

Как он смотрел в её лицо и не замечал раньше: какая безчувственная, безлюбная жестокость? своё твёрдое неупускаемое выражение. А если посмотреть фотографии юности — так оно уже было и там: странный примороженный оскал улыбки, обнажённые верхние зубы неживо всегда. А не замечал, пригляделся.

И вот разлуки по делам растягиваются в разлуки по отталкиванию. Жена — в Знаменке, Гучков — на запущенной петербургской квартире, с дурным поварам или по ресторанам. Или: дети с гувернанткой тут же, а Маша в Москве. Встречи — ещё хуже писем: взаимные вины, попрёки, накатывается и ложь. (*Его* ложь, жена от мужа на пядень — муж от жены на сажень, впрочем и наоборот…) Няня, не одобряющая Марьи Ильиничны и чтящая Александра Иваныча «одним на миллион», скоро внушит маленькой Вере, что у папы — «двести незаконнорожденных детей». Едва встретятся под одной крышей — и вся его накопленная бодрость, весь разгон действия — смякают, тускнеют. И сразу же: как поскорей разъехаться? сколько ещё надо дней? Сходилась ли когда в браке менее сходная пара?.. Разъехались, а письма — ещё хуже встреч: самому чужому, дальнему человеку не так мучительно писать, как неудавшемуся близкому. Деньги, вещи, одежда, уговоры, как разминуться, даже формального «целую» нет в конце, и остаются: только дети. Только о них и вопросы. С возрастом — отдельные листочки к ним и от них. В твоё отсутствие дети ласковей, больше жмутся ко мне. Скажи девочке, что постоянно вспоминаю о ней. (Именно для Верочки собирается папин архив, чтобы когда-нибудь она позна-

комилась с отцом.) То — спор о гувернантках, можно ли иностранок? Нужны языки, да, но постоянное русское влияние считает Гучков ещё важней. И зачем эта традиционная *музыка* каждому ребёнку? То — неграмотная няня пишет отчёт о детях, хотя Марья Ильинична рядом с ней. То — самому достаётся возить детей по Невскому, смотреть убранство в романовские торжества. И сносно, когда заняты дети своим: половину собачки Джима Лёва продаёт Вере в рассрочку, до её 14 лет, и торгуются долго. А подняли глаза: отчего же папа и мама всегда порознь и не бывает полного счастья?

Но есть такая черта семейных разладов: их нелинейность, непрямота, особенно тяжкая для мужчин. Нелинейны — женщины, они и вносят эту петлявость, эту попятность, эти возвраты и проблески ложной надежды. Уже, кажется, было перерублено, несколькими жилками только и держалось, а вдруг — составлено, а вдруг — срастается, неужели так может быть? Начинаешь верить. Появляются: нежно обнимаю! люблю! И сами поцелуи. И — ожидается третий ребёнок. (И если проницательные дамы со стороны наблюдали, что у вас развал, — так вот и ничего подобного!) Но ещё до рождения Вани ясно: всё — ошибка, всё — прах, надо расходиться.

Не разводиться — это невозможно из-за детей и по особому гучковскому положению: как уверяет Маша, к ним пристальна вся Россия, и развода ему не простят. Но — разойтись незаметно, но охранительно кончить эту взаимную истерзанность, когда места живого не осталось в душе.

Как безжалостно ты разрушил всю мою жизнь! И что дал взамен? Я надеялась действовать рядом с тобой — ты отшвырнул меня на край существования! Ты не сумел, не захотел раздуть уголёк своего чувства, чтоб осветить мою исстрадавшуюся душу… Ещё в первые годы мои страдания были светлы и ободряющи — но сейчас?..

А — когда они были ободряющие? А почему *тогда* не сказала, что ободряющие? Но так же косо метала?

Смертью Веры Комиссаржевской отметилась полоса потерь. Её ли парение ещё поддерживало, как-то осмысливало их супружество с Машей? — а без неё уже вовсе стало невмоготу. К концу того, 1910-го, Гучков обсоветывал с Машей только одно: как безболезненнее для всех и для детей? А она просила — *не пинать* прошлое и докончить портрет у Кавос, это моя *последняя* просьба!

(И уже было и ещё сколько будет: я никогда ничего у тебя больше не попрошу, а это — моя последняя…)

Но как-то так умела Маша изворачиваться и меняться, что и при самом решённом, неоспоримом конце это оказывался снова не конец. Когда он проступил не обходимой возможностью, но уже несомненным разрубом — тут впервые что-то перетряхнулось в Маше, чего не мог добиться Гучков уговорами шести лет их разлада. Как будто впервые стала она слышать и смотреть на себя.

…Я сознаю, что твоя нелюбовь заслужена мною. Я не сваливаю разгром нашей жизни только на твою ложь. Первые дни нашего разлада — дело моих рук. Хотя много смягчающего тут нахожу для себя.

А она думала бы жить в разладе — и рассчитывать на его верность?.. Как будто просила прощения, но вот незамечаемым выкрутом выходила снова на стрелу попрёков, и оказывался виноват — он. А уж сказано было раньше так много, что сейчас и забыто, чем оправдываться. Так много надо сказать, что и — нечего, и госпожа диалога — Маша опять. Да и немогота перекоряться снова и снова, когда разлука неизбежна.

Неизбежна, но почему-то не совершается. На нескольких последних жилках необъяснимо держится и не отваливается. И даже почему-то уговорились небывало: Девятьсот Двенадцатый встречать вместе, дома.

Однако ж в последние часы 31 декабря, как вырывая шею из затяга, он рванул и ушёл.

Виня себя, конечно. Но и — не мог не уйти. Прости мне боль, какую я тебе причинил. Причинял. От избытка собственных страданий я стал малочувствителен к страданиям других. Дети — вот всё, что у нас остаётся.

Казалось в ту новогоднюю ночь — полный разрыв. Навсегда.

Но — из-под пальцев, из-под руки, необъяснимо откуда вяжутся, вяжутся новые петли. Свойства семейных проблем — безконечные новые и новые перекладывания в мыслях. А может быть — я не таков был с ней, недостало терпения, надо было больше доверия, больше увлечь своим делом?

И на открытие столыпинского памятника в Киеве он позвал её с собой: «Ты ведь тоже его любила».

(Или — так же, как меня?..)

На кого не откладывает отпечатка спутница жизни? Может быть, при другой жене, смягчающей, предупреждающей, Гучков не

был бы так уничтожительно нетерпим и к императрице? В борьбе с Алисой он иногда переступал границы, которые против женщины всё равно нельзя.

Тянулась полоса потерь, полоса неудач, ещё перепутанная болезнями. Двенадцатый принёс Гучкову недоверие России, провал на выборах в Четвёртую Думу. Тринадцатый — неудавшийся бунт октябристов, не стронувший Россию никуда. Четырнадцатый — несчастную войну. И из первых её испытаний: лодзинский мешок и добровольное решение — остаться с ранеными, отстаивать их, если им суждено в плен.

Душе, постоянно отданной борьбе крупномасштабной, освободительно опять увидеть контраст этих масштабов: в каком же ничтожестве мог я барахтаться? что там могло травить меня так?

А испытавши вновь это восхождение, пожалеть свою несчастную спутницу, что ей никогда не подняться сюда, что ей никогда не изведать, как мелки её обиды, как жалки её претензии. Пожалеть и — простить её, в широкой мужской форме — то есть, *просить* прощения. Когда так сотрясается мир — разве между гигантских воронок уцелевает луночка супружеских слез?.. И под гул орудий в предместьях окружаемой Лодзи, с последним, может быть, гонцом в Россию — последнее, может быть, в жизни письмо… Моя хорошая… прости… я причинял тебе всю нашу жизнь… Не перестаю думать о наших детях… Душевно любящий тебя…

А окружение — не состоялось. Гучков воротился — и даже в обычную петербургскую, и даже, увы, в семейную жизнь. Впрочем, что-то же сохранилось? что-то понято из тех лодзинских записок? (Что он — виноват?..) По законам нелинейности, через пороги всех окончательных разрывов, они снова выглядят благоприличной семьёй. Встречаются знакомые в Москве ли, на водах, расспрашивают одного о другом, получают ответы. Приписывает знакомый генерал: «Целую ручки Марье Ильиничне»… Из разъездов: Маша, забыл бумаги, забыл ботинки, пришли… Война, много событий, много движения, и без удушья проходит Девятьсот Пятнадцатый. (Только вдруг бросается Маша, из ревности, по его краснокрестным госпиталям, вносит неразбериху, ставит Гучкова в неловкое положение.)

И — сколько б ещё тянулось так? Но болезни, методично обступавшие много лет, — то пухли ноги, то болели руки, то сердце, то печень, — вдруг сошлись, сомкнулись воедино, и торжественная смерть нависла над Александром Гучковым в начале Шестнадцатого года.

Кажется, так похоже на лодзинский мешок. Перед вечным расставанием естественно снова помириться, просить прощения.

Нет! Другой какой-то закон. Зачем ко всем испытаниям жизни ещё послано было мне испытание злою женой? Безсердечная, честолюбивая женщина — за что ты послана мне вечным крестом и заклятьем? Зачем ты въелась в жизнь мою — и поедаешь? Покинь меня хоть умереть спокойно. Не подходи, не хочу тебя видеть!

Как бы не так! По слабости, по безпечности, по отвлечённости на большее — не разорвал обручальные кольца вовремя, и теперь они ложились кандальною цепью на впалую жёлтую грудь. Мария Ильинична — как будто обрадовалась его смертельной болезни, как на добычу кинулась на ухаживание за ним. «Кошмар в лихорадке» назвал её Бурденко. Смерч суеты! — уже не только к докторам, но — к врагам, к Бадмаеву, чуть не к Распутину за помощью. Надменное лицо: одна она знает, как спасти горячо любимого мужа.

Лежать приговорённому к смерти под вихрем раздражающих забот и безпомощно поражаться: как же мог опуститься до этого, воин? Уже подносят причастие, через несколько дней тебя уже не будет, а *она* — будет ещё полвека выступать на земле твоей подругой, твоей памятью, твоей истолковательницей.

Это была как будто не его жизнь, а карикатура на его жизнь: совсем не та, какую он должен был бы вести. Но вот почему-то вывернулась так. Вывернулась — от женитьбы.

Как же мог не порвать за столько усилий? Так ты сам это выбрал.

А глубже всего засело в ней — кривое истолкование прошлого: связь фактов не та, что была, а та, что доступна её узкому уму и представляется ей удобной, — хоть спорь, хоть бесись, хоть кол на голове, но никогда не признает, как было на самом деле, от первых тех десяти лет как будто любовного ожидания.

Но — не умер. Но — поднялся. И советами докторов направлялся в Крым. И конечно, она?! Безколебно отрезал: нет, голубушка, в такое безсилие не залягу больше. Ты — остаёшься в Петербурге, ищи любой предлог, ломай публичную комедию как хочешь… Но ведь я — умереть за тебя готова!.. Не надо, живи… Но — дамы, которые всё просверлят?! но — общество, вынюхивающее нашу семейную жизнь?! Как же ты можешь, при твоём благородстве, так всенародно меня унижать? так спокойно отвесить мне пощёчину?!..

Состояние дамой — для неё функция организма. Чтобы быть дамой — она готова изъесть его.

Сколько раз уступал, сколько раз был нетвёрд, — но только не теперь!

Ничего, придумала: болезнь мальчиков, операция у Верочки. Но ведь это всё возможно и на юге? Все будут недоумевать, обвинять меня, что я не еду с тобой… Моя пытка увеличится тем, что десять раз на день я должна буду отвечать, почему не поехала?

Уехал. Скорей — одному, и начать выздоравливать. Только после выгрызливой женитьбы можно понять, какое это счастье: быть совсем одному.

Но как в тот решительный-нерешительный разрыв пять лет назад, так и теперь: проняло её всё же. Ощутила, что разъединение не отменится, разве только перевернётся вся Россия и вся Земля.

И из Петербурга в Крым на Пасху: начало моей жизни — моей любви к тебе — тоже было на Пасху. И вот — кончается любовь, не получив и не дав н и ч е г о… Сколько раз я уже с тобой прощалась, а все уголки души полны тобою, и вырвать каждый — боль до крика. А теперь дошло до главного нерва. И захотелось понять: почему же любовь моя оказалась безплодна?.. Мечтаю: чтобы ты хоть на одно мгновение, перед самой смертью… Христос с тобой, желаю тебе найти, чего я не сумела тебе дать…

Нет, это — того забирает за сердце, кто читает такое не пятнадцатый раз и кто не научился видеть холодной злости её лица. Размягчиться — нельзя, размягчиться — в ничтожество впасть опять.

Твоё пасхальное письмо посылаю тебе обратно. Оно жгёт мне руки. Будешь мстить мне — не делай орудьями мести детей.

…И в моём состоянии — ты ещё смеешь чего-то требовать от меня?! Давать мне советы о детях?! Ты когда-нибудь себя для них переломил? Ты — сам себя их лишил!

Так писал он — и так писала она, не предполагая внезапно-ужасного смысла этих слов: что через несколько месяцев сбудется по этим словам — и они потеряют Лёвочку, от менингита. Если уж занятая собой — так собой: упустила сына. Отпустила — десятилетнего стать на коне в рост и разбиться.

Можно выиграть целую Россию — а женитьбу проиграть.

67

Уже за час ночи, по пустому городу только казаки поезживали, прибрели волынцы к воротам своей учебной команды в Виленском переулке. Кирпичников остановил, повернул строй фронтом, доложил капитану Лашкевичу.

Лашкевич сшагнул с тротуара к строю:

— Плохо вы действовали, никакой самостоятельности. А на войне понадобится и стрельба, и самодеятельность. Ну всё-таки спасибо. Разводите повзводно в казарму.

Взводные повели, да и рота не своя, Кирпичников остался при Лашкевиче. Тот ещё его побранил: что целый день прятался, уклонялся, не так действовал.

Другой офицер бывает как свой. А этот — чужой, гадюка, барин. И никакого твоего промаха не простит.

Завтра-то — неужели Тимофею опять идти?.. Да, завтра очередь его 2-й роты.

Подошли оба прапорщика и спросили, идти ли им отбирать у солдат патроны. Но уже поздно было, и Лашкевич сказал:

— Ладно, взводные сами отберут.

Прапорщики попрощались и ушли в разные стороны, по домам. А Лашкевич пошёл с Кирпичниковым в канцелярию. За очками своими золотыми и он устал, лицо впалое. А стал бумагу читать и вытянулся, как на «смирно». И доверил Кирпичникову:

— Государь приказал — завтра же все безпорядки прекратить.

И рассчитал:

— Завтра пойдёт команда от вашей роты в восемь часов. Будить — в шесть. Я приду — в семь. А сейчас первой роте скорей поесть и ложиться спать.

Кирпичников:

— Люди сегодня не обедали, не ужинали, чаю не пили.

А Лашкевич своё:

— Ничего, не такое теперь время, чтоб чаи распивать.

Тимофей с надеждой:

— Так я тогда при первой роте буду?

— Нет, при второй, — распорядился Лашкевич. И ушёл.

Ну вот, так и знал. Кряду четвёртый день Тимофею на собачью службу. Никому же так не выпадает.

Ротные казармы — порознь. В 1-й ели обед вместе с ужином. Укладывались. Пошёл Тимофей к себе во 2-ю.

Там уже спят, на двухэтажных нарах. Лампа у дежурного, ещё на другом краю две малых. Лампадка перед ротной иконой. Нижние нары все тёмные.

Сел Тимофей на свою отдельную койку в углу, на кроватный столбик обопрясь. Повис.

Дежурный поднёс уже разогретое, в котелке.

Стал есть, не чувствуя, не думая.

Об еде не разумея.

Всё-таки надеялся он кряду четвёртый день не идти, и тяга сама с него спадёт. А вот — не спала.

Дружок, Миша Марков, взводный, наискось, на близкой наре:

— Тимоша, ну как?

Позвал его к себе. Тот шинелью обернулся, перешёл босой, сел рядом на койку.

— Да-а, — мол.

Молчали.

— Что ж это делается?.. Генералы нам изменяют. А царица — с Гришкой. Вон, Орлов приносил — читал ты. Кому война нужна? — не нам.

— Да-а, — мол.

— А наши штыки — народу в брюхо?.. Не на дело нас водят. Сегодня и убитые были, и ранетые… Я, Миша, людям на улицах в глаза смотреть не могу. Как же это?.. Что ж мы делаем?.. И офицеры наши?.. И вы вот отдохнули, а мне завтра опять… Я, знаешь… Я — не могу больше. А?

Понурился Марков.

— Чем так мучиться, — сказал Тимофей, — лучше бы и из казармы сразу не выходить… А ты бы — согласен не пойти?

Ох-ох-ох, по обломистым ступенькам да в гору. Марков — дыханьем одним:

— А чего будет?

— Да уж чего б не было. Прижали.

Ох, трудно. Ох, трудно человеку под топор себя волочить.

Глубоко зевнул Тимофей. Выдохнул.

— А в бою умереть достанется — не одно дело? Чего наша жизнь стоит? И мы б на фронте легли, сто раз, как многие. А нас сюда качнуло — по людям стрелять. Все во всех? Ну что за жизнь?

Миша — совестливый. Он и человека, и всякую скотину жалеет, по-деревенски. Дыханьем одним:

— Что ж, согласен.

И — сказано слово. Переступлено. Теперь — чего ж? Теперь надо что-то делать.

Сказал ему Тимофей: разбудить, позвать сюда, к койке, остальных трёх взводных. А дежурному по роте велел: никого в помещение не впускать. А когда придёт дежурный офицер (он ночами обходит) — доложить в пору.

Сошлись впятером, шинелки на кальсоны. Сели. И сказал Тимофей, четырём пробуженным один бодрый:

— Ну что, ребята? Отцы наши, матери, сестры, братья, невесты — просят хлеба, а мы в них стреляем? Сегодня кровь пролилась. А завтра и от нас прольётся? А царю — дела нет, велит подавить завтра. А царица немцам военные секреты передаёт. Я предлагаю: завтра нам — не идти. А? — Обсмотрел их по лицам. — Я лично хочу — не идти.

Не сказал — «решил», потому что и сам ещё не решил. Вот — как они сейчас? Без них нельзя.

Помолчали.

Поперевздыхали.

Попереглянулись. Ой, жутко первый раз осмелеть!

Миша Марков сказал — он не пойдёт. Поддерживает фельдфебеля.

Так и начало склоняться. Тогда и Козлов сказал: не пойдёт.

Тогда — и Канонников. И — Бродников:

— Ладно, мы от тебя не отстанем. Делай как знаешь.

Поднялся с койки Тимофей и всех перецеловал.

— Ладно, ребята! На фронт поедем — так и там убьют, а двум смертям не бывать. Один другого не выдаём, живыми в руки не даёмся. Смерть — только вначале страшна.

Приглушённо кликнул дежурного. Сейчас велел с нар повыдёргивать всех отделённых, пусть не одеваются. Только тихо.

Хоть и спали, а быстро явились, кто портянками ноги обернул, кто босой.

В полукруг, кто на корточки присел, кто стоя. И сказал им Тимофей негромко, но всем тут внятно:

— Вы, ребята, наши помощники. Мы, взводные командиры, решили завтра не идти стрелять.

Когда уже полутора десятку говорил, то не мечта тягучая, а сам поверил, что дело будет. Говорил — как о деле решённом.

А ефрейтор Орлов, питерский (ему отдельно уже успел Тимофей объяснить), сразу крепко:

— Ни за что не идём! Правильно.

А другим и сказать не досталось. Дело — решённое.

— Хорошо, тогда смотрите на меня. Что я буду делать — то и вы. Будете исполнять мою фельдфебельскую команду, и только её. А я теперь — и в первой роте фельдфебель. Так что…

И решили: не в шесть часов подыматься, а в пять. Собрать людей повзводно и объяснить: мы принимали присягу бить врага, защищать родину от Вильгельма — но не наших родных бить. Конечно, люди наши — никакие солдаты, а сброд, разгильдяи, но всё же. Окажутся согласны — то одевать их при караульной амуниции. А патроны будем добывать.

И разошлись взводные и отделённые — спать.

Не спать, конечно…

А Кирпичников позвал каптенармуса, младшего унтера. И велел ему завтра пораньше идти к батальонному инструктору и брать как можно больше патронов, якобы по приказу штабс-капитана Лашкевича.

А в той роте патроны остались не отобраны, хорошо.

Но! — всполошился Кирпичников: а вдруг теперь разгласится? Один только человек сходи к дежурному офицеру в канцелярию — и всё рухнуло. Рано объявил?

И распорядился ротному дежурному: ни одного человека ни под каким поводом никуда не выпускать.

Теперь с Марковым на койке обсуждали так: если к нашей команде никто не присоединится, то против каждого окна станет по одному отделению, стрелять из окна. Один пулемёт поставим через окно против оружейной мастерской. А один — на лестнице, чтоб со двора не пускать. И — никто нас не возьмёт, ни пехота, ни кавалерия, разве что артиллерия.

Тут прибежал дежурный:

— Фельдфебель! Тебя к телефону требуют!

Недоброе что? Узнали?..

Пошёл Кирпичников, Марков тоже вослед. Приложил и Марков ухо к трубке с наружной стороны и слушает.

Голос Лашкевича:

— Кирпичников! Люди — все спят?

Ишь, неймётся ему. Чует.

— Так точно, все, ваше высокоблагородие.

— В команде спокойно?

— Спокойно.

— Сделай подсчёт, сколько расстреляно патронов. А утром пошли каптенармуса к инструктору, взять боевых на 27-е.

Как раз это нам и надо, вот и распоряжение.

— И будить завтра не в шесть, а в семь. Строиться без десяти восемь. С оружием. Ожидать меня.

Отпустил.

На часок полегчил. Тогда и мы свою побудку на час позже, в шесть.

А уже — и четвёртый час ночи. Пока ложиться.

Марков от своей винтовки штык отомкнул и положил заряженную к себе под одеяло. Поцеловал её.

— Вот моя верная жена.

А иной жены и у Тимофея нет. Рота, батальон — весь его дом. Это правда, холодный металл у оружия, а сердце посасывает.

— Зачем кладёшь?

— Да если что раньше начнётся.

— А дежурный офицер войдёт? Будет винтовки считать? Не надо.

— Не! Так хочу.

Полежали. Не спится.

Строиться-то, сказал, прямо с оружием.

Лампадка загасла перед иконой.

Ладно, воздух чистей будет.

И чуть вроде слышны по казарме шёпоты, полуголосье.

Не тогда страшно, когда решались. Не тогда, когда отделённых собирали. А вот когда: всё сделано, всё отрезано, и остались два часа последних. И ты сам, один с собой, ничего никому не кликнешь — а по ту сторону утра для тебя уже, может, и петля болтается.

Страшная минута — как уже смерть сейчас.

Миша близко, через проход. И ему:

— Если к нам завтра другие части не присоединятся — ведь нас повесят.

— Да-а…

— А всё ж лучше по-солдатски умереть, чем невинных бить?

— Да-а…

— И при всех царях, бают, так было. Об народе не заботились.

Э-э-эх, трудно начинать! Начинать-то, начинать всего трудней.

А кому-то надо.

— Молчан-собака да и та вавкнет.

Облегчает, что молодые, семьи у обоих нет. Зато в молодых годах и жизнь жалчей.

— Ладно, Миша. Пусть люди потом вспоминают — учебную команду Волынского полка.

****

ДВА ГОРЯ ВМЕСТЕ, ТРЕТЬЕ ПОПОЛАМ

****

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

68

Но и когда решалось перед засыпом, всё мерилось легче, чем при побудке. Как ни отважились на отчаянное, а ещё ведь оставалось свалить голову в приёмистую подушку, хоть два часа — а соснуть. Всё ещё было — как за горой утишено.

А вот как закричал дневальный подъём — да резко, как резаный, как и положено, да зажёг всё электричество — так и сам Тимофей выбарахтывался из-под камня наваленного, ой Тимоша, Тимоша, и что ты затеял, зачем?

Ну, казалось, не подняться, не отряхнуться. Коли бы один был, не перед товарищами, так верно б отрёкся, крикнул бы: отставить, ложись спать!

А солдаты — и вовсе не ведали. Солдат не знает времени, когда его будят, а только тело чувствует: ох, что-то рано, ох, сна недодали.

Но слова сказанного не вернёшь. С Мишей Марковым зараз спустили ноги на пол, друг против друга, посмотрелись — и видно въявь, что тоже-ть и с ним, тоже-ть и он отказаться готов, если б не Тимофей.

А сказать первому — никому нельзя.

Да не бы взводные. Да не отделённые. Сами уже широко разлили. И что сбрендили на ночь, то покатилось уже теперь само, от них не завися.

Да что ж мы наделали? Что ж теперь с нами будет?..

Одна отрада — голову под умывальник, да водой холодной пробраться, пробраться, да на холку себе побольше. Протрезвляет.

Из-под умывальника высунулся — уже другой человек. Как надо — так надо, верно.

И всех гнать — а ну, умываться! Не киснуть, всем под воду!

А между тем сообразил, что с подъёмом прошибся: зачем же поднял в 6 часов? Думал — надо время, готовиться. А чего ж готовиться? Одеться, собраться — десять минут, а патронов раньше полседьмого не добыть, и кухня раньше не накормит. Лучшая готовка к делу — сон. Просчитался, дурак, и за себя, и за всех, обидно.

После умывки да застилки ждали солдаты, бродили — а ничего и не поделаешь: строиться не время, и слово говорить рано. А значит — можно садиться, можно и одетыми прилечь.

Всё вялей, вялей ходили. Ложились.

Кто лежал теперь как попадя. Кто, может, спал опять.

Да кто, может, ничего не знает — тот так и свалится. А кому уже отделённый шепнул — много ли заснёшь? Своя-то голова одна и кожа своя одна, ещё не прорубленная, не продырявленная, — кому не жалко?

Теперь смекнул Кирпичников, какие две опасности. Первая: вдруг почему-нибудь да не дадут патронов? — вот не дадут, и всё, приказ такой. Ещё просто не дадут — так и не выведут, нам ещё легче, совесть чиста, прогоняем день по казарме. А если не дадут потому, что прознали? — тогда что? Придут и голыми руками возьмут, пропали ни за что.

Но откуда могли бы прознать? В том и вторая опасность: не ушмыгнул ли кто, хоть и ночью? Протряс дежурного — нет, никто. Взводным, отделённым — проверить своих, все ли на месте.

Все.

А за патронами с каптенармусом послали надёжных.

Не выпускать никого и дальше.

И такая тяга — дадут патроны? не дадут? Бродили, лежали, передрёмывали — а Кирпичников волновался.

Ждали-ждали-пождали, переглядывались с Марковым, смотрели на ходики стенные — ох, не идут?..

Но в 7 часов, по коридору ту́пая, — пришли, нагруженные свинцовыми ящичками.

Ах, вы, грузила наши, не свинцовые, раззолоченные! С вами-то мы люди, с патронами и солдат — человек! Так-то ещё можно постоять!

Разбирали на взводы, на отделения — набивали поясные патронные подсумки.

И в карманы шинелей клали, избыток.

Теперь на кухню за завтраком, с четырьмя носчиками, пойдёт Орлов, самый верный. Присмотрит.

69

И приснился Козьме Гвоздеву на тюремной койке под утро — сон.

Увидел: на большом белом камне сидит в посконном, хорошо выстиранном, свежем — седой дед в лаптях. И онучи, и обора каждая — чиста, бела.

По всему — простой деревенский дед. Только больно долги, назад за голову, его седые волосы, и особая светлизна от них, вот уж промыты, волосик от волосика, и развеваются.

И — плачет дед. Да так горюче, так сокрушно — старуху ли схоронил? избу ли ему сожгли? всё гнездо перебили? Плачет, Козьму не оглянет, плачет — и слезы катятся, отдельные видно, по щеке сморщенной или на седой бороде задержась.

И жалко стало Козьме деда. Приступил к нему:

— Да что уж ты, дед, так плачешь? Да так уж — не убивайся.

Дед голову приклонно держал и в ладонях. А тут — поднял глаза — и от этих глаз Козьма аж продрог, аж заледело в нём: что дед-то — не простой, дед — святой.

И что плачет он — не по себе, а — его, Козьму, жалеет.

— Да за меня ты — что? — силился Козьма утешать и дале. — За меня не плачь, меня скоро выпустят.

Но — мудрость в очах старика повернулась — и ещё обледел Козьма, понял: нет, нескоро. Ай, нескоро-нескоро-нескоро. Долже человеческой жизни.

Так ни слова и не вымолвил дед столетний. Обронил голову — да как рыдал, как рыдал!

И тогда ещё ледяней запало Козьме: да может он — и н е п о м н е? По мне одному никак столько слёз быть не может.

А — по ком же?..

Такого и сердце не вмещает.

Проснулся — всё нутро схвачено холодом, тоской.

70

После завтрака Кирпичников велел строить 2-ю роту при боевом снаряжении в длинном коридоре второго этажа. Пулемёты стали на левом фланге.

Вышел перед строй — ещё ни разу ничем не награждённый, хотя один раз раненный, с ушами плоскими, прилепленными, крупноносый, губастый, лба мало, а сильно открытые глаза. Стараясь держаться поважней, а недоуменно. И голосом, привыкшим к отрубистой команде, а не к речи, чуть помлевая и растягивая:

— Ну что, братцы, скажем?.. Эти дни сами были-видели, и прикладами тыкали, и спусковые крючки тоже нажимали… Спросим: не довольно ли нам людскую кровушку лить? Притом, что наверху непристойное деется… Не довольно ли нам этим трутням поклоняться, которы с нас жилы тянут? А не правей ли нам — супротив народа не идти?.. Я уверен, другие части окажут нам всяку поддержку.

Вот в этом-то он не был уверен, но и нельзя же звать людей на обречённость.

В ответ никто связно не выразил, но погудели. Вроде с одобрением.

— Так вот: надеетесь ли вы на меня? И будете ли мою команду исполнять?

Отозвались, что надеются.

— Так вот. Всем приходящим младшим офицерам отвечать как положено: здравия желаем, ваше высокородие! И виду не подавать. А Лашкевичу на приветствие — не отвечать, а всем кричать сразу только: «ура».

Ещё он сам не понимал точно, как это будет дальше, но уж если «ура» крикнут — то и всем обрезано. Этим — спаяются, в один шаг перейдут.

И стояли в строю. Колотились сердца. Стояли на худший из боёв.

Без десяти минут восемь пришёл прапорщик. Кирпичников скомандовал как ни в чём, даже с избытком лихости:

— Смир-рна! Равнение нá средину!

Козырнул прапорщик фельдфебелю, козырнул строю:

— Здорово, ребята!

И рявкнули как положено, ну не слишком ладно:

— Здравия желаем, ваш скродь!

— Вольно!

— Вольно, оправиться.

Но уже само несёт, не сдержать. Кирпичников подходит на рожон с боковой походочкой, отчасти чтоб и своим напомнить:

— Ну как, ваше скородие, геройски действовали молодцы-волынцы вчерашний день?

— Да, — говорит.

— А сегодня — ещё лучше будем действовать. Вот посмóтрите, как сегодня молодецки. — А у самого голос дрожит.

А люди все — тихо стоят, замерев. Все-то понимают, кроме прапорщика.

Немного за восемь, подбегает дневальный, что на подходе — штабс-капитан Лашкевич.

Все солдаты повернулись на Кирпичникова. А он только прищурился сильней да руку слегка приподнял, чтобы все видели: он за всех думает.

Но Лашкевич сперва не сюда, прошёл в канцелярию. Продлил всем жизнь.

Через пять минут прямо сюда. Очки золотые, заприметчивый, кусливый. Прапорщик скомандовал:

— Смир-рна! Равнение — нá средину!

Доложил. Лашкевич принял рапорт. Все с оружием — так тáк он и приказал. Поздоровался со строем.

И вдруг весь строй заедино, кто и отставши, грохнул:

— Ура-а-а-а!!!

Капитан даже назад спину выгнул. Насторожился — на строй, на Кирпичникова. И, не ждать, — улыбнулся, мягко выстилая:

— Что это за форма такая, Кирпичников?

Так ли, этак ли лучше сложить ответ, но не успел Кирпичников, как из строя крикнул питерский ефрейтор Орлов:

— Довольно крови!

Капитан — сразу всунул правую руку в карман. Значит, там револьвер. И стал ходить-ходить перед строем, похаживать, поглядывать в лица. Искал, наверно, кто крикнул. Не нашёл. И ни у кого другого, а у Маркова спросил вкрадчиво:

— Объясни, что такое значит «ура»?

Так и пришлось объяснить первому Маркову. Один шаг между ними. Заподнял Марков голову и как в пропасть, уж тогда без «вашего высокоблагородия», чего там:

— А так, что — стрелять больше не будем! Не желаем понапрасну лить братску кровь!

А-а! Лашкевич так и вонзился, нашёл! Чуть ещё наклонясь к Маркову:

— Что-что??

После сказанного — что остаётся солдату? Говорить уже нечего, очкастый переговорит. И — н а р у к у винтовку! От ноги, как стояла на каменном полу, — взял в две руки, штыком вперёд надклоняя.

Ну, не прямо в грудь, а, мол, поостерегись.

Лашкевич и поостерёгся. Опять выровнялся, спину выгнул. Ещё против Маркова постоял — начал ходить. И глазами доглядчивыми, острыми — по лицам, по лицам.

А тут ещё два прапорщика подошли, Вельяминов и Ткачура. Видят — начальник учебной команды что-то расхаживает не в духе. Первый прапорщик им шёпотом сообщает.

А Лашкевич, теперь не изблизи, весь строй охватывая, голосом звонким, но не угрозно, а отчаянно:

— Солдаты-гвардейцы! Его Величество Государь император прислал телеграмму войскам столицы. Он просит войска прекратить волнения, которые расстраивают нашу воюющую армию!

За царя, значит, ухватился.

Тишина.

Строй стоит как окованный. Строй, однако, привычка.

И Марков винтовку опускает, опустил. Взял к ноге, как у всех.

Тут Вельяминов:

— Господин капитан, разрешите выйти, мне дурно стало.

Лашкевич, головы не поворачивая, весь взор на строй, ледяно ему:

— Выйдите.

Тот ушёл быстро.

Ушёл? Так он — другим частям передаст??

Кажется: если б Лашкевич на дверь голову только повернул — вот бы уже и рассыпались гурьбами. Но он — струнно стоял, весь на строй. Ещё в воздухе висло — от Государя императора.

И строй стоял.

И Кирпичников, в своей отдельности, но тем же строем скованный, не смел порушить. Стоял, не находился.

Вдруг чей-то приклад в задней шеренге ударил о каменную плиту. И басом:

— Уходи от нас. Не хотим тебя видеть!

И, подражая, другой приклад, в другом месте — бух!

Нашли как! Ещё, ещё прикладами о каменные плиты! Небывалый, неслыханный, грозный гул по коридору! А в нём отдаётся!

Лашкевич плечами поёжился. Чутка́ ещё не хватало. И тут завопил ему Кирпичников:

— Уходи вон!!

И Лашкевич вдруг — быстро повернулся. И быстро пошёл. На лестницу вниз. Там по лестнице.

И прапорщики исчезли.

Победа?! Вот это и было тяжкое самое — как первый раз переступить? как со своим командиром обратиться? И вот — ушёл, прогнали?

Ушли — так теперь покличут на нас атаку.

Кинулся Кирпичников к окну, отсюда двор виден.

И раму заклеенную рванул, распахнул: куда пойдёт?

Вот тут — и повалили из строя. И то не все, остались и на местах.

И второе окно рванули.

И видели: штабс-капитан Лашкевич, сойдя с крыльца, быстро шёл через двор — к воротам, на улицу. Значит — вон? Значит — к штабу батальона?

Не Кирпичников, Орлов крикнул:

— Бей!

Такого — не задумывали, но так получилось.

И поднялось с пяток винтовок, Орлов тоже, бахнули в открытые окна.

И — свалился штабс-капитан перед воротами, на утолоченный снег. И не дрыгался.

Намертво.

О-го-о-о… Это что ж теперь будет?..

Кто обмерши. А кто по коридору:

— Ура-а-а-а!

А какое «ура»? — только теперь-то всё и начиналось. Только теперь-то и отрезало: не тогда, когда Лашкевич побежал вон, — а когда упал. Теперь — ни у кого здесь уже нет повёртки.

Теперь — мы взбунтованы, безповоротно! И — что будет?

Перекрикивал Кирпичников, руками махал: на места! в строй!

Собрались, стали в строй.

А — что теперь? Ночью думали: занять оборону по лестнице и по окнам. Но это — в ловушке себя запереть. Это думали, когда переступить боялись. А когда уже переступлено… ?

Наружу! Звать другие роты! Чем больше созовём — тем меньше ляжет на нас. Теперь — всё отрезано, теперь только и выход — звать других!

Завопил Кирпичников команду:

— Рота напра-во!! Шагом-марш!

И — потопали, посыпали по лестнице. Во двор!

Во дворе уже не стало строя: рассыпались кто куда, разбрелись как пьяные, очумелые.

Стреляли в воздух без толку.

А кто кричал «ура».

Горнисты заиграли тревогу.

Кирпичников послал Маркова и Орлова в другую роту учебной команды — звать присоединяться.

71

Поезд пришёл в Москву очень рано утром, и ещё пустым ранним трамваем Георгий добирался домой на Остоженку.

Тихо, ослабно сердцу было вечером в субботу у своих. Вчера утром и на улицах в Петрограде уже всё успокоилось. Но то мрачное сердечное сжатие, схватившее в Мустамяках, — оно так и не отпустило. Чтó оно было?

А в Петрограде всё заслонило ужасом, что своими же руками развалил он хрупкое подлечение Алины. И что теперь снова начнётся? И с каким новым размахом!

Совсем ни на час не наступает привычная бодрая светлость. А — какая-то муть неразборная в душе. И всё время — мешает.

И чем ближе домой — тем угнетённей и мрачней. А когда уже поднимался по лестнице в сером утреннем свете — сердце сжало и ударяло. Так и не разыскав или потеряв, что же именно он первое выразит? сделает? скажет? — повернул дважды ушко дверного звонка.

Алина, вероятно, ещё в постели. Ждал её возникающих шагов. Не слышал. Не шла.

Могла этим и демонстрировать.

Ещё раз позвонил.

Не шла.

Ещё раз. Никак не могла не проснуться. Но не шла.

Ещё раз. Или уж выдержку какую надо иметь. Или… её нет?

Подумал — и захолонул, обвалилось внутри. Боже — неужели? Боже! неужели она… ?

Позвонил! Позвонил! Позвонил!

Молчание.

Боже, неужели там она у себя на постели — лежит мёртвая? Вдруг представилось так ясно, неотвратимо: что иначе и быть не может! Да, да, именно так! И сколько случаев таких бывают — запираются. Да она ведь так и угрожала.

Уже видел её мёртвой, на постели навзничь — и эта внезапность косым передрогом прошла по нему. Вдруг — вся утлая наша жизнь перед этим рубежом.

Уже не звонил. Отдышивался, соображал. Протёр лоб. А может — её просто нет? Простая мысль: живо пойти к церковной привратнице, спросить.

Старушка уже на ногах. Ничему не удивилась. Да, вот, оставила вам ключи. Уехала, да. Не знаю куда.

Фу-у-у-у-уф, отлегло. Жива.

Полегчало даже втройне: и что ничего не случилось, и что дома её сейчас нет, не будет бурной сцены, и не надо усиливаться ничего говорить, объяснять.

Но и тут же, ещё не дойдя до своего этажа: а может обманула привратницу? Другими ключами заперлась изнутри — и… ?

Поспешил последний пролёт.

Вступил — как вор в пустую чужую квартиру? или как родственник во склеп? Было это в нём самом внутри — или веяло в воздухе могильностью?

Не раздеваясь — сразу скорей вперёд!

В столовую. Пуста.

К тому месту, где прошлый раз выставлялась её записка. Стояла та же рамка, с фотографией — Алина в широкополой шляпе, с гордо поднятой головой, красивая, счастливая. Но записки никакой не было.

А лежали тут — большие портновские ножницы, растворенные до предела.

Посмотрел записку на буфете, по другим местам, — не видно.

И — быстрей в спальню!

Нет! Постель ровненько застелена. Не помята. О, как облегчилось! Именно навзничь представлял.

И вся спальня — в порядке. Не как осенью, не бегство. Невольно глазами по полу: нет ли скомканных бумажек, как тогда? Нету. Смотрел, искал ещё — на комоде, на туалетном столике.

И увидел: к середине туалетного зеркала прислонённые, подпёртые пудреницей — *стояли* ножницы для ногтей. Так же — с раскинутыми до предела полотенками — кажется, до боли самим себе, и даже концы их искривились. Нет, это они, искривлённые, были жалами направлены на смотрящего — уколом!

Теперь и на комоде, на кружевной дорожке увидел ещё ножницы — и так же распахнутые до предела!

Это уже не могло быть случайностью? На туалете слишком нарочито стояли.

Скорее дальше, в свой кабинет. Письменный стол Георгия чист, пустынен, как всегда в его отлучку, постоянные предметы — просторным полуовалом. И только в центре стола, посередине пустого пространства — большие ножницы его для обрезки карт — распластанные, с раскинутыми до предела остриями.

Нет, это не случайность. Но что это значить могло?

Первая мысль толкалась сама, не найденная, вбежавшая: всё-таки — предупреждение о самоубийстве. Кончу с собой!

Почему такая мысль? Ничего, кроме острых концов, скорее глаза выкалывающих, тут не было от самоубийства. А — пришла.

Обходил — всё. И повсюду находил ещё и ещё, и в кухне на столе, и в передней на подзеркальнике — до восьми ножниц, все ножницы, какие в доме были! — и все одинаково: с отчаяния раскинутыми остриями!

Какой-то грозный намёк, если и не о смерти.

Уже Георгий не облегчён был, что Алины нет дома, а находил этот оборот хуже. Что-то с ней… Что-то она… Уж лучше была бы здесь. Уж лучше выплескивала бы ему в лицо.

А может быть: как знак их расхождения? Вот, как эти полотенки, раньше сходившиеся, теперь разбросаны до предела — так, мол, теперь и мы разошлись, сколько достать в разные стороны, и обручальные кольца наши разбросаны — и кончено?

И на миг махнуло как тёплым хвостиком.

Бродил безсмысленно, безпомощно по комнатам, так и не сняв шинели и шашки.

Одни, другие ножницы свёл.

Потом — опять развёл. Пусть как она оставила.

Нет, жутче: это скорее было похоже, что она тронулась умом. До такого, да ещё стоймя приставлять, не додумаешься в здравомыслии.

Алина — помутилась в уме?

Боже, как сердце сжато! Как безысходно. Как — сделать ничего нельзя.

И так разрывающе её жаль! И это — он её довёл.

Нужно — догонять её, образумливать, успокаивать. Но — куда? Но где?

Хоть что-нибудь было бы от неё! Самое дурное, но — письмо!

Нич-чего.

Только тут сообразил: а Сусанна же есть! Да не у неё ли Алина?

Не заперев двери, побежал по лестнице к телефону.

Но одумался: ещё нет восьми утра, невозможно тревожить так рано. По крайней мере — с половины девятого.

Вернулся. Разделся.

Ходил потерянный.

Квартира — как пустыня. И такой мрак.

Неужели тронулась разумом?

Как всё ноет и болит внутри. О, лучше б она была **здесь!**

Ничего не мог — себя, для себя, найти, найтись.

В половине девятого тоже подумал, что ещё рано.

С безчетверти.

А когда пошёл телефонировать без четверти — ответили: Сусанна Иосифовна ушла, будет дома часам к четырём.

Упустил!

И теперь целый день — безвестности, непонимания, тоски…

72

Да, Воронцов-Вельяминов ещё недавно был студентом университета — но ещё недавней он кончил сокращённые курсы при Пажеском корпусе и получил офицерское звание. Да, он прекрасно слышал зов общества — но он же был и офицер воюющей России. Сердце его эти дни разрывалось — но и нельзя ж допускать бунт в столице, да во время войны! Между собой молодые офицеры бранили чучело Хабалова: тряпка, допустил в городе хаос. Но вот и

тронуло армию: вчера — павловцы, сегодня, сейчас, в коридоре — стояли они с Лашкевичем перед бунтарским строем. И Вельяминов догадался — и благовидно отпросясь — и через две ступеньки на третью — и по снежным кочкам бегом — ворвался в батальонную канцелярию — и мимо всех уставов требовал видеть полковника Висковского — бунт в батальоне!! Учебная команда отказывается подчиняться!

Ну — так ли? Ну, может ли быть? Ну, пока доложили.

И совсем-совсем не сразу вышел рыхлый, белотелый полковник Висковский, из тех, кто, и долгую службу пройдя, как-то минует испытания железом, а лишь удобно возвышается в чинах. Прежде — в прелестной Варшаве, теперь в Петрограде.

Ну, так ли? Эти нетерпеливые молодые люди не знают, что первые офицерские качества — осмотрительность и хладнокровие. Как это может быть, чтобы солдаты гвардейского полка — и отказались подчиняться? Это — событие невозможное.

Но это — так! Но минуты текли! Но капитан Лашкевич там стоял пружинно перед строем — и тем более ничего придумать не мог! Помощь, помощь нужна скорей, туда!

А полковник погрузился в размышление: какая же служебная неприятность.

И прапорщик осмелился ещё что-то выпыхнуть, не слыша своих слов. И полковник всё-таки подвинулся.

К телефону. Просил соединить с градоначальством.

Что за чушь? Под рукою целый батальон, зачем градоначальство?!

— Это полковник Висковский, командир лейб-гвардии Волынского запасного…

(Это же всё протолкнуть надо!)

— …Могу ли я попросить генерала Хабалова?

А тот, оказывается, ещё не приезжал с квартиры. А что случилось?

И как ответить? И можно ли так верить прапорщику?

— А тут… вот… — тянул полковник, — я должен направить учебную команду в наряд по улицам, а она…

Тут послышались близкие выстрелы, пачкой.

Вбежал прапорщик Колоколов — и сорванно, дико:

— Господин полковник! Капитан Лашкевич убит! Команда взбунтовалась!

И полковник — оцепенел. Теперь — несомненно что-то случилось. Но как это повторить в телефон начальству? Ах, какое расстройство.

И оттуда, из штаба Округа, ему не находились, что сказать. Ведь генерала Хабалова ещё нет. А такие события в воинских частях не предусмотрены.

Тут вбегали ещё офицеры, молодые прапорщики, потом и постарше… Взбунтованная рота выходит во двор!.. Во дворе — сумятица, безпорядочное движение! Стреляют, трубят! …Все с оружием, но никуда не выходят, не строятся. Сами явно озадачены, плана нет… Проходящих офицеров не трогают… Труп капитана Лашкевича лежит…

И все стояли перед полковником, не ослабляя ног.

А он пребывал в размышлении. Впрочем, и остальные офицеры были в этом запасном батальоне как чужие: или только назначенные, несколько дней-недель, или только долечивались и тяготились, как бы уехать скорее в действующий полк. Не здесь были их места, не было у них привычных верных унтеров, и солдаты не известны по фамилиям — как не своя часть.

А полковник Висковский цепенел. Никого не послал ко взбунтовавшимся, уговорить их. И никого не послал за поддержкой.

Он — коснел. Увидел капитана Машкина 1-го и позвал его в кабинет, совещаться.

Офицеры нервно разговаривали и, при писарях, расхаживали, курили. Лихой Цуриков сам бы кинулся во двор — но нельзя без приказа. Штабс-капитан Машкин 2-й уклонялся осуждать солдат: вот довели Россию, довели и солдат. Ткачура сжимал кулаки: у него на глазах всё произошло, и самого могли подбить.

А из кабинета не выходили. И тут офицеры — начали возмущаться дерзко. Некоторые прапорщики и всего-то на военной службе были по шесть месяцев, но и те понимали, что…

Тут вбежал прапорщик Люба — но в каком виде! — уже переодетый в штатское. А иначе, мол, рискованно было пройти. Ловкач! Быстро! Так это что — и нам предстоит? Чудовищно!

Но не успели его ни упрекнуть, ни расспросить — вернулся полковник.

Теперь голоса уже и не умолкали. Требовали приказаний!

А полковник с опущенными руками сам у них спросил:

— Штаб Округа не командует. Что же нам делать?

Но ведь это было так ясно! Загудели энергичные, гневные голоса:

— Вызвать пулемётную команду!

— Другими ротами оцепить двор!

— Вызвать артиллерию из Михайловского училища!

— Но, господа, — слабо возражал потерянный полковник, не обижаясь на тон советов. — Но быть может, солдаты и сами одумаются и выдадут виновных?

— Да с чего ж одумаются? — закричали на него.

И он ушёл в кабинет.

Адъютант звонил в штаб войск гвардии и не мог добиться толку.

Офицеры ходили курили, как прикованные теперь к канцелярии. Перекидывались коротко. К ним сюда пока не врывались — но что может произойти? И как же можно — не давить военного восстания?

— Но можем ли мы стрелять в своих солдат?..

А *там* — лежал Лашкевич, лицом в снег.

Ближе к половине десятого вбежал унтер:

— Учебная команда выходит на улицу с оружием!

Доложили полковнику.

Теперь ещё меньше знал он, что делать. И уже не надеялся на штаб Округа. Вышел к офицерам:

— Господа, надо признать, что события вышли из нашего управления. Мы ничем помочь не можем. Я рекомендую всем вам — разойтись по домам.

И сам — тут же пошёл садиться в автомобиль.

Вот это так! — остались обезкураженные офицеры.

73

Квартира министра внутренних дел на Фонтанке близ Пантелеймоновского моста состояла из двух половин: по одну сторону зеркально-ковровой лестницы — официальная: приёмный зал с мраморными колоннами, биллиардная, кабинет и рядом с ним запасная спальня, где Протопопов сегодня и спал. По другую сторону лестницы — приватная, она соединялась с официальной и своим ходом.

Все эти месяцы, министром, Александр Дмитриевич как-то наладился поздно ложиться, не раньше трёх-четырёх ночи, — затягивался приём, а там обед у кого-нибудь, ещё визиты, ужин, а ночами сочинял проекты, — так что министерский день начинался уже, ну, в час дня. И сегодня б ещё спать, а что-то проснулся в девять.

Не все годы своей жизни Александр Дмитриевич наслаждался семейностью, неравномерно. Уже было у них с Ольгой Павловной две дочери, когда убили дядюшку Селиверстова и досталась в наследство суконная фабрика в Симбирской губернии, — Протопопов надолго расстался с семьёй, поехав в Париж под предлогом изучать заграничную постановку суконной промышленности. Но управляющий за два года спустил полстоимости фабрики — и пришлось самому селиться в имении при фабрике, и строить, и реформировать. Там жили по-помещичьи, задавали пиры в саду в Ольгин день, чуть не выдали старшую дочь за предполагаемого министра — но тот министром не стал, и брак расстроился. А вот — негаданно министром стал сам Александр Дмитрич!

Так вот лежать на бочку, щурясь на потолочную лепку, и перебирать. Перебирать — как возвысился, как управляет, что ещё будет делать.

Впрочем, будущее было ему отчасти и открыто проницательным предсказателем астрологом Перреном.

Это так началось: в позапрошлом году Перрен был в Петрограде, жил в Гранд-отеле. Александр Дмитрич узнал о нём через газеты, а он всегда интересовался миром психических явлений. Поехали погадать у него о женихе дочери — но Перрен обратил внимание на самого Протопопова и сразу предсказал ему великое будущее. Очень метко сказал: «Вы сами себя создали. И всегда следуйте своему импульсу, он верен!» И действительно, вскоре за тем Александра Дмитриевича избрали товарищем председателя Государственной Думы, а через год стал и министром, — поразительно предсказал! Минувшим летом Перрен снова приезжал в Россию, но почему-то легло на него подозрение, что он — немецкий шпион, и был выслан без права возврата. Так и не удалось больше повидаться. Но когда назначили министром, Перрен прислал письмо: «Под вашим управлением возникнет сильная новая счастливая Россия. Путь ваш не всегда будет усыпан розами, но вы преодолеете все препятствия!» Неужели же?! А что не усыпан розами, так с этим надо смириться. И ещё писал: «Всякий раз, когда вам грозит

опасность, — я испытываю нервность и буду действовать на расстоянии телепатическими пассами, от чего вы будете испытывать сонливость». (Вот, может быть, и сейчас.) И предсказал опасные для Протопопова даты: 14, 15, 16, лучше в эти дни не выходить из дому и принимать только близких. Но числа прошли вполне благополучно. (Да после ареста Рабочей группы движение надолго обезглавлено.)

Бывают, конечно, и самозваные предсказатели. Риттих три недели назад сказал Протопопову при совещании министров: «Ваш рок смотрит вам в глаза, чего опасались римляне. Берегитесь его!» Даже пробежало по спине неприятное. Но Риттих — не провидец.

Рок! Рок над собой всегда чувствовал Александр Дмитриевич. И — как он опасно долго болел: миелит, неврастения, размягчение черепной кости, — всё лечился тибетскими травами, затем двухлетний гипнотический курс у психиатра Бехтерева. Но всё ещё не достиг устойчивости настроения, так и остались его уделом то провальные, безвольные, мрачные упадки, то эвфорическое взлётное состояние, когда не принимаешь огорчений к сердцу. И как роково играл в карты, ещё ротмистром. И роково разбогател от наследства. И роково, затяжчиво любил женщин и покорял назначенную.

Да в яростном столкновении Думы и Верховной власти — кто б ещё мог так удивительно возвыситься и так балансировать на проволоке, под ропот гнева внизу, — и достичь такого могущества? Никто никогда не достигал, не соединял такого. Как некий Алкивиад. Да, Александр Протопопов действительно был роковой личностью, с роковой судьбой! И можно было поверить, что под его управлением возникнет небывалая Россия!

Увы, за пять министерских месяцев он неоправданно мало сделал — да из-за этой дикой обстановки, дикой общественной травли, всё время в каком-то растопыренном положении. Но зато — как он ясно и умно всё видел, сколько открытых простых возможностей!

Ах, власть! Власть — это не то что ораторство в Думе.

Но — и как выламывает власть. Вот — новогодний приём в Зимнем дворце. Кто мог ждать? В самых добрых ласковых чувствах прилавировал Протопопов через толпу гостей к широким плечам Родзянки: «Здравствуйте, Михаил Владимирович!» И ещё не успел произнести новогоднего поздравления, как тот зарычал, затрясся как грузовик: «Не подходите ко мне! Ни за что, никогда, ни при каких условиях!» Но Протопопов не обиделся, он обнял Родзянку за широченную талию: «Дорогой мой, во всём можно сговориться». А тот всё трясся и рычал, привлекая окружающих: «Не прикасайтесь ко мне! Отойдите, вы мне противны!» Только и осталось Александру Дмитриевичу пошутить упавшим голосом: «Если так, то я вас вызываю…» Но тот и шутки не понял: «Пожалуйста, только чтоб ваши секунданты были не из жандармов!»

И эти два месяца избегал Протопопов всякой встречи с ним.

Но теперь — замечательно: сегодня — Думу распустили, теперь можно будет и жить и управлять.

Когда в Царском Селе верят тебе и благосклонны — это одно лечит. Только там и согреешься душой. Только и можно что-нибудь сделать, если касаешься царской семьи. В эти месяцы травли тем более тянулся к узкому царскому окружению. Радостно оправдывать это высокое доверие. И ещё более твёрдое — на женской половине дворца.

Как прекрасна жизнь, когда ты любишь, когда тебя любят, как прекрасна была бы жизнь без политических страстей и злоб!

В дверь неприятно сильно постучали. Александр Дмитрич вздрогнул и натянул одеяло.

Кто это там?

Камердинер. Срочно вызывает к телефону градоначальник, просил и будить.

Ах? Что ж это?.. Да, там же у них… безпорядки. А ведь в пятый день должны кончиться.

Так нехотя, так через силу — встал, надел мохнатый халат, завязал пояс с кистями.

Перешёл в кабинет, мягко ступая туфлями, отороченными мехом. Пока лежал — будто не было рано, а вот вызвали — почувствовал, что рано.

И сразу в трубку — дневной разогнанный голос Балка. Что в лучшем батальоне — лейб-гвардии Волынском, взбунтовалась учебная команда и убила образцового офицера!

Ах, как похолодело внутри! Ещё не осознал как следует, — ну, местный эпизод, — но тон! но тон?

— Но — один локальный случай?

— Пока не знаю! Мы сегодня ночью ожидали восстания во 2-м флотском экипаже, было донесение Охранного отделения о тайном собрании матросов.

— Так это… дело Хабалова… Или Григоровича.

— Мы до Хабалова всю ночь не могли дозвониться, не отвечал! А Григорович болен. Мы сами посылали в экипаж…

Ах, как сразу много, напористо, неприятно! Как инстинктивно не хотелось принять рано утром всё это в свою незащищённую жизнь, ещё с постельным теплом, ещё не доспав…

А Балк — спрашивал указаний! решений! его звонок был — вопрос!

А — что мог министр внутренних дел? А при чём тут он? Всё это передано военным властям…

Не знал, что сказать.

А градоначальник ждал.

Да! вспомнилось — и как же это некстати:

— А мы только что послали высочайший указ о роспуске Государственной Думы, — зачем-то пожаловался подчинённому. И почему-то спросил: — Что вы скажете?

— О, если б это было сделано раньше! — вскрикнул градоначальник. — А теперь это может только повредить!

Сжалось сердце. Ах, как нехорошо. Ах, как нехорошо, правда!

— Н-н-ну, посмотрим, голубчик… Н-ну, что Бог даст… Н-ну, может быть, к вечеру успокоится.

74

Сообразить не мог и Кирпичников: что делать дальше?

Ясно, надо прихватывать и другие части: полез по горло, лезь и по уши. Чем больше прихватим — тем меньше накажут.

Да ещё если б Лашкевича не убили. Вот уж…

Но шли полчаса, и другие полчаса — а куда ж выходить одной учебной командой? Кучка.

Марков воротился: подготовительная учебная команда выходить не хочет.

Ну, пан или пропал! кинулся Кирпичников сам.

Вбежал в их помещение:

— Ура-а-а-а! — А у самого кошки на сердце.

Никто «ура» не поддерживает. Не видят, чему радоваться.

— Выходи, братцы! За свободу!

Не идут. Оружия не разбирают. На нарах сидят угрюмо.

И почувствовал Тимофей óпадь сил, как свои бы руки-ноги не шли. Первый-то шаг оказался лёгок — а вот второй? Ну, перевешают всех.

Тогда подозвал он к себе в кучку унтеров и уже голосом умеренным (в голосе тоже силы не стало) уговаривал одних этих, — помогли бы поднять подготовительную. Пусть унтеры прикажут или убедят, — как же вы можете своих не поддержать?

Мнутся унтеры, поди им докажи. Переступить повиновение, выходить с винтовками на улицу? У нас — уже всё оторвано, а им в казармах конечно целей.

— Да братцы же! — надрывался Кирпичников. — Сегодня людей убивать посылают нас, а завтра вас пошлют! Вы б видели: как после залпа толпа схлынула — а на снегу убитые-раненые корчатся. Вы б видели!

Трогаются, да нехотя. Один, другой унтер своим: вроде б одеваться, выходить. А — нехотя.

Вдруг — во дворе новый шум и стрельба! Ринулся Кирпичников во двор — а там кипит! а в воздух палят! И к нему — Орлов, ряжка, глаза навылуп:

— Вышла вся 4-я рота!

— Да как же уговорили? — Кирпичников в ухо ему кричит. — А я подготовительную не могу.

— А — по-рабочему! — кричит Орлов. — Кулаком по шее! Поймут!

И — в подготовительную.

В каменном дворе, средь каменных улиц эта пальба — растрескивает, уши вырывает. А весело:

— Ура-а-а-а! Ура-а-а-а!

А кто-то — на каменный забор вскарабкался, а за забором — литовцы и преображенцы, ихний двор. И туда им с забора кричат, руками и шапками машут. Да сами должны стрельбу понять.

Верно! Терять ни минуты больше нельзя. Тут, во дворе, — запрут и пулемётами покосят. И патронов у нас столько нет. Надо — и преображенцев поднимать, тут их часть, и литовцев бы, — а прежде бы свои волынские основные роты, они в других казармах.

Ещё удивительно: больше часа прошло, а не спроворились, не перегородили нас. Если выйдем со двора — спасены.

И стал Тимофей кричать:

— На-плечо-о! На-пле-чо-о!

Голос командный, да не густ. Да тут и густого не услышат, все сами орут, каждый себе. Стал руками махать — перестаньте! Стал винтовку брать и показывать:

— На плечо-о!

Тут — и подготовительная высыпала!

И стал сбиваться строй небывалый — не по отделениям, не по взводам, даже не по ротам, только что в колонну по четыре, а где и по пять. Закричал Кирпичников:

— За свободу!! Шагом-арш!

И — колыхнула, и — пошла колонна, как дикая, как пьяная, не в ногу. Не считая, кто во дворе остался, кто назад по казармам пошмыгал.

И побежал Кирпичников, обгоняя, к голове. Ротные колонны вести — фельдфебелю не в новость, да только всегда тишина и послушание, всегда по тротуарчику офицер идёт, и маршрут фельдфебелю указан, а тут — распахнись! Или весь город твой, или на виселицу!

Скомандовал по Виленскому переулку к Фонтанной — снимать свои волынские 1-ю, 2-ю, 3-ю роты. Если эдакой колонной подойдём — неуж не дрогнут? С каждой сотней присоединённой нам легче и легче — а если весь батальон подымем?

Оглянулся — только взводные унтеры кой-где при колонне рядом. А — ни одного ж офицера нигде, как вымело! А-а-а, нас боятся! Боятся нашей солдатской рати! Им-то — ещё страшней!

А переулок — короткий, быстро шагом его берём, а до Фонтанной — ещё короче. Одна стена переулка — вся казарменная, по другой — домишков несколько, жителей мало, пуст переулок, не видят нашего шага волынского, сбитого, растрёпанного, и не до равненья.

Вдруг — бегут навстречу двое молодых, он и она, — и к передним, и к Кирпичникову, а руками позадь себя показывают:

— Там на вас пулемёты приготовлены!

Где именно, уже на Знаменской? сколько пулемётов? — и Кирпичников не спросил, и они не добавили, а с каждым шагом до пулемётов ближе, и думать некогда, да странно б, если б не приготовили, — и, ладонь приложивши сбоку ко рту, закричал Тимофей:

— Пра-а-авое плечо — вперёд!

Передние — услышали. Послушались. Затоптались левые, находили правые, смотрят-дивятся: куда ж поворачивать?

— Па переулку — наза-ад!

Диковатая команда, кажись не время строй разминать. Но подчинились, пошли и так. Впрочем, на много команд их послушанья не хватит. (Пожалел: есть же свои пулемёты где-то, отчего не выдвинул? И отчего вперёд по переулку не послал разведку, проверить? Не сообразил, сразу «правое плечо!». Да переулок узкий, деться некуда, два офицера с двумя пулемётами всех бы нас перещёлкали.)

И куда ж идти? Опять мимо своего двора, и тут вполне могли бы пулемёты выставить.

Нет, не бьют.

— Дальше! — рукой махнул передним, — дальше!

А соображать быстро надо, вот и перекресток. Правильно идём! — к преображенцам, к литовцам, а там дальше сапёры. Вся наша надежда — или подымем их, или погибнем.

— Пра-авое плечо вперё-од!

Налево, по Парадной.

А пока вот что, поздним умом, отрядил: запречь патронную повозку, гнать на Госпитальную, нельзя ли захватить наш волынский цейхгауз — и везти нам патроны!

Сам — выбежал, и перед передними, задом пятясь:

— Братцы! Если преображенцев сейчас не подымем — это нам конец!! Преображенцев — любой ценой поднять!!

И — заворачивать к ним во двор. Идёт колонна ощетиненная, винтовки на руку, штыки в небо — в воротах не остановишь!

И не останавливают, не заперты.

А во дворе — горнисты заиграли тревогу. И рожки.

И ударили в полковой колокол литовцы.

В атаку на нас? Нет, это себя подбодряют: попрятались. От нас — попрятались соседи. Позагоняли их с ученья по казармам.

Обширный двор преображенский — пуст.

И — растеклись волынцы внутрь, уже толпой.

А все двери — позаперты. А окна — насторожены, кто-то там выглядывает.

Стоят волынцы в чужом дворе — и перебить их сверху нетрудно.

Но молчат этажи.

И эти преображенцы нам сейчас — или братья родные, или хуже немцев, и чтоб себя спасти — придётся по ним бить.

А тут — Литовского цейхгауз рядом, надо брать.

А пока, у кого глотка здорова, упражняйся:

— Э-э-эй, преображенцы!

Марков:

— Айдате с нами!

— С нами — за свободу!

— С нами — а то стрелять будем!

Молчат. Двери позаперты. Биться? врываться?

Всё дело зависло на преображенских карнизах.

Заорал Орлов:

— Что ж вы, лети-перелети, своих товарищей павловцев арестовали? Где же ваша гвардейская совесть?

— С нами — за слободу!

— Ура-а-а?

Молчат.

Команды не ждя, кто как сообразит — саданули им в воздух и под крышу выстрелов несколько.

— Эй! стой! по окнам не бей! — оттуда окликнули.

И из одного верхнего окна преображенский унтер, мордатый, показал: погоди, мол, не бей, сейчас двери откроем!

75

Ваня Редченков был нраву совсем тихого, а росту дюже удалого: три аршина без вершка. И когда в феврале стали их, 98-го года рождения, брать в армию, то у спас-клепиковского воинского начальника зачислили Ваню в гвардию, и не отправили сразу, как армейских, а отпустили побыть ещё дома две недели.

Иван обрадовался отсрочке — две недели меж родных стен никак не лишние, ещё и на девичьи посиделки два раза сбродить. Но отец Ивана, бывший взводный унтер гвардии Конного полка, осадил: «Ох, сынок, не радуйся, эти две недели ещё из тебя вымотают. В гвардии дисциплина железная, ещё не раз ты по уху получишь от унтера».

В Рязань привезли их, отобранных, в собор, и принимали они присягу. Иван со своего ростища, да ещё всю руку поднял и два пальца из неё выставил, всей душой обещая и клянясь, а Митька Пятилазов, из их же волости, возьми и подруби Ивану руку ребром ладони. «Ты чаво?» — «Ничаво. Не слишком вылянывайся. Половину — себе побереги, на всяк случай».

Везли их через Москву, стоял их эшелон в Замоскворечьи на запасном пути, и оттуда они видели Кремль. А за Тверью опять стояли — и минули их два быстрых одинаких поезда с красивыми синими вагонами. И смикитили все до последней тетери: «Царь поехал! Войска водить!»

И тут же вскоре привезли их в самый Питер. И от вокзала повели их, полторы тысячи молодцов-богатырей, по главной людной улице. Они пораззявили рты на такое чудное построище, а люди с боков — на них, и не мене дивились: «Боже, да где ж такие росли? Да сколько ж у нас ещё народу!»

И сразу повели их в огромадный каменный сарай — «манеж», где манежат. И стали по полкам разбивать — какой-то чин сиятельный, мало что генерал, говорили: великий князь. Построили их вразрядку, а он ходил вдоль и по каждого лицу определял полк. Да быстро намётанный, только глянет — и уже на груди мелом пишет номер. А позади генерала-князя идёт ещё офицер, из гвардейцев гвардеец, долже трёх аршин гораздо, через генералово плечико номер видит и сразу орёт: «Семёновский!» Иль: «Волынский!»

Потом растолковали Ивану, тут свой разбор, в одном полку все должны быть обликом схожи: в егеря идут — чёрные, в Петербургский полк — рыжие, в Павловский полк берут курносых, а в Преображенский — прямоносых. Так и Иван Редченков попал в Преображенский.

На второй день их повели в баню и обмундировали. После домашней тёплой шапки и тёплой шубёнки было несносно на морозном ветерку плаца в шинелишке и фуражке. Потёр в строю коченеющее ухо — унтер смазал по уху, и вспомнил Ваня отца насчёт железной гвардейской дисциплины. А ещё замешкивался он на команды или в строю по четыре попадал пятым.

Однако уже на третий день — железной дисциплины вдруг как не стало. Сидели на словесном занятии, а взводные и отделённые были угрюмы и всё перешёптывались. И донеслось до новобранцев, что на Невском — кровь.

Потом ночью всех унтеров вызывали куда-то.

А в понедельник утром только стали на занятия во двор выгонять — раздались близкие выстрелы. И стали — назад, в казармы загонять. И — все двери запирать. Шинели снять, разуться, сидеть на нарах, к окнам не подходить, а у окон — дежурные офицеры и старшие унтеры.

И такая молва: «Уже *у нас во дворе*!»

Батюшки, да мысленное ли дело? — немцы в Сам-Петербург прорвались?? Да что ж мы без дела сидим?

А во дворе — крики, вроде по-русски.

И рожок по-русски заиграл.

И тут налетел фельдфебель и заорал зычно, да как на виноватых, будто сами они придумали тут сидеть:

— Одевайсь! Выходи! В казарме никто не оставайсь! Быстро!

Но не успели они обуться-одеться — вбежали в казарму несколько чужих солдат в безкозырках, волынцы значит, — и из винтовок стали грохать тут же в потолок, оглушили до дурной головы:

— Выходи все! Выходи — все дочиста! В казарме чтоб ни один не остался!

И гнали, кто попадался. Даже и по спине прикладом. Нечего делать, сгулчили сапогами по лестницам.

А во дворе солдат — толпища! Наших и не наших.

И стреляют в воздух.

И кто вздрючен до тряски. А больше — стоят, головы опустив: ой, беда неминучая.

76

Да и никто из боевых генералов не приучен был справляться с народными безпорядками, и не мог бы. А досталось — Хабалову. Вчера от государевой телеграммы так глубоко расстроился он, поехал ночевать домой и открутил у телефона звонковые куполки, чтоб его не могли разбудить: уставшее немолодое тело под 60 требовало отдыха от стольких безпокойств.

И — поспал, хотя и не довольно. Всё ж рано утром прикрутил звонки — сразу забился об них молоточек: в 4-ю роту Павловского батальона за ночь вернулось ещё 16 бунтовщиков, посажены на гауптвахту. Ах вот как? Этого так не оставлять. По своей обстоятельности решил Хабалов — поехать и сам этих бунтовщиков допросить: как могло случиться? кто подущал?

Поехал. Допрашивал. И взводных унтеров допрашивал, и отделённых. Да тут некому разобраться, а если взяться… Но нашёл Хабалова и там телефонный вызов: докладывал командир Волынского батальона, что учебная команда отказалась выходить на несение службы, начальник её то ли убит, то ли застрелился перед фронтом.

Ещё новое! Не нашёлся Хабалов как распорядиться, кроме несомненного:

— Постарайтесь, чтоб это не разгорелось дальше. Верните команду в казармы и постарайтесь обезоружить. Пусть сидят дома, никуда не идут.

В автомобиле покатил он в градоначальство.

Там что первое узнал: окончательно заболел, от напряжения ли этих дней, полковник Павленко, припадок грудной жабы, не вышел на службу. Ну вот, только начал привыкать. А кем заменять? вместо себя предлагает командира лейб-гвардии Московского, полковника Михайличенко. Ну, ладно.

О волынцах тем временем уже было известно в градоначальстве, что не только они не сдали захваченного оружия, но вышли на улицу, и к ним присоединилась рота преображенцев и часть Литовского батальона, и ещё фабричные, и всё это движется куда-то.

И кто ж должен был всё это усмирять? По районам были распределены, но не справлялись ни войска, ни полиция, да этот же самый Волынский батальон и должен был наводить там порядок — а кто же теперь? Весь тот район от Литейного проспекта до Суворовского и к Неве, где сплошные казармы, военные учреждения, госпитали и склады, как раз считался войсковой твердыней, не вызывал опасений, туда и рабочие манифестации не ходили.

А общие резервы у Хабалова были совсем невелики, и не в один час он мог их собрать. Спасибо начальнику штаба Тяжельникову, догадался рано утром вызвать две пулемётные команды, и одна из них уже прибыла.

Рассматривали план Петрограда, разбитый на участки, — неухватливый этот кусок, где не знаешь, как действовать: из артиллерии бить нельзя, да и пушек нет, из пулемётов тоже не очень. А надо бы вызвать по батарее из Павловска и Петергофа?

Но — не избежать стрелять. Государь велит — сегодня же подавить.

Да если прут на войска «долой войну!», «долой царя!», то как же и не стрелять?

Тут ворвался к нему с докладом командир броневой роты: что на Путиловском заводе (где и работы теперь нет) находятся в починке его бронеавтомобили и можно было бы один-два быстро

собрать из разных и вывести на улицы, а ему приказывают — хуже разобрать.

Тяжело хмурился Хабалов: опять эти бронеавтомобили, уже надоели. Какая-то модность, не вмещаются они в известную старую тактику, что-то непорядочное. И отвязался ещё от этого капитана тем, что послал его к генералу, в другое здание, в штаб Округа, — к генералу, ведающему бронеавтомобильной частью.

Собирать войска против мятежа — это была одна трудная задача. А вторая — кого же назначить во главе? Печально признаться, но на 160 тысяч петроградского гарнизона не вспоминался ни один боевой и здоровый старший офицер. Все на фронте.

Тут, к счастью, доложили: кто-то разговаривал с Преображенским полком, так там у них, на Миллионной улице, сейчас — боевой полковник Кутепов, герой гвардейских боёв на Стоходе, помощник командира Преображенского полка, приехавший с фронта в отпуск.

И сообразили Хабалов с Тяжельниковым: а ну-ка, послать за ним автомобиль командующего, это 10 минут. А ну-ка, сюда его!

Замечательный выход: среди всех калек находился настоящий храбрый популярный офицер. А отказаться он не может: все отпускные подчиняются командующему Округа.

Приобнадёжились. А то ведь — чёрт-те что, а то ведь — что делать? — вот так по всему Петрограду и пробегут мятежники, хоть и сюда, в градоначальство, — а кто их остановит?

Подсчитывали, назначали, выбирали — отряд для Кутепова. Ожидалась с вокзала одна ораниенбаумская пулемётная рота. Да была рота кексгольмцев. Был один свободный эскадрон драгун из Красного Села. Теперь обдумывали, из каких полков можно взять ещё?

Все-то полки и батальоны были рыхлые, с ненадёжными ротами, без довольного числа винтовок, не умеющие стрелять.

Ах, не готовились к такой неприятности!

77

У преображенцев провозились волынцы чуть не час: кого по шее, кого в спину толкали, а интендантского полковника — патронов не давал, подняли в несколько штыков, так и прокололи. Другие офицеры поисчезали, как не было их. Разбили патронный склад, разбирали патроны, ещё винтовки, 4 пулемёта. Много помог унтер 4-й Преображенской роты Фёдор Круглов, тот мордатый, неистовый. Освободили гауптвахту. «Все на улицу! Бей, кто не с нами!»

И чем больше волынцы успевали — тем больше их вздымало, несло, уже море по колено. Дальше! дальше! ещё! А преображенцы многие с первых минут сникли — что будет теперь? — не выгнать их из казарм никаким кулаком. Рота Круглова шла вся, у него под пястью, а всего преображенцев вытянули мало.

Высыпали и литовцы (одного офицера своего заколов) — но не все, куда там! Часть волынцев, разъярясь, побежала назад, на Виленский, выгонять свои остальные роты, растяп бородатых.

А голова восставших — дальше! Высыпали на Парадную — и дальше! дальше! — против Таврического сада завернули на широкую Кирочную.

Это был уже не строй, а свирепая солдатская толпа, которой терять уже нечего, теперь командовали во много глоток, но не подчинялись едино. Да и не слышно команд: в цейхгаузе литовцев набрали много холостых патронов — и ими теперь лупили в воздух не переставая, на ходу. И эти выстрелы сильно подбодряли. И — заединство: м ы ! Отвечать так всем! Бей, кто не с нами!

По Кирочной бежали к Литейному. Присоединялись разные штатские и много подростков. Скакали мальчишки со всех сторон.

Всё ж Кирпичников поставил один пулемёт в хвосте колонны, против сада, назад. Но никто оттуда не нападал.

А по дороге — казармы гвардейских сапёров.

Из их окон — несколько выстрелов.

Ах, так?? И мы — по зданию! Да мы сейчас из пулемётов!

Во двор к ним! И — поставили пулемёты! И — предупредительную строчку!

Да уже и выбегали сапёры навстречу.

И мы — туда к ним.

Сапёрный поручик руку поднял: «Не стреляйте в своих братьев!» Кто? в кого? — и застрелили его наповал.

И — полковника сапёрного убили.

И тогда сапёры стали сильно присоединяться.

А у них — оркестр! Вот это нам и надоть! Выходи с трубами!

И — пошёл оркестр впереди восставшей толпы! И — запели трубы!

И музыка — ещё больше дала настроения, чем пальба! Прохожие снимали шапки, котелки — из окон махали платками, фартуками — и разноголосо все кричали «ура!».

Шли — сами не знали куда, зачем. Как текло — по Кирочной. Гнездо своих батальонов минули — а дальше что? кто?

Попалось помещение жандармского дивизиона, там было жандармов человек пятьдесят, свободных от наряда. Они как будто тоже присоединились (но потом растеклись по сторонам). У них тоже на стенах висели музыкантские трубы, но не нашлось кому дуть.

Погромили их помещение.

Одни громят, другие дальше идут! Потом — те остановились, эти нагоняют. А кому делать нечего — кричат, кричат слитно. Разберёшь иногда:

— Не хотим чечевицы!

Что-нибудь надо кричать. Это стали чечевицей вместо гречки кормить.

Пока докатили до Знаменской — а оттуда новая музыка! Кто такие?

Да наши ж, волынцы! Наши ж волынцы, те роты, другие! Раскачали-таки их.

И рявкнул Круглов, только рядом слышали:

— Ну, ребята, теперь пошла работа!

78

Был бы Владимир Станкевич приват-доцентом уголовного права и публицистом лево-лево-либерального направления, если б не война. Его всегда порывало в общественное кипенье. После разгона 1-й Думы он собрал митинг — и получил те же три месяца в Крестах, как и все выборжане. А при 3-й Думе безвозмездно служил секретарём трудовой фракции, этих сереньких растерявшихся депутатов. А начиная с 4-й тем более сдружился с Керенским. И вместе с Гиммером перед войной выпускал журнальчик. Ведущая идея Станкевича была: зачем раздоры и недоверие между либералами, радикалами и социалистами? Довольно нам объединиться — и будущее России наше! И он хотел бы сделать из себя соединяющий мост. Как всегда нам кажется, именно наше направление и есть самое верное.

Но грянула война — и Станкевич вдруг не узнал сам себя. Вопреки своему воспитанию, направлению и окружению, он не отшатнулся от этой войны как чужой, царской, империалистической — но увидел её как мировую катастрофу, в которой поставлен вопрос существования России, и мирные народы должны устоять против всеподготовленной Германии. Но победа России *укрепит реакцию*! — возражали ему приятели. Пусть она укрепит того, кто больше поработает для спасения родины, — отвечал он. Зато поражение — будет смертью России. Да не обязательно победа, пусть война закончится вничью — и это надолго отучит всех от повторения. Но даже ради такого исхода — «сочувствовать» войне мало, надо самому воевать.

И покинул он своё приват-доцентство и, высмеиваемый Керенским, пошёл, наряду с юнцами, добровольцем в Павловское училище, и покорно учился ходить в строю, что никак ему не давалось, и терпеливо складывал на ночь обмундирование на табуретке ровно во столько вершков ширины, длины и высоты, как полагалось. А по окончании училища отказался от канцелярско-судебной должности, как его назначали тут же, в Петербурге, хлопотал, перепросился на сапёрную работу (ещё ничего не зная в сапёрном деле), на фронт, — и за два года стал таким деловым и практическим военным инженером, что опыт полевой фортификации в нём уже избывал, он стал читать лекции в офицерских школах, составил книжку о пулемётных закрытиях и доклад об инженерной активности обороны, пошедший в Ставку и разосланный в штабы фронтов. (Его идея была: позиция фронта не должна быть ни минуту неподвижной, но неустанно давить на фронт противника.) Старые сапёрные начальники негодовали на его безпокойный характер, друзья дразнили «приват-доцентом полевой фортификации и геометрии» — и он любил, когда так дразнили, гордясь своим новым инженерным больше прежнего юридического.

Сейчас он обучал — в гвардейском сапёрном батальоне в Петрограде. Как все сапёры — самые занятые люди в армии, так и он был в эти февральские дни настолько занят своей работой, что вовсе пропустил три дня городских волнений, даже не знал о них, и только вечером в воскресенье его прежние партийные друзья по

телефону рассказали ему о событиях и стрельбе на улицах. И тут — Станкевич очнулся от инженерии. И ощутил прежние революционные крылья. И в минувшую ночь сложился у него план: попытаться склонить офицеров сапёрного батальона на сторону Государственной Думы — и так перевести весь батальон.

Но утром в понедельник ещё не успел отправиться в казармы — позвонили ему от Керенского, что Дума распущена, Протопопов объявлен диктатором, а в Волынском батальоне восстание и, перебив офицеров, они двинулись на казармы сапёрного батальона. А надо бы — увлечь их идти к Таврическому, на поддержку Думы!

Станкевич обамуничился и поспешил в батальон. Но когда свернул с Литейного на Кирочную, то вдоль Кирочной ему хорошо стало видно, как против сапёрных казарм уже кипела безпорядочная толпа солдат. А потом стала медленно перекатываться сюда, к Литейному, а над головами их колыхались два тёмных флага.

Опоздал!

И вдруг — его покинула вся уверенность: и офицерская, нажитая за войну, и прежняя лево-демократическая. Вот, прямо видя эту гневную массу, надвигающуюся сюда, он не почувствовал той ступеньки, с которой они послушались бы его — или как солдаты своего офицера, или как народ своего вожака. Всё, на чём прошла его жизнь, вдруг не оказалось никакой ступенькой, ничем, и он был перед стихией — никто, только мишень.

Так он прошёл немного шагов навстречу и остановился.

А тут подбежал со стороны толпы сапёрный унтер, узнал его и запыхавшись крикнул:

— Ваше благородие! Не ходите, убьют! Командир батальона — убит! Поручик Устругов убит! И ещё… у ворот лежат! А кто жив остался — разбежались!

Вот так так!.. А если б и он сегодня там дежурил?..

Вулканное дыхание стихии! Вымело и выжгло, что этих офицеров, вот уже мёртвых, он только что собирался склонять в пользу Государственной Думы, и этих солдат, теперь надвигающихся, вести туда. Шла — толпа, ни к чему не прислушная, никем не судимая, ни за что не ответственная, не знающая никаких своих глашатаев и радетелей, — и Станкевичу, всегда считавшему себя заедино с народом, — вот, нельзя было на них понадеяться.

А надо было быстро куда-нибудь спасаться, вот что.

Тут, в начале Кирочной, помещалась инженерная школа прапорщиков — и он зашёл туда. В нервном ожидании стал звонить Керенскому в Думу — но к его телефону никто не подходил.

А тем временем толпа, с воем и редкой стрельбой, придвинулась — и именно в школу прапорщиков хлынула часть её. Один выстрел дали в коридоре. И кричали, чтоб юнкера сейчас же всё бросали и выходили на улицу!

Юнкера — не хотели идти. Станкевич, бледный, был тут чужой, ни за что не ответственный, мог войти в класс и перестоять за дверью. Но начальник школы, представительный генерал, должен был выйти к солдатской гурьбе. И стал вежливо ей доказывать, что положение школы особенное: если прекратить подготовку офицеров, то некому будет строить укрепления.

Обезумелые солдаты не стали дослушивать, а: кончать занятия! и выходить на улицу!

Генерал, безпомощно пожимая полными плечами, объявил своим тихо:

— Что ж, можете идти, господа.

— Да куда же нам идти, ваше превосходительство?

— Куда хотите, не знаю.

Прихожие солдаты, кто были без винтовок, разобрали винтовки из пирамиды тут — и валили на улицу, и дальше.

Станкевич испытал такое унижение — что прятался, что не вмешался, — теперь поспешил нагнать толпу на улице. Влиться к ним сбоку было не то ощущение, что стоять и встретить поток.

Он увидел в толпе много и сапёров, и возвысил голос — с обращеньем, зазвучавшим самому невыносимо фальшиво:

— Братцы! Давайте пойдём в Государственную Думу! Она — вот тут, близко! Она на стороне народа!

«Пойдём» — как будто он был с ними всё время и вместе с ними громил школу прапорщиков?

То была правильная, его коренная идея, соединять народ с либералами, — но почему так жалко, неестественно прозвучало?

Услышали его не многие, смотрели подозрительно: куда ещё заманивает их офицеришка?

Оглянулись другие, приступили:

— А ну, отдай оружие!

И — что было делать? Что?!

Не так он представлял себе братание с народом на заре свободы, но получалось так.

Отдал шашку. Отдал пистолет.

Тут вылез из толпы страшный, злой солдат, схватил безоружного поручика за грудки, стал трясти и замахиваться, что сейчас убьёт. Он с бранью поминал какого-то другого офицера-обидчика, которого надо бы убить, но убьёт вместо того — этого.

И — убьёт. Станкевич и не выбивался, его охватила смертная апатия. Вот так и кончилась в 27 лет вся его блестящая жизнь.

Но подбился другой сапёр и стал того озверелого оттягивать:

— Не трог! не трог! Это — наш офицер, хороший, мы знаем его!

79

Ещё Кутепов спал — сестра (он остановился у сестёр, на Васильевском острове) сказала через дверь, что его спрашивают по телефону из Преображенского собрания. В первую минуту так не хотелось вставать — попросил сестру и поговорить. Вернулась — объявила: поручик Макшеев просит спешно приехать на Миллионную.

Причины не назвал. Так лучше б сам поговорил. Но что-то слишком серьёзное и, наверно, связанное с городскими волнениями. Поручик Макшеев, батальонный адъютант, был как раз из тех скрученных мозгов, которые хотят ответственного министерства и больше прав Думе, Кутепов испытывал к нему брезгливость после его высказываний за офицерским завтраком в собрании позавчера. Сами офицеры читают какие-то печатные обращения каких-то фракций Думы. Какие ж реформы, когда в полицию камнями бросают?

Но хотя больше половины офицеров новички, ненастоящие преображенцы, — всякий преображенец, приезжая с фронта, конечно прежде всего идёт в собрание — походить между родных стен, поговорить, пообедать.

Вот тебе и отпуск, оделся с военной быстротой. Но как же поехать быстро? — извозчиков нет, и трамваев нет. Сестра пошла уговорить извозчика, живущего в их дворе. Для соседки согласился съездить.

И погнал шибко — не так седоку угодить, как скорее назад и не остановили бы.

Перенеслись Дворцовым мостом — стояло солдатское растянутое ограждение, никому не мешающее. Обошли бурый Зимний и напрямик погнали к Миллионной. Хотя большая часть казарм Преображенского полка была теперь на Кирочной, но офицерское собрание по давней традиции оставалось на Миллионной, при старых казармах. В пасмурном утре площадь вокруг Александровского столпа была пуста.

В собрании Кутепов увидел многих встревоженных офицеров — в том числе и тех, кто должны быть в батальонных казармах на Кирочной. Узнал, что там взбунтовавшиеся волынцы ворвались в казармы нестроевой преображенской роты и заставили её к себе присоединиться. Полковник, заведующий полковой швальней, хотел выгнать их со двора, но был ими заколот.

Кутепова и позвали за поддержкой. Но — где же командир запасного батальона князь Аргутинский-Долгоруков? Вызван к командующему. Но остальные господа офицеры, с Кирочной, — почему здесь? Не подчинялись они Кутепову прямо, но по его положению в полку не могли уклониться от его указания: тотчас отправиться к своим подразделениям.

Столько и успел Кутепов охватить — как пришёл за ним автомобиль из градоначальства, — командующий Округом велел немедленно приехать к нему.

И опять — по пасмурной площади, мимо Александровского столпа, мимо Главного Штаба, пересекли корень Невского, чуть изморозна решётка сквера, вот и градоначальство. Жандармский ротмистр ждал Кутепова на Гороховой у дверей и вёл наверх к генералу Хабалову.

В большой комнате было несколько генералов и полицейских штаб-офицеров (но не Аргутинский между ними) — и, охватывая сразу сумму их лиц, воздух в комнате, ранее чем отдельные лица, увидел Кутепов, что они растеряны, расстроены, безпомощны. А у самогó грузного генерала Хабалова так и откровенно дрожала во время разговора челюсть.

И как всегда при таком соотношении Кутепов почувствовал себя ещё твёрже и ответственней.

Хабалов объявил ему в довольно нелепых словах, что назначает его начальником карательного отряда. Карательным? — никогда Кутепов не командовал, не предполагал. И каким сразу карательным, когда надо просто поставить на места?

А Хабалов уже распоряжался над разложенной картой города:

— Приказываю вам оцепить весь район от Литейного моста до Николаевского вокзала. И всё, что будет в этом районе, — загнать к Неве и там привести в порядок!

Если отвлечься от привычной сетки улиц, их узости между тяжёлыми зданиями и наполненности зданий — да, это был единый широкий полуостров в Неву, три версты на три. Но если вспомнить наполненность города, да ещё уплотнённого войной, —

— Оцепить такой район — мне надо не меньше бригады.

Хабалов раздражился или не хотел дать своих резервов, предназначая их для другого, сказал: даёт, что под руками. От здания градоначальства взять всего одну роту Кексгольмского батальона с одним пулемётом. Затем двигаться по Невскому проспекту и постепенно подбирать расставленные там другие подразделения. А встретится на Невском пулемётная рота — взять её половину, 12 пулемётов. А ещё одна рота Егерского батальона будет двигаться прямо к Литейному проспекту.

Удивился Кутепов, но спорить не стал — что есть, то есть. Только спросил:

— А эта пулемётная рота — будет стрелять?

Хабалов такие сведения имел, что — хорошая часть и всё будет делать.

Что ж, нечего и время терять, Кутепов встал и пошёл. Кексгольмцы на Гороховой сразу ему понравились, подтянутая рота, опытный глаз не ошибается. Хорошо, пошли.

Странное ощущение — идти на боевую операцию по мирному городу, никогда не ходил. Действовать оружием — самое ясное изо всех действий на земле — но в Петербурге? мало русской кровушки полито на фронте? Впрочем, где-то там это всё происходило (отдалённые выстрелы слышны) — но на Невском ничегошеньки, никаких признаков, идут себе люди по своим делам, только меньше обычного, и нет езды по мостовой.

Небо было переклонное: то ли прояснеет, то ли сгустится. Но не разрывало серых облаков нигде.

Сидел бы у себя на передовых позициях, зачем за отпуском погнался? Особенно нелепое состояние, когда выступаешь не в своей роли, не на своём месте, какая-то обида, и можно сделать неверное движение.

А нельзя ошибиться.

Из Гостиного Двора взял роту своих преображенцев, она сидела там как бы в засаде. Из Пассажа — другую роту, преображенцев

же. С каждой здоровался перед строем, у офицеров спрашивал, в каком состоянии рота. Хвалили.

А он и сам знал: нынешний запасной батальон — позор преображенцев, такой, что на фронте устроили ещё один запасной батальон, и все приходящие пополнения переучивали, придавая им воинский вид и дух.

А тут ещё вот: вчера не получили ужина, и сегодня тоже ни куска в рот.

Об этом — Аргутинский мог бы подумать. На передовых доставляют еду и отрезанной части, и под пулемётным обстрелом.

Бедные солдаты! Приказал офицерам: на первой же остановке купить ситного хлеба и колбасы для солдат. (Тоже особенность городских действий.)

Сам Кутепов шёл не по тротуару, а посреди Невского, впереди своего войска, не стыдясь его малочисленности. (Пехоты с ним шло полтысячи, да ещё у Литейного проспекта должны были добавиться.)

С высоты своего роста он уже давно видел, что навстречу им по мостовой тянется какая-то перегруженная часть. Оказалось — это и есть та самая пулемётная рота, встретили её около Елисеевского магазина. (Тут побежали за колбасой и хлебом.) Опять неуклюже! при них не было двуколок для пулемётов, для лент, всё это люди несли на себе и шатались (как на фронте перемещаются только в соединительных ходах и когда в атаку бегут). Радуясь остановке, опустили всё на укатанный снег.

Кутепов поздоровался с пулемётчиками — ответило три-четыре голоса (по нехоти? по усталости?). Отделяя себе полуроту, спросил Кутепов их штабс-капитана, готовы ли они открыть огонь по первому приказанию. Штабс-капитан, смутясь, ответил, что нет у них в кожухах ни воды, ни глицерина. (Очевидно, вылили по тяжести.) Оставалось и им приказать — на первой же остановке добыть воды, купить глицерина в аптеке, изготовиться к бою.

Перевалили Фонтанку, дошли до Литейного. И всё ещё не происходило тут ничего особенного, только с дальней части Литейного слышался глухой шум и постреливали. На углу Литейного даже стоял городовой. Кутепов стал у него спрашивать, не проходила ли рота Егерского полка. Не видел.

Плохо. Даже обещанного малого отряда не составлялось, и люди голодные, и пулемёты не готовы.

Вдруг с неожиданной стороны, чуть ли не с Владимирского, подкатил на извозчичьих санях князь Аргутинский-Долгоруков. Где он всё это время был — загадка, но сейчас соскочил даже прежде места и бежал, заплетаясь в длинной николаевской шинели.

Кутепов пошёл к нему по перекрестку навстречу.

Они были на «ты». Аргутинский, волнуясь, спешил сказать, что бунтовщики громят Окружной суд — и теперь идут к Зимнему дворцу — и поэтому генерал Хабалов приказывает Кутепову немедленно возвращаться, оборонять Зимний дворец и градоначальство.

Но — нисколько не передалось Кутепову сбивчивое волнение полковника Аргутинского, и целый, может быть, переполох в штабе Округа. Офицер, достаточно бывший на фронте, достаточно и привыкает к суматохам начальства и приказы его перетирает зубами с сомнением.

— Что? — спросил он холодно. — Неужели у вас во всём Петрограде только и имеется, что мой так называемый отряд?

(Он сказал это с иронией, никак не могши предположить, что так на самом деле и есть.)

Понять ли, что первое распоряжение Хабалова сбрасывать бунтовщиков в Неву — теперь отменялось?

Да, да! И Аргутинский от себя повторял:

— И я тебя прошу поспешить к Зимнему дворцу!

Но Кутепов стоял несдвигаем, левой рукой придерживая золотой эфес шашки.

— Нет. Идти по Невскому назад — нецелесообразно. И плохо отзовётся на солдатах. Передай Хабалову, что я пройду по Литейному, сверну по Пантелеймоновской, выйду к Марсову полю — и где-нибудь эту же толпу встречу и рассею.

Какая б ни была толпа, неорганизованная конечно, — просто глупость не наступать на неё, а отступать и становиться в оборону.

Аргутинский умчался в санях. А Кутепов, так и не дождавшись роты егерей, поставил в голову отличную роту кексгольмцев, за ней — неретивых пулемётчиков, затем две преображенских роты. Эскадрон драгун ему обещали — тоже не подошёл. Понять невозможно, где же силы целого Военного округа?

И он двинулся по ущелью Литейного, опять впереди колонны.

Он пересекал квартал за кварталом — и не было подозрительных толп, солдат без строя, выстрелов или нападений. Впрочем, всякая толпа видела бы его колонну раньше издали и должна была пятиться.

Он избежал соблазна свернуть по Симеоновскому мосту, так уйти от бунта и сократить свой возврат к Зимнему дворцу.

80

По воскресеньям, как знал Ковынёв, забастовки теряют смысл и на демонстрации люди не ходят. А поэтому он твёрдо решил в этот день тоже никуда не ходить, никого не вызывать по телефону, а сидеть писать. Однако сказался сбой этих дней, отвлечение мыслей, и работа не катилась смазанным колесом, а перекатывалась бревном неошкуренным да через пни. Подтвердилось про зарубленного казаками пристава. Это потрясающе!

Но продержался воскресенье, ничего не узнавал, а в понедельник налегало уже много обязанностей, да с утра и в редакцию думал он съездить, на Баскову. Не съездить теперь, трамваи опять не шли, — пешком. Посещение редакции всегда было делом приятным: особая эта атмосфера схода единомышленников, перебиранье литературных новостей и своих возможностей.

После вчерашнего ярко-солнечного дня понедельник родился зимне-туманный, облачный, хотя, кажется, разгуливался.

Той же дорогой шёл Фёдор Дмитрич — мимо Сената, мимо Исаакия, — ходили патрули, разъезжали конные, напряжение держалось пятый день — но никаких столкновений не было. Впрочем, для столкновений и час был ранний. На Невском никакого праздного народа, а все по своим делам, в спехе, открылись учреждения, открывались магазины. В морозный туман уходили бездействующие трамвайные столбы, вся стрела проспекта — и невидимо чем кончалась.

В одном-двух местах заметил Фёдор Дмитрич малые кучки, что-то осматривавшие, он тоже присоединился — смотрели выщербины от пуль в фонарных столбах, в стенах, — вчера на Невском была стрельба, и теперь мальчишка с корзинкой на голове рассказывал взрослым, кто где вчера прятался. Была стрель-

ба! — но никто точно не брался рассказать, отчего и как она возникала.

Что-то всё-таки *шло*, но удивительно не даваясь глазу, уныривая за повседневным.

Да даже и сейчас. Слева, с Литейной стороны — как лучину ломают. Да, это — дальние выстрелы.

А сзади по Невскому — нарастал ровный густой чёткий звук: это показалась и шла рота солдат. Чётко отшагивали, даже щеголевато, учебный шаг и крепкие сапоги. А впереди статный чернобородый полковник средних лет, с настойчивым выражением.

За ротой на двух лошадках везли вьюки с патронными ящиками. А солдаты несли на себе пулемёты.

Нет, что-то всё-таки *шло*.

Просто — ранний час, а что-то серьёзное готовилось.

Фёдор Дмитрич дальше пошёл по Литейному. Вдали различил густеющую толпу. Загораживала весь проспект, что-то необычное. Сгустилась около Бассейной. Дошёл до неё.

Но разгадки никакой не нашёл, ничего не происходило. Стояла цепь рослых солдат-гвардейцев поперёк Литейного, пропуская, однако, прохожих, — а толпа лупилась на солдат. Все подворотни были заперты (говорят, какой-то кавалерийский офицер проезжал — и велел дворникам запираться).

За эти дни возник новый вид общения: между незнакомыми людьми на улице открытость и расположенность, никого не затрудняло спросить и ответить. И вот уже сообщала бобровая шапка:

— Четыре полка взбунтовались!

В Феде как ухнуло и взорвалось, да не устоять на ногах, такое услышав:

— Где-е-е?

— Да, да, пошли на Баскову, артиллеристов снимать.

Все заглядывали через солдат, что-то понимая. Или эти солдаты, вот поперёк Литейного, и взбунтовались? Офицера не было около них. Но слишком спокойно стояли, не как бунтари.

А на Басковой, как раз подле редакции, артиллеристы, да.

Тут раздалось несколько ружейных выстрелов, гулких по узкому Литейному, а как пули летят — не понять. Толпа шевельнулась, качнулась, кто-то успокаивал:

— Да вверх! Не в людей.

Четыре полка?! И вот они — выстрелы, уж верные, сам свидетель. Так — н а ч а л о с ь ? Долгожданное — желанное — только в мечтах рисовавшееся — о н о ?

Бах! бах! бах!

Восторг поднимал — не бежать в редакцию, а лететь! И страх колотился: сумеют ли?

Но не успел убраться с Литейного, как сзади, от Невского, по гулкому каменному ущелью страшно затрещали десятки выстрелов — страшно, а никто не падал, нет, все падали и скрывались, но из предосторожности. Толпы не стало — а впадины подворотен до запертых везде ворот забились вплотную. Побежал и Федя, куда приткнуться. Он нисколько не испугался, он не успел испугаться, только умом понимал, что глупо и обидно именно теперь быть убитым от невидимо летящего свинцового куска смерти.

Изящный господин в пальто с котиковым шалевым воротником распластался ничком на грязном снегу и спрятал голову за чугунную тумбу. Федя успел подумать, что это смешно, стыдно. Но сам никуда не успевал шмыгнуть и притулиться: парадные — тоже заперты. Все ниши, все неровности в стенах были улеплены.

Рвалось — бах! бах! бах! — не успевал спрятаться, ни добежать до Бассейной. Вдруг различило ухо между выстрелами другой звук, слитный, непрерывный — духовой музыки! — спереди.

Глянул: далеко впереди поднимался сильный дым, что-то подожгли. А где-то от собора выходила на Литейный с оркестром голова воинской колонны — и заворачивала туда дальше по Литейному. И оркестр — не перестал играть смелый, громкий марш! И этот марш, много слышанный, а по названию неизвестный, передался невоенному человеку Ковынёву той же солдатской гордостью, на какую и был рассчитан сочинителем: не падать, не бежать, не прятаться — а шагать вперёд! Федя остановился и смотрел восхищённо вдаль. Кажется, никогда он не слышал музыки прекрасней! Что за гордый, подымающий зов! Звуки серебряные труб и гул барабана.

Кто-то сказал:

— Волынский полк!

Федя пошёл туда, в их сторону. Всё новые и новые серые цепи выходили и разворачивались по проспекту.

А откуда-то по ним — или выше их — дали залп.

И Федя не выдержал, сметил выступ стены, прижался. И выглядывал. И тут же подбежал невысокий сухой генерал, тяжело дыша, и тут же прижался, с ним рядом.

Лопались, лопались выстрелы — а волынцы шли под музыку, не падали ни один.

Музыка удалялась по Литейному, туда, к дыму. И выстрелы иногда.

У соседа-генерала было благородное, тонкое стариковское лицо, седые усы. Федя не удержался и сказал ему:

— Вот, ваше превосходительство… видите…

И сам себя поймал на злорадно-торжествующей нотке: видите, до чего довели… Уловил ли генерал, но Феде тут же стало стыдно за свой тон.

А генерал дрожащими руками вынул папиросу из портсигара — обмял, постучал, не закурил.

И Феде стало жаль его. Он был — из *них*, а что он мог сделать там, среди них? Он знал присягу, долг, получал команды, отдавал команды… Разве он управлял кораблём? У него было меньше свободы, чем у мальчишки-революционера.

Федя пошёл дальше, чем было ему нужно. Музыка уже еле доносилась, та первая колонна ушла вдаль, а за ней со стороны собора выходил уже не строй, а с заминкою — кучки солдат, кажется уже Литовского полка.

Федя сам свернул к Преображенскому собору, с пушечными украшениями его ограды, и видел теперь близко этих солдат: совсем они шли не героически, а — потерянно, неуверенно. Унтер-офицер нервно подгонял их.

Теперь тут открылся источник стрельбы: одни литовцы, покинувшие казармы, стреляли в верхние окна своих же казарм, чтобы те, оставшиеся, выходили тоже. Какой-то молодой человек в модном пальто и студенческой фуражке, невысокий, толстенький, стоял среди солдат на Басковой улице и размахивал шашкой без ножен. Но никуда солдаты не увлекались им, а теснились к стенам и за углы, не попасть под выстрелы.

Один молодой солдат лежал на тротуаре у стены, раненый, — но никто не помогал ему. Подъезды всех домов и тут были заперты.

В конце Басковой появились стрелки — стройно, в ногу, при офицерах, — и безпорядочная толпа литовцев отхлынула от своих казарм на Артиллерийскую улицу, стала прятаться там.

81

Утром вызванный в штаб гвардии вместо заболевшего полковника Павленко командир Московского запасного батальона полковник Михайличенко, уезжая, должен был кого-то оставить вместо себя в батальоне. Но следующий старший после него капитан Якубович лежал с отдавленной ногой. Другие старшие начальствующие офицеры разошлись с караулами, ещё до рассвета. И он поручил батальон начальнику хозяйственной части капитану Яковлеву.

А уехавши в центр города, Михайличенко оказался и отрезан от Московского батальона, сносился по телефону. Из батальона ему доложили, что на Выборгской собираются толпы, а казачьи наряды не только их не разгоняют, но братаются с ними. И Михайличенке осталось лишь подтвердить в батальон задачу: сохранить самих себя и своё расположение, а на остальное не обращать внимания.

Вооружённой оставалась лишь учебная команда, и то частично. Только что и защищать казармы. Они были расположены между Большим Сампсоньевским и Лесным проспектами, воротами туда и туда. Яковлев выставил к тем и другим воротам по одной подготовленной вооружённой команде — поручика Петровского и поручика Вериго.

В последующий час Михайличенко продолжал сообщать по телефону, что в городе восстали гвардейские части, повстанцы уже владеют положением — и теперь всё зависит от Выборгской стороны, куда направились толпы мятежников.

Он ещё успел распорядиться послать последнюю в наличии вооружённую литерную роту — занять Военно-медицинскую Академию, — и на этом телефон прервался.

Капитану Яковлеву ничего не оставалось, как взять этот последний свободный отряд — и маршировать самому с ним к Военно-медицинской Академии.

А вместо себя командовать батальоном он оставил нервнобольного капитана Дуброву.

Больного-то больного, но изрядный он был и ругатель, боялась его вся учебная команда, и даже младшие офицеры: когда утром к строю на плац открывалась дверь — и прежде грозного капитана всегда зловеще выходил его белый шпиц.

82

Как в карточной игре, когда между конами ещё и пьют, и вот уже руки сами неровно кладут деньги на ставку, сбивают их, цепляют, а рукавами опрокидывают стаканы, — так в ошалении, нетрезвости, безоглядности катилось куда-то всё затеянное, где нельзя было уже ни остановиться, ни охорониться, — а если всё остановится, так наверняка петля. Так и пусть катится, хоть с опрокидом!

Кирпичников уже не запоминал и сметить не мог, кто к ним присоединился, кто нет: ни одной цельной роты или команды с ними не было, даже из тех, кто поначалу пошёл, — утекали прочь или зрителями на тротуары. Изо всякой открываемой казармы выгонялось трудно: робкие, дальние, сельские, иногородние — коснели, боялись, идти не хотели, не понимали, зачем им идти, сопротивлялись. Но из каждой же и вырывались — лихие, вольные или здешние питерские, только что переодетые в солдатское, вырывались на свои улицы, как на свободу, — и их-то были винтовки, они и захватывали.

И — всякий строй был давно потерян, хотя где-то ещё держалась музыка, поддающая настроения, шагала строем одна музыка и к ней желающие. Потом и музыка замолкала, пропадала.

Необычное это и было: солдаты, а не под командой, но оравой, ватагой, и каждый куда хочет, и слушает кого хочет, хоть только самого себя. Говорили — где-то болтался, присоединился какой-то прапорщик — да Кирпичников его не видел, да никто б сейчас и слушать не стал его, хоть и генерала. Если Кирпичникова слушала, то самая ближняя кучка, только кто сам того же хотел. Так и бегали — не толпами, а кучками, и кто в кучке что предложил — не запоминалось, а бралось. Только преображенского унтера Круглова с рыжеватой бородой на широкой челюсти Кирпичников успел выделить и запомнить: прям озверел от воли, будто, как в тюрьме, протомился в армии — и только этой сегодняшней воли и ждал. Штыком размахивал, орал и командовал почти не прерываясь. И с ним тоже была своя здоровая кучка.

Так и бегали они, не понимая, куда нужно, — уже не волынцы, не литовцы, не преображенцы, не сапёры, — а сотни перемешанных разных солдат, хуже чем пьяных, и только то соображающих

верно, что если им остановиться — то и конец, казнят. Так нечего терять — только вперёд!

Так и бегали, и мало кто молчал, а все что-нибудь кричали на бегу.

Каждый уличный перекресток делил их, и снова делил, и снова делил, нельзя было направиться всем вместе, а кого куда тянула воля и хотение, — но и на следующем потом перекрестке, но и на следующем кто-то опять притекал, из утерянных или новых. А переулков тут много было, а улицы часто проложены одна за другой: Фурштадтская, Сергиевская, Захарьевская, Шпалерная, и каждая втягивала в себя кую-нибудь струю, и каждая потом приведёт на главный Литейный проспект.

Только вперёд! — и ещё присоединять! — и чем больше нас будет, тем меньше ответа. Только вперёд! — к старому нет возврата!

На Кирочной разгромили школу прапорщиков. Генерал тут был обходительный, его не кололи. А прапорщиков — на улицу!

На тротуарах тоже толпилось изрядно публики, ещё из домов выбегали, и руки поднимали, кричали. А что именно кто кричал — никто не понимал, и даже не слушал. Уши как заложенные, голова гудит, грудь распирает, ноги-руки как не свои — вовсе хмельное чувствие.

Всё забирая, забирая новыми кварталами, кучка Кирпичникова побежала — а! — к тюрьме? На окнах — решётки. Значит — тюрьма, а это — как раз что нам надо: уж *этим-то* всем свободы хоц-ца! Уж *эти-то* все будут за нас!

Мол, Дом Предварительного. Ну, кто схвачен недавно.

Двери, железом кованные, закрыты на добротные засовы — как же их открыть? Прикладами? Как спички наши приклады только расщепим. Ломов? Где искать? У дворников отымать? Можно! (Побежали.) Да дворов на Шпалерной почти нет, всё казённые стены. Как же открыть нам? Как же открыть?

Что в Питере плохо — всё каменное, ничего с угла не подожжёшь.

Матом, воем, криком, стуком! в звонок безперечь звоня, чтоб оглохли! А что? — их там кучка, их там дежурит пяток надзирателей да два револьвера? Им против нас куда страшней, небось поглядывают в окна на нашу мощу. Мы вольны — хоть колотить их цельный день, хоть схлынуть в минуту — а им куда деться, в тюрьме! Это трудно кому выдюжить, если в дверь дубасят.

Звонить! Стучать! Вон, швырнули льда кусок, раскололи им стекло. Криком:

— Хо-го-го-го-го-ой! Ат-крывай, твою мать! Народ пришёл — ат-крывай! Аткрывай, а то всех перебьём!

А кто-то и так догадался, из сапёров:

— Открывай, а то динамитом взорвём!

А что? Винтовки есть у нас, пулемёты есть, отчего б динамиту быть не могло?

В тюрьме — перепуг. Кричит охрана через дверь: а их-то отпустят с миром?

Откроете — отпустим!

И — распахнули кованые двери!

И — ворвались наши туда, стуча прикладами, ещё пуще оря! Бегом — по этажам, по коридорам, всех освобождать! Всех подчистую, кто б ни был! Каждый узник — нам подмога!

Кто — влился в тюрьму, а кто и дальше, кучки делятся.

А между тем и небо становится посветлей. Веселей нашему делу!

Дальше, за перекрестком Литейного, — Орудийный завод и патронный склад — за высоким кирпичным забором и такими же коваными воротами. Одни открыли — чего ж других не открыть?

— Хо-го-го-го-го-о-ой!.. Ат-крывай, а то динамитом взорвём! Ат-крывай, такую твою, такую твою…!

Небось там охрана, полиция. Но и своих же рабочих там полно!

Постучали, побили, поорали — распахнулись и эти двери! И — внутрь! Полицейские — убегают. А навстречу — военный генерал, руки взмахнув — не пустить.

В три, в четыре штыка с разгону — прокололи генерала, вскинули, терять нам нечего!

Неч-ча теря-ать! Семь бед — один ответ!

Кто — на склад патронный: громить, вооружаться, раздавать. Нам теперя оружие надобно, ой, надобно, одна надёжа!

А в других головах вертится — дальше-то куда?

Валить прям на Невский? Нет, силёнок мало, там у них — главная оборона.

А тут — кругловская кучка, набегая по Литейному. На Кругловe шапка на бок ссажена, челюсть ещё раздалась, лицо горит, перекошено — ещё! дальше!!

Тут — и Орлова кучка.

Сомкнулись: да брать Литейный мост! Пробиваться на Выборгскую сторону! Там — своих полно, там только и укрепимся!

И сколько отсюда видно — мост свободен, перед ним — ни войск, ни полиции.

А дальше — горбится, не видно, что за горбом.

А тут, рядом — толпа кипит, рабочие с Орудийного, незабастовщики упрямые, а их вытуривают. На проходной переступают теперь через генерала, всем урок и показ, остальное начальство разбежалось.

Только туда, на Выборгскую, пулемёты нам с собой тащить тяжко.

А тут — грузовик по Сергиевской, за патронами ли пришёл?

И кто-то первый догадался, крикнул:

— Да он нам и нужен!

Грузовик? Верно! Вот он нам пулемёты и повезёт!

Шофёр — возражать не смеет.

А откуда-то набежало мóлоди — и лезут красными лентами грузовик обтянуть, и флажок красный утвердить на кабине.

Вот мы и со знаменем. Ну, ну!

А кому — на воротник красный лоскут прикалывают, а кто и на штык наколет. Значит, у нас — различие новое. Весело! (И — ещё отрывней.)

А Кирпичников своих кликнул — Орлова, Маркова, Вахова, — и пошли, пошли на мост. Набегом.

Уже и на мосту — а на проспекте сзади стреляют в воздух, не уймёшь.

Туда им, шалоумым, передать им: что делают?

— Что делают? Перестаньте стрелять! Мы все из-за вас погинем!

Там, за мостом, если стоит охрана — подумают, это мы по ним бьём. Лупанут и по нам.

Побежали, побежали по мосту, присогнувшись, в любую минуту упасть на торёный снег, если что.

Бежать, бежать! Победили, победили — а здесь, на мосту, остановиться — и всё кончено. Если не двигаться и новой подсобы не подбуждать — всё кончено, петля!

Вдруг — уткнётся кто в мостовую. Думал, пуля? Подымайся, нету!

И — ходом, и — набегом, вот уже и за серединой моста.

И увидели: там, за горбом, солдаты цепью стоят. И пулемёты у них. И ещё — казаки сбоку.

Ну, пропали, тут нас и покосят беззащитно.

И руки вскидывая, Кирпичников, Орлов кричат туда, на заставу:

— Не стреляй! Мы — свои, не стреляй!

Кучка замялась. Нет, теперь уж — бежать. Наше спасенье — только вперёд! (А там подкатит и наш грузовик с пулемётами.)

А казаки — расширились, перестроились в короткую лаву, и наезжают медленно.

Эти — шутя порубят.

Хотя ж — не трогали все дни.

— Братья казаки! Мы — за вас! Не трожьте нас!

Медленно наезжают.

Но шашек не вынимают. И не рысят в атаку.

83

Ещё в утренней темноте по пути из казарм два караула от Московского батальона шли со своими командирами рот долго вместе по Лесному проспекту и по Нижегородской, и капитаны Маркевич и Нелидов имели время поговорить.

По раннему вставанью, по невыспанности, по темноте казалось мерзлее, чем было, а Нелидову и отстать от строя стыдно, и шагать со своей полуотнятой ногой тяжело.

В утренней памяти первый встал вчерашний мятеж в Павловском батальоне. Всё время поворот: отчего ж и не у нас? Легла неуверенность и подозрительность к строю солдат, наполовину совсем неизвестных.

Безрадостно.

Несчастные ранения занесли их от прямых, открытых, честных боёв в эту сумрачную уличную затиснутость.

А — каковы казаки? 1-й Донской полк был сейчас во всём Петрограде единственная строевая часть — с кадровым, обученным и неизраненным составом. А — как они себя вели? В субботу Нелидову досталось производить дознание об избиении насмерть полицмейстера Шалфеева у Литейного моста. Сразу открылось, что избиение произошло безпрепятственно благодаря полному попустительству присутствовавшего и наблюдавшего казачьего наряда. Когда же Нелидов поехал в казачье расположение в Михайловский манеж, то они хмуро уклонялись представить свидетелей или отвечать на вопросы.

На углу Нижегородской и Симбирской расстались: Нелидов завёл свою команду в клинику Турнера, уговорясь с Маркевичем, что выходит на подмогу при стрельбе с моста.

Ещё небольшие команды отделились на Финляндский вокзал и к тюрьме Кресты.

А капитан Маркевич вывел свою заставу к мосту.

Его главная задача и вчера и позавчера была: не выпускать толпу по Литейному мосту с Выборгской в центр. Рано с утра ещё никто не шёл, надобности в оцеплении не было. Когда вполне рассвело и с Выборгской возникло движение, стали подтягиваться рабочие, — он поставил оцепление против Выборгской. Но, после вчерашнего события в Павловском батальоне и большого неспокойствия также в центре, следовало быть готовым охранять мост и против центра. Не было сил охранять мост по ту сторону или растягиваться по мосту — он расположил своих стрелков и пулемёты с этой стороны, чтобы встретить прорыв, если он произойдёт.

Сменными группами отпускал людей греться в ближний подвал.

Тут, на удивленье Маркевича, подъехал казачий наряд в четверть сотни, вчера их не было. Вообще-то наряд должен был подчиняться пехотному начальнику, но не очень Маркевич теперь рассчитывал на казачье послушание. Да и загораживать ли было ими мост, если уже известно, что казаки пропустят толпу между собой и под брюхами лошадей.

С Литейной стороны стала доноситься явная стрельба.

И всё гуще.

И близилась.

А если хлынет сюда? Тогда открыть огонь из обоих пулемётов.

Главная цепь Маркевича стояла, охраняла от выборгской толпы, а толпа тоже слышала стрельбу — и возбужденье её росло, они могли пытаться прорвать.

А что за солдаты были у Маркевича? Почти ни одного настоящего.

На предмостной горбатой площади рядом с невским обширным простором и под безрадостными петербургскими облаками с

подклубом тумана — чувствовал капитан Маркевич себя и свою заставу безпомощно-ничтожными, куда слабей, чем со взводом в нескольких звеньях окопа. Не нашлось никого больше подкрепить их у этого ключевого моста, на этом разгульном просторе.

Через Неву нарастал и слитный гул, как бы многих голосов.

А мост оставался пуст.

Встретить возможное оттуда движение всё же был смысл послать казаков по мосту. Зачем же они, вот им и задача. Хотя бы — увещать предварительно, не открывать же сразу огонь по ещё не разгляженной толпе, издали.

И указал подхорунжему — выдвинуться развёрнутым строем, и если будут бежать сюда — остановить и оттеснить назад.

Подхорунжий вяло отдал команду, казаки медлили и слишком долго занимали положение.

А с той стороны, из-за накатной округлости моста, в морозном пару, показались бегущие сюда — но не чёрная рабочая толпа, а серые солдаты.

Отступающие от толпы?

Что-то кричали и усиленно махали с ясными знаками — не стрелять.

Но различались на них, на штыках — красные тряпки.

— Вперёд, казаки! Оттеснить! — крикнул Маркевич подхорунжему.

Но — не молнией кинулись казаки, как умели они, а перебирали шагом, нехотя, — и даже не успели взойти на мост, а что только успели — загородили пулемётам всю видимость, закрыли поле обстрела.

А по мосту — набегали!

А пулемёты стрелять не могли.

Да будут ли? Нетвёрдые лица.

Да открывать ли огонь без предупреждения?

И рожка не было, предупредить о стрельбе.

Маркевич скомандовал стрелкам на изготовку.

Взяли — но не уверенно. Совсем неуверенно.

А сзади — враждебно загудела сдерживаемая толпа.

А тем временем гурьба по мосту добежала до казаков, сравнялась! Но казаки не только не остановили её — ни шашками, ни нагайками, ни конями, ни слитным движением, — нет, по новой своей манере они раздались по сторонам, обтекая, — и открыли её, набегающую, в сорока шагах от пулемётов.

Вот она?

Поздно?

Маркевич махнул и скомандовал пулемётам стрелять!

Но они не ударили.

А бегущие были уже — в двух десятках шагов!

Набегали, кричали — дикий солдатский разброд — но без попытки стрелять, и не в штыки.

Пулемётчики так и не ударили.

Стрелки опустили ружья.

84

В понедельник с утра и не было назначено общее заседание Государственной Думы. Обсуждать дальше доклад Риттиха с таким же успехом можно было и во вторник. Окунаться в нескончаемо невылазное волостное земство — никому не хотелось, да чувствовалось, что не время. И, как всегда, пропущен в пятницу был мимо ушей призыв Чхеидзе продолжать общую-преобщую дискуссию о правительстве и моменте. И всего-то были назначены с 11 часов заседания некоторых комиссий.

Итак депутаты, ещё не знающие об ударе, нанесенном в эту ночь, собирались не все и по петербургской привычке не рано. И только те поспешили, кто с утра уже прослышал о военном бунте. Некоторым, жившим поблизости, как Милюков или Керенский, ничего не стоило добраться до Таврического пешком. За другими посылали автомобили, вызывая. Так приехали с Петербургской стороны Шингарёв и Шульгин, а Шидловского привезли под флагом Красного Креста, иначе б ему и не прорваться.

В это петербургское туманно-морозное скромное утрецо както и не предвиделось и не хотелось никаких событий. На пороге сваливалась унизительная новость, узнавалась от одного к другому: что думцы уже не существовали в совокупности. Как ни грубили они властям последние две недели, а перед тем все осенние месяцы, — всё-таки не ждали такой решительности от потерянного, запуганного правительства!

Когда распускали 1-ю или 2-ю Думы, то вешались замки на двери, ставилась предохранительная стража, и депутатам негде было собираться и сговариваться, кроме частных квартир. В этот

же раз уже тою смелостью было довольно правительство, что рискнуло послать указ Родзянке, и не помышляло закрывать сам дворец. Да ведь не был это и роспуск Думы, а лишь перерыв на месяц-полтора, до «не позднее апреля».

На местах стояли дежурные думские приставы с бляхами через шею, на местах швейцары — и так же с улыбками и поспешностью, как всегда, бросались раздевать депутатов. В Купольном зале электрический свет держали умеренный, в Екатерининском — никакой, и зал долго сохранялся темноватым через тягучее петербургское просветление, и сумрачно переблескивал паркет, слегка отражая белые колонны.

Депутаты бродили в растерянности. Так уверенно шествовали они к разгрому негодного правительства — и вдруг оступились. Они нуждались в наставлении от своих лидеров. Но их Председатель сидел, никому не видимый, за дубовой громадой своей председательской двери, и никто не знал, что он там решал. И лидеры Блока были обезкуражены и уклонялись от руководства, ускользали в свою комнату заседать, и оттуда выходили только за новостями. А депутаты прохаживались по залам, встречались, расходились, снова стягивались недоуменными и негодующими кучками.

А следующие приходящие подкрепляли слухи: да, восстала какая-то рота! Говорят, убили офицера! Нет, двух офицеров. Восстал целый батальон! Два батальона! И всё — поблизости от Думы, в Литейной части! Говорят, целая толпа восставших солдат повалила к Литейному проспекту. Убивают городовых!

Чем больший размах событий доносился извне, тем больше все думцы ощущали тишину и растерянность своего дворца, такого, бывало, грозного, шумного, неумолимого — до последнего дня.

Кроме единственного только вот этого последнего дня.

Какие, однако, упорные волнения, и всё не кончаются.

Нет, это даже в высшей степени странно, что их и не пытаются подавлять!

Тут что-то искусственное.

Ах, да не инсценировка ли это?

Да что вы, господа, да это же ясно: сперва нарочно спрятали хлеб, чтобы вызвать крупный голодный бунт, а потом этим бунтом оправдаться, почему они вынуждены были заключить сепаратный мир! И вот сейчас они нам его и навяжут. И для того они нас распускают, чтобы развязать себе руки: Дума — сдерживающая, патриотическая сила. И не успеем мы снова собраться, как уже будет подписан сепаратный мир!

В темновато-встревоженных залах и переходах Думы становилось жутко. За спиной всего Прогрессивного блока, за спиной либеральной Думы тёмные силы крались на чёрное предательство великого дела Тройственного Согласия и собственной родины. А думцы ничем не могли помешать, они оказывались, вот, совсем не готовы, совсем безсильны, только и могли стоять кучками да обсуждать, как обыватели.

И даже самые левые, Чхеидзе, Скобелев, были в настроении, что всё пропало и спасти может только чудо.

«Член Государственной Думы» — очень звонкое и почётное звание, у себя в губернии да даже и в столичной прессе. Но в своём отведенном дворце и в массе пятисот человек член Государственной Думы — песчинка: мало значит его отдельный вид и голос, а соединиться с другими он не может без думских лидеров. А лидеров — в эти роковые, смутные, безсознательные минуты вот и не было. И зналось, за какими они дверьми, — но не смели их потревожить, члены Думы очень неравны по значению.

А члены бюро Блока в 11-й комнате сидели в разброде и непомыслии. Да ведь всего вчера после полудня они заседали в этом же составе, в этих же креслах, над этим же зеленобархатным столом, и тоже им виделась мучительно безсмысленной обстановка, — но какой, оказывается, то был мирный, неценимый день, вчера! — а сегодня… Да ведь это же государственный переворот? И с каким пренебрежением: государев указ, когда хорошо известно, что Государь в Ставке и со вчера ничего подписать не мог. Открытое издевательство!

И чем ответить?

И вдвойне угнетало несчастное совпадение роспуска Думы с непрекращёнными волнениями в Петрограде. Именно сейчас, когда так требовался спускной думский клапан, — его и закупорили. Ах, не было бы хуже!

Но уже и раньше, теоретически рассуждая о возможном роспуске Думы, лидеры Блока условились не предпринимать никаких демонстраций: потому что на самом деле нет никакой реальной силы оказать сопротивление, вся их сила — говорение с трибуны, пока она есть.

Теперь же, когда по улицам бегали взбунтовавшиеся солдаты и убивали городовых, — теперь примирительное решение должно было соблюдаться сугубо. Дума очень взрывчатые слова бросала эти месяцы и недели, — но именно же для того, чтобы не взорвалось на улицах. А сейчас, когда уже начало рваться, — от Думы ни искорка не смела пролететь дополнительная.

Так вот печально, безвыходно, безкрыло: приходилось перетерпеть.

Сидели понуро, бездеятельно, и язвительный Шульгин вдруг высказал:

— А по-моему, господа, наш с вами Блок закончил существование.

Тут черноусый, угольноглазый, неуравновешенный Владимир Львов, о котором никогда никто и сам он не знал за две минуты, что́ брякнет — за крайне правых или за крайне левых, выдвинул зловещим голосом:

— А давайте — не расходиться! Заседать, как Конвент!

Но на него зашикали, посмотрели, как на известного сумасшедшего. И особенно презрительно — Милюков.

Милюков сегодня остро столкнулся с событиями ещё утром, у себя дома. Он жил на дальнем краю Бассейной, и надо ж было, чтобы так долго ожидаемое народное движение родилось не где-нибудь в стране — но наискось от его окон, в казармах Волынского. С большой осмотрительностью, боковыми улицами, чтоб ни с кем не столкнуться, прокрался он в Думу. А её тут — распустили! Милюкову, с его политическим опытом, явнее всех была беспомощность положения Блока и непроверенность ситуации. Эту ситуацию надо было логически исследовать как в продольном направлении, так и в поперечном, и найти новые опоры. Во всякой новой обстановке всегда в Милюкове прежде всего перевешивала осторожность. Труднее всего ориентироваться в настоящем времени.

Лидеры фракций всё не имели силы духа выйти к своим депутатам.

И во всём дворце только, может быть, единственный Керенский не впал в душевную потерянность в эти часы, — а потому что им овладело мужество отчаяния. После его последних безумно смелых речей в Думе — против него, он предполагал, тайно готовилось следственное дело. Но — начались уличные волнения!

Но — эти волнения могли его вызволить ото всего! Хотя, по революционным сведениям, никто ничего серьёзного на эти дни не замышлял, — а вдруг?!

И о роспуске Думы и о восстании запасных он узнал из телефонных звонков ещё у себя на квартире утром, — и ещё с квартиры звонил кому только мог: чтобы повлиять, чтоб войска бунтовали и дальше — и чтоб они шли к Государственной Думе!

А теперь по Таврическому дворцу он метался, с осиною талией, на пружинистых ногах, в приливе отчаянных сил. Быть может, великий момент? Из хлебных погромов да военный мятеж — это может стать грозным событием! Но эти восставшие солдаты без офицеров, без цели и плана, нуждались в вожде, нуждались в указующей руке и пламенной речи! Такая речь — таких десять, двадцать, сто речей уже кипели в неистощимой, хотя и узкой груди Керенского. Его рука уже сама вытягивалась в повелительный жест. Он содрогновенно чувствовал, что может стать вождём этих восставших солдат!

Но — не мог сам сделать первый шаг, не мог искать этих бунтующих солдат по улицам: там он не имел бы пьедестала, терял бы положение, стал бы ещё одним мятущимся обывателем, никто б его не слышал в шуме и не заметил в толчее.

Эти неразумные солдаты должны были сами догадаться — прийти сюда, к ступеням Думы. Но они никак не могли догадаться сами (запасные, наверно, не так хорошо и знают Думу?) — и значит, кто-то другой должен был направить их сюда, крикнуть среди толпы: «К Думе! К Думе!» Ведь для толпы бывает достаточно возгласа одного.

И Керенский, прильнувши к телефону, звонил-звонил-звонил своим эсеровским и лево-адвокатским друзьям: просил идти туда, в толпу, или посылать кого-нибудь, кого попало, хоть из прислуги, и кричать: «К Думе! К Думе!»

Там — бушевали никем не возглавленные солдаты, здесь — слонялись тени нерешительных депутатов. Презирая костенение Прогрессивного блока, никогда ни в чём не дерзнувшего шагнуть, — Керенский прожигающей искрой метался от телефона к окну, и к другому, и к третьему, откуда лучше видно, и к двери, и посылал кого-нибудь расторопного посмотреть в соседних кварталах: да идут ли уже? не идут ли? не приближаются?..

А иначе — будет страшный конец!

85

А уж сегодня был ли университет, не был, но после того, как Гика вчера затесался в стрельбу на Невском, — ему выхода из дому не было. Однако тут старший брат его Игорь, новоиспеченный прапорщик гвардейской артиллерии, на несколько дней приехавший в отпуск из Павловска, собрался в парикмахерскую — и под предлогом сходить только с ним Гика тоже выскочил на улицу.

На улице оказалось совсем тихо, малолюдно, и идти им нужно было в сторону тихую — к Таврическому саду. Но приближаясь к Воскресенскому проспекту, где поручил отец опять посмотреть газет, — братья услышали справа спереди, пожалуй, не с Фурштадтской, а подальше, с Кирочной, какой-то протяжный небывалый звук — большой силы и ближе к человеческому голосу, но никакой отдельный голос не мог бы звучать так сильно и долго, а — сто голосов? тысяча? — протяжный крик или вопль, то усиляясь, то слабея, ни на миг не прерываясь. Так могла кричать только толпа, и очень возбуждённая. Звук приближался — голоса были мужские, но кричали истошно-высоко.

И долго. И всё не прерывалось.

А иногда ударяли и ружейные выстрелы.

Сердце Гики радостно взлетало: ему так хотелось событий! Ему так хотелось, чтобы произошло что-то резкое, яркое, пусть даже в ущерб для многих и для него самого, но что-нибудь особенное, ещё никем не пережитое, которое всех потрясёт!

Так братья замялись на углу Воскресенского, опять не найдя газет в киоске и прислушиваясь недоуменно. В это время от Фурштадтской подошёл молодой пехотный унтер, очень добрый в лице. Он ловко отшаркнул, стал во фронт, отдал Игорю честь и сказал:

— Ваше благородие, не ходите в ту сторону. Там, на Кирочной, — бунт, волынцы, преображенцы. Кого видят офицеров — убивают.

Игорь вытянулся, напрягся, как будто ему уже тут угрожали, дула наводили. Как будто ему сейчас нужно было вытягивать шашку.

А унтер всё так же стоял, ослабив из «смирно».

Прапорщик Кривошеин поблагодарил его, тихо.

И ещё постоял, с гордо закинутой головой, со лбом тёмным, согнанным, искажаясь от унижения, слушая этот растущий страшный вопль, пробитый выстрелами.

А Гика — дальше хотел, вперёд! Гике там-то и было интересно! (И его ж не будут убивать.) Посмотреть такое, чего во всю жизнь не увидишь, невероятное!

Но брат остановил его пронзительным, переменившимся взглядом, которого до военной службы не было в нём. И сказал стиснуто:

— Возвращаемся.

Гика оспаривал свою вольность, но очень развито было в их семье старшинство. А отец-то — и тем более его не выпустил.

А от разговоров того же и отца, и в университете от профессоров, и от сверстников это как-то едино, несомненно сложилось: мы находимся в том положении, из которого нужен в ы х о д.

Вернулись домой — пошли к отцу в кабинет, рассказали.

Пролысевший отец со свислыми, разрозненными усами, припухлыми, воспалёнными глазами, видом не холёным, на выход, но домашним, и пиджак домашний, — только головой раскачался, ничего сыновьям не сказал.

Для наблюдения оставались окна парадной стороны — большой гостиной, столовой, через тюлевые занавеси. Гика с младшим братом стали дежурить у окна, подходили и взрослые. Квартира их была на 4-м этаже, а Сергиевская — узкая, но всё же мостовую видно.

Не прошло и получаса, как через форточку различился приближающийся тот же гул многих голосов. Пожилая горничная оттаскивала младших:

— Всеволод Алексаныч! Кирилл Алексаныч! Уйдите, не надо! Не попусти Бог — увидят в окне, выстрелят — убьют. Бунтовщики, от них всего можно ожидать!

А вот и повалила, в сторону Литейного, безпорядочная толпа. Были и штатские, но больше солдаты, однако не только без офицеров, без строя, как странно было видеть солдат, но особенно странно, что все ружья в разном положении: кто на плечо, кто через плечо, кто наперевес, кто под мышкой, торчали штыки вверх, в бока и вниз, — два часа у них было свободы, и так уже разошлись приёмы. Солдаты-то были свеженабранные, только переодетые в шинели.

Игорь стоял, кусая губы. От этого вида он страдал уже по-своему, по-офицерски.

В толпе громко, оживлённо, безпорядочно разговаривали: то ли — что уже пробежали, то ли — что́ им сейчас делать, друг друга окликали и советовали, — вдруг спереди кто-то крикнул сильно:

— Наза-ад! Наза-ад! —

и вся солдатская толпа кинулась назад, едва не подкалывая друг друга штыками.

И — смело́ их к Воскресенскому, больше они не появлялись.

Эту сцену отец тоже простоял у окна в гостиной. И сказал размыслительно:

— Революцию — я вижу. Но не вижу контрреволюции.

Действительно: в столице, в налаженном строгом городе два часа буянили солдатские толпы — и никто не появлялся остановить, укротить их.

На улице затем пока ничего не случалось. Но горничная ввела в коридор гостя к отцу — маленького роста, в шубе с богатым воротником и набитым до круглости портфелем. Сыновья узнали и поздоровались: это был нынешний министр земледелия Риттих, многие годы близкий сотрудник отца.

Горничная помогала ему снять шубу. Потом он снимал галоши, протирал пенсне, причёсывался перед коридорным зеркалом при лампочке: его тёмные волосы, аккуратнейше подстриженные, лежали густым крылом. За это время раскрылась дверь кабинета и вышел отец, протягивая руки одновременно и дружески и укоризненно:

— Алекса-ан Алексаныч! Где же ваше правительство? Что оно смотрит?

Риттих отвечал скромным и даже юным голосом:

— Правительство хочет собраться на Моховой. Но я не уверен, что это принесёт пользу.

— Почему на Моховой? И что же? — почти с негодованием спрашивал Кривошеин.

— Хотел бы я сам это знать! — всё так же юно-виновато ответил Риттих. — Последний звонок ко мне сейчас был — от 7-го класса Пажеского корпуса. Они хотели кинуться в Царское Село на защиту царя и спрашивали, какой полк остался верным, чтобы к нему примкнуть. Я объяснил им, что царя в Царском нет и группой им не пробраться. А какой полк верен? — знает ли это военный министр? Я, Александр Васильич, нашёл неблагоразумным оставаться дома и самые важные бумаги ещё с субботы забрал из министерства. Не разрешите вы мне перебыть у вас несколько часов и пока позвонить, узнать?

— Я очень вам рад, Алексан Саныч! Как никому бы.

Отец повёл гостя к себе.

86

Капитану Нелидову донесли его унтеры, что по ту сторону Литейного моста непрерывно стреляют.

Он вышел во двор клиники, послушал — да, так.

Ещё слушали. Стрельба не приближалась, но и никак не утихала. В Литейной части что-то большое творилось.

Однако тут близко, у капитана Маркевича, было тихо, и он не присылал связных.

Однако же и упорная стрельба по ту сторону моста была грозным признаком.

И Нелидов решил выйти со своею командой на подкрепленье Маркевичу.

А команда его была — человек 60 одних унтеров и ефрейторов из 2-й роты, которую Нелидов принял временно, недавно, от капитана Степанова, по болезни уехавшего на Кавказ. В запасном батальоне во время долгой своей непоправки обязанность капитана Нелидова была — ежедневные занятия с недоученными прапорщиками, — пулемётами, ручными гранатами, тактикой, да даже и уставами, историей лейб-гвардии Московского полка и правилами офицерского такта. Командовать ротой, да в полторы тысячи человек, ему было непосильно в нынешнем состоянии, а вот досталось. Он почти никого и узнать не успел, даже и этих унтеров. Как раз, в очередь в полковой церкви, унтеры 2-й роты на этой неделе поста говели и были освобождены от нарядов. Но — некого было брать в караулы, умеющих хоть стрелять-то, — и пришлось снять этих унтеров с говения в караул.

Верней, и они, может быть, стрелки были неважные — все из запаса, не кадровые, но уж лучше своих необученных солдат. Только что лучше, а воины — никакие: они служили старательно, но чтоб удержаться на обучении новобранцев и не попасть на фронт самим.

Построил их Нелидов на Нижегородской улице и повёл, потесняя толпу, сам с палочкой впереди.

Но не успела команда дойти до конца Нижегородской, выйти на площадь к мосту, как Нелидов увидел: оттуда, чуть сверху, хлынули сюда нестройные солдаты разных полков с криками «ура» и тряся винтовками в воздухе, кто и над головой.

Этот бег был безумный — не атака, и не отступленье, Нелидов не успел его сметить и понять — как увидел ещё сзади тех накатывающий грузовой автомобиль с красным флажком. И этот красный флажок не объяснил ему, а только спутал. На Нижегородской он и каждый день видывал грузовики с красным флажком: они из городка огнестрельных припасов везли патроны и снаряды, и в знак того был флажок. И Нелидов на полминуты принял, что это такой же служебный взрывоопасный автомобиль, — и не подал команды к стрельбе по нему — да ведь ничьей же стрельбы ниоткуда и не было, и Маркевич же не стрелял. Оставалось только понять: что за солдаты? зачем бегут?

Всего и потерял полминуты или минуту. А как понял, что красный флаг — от революции, оттуда и пулемёты выставлены, там и ещё тряпки красные, — призвал свою команду быстро вперёд, захватить автомобиль, не дать ему открыть огонь!

Но в этот самый миг он уже оказался окружён толпой солдат, отделён от своих унтеров, едва не сбит с ног, палку его вырвали, в грудь уткнули винтовкой без штыка, к голове приставили револьвер!

Всё! Как безславно, безсмысленно, как глупо. Сразу — и конец. Привычной военной хваткой Нелидов сохранял волю к действию, — да сковал больной позвоночник, немая нога, весь схвачен, и два дула приставлены.

И ещё кто-то занёс над капитаном и шашку — в тесноте, где и ударить нельзя.

Но подбежавший сапёр перехватил руку с шашкой:

— Подождите, товарищи, может он с нами!

Почему — «с нами»? Оттого ли, что Нелидов не успел подать команды на стрельбу?

Но законы нечаянных спасений непредвидимы, и сколько их бывает. Ушла шашка — и оба дула оторвались. И уже капитана не убивали. Да даже и не спрашивали, с кем он. Все спешили дальше.

Со всех сторон он был захлынут смешанной солдатской и рабочей толпой, не видно вперёд к Маркевичу. Грузовик проехал.

Оглянулся Нелидов — без палки он стронуться не мог и достать-поднять не мог, — да где ж его команда?

Один только унтер решительный был рядом, вот уже и палку подавал. А остальные?

Обидно жгуче: иметь больше взвода — и не оказать сопротивления. Да всю толпу можно было разогнать с кучкою солдат мирного времени.

А вот она, команда, — дала себя оттеснить, а теперь, увидя, что с их капитаном не расправляются, — подступали с виноватым видом.

С таким виноватым видом, что — не хотели они к восстанию примыкать, но не хотели же и против него действовать!

Теперь всё же числом своим, в 120 плечей, толпу отодвинули. Да та и своим была занята: кричали-ликовали, кричали:

— Товарищи! Кресты освобождать!

— Товарищи! На Финляндский вокзал!

И туда отделялись струи.

Но всё было запружено, забито — оставалось с командой отступать в клинику. В этом им не мешали.

Как вошли все во двор — так припёрли ворота покрепче.

Унтеры были сильно облегчены тем, как дело кончилось, и повеселели.

А Нелидов с тоской думал: бабы, бабы! Где ж настоящие солдаты!

Пошёл к телефону, доложил в батальон, что произошло, мост прорван, свои предположения о Маркевиче, и что бунтовщики пошли на Кресты и Финляндский. А главные силы скорее всего будут атаковать московские казармы, грузовик с пулемётами покатил в ту сторону.

Построил команду во дворе, пытался подбодрить её, привести в порядок — но нет: выводить на улицу для действий — невозможно. Уж лучше б они оставались говеть…

87

Казармы Московского полка были в густом окружении заводов и рабочих кварталов. Будь они наполнены вооружёнными умелыми солдатами — они были бы замкóм всяких тут волнений. Но

в нынешнем составе они оказались — осаждённая корзина с цыплятами.

Да ещё — 3-я рота, где столькие с этой же Выборгской стороны. Да ещё — когда случалось строю московцев проходить по узкой улице в амуниции — женщины из лавочных хвостов с двух сторон кричали: «Да куда ж вас гонют, родимые? Да когда ж этому конец будет?» — и даже хватали прапорщика за рукав шинели.

Это окружение и это настроение рабочей стороны очень тут чувствовали солдаты.

К десяти часам утра караулы, разосланные в разные места Выборгской стороны, стали докладывать по телефону о больших толпах повсюду. Да и из московских казарм можно было видеть, как валят по Сампсоньевскому.

Позвонил капитан Нелидов: что Литейный мост прорван мятежниками.

Капитан Дуброва распорядился: команду поручика Вериго послать по Лесному проспекту в сторону Финляндского вокзала, а команде Петровского стоять за Сампсоньевскими воротами. Вериго был боевой офицер, а поручик Петровский только что из запаса, безо всякого боевого опыта и нерасторопный.

И именно к его команде по Сампсоньевскому подъехал грузовой автомобиль с двумя пулемётами, красным флагом, с десятком солдат и рабочих под водительством распущенного зверомордого преображенского унтера.

Автомобиль с ходу подскочил к самым воротам батальона — и некоторые спрыгнули, раскрывать ворота.

Петровский скомандовал своим на изготовку, одни взяли — другие стали разбегаться за снеговые кучи и ложиться.

Петровский скомандовал стрелять — оставшиеся дали два залпа, видимо в воздух, никого не ранив.

Грузовой автомобиль стал задним ходом отъезжать к Сампсоньевской церкви. Туда же отбежали от ворот, и отхлынула рабочая толпа, валившая за автомобилем.

Но эти залпы наделали другой беды: ведь ясно было, кто слышал их, что стреляли здесь рядом, — и значит, Московский батальон, свои, — и значит, в толпу?

Стали волноваться запертые по казармам запасные, особенно шаткая 3-я рота.

Успокоить её капитан Дуброва придумал послать полкового священника отца Захария, случайно оказавшегося в отпуску в

Петрограде, и в казармах в этот день, — а что, правда, этому священнику лучше и делать, для чего их и держат? Поручил, чтоб любой ценой рота была успокоена.

Через четверть часа священник вернулся покраснелый, растерянный, сильно взволнованный, даже трясясь. Он с трудом складывал, что в жизни таких каторжников не встречал, как 3-я рота, они настолько озверели, что никаким словом, ни Божьим, ни человеческим, их умерить нельзя, — и они несомненно скоро вырвутся из казармы бушевать.

Нервно-контуженный капитан Дуброва стал чувствовать, что и ему передаётся эта тряска священника, какой-то немотой охватывая руки, ноги, даже язык.

Он послал священника снова в ту же казарму, но священник отрёкся, что не пойдёт ни за что.

Но и сам Дуброва считал для себя неподходящим идти успокаивать лично, он мог разнервничаться и ударить, только будет хуже.

Осталось послать в 3-ю роту, как уже посланы были в другие, молодых прапорщиков, без дела болтающихся. Говорить: не известно, кто стрелял, это снаружи, только не наши (никак нельзя открывать, что наши, может всё взорваться).

Тут дежурный по батальону капитан Всеволод Некрасов, на одной деревянной ноге, доложил Дуброве раз за разом.

Сперва: что отдан мятежникам Финляндский вокзал.

Затем: что звонил поручик Петченко из Крестов, мятежники наседают открыть тюрьму, солдаты отказываются в них стрелять, и он вынужден подчиниться, сдать тюрьму.

Становилось жутко: Выборгская сторона, и без того переполненная враждебными рабочими толпами, вот уже и всеми ключевыми местами переходила в руки прорвавшихся мятежников. Московские казармы становились безпомощно окружёнными.

Тут послышалась стрельба и с Лесного проспекта — и длительная, и с возобновлением. Это отстреливалась команда поручика Вериго.

Дуброва решил подкрепить его ещё последней и совсем необученной командой — прапорщика Шабунина. И к ней добавил вослед четырёх свободных молодых прапорщиков.

Они вышли за ворота на Лесной.

Стрельба продолжалась, и донесли, что поручик Вериго ранен в живот.

88

Дальше перед отрядом Кутепова по правой стороне Литейного проспекта тянулись казармы, на Литейный только окнами, а дверьми и двором на параллельную Баскову улицу. За концом казарм заворачивал маленький Артиллерийский переулок — и на углу его Кутепов увидел группу офицеров Литовского батальона.

Над головами, на верхних этажах казарм, били стёкла (осколки летели), выбивали рамы — между тем офицеры эти ни во что не вмешивались. Поравнявшись с ними, Кутепов остановил свой передовой отряд. Из группы к нему подошёл полковник — и оказался он командиром всего Литовского запасного батальона, то есть из дюжины старших командиров в Петрограде сейчас. Он объяснил, что к их казармам пришла по Басковой улице смешанная толпа солдат — его же Литовского батальона, из других казарм, и Волынского, а во главе их какие-то штатские, они силой ворвались во двор и требовали ото всех солдат — к ним присоединяться.

— Но это же — ваши солдаты, полковник! — придавленно вскрикнул Кутепов, наклонясь к нему, слышно им двоим. — Какие ж вы меры принимаете?

Полковнику было стыдно, он не скрывал. Но:

— Я ничего не могу поделать. А что можно? Толпа. Солдаты — переходят, опоры нет. А нас — горсточка.

Всё так, можно представить — но простить нельзя: офицер не может бездействовать и не смеет бежать.

А впереди подымался черно-сизый столб дыма, примерно у Окружного суда, и, по слабой тяге, распластывался над Литейным. Там, впереди, слышна была пулемётная стрельба, и оттуда сюда по Литейному залетали отдельные пули.

Какой там Зимний дворец, разве можно было уйти отсюда: вот здесь-то и происходила вся суть сегодняшнего дня — отдать солдат или не отдать? Кутепов быстро искал решения, оно не замедлило. (Одного своего подпоручика послал искать ближайший телефон и звонить в градоначальство: какова обстановка, и что отряд остаётся тут.)

Роту кексгольмцев он разомкнул на три шага во взводной колонне и ещё подвинул её вперёд, заслоняясь ею по Литейному спереди, и приказал немедленно открывать огонь при нападении оттуда. Ещё вперёд послал разведку — в район Преображенского собора, Дома Армии и Флота и Кирочной улицы. Одну роту преображенцев с четырьмя пулемётами повернул направо чуть позади себя, закрыв Бассейную улицу и задний конец Басковой. Одним взводом с одним пулемётом запер выход с Артиллерийского переулка. (И вдруг обнаружил, что пулемёты не заряжены. Кутепов уже отучился сегодня вскипать или вскрикивать, всё походило на чёрт знает что, — но гневно посмотрел на командира пулемётной полуроты. Этот идиот или недотёпа повторял, что в кожухах так и нет воды и глицерина, что они не достали и стрелять не могут. Значит, все 12 пулемётов были только для показа. Ну что ж, спасибо и на том.)

А по левой стороне Литейного — шли сплошные здания, ничем враждебным себя не проявляющие. Так Кутепов отгородился и создал маленькую висящую зону — но свою.

А всё это время много солдат-литовцев через выбитые окна первого этажа выскакивали на Литейный — чаще с винтовками и даже в караульной амуниции, — и собирались тут на тротуаре невраждебными кучками. Можно было понять, что сюда выскакивают не те, кто согласны идти с мятежниками, те валят на Баскову. Однако офицеры Литовского батальона по-прежнему стояли группкой вокруг своего полковника и никаких распоряжений этим дружественным солдатам не отдавали. Кутепов послал преображенского унтера привести к себе с десяток таких солдат. Они чётко, подтянуто явились с ним. Самый бойкий из них заявил, что в казармах такая суматоха, они не знают, что делать. Они не хотят нарушать дисциплину и хотели бы остаться на местах, но им не дают, выгоняют.

Да вот эти солдаты и были следующим резервом, можно было учетвериться и удесятериться, только не с такими офицерами! Кутепов распорядился, чтобы дворники противоположной стороны проспекта отперли два двора, — и велел командиру Литовского собирать этих всех солдат во дворы, приводить их в порядок и формировать.

Теперь предстояло потрудней: забирать солдат от мятежников. В это время один кексгольмский унтер доложил Кутепову, что и там, на Басковой, толпа выгнанных солдат стоит совершенно мирно и спокойно — и один унтер Волынского батальона просит кого-нибудь из господ офицеров прийти туда. Затем и посланный преображенский унтер вернулся с тем же: солдаты очень хотят построиться и вернуться в казармы, к обычной жизни, но боятся, что один раз выбежали и теперь их будут судить и расстреливать, —

и просит волынский унтер кого-либо из офицеров прийти, успокоить, построить.

Попали мужики в чужом пиру!

Кутепов позвал литовского полковника и сказал ему:

— Ведь там больше всего — ваших солдат. Я удивляюсь, неужели вы боитесь своих солдат? Это ваш долг — пойти и выручить их.

Но полковник меланхолически качал головой. Он был напуган, и страх его не проходил.

Тот волынский унтер боялся прийти сюда, чтоб его тут не арестовали. Офицеры боялись пойти туда, чтоб их там не растерзали. Всё качалось, как на весах.

— Хорошо, пойду я, — сказал Кутепов.

И оставив всех при своих командах, ещё раз оглянув кусок Литейного, где уже не мелькало ни единого штатского, ещё глянув вперёд на чёрный дымовой столб у Окружного суда, — минуты не ждали, — прогулочным военным шагом пошёл по Артиллерийскому переулку.

Уже тут толпилось немало солдат, Кутепов миновал их в одиночку, без вестового, без адъютанта, — а за углом Басковой было их множество, всё запружено. И тут сразу на углу к высокому полковнику подошёл отчётливый унтер-офицер Волынского. Неотнимчиво держа под козырёк, он доложил, что солдаты все хотят вернуться по своим казармам, но боятся, что их теперь всё равно уже будут расстреливать.

Огромные тысячные весы зависли — и маленькой гирьки хватало туда или сюда.

Но Кутепов знал за собой обладание разговаривать с целыми полками. И входя в толпу солдат, а головой возвышаясь над многими, он громко объявил:

— Всякий, кто сейчас построится и кого я приведу, — расстрелян не будет!

Передние десятки услышали, вспыхнули радостью их унылые лица, они кинулись — к этому уверенному полковнику! Но не мелькнуло сомнения, что кинулись враждебно, — нет, они заглядывали в его чёрные глаза, вполноту крупно открытые, яркие, они схватили его, как не смели бы хватать офицера, своего ли, чужого, — бережно, многими руками, — и подняли, подняли на вытянутых, и вперебой:

— Ваше высокоблагородие!.. Ваше выскродь!.. Повторите вашу милость!.. Им всем — повторите!.. Ещё разок!..

С поднятых солдатских рук Кутепов теперь над головами хорошо видел всю короткую Баскову улицу, упёртую в Бассейную — и всю забитую стоящими солдатами Литовского и Волынского батальонов, сколько-то солдат в артиллерийской форме, а ещё отличил несколько штатских. И сразу же истолковал их себе, конечно. И из своей взнесенности всею силой командного голоса объявил:

— Солдаты! Те лица, которые толкают вас сейчас на преступление перед царём и родиной, — делают это на пользу нашим врагам-немцам, с которыми мы воюем. Не будьте мерзавцами и предателями, а останьтесь честными русскими солдатами!

И с разных сторон — голоса:

— Мы боимся — нас теперь расстреляют!.. За то, что мы вышли…

— Нет! — громогласно ответил Кутепов. — Кого я сейчас приведу — не расстреляют!

А два-три голоса — из тех штатских? — подзудили тотчас:

— Товарищи! Он врёт! Вас расстреляют! Вам отступленья нет!

А Кутепов — своё, оглядывая налево и направо:

— Приказываю вам построиться! Я — полковник лейб-гвардии Преображенского полка Кутепов, только что приехал с фронта. Если я вас приведу — то никто из вас расстрелян не будет! Я этого не допущу! Унтер-офицеры! Стройте своих солдат!

И приказал нижним — спустить его на землю.

Зашевелилась вся Баскова улица, зашевелилась толпа, разбираясь, — но мудрено было в такой тесноте разобраться. Теперь подходили унтеры, со всею выправкой и чётко руку к козырьку:

— Ваше высокоблагородие! Очень перепутались. У некоторых рот нет унтер-офицеров. Разрешите строиться по названию казарм.

А тут же рядом в десяти шагах, на углу Басковой и Артиллерийского, была шапочная мастерская — теперь оттуда выскочил десяток штатских, и — намётанный взгляд Кутепова сразу отличил средь них — писарей Главного штаба. У одного из писарей заметил револьвер на поясе, пришло писарское время воевать!

Можно было их задержать, вполне бы ему солдаты это сделали, — но Кутепов не хотел вносить замешательство в главное движение.

Тот самый первый волынский унтер кричал: волынцы таких-то рот — за мной! — и вёл их в противоположный двор. Другие унте-

ры в разных местах командовали строиться по своим казармам, а были и возгласы:

— Вас расстреляют! Бей его!

Надо было всё-таки тех хватать…

И часть солдат не стала разбираться, а побежала в ещё незакрытую сторону Басковой — к Преображенскому собору. Другая, бóльшая часть успешно расходилась по казармам.

Около себя Кутепов удержал человек двадцать литовцев, из тех, что его поднимали, и с ними пошёл по рассвобождённой Басковой в сторону Бассейной, где выход запирала его Преображенская рота.

Он велел поручику одним взводом с пулемётом закрыть теперь и Басков переулок, чтоб оттуда не подбывали больше, и охранять от внешнего проникновения ворота, куда уже ушли две порядочных роты разумного унтера. И послал передать тому унтеру свою благодарность и временное назначение командовать обеими ротами.

Если не перетянул Кутепов тысячные весы, то, кажется, начал удерживать…

Тут пришлось вернуться быстро на Литейный: от Орудийного завода стали обстреливать выдвинутых вперёд кексгольмцев.

Кутепов приказал кексгольмской роте открыть ответный огонь, обстреливать Орудийный завод и начать движенье вперёд, выйти к Кирочной улице и одною полуротой распространиться по ней, если там будет толпа — рассеять огнём. Другой полуроте идти к Орудийному и (петербургская память, там же и казначейство!) проверить, укрепить караул в казначействе. (Не просто были камни за камнями, но жизнь столицы.) А одной роте преображенцев параллельно идти по Басковой вперёд к Преображенскому собору и очищать прилегающие переулки.

Не так уже далеко был и Литейный мост, а дым от Окружного суда стлался всё гуще, наполнял верхи улиц, отчего вся картина становилась вполне фронтовой.

Но офицеры напоминали Кутепову, что их роты сегодня не получали горячего, а преображенцы даже и не ужинали вчера (забыл спросить Аргутинского: как же мог он не кормить роты в наряде!).

Дозвониться до градоначальства не удавалось никак. Тут случился преображенский интендантский штабс-капитан — и Кутепов послал его срочно к Хабалову: потребовать немедленной доставки пищи солдатам. Просить прислать пулемёты боеспособные, а не такие.

И наконец, объяснить же происходящее: кто где, и что делается в остальном городе?

89

Когда известия на нас обрушиваются — в ту минуту мы не можем охватить их. Стоял Протопопов у телефона в утреннем халате, в ночных туфлях, — ну, в одной учебной роте убили одного офицера, — военный эпизод, и его касаться не может. Даже поколебался, не лечь ли опять. Да нет, испорчено утро. И не вселилась сразу тревога, вяло шёл в ванную, набраться сил от горячей воды. Но ещё не наполнилась ванна, а он стоял рядом под шум крана, как — кольнуло его! Не сегодняшнее, вчерашнее. Вчера, в воскресенье, когда он обедал у Васильева и тот уверял, что революция обезглавлена, арестован 141 революционер, — сам между прочим сказал, что собирается эту ночь дома не ночевать, опасаясь захвата революционерами из мести. Так это неожиданно проявилось, Протопопов изумился: что же, в городе — не мы хозяева? Чего бояться? — «А наши все дома им известны», — сказал Васильев.

Вчера Протопопов это забыл, но сейчас у ванны вдруг вспомнил, и так ему ясно открылась правильность мысли: наши все дома им известны! А уж дом-то министра внутренних дел, Фонтанка 16, кому не известен! Тут, у подъезда, бывало, дежурили в пролётках террористы с бомбами, выслеживали министров — и удачно. И это — при полной силе власти, — а при теперешней неустойчивости?

И так заволновался, что уже не мог вступить в ванну и спокойно нежиться в ней. Так заволновался, что уже и удивлялся: вот лежал в постели спокойно, вот спал все эти ночи безпорядков. Конечно, есть охрана, стоят преображенцы, но если подойдёт такая взбунтованная рота — ведь и схватят? А если взбунтовались волынцы — то почему и не преображенцам из караула?

Дрожно было представить своё тело, схваченное разъярённой толпой.

А уж *его-то* ненавидят! Уж его-то! Уж ему-то и нельзя оставаться дома!

Почувствовал Протопопов, что сегодня он и при благоприятственных обстоятельствах ночевать дома не останется.

Так начал он день — не выспавшись, немытый и натощак. Оделся и пошёл в кабинет. Не мог собраться с мыслями: что нужно делать? Никакие рядовые будничные дела не принимались. Вчера — павловцы, сегодня — волынцы? Вот уж чего никак нельзя было ожидать — военного неповиновения! Никаких таких сведений не поступало — да и откуда бы? отменил Государь политическое осведомление в армии. Случайно кто-нибудь, чей-нибудь знакомый, попавший в армию, пришлёт письмо, вот и все сведения.

День начался — и обречён был министр внутренних дел не работать, не управлять, а — узнавать новости. И не от ответственных государственных лиц, но от дежурных секретарей, от офицеров для поручений, от курьеров, кто где сам только что был и видел или от других слышал. И потом самому звонить: в Департамент полиции, в Охранное отделение.

Везде были в ужасе, и никто этого не мог ожидать. На сторону восставших переходила одна воинская часть за другой, захватывалась одна улица за другой, вот уже и Арсенал, и разбирают оружие!

Да ведь был же какой-то план подавления, почему же военные не подавляют?

И совсем же рядом, по всей Литейной части, бродили восставшие солдаты! — и в любую минуту толпа могла прийти громить дом министра внутренних дел, это же естественная первая мысль для бунтовщиков!

Не то что ночевать — нельзя было и днём оставаться здесь долее ни часа, он должен был уходить, бежать — но куда?

Было очень заманчиво и надёжно — к Воскобойниковой, но неудобно именно потому, что — Царское Село, и государыня чего-то же ждёт от него. А — чего? а что он может?

Его долг перед царской семьёй и перед собой — вот что скрыть: главные бумаги. Черновики писем к Государю. К государыне. Письма Вырубовой к нему. От Воейкова. (Он уже собирал, он уже совал поспешно, как попало, в большую папку.) Да, и вот эти фотографии, сделанные тогда для царской семьи: как ловят тело Распутина из реки и фотографии с мёртвого. Это был из высших моментов деятельности Протопопова! Но этого — не надо оставлять, это — компрометация.

А сохранить вот как. Он призвал своего доверенного, Павла Савельева, бывшего семёновца, потом жандарма, исключительно твёрдого и молчаливого человека. Тайные поручения, с кем неудобно встретиться, да многие конфиденциальные дела никогда не выдавал.

И Протопопов позвал его. Запер кабинет. Очень было тревожно. Передавал ему папку, объяснял: всё сохранить надёжно, у себя дома.

Посмотрел в его честное твёрдое лицо. Не выдаст.

Отпустил.

Отпер несгораемый шкаф. Там лежал военный шифр, пусть лежит, ещё кое-что, да, и 50 тысяч рублей простым свёртком в газетной бумаге. Эти деньги совсем недавно сунул ему граф Татищев за то, что Протопопов дал на сутки посмотреть тайные бумаги — обвинения против Хвостова-племянника. Эти 50 тысяч потом предназначила государыня на обезпечение семьи Распутина. Отдать Савельеву? Уже ушёл. Да не вводить людей в искушение, пусть остаются здесь.

Шкаф — запер, ключ положил в письменный стол, теперь запер и стол. А этот ключ — уже взять с собой.

И всё.

И всё? Ещё не завтракал. А и не хочется, глотка сухая, всё горит внутри, руки дрожат. Куда бы уйти скорей? Ведь каждую минуту могут ворваться. А при том клокотаньи несправедливой ненависти, которую он почему-то возбудил во всём обществе, — именно ему и опаснее всех попадать в руки мятежа!

Перешёл в квартиру. Жена усадила завтракать. Еле-еле глотал. Объяснил ей, что оставаться ему далее нельзя.

Но — куда уйти? И под каким предлогом покинуть министерство?

Тут вызвали к телефону. Взял трубку.

Градоначальник Балк. Говорил резко, как швырялся фразами. Сообщал, что бунт безпрепятственно быстро разрастается, захватил уже и Выборгскую сторону, мятежниками захвачен Финляндский вокзал. Что против волнений держится единственный отряд полковника Кутепова, но поздно уже возлагать на него надежды. Что к вечеру может наступить в столице полная анархия.

Боже, какой ужас! Бездонно падало сердце Александра Дмитрича. Он не понимал, что́ он может ответить Балку, и зачем они его мучают и спрашивают, ведь вся власть передана военным.

— А-а… что нужно предпринять по-вашему? — осведомился он.

Вместо своих прямых дел градоначальник посунулся: что надо предупредить Государя о происходящем и надо послать надёжную конную полицию в Царское Село для охраны семьи.

Советы эти были безцеремонны. И послать конную полицию — значит обнажить столицу, они просто хотели уклониться от боя. В Царском Селе — много войск, там охрана достаточная. А сообщать Государю о военных событиях — прямая обязанность властей военных. Да даже он уверен, что они уже вызвали себе войска на помощь. Так уверен, что сказал:

— К вечеру подойдут с фронта свежие войска. Продержитесь ли вы до вечера?

Градоначальник обещал.

— И да хранит вас Господь Бог, я рад, что вы спокойны!

И отделался от трубки.

Докладывать Государю? — было нечего в такой неясной обстановке, и немыслимо взваливать на себя первый груз этих мрачных известий, а может быть ещё и исправится. Не далее как минувшей ночью он уже послал телеграмму Государю — и теперь надо было подождать хотя бы до вечера.

Почему он сказал, что свежие войска подойдут к вечеру? Он сам не знал. Просто — этого быть не могло иначе! Он — хотел в это верить.

Но — куда же уходить? С каждым четвертьчасом улицы всё наполненней — и всё меньше шансов вообще куда-нибудь выбраться.

А Протопопова так ненавидят! Его — первого растерзают, не пощадят!

И опять звонок! Ах, не ушёл от трубки!

Князь Голицын. Сейчас собирает Совет министров. Для безопасности — опять у себя дома, на Моховой.

А это замечательно! Вот и выход! И тут совсем близко, можно добраться задними улицами, без помех. Только поверх сюртука надеть — не форменное пальто.

И выйти из министерского дома не передним ходом — слишком всем заметно, может быть наблюдение от революционеров, — а задним. И дальше пешком.

Не предупреждая ни караулы, ни служащих. А автомобиль — пусть потом подгонят к дому князя.

Последняя мысль была, что может быть — государыне что-то написать, послать, протелеграфировать?

Но ничего утешительного он не мог ей сообщить. Да и сам не знал, не понимал ничего.

90

Ещё позавчера государыня заказала Лили Ден приехать к ней в Царское в понедельник. Сегодня утром, часов около 10, Лили была ещё в постели, когда услышала телефонный звонок. Не так быстро она к нему поднялась, и императрица спрашивала:

— Да вы, Лили, недавно только встали? А я хочу, чтобы вы приехали в Царское с поездом в десять сорок пять. Сегодня чу́дное утро, мы поедем кататься. Я встречу вас на вокзале. Вы побудете у нас и ещё успеете вернуться в Петроград с четырёхчасовым.

— О-о! — только успела отозваться Лили и кинулась одеваться. Надела немного колец, браслет, схватила перчатки, поцеловала Тити, оставляемого с няней, — и кинулась на улицу поймать извозчика.

Но не тут-то было! Лили совсем позабыла, что в городе в эти дни — безпорядки, и сейчас, сколько она ни высматривала, ни один извозчик нигде не мелькал, ни даже на Садовой. Да и трамваи же не шли, полные безпорядки!

Но как раз отъезжал живший рядом с Ден моряк, капитан Саблин, тоже флигель-адъютант, как её муж, и очень близкий друг царской семьи. Она помахала, помахала ему ручкой — он заметил и принял её в экипаж.

— Да вы не прямо ли в Царское Село? — спросила его.

— Нет, сегодня не собираюсь.

— Так пожалуйста, довезите меня поскорей до вокзала, государыня будет встречать на станции, невозможно опоздать!

Саблин велел кучеру гнать.

Улицы были как улицы, в проходящем народе ничего особенного.

— Какие новости, капитан?

— Да никаких особенных. Только странный этот недостаток хлеба. И вчера стреляли на Невском. И сегодня откуда-то слышится. Но я думаю, всё наладится скоро.

С очаровательной, подкупающей улыбкой, весёлый, передавая успокоение и тысячу приветов Ея Величеству, Саблин проводил Лили на платформу — и уже к самому отходу поезда.

А в вагоне Лили увидела госпожу Танееву, супругу главноуправляющего государевой канцелярии и матушку Ани Вырубовой, которую навестить в болезни она и ехала.

И, кроме болезни дочери, госпожа Танеева ничем не была обезпокоена, никаких петроградских новостей не знала.

Первое встревоженное лицо они увидели — близ мирной царскосельской станции в сверкающих сугробах — лицо императрицы. И первые возбуждённые слова её были:

— Что в Петрограде? Я слышала — положение очень серьёзное?

Но решительно ничего серьёзного они не могли ей сообщить.

Коляска покатила. Утро было — великолепное, покорительное, небо — голубое, как в Италии, и снег повсюду лежал глубоким наслоем и сверкал радостно. Хотели ехать через парк, но там слишком много сугробов, поехали по улицам.

Пышноснегое Царское было мирно, как всегда, — и придворные иногда кареты с кучерами в красных ливреях добавляли праздничности.

Встретили капитана из Гвардейского экипажа, стоявшего последние недели в Царском Селе. Государыня велела остановить, подозвала капитана и спросила его об опасности. Капитан улыбался и заверил, что никакой опасности нет.

Ну, слава Богу, тут хватало и своих внутренних: с утра Алексею стало хуже, не упала температура, как должна утром, и на новых местах выступили пятна, видно лёгкой формой ему не отделаться. Приехали во дворец — государыня послала Лили навестить двух больных дочерей, а сама отправилась к наследнику. Прогулка их откладывалась, душевного настроения не было.

Между первым и вторым этажом существовал лифт, которым всегда поднималась государыня к детям, ей трудно было по лестнице. Но сегодня лифт испортился — и было в Петрограде что-то серьёзное или нет, а мастера не удавалось вызвать.

По характеру Александре Фёдоровне трудно было ограничиться заботами семейными, когда нависали государственные тревоги. Вчера послала она телеграмму Государю, по обычной телеграфной стеснительности, — сколько рук их передаёт, — выражаясь сдержанно, что очень озабочена положением в городе. Однако

прошёл вечер — была единственная ласковая телеграмма, и не в ответ. Никакого отзыва на события, очевидно Государь знает достоверней. Склонялась государыня принять, что всё — пустяки, но вчера же вечером добился у неё приёма крупный правый журналист Бурдуков — и представил ей положение в Петрограде как катастрофическое. Он-то и напугал.

А Ставка — молчала, ничего не предпринимала. И ничего не докладывал Протопопов, — уж он бы, если что!..

Но недолго просидела государыня у сына — вызвали. Командир охраняющего дворец Сводного гвардейского полка генерал Ресин и помощник дворцового коменданта генерал Гротен с торжественно бледными лицами докладывали ей, что взбунтовались Волынский и Литовский батальоны, перебили своих офицеров и вышли из казарм.

Бунт в гвардии?? Поверить невозможно!!

Но генералы ждали от неё указаний.

Что же она могла им указать?

А уже сколько раз складывалось так, что она должна была решать без мужчины. Ах, так и было чувство, когда Ники уезжал, — что не надо ему уезжать, что без него тут пойдёт плохо!

Да если б она была не женщина, и в 45 лет переполненная болезнями, если б только одним своим духом, — она готова была на простое движение — сама вскочить на коня!

А Протопопов — молчал! А лишь по его заверениям, что всё будет в совершенном порядке, согласилась Александра Фёдоровна отпустить мужа в Ставку. Предполагалось, что Царское остаётся на заботы министра внутренних дел, да каждый день будут весточки или даже приезды (ещё ведь и нежное влечение Протопопова к одной сестре в лазарете Ани, как трогает эта неисполнимая любовь пожилых сердец). Но вот — четвёртый день бушевал Петроград — и где же была власть министра внутренних дел? И где же была подъёмная лёгкость его голоса, передаваемая даже по телефону? Сейчас — только и мог успеть телефон. И где же он был?

Не было звонка от Протопопова — она решила звонить ему сама. В такие густые события мог быть занят номер — но оказался свободен.

Свободен — но не отвечал.

Звонить, звонить! — требовала императрица от телефонисток, сидя сама у себя в спальне под портретом Марии Антуанетты.

Трубку взял какой-то случайный служащий. Доложил, что министр то ли вышел, то ли выехал, неизвестно куда, никто не знает, не видел.

Ещё странней.

Или — поскакал в гущу? решительно сам давит мятеж?

Но — висела, наливалась тяжестью каждая минута, прежде чем упасть.

А Ставка — тоже молчала.

И только одно государыня могла сделать — не щадя сердца Ники, как ни больно ему будет это прочесть, отправить ему тотчас телеграмму (писала размашисто):

«Революция приняла ужасающие размеры. Знаю, что присоединились и другие части. Известия хуже, чем когда бы то ни было».

Это будет удар по сердцу мужа, но и откладывать дальше нельзя.

А ещё — что она могла предпринять?! Ухаживать за детьми да ждать обрывистых сведений из города.

Ах, эти гадкие твари думцы! — ведь это всё разбудили и всполошили они!

О, не выдерживало сердце! Минуты — текли часами. А — часы?..

А Ставка — молчала. Государь как будто не ведал ничего или уж слишком много знал.

Городские события настолько нарушили нормальную государственную жизнь, что не могла императрица позвать и принять какого-нибудь государственного деятеля, как это бывало в недавние месяцы, — ни расспросить, ни направить, ни указать. Не могла вызвать — а сами они не шли: никто не заявлялся, не приезжал, даже не звонил. И Саблин, из самых верных, — вот с Лили неужели не мог приехать? И питалась императрица случайными сведениями, от камердинера Волкова, от камеристок, едва ли не от дворцовой прислуги (не было ведь и газет!). Она оказалась вдруг не властительницей огромной страны, но ото всего отрезанной матерью больных детей.

И вдруг ей доложили, что просит о приёме флигель-адъютант Его Величества Адам Замойский.

Замойский? Но он же в Ставке. Откуда?

Граф Замойский… Государыня его никогда не любила. В начале войны добровольно поступил в армию рядовым — но конечно

сразу подхвачен Николашей в Ставку, произведен в корнеты, потом ни за что — Владимир с мечами, с прошлого года и флигель-адъютант. И использует место, считала она, чтобы чаще напоминать о Польше.

Ну, зовите!

И вошёл знакомый ей Замойский, но — с незнакомым, небудничным, драматическим видом — и это сразу передавалось сердцу. Не обычен был его приход, и строгий вид его, сохраняющий гордость при низком поклоне почтительности, и суховатый тон в произнесении страстных слов:

— Ваше Императорское Величество! Оказавшись случайно в Петрограде и будучи свидетелем событий, я почёл за долг не возвращаться в Ставку, но явиться к вам и предложить вам свою шпагу.

И стоял, гордо-почтительно.

Ах, польский гонор! — ты несравним! Висела на боку его простая офицерская шашка — но верно, да, только шпагою она и могла быть названа в этот момент! У государыни выступили слезы.

— Благодарю вас, благодарю вас! — протянула она ему руку для поцелуя.

У неё была масса войск в охране, ничего не добавляла ей одна шашка и один револьвер, — но сколько же добавляла подкрепления духу! Пока оставалась такая верность — оставалась надежда.

(А она никогда ничем не выделяла этого флигель-адъютанта. Она даже препятствовала переезду его легкомысленной жены в Могилёв, чтоб сохранить строгие нравы Ставки.)

Но от Замойского же теперь узнала впервые столько потрясающих петроградских новостей и общую картину — что распахнуты все тюрьмы и все беглецы из острогов стали во главе мятежного движения, а Дума, конечно, присоединилась к нему. А главное: казаки! — незыблемая опора российского трона — изменили и оказались заодно с мятежниками!

После потери казаков уже не за что было держаться.

Тут ещё добавились сведения по телефону к Бенкендорфу, к фрейлинам. По рассказам — уже полгорода было захвачено, если не весь.

И несгибаемая императрица, никогда не поддававшаяся и не поддававшая мужа своего требованиям всей этой рвани и образованной черни, теперь впервые расплавилась, как перед ликом вулкана. И в час дня она отправила загадочно молчащему Государю:

«Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Много войск перешло на сторону революции».

Про казаков — она не могла вымолвить!

91

Прапорщик Георгий Шабунин любил заниматься с солдатами — как с детьми, которых бы он обучал, окончи университет в мирное время. Это и был самый неподдельный народ, которому Шабунин и мечтал служить, неся свет и знания. Но суждено ему было из университета не поехать к народу в глубь его тёмных сёл, а в несколько месяцев пройти школу прапорщиков, — и вот Народ сам пожаловал к нему сюда, в натолканные казармы на Выборгской стороне. Шабунин, и не будучи дежурным, часто ночевал в расположении батальона, в своей ротной канцелярии, оставался с солдатами на вечерние внеслужебные часы, писал им письма домой, подучивал их грамоте, беседовал — но отнюдь не в революционном духе. И с солдатами Шабунин себя хорошо, вольно чувствовал, а к офицерскому бытию что-то не мог привыкнуть, старшие офицеры ловили его на упущениях и цукали. И даже в последних днях он был опозорен командиром батальона перед всеми офицерами: тот вызвал их всех в библиотеку офицерского собрания при оружии, вызвал Шабунина вперёд и выговорил, что на днях в трамвае он не потрудился полноуставно отдать честь моряку, капитану 1 ранга, а лишь привстал со своего места и отдал честь полусогнувшись. Шабунин залился краской под выговором. Но там в трамвае как-то некрасиво и неловко было бы вскочить и отмахивать на полный взмах, да и шашка же мешала.

Все последние дни многочисленных отсылок в заставы и караулы занятия в батальоне почти прекратились, но Шабунин пытался заниматься с оставшимися. Так и сегодня со своей полуротой «В» учебной команды он начал учебные занятия по обращению с винтовкой, они чуть не впервые её держали, ещё не умели толком ни заряжать, ни прикладывать ложе к плечу.

И так сегодня он мало знал, что делается в городе или тут, вокруг московских казарм, — как вдруг все они услышали близкие частые ружейные выстрелы — а холостых патронов у них в батальоне не содержалось!

Но тревоги по батальону не было дано, выстрелы утихли, Шабунин продолжал заниматься.

Прошло полчаса или больше — раздались выстрелы с Лесного проспекта, и много, перестрелка.

И тут Шабунина вызвал начальник учебной команды капитан Дуброва. Его всегда грозное лицо было перекошено. Он объявил, что мятежники бушуют всюду по Выборгской стороне, — и прапорщику Шабунину со своей полуротой немедленно выйти отрядом заграждения на Лесной проспект за ворота — и никого постороннего на территорию казарм не пропускать.

Шабунин осмелился напомнить, что его полурота имеет сегодня лишь второе занятие с огнестрельным оружием, — но Дуброва приказал поспешить с исполнением.

Пока строил своих неумех — к нему подошли ещё двое молодых прапорщиков в его распоряжение, Кутуков и Яницкий.

А когда выходили на Лесной через ворота в деревянном заплоте — подъехали сани с тяжело раненным, в живот, без сознания, смертно-бледным поручиком Вериго. И прапорщик при санях, из отряда.

Строй расступился, пропуская сани в ворота. Прапорщик остался тут.

А где отряд Вериго или остаток его? где он рассеян?

Противника тоже не видно было, Лесной почти пуст. А по ту сторону проспекта — пустыри, и тянулся забор, а за ним финляндская железная дорога.

Шабунин распорядился поставить две цепи поперёк Лесного, направо от ворот погуще, налево пореже.

И сам стоял при правой цепи.

И тут вдруг показался из-за угла и лёгкой быстрой походкой пошёл к цепи — студент-политехник, в студенческой фуражке и холодном пальто.

И такой он был родной, свой, привычный, до того лёгкая походка и взгляд, — Шабунин видел в нём своего, он ещё и не привык как следует, что сам-то в шинели и сам чужой.

А студент, озирая поперечный строй, который и не мешал одиночному проходу, — сразу выцелил Шабунина и шёл прямо на него.

Не знал Шабунин этого студента — но даже почти знал, до того он был знакомый, типичный, светлоглазый. И знакома была манера речи, как он спросил незатруднённо и громко, чтоб слышали и солдаты:

— Господа! Неужели будете в н а р о д стрелять?!

Порывный, сшибательный вопрос! В Народ-страдалец, в Народ, перед которым мы извечно виноваты десятком образованных поколений, — в Народ, конечно, Шабунин стрелять не будет и не даст. Но этот общий, всем известный Народ — где он тут был сегодня на Лесном?

Да как раз в его безусой, неумелой, оробелой полуроте. Она и слушала: что ответит прапорщик?

Сердце Шабунина оставалось открытым и даже рвущимся навстречу этому студенту — но при солдатском строе и при других прапорщиках он не мог ответить ему в таких выражениях. И скрывая свою принадлежность к тому же ордену, удерживая взгляд и тон, как-то ж изменили его полгода военной службы, он постарался ответить сурово:

— Проходите своим путём, чтобы мне вас не задерживать.

Студент вскинулся, как не ожидал такого ответа, но больше наигрывая. И прошёл насквозь. Удалился.

Так и стояли на пустом Лесном. Лишь отдельные пешеходы, их пропускали.

Потом из-за поворота, с Тобольской, стали доноситься крики. Потом стал выезжать оттуда задним ходом, пятясь сюда, грузовой автомобиль-платформа с красным флагом на кабине, полный штатских и солдат, — а у края платформы стояли два пулемёта, и пулемётчики молча наводили их сюда, на полуроту. На штыках солдат тоже болтались красные обрезки, и красной же материи куски были прихвачены у кого к груди, у кого на рукав, в обмот. Так это было всё театрально, необычно — будто позабавить хотели полуроту и уж конечно не стрелять по ней, беззащитной.

А новобранцы, видно было, перепугались вусмерть, дрог пошёл по рядам.

Шабунин скомандовал цепи взять на изготовку.

Взяли.

Нет, только брали…

Нет, кто брал, кто не брал…

Никто не брал, а рассыпались из строя!

И стали убегать в малую калитку при воротах.

И всё это — мгновенно.

И по другую сторону от ворот цепь рассыпáлась — и в ту же калитку.

А грузовик — пятился, наставляя пулемёты.

И с него спрыгнул крупномордый преображенский унтер с красным флажком на штыке:

— Сдавайсь, благородия!

И думать некогда, и открывать огонь невозможно, да некому: рассыпался строй. Убегали, теснясь, давясь в калитку, крича.

И ещё застреляли откуда-то сбоку, кажется с насыпи железной дороги.

И оставалось четверым прапорщикам — только отступать к той же калитке.

И за последними втиснувшимися солдатами войти туда.

И запереть её на засов.

А полурота — как бесновалась, лишась рассудка. Не слушалась офицеров — но и не бежала, и даже теперь, через забор, кинулась защищаться: из соседнего штабеля хватали поленья и кидали их туда, через забор.

Солдаты стали неуправляемы. Снаружи толпа заорала, завыла — и солдаты отсюда тоже.

Но пулемёты снаружи не стреляли через деревянные ворота. (Может быть, те и обращаться с пулемётами не умели?)

Оттуда — стали сильно ворота толкать и раскачивать, и со звериным воем.

От ворот на казарменный плац вёл узкий проход между манежем и цейхгаузом — Фермопилы. И в нём осталось четверо прапорщиков.

Переглянувшись — достали револьверы.

И — протянули их к стрельбе, — отступая, отступая от ворот.

А ворота со скрежетом, треском — рухнули!

И оттуда — хлынула толпа чёрных пальто и серых шинелей, все в красных лоскутах.

Ворвались! Но увидели поднятые на них револьверы.

Тишина.

Молоденькие, да просто мальчики, все с учебных скамей недавно, шаг за шагом четверо прапорщиков отступали с выставленными наганами. Почему-то им, четверым новичкам, досталось защищать столетнюю твердыню лейб-гвардейского полка — и звончей того рёва, который опять поднялся в напирающей толпе, в их ушах дозвучивало:

— Господа! Неужели будете в народ стрелять?!

Но додумать им не пришлось. Из медленно наступающей толпы выскочил вперёд в чёрном треухе с искажённым лицом рабочий — и первый выстрелил из револьвера в них.

Промахнулся.

И тогда Шабунин вполне уверенно выстрелил в лоб его, скраденный шапкой.

И тот рухнул лицом в снег.

Миг молчанья опять, пресекая крик толпы.

И четвёрка офицеров отшагивала дальше, пятясь.

Уже кончались Фермопилы между зданьями, и за спинами прапорщиков распахивался широкий плац. Но помощь оттуда не подступала к ним.

Да могли они помнить, что и нет её вообще.

На всей Выборгской мятежной стороне неоткуда было ждать им помощи. От гвардейских батальонов из центра? — но вот и преображенский унтер был при пулемётах. Из Действующей армии? — но не сегодня. Птицами всё пронеслось в голове Шабунина вмиг. И вся несостоявшаяся жизнь его, и радостная деятельность.

Почему-то они, четверо тонких, перехваченных свежими ремнями и даже со свистками в гнёздышках на наплечных ремнях, — должны были за всех и за вся удерживать эту толпу.

И когда выскочил второй рабочий с револьвером — Шабунин выстрелил прежде, и тот упал в снег.

И толпа завыла снова — и вся заедино кинулась на них сразу.

И не по страху, который прийти бы не успел, но по простому разумному соображению они все четверо — кто стрельнув, кто не стрельнув, — повернулись и легконого побежали через плац, ещё придерживая такие помешные шашки.

Но в спину Шабунина кто-то толкнул, как огромным бревном, — и огненный всплеск из головы полыхнул на небо.

92

Явление полковника Кутепова очень подбодрило всех в градоначальстве: неоспоримо боевой готовный вид, которого даже и объяснить нельзя, из каких он чёрточек складывается, а каждому здесь генералу было сразу видно, что этот полковник отличается

ото всех них тут — отчётливостью решений, ясностью приказаний и сразу к делу. Не только не удивился, не заколебался, не отговаривался, — принял приказ, будто для того и приехал с фронта в Петроград. И через десять минут уже ушёл исполнять.

Настроение штаба очень окрепло, и ждали теперь конца волнений.

Но пришли известия, что мятежники уже валят через Марсово поле к Зимнему дворцу! И для отражения этой новой угрозы не было больше никакого отряда, как только вернуть отосланного Кутепова. Аргутинский-Долгоруков взялся нагнать его и повернуть.

Да уж куда б ни двигался — только бы двигался. Исчерпаны были все резервы и все возможности штаба Хабалова, нельзя же было до конца и свой штаб оголить без охраны. И оставалось им только по городской карте следить и предполагать, что где может дальше твориться.

А узнавать они могли только по телефонам. Так узнали, что захвачен Орудийный завод, при этом заколот штыком генерал. Разгромлены и подожжены Дом Предварительного Заключения и Окружной суд. А брандмайор, приехавший туда с пожарной командой, звонил, что толпа не даёт ему тушить. Приказал Хабалов найти и послать туда второочередную команду, чтоб отгоняла мешающую толпу. (Но, кажется, не нашли и не послали.)

Как будто же состояло в Петрограде 14 гвардейских запасных батальонов — а резерв ниоткуда не натягивался. Одни батальоны отвечали, что совсем у них нет свободных рот или нет надёжных рот, некого послать. Лейб-гвардии Финляндский отвечал с Васильевского острова: две надёжных роты есть, но только ими мы сдерживаем остальной батальон, чтобы не взбунтовались. Никто не хотел рискнуть и послать. И Хабалов не рисковал взять на себя приказание.

Тут доложился инспектор классов Николаевского военного училища: его юнкера волнуются, хотят выйти с оружием в руках на улицу, чтобы навести порядок!

Хабалов перепугался: только этого ещё не хватало, вмешать юнкеров! — за них ответственности не оберёшься. И приказал полковнику: запереть ворота, двери, и ни под каким видом юнкеров не выпускать! И такое же распоряжение послал по всем училищам. Да уж он-то был по юнкерам специалист, он их образованием занимался.

Не было резервов, но и вот что: не было боеприпасов, даже десятка патронных ящиков. Никто не мог предполагать столкновения в городе, в центре нигде не осталось складов, кроме уже захваченных мятежниками, а остальные — на окраинах, и недоступны.

А от Кутепова не первый раз телефонировали, что надо озаботиться кормить солдат. Легко сказать! — а из каких запасов их кормить? И где же под рукой возьмёшь полевые кухни, что ли?

Хабалов понимал, что надо как-то действовать, — но не мог увидеть, угадать никакой возможной линии действия. А главное — никаких же резервов. И он опустился до безразличия, и костенел в нём. Как пойдёт. Может вынесет.

Единственное сообразил: ведь Государь ещё и вчерашних событий с Павловским батальоном, может быть, не знает. И тем более сегодняшних никаких. Так надо телеграфировать хоть кратко — хотя и страшно взять на себя.

Составил телеграмму. И, удобно, добавил: что необходимо немедленно прислать надёжные части с фронта.

Никакого резерва войск не было — а все требовали прислать охрану. Требовала телефонная станция — на Морской улице, тут, у Гороховой. Это было самое важное изо всего, послали туда взвод пехоты и 40 всадников. Требовал Литовский замок, арестантское отделение. Но в Петрограде состоял десяток тюрем — и разве есть сила их защитить? Потребовал охраны и князь Голицын, да не к Мариинскому дворцу, что понятно, но к собственной квартире на Моховой улице. Хабалов замялся: нет резервов. Да хотя бы, мол, человек двадцать, запереть квартал с двух сторон. Двадцать человек не помогут, только кровопролитие. Моховая — она там рядом с Литейным, в самом кипении.

Литейная часть была, видно, потеряна. А тут стали звонить из лейб-гвардии Московского, с Выборгской стороны — что мятежники прорвали Литейный мост, колоссальные толпы запруживают Сампсоньевский проспект, сопротивлявшиеся офицеры кто убит, кто ранен, роты ненадёжны и даже лучше удержать их в казармах.

Терялась и Выборгская часть?

Это было тем особенно плохо, что мятежники оставляли позади себя Охту и Пороховые, а если подожжётся, взорвётся один из пороховых заводов — от Петрограда ничего не останется. Задача возникала: как бы оттеснить мятежников от Пороховых к северу? Но опять же придумать ничего было нельзя, нигде нет готовых войск.

Градоначальник Балк уже докладывался утром по телефону Протопопову, но безполезно, тот только спросил ответно: «И что, по-вашему, нужно делать?» И просил продержаться до вечера, а вечером подойдут свежие войска.

А Государь требовал — именно сегодня и прекратить все безпорядки.

Они тут, в градоначальстве, между собой, и должны были всё найти и спасти.

И для того к их услугам было три телефона, не перестававших работать.

И по одному — министр-председатель князь Голицын срочно вызывал генерала Хабалова к себе на Моховую.

Вот так та́к… И штаб бросать — и ещё как доедешь?

Хабалов уехал.

А телефоны — телефоны продолжали надрываться, ведь это были всем известные телефоны градоначальства, а кто номера не знал — соединяли их барышни. Едва давали отбой одному разговору — звонили вновь. И все непременно требовали градоначальника.

Звонила графиня Витте, опасаясь за свой особняк.

Звонили неименитые обыватели, в тех же опасениях.

Звонила графиня Игнатьева: она молит Бога ниспослать градоначальнику сил.

Звонил бывший премьер-министр Трепов, ободряя. Он знает спокойствие Балка и уверен, что порядок будет восстановлен.

Звонил городской голова Лелянов, в очень хорошем настроении и чрезвычайно любезен. Он просит извинения, что отрывает градоначальника, но только что на заседании городской думы окончательно решено передать городу всё продовольствование, и он как председатель комиссии назначил её заседание на завтра в 4 часа пополудни. Так вот, удобно ли для господина градоначальника это время завтра, присутствовать?

Звонил какой-то фронтовой офицер: толпу можно успешно рассеивать обыкновенными дымовыми бомбами. (Но не только не было у них с Хабаловым таких бомб, а вообще первый раз они слышали о таких.)

Затем ворвались два офицера, требуя автомобиль для уборки раненых и убитых: неубранный вид производит дурное впечатление на публику. Собирались и другие неизвестные офицеры в приёмной. Настроение сгущалось. Истерически рыдал капитан Кексгольмского батальона.

Прорвалась француженка с прислугой, назойлива и несчастна: сегодня она нигде не может достать белого хлеба, а от чёрного хворает. Балк велел, и ей принесли на подносе французскую булку. Гостья пришла в восторг и ушла, расточая благодарности.

А от Кутепова сведения прервались.

Хабалов вернулся от министров ещё более угнетённый: своими глазами повидал, послышал на улицах.

Нет, надо всё же начать стягивать где-то новый резерв. И лучшее место для этого — Дворцовая площадь.

Стали снова телефонировать по батальонам — к семёновцам, к измайловцам, к стрелкам, егерям, гренадерам.

93

С утра приходили к Каюрову и говорили: сходятся рабочие к заводам! Но ещё между собой толкуют: становиться ли на работу или продолжать забастовку? В такую минуту *листок* нужен, а листка нет!

А среди выборгских большевиков такого человека не было, чтобы мог сам листок написать. Может, у Гаврилыча есть? Да и слишком просторно стало самим за ПК решать. Каюров ответственности не боялся, но и побаивался. За Шляпниковым первенства он не признавал, разве что иностранные языки, но и признавал.

И погнали Пашку Чугурина (за то, что у него ноги прыткие) — туда, на Сердобольскую: требуется срочно листок!

А сами сидели в Языковом переулке, в Новой Деревне, и обсуждали — выходить на работу или не выходить? Долго обсуждали. Хорошо, даже слёзно, говорил Шурканов, старый, лысый, с Айваза. (Клепал на него Шляпников напраслину, что провокатор, а в выборгском райкоме его любили.) Он говорил: во что бы то ни стало продолжать — и не останавливаясь!

Пригнал Чугурин от Шляпникова: листок пишут! Да кто ж пишет? Да прямо сам Гаврилыч, специальных никого близко. А велит: к работе ни в коём не приступать, а идти устраивать митинги близ казарм, так, чтобы солдат заражать, чтоб они через забор наши речи слышали. А ещё — к ним в казармы посылать гонцов с записками. А о чём записки? Да о чём ни попадя: поддержите народ! долой офицеров! долой войну!

Да, пожалеешь, что у нас в казармах никакой партийной организации нет.

Но ежели к солдатам лепиться — а совсем без оружия? Если что серьёзное начинать — так оружие, а как мы с голыми…? Вот что, Пашка, катай опять к Шляпникову, скажи насчет оружия последний раз, как запастись, иначе дело погибнет. И — листок приноси, давай!

Погнал Пашка.

Ну что ж, отрядили Хахарева устроить митинг около московских казарм со стороны Лесного, там и забор низкий и проломы в заборе есть.

А сами решили заседать непрерывно и ждать события.

На работу, говорили ребята, никто не становится.

Выходили до ветру — с той стороны Невы как бы не постреливают. Далеко отсюда — а вроде постреливают.

Ох, наверно начался террор, расстреливают революционные силы, пируют.

Тут опять Пашка пригнал. Сказал Гаврилыч: никакого оружия, никаких боевых дружин, ну будет у нас двадцать револьверов, так что? Солдаты нас с земли снесут, мы не сила. А — склонять солдат, чтоб они с оружием переходили, вот выход.

Конечно, откуда ему оружия достать? Вот и выход.

А листок уже написан, вот бумажка, сейчас его в типографиях откатают — и чтоб на собраниях читать.

Почитали. А здорово клепать научился, неужели сам, говоришь? «…Царская власть привела Россию на край гибели. Народ обворован. Нечего есть, не на что жить. Черносотенная власть занята ограблением народа. На требования рабочих отвечают свинцом…»

Скажи, аж в горле першит!

«Продолжать всеобщую стачку!»

Правильно!

Вернулся Хахарев с митинга от забора московцев — говорили, говорили, что-то не помогает, не шевелятся солдаты, в казармах заперты.

А за Невой — сильней стреляют. И ближе.

Чего делать?

Ждём листка.

Ждали-пождали, между тем и завтракали, расходились кто куда, — а заседание считалось как бы продолжается.

Вдруг воротился Шведчиков, весь как озарённый:

— Ребята! Да в городе — солдатское восстание! Да уже Литейный мост перешли и Кресты освободили! Уже арестанты везде ходят!

Ну, радость! Ну, подскочили! Ну, запрыгали! Шурканов — всех целовать, Каюрова чуть не задушил.

А мы — сидим? А ну — разбегаться!

И кинулся Каюров сам к московским казармам. А там-то уже стрельба! А там уже — поддержка к нам привалила!

Да мало того: солдаты-московцы поодиночке, кто без винтовок, кто и с ними, пробирались по одному через проломы или поверх забора — сюда, на Лесной. А дальше — боязно им самим и неловко, как это они часть бросили? Отаптываются, не знают, куда себя девать.

А Каюров — от роду решительный, вот уж никогда не занимал. Хоть ростом не выдатной, а голос пронзительный. Как закричал им:

— Что стоите, товарищи солдаты? Стройся!

Стали поталкиваться, строиться как-то неразборчиво. И посмехаются над Каюровым: откуда, мол, строиться? да куда лицом? да во́ сколько шеренг?

А Каюров дальше не знал этих команд, ни одной.

94

В ночь на 27-е Государя не тревожили новыми сведениями из Петрограда, так что он покойно спал, как обычно.

Первая тревога была — утром доложенная дворцовым комендантом Воейковым вчерашняя вечерняя телеграмма Протопопова. Верней, и она была не такой уж тревожной: сообщала, что почти весь прошлый день порядок в Петрограде не нарушался. Только к концу дня пришлось рассеивать скопища, сперва холостыми патронами, но толпа бросала в войска каменья, куски льда — и пришлось прибегнуть к боевым патронам, так что оказались и убитые. И все толпы были рассеяны, хотя отдельные участники безпорядков обстреливали воинские разъезды из-за углов. Войска действовали ревностно. Лишь 4-я рота Павловского полка совершила самостоятельный выход. (Непонятное выражение: какой выход? куда? зачем? Самостоятельное выдвижение без приказа свыше? Невоенный термин.) Но большой успех у Охранного отделения: арестовано свыше 140 партийных деятелей. (Даже грандиозно, тогда всё и подавлено?) Контроль над хлебом и мукой установлен. С понедельника ожидается возврат части рабочих на заводы.

А в Москве — так и вообще всё время спокойно.

Нет, ничего серьёзного.

Протопопов — счастливая находка. Какой деятельный, неутомимый, находчивый, сколько идей выдвинул за свои немногие министерские месяцы. Правда, по связанности общего положения мало что мог осуществить. И как его любит Аликс! Да просто не бывало ещё такого удачного министра. Большое облегчение, что он сейчас там, на этом посту, — он не упустит сделать всё, что нужно, и душевно поддержит Аликс.

Его телеграмма — скорее успокоительная. Только что это за самостоятельный выход павловцев? Не совершили ли они чего-нибудь недостойного? — и как тогда Павловский полк отмоет свой позор?

И каменья толпы в войска?.. Представить нельзя.

После раннего завтрака собирался Государь идти выслушивать доклад Алексеева — тут поднёс ему штабной офицер две телеграммы.

Одна была — от князя Голицына, поданная сегодня в 2 часа ночи. Что с сего числа, как и даны были ему полномочия, занятия Думы и Государственного Совета прерваны до апреля месяца.

Вот и хорошо. Во время безпорядков Думе лучше не действовать. Она-то всю обстановку и раскаляет. Удивительное сборище! — не просто врагов трона, но врагов Российского государства: во время войны шатают, взрывают, не считаются ни с чем.

А вторая телеграмма — совсем странная, чуть не пьяная. Подписал её какой-то полковник Павленко, которого Государь и при его обширной военной памяти даже не помнил, — а оказался он почему-то сейчас временно исправляющим должность начальника гвардейских запасных частей в Петрограде. (А где же генерал Чебыкин? Ах, да, он, кажется, в отпуску.) А вся телеграмма была: что ранены из толпы командир Павловского запасного батальона и прапорщик его. И — всё. И — никаких сведений об остальной гвардии, если Павленко действительно ею заведовал, ни — обо всей петроградской обстановке, ни — о чём другом.

Странно. Только ёкнуло, что — опять павловцы. Не было ли это в связи с тем выходом роты?..

В половине одиннадцатого, как всегда, Государь проследовал в здание штаба на очередной доклад генерала Алексеева о боевых действиях войск.

Несколько опасливо он посмотрел на привычное грубовато-фельдфебельское лицо Алексеева, ожидая, не имеет ли тот чего тревожного о Петрограде. Но не сказал, нет, слава Богу.

Спросил о его здоровьи. Хотя Алексеев и ответил положительно, но по лицу и по плечам видно было, что — неважно, держался зябко.

А общий военный обзор прошёл гладко, не содержал ничего нового.

Тем отчётливей увидел Государь, что Алексеев после болезни уже нагнал пропущенное, и значит, дальнейшее присутствие Верховного в Ставке уже не так обязательно, можно пока возвращаться к одинокой бедняжке Аликс.

В конце же доклада Алексеев протянул, во-первых, телеграмму от Хабалова на своё имя и извинился, что не доложил её прежде: она была — вчерашняя дневная, но пришла уже после вчерашнего доклада. По случаю воскресенья не хотелось безпокоить Его Величество, да и к вечеру вчера нездоровилось, пришлось прилечь.

О, конечно, сразу же и простил, не упрекнул его Государь: можно понять, когда человек и немолод, и болен.

Телеграмма была подана почти сутки назад: вчера в час дня. А всё содержание её относилось ещё к позавчерашнему дню, ко второй половине субботы. Что всяческие толпы неоднократно разгонялись полицией и воинскими чинами. У Гостиного Двора выкинули красные флаги с надписями «долой войну», и из толпы стреляли в драгун из револьверов. Пришлось открыть огонь по толпе, убито трое, ранено десять человек, — и толпа рассеялась мгновенно. Затем ещё: подорвали конного жандарма гранатою. Но вечер субботы прошёл относительно спокойно. Бастовало же — 240 тысяч рабочих.

Государь потирал, разглаживал усы большим и средним пальцем. Не упрекнул Алексеева за задержку и прочтя, не имел духу. Но и всё-таки — бастующих слишком много. И все эти случаи, постепенно открываясь, как-то накоплялись. Впрочем, покрывались спокойствием других телеграмм, Протопопова. Впрочем, всё это было уже — давнее, позавчера, — и с тех пор ничего худшего не случилось.

Да и кончалась телеграмма Хабалова, что с утра 26-го в городе всё спокойно.

Но нездоровый Алексеев хмурей обычного щурил щёлки своих глаз и подал ещё. Тут вот что придумал Родзянко: вчера вечером послал Алексееву, а выясняется, что также — и Главнокомандующим фронтами, втягивая в обсужденья и их, какую-то взбудораженную, даже паническую телеграмму:

…Что волнения в Петрограде принимают угрожающие размеры. Что правительство в полном параличе и не способно восстановить порядок. Что России грозит позор, война не может быть выиграна, если (как всегда у него и у всей Думы) не поручить правительство лицу, которому может верить вся страна. (Читай: самому Родзянке.)

О, этот всполошливый, наседливый, самоуверенный толстяк! Как он надоел Государю своими всегдашними безцеремонными поучениями, правильно когда-то пошутили про него: если его пригласить на высочайшие крестины, так он сам влезет в купель. Почему нужно слушать его сбивчивые, суматошные советы, а не внимать телеграммам поставленных властей? И за все прошлые месяцы, сколько ни слышал Государь Родзянку, всегда положение было «тяжёлое и острое, как никогда».

Но тут был новый неожиданный ход, что телеграмма Родзянки предназначалась не прямо Государю, и не одному Алексееву, а сразу — всем Главнокомандующим фронтами — «в ваших руках, ваше высокопревосходительство, судьба славы и победы России», — и чтобы все высокопревосходительства теперь спасли Россию тем, что поддержали бы глубокое убеждение Родзянки перед Его Величеством. Странный и дерзкий обход. Почему — не прямо? Почему — через генералов?

Николай в раздражении теребил ус.

От него не укрылось смущение прихмуроватого Алексеева. Уже не косясь на развешанные в маленькой комнате карты фронтов, тот неловко усмехался пиковатыми усами. Неловко — за себя, как невольного адресата (всегда почему-то адресата для общественных лиц, вспоминался заклятый Гучков), — а ещё неловче, кажется, — за Брусилова. Брусилов, получивший эту телеграмму, — этой же ночью, в час ночи, даже не ложась спать, даже не отложив обдумать до утра, — тут же рикошетом пересылал родзянковскую телеграмму в Ставку, да не просто, чтобы доложить Государю, — но с решительным добавлением, что по долгу и по присяге не ви-

дит иного выхода, как тот, что предлагает Родзянко! (А что можно видеть или не видеть с Юго-Западного фронта? И как может так себя вести военный человек?)

Государь закурил из пенкового своего коленчатого мундштучка. И как могли быть из одного и того же города, в один и тот же час столь разные известия? Правительство уверенно управляет, даже не просит помощи, — а Барабан уверяет, что оно в параличе?

Да если бы было что-нибудь по-настоящему тревожное — предупредила бы его Аликс в каких-нибудь час-два. Но сегодня — не было от неё телеграмм.

Государь всё более удивлялся смущённому, уклончивому виду Алексеева, не возразившему ни против Родзянки, ни против Брусилова. Так и он — присоединяется к ним?

Стоять против шумных общественных горланов — Государь привык. Но необычное и опасное было ощущение — что его собственные генералы за его спиною тоже завлечены *теми*, как бы ударяют в спину своему Верховному.

О, что они понимали в этом вопросе — Верховная Власть России, её вековая легитимность, её неделимость и разделение, над чем Государь трудно мучился уже два десятка лет? И — как легко все брались советовать!

Нет, смущённый Алексеев не смел советовать, он только подал все бумаги по должности, честный старик.

Доклад был исчерпан, Государь ушёл.

В 12 часов с половиною имел место, как всегда, регулярный высочайший завтрак с военными представителями союзников и чинами Ставки — и, разумеется, ни слова никем не было обронено о петроградских событиях, поскольку о том не заговаривал Государь.

Из главных достоинств монарха считал Николай: никогда не разговаривать ни о чём серьёзном в неположенное время, в неположенных обстоятельствах и не с теми лицами, кто компетентен и призван того касаться. Самообладание и безстрастность он понимал как лучшую часть этикета монарха, который несёт своё божественное бремя и всю ответственность всех конечных решений.

И если перешёптывалась свита, может быть и более знавшая что-то о Петрограде, то никто не смел возвысить голос или высказать Государю прямо. Были, пожалуй, и взволнованные, если не испуганные лица.

Так же неуклонно дальше должна была следовать царская прогулка на моторах за город — стояла отличная солнечная погода

без ветра. Подали два автомобиля, уже выходила к ним близкая свита, — тут Государю, в шинели, застёгнутому, принесли из штаба и подали новую телеграмму.

Эта была — от Хабалова, и совершенно свежая, час назад поданная. Прошлая от него была на имя Алексеева, а эта — прямо Его Императорскому Величеству. Государь развернул её — стоя, у лестницы, и читал, а на него смотрели. И оттого что смотрели — не только лицо его было невозмутимым, но он как-то не вполне внимательно читал, хотелось скорее положить её в карман и ехать.

Вот когда всё объяснилось: доносил Хабалов о той самой роте павловцев: она объявила ротному командиру, что не будет стрелять в толпу. Рота обезоружена и арестована. (Позор какой для павловцев!) И очевидно, в этом инциденте и ранен командир Павловского батальона, о чём было от Павленки.

Но не кончалась на этом телеграмма Хабалова. Сегодня учебная команда волынцев также отказалась выйти против бунтующих, вследствие чего начальник её застрелился, команда же, увлекая роту запасных, направилась в расположение Литовского и Преображенского батальонов, где к ним ещё присоединялись другие запасные.

Уже много он строчек прочёл. Длинна показалась недлинная телеграмма, оттого что содержание её уже вышло за пределы всякого ожидаемого. Не подготовленный к тому и уже в наклоне двигаться дальше, спускаться с лестницы, Государь дочитывал бегло, не полностью вникая в смысл. Да там и шло заверение: что генерал Хабалов принимает все доступные меры для подавления бунта, но полагает необходимым прислать надёжные части с фронта.

Может, надо было задержаться, перечесть? Вообще — вернуться, пойти поговорить с Алексеевым? Но всё это досадно происходило на глазах приготовленных к прогулке — и такой возврат, отмена прогулки выглядели бы слишком чрезвычайно.

Государь вложил телеграмму во внутренний карман шинели и спускался к автомобилям..

Выехали по оршанскому шоссе. Погода дивная, весело слепило солнце, но не настолько, чтобы таял снег. Обилие света и высота солнца были уже весенние. Николай оглядывался и радовался, и пересиливал какое-то поднимавшееся недоумение сердца.

Уже когда доехали и там гуляли — захотелось ему вынуть телеграмму и ещё раз перечитать, не всё он в ней уловил. Но опять-таки это выглядело бы чрезвычайно, напугало бы свиту.

Ничего, даст Бог, всё кончится хорошо.

Разговоры на прогулке текли будничные, обычные.

На виду у всех Государь был загадочно спокоен, будто не знал ничего тревожного, либо, напротив, уже всё решил и принял все достаточные меры.

95

И — всё по этим комнатам. Медленно кружа. Ходя. Садясь.

И кабинет свой не радовал, не мог себе в нём найти Георгий ни малейшего занятия. Заставить себя.

Всё по этим комнатам, уже больше её, чем его. А вот — и не её. И как бы уже не общим. То-то склепным воздухом пахнуло с порога, как заходил.

А может — прячется у Сусанны опять? Или помчалась в Петербург?

Конечно, было бы свободнее всего: придраться, что вот она сбежала, и уезжай. Бросить всё в минуту — и ехать к себе. Не встретились — ну и хорошо, ну и ехать, и считай себя вольным.

И именно так бы надо.

Но он уже знал: облегчение будет только первые короткие часы. А потом наляжет угнетение. И — жалость к ней, гложущая жалость.

От этого не уедешь, это будет когтить, это застит весь мир, всё равно кинешься назад с дороги.

Не то что уехать, а он даже на эти часы неспособен был выйти на улицу — отвлечься, просвежиться, протрезвиться.

Или ждал, что она — вот войдёт, вернётся?

Вспомнил, как виделись последний раз — вот здесь, в средней комнате, тогда вечером после Смысловских, — и как она *смотрела* ему в лицо. Зачем смотрела?

Он стал как бы — весь болен.

Висели платья Алины кряду в гардеробе, два-три десятка, были и полуветхие, по скудости жизни офицерской жены, и сохранившие в своих полосках, уголках, воротничках, поясках — историю их восьми лет, разные случаи — смешные, досадные, трогательные.

Стоял, смотрел на них — с печалью.

Представить, как Алина плачет, вот здесь, в этой комнате, и трясётся лицом в своих тонких руках — непереносимо! Почему-то ничьи другие слёзы, ничьи за всю жизнь слёзы, ни даже мамины, ни верины, так не хватали спазмами косыми за горло, как — её.

Вот Ольда бы разрыдалась — совсем не то. Да она и не расплачется.

Вот какое было ощущение: как будто, сбежавшись с Ольдой, схватившись с ней в объятья, — не заметили и наступили — то ли на детскую ножку, то ли на кролика, — и *оно* там дёргается под подошвами, кричит, — а мы не слышим, захлебнулись.

Да уже что-то и от Ольды не подхватывало сердце в воздух как восходящим током жаровни.

Нет, Ольды не удержать.

Может быть, и была такая тропка для души: ни с той, ни с другой. Отойти и разобраться. Может быть, и была, но не замечена вовремя: где на неё был сворот?

Вот эта раненость её — больше всего и ранит.

Вот эти ножницы её, расхваченные, распахнутые, как горло в крике.

Примириться бы — и снять с души этот груз. Забыть бы всё происшедшее, будто его и не было. Примириться — и чтоб опять легко.

Но — никуда не уходило ощущение чугунного несчастья.

Разлома жизни.

Которой не надо было разламывать.

Было бы легче гораздо, намного, если б Алина была — вот тут, сама. И — кричала бы на него, и упрекала, и позорила, — и он бы в пятнадцать минут объяснился, излечился, пристегнул шашку и — помчался бы на фронт.

Но именно потому, что её нет здесь, она так беззащитна, только распахнутые немые зевы ножниц, а ты такой палач, — вспоминается о ней только хорошее, только самое хорошее, ничего дурного. Именно потому, что её нет, — всё здесь так терзает — за неё, без голоса, укоризненным видом своим.

Вот этот фарфоровый качкий рожок для чернил, сейчас сухой. Или эта шкатулка мелкой резьбы. Все вещи тем и укоряют, что хозяйка проникло любит их, они её частицы. И сколько трогательно безпомощных следов её начатых и незавершённых порывов: учебники и тетради французского языка (покинуты); вязанье (брошено); шитьё (не окончено); любительские фотографии — перетем-

нённые, пересветлённые, умеренные, долей вклеенные в альбом, больше — грудой, неразобранные; бадминтон (оставленный; уговаривала Георгия когда-то играть, ему не понравилось). Алина всё что-то новое пробовала, испытывала, отдавалась фантазиям, хотела, как она говорила, взлететь — и именно потому, что всегда неудачно, и ты это сознаёшь, а она нет, — так и перехватывает теперь горло наперекос.

Такая острая тоска — это всегда удел оставшихся на том самом месте, обычно женский удел: вот, только что, близкий был здесь, вот ушёл — и так полыхнёт по сердцу горечью.

Её ли жалко? Чего-то неназовимого жалко? — невозможно понять самому.

И не отвлечёшься мыслями никак. А часы тянутся, и надо ждать теперь Сусанны. Нечем заняться, ничего не сообразить, голова чугунная.

Полез поискать выпить — серебряная рюмочка с ласточкой, её подарок именинный. Пошёл на кухню поискать закусить — её шутейные цветные варежки, которыми она с огня берёт. Её письменные «меню завтраков», «меню обедов», — хотела систему разработать, конечно опустила… Её нагромождённая тара — коробочки, баночки, упаковки, новые оттесняют старые, а те тоже не выбрасываются, задвигаются глубже.

Тоска — даже, может быть, не по ушедшему человеку. Это — слишком урывающая тоска, какая-то даже… — отчего? куда?.. Какое-то ли предвидение — всеобщих наших разлук?..

При разорённой душе ничто не может ни насытить, ни обрадовать. Пустота и есть пустота.

В дверь позвонили. Вздрогнул: она?? Нет, она бы сама отперла.

Открыл — почтальон. Протянул конверт — и дальше.

Рука Алины!

А штамп — поезд «Воронеж — Москва», вчера. Опущено в почтовый вагон.

Вскрыл — какой неузнаваемо дрожащий почерк, изломан чуть не в каждой букве! — ещё больше испугался! Но тут же понял: писала на ходу поезда. Куда ж она?..

«…Ты дважды, ты трижды недостоин моей любви. Ты не видел, с кем ты жил. У тебя пелена на глазах была. Я могла украсить любое общество! Но мои лучшие возможности остались нераскрыты. Мои мечты, стремления — растоптаны навечно! И никем иным, как тобой!»

Прервался. Сел за обеденный стол. Письмо — положил. И руки — вытянул по зеленоватой шитой скатерти. И смотрел застыло.

И наверно, долго так просидел.

Наверно, в Борисоглебск, к матери.

Вспомнил, взял опять читать:

«…Изо всех, кто делал мне в жизни плохо, — ты самый жестокий, так и знай! Получила ли я от тебя вознаграждение за годы, когда я во всём тебе подчинилась?! Восемь лет я была заперта тобой на замок. Но теперь кончилось моё рабство!»

И опять прервался. И опять вытянул, вытянул руки во всю длину, перед собой на незаставленной скатерти.

Как всё ушатнулось от него. Как о чужом о ком-то.

Никогда ни одного письма её он не читал вот так.

Но и — никогда он не чувствовал в себе такой пустоты. Та-кой пустынности безконечной!

«За это время я имела горький досуг тончайше продумать и тебя и себя. Теперь я вижу: в тебе — душевная порча. Окунись в свою совесть! — посмотри, какая она грязная! Только я — твоя совесть и твоё спасение!»

Да ведь такое самое она и писала ему всю зиму. Странно, что за весь день сегодня тут он не вспомнил ни одного из этих упрёков. А вот они — опять.

И — опять?

И — навсегда теперь?..

Непроломный тупик.

Если бы сейчас Ольда была в Москве — ринулся бы к ней?

Ох, нет.

Что-то и с Ольдой — не так…

Пу-стыня. Пу-стыня.

Ещё что-то недочитано?

«…Если ты хочешь, чтобы я отказалась от жизни, — скажи прямо. Для всех — я просто исчезну. И только ты один будешь знать, где меня похоронят. И прошу тебя — навещай меня хоть один раз в 10 лет…»

Ну-у-у-у… Как будто уже не к нему.

Удивлялся всегда: как это люди напиваются, зачем? Неужели нельзя овладеть собой?

А сейчас — напиться бы до безчувствия, одно здоровье.

Сидел.

Сидел.

А почему он всегда был уверен, что Алина любит его?

Курил.

Ходил.

Вот за своим письменным столом сидел.

Среди приглядевшихся постоянных предметов такой знакомый: стеклянная, чуть усеченная пирамидка, на задней грани наклеены два швейцарских луговых вида, один над другим, а через толщу пирамидки увеличиваются.

Чем чаще видишь — тем меньше замечаешь. А ведь это — мамин предметик, от мамы остался.

Мало что от мамы у него осталось.

И даже фотография её не стоит нигде. Тут лежит, в ящике.

Целая жизнь была — московское детство. А вот искать-поискать — никого сейчас и не найдёшь.

Не найдёшь.

Курил.

Вспомнил.

Достал конверт, почтовую бумагу.

«Калисе Петровне Коронатовой. Большой Кадашевский переулок.

Милостивая государыня Калиса Петровна!

Я проездом на фронт в Москве. Не знаю Ваших нынешних обстоятельств. Но если они благоприятны — не мог ли бы я посетить Вас сегодня вечером?

Искренно Вас уважающий

Георгий Воротынцев».

А в магазине Чичкина, рядом, всегда есть посыльный.

****

БИВШИСЬ С КОЗОЙ — НЕ УДОЙ

****

96

Самому Михаилу Владимировичу Родзянко казалось: ни у кого в России не было такого трагического положения и никто так трагически не охватывал суть событий, как он. История поставила его если не на четвертование, то на разрыв сполошенными быками. (Бычьи морды представлялись — как рельефы на Круглом рынке у Мойки.)

Видя за собой не только право чувствовать и рассуждать за всю страну, но и решать и *быть* за всю страну, Родзянко имел мужество никак не покоряться и не льстить царю, но открыто говорить ему на докладах горькое, указывать, каких ненавидимых лиц следует убрать и к каким настроениям общества надо прислушаться. Ему самому было тяжко, что он, твёрдый монархист, должен был осуждать действия монарха и бороться с его распоряжениями, — но для пользы Родины! Также и обществу и левому крылу Думы, как ни благоволя им, Родзянко имел мужество не покоряться, но отделять себя тем, что он верен присяге, ничуть не отходит от монархического принципа и никогда не вступит в заговор против царя.

И за то — царь не терпел его советов и перестал их слушать! И за то — кадетское крыло перестало ему доверять, и, ещё год назад верный кандидат в премьеры общественного министерства, Родзянко был милюковским упорным манёвром подменён на ласково-ничтожного князя Львова. (Подменён, но не сломлен! И внутренне продолжал считать себя неизбежным будущим премьер-министром! — просто смешно сопоставлять его грозную фигуру и этого земского угодника-уладчика.) И за то (ему передавали) — Горемыкин называл его сумасшедшим, Кривошеин добавлял — и в опасной стадии, правые — махровым болваном.

Но с высоты председательского места Родзянко лучше всех видел Россию. Он видел, как царь, не исполняя его советов, губил Россию и всё дело. И видел, как кадеты, ожесточась в борьбе, готовы были сгубить не только императрицу и Штюрмера, но всё русское государство. Вот сейчас — что наделал царь перерывом думских занятий? Он перерубил всякую возможность мирно уладить конфликт. Но чего хотело левое крыло? Не подчиниться царскому указу и не расходиться?! Но это — был бы ещё худший бунт! На это Председатель тоже не мог согласиться.

А что делалось на улицах? На улицах Петрограда солдаты убивали офицеров!

Быки — разрывали, растягивали. И надо было стянуть их за упрямые выи!

Что было делать? Что было делать? Вчера, едва отправив громовую телеграмму, Родзянко был обожжён звонком Голицына, что с утра Дума распускается на перерыв! И что́ он мог делать среди ночи? Только топтаться по комнатам.

Утро принесло некоторую удачу: умница Брусилов тотчас отозвался телеграммой, иносказательно подтверждая, что — получил и передал поддержку ходатайства. («Свой долг перед Родиной и царём исполню».) Вероятно, то же сделал и Рузский, хотя ещё не отозвался.

Но — Алексеев?? — молчал. Значит, царь — не отзывался Председателю ни словом.

А между тем его ночная телеграмма оказалась пророческой! — развивается неудержимая анархия, которую сдержать будет невозможно! И что он проницательно предсказывал престолу ночью — вот, с утра уже и прорвало. Да где! — в гвардии! И в день, когда началась гражданская война, — царь выдернул последний оплот порядка — Государственную Думу!

Один Председатель видел во всей полноте, насколько это был безумный шаг. И опять-таки: один Председатель мог попытаться исправить.

Вот что: надо давать новую телеграмму! На этот раз — прямо царю!

Да, только такая телеграмма может всё спасти и исправить. Если Государь одумается.

Так одинокое сидение Председателя в кабинете разрешилось снова делом — телеграммой! Он опять размашисто писал на нескольких бланках, по две фразы на каждом, продолжение следует.

…Повелите, Государь, в отмену Вашего высочайшего указа, вновь созвать законодательные палаты… Повелите, Государь, призвать новое правительство на началах, доложенных мною Вам во вчерашней телеграмме… Возвестите безотлагательно эти меры высочайшим манифестом… Государь, не медлите! Если движение перебросится в армию — восторжествует немец, и неминуемо крушение России, а с нею и династии…

Надо теперь сразу умело совместить: и подавление бунта, и создание ответственнного правительства.

Да наконец… Да, он должен так прямо и написать:

От имени всей России прошу Ваше Величество об исполнении изложенного. Час, решающий судьбу *Вашу* и Родины, — настал! Завтра, может быть, будет уже поздно!

Даже Родзянко — что ещё мог сделать? Как ещё громче крикнуть?..

Нет, можно было ещё громче. Кончить — просто потрясающе. Но и — не сходя с твердыни монархизма:

Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца.

Вот т а к а я телеграмма — несомненно впишется в историю России!

Однако всё-таки и дерзкая фраза. Может вызвать гнев Государя и всё испортить.

И просто со слезами горючими, так жалко было этой лучшей фразы своего пера, Михаил Владимирович осторожненько зачеркнул её.

А в черновике осталась.

Отослал в телеграфное отделение Таврического дворца. Прямо отсюда должны были отстукать через десять минут.

И вдруг сообразил: ещё мог! Ещё мог проявить одно важное усилие, доступное ему одному только!

Председатель не мог вызвать в столицу царя — но мог вызвать царского брата, фигуру рядом с царём. В такой безумный день это может пригодиться. А Родзянко имел большое влияние на Михаила Александровича: тот безусловно признавал за ним второе место в государстве. Они ещё были и связаны как оба бывшие кавалергарды. А супруга великого князя, столь влиятельная на мужа, всегда была за Государственную Думу.

И Родзянко стал дозваниваться — и дозвонился в Гатчину, где, в доме жены, великий князь Михаил проводил сейчас отпуск, вернее — переход с одной военной должности на другую. Дозвонился, и стал просить и настаивать перед обоими, потому что окончательно решала супруга: чтобы великий князь немедленно и тайно приехал бы в столицу, для встречи с Председателем Думы. (Тем уверенней он звонил, что в январе Михаил сам являлся к Председателю — «поговорить о положении страны, посоветоваться», и ясно было, что его подсылала доискливая супруга, при общей критической шаткости.) Сегодня Михаил не очень хотел, мялся. Но Наталью Сергеевну удалось убедить. Хорошо, едет.

Хорошо.

Так! Один Председатель сделал всё возможное и всё невозможное. Теперь — не собрать ли руководителей фракций, совет старейшин? Распорядился.

Стали собираться, каждый при входе в кабинет удваиваясь из-за зеркальной стены, — а Родзянко был для всех удвоен своим мощным заплечьем.

А рядовая думская масса всё так же ходила, жужжала по дворцу, только изредка видя своих поспешно мелькающих лидеров, но не получая от них указаний. Все уже знали о разграбе Арсенала, о взятии Крестов, об убийстве офицеров — и только Таврический дворец, хотя и рядом с событиями, оставался в каком-то царстве дрёмы, куда не прорывались действия, а лишь доносились отдалённые выстрелы.

А в кабинете Родзянки собрался как бы не совет старейшин, но опять бюро Прогрессивного блока? — только с добавлением Чхеидзе и Керенского. Потому что лидеры правых фракций тотчас по оглашении указа о роспуске — ушли и не появлялись.

Итак, уже прозаседавшее впустую бюро Блока — должно было всё же что-то придумать? Вся душа противилась подчиниться безцеремонному царскому указу. А не подчиниться — значило самим начать революцию?

Сидели как над развалинами: всё сметено, вся долгая осада и потом атака, устроенная Блоком. На улицах стреляли, убивали, носили красные флаги — и в такой момент не стало ни Думы, ни Блока!

Вторая главная тут фигура, Милюков, не мог скрыть неуверенности, в обстановке слишком неожиданной не знал, как угадать. Он так боялся ошибиться, что лучше бы пока не действовать никак.

Ну, хорошо: они вынуждены были согласиться не функционировать как Дума. Но хотя бы всё-таки условиться: не разъезжаться по всей России? Остаться всем в Петрограде, в возможности для встреч и соединений?

Кроме вьющегося в кресле Керенского и благообразно сияющего Чхеидзе (дожил до великого праздника, и ему удивительно, что не радуются остальные) — все старейшины были растеряны. Но и надо же было что-то делать с думской массой, там гуляющей и ждущей. Нельзя было и никакого решения принять окончательно, не собравши их всех. Но и — собирать их всех, войти в зал всем по звонку, как всегда, — было бы открытое неповиновение государевой воле, уже бунт!

Керенский так и предлагал: звонок, и всем в зал!

Но Родзянко — знал государственные законы, у него не вырвешь.

Но тогда — совсем безвыходно!

А в Екатерининском зале — думцы всё ходили, ходили, возбуждённые, и с новыми вестями, куда ещё по городу распространился военный мятеж.

А сюда — не катилось! А здесь, вокруг Таврического, всё так же было угнетающе спокойно, только выстрелы издалека, и всё дальше.

Потрясённый Шингарёв держался двумя руками за голову и изумлялся своим нутряным голосом:

— Да что ж это делается?.. Такие вещи… Такие вещи во время войны могут устраивать только немцы!.. Кто ж их подстрекнул?.. Кто ими руководит?.. И что же смотрит правительство?!

Много месяцев, ругая правительство, они только злорадствовали, что оно ни с чем не справляется, и желали ему ещё хуже не справляться, совсем обанкротиться. Но сегодня, когда начался бунт, хаос, разграб оружия, освобождение уголовников, — лидеры Блока, да каждый думец, уже как простые граждане страны могли бы ожидать от этого правительства ну хоть какой-нибудь минимальной твёрдости, ну хоть какой-нибудь попытки навести порядок? Но удивительное это правительство как раз вот в этот день, как раз вот в эту страшную минуту и не подавало ни малейших признаков жизни!

Было так, как с детьми, которые толкали-толкали бы шкаф, считая его незыблемым, — а он бы вдруг опрокинулся, да со всей посудой.

А они ведь по-заправдошнему — никогда не переворачивали! Они только в мечтах носили и в кликах призывали, чтобы само перевернулось, — а они не переворачивали.

Вдруг прибежали, перепугали, что на Думу движется 30-тысячная толпа!

Толпа — да ещё 30-тысячная??! Жутко такое чудище и представить. И — зачем бы шли они на Думу, если не громить её?

Тут прибежали новые свидетели и объявили, сами только что слышали: в мятежной толпе разное кричат, но кричат и так: *по-*

кончить с Думой! В Думе, мол, цензовые элементы — так перебить их теперь же!

Цензовые… Мурашки по спинам. Да, кроме крестьян, хоть и правых, да ещё рабочих нескольких, они, остальные тут, хоть и левые, — были почти все ведь цензовые, то есть состоятельные, то есть, конечно, с личным достатком.

Очень становилось неуютно в угрозно-затихшей Думе.

И только носился-вился Керенский: когда же придут? когда же? Под дыханием народного бунта вся Государственная Дума обратилась в толпу неумелых, чуть не в овечье стадо, — и только у Керенского обострились все окончания нервов, утысячерились способности различать: не бояться этой толпы — но жаждать! Грядёт в ней новая слава Таврического дворца!

Он жадно вдыхал этот воздух восстания! Пришёл его лучший и высший час!

Утренние его усилия помогли: там криками какой-то клок толпы вразумили и повернули к Думе. Но как ни метался он между окнами — не увидел сам подхода, и посыльные его опоздали донести — и примчались в Екатерининский зал смертельно испуганные думские приставы: что толпа — пришла!! она — уже в сквере, уже перед крыльцом, и нет сил удерживать её, сейчас ворвётся во дворец!

Доложили, конечно, Родзянке, — но Родзянко вдруг сконфузился: он привык выходить перед Думой — и перед всей Россией сразу, и даже перед всем миром, — но он не был готов выйти перед этой смутной, лихой толпой. И что он мог им сказать в защиту и оправдание Думы? Что он послал телеграммы царю и Главнокомандующим? — вот только. Он пребывал озадачен.

Но — те несколько левых лидеров, таких дерзких, крикливых, обременительных для Председателя, да всем помешных весь думский путь — теперь-то и пригодились! теперь-то и рванулись навстречу толпе, перебегая Круглый зал: невесомый бегун Керенский, и лысый селезень Чхеидзе, от которого и прыти такой нельзя было ожидать, и как будто вялый, нехваткий Скобелев, — они бежали наперегонки, а догоняя их, а не имея права отстать ни в коем случае, уронить и честь и ветвь Прогрессивного блока, — его председатель бюро, неслышный, неговорливый серенький Шидловский. Хоть и цензовый.

Керенский всех опередил и первый лётом прорвался вперёд, а те трое поспевали вровень и через все двери продавливались трое одновременно.

Сколько же пришло? О, хотелось бы больше! О, хотелось бы видеть всю Шпалерную залитой до уже невидимости! А пришло — может быть только сотни две-три, не та желанная толпа-гидра, какая рисуется в революционном воображении, — но всё-таки толпа! Нестройная, безо всяких вожаков и единой воли, а — кто выдвинется и крикнет, — но это и есть толпа! С винтовками и без винтовок, солдаты разных полков, видно и непривычному глазу, и вооружённые штатские, уж там рабочие или мещане, этого не различишь, а держать винтовки не умеют, ещё знают ли, как стрелять, а у кого-нибудь, смотри, выстрелит и сама, — и ни одного красного флага, как на самой последней демонстрации, — но какие решительные лица! застывшие движения! А может быть и не решительные, и не застывшие, а от первой тревоги сейчас же и убегут? А может быть наоборот — властно ворвутся в Думу и будут распоряжаться?

Всё это в один миг охватывая, уже потом заметив ещё и какого-то гимназиста, двух как будто горничных, двух-трёх мальчишек, — Керенский, не успевая подумать, едва лишь обеими ногами выбрался на крыльцо, ещё трое других проламывались в дверь, — уже воскликнул, со взлетевшей рукой:

— Товарищи революционные рабочие и солдаты! От имени Государственной Думы…

Он был досадная помеха в этой Думе, enfant terrible, непредусмотренное исключение, но сейчас чувствовал, как вся оробевшая Дума вливалась в него через спину — и он, лидер кучки трудовиков, становился вся Дума!

— …разрешите приветствовать ваш неудержимый революционный порыв против сгнившего старого строя. Мы — с вами! Мы благодарим вас, что вы пришли именно сюда! Нет такой силы, которая могла бы противостоять могучему трудовому народу, когда он поднимется в своём гневе!.. Народные представители, собравшиеся в этом здании, всегда горячо сочувствовали…

О, как легко оказалось говорить, совсем не прерывали, и всем до последнего ряда слышно неподдельно революционный голос оратора, а фразы сами — подаются, подаются, может быть повторение привычных, может быть сочетание сказанных, а может быть невиданно новые, ещё никогда не звучавшие ни в одной революции на Земле! Керенский то разглядывал лица — посередине, слева и справа, то смотрел поверх голов — дальше, к тем тысячам, которые ещё придут, — он выпалил всему взволнованному народу

первый революционный заряд (речь не должна быть слишком длинной) — и вдруг гениально догадался. Он знал случайно волынские безкозырки и видел их несколько тут, в первом ряду, и вдруг воскликнул прямо к ним, голосом награждающего полководца:

— Товарищи волынцы! Государственная Дума благодарит вас за преданность идеалам! Она принимает ваше предложение служить свободе и защищать её от тёмных царских полчищ! Вот вас четверых, товарищи, — назначаю первым почётным революционным караулом — у дверей в Государственную Думу! На вас выпадает великая честь! Становитесь на пост!

Никогда он не готовился к военным командам и не знал, как распорядиться, и голоса такого не тренировал — но почувствовал, что и голос и военачальство в нём возникнут сами, — за час и за два революционного мчащегося времени Керенский переродился, перерождался!

И застигнутые волынцы, впрочем и не знавшие, куда им дальше, теперь рады, что пристроились к делу, — повиновались, поправили безкозырки, расправили шинели под поясами — и стали часовыми все четверо в ряд, не предвидя, кто же будет их сменять.

А из толпы крикнули «ура».

Теперь выдвинулся говорить — Чхеидзе. Он растроган был, что дожил до революции, которую предрекал в каждой речи, по бюджетному или транспортному вопросу. Эти фразы столько раз перебывали у него на языке, что теперь повторялись безо всякого напряжения, он лил их надтреснувшим голосом, вскрикивал «ура» — и в несколько охотных голосов ему откликались.

А Скобелев сильно остерегался: это тут сейчас, в минутной горячности, кажется: ура! поставили первый революционный караул! — но какая была защита от царских войск этот сброд, какая была победа свободы, когда сто послушных дивизий могли нагрянуть завтра на Петроград? Однако верность социал-демократии заставляла рисковать. И — заговорил. И полилось, оказывается, свободно, без смазки.

А какой-то, вроде развитого рабочего, из первого ряда ответил:

— Вы, товарищи, — наши истинные вожди. А таких, как Милюков, нам и даром не нужно.

97

Утренний солдатский бунт смешал весь предполагаемый ход событий. Теперь: распущена Дума или не распущена — переставало быть самым главным вопросом, как казалось вчера. Теперь вообще становилась неясной очерёдность правильных мероприятий, что делать правительству и даже — *где* ему делать, ибо само передвижение министров по столице переставало быть безопасным и даже — осуществимым.

Утром военный министр позвонил премьер-министру — и оба они, по двум концам линии, долго гадали: следует ли принять какие меры или никаких? Естественно как будто именно от правительства ждалось решение, но поскольку столица находилась в полосе военного положения, то гражданские власти ни за что не отвечали, а и военный министр не отвечал, ибо вся полнота ответственности была передана генералу Хабалову.

Так трудно было до чего-либо додуматься в двустороннем телефонном разговоре — решили, что надо бы собраться и посовещаться. Но князь Голицын не хотел бы сам перемещаться по улицам и поэтому назначил местом сбора министров опять-таки свою квартиру на Моховой. Верных два часа ушло у него затем на созванивание со всеми министрами и такие же сложные выяснительные разговоры. Наконец часам к одиннадцати стали министры собираться.

Первым приехал генерал Беляев. На его щуплой фигурке казалась избыточно тяжёлой генеральская шинель, на его маленькой голове — избыточно крупной прикрывающая её военная фуражка. Китель с аксельбантами, вензелями и орденами был на нём, как на мальчике. Но всё восполнялось трагической серьёзностью его изглазничного тёмного взгляда за крупным пенсне. Министр всё видел, всё понимал, не нуждался в объяснениях?

А приезд министра торговли-промышленности, просвещения или прокурора Синода тем более ничего не решал.

Министры съезжались плохо. Ещё и ещё сзывали по телефону коллег, без них не начиная заседать.

В небе стало дымно, и прислуга объяснила, что это подожгли Окружной суд — совсем же недалеко, три-четыре квартала, полверсты! Отчётливо слышалась ружейная стрельба. Прислуга объ-

яснила, что это стреляют на Литейном и на улицах за ним, и там бегают толпами солдаты.

Так становилось исключительно опасно находиться именно здесь, на Моховой! Сбор министров и квартира самого премьер-министра подвергались угрозе налёта этих банд. Теперь князь Голицын очень пожалел, что не назначил собираться в Мариинском дворце на тихом краю, но уже все были оповещены. Теперь он стал звонить этому безтолковому Хабалову, требуя охраны к своему дому, — а Хабалов отвечал, что у него нет резервов. Но чего же стоил такой командующий Военным округом, который не мог охранить даже квартиру премьер-министра?

Через возбуждённые переполненные улицы с трудом добирались министры, кто на колёсах, кто и пешком. Наконец уже после полудня собралось министров шесть-семь, но всё таких, кто не могли отвечать за происходящее. А несомненно виновный Протопопов всё не являлся.

Собрались, но не совещались, а чувствовали себя очень нервно. Пили чай или кофе, присаживались, вставали, собирались по двое, по трое, кто курил, высматривали в окно, — на Моховой ещё было мирно, — и прислушивались к новостям, приносимым прислугой. Звонили в свои министерства, узнавая, работают ли там, — и как будто все работали.

Министр иностранных дел Покровский своей притрусочной походкой бродил между министрами и, наставляя опущенные усы на одного и другого, спрашивал, как же с отставкой кабинета? Ведь вчера на переговорах с Маклаковым они обещали при роспуске Думы распуститься и сами. Сегодня утром у него был французский посол Палеолог и настаивал, что союзники ждут ответственного министерства; а пополудни ожидает их вдвоём с Бьюкененом — и они будут настаивать на том же. И что отвечать?..

Меньше всех говорил и двигался Беляев — сидел в углу, очень потемневший.

Наконец вошёл Протопопов — с измятым, усталым лицом отыгравшего артиста, с видом, что заранее предвидит упрёки, но хотел бы не слышать их.

Однако ему пришлось услышать. Все министры, кто только сюда собрались, теперь гневно обрушились на Протопопова: что это он виноват более всех! что он ввёл кабинет министров в заблуждение своими успокоительными заверениями, и вот — невозможно исправить! Долго не давали ему даже в оправдание высказаться.

Разрядили на нём всё министерское безсилие, всю досаду, какую испытывали.

Правда, и не было в Протопопове обычного наскока бодрости. Провалилась между плеч его гордая, хоть и лысоватая голова, и смотрел он больными, невесёлыми глазами. Он оправдывался, но, как достоверно виноватый, ни разу не сказал «дорогие мои». Что начальник Департамента полиции как раз вчера заверял его, что как раз вчера арестованы все главари всех революционных партий. Поэтому революция обезглавлена, и происходящее не может считаться революцией. Откуда э т о взялось — непостижимо, никак этого не должно было быть! А волнения в войсках? — за это он не отвечает, это — военный министр.

Но все опять кричали на Протопопова, он сгорбился, ещё больше провалилась актёрская голова между плечами, и замолчал.

Пришлось оправдываться и Беляеву. Он стал похож на перепуганного зайца, которому и бежать некуда. Кто ж мог предвидеть стихийное движение войск? Это невозможно предусмотреть. Теперь — помощь может прийти только извне Петрограда.

А между тем охрана к дому премьера всё не приходила. Рядом, на Литейном, всё больше разгуливалось, слышны были выстрелы и сюда. Не только открывать заседание, но и оставаться здесь становилось опасно.

Они были — имперское правительство. И они же были — малая кучка растерянных людей, не имеющая никаких связей управления.

Щемяще затискивало их: что происходит? И почему они здесь, в полутёмной частной квартире? Как будто какая-то конспирация.

Пустой вызов. Нескладная, ненужная встреча.

Князь Голицын, не давая себе горбиться и хромать, авантажно расхаживал по комнатам. Он всё более решался перенести заседание в Мариинский дворец.

Тут приехал вызванный Хабалов.

Диктатор производил впечатление удручающее, весь в тенях, кожа лица складками. Большая генералова челюсть подрагивала при разговоре, крупные руки тоже, и голос был неуверен. Он не брался объяснить, почему это всё началось, как происходило, в каких районах что, — и чего можно было ожидать в продолжение дня. Но его не очень и спрашивали, а князь Голицын только отчитывал.

Вскоре же Хабалов и уехал, обещая прислать тотчас охрану.

Но тут принесли слух, что по Пантелеймоновской движется толпа.

И единодушно решили: сейчас разойтись, по одному, а после 3-х часов собраться в Мариинском дворце.

Очевидно, что перемещаться министрам было безопаснее поодиночке.

Видя, как плохо с Хабаловым, князь Голицын просил темноглазого, скорбного, съёженного, маленького Беляева, хотя и сделанного из папье-маше, самого поехать в градоначальство, посмотреть своими глазами и разобраться.

98

В воскресенье так уже всё замирало, что в понедельник утром на Бестужевские курсы слушательницы собрались: да надо же всем повидаться, новостями обменяться да что-то решать!

Первая двухчасовая лекция прошла почти спокойно — но к концу её стали распахиваться двери аудиторий и из коридоров выкрикиваться огневые новости. Курсистки стали выбегать, захлопали двери, и лекции скомкались.

Вероня с Фанечкой ощутили вину, что опаздывают, сегодня не принимают участия. Решили: бросать занятия, бежать, будоражить! Получили по большой буханке хлеба (городская дума с субботы наладила продавать хлеб курсисткам в здании курсов), занесли к фаниным старикам, бросили, занесли к тётушкам, бросили, чтоб им в хвосте не стоять, — и понеслись по Васильевскому.

Однако, хотя с той стороны Невы доносилась даже несомненная стрельба, — тут, на Васильевском, сегодня ничего революционного не происходило: шли себе прохожие — а толпы не собирались, никто ничего не громил и даже песен не пел.

Позор! Васильевский остров, который начинал бить булочные и демонстрировать из первых, — теперь как в спячку впал, не густился. И где же были все эти тысячи забастованных рабочих? У тех же булочных стояли те же хвосты, но уже с извечной российской покорностью.

Прохожих? — не станешь останавливать агитировать. Попробовали девушки заводить речи у хлебных хвостов — тот же людской материал. А забастованные рабочие сидят по домам? — и не из квартир же их ходить вытягивать.

Вернуться на курсы? Собраться курсисткам своей отдельной демонстрацией и выйти? Не догадались сразу, а теперь все сознательные уже разбежались, а если кто остался дослушивать лекции — так и будут до конца.

Дразнить полицию? Но и полиция уже не стояла больше нигде одиночными постами, а либо крупными нарядами, либо сидела засадами по своим участкам.

Конечно, можно было выбрать себе лёгкий жребий: под видом мирных барышень перейти мост, отправиться в центр, а там уже влиться в общее кипение. (Саша в своём Управлении конского ремонта — там от центра событий недалеко, и, уж конечно, времени не теряет, счастливец!) Но их долг был — действовать тут, где они есть, на Васильевском острове.

И решение оставалось только — призывать войска! — Финляндский полк, там и сям стоявший по острову отрядами.

И Вероня с Фанечкой бросились бегать от одной солдатской цепи к другой, где ограждение, где оцепление у завода, — и безстрашно, пользуясь преимуществом пола, подходили вплотную к цепям, игнорировали старших офицеров, а обращались прямо к солдатам или к молоденьким прапорщикам — и объясняли, что они служат угнетению, и призывали переходить на сторону народа — а прапорщиков ещё отдельно стыдили. И ни один офицер их не отогнал, никто не толкнул, а прапорщики и краснели. Но солдатская пассивность разочаровала безгранично: ничего не отвечали, как не слышали, не видели, а некоторые хмурились, даже и бранились, даже и не совсем прилично.

На эту безплодную агитацию много времени ушло, цепь от цепи далеко отстояла, Васильевский остров большой, и всё пешком, девушки избегались, встречали и других таких неудачниц — и у всех зря.

Так и проходил день — и без результата.

А из центра — всё ясней стрельба! И уже — дымом потянуло! Дым от пожара, это — да!

Забежали к фаниным старикам перекусить, а тут — и телефонные новости, Раиса Исаковна от телефона не отходила: да в городе настоящая р е в о л ю ц и я! — это слово можно уже и произнести!

И решили девушки, что, раз сырое не поджигается, — хватит с них, они свой долг выполнили — и могут отправиться в город и влиться.

На Дворцовом мосту их уже знали как агитаторш, могли не пропустить. Пошли через Николаевский.

99

Штабс-капитан Сергей Некрасов, лейб-гвардии Московского полка, георгиевский кавалер за бой под Тарнавкой, сейчас служил адъютантом запасного батальона. Ещё и до сегодняшнего утра он считал, что все эти волнения — требования хлеба, а как достаточно выпекут — так и успокоится. И даже у телефона с утра, получая тревожные сообщения из центра, он всё не мог поверить, какое серьёзное происходит. И ещё стрельбу на Сампсоньевском и Лесном он понимал как отпугивание, образумление.

А старших офицеров никого в батальоне не осталось. Капитан Дуброва нехотя принял командование батальоном. В офицерском собрании — два брата Некрасовых да несколько прапорщиков, ни в какой наряд не посланных по своей неопытности. А ещё стягивались в собрание — солдаты, уже человек тридцать, поодиночке притекшие в казармы из разгромленных и рассеянных караулов из разных мест, пришедшие сюда по своей верности, — это были и лучшие солдаты, старослужащие.

Врач и фельдшер перевязывали первых раненых.

Но когда Сергей Некрасов увидел из окна офицерского собрания через плац, как четверо офицеров с револьверами отстреливаются от толпы, а потом побежали — и рухнул Шабунин, — в минуту он понял, что это большой настоящий бунт.

И с фронтовой быстротой в голове его пронеслись сцепленные мысли: надо стрелять сейчас же из окон и отбить полковой плац! — позвать всех, кто тут способен! — но стрелять из самого собрания нельзя: однополчане ему потом не простят вызванного встречного разорения. Зато можно стрелять из их адъютантской квартиры, над собранием наверху.

Он бы не успел это устроить — если бы толпа не замялась, не застоялась от первого убийства офицера.

Некрасов позвал — и человек двадцать офицеров и солдат бросились за ним, — в оббег, в другой подъезд и на лестницу на второй этаж. Их оказалось даже больше чем нужно: из адъютантской квартиры выходило на плац только пять окон, и из каждого окна не стрелять больше чем троим. При избытке людей одноногий капитан Всеволод Некрасов стал на охрану квартирного входа, со стороны Сампсоньевского.

Штыками пробили нижние стёкла окон и с колена стали стрелять по толпе.

Отсюда открывалось густое столпление у Лесных ворот и до цейхгауза. Там толпа убила часового и грабила оружейный склад. При внезапной дружной стрельбе некрасовской команды — толпа стала отваливать, частью назад, в ворота на Лесной проспект, частью — вбок, за штабели дров и за цейхгауз.

Так ворвавшихся остановили.

Но и стреляющих обнаружили, открыли огонь оттуда, у мятежников уже было много винтовок — и через несколько минут здесь были выбиты все стёкла, защитников осыпало осколками и пылью штукатурки от задней стены, тоже кирпичной, о которую плющились пули.

Одного тут ранило. Позже — и другого.

Через несколько минут вдруг увидели, как из левых казарм, из 3-й роты, выбежала толпа своих безоружных солдат — и кинулась через плац наискосок на соединение с толпой внешней. Бурная, ненадёжная 3-я рота взорвалась от видимого им боя.

Остановить их! — не то конец Московского полка!

Огонь по своим солдатам…

Потеряв несколько упавших, те смялись, повернули и побежали к себе в казармы назад.

В сумрачно-морозном дне виделась там, за штабелями, за укрытиями, внешняя толпа — чёрные фигуры и сколько-то солдат, бродили (иногда видны были их головы над штабелями, но по ним не стреляли), совещались ли, готовились.

Потом выбежали в атаку.

Но под дружной стрельбой некрасовской команды отхлынули.

Так повторялось несколько раз — и всякий раз их отбивали.

За передышки полковые санитары подбирали с плаца раненых, унесли и Шабунина.

И он и Вериго были ранены смертельно. И умирали в лазарете.

Так — ворвавшихся как будто остановили, не пускали на плац. И позади железные ворота на Сампсоньевский прикрывались остатком верных солдат.

Но оставались не перекрытые огнём чёрные ходы — и наружная толпа могла постепенно перетекать в ближние казармы, а солдаты 3-й роты — перетекать вовне к рабочим.

Несколько раз с большими перерывами восставшие возобновляли сильный огонь сюда, по окнам, их чёртова уйма, а некрасовской команды всего пятнадцать. Обороняться становилось всё трудней.

Впрочем, и опять утихало.

Растянутая во времени защита становилась безнадёжна. Но пока были силы и патроны — надо держаться.

Достиг откуда-то слух, что толпа мятежников уходит, но обещает вернуться с орудием, чтобы выбить картечью.

Впрочем, толпа не ушла, а густела за укрытиями.

Потом пришёл брат Всеволод и сказал, что в батальон вернулся капитан Яковлев и приказал всякий огонь прекратить.

Передавали и сцену: при возврате Яковлева капитан Дуброва сдал ему батальон — а сам почти парализовался, упал на стул, лишился управления руками и ногами, его поддерживали и унесли в соседнюю с казармами детскую больницу. То — была его контузия под Тарнавкой.

Приказа прекратить огонь Сергей Некрасов не мог принять от хозяйственного капитана Яковлева! Он воспитан был биться и в безнадёжности — до смерти. В бою под Тарнавкой их Московский полк, взяв у немцев сорок два орудия (шли цепями четыре версты под артиллерийским огнём по открытой местности), окопался кольцевым окопом и двое суток держал добычу против наступающего корпуса, пока не пришла выручка.

Штабс-капитан Некрасов не принимал, как можно бросить оборону, пока ещё есть силы держать её. Не кончили боя — и признать поражение?

Он хотел бы сам понять, что творится в городе. Но узнать неоткуда: как сказали ему, полковой телефон, с утра непрерывно звонивший, теперь был выключен или перерезан.

Тут Некрасов сообразил, что есть ещё один телефон — у бывшего командира полка генерала Михельсона, в том же здании, с другой лестницы. В своей разорённой, обезображенной, затоптанной и промороженной квартире он оставил наблюдателей, остальных послал греться в собрание, а сами с братом пошли к генералу.

Генералу тоже в двух местах пробило стёкла, теперь заткнутые тряпками, и сам с женой он оделся и подготовился на случай эвакуации. Да, его телефон действовал, и он всё время звонил знакомым военным в разные места города. Везде в Петрограде — ещё хуже, чем здесь: нигде не образовалось ни одного очага сопротивления, к которому бы присоединиться. В центре — вообще никто никак не сопротивлялся мятежу.

Никто? и никак? Невозможно было понять!

Старый генерал советовал двум братьям-капитанам — и тут огонь прекратить. Не надо обострять отношений с солдатами.

Это ужасно! Завтра, послезавтра придут войска с фронта. Они легко подавят этот петроградский бунт. Но — что скажет батальон Московского полка? Как он смоет это пятно?

А сохранённое братьями собрание — простиралось из комнаты в комнату в своём достоинстве, монументальности и даже роскоши: огонь, перенесенный на второй этаж и вбок, ничего не причинил здесь. Всё было цело! — хрустальные люстры, двухсветный зал с колоннами, портреты Государей, портреты всех бывших командиров Московского полка на стенах биллиардной, библиотека, полковой музей, все окна, шторы, ковры, столовая, полковое серебро, мебель.

Только при стрельбе сбежала прислуга — и офицеров не кормили.

И необычно сидели на офицерской территории несколько десятков верных, застенчивых солдат.

Сдаваться было немыслимо, в этой кирпичной крепости!

Но и помощи ждать неоткуда.

И не отбить собрания дольше темноты.

Впрочем, пока стрельбы не было, и никто больше не наступал.

Война тоже была ненастоящая.

Пузатый, тучный капитан Яковлев, с лицом красным как мак, собрал всех наличных офицеров в библиотеке. Стояли.

Яковлев объявил:

— Господа, сопротивление безполезно. Стрелять в собственных солдат невозможно. Все запасные гвардейские батальоны в городе взбунтовались. Город в руках бунтовщиков. Не тронут мятежом только лейб-гвардии Гренадерский. Пока путь на Петербургскую сторону открыт — кто желает, уходите к ним, вы свободны.

И у кого семьи здесь во флигеле — скорей уводите туда, пока путь свободен.

Некоторые офицеры стояли со слезами. После бунта — разжалование? военный суд? Позор, позор, позор…

Только слово «революция» — не пришло в голову ещё никому.

100

Едва перебежали Литейный мост и слились с московцами и с выборгской рабочей толпой — тут и закричали во много глоток: «Айда Кресты выручать! Кресты!»

Кресты? Слыхал Кирпичников и прежде: тюрьма знаменитая, там политические сидят. Ну что ж, тюрьму освобождать уже понравилось, туда так туда.

А хоть бы он пошёл, не пошёл, не согласился, — от него уже ничто не зависело: толпа уже катила неизвестно чьей головой и волей. Слушали — кого услышат или кого захотят. А часть толпы пошла иначе. И Кирпичников уже не только не был предводитель, но его признавали лишь немногие волынцы, кто поблизости толкался, да кто из литовцев, из преображенцев заметили его ещё во дворе.

Эту вторую тюрьму взяли легче лёгкого, уже теперь научились: и драться не надо, и дверей пробивать не надо, — покричали угрозно, пообещали взорвать, постреляли в воздух, у каждого патронами все карманы набиты, а кроме винтовок у кого ещё и браунинги, штучки офицерские, игра из них стрелять.

Кроме тюремной охраны в Крестах оказался и малый наряд московцев, но биться не стали, а просто поменялись местами: наши вошли — они ушли.

Надзиратели протягивали связки ключей, только б их не трогали. Да они — виноваты, что ли? подневольны, как и наш брат, все на службе. А ну, расходись по этажам, раскрывай все двери!

Надо эту радость арестантскую видеть, когда дверь распахнут безожиданно и — выходи, мол, на волю! совсем! сразу! Одни немеют, другие ахают, третьи кидаются скорей вещички схватить да выбежать, пока не раздумали приглашать. А четвёртые, бритые, каторжные, что ль, — танец пляшут да матюгаются, заслушаешься, и мата такого не слышал никогда.

Кто в тюремных халатах да туфлях, кто в своём, с пустыми руками иль с узелками, — потянулись, побежали на улицу на мороз.

Но и наше время не терпит: нам надоть наосвобождать побольше, побольше, чтоб уже назад запихнуть не могли. В том и спасение первоподнявшихся: рассвободить как можно боле народу!

А тут — ещё, мол, тюрьмы! Вот — Женская близко! Вот — Военная! Побежали ребята и туда.

Нет, подумал Кирпичников, тюрьмами — не окрепнешь. И не по заводам же бегать, они и без нас свободные. А вырывать надо своего брата солдата, Московский батальон. Да ведь так и сбирались — чего на эту тюрьму отвихнулись, только крюку задали. А сила — солдаты, туда нам и гнать! А куда Круглов делся с грузовиком и пулемётами?

А своих — всё меньше. Маркова когда потерял — не заметил. И Орлова. Ещё Вахов оставался под рукой — в службе парень туповатый, но и верный.

А на улицах — многие толпы, мастеровые, обыватели, и солдат разных врассыпную, ни одной команды строем, и наши ватагой, уже никого и не построишь, даже досадно унтерскому кадровому сердцу.

Спрашивали про московцев — говорят, нет ещё, держатся запершись.

А идти-то хотят не все: куда мы попрёмся? да мы уже четыре дня в караулы ходим, ноги не тянут. А тут ещё — мимо проехал воз, в ящиках хлеб, так многие за тем возом побежали.

Другие многие — к Литейному мосту свернули: назад, в казармы, хватит!

Да тем, что назад уйдёшь, — себя не сбережёшь. Прошёл слух такой, что там, на Литейном проспекте, уже наших давят. Ох, пощемывает: добром ли кончится? Что это мы начали непосильное? Ох, пропадём ни за что!

Всё ж осталось с полсотни — идти на московцев. Ну, двинули по Сампсоньевскому. Куча — совсем случайная, уже никого Кирпичников не знает, только свой Вахов рядом да ещё человека три из учебной команды, а то и волынцы — да незнакомые.

Даже обидно: с утра Кирпичников был неоспоренный вожак, он бы не начал — никто бы не начал, первый-то шаг — неподсильно переступить. А теперь вот эту ватагу Кирпичников ли вёл, или сама она шла, — не разобрать.

Вольных, рабочих порядочно было на Сампсоньевском, и иные уже с винтовками — тоже запаслись! — а солдат не видно. Значит, московцы ещё взаперти. Звали этих рабочих с собой, — кто шёл, кто не шёл.

Сил совсем не стало.

Все победы сегодня были достигнуты без боя, единственная серьёзная охрана за Литейным мостом не успела открыть огня. Так и сейчас шли, надеялись, что стрелять не будут, — а тут послышалась сильная стрельба. И шагов за четыреста до полковых ворот, где узкий проспект расширяется, — все люди остановились, и солдаты, и штатские со своей жидковатой песней — остановились, и дальше идти не хотели.

И даже многие запятились, назад пошли.

Стрельба была сильная, из разных мест, — но так определил Кирпичников, что — по другую сторону большого кирпичного здания, а сюда пули не летели. То здание за железным забором и загораживало полковой двор.

И Кирпичников звал солдатскую братву:

— Пошли! Пошли, не робей! Сейчас их с тыла и брать!

И какой-то молоденький закричал:

— Кому свобода дорогá, вперёд!

Но пошли вперёд человек двадцать, остальные не подвигались.

Пошли — но жались к стенам, к заборам, то падали за снеговые сгрёбы. Солдатики-то всё необстрелянные.

— Не сюда стреляют! — Кирпичников им. — Скорей к воротам!

Не верят. А пальба — сильная, над головой.

Разбежались, попрятались. Пустой проспект.

Нашёл и себя Кирпичников на снегу у забора. И — никого не видно близко.

Стал возвращаться к тому месту, где отстали, — а и там почти никого. И Вахова не стало.

И место — какого Кирпичников никогда не знал, даже и на Питер не похоже. Вот занесло.

Не взять ворот Московского, некем.

Дюже стреляют. Кто? в кого?

И куда всё рассеялось?

А что там, в волынских казармах?

Побрёл назад вдоль забора — один.

101

Самокатный запасной батальон, казармы которого стояли на самом краю Сампсоньевского проспекта, уже почти в Лесном, не был похож на остальные запасные батальоны Петрограда: это не был отстойник преждевременно выхваченных в армию, а затем в бездействии томимых неподготовленных, необученных, невозрастных солдат, но — солдат повышенной развитости и боевого возраста, и боевых же здоровых офицеров. Батальон был как бы не единственной в столице воинской частью с фронтовым духом. Он готовил и отправлял на фронт самокатные роты — с пулемётами на мотоциклах и обозом из грузовых машин. Такие роты были в новинку и назначались для совместных действий с конницей в предстоящем большом весеннем наступлении. Занятия шли бодро и плотно, по 10-12 часов в день, не пропуская и воскресений, так многому надо было обучить охочих, заинтересованных солдат. Пристально занятый своим делом, батальон мало замечал, что происходит в столице, да и в стране.

Хотя в середине февраля и был объявлен офицерам батальона приказ командующего Округом о том, какой район должен обезпечивать охраной их батальон в случае крупных волнений в Петрограде, — офицеры, большей частью уже много воевавшие, вызванные с фронта, отнеслись к приказу и недоверчиво, и брезгливо: уж полицейских обязанностей не хотели бы они исполнять и не должны.

И что делалось в городе в позднефевральские дни, тоже на батальоне не отразилось: городских караулов он не выставлял, в Лесном всё было спокойно, занятия не прерывались ни на день, а что заводские толпы отсюда уходят в город шуметь — так тут только тише было.

Однако в пасмурный понедельник 27-го с утра слышалась из города, версты за 4-5, разрозненная частая стрельба. Затем она становилась ближе, перешла на эту сторону Невы, ещё ближе — очевидно уже около московских казарм. Но и это не показалось настолько серьёзным, чтобы бросить занятия и готовиться бы к бою — неизвестно с кем и зачем.

Вдруг послышалось дикое пение, и по Сампсоньевскому с юга стала приближаться большая безпорядочная, возбуждённая толпа — из штатских, солдат вне строя, матросов вне строя, с красными флагами.

Дежурный офицер поручик Нагурский понадеялся, что толпа пройдёт мимо, — но как бы не так, прилила сюда, к забору и к вахте. Из оконца были видны многие дерзкие, грубые, разгорячённые лица. Нагурскому оставалось только выйти навстречу. Он взял с собой фельдфебеля и с ним вышел. А сзади из любопытства и на поддержку выступил вольноопределяющийся из студентов Елчин.

В толпе не было старшего, никто не говорил отдельно, а кричали в несколько голосов — резко, непочтительно, не прося, а требуя, чтобы солдаты-самокатчики были немедленно выпущены наружу, на праздник свободы.

Поручик Нагурский всю войну воевал, и поднимал роту в атаку и вёл её на смерть, и привык, что три звёздочки на его погонах обезпечивают повиновение солдатской массы. Сейчас он остро ощутил совсем новое соотношение: его звёздочки не обезпечивали никакого превосходства, он не мог ничего приказать этой толпе, ни даже велеть ей построиться, принять внешне-порядочный вид, солдатам подтянуть заправку, взять винтовки единообразно. В полминуты он низвергся из того, чем привык быть, и ощутил дурацкую неуверенность, не находя даже тона, как с этой толпой разговаривать. Почему-то он не приказал им убраться, не сметь заявлять таких наглостей — а тоном оправдания объяснил, что не может выпустить солдат из казарм без разрешения командира батальона. (И тут же сообразил, какой негодный ответ, ну потребуют, чтоб выпустил командир батальона! Как-то сразу отказала находчивость.)

И так он стоял, в шаге от переднего края толпы, да нет, полуокружённый уже ею, и пытался найти более внятные лица среди возбуждённых, и более достойные, однако и вразумительные слова для них. И вдруг Елчин крикнул ему тревожно:

— Ваше благородие! У вас оружие отрезали!

Нагурский глянул вниз, не веря глазам ощупал — висели только кончики ремешков, но отрезан был кортик и отрезан кобур с револьвером! Нагурский чуть не взревел — от обиды, от стыда, как будто его неприлично раздели перед толпой, от досады, что он не успел сам заметить, — он замотал головой, ища в руках у соседних — ни у кого не было! Чисто воровской манерой унесли, украли!

И ещё дальше низвергнутый, на следующую глубину, ещё менее достойно, он стал просить, умолять — неизвестно кого — отдать ему оружие! его честь! без этого он… К кому обращаться и как обращаться? — не господа и не братцы… Он стал касаться шинельной и черно-бушлатной груди одного, другого перед собой, угадывая обидчика или сочувственника, — и вдруг закричал от сильного, болезненного удара в висок, острого в голову! — и пошатнулся.

Это кто-то из ближних рабочих, через спины других, швырнул ему в голову крупную гайку, сбил фуражку, в кровь разбил висок и самого пошатнул. И тут же на его голову обрушились кулаки со всех сторон.

Вольноопределяющийся Елчин, не соразмеря, не соображая, — кинулся его спасти, ни с каким оружием — руками, скорее вытащить из месива раненого поручика! — но ничего не успел, как прокололо его со спины, и он потерял сознание.

Это в спину ему вогнали тот самый кортик, отнятый у поручика. И он — рухнул ничком, под ноги.

И теперь фельдфебель, напротив, отступая, стал стрелять во всех соседних, кто был близ Нагурского и Елчина. И увидел, что попадает.

А между тем на его выстрелы уже выбегали другие солдаты, тоже стреляя, в воздух.

Толпа быстро отступала, оставив раненых на снегу.

Из ворот вышла дежурная рота с винтовками наперевес и погнала толпу дальше.

Нагурского и Елчина внесли в ворота. Оба были ещё живы.

102

Не мог генерал Хабалов охватить только двух вещей: что же ему делать с городом Петроградом? И что с самим собой?

С самим собой, разруганным от Голицына, пожалуй, вот как: над раскрашенной картой города подпереть голову двумя руками и рассматривать её без перерыва. Такое сосредоточенное занятие хотя и не выводило его из тупика, но всё-таки помогало в чём-то медленно разобраться.

На этой отличной карте, где указаны были и все мелкие улицы города, и особо — каждая полицейская часть, и расположение каждого запасного батальона, все 16 районов войсковой охраны были закрашены разными цветными карандашами — и теперь-то бы-

ло отчётливо понятно, что военный бунт потому и мог произойти именно в 8-м районе, что его должен был охранять именно Волынский батальон, который и взбунтовался.

Затем не могло быть предусмотрено, что войсковым частям придётся так подолгу оставаться в нарядах вдали от своих казарм, — и с разных мест поступали теперь жалобы, что войска не кормили со вчерашнего дня.

А с патронами совсем плохо: склады на Выборгской стороне — уже в руках мятежников. И к остальным не пробиться.

Стал Хабалов энергично телефонировать. У своих гвардейских батальонов ни у кого лишнего запаса не оказалось. Позвонил в Кронштадт: прислать патронов, а лучше б и войско. Но отвечал комендант Кронштадта, что сам опасается за крепость и ничего прислать не может.

Тогда телефонировали на мирную Петербургскую сторону, в Павловское и Владимирское училища. Эти — имели запас патронов, но как послать их действующим батальонам? — ведь патроны по пути могут попасть в руки мятежников! Действительно. Отказались от этого замысла.

Должно быть много в 1-м пехотном — так до Охты не добраться.

А снаряды? Подтянулись к штабу две артиллерийских батареи, но снарядов — только 8 штук. А снаряды — на той же Выборгской стороне, и даже дальше, на станции Кушелевка.

Да если рассудить, так снаряды — зачем они и нужны в городских волнениях? Где ж тут в городе стрелять?

Непонятно было, почему отряд Кутепова не потеснил мятежников к Неве, как было ему приказано. Неудача кутеповского отряда особенно угнела Хабалова.

Одно подавало надежду: что, кажется, соберётся какой-то резерв на Дворцовой площади. Обещались. Во-первых, две роты преображенцев. Да одна рота гвардейских стрелков. Да ещё одна рота кексгольмцев. Да оказалось теперь, ещё дозвонясь, измайловцы и егеря как будто тоже могут прислать. Да ещё ж в запасе — ораниенбаумская пулемётная полурота, хотя стрелять не готова. Да ещё ж и две батареи, как-никак, хоть без снарядов, но пугать.

Нет, силы приличные собирались у Хабалова. Лишь бы они не отказались подчиняться приказам. Не было уверенности, что будут подчиняться.

А уж ненадёжный Павловский батальон и трогать не надо, пусть сидят в казармах.

Правда, было и такое сообщение: что офицеры Измайловского батальона настроены войти в соглашение с Родзянкой. А что ж? Может быть, это и неплохая мысль, и самый лучший безкровопролитный выход.

Тут приехал в градоначальство потемнелый маленький злой генерал Беляев. Хабалов и Тяжельников отдали ему по форме все доклады о происходящем, показали по карте. Беляев стал давать указания, но в такой общей форме, не называя ни районов, ни улиц, а — «усмирить, подавить, привести к порядку», что никак было не ухватить: так что же именно делать? и вот — с отрядом на Дворцовой площади?

Впрочем, военный министр тут же и объявил, что командовать всеми войсками в Петрограде назначает генерала Занкевича, то есть начальника Генерального штаба, старшего из генералов в распоряжении министра.

Объявил, и даже вызвал Занкевича сюда, в штаб, — и привёл Хабалова в окончательное расступление ума: в каком смысле назначался Занкевич командующим всеми войсками? В смысле командования гвардией, в замену заболевшему Павленке? Или в смысле общего командования войсками Округа? А Хабалов, что же, — остаётся на посту или смещён? Не было ясно сказано, а Хабалову не слишком удобно и спросить. Занкевич с Генеральным штабом — да, подчинялись военному министру, но Округ — не подчинялся ему, Хабалов был назначен самим Государем и ответствовал перед Ставкой.

Да он так устал, перетяжелился ото всего происходящего, что охотно бы сейчас и ушёл в запас. Но — не сказано было ему покинуть пост, и не мог его отставить военный министр.

А что войска отдают Занкевичу — так и легче.

И осмелился Хабалов передать Беляеву эту благоразумную мысль, передавшуюся ему от измайловцев: а не следует ли войти в сношение с Председателем Государственной Думы?

Маленький, почти лысый Беляев смотрел через пенсне остро-настороженно. Но ничего не выразил, никак не понять.

А пока генералы занимались между собой — оказывается, в градоначальство прибыл великий князь Кирилл Владимирович, и его принял Балк. Великий князь уселся в кресло за главным столом, выговорил градоначальнику, что тот ему систематиче-

ски не докладывал, — и потребовал подробного отчёта о положении.

Все десять-пятнадцать великих князей всегда нависали как сверхштатные генералы самой неопределённо высокой должности.

Градоначальник доложил, как понимал: что дела вовсе худо, и он полагает, что к ночи вся столица будет в руках бунтовщиков.

Стройный Кирилл Владимирович, бритый, лишь с пушистыми усами, налитою шеей и лицом, и маленькими, требовательными глазами, допрашивал как имеющий власть.

А казаки?

Да не выводим, ненадёжны.

Великий князь почти закрыл глаза. Закинул голову. И — почти простонал:

— Да-а-а… Все великие князья просили *его* дать конституцию — но он и слышать не хочет.

Узнал, что тут Беляев. Прошёл к нему. И посоветовал как спасение государства: немедленно сменить Протопопова.

И Хабалову выразил неудовольствие: почему не докладывает о военном положении?

Хабалов, как мог, промычал великому князю о происходящих действиях. (Если бы он сам мог понять их!)

Великий князь спросил, что ему делать с гвардейским экипажем.

Осмелился Хабалов: если Его Императорское Высочество уверены, что экипаж против мятежников действовать будет, — то пусть он присоединяется к резервам у Зимнего дворца. А если заявит, что *против своих* стрелять не будет, — то лучше пусть остаётся в казармах.

Великий князь поводил губами, похмурился. Нет, поручиться за весь экипаж — не поручится. А более надёжную учебную команду — пришлёт.

103

Хотя три левых оратора и объявили с крыльца от имени Думы ободрение восстанию — но совсем не такое настроение было внутри дворца. Да просто почти никто — ни центр, ни кадеты (крайне правых уже сдунуло ветром), этого восстания не одобряли. Пока — миновало, 30-тысячная толпа не пришла громить. Но могла прийти в любую минуту.

А ещё был слух, что с Литейного проспекта на Кирочную пробиваются правительственные войска. И эти тоже не погладят Думу, обязанную разойтись, а не разошедшуюся, да ещё допустившую безответственные заявления с крыльца.

Несколько депутатов проявили большое нетерпение. Независимый, наскочистый казак Караулов в духе гордой вольности громко требовал открыть формальное заседание Думы, не подчиняясь никакому роспуску. И то же предлагал, заметавшись от группы к группе, до сих пор мало замеченный, а теперь воспламенившийся, нервный прогрессист Бубликов, с кипучим взором и острыми чёрными усами:

— Вы боитесь ответственности, господа? Но таким безкрайним послушанием вы безвозвратно теряете своё достоинство! Надо бросить вызов императорскому правительству!

И Керенский, лунатически входя в какие-то новые чрезвычайные права, кинул дежурным приставам, что надо дать электрический звонок, собирающий депутатов в зал заседаний. Но приставы не послушались его.

А вот — появился в Екатерининском зале и Родзянко, возвышаясь над депутатами крупной головой. И зычно пригласил всех членов Думы — в Полуциркульный зал, на частное совещание.

То был, позади главного зала заседаний, в полукруглом выступе дворца в парк, — сравнительно малый зал, где проводились подсобные совещания и где бы не поместилась вся Дума полностью, даже и для человек трёхсот присутствующих места было недостаточно, многим пришлось стоять.

Эту хорошую мысль подали Родзянке в последний момент его тягучих размышлений. Преступить высочайшую волю и незаконно собрать на заседание распущенную Думу — он не смел, он присягал, он был верноподданный. Но что мешало депутатам, пользуясь незапертостью помещений, собраться на *частное* совещание, совещание частных лиц, демонстративно минуя главный зал? (А вовсе не собраться никак было невозможно, все этого требовали и ждали.)

И вот они втекали в Полуциркульный. Вот они сошлись, как потерпевшие крушение, лишённые своих постоянных мест, стеснённые, столпленные. Как просторно и твёрдо ощущали они себя годами — тут же, за стеною, в этом же здании, — а вот сами не

могли узнать ни здания, ни себя. И они даже не имели сил и времени погневаться на правительство, но, застигнутые, прислушивались к какому-то новому как бы звуку, как бы шороху начавшегося великого обвала, чему-то, не объемлемому даже ухом, слишком грозному для уха, растолкуемому лишь в груди.

За столом поместился теперь весь совет старейшин, чтобы не обидеть никакую фракцию, — хотя была ли хоть одна из них, знающая что делать?

Впрочем, похоже, что знал Керенский. Каким-то ли прирождённым чутьём — он вдруг стал понимать смысл событий? — и властно начинал действовать. Вот он, было, пришёл, сел за стол президиума, струнно вытянутый, — как-то особенно замечалась узкая вытянутость его головы, — и вдруг вторым слухом услышал нечто, никому не слышимое, — и по этому зову с несомненностью встал и с несомненностью поспешно вышел, никому ничего не объясняя. И даже такая тень пролетела, что всё их заседание не так важно, как то, что он сделает там сейчас, выйдя.

А Родзянко, кажется сколько уже раз подымавший в Думе на возвышение всю тяжесть России, — вот когда подымал её в первый раз, вот когда ощутил в самом деле тяжко. Раньше вся тяжесть бывала — как сбалансировать между думским большинством и Верховной властью, достаточно угодить первому, не слишком рассердить вторую. Раньше вся тяжесть была — сдозировать выражения, а сегодня — в полной дремучести и неведении, в небывалой обстановке отсутствия и Думы и правительства, — Председателю прежде других надо было что-то разглядеть и сделать, а он не был способен.

Что он мог сказать своим думцам? Что правительство не подаёт ни малейших признаков действия, как бы его вовсе не было, хотя медлить с подавлением бунта недопустимо. Что лично он сделал всё человечески возможное, послал телеграммы и Государю, и Главнокомандующим, и всё равно ответов от Его Величества нет. Теперь, при неизвестности соотношения сил, Дума не имеет оснований высказываться определённо.

Не обнадёжил Председатель. Жались. Действительно, положение представлялось ребусом.

Заместитель Родзянки левый кадет Некрасов предложил: что надо немедленно передать всю власть сильному генералу, которому доверяет Дума, немедленно ехать в правительство, заставить его назначить такого генерала.

Однако не только не взбодрил своих коллег, но ещё глубже окунул: потому ли, что левый, а вот просил генерала, — и до чего же, значит, все они внезапно погибали?

То никто не брался говорить, то — сразу несколько просили слова. Тоже: просить военной диктатуры. — Нет! но избрать из себя орган для прямых сношений с восставшей армией и восставшим народом! (А если раньше того органа — да ворвётся улица сюда?) И конечно, неотвязный Чхеидзе, — и сегодня, как всегда, клеймил Думу за её буржуазную трусость — может быть снисходительнее обычного, ибо уже постигало его счастье от событий.

А Керенского всё не было, он где-то метался, он что-то важное узнавал, исправлял или предотвращал. Тут вырвался выступить недреманный Караулов. В ноябре он предупреждал Думу о *четвёртом* пути, о революции. С зоркостью терских казачьих разъездов всегда улавливал он и не спускал всякое подозрительное шевеление вдали. И с резкостью, с которой, бывало, потчевал правительство, стал теперь угощать оглушённых думцев: как же так? где же наши все смелые слова? Полный год мы честим правительство дураками, мерзавцами, даже изменниками, — а теперь к этим самым дуракам ехать просить содействия? Нет! довольно болтать! Делать надо что-то самим! А если не сумеем — так и достойны мы, чтобы гнать нас отсюда вон!

Но что именно делать — не сказал.

Казалось — раньше всех должен бы выступить Милюков. Но он всё оттягивал и, кажется, готов был уступить и таким беззвестным думцам, кого никогда не видели на трибуне, на кого никогда не хватало регламента. Он оттягивал — потому что ждал какого-то прояснения, большей определённости событий. Милюков не склонен был к аффектам и увлечениям, он был человек от ratio, для суждения он должен иметь ясные посылки, сгруппированные, проверенные факты, из которых он мог бы найти несомненную равнодействующую. (Для того он и записывал всегда, не сегодня, мнения всех выступающих.) А пока происходила лишь неясная уличная мельтешня, неясна оставалась позиция всех видов власти, — самый веский, уважаемый, разумный человек тут, Милюков не мог указать Думе позитивного решения. Если смотреть глубоко в суть, то это могло быть и отчаянно плохо: упущенная из рук, нежеланная революция. Тут не место эффектным речам на публику и бомбам-хлопушкам, какими раньше он глушил власть. Это совещание было — как нашаривание слепыми руками, и полезно было

хотя бы послушать других, чтобы легче суммировать. А вот — уже подходила неминуемая очередь говорить, и надо было соблюсти авторитетность вида и мнения, чтоб никто не заподозрил ни малейшей в нём растерянности.

Так вот: не согласен Павел Николаевич ни с кем, говорившим до него, и может быть — ни с кем, говорящим после. Конечно, было бы совершенно неприлично просить правительство о военном диктаторе. Но также было бы неуместно и создавать для диктатуры свой думский комитет. Дума не может брать в собственные руки власть, ибо она, да памятуют господа члены, есть учреждение законодательное, а стало быть, не может нести функций распорядительных. И вот какими доводами из области государственного права это можно с несомненностью обосновать… Но ещё потому мы не можем брать власти и даже принимать вообще какие-либо определённые решения, что нам не известен ни точный размер безпорядков, ни соотношение сил местных войск, ни доля участия рабочих и общественных организаций в этих волнениях. И потому никак не наступил момент создания новой власти. А раздававшиеся в кулуарах горячие голоса войти в Белый зал и объявить себя Учредительным Собранием — и вовсе есть безответственный толчок к хаосу. А самое благоразумное — пока никаких решений не принимать и подождать, подождать…

Тут — внезапно ворвался в зал Керенский, с видом драматическим и всё растущий в значении. Ворвался — и спешил говорить, — и, чего никогда не могло быть в этой Думе в нормальное время, — ему поспешно дали слово, в порядке веде́ния, оттесняя и всеобщего лидера, который, однако, спокойно уступил. И Керенский вышел говорить, даже вздрагивая от избытка знания, ответственности и решимости, — в этих вздрагиваниях как бы сбрасывая слушателям свои палящие мысли:

— Господа! Я непрерывно получаю всё новые сведения! Медлить — нельзя ни минуты! Войска — волнуются! Всё новые полки выходят на улицу! Я — немедленно беру автомобиль и еду по полкам! Я остановлю их — одним убеждением! Но мне надо знать, что́ я уполномочен сказать им? Могу ли я сказать, что Государственная Дума безусловно с ними? Что она становится во главе происходящего движения?

Он вздрагивал с полузакрытыми глазами, едва не покачиваясь от собственных фраз, потом разверзал веки и выбрасывал снопы огня. Сколько лет он вращался среди них — мелкий адвокат, заносливый пулемётный оратор, — и они не знали его, не понимали его полководческого, оказывается, таланта, его силы и даже властности. Теперь это вспучилось, прорезалось — и внушало изумление. И никто не возразил, почему именно *он* должен ехать к полкам.

Однако — и слишком много он хотел от этой Думы! Парламент — он хотел увлечь возглавить улицу, громящую толпу, освобождающую преступников?!

Совещание замялось. Не нашлось такой формы, в которой бы оно вдруг уполномочило Керенского прыгать в автомобиль и нестись по полкам.

А оскорблённый пренебрежением Милюков — снова вступил и презрительно отклонил предложение Керенского: такая поездка никого не убедит, ничего не успокоит. А правильнее — выждать, ещё собрать новых сведений и тогда уже принимать решения.

И прения, едва не вывернутые из колеи, кажется опять могли потечь нормальным ходом и надолго, и Милюков, кажется, должен был оканчивать речь, хотя Керенский уже физически не мог устоять, усидеть, онеподвижиться. И нельзя представить, как бы он с собою справился, — если бы в этот момент не вбежал с криком, взъерошенный и с одним оторванным погоном, начальник думской охраны. Вместо того чтоб охранять их всех — он сам просил о защите, что его чуть не убили! Он кричал, что творится невозможное у входных дверей, хотят ворваться, кого-то ранили, а его самого спрашивают, — с народом он или против?!

Почтенное собрание так и обожглось: хотят ворваться — прямо сюда? прямо на них? Так они ничем не защищены, ни даже депутатской неприкосновенностью?! Хотят войти — это была жутковатая форма.

Но — как выдернутый из этого болота открывшимся деловым применением — Керенский порхнул и умчался, даже не оглядясь на председателя.

И уже все поверили, что их Керенский — умеет, их Керенский — уладит! Это немного успокаивало, но не снимало большой тревоги: что же им делать? что же решать? Как будто и времени не оставалось. Кажется, первый раз их задело вот так!

Под гнётом идущей, громящей толпы прения приняли другой характер. Рациональное предложение Милюкова подождать — уже не имело успеха. Бурный кадет Аджемов бурно выступил против своего партийного лидера, что нельзя откладывать, что Ду-

ма — сама сила и должна достойно действовать. А кто-то из центра возражал, что прежде надо узнать намерения толпы: идут ли они продолжать святое дело Государственной Думы или просто громят в пользу немцев? в первом случае это Народ, а во втором чернь. А кто-то сомневался: как это приспособить Думу осуществлять какую-либо власть?

Помрачённый, тревожный, совсем не парадный Родзянко совсем негромко просил, между ораторами, ускорить обсуждение. (Сам он не мог принять решение, и это заседание мешало ему думать.)

И наконец — решили, если это можно назвать решением, решили без голосования, а просто общим сжатием к середине: из членов Думы создать-таки комитет, но этому комитету не предоставлять заранее никаких полномочий, а там смотреть по ходу событий. Однако не будучи полной Думой, они не могли голосовать и выбирать, — а пусть такой комитет составит совет старейшин.

И во всяком случае — никому не разъезжаться из Петрограда! — вот это было ясное пожелание всех ко всем: чтоб оставшимся не оказаться в меньшинстве и всё это расхлёбывать.

На том совещание пока распалось, члены обещали друг другу не уходить и из Таврического. (Но кто-то незаметно уходил.)

Совет старейшин гуськом потянулся совещаться в кабинет Родзянки.

А между тем снаружи Керенский (снова безстрашно не одевшись на мороз) отлично справился с положением. Поставленные им волынцы уже не охраняли дворца, и самих их найти было нельзя, никакого караула не осталось, и во дворец начинали лезть какие-то рожи. Но тут же пробился к нему энергичный, мордатый какой-то, представился преображенским унтером Кругловым и объявил, что с командой 4-й роты прибыл после взятия казарм Московского полка — и предлагает взять на себя все караулы Таврического.

До сих пор приходили сбродно — а это была первая организованная команда, — и унтер был, видно, из тех, который для революции не пожалеет родного отца, очень решительно и жестоко смотрели его глаза над крупными скулами, и решительная челюсть. Таких людей надо не отдавать стихии, но ставить на службу, — это Керенский соображал мгновенно, — и тут же звонко назначил начальником всех таврических караулов.

Круглов тотчас поставил четверых на крыльце, а с другими пошёл занимать думский телеграф.

И тут в Керенского вонзилось, — он сам даже не мог понять: это он догадался? или переработался в нём слух, что где-то каких-то министров арестовали? — вонзилось, что пришёл момент арестовывать сильных врагов, которые могли бы помешать ходу взрывных событий. Во Французской революции делали так! Надо искать кого-то? — надоумить? послать?

Но не успел он додумать, найти, послать, — уже четверо рабочих с винтовками и четверо солдат вели к нему двоих безоружных напуганных юных прапорщиков. Оказалось: напротив Таврического, у главной водокачки городского водопровода, это их был караул, который потребовала снять прибывшая взбунтовавшаяся толпа. Но прапорщики не сняли и сопротивлялись отдаче своего оружия — и вот были приведены как преступники на казнь.

И с тою впивчивостью, перехватчивостью, с которою Керенский входил в свою революционную роль, всю жизнь для него готовленную, всю жизнь писанную для него, — он ещё выпрямился, ещё удлинился, протянул вниз с крыльца повелевающую руку и, даже откидываясь от красоты момента, объявил:

— Господа прапорщики! Я понимаю вас! Но ввиду переживаемых нами событий я приказываю вам: снять караул по требованию рабочих!

Особенность революционной минуты в том, что не надо стараться охватить все стороны вопроса, но — выхватить самую яркую! Не отдаваться сомнениям, что городской водопровод нуждается в охране даже сейчас, — но вырваться навстречу требованиям взволнованных рабочих. В революционную минуту выигрывает и возвышается тот, кто решает мгновенно и ярко!

В два голоса, близ плача, пожаловались юные, что за снятие караула их расстреляют по закону.

И тут же рука повелевающая превратилась в руку милующую, и торжество приказа — в торжество прощения:

— Я, член Государственной Думы Керенский, лично прийму ответственность за это распоряжение. Своею собственной жизнью, — дрогнуло у кадыка, — я гарантирую вам неприкосновенность!

Прапорщики смякли — и уступили.

А Керенский тут же и забыл о них навсегда.

104

Преображенский полк был всеизвестно *первый* полк русской армии. Это был любимый полк Петра — и уже при петровских ушах звучал его марш. Этот полк возвёл на престол Елизавету. Из царствования в царствование он бывал на первом месте, надежда династии, и не случайно нынешний Государь наследником командовал батальоном именно Преображенского полка. И часть казарм полка и офицерское собрание были — рядом с Зимним дворцом, на Миллионной, — единственная такая близость изо всех полков. (И внутренний коридор соединял их казармы с дворцом.)

И хотя сам полк был теперь далеко на Юго-Западном фронте, где понёс жестокие потери, — офицеры запасного батальона, собиравшиеся ныне в этом самом приближённом собрании, кто попал сюда после ранения, а многие — из петербургской публики, избежавшие прежних мобилизаций, а теперь по протекции, — тоже ощущали себя коренными преображенцами, с удовольствием принимая на свои плечи всю эту долгую славу.

А вчера — это их, преображенский наряд арестовывал возмутившихся павловцев, — и офицерам-преображенцам было стыдно теперь.

В собрании у них эти месяцы была атмосфера очень вольная, сошлись такие офицеры, ненавидели императрицу, сочувствовали Думе и реформам. Как многие в петербургской гвардии, они встречали с шампанским известие об убийстве Распутина. И сегодня вполне нестеснительно высказывали своё сочувствие народному движению: ведь народ просит хлеба, как же можно ему противостоять? И не хочется марать репутацию свою и преображенскую, оказаться в одном ряду с подавителями! Если полк — первый в России, то тем более надо быть на уровне гражданского сознания. А правительство — призраки.

27-го февраля все офицеры, свободные от нарядов, завтракали в собрании на Миллионной, и уже никто не уходил, ощущая необыкновенный размах событий. Командира батальона Аргутинского-Долгорукова не было, да его никто серьёзно и не воспринимал, а батальонный адъютант поручик Макшеев был в курсе всех сообщений и охотно делился. Ему самому пришлось сегодня и первому получить известия, что две их роты, одна нестроевая, в казармах на Кирочной взбунтовались, и самому же хлопотать-вызывать

полковника Кутепова в распоряжение Хабалова на подавление. Макшеев выполнил это всё, но вопреки своей совести и убеждениям. А убеждения полковника Кутепова уже были проявлены здесь же, в собрании, они были взглядами слепого служаки.

Итак, создалось необычайное положение: где-то в центре бунта кипела одна часть преображенцев. Другая, вместе с Кутеповым, шла её подавлять. А большинство офицеров батальона сидели здесь, не имея других приказаний, были как бы нейтральны, — и даже те, потрясённые, кто пришли из казарм взбунтовавшихся рот, или ещё не были там и не могли теперь туда идти. Сидели в комнате позади биллиардной и под глуховатый стук шаров обсуждали с горячностью, что же делать? Нельзя же бездействовать. Жажда быть полезным обществу не противоречила жажде продолжить славу своего полка.

Надо было понимать, и они понимали: то, что сегодня громыхало и стреляло на улицах, может быть, не было грубый бунт, но неосознанная тяга к справедливости и свету, а лучи света шли из Государственной Думы. И как бы использовать этот толчок — и создать ответственное министерство из думцев? Удивлялись, почему военные власти просто не сговорятся с Родзянкой, — и весь ужасный конфликт сразу был бы прекращён. Надо было помочь неограниченной самодержавной власти перейти в конституционную. Но как это сделать?

И рисовалось: а ведь это — та же самая задача декабристов! Опять — декабристов. Она не выполнена и по сей день.

И как их предки декабристы — вывели солдатские команды на площадь и потребовали свободы, — вот так же бы сделать и им?

Но как это сделать?

И тут вдруг поручика Макшеева, самого горячего оратора среди них, вызвали к телефону и передали приказ из штаба Округа: все оставшиеся наличные силы преображенцев вывести на Дворцовую площадь в полном боевом снаряжении в состав резерва командования. А дальнейшие указания будут даны позже.

А дальнейшие указания им были и не нужны! Ах, какая удача! — их выводили на площадь приказом командования. Вот оно, то решение, и вот она, та возможность! Они выступали как будто по приказу, совершенно законно, — но офицеры-то знали, что они идут добывать свободу! Может быть, сегодня наступает великий день России, и может быть, сбудется или не сбудется мечта поколений, — на их глазах.

Наличные силы были — две роты. Раздавали патроны, набивали подсумки.

Выходили с перекомплектом офицеров, больше, чем их нужно было: многие хотели идти и участвовать.

И сразу же мысль: мало нас! Что это — две роты? Теперь надо бы собрать сюда все батальоны 1-й гвардейской дивизии — ещё семёновцев! измайловцев! егерей! И тогда такой отряд может даже не действовать — он одним своим стоянием может добиться требований Государственной Думы.

Но как же оповестить остальных?

А по Миллионной как раз проезжал частный автомобиль. Молодые офицеры остановили его. Оказалось — едет биржевой маклер. Тотчас его ссадили, автомобиль реквизировали. Сели трое и погнали, в те три батальона.

Хорошее начало!

С утра много часов стояла петербургская хмурь, даже с небольшим туманцем. А после полудня — ещё пасмурно, но солнце ясней просвечивало.

Знакомая огромная площадь между вычурным Зимним и широким охватом Главного Штаба была пуста и могла вместить всю петербургскую гвардию, теперь разогнанную по фронтам, или весь сегодняшний неученый, недотяпистый петроградский гарнизон. Почти вся площадь была покрыта цельным снегом, лишь в некоторых направлениях прорезанным санными и автомобильными колеями, да чищена на кромке, по тротуарам.

Дружными солдатскими сапогами колонна преображенцев приминала снег по целине, правее Александровской колонны, ближе к Зимнему.

И стала: лицом к ангелу на столпе, спиною к Зимнему.

И тут заметили, что вослед им, с востока, как будто натягивало разреженным дымом от дальнего пожара. И всё доносился отдалённый необычный слитный шум, часто пробиваемый ружейной стрельбою.

Захватывающая музыка! В огромной столице где-то что-то уже делалось — и само готовное бездействие преображенцев на этой необъятной пустынной площади, перед многоглазым, но мёртвым Главным Штабом, становилось торжественным действом! Вот они слушали, вот они смотрели, вот они готовились и решались! Как ощущался великий исторический момент России! Глубоко исключительный момент и в жизни полка.

Этого настроения хватило надолго. Подали «вольно», офицеры прохаживались перед строем и позади него, говорили между собою. Сама торжественная площадь звала к манёвру, маршу, безумному поступку. Но надо было подождать и как-то разобраться в происходящем.

Настроение ещё усилялось видимой борьбою солнца с облаками. И шестёркой Победы, прямо над аркою той стороны, сюда лицом.

Солдатам так и не было ничего объяснено, не следовало это делать чересчур заблаговременно, чтоб их энтузиазм потом не остыл. Да и сложна, неловка была сама форма призыва к солдатам, она выходила за пределы военной команды, и такого навыка не было ни у кого.

Солдаты потаптывались, курили, между собою тоже о чём-то разговаривали, тоже как-то понимали своё стояние здесь и вот этот шум и дым слева, — а как?

Но и *перестоять* — тоже была опасность. Декабристы всё потеряли, перестояв чересчур долго.

Розеншильд напомнил офицерам, что в *тот* декабрьский день здесь, на Дворцовой, тоже стягивались войска, но — верные Николаю.

Так что в их стоянии, да ещё при хабаловском приказе, сквозила большая двусмысленность.

Но и Дворцовая площадь может стать Сенатской. Лишь бы собрать силы, стянуться.

Странно, что и Хабалов не присылал больше никаких распоряжений.

Две роты, стоящие в бездействии посредине пустой оснеженной площади, конечно привлекали внимание — и за их спиною, на тротуаре у Зимнего, начали собираться любопытные, среди них несколько полковников и старых генералов. Они претендовали подать совет. Генерал-инспектор запасных войск обращал внимание офицеров, что их батальон не может представлять собою истинный Преображенский полк, это дерзость.

А другой генерал высказал, что надо бы им идти в атаку на Таврический дворец, голова гидры — там. Но по неловкому молчанию понял, что не попал в тон. И постепенно ретировался.

Не повеселели офицеры. Всё меньше они сами понимали, зачем стоят и зачем так долго.

Хотя солнце наконец прорвалось и победно заискрило нетронутым снегом площади, зазолотилась тут близко Адмиралтейская

игла, а подальше насадистый купол Исаакия, — всё это не выглядело как весна, и теплом не веяло, но забирал обычный морозец короткого зимнего послеполуденья.

И забирал пальцы в сапогах. И руки, если всё время винтовку держать, хоть и в перчатке.

И солдаты потаптывались, постукивали нога об ногу, и перекладывали винтовку из руки в руку.

И капитан Скрипицын предложил сходить на разведку в хабаловский штаб, в градоначальство, ведь до него всего полплощади, да Невский пересечь.

Через полчаса он вернулся. Рассказал, что штаб удивительно безпорядочный и растерянный, начать с того, что с улицы кому угодно вход свободный, не проверяют. Что у полицейских генералов перепуганные лица, а Хабалов — кусок теста. Скрипицын сам с ним говорил и, не высказывая офицерского замысла, предупредил, что настроение солдат таково: вряд ли будут они стрелять, даже наверное не будут. Да и вообще, успокоить питерский народ можно только справедливыми уступками, а не пальбой. Хабалов мямлил и ничего решительного не мог возразить или приказать.

От стояния настроенье упадало. Два раза, однако, поддержалось приходом на площадь небольших отрядов егерей, потом роты Петроградского полка. Но они тоже не имели никаких ясных распоряжений из хабаловского штаба, только прийти сюда. Пристроились к левому флангу преображенцев.

Солнце уже только могло спускаться.

Солдаты подмерзали. Да и офицеры.

Непонятно, что же нужно было делать этой кучке?

И с другой стороны, от мятежного гула, вот уже скоро два часа — ничто не накатилось, не приблизилось, не объяснилось. Мятеж происходил в каких-то кварталах сам в себе замкнуто, отдаваясь наружу только гулом выстрелов и дымом пожара.

И чтобы понять — что же он: побеждает или проигрывает? что именно там кипит и творится? — офицеры по очереди бегали к себе в собрание и звонили знакомым в тот район, узнавали.

И вдруг! — с той стороны, от Марсова поля, с другого конца Миллионной — раздались звуки военного оркестра! Да, кажется. Да, именно. И вот даже можно было различить: это — павловский марш, снова и снова играемый.

Это шли — павловцы! Сюда!

Они шли с музыкой, значит, не враждебно. Ряды преображенцев сами подбодрились, подтянулись и без команды. А тут — отдали и команды. Все по местам, в струнку!

Преображенцы не догадались взять на площадь свой оркестр, да не столько и было их, — с тем большей жадной надеждой разинулись они на приближающуюся музыку.

А павловцы, переходя Зимнюю канавку, обрывом сменили свой марш на марш преображенский! — и так выходили на площадь, вытягивали длинный свой строй — да весь батальон военного времени, это несколько тысяч! — несколько тысяч курносых, круглолицых — и вытягивали, и выпячивали на площадь — и с приветственным маршем смешивались «ура» из двух строёв! Всей долготой своей протянулись мимо преображенцев — и стали уже западнее их, правофланговее, заворачивая голову своей колонны к Главному Штабу.

Как бы прочерчивая начало декабристского карре.

105

И провинившаяся «походная» рота павловцев на Конюшенной площади, и остальные роты при Марсовом поле — все, конечно, знали, что ночью 19 зачинщиков отвезли в крепость. По всем ротам так ощущали, что эти зачинщики взяты как бы за них, — и наказанье ляжет на всех. Ещё и командир батальона, хотя не павловцем раненный, посторонним, — но умирал в госпитале, своею смертью отягчая судьбу походной роты.

Поворот настроения нескольких тысяч, доступный объяснению, если уже знать результат, и вовсе же непредвиденный, правда: эти несколько тысяч павловцев, не лучше и не доглядчивей содержимые, чем все остальные запасные в Петрограде, вчера к вечеру причастные к первому немыслимому шагу военного бунта, — сегодня с утра, когда военный бунт вываливался на смежные улицы, кричал, стрелял и жёг, — не рванулись ему навстречу, не пытались растечься и разбежаться, не взорвались в каменных казармах — но смирно, угрюмо сидели, без лишних движений, необычно не выведенные на Марсово поле заниматься, — и только через простор его хорошо могли видеть в окна грозно и торжественно расползающийся под облаками дымный гриб большого пожара.

Кажется: павловцам-то и продолжать бы? Кажется — в том наглядно лежало спасение всех обвинённых и выручка остальных от вины, — только прибиться к мятежу, и вины как не бывало? Кажется, им-то бы ярее всех и помогать бунту?

Нет, воскресный мятеж их остался без последствий. Не он совершил революцию.

О запасных солдатах, сбродном батальоне, не предположить, что вызрело у них понятие чести полка, — вероятно, только чувство совиновности, при извечной привычке подчинения, — продержало их в угнетённости полдня. Но офицеры, даже свеженабранные прапорщики, как Вадим Андрусов и друг его Костя Гримм, — по тревожному времени все ночевавшие в казармах, никто не был отпущен, — уже понимали, что на звонкое, дерзкое имя павловцев лёг как бы траурный перечёрк, что с 26 февраля — и стрельбою в толпу, и восстанием — павловцы уже не те, что были второе столетие.

Заснули и проснулись в сквернейшем настроении.

Может быть, вот это ночевание офицеров в казарме, не так как у волынцев, определило угрюмую сдержанность павловцев в то утро.

А уж спал ли и во мраке каком провёл эту ночь капитан Чистяков, заменивший убитого командира? И так уже смозжилась на нём вся полковая тягота, а с утра начался за Фонтанкой в десятке кварталов отсюда — бунт, затронувший сразу три батальона, а потом больше. Очень быстро усвоил капитан, что командование Округом совершенно растеряно, глупеет от опасности и ничего не может ему указать. Решение он должен был найти сам. И не видел решения хуже, чем дуреть от казарменного сидения, в ожидании, что случится.

Был капитан Чистяков — офицер отъявленный, весь вменённый в свою службу, ввёрнутый, вмазанный в уставы. Просто ли он стоял, сидел, ходил, — он, движеньем и недвиженьем, высказанным и невысказанным, прежде всего постоянно — служил. И солдаты очень это чувствовали, даже самые новички. Могли не любить его за пронзительный взгляд, за безпощадность, — но не могли не поддаться, не подчиниться этому оживлённому сгущению уставов и команд.

Эти месяцы капитан лечился, левая рука его была поднята постоянной перевязью, но даже такая инвалидность, кажется, не нарушала, а ещё отчётистей выражала его подвижность, стройность и службу.

Обезнадёжась в хабаловском штабе (где и не желали от павловцев большего, чем сидели бы в казармах, не шевелясь), Чистяков телефонировал и телефонировал знакомым офицерам в другие батальоны, советуясь, что делать. Он выбирал-то испытанных. *Что* делать они все понимали одинаково — давить бунт, только не знали как и не были уверены в своих солдатах из-за множества новобранцев.

И после солдатского обеда, собрав на совет своих офицеров, выслушав, каким они воспринимают солдатское настроение (никто не высказался слишком безнадёжно), — капитан Чистяков приказал: весь батальон (кроме «походной» роты) в боевой амуниции строить на Марсовом поле, лицом к казармам.

По ротам раздались уверенные звонкие команды. И солдаты проштрафившегося батальона спешили с обмундированием, получали кто и винтовки и боевые патроны, толкались на лестницах, выходили. Удивляясь, осветляясь, радуясь.

Становились в четыре шеренги на привычных местах рота за ротой. А впереди — музыкантская команда. И небо светлело, вот и солнце.

Понимал батальон, что он не виновен более, что он прощён и наказанья не будет.

Разбирались, равнялись по последним командам, винтовки (у кого есть) — «к ноге», а все «смирно», — капитан Чистяков с подвязанною рукой в подхваченной по фигуре шинели, победно расхаживал перед строем, не упуская ни мелочи дальнострельными глазами — ведь неучи ещё.

Все ждали речи, напутствия, а он только крикнул:

— Пав-лов-цы — мо-лод-цы! Царь-Государь ждёт от нас выполнения долга! — и скомандовал на всё поле: — Напра-во! — и оркестру: — Марш!

И колонна с весёлой уверенностью повернула, грянул в трубы павловский марш, — и через марш растя до своего знаменитого полка, под тянущую, подымающую музыку, удваивающую человека, в радости этих победных звуков — пошла! пошла, офицеры на своих местах, пошла! вдоль Марсова до угла Миллионной, а там —

— Правое плечо вперё-од!

и, заполняя Миллионную музыкой, шагом и своими тысячами — к Дворцовой площади!

Какая бы в городе ни была революция — но все дороги открыты полку, идущему под музыку.

106

Час назад очень мало касалось генерала Занкевича всё это происходящее в столице — и как бы ни кончилось оно. В могучих крылах Главного Штаба с парадно-высокими окнами на Дворцовую площадь шла ежедневная тихая бумажная перекладка, связанная единственно только с Армией, воюющей и тыловой, со снабжением, организацией и назначениями. Поглядывал Занкевич, что на площадь пришла и стоит часть Преображенского батальона, красные канты, но это его не касалось. Хотя Занкевич был и смел, и боевой, но не скучал и не томился на своей неслышной работе, потому что вела она его блистательной дорогой, и был он хороший служебный тактик, и весьма рано по своему возрасту вот стал три недели назад начальником Генерального штаба вместо Беляева.

Этим же Беляевым внезапно вызванный теперь в градоначальство, он уже по вызову почувствовал, что дело неладно. За пять минут, пересекая Невский, уже приготовился, что сейчас его тряхнёт. *Мёртвая Голова* из пустоты глазниц продиктовала ему новое назначение.

Но где же войска? И где расположен неприятель?

Неприятель нигде не был расположен, двигался неизвестно где, пребывал в неизвестных количествах в северо-восточной части города, но и у Занкевича могли быть только те, кто сейчас соберутся, — а кто из полутора десятка батальонов не пожелает прийти, останется в казармах — то пусть и остаётся, так спокойней.

Так что? Преображенцы. По роте измайловцев и петроградцев. Пулемётная полурота. Две батареи без снарядов. Да ещё, обещано, что-то пришлют из гвардейского экипажа? Редковато.

А между тем, приняв назначение, надо же действовать энергично, не кваситься, как этот Хабалов. Пока не назначен — служилый офицер может только в окно поглядывать, что там делается. Но назначенный — он должен всех поразить предприимчивостью и натиском.

И тут сообщили по телефону из Зимнего, что на площадь входит — с музыкой, со знаменем, с офицерами — весь Павловский батальон!

И сердце Занкевича стукнуло по-наполеоновски. А он-то — кто был, если не павловец? Он-то — коренной офицер Павловского полка, когда-то и не мечтавший подыматься выше. А совсем недавно на фронте он был — и командир Павловского полка! И в запасном батальоне бывшие раненые все его и знают конечно!

Сердце стукало: знаменательное совпадение! — он назначен командовать, а павловцы сами пришли! От таких совпадений происходят великие дела! Час назад ни к чему не готовый, десять минут назад в сомнениях, — вот, он уже безповоротно решился уложить свои силы в этот день!

Он схватил пролётку, дежурившую у градоначальства, — и понёсся — не прямо на площадь, нет, но к себе домой, совсем недалеко — надеть полный павловский мундир, белые канты, зимнюю форму. Он терял на этом ещё десять минут — но то был эффект!

И на той же пролётке он вылетел рассчитанным курсом из-под арки Главного Штаба — и парадно-красивой дугою помчался к строю павловцев, к правому флангу их.

И — встал во весь рост в пролётке, руку под козырёк.

Там раздались торопливые команды, батальон принял «смирно», — и когда генерал поздоровался — ему ответили в три тысячи дружных глоток.

И остановясь перед своими павловцами, генерал Занкевич звонко прокричал короткую речь, слышимую и преображенцам. Что если бунт победит — от этого выиграют только немцы. Что их, героев гвардейцев, он зовёт послужить России, царю и доказать верность гвардейским традициям!

— Тут многие знают меня? Мы вместе кровь проливали на фронте!

— Так точно! — кричали павловцы. — Так точно! — восторженно. — Рады стараться! Постараемся! — самозабвенно из рядов.

Превосходно! Так по-наполеоновски: прямо и наступать на Литейную часть, на выручку Кутепову! Только ещё подождать подкреплений, гвардейского экипажа.

Триумфатором Занкевич проехал дальше. Сошёл, стал прохаживаться перед строем преображенцев. Подозвал к себе господ офицеров, спрашивал: «Ну, как?»

И вдруг он воспринял не только тот восторг, вырванный из солдатских грудей, — но рассчитанную осторожность? или сомненье? или даже глухую неприязнь? преображенских офицеров.

Что такое, как? Расщупывал офицеров глазами, вопросами.

И услышал. Господа офицеры *не надеются*, что их солдаты пойдут против Государственной Думы. Как бы они не увеличили

собою численности противной стороны. Да это было бы и противоестественно — идти против Государственной Думы. Соотношение сторон отнюдь не представляется так просто.

Молодые офицеры смотрели отчуждённо, а то даже и возмущённо. Никак они не походили на защитников правительства.

И Занкевич быстро стал охладевать и опадать. Он увлечённо поддался взлёту своего настроения — и просто не успел подумать, что неприятеля — никакого нет. За бегающими бунтарями — стоит Государственная Дума, общественное мнение. А с ними — генерал Занкевич и не думал бы и не хотел бороться, это — не путь возвышения генералу.

Талантливому человеку — надо и действовать осторожнее вдвое. Проявлять ли рвение или не проявлять — ещё надо приглядеться. Наступать — а на кого?..

107

Воротясь с прогулки и оставшись у себя один, Николай тотчас перечитал телеграмму Хабалова. Да, волынцы взбунтовались в составе более чем одной роты — и им удалось увлечь ещё какую-то одну роту, лишь неясно: Литовского или Преображенского батальона. Не так много, три роты запасных, — но какой несмываемый позор для гвардии! Однако вот что: Хабалов просил прислать надёжные части с фронта — *немедленно*. «Немедленно» — это словцо как-то скользнуло мимо глаз, когда Государь читал телеграмму в первый раз, на лестнице.

Но три роты запасных — настолько ли дело серьёзно, чтобы снимать войска с фронта?

Государь замялся. Собственно, он совсем не знал этого генерала Хабалова, не знал его качеств. Этот генерал был не фронтовой, он состоял последнее время губернатором Уральской области, и запомнилось, как приезжал приветствовать Государя во главе уральских казаков, а уральцев Николай очень любил, они приятно молвили, да ещё привозили всегда в дар вкуснейшие икры и балыки. Так, при этих огромных балыках ему только и помнился Хабалов. А затем как-то полуслучайно, по чьей-то рекомендации, он был переназначен на Петроградский военный округ, да округ был несамостоятелен, лишь вот недавно выделился из Северо-Западного фронта. Что сейчас надо было думать о его «немедленно» — такая ли острая нужда? или растерялся?

Всё стало бы ясно Николаю, если была бы свежая телеграмма от верной Аликс. Но — не было ничего, это успокаивало: Аликс всегда на страже и не пропустит опасного. Уже сколько раз всегда и обо всём она предупреждала его вовремя, её письма никогда не были женской болтовнёй, но со многими деловыми сведениями и энергичными советами.

Впрочем, последняя её вчерашняя телеграмма и была такова: «очень безпокоюсь насчёт города».

Однако, если б стало хуже, она прислала бы сегодня ещё.

Конечно, хотелось бы хоть строку успокаивающую от надёжи-Протопопова. Но не было. Впрочем, при его находчивости и проницательности это могло быть как раз свидетельством благополучия.

Что же: надо что-то предпринять или нет? Мучительный, как всегда, вопрос, — но при всей большой свите не было у Государя ни одного делового советчика, светлой головы. Всего истомительней сердцу и было, что в эти дни Николай не мог быть вместе с Аликс, а всё переживать и решать самому.

Только — начальник штаба. Но — служебный человек. Хотя и хорошая душа, и благочестивая, — а всё-таки не свой.

Да вот он и спешил в царский дом, трудолюбивый старательный Алексеев. И нёс свежие телеграммы.

Первую подал — от Беляева. Ага! Она была часом позже хабаловской и совсем короткая. Сообщал военный министр, что начавшиеся с утра в некоторых войсковых частях волнения твёрдо и энергично подавляются оставшимися верными своему долгу ротами и батальонами. Подавить бунт ещё не удалось, но твёрдо уверен в скором наступлении спокойствия. Принимаются безпощадные меры. Власти сохраняют полное спокойствие.

Тут было противоречие с Хабаловым: никаких войск на помощь не просилось, справятся сами и быстро. А Беляев занимал пост выше, обзор имел лучше, да и телеграмма часом позже. И если сопоставить, что в эти же часы Дума, главная подстрекательница, уже прервана в занятиях, — то скорей всего и можно было ожидать спокойствия.

Только что-то процарапало. Да, вот: «оставшиеся верными роты и батальоны». Странно выражено, если гарнизон почти весь в руках.

По характеру своему, по складу, по отношениям с Алексеевым, не мог Государь запросто сказать ему: «Михаил Васильич, что-то очень тревожно на душе и неясно. Что ж нам делать?»

Он только потрогал ворот, посмотрел на генерала открытыми глазами с молчаливым вопросом.

Но глаза Алексеева самим устройством век постоянно были прищурены, полузакрыты, нельзя было досмотреться до душевного состояния.

А ещё же — он держал вторую телеграмму и с неизменным, кисловато-занятым выражением подавал теперь её.

Как, опять от злосчастного толстяка Родзянки? Но в этот раз без манёвра с Главнокомандующими, прямо на имя Государя. А по времени — как раз между теми двумя, между хабаловской и беляевской, тоже сегодняшняя полуденная.

Но — что? но какую невообразятицу он нёс?! Опять: что правительство — безсильно. (Но это и всегда они уже кричали, много лет.) Что на войска — надежды нет. (Как будто он ими командовал и хорошо знал.) Что началась и разгорается — гражданская война! В запасных батальонах убивают офицеров и идут, видимо, громить министерство внутренних дел и Государственную Думу!

И Думу? Картина была, однако, значительная.

А дальше — дальше не докладывал, не просил, а приказывал, сумасшедший Самовар, приказывал своему Государю: повелите немедленно то-то и то-то. Немедленно восстановить занятия Думы. Немедленно создать новое правительство — такое, как он настаивал во вчерашней телеграмме, — и безотлагательно возвестить эти решения манифестом, иначе движение перебросится в армию, и неминуемо крушение России и династии.

Эк, куда хватил! Когда с такими угрозами и требовали возвещения манифеста о сдаче власти — слишком болезненно это напомнило Николаю другую обстановку, другого Манифеста, — и данного тогда совершенно зря, по испугу.

Не только тоном своим, но этим требованием немедленного манифеста — отвергал Родзянко государево сердце от своей телеграммы.

А что ещё в конце? Толстяк, конечно, просил «от имени всей России» — и настал-де час, решающий судьбу и родины и самого императора, а завтра может оказаться уже поздно.

Что он, с ума сошёл? Откуда это бралось в его медвежьей голове, ни у кого больше? Рёв отчаяния и страха, как защемили бы лапу его. Крик — не по мере.

Своим напором, тоном он окончательно отвращал от себя. А ещё же подразумевалось, что в главу нового правительства он навязывает самого себя. И при этом дерзал угрожать, что решается личная судьба Государя!

Это закрывало путь какого-либо отзыва.

Ещё — и третья телеграмма, от Эверта. И больше половины — повторенье вчерашней родзянковской, — всё тот же обходный манёвр. А от самого Эверта: он — солдат, в политику не мешается, но не может не видеть крайнего расстройства транспорта и недовоза продовольствия. Надо принять военные меры для обезпечения железнодорожного движения.

Это он мог и просто по службе донести. Ни при чём тут Родзянко.

Посмотрел на Алексеева. В его остробровом, остроусом, прихмуренном лице знал он это не жалобное, не жалостливое выражение, а какую-то кисловатую, косоватую пробранность, задетость.

— Вы хотите мне что-то сказать, Михаил Васильич?

Вдруг почему-то в этот момент, никогда раньше не приходило в голову, показался ему Алексеев чеховским человеком в футляре: в своём мундире, в фуражке, за усами, за очками скрывался осторожно, без надобности сам не высовывался — и по спросу тоже с осторожностью, фразами лишь предположительными:

— Ваше Величество… Быть может, обстоятельства этого момента… Быть может, разумно было бы уступить настояниям общественности? И общественность наилучшим образом нашла бы выход из всех кризисных положений? Сразу все бы успокоились…

И без помех продолжалась бы тут штабная работа.

Простяга Алексеев и отдалённо не понимал, какой величины вопроса касался! — и какой продолжительности. Он служил полтора года начальником штаба Верховного, но никогда костями своего черепа не ощущал на себе обручного давления и тяжести шапки Мономаха. На его плечах двумя дланями не тяготела традиция столетий — и он сам два десятка лет не измучивался вопросом: о смысле, пределах и долготе Самодержавия, об ответственности перед предками, перед потомками, перед народом. Что это мистиче-

ский грех — передавать толпе вручённую от Бога власть. И — о неготовности народа ко всякой иной форме правления.

«Требования общественности»! Настроение крикливых, безпочвенных, безответственных интеллигентов, сошедшихся в кружок в Таврическом дворце или на московском съезде. Им казалось, это так просто для царя: взять и ввести, чтобы министры отчитывались не перед ним, а перед Думой. А это была — переломка всего принципа.

Да разлаживать всякий привычный порядок — всегда опасно. Легкомысленное новшество может в недели развалить вековое здание. А перестраивать государственное управление — да в такую войну? Всё сразу расстроить. Подходит решающий год войны — и как же безсмысленно говорить о реформах.

Но всё это — как было высказывать Алексееву? И зачем? Он должен бы — из вида Государя, из глаз его понять.

Промолчал.

Поняв молчание, Алексеев высказал буркотным своим голоском:

— Но дозвольте, Ваше Величество. Если не давать ответственное министерство, то тем более необходимо назначить диктатора тыла.

Ну да, это было его предложение прошлого лета: единого верховного министра — по вопросам топлива, транспорта, продовольствия, военных заводов, по всему хозяйству, как Верховного Главнокомандующего на фронте. Но отвергнув его в своё время — теперь ли было его принимать в таких необычных обстоятельствах? Тем более надо было подумать.

Промолчал.

Государь бы думал скорей: не послать ли на помощь сколько-то войск, как просил Хабалов? Но Алексеев не выказывал такой взволнованности и не предлагал сам. Да и, зная его: он, конечно, против такой меры — ослаблять фронт, снимать полки.

И неудобно было первому высказать, как будто бы испугался свыше меры. Алексеев — об ответственном министерстве, а Государь — о подавительных войсках?

Но и чувствовало сердце, что надо что-то предпринять.

Со стеснением перед щёлками глаз начальника штаба Государь вымолвил:

— Михаил Васильич… А может быть, всё-таки… подослать кого-нибудь? В Петроград. Конную часть какую-нибудь.

Готов был и отступиться. Но Алексеев не слишком удивился. Морщил лоб.

— Можно. Например, из-под Новгорода, из Селищенских казарм, конную бригаду.

— Подумайте, Михаил Васильич, — сразу полегчало Николаю. — Распорядитесь. А сегодня вечером ещё посоветуемся, какие-нибудь известия добавятся.

Полегчало. Нельзя было ничего не сделать!

Алексеев ушёл, головой уёженный в плечи, нездоровится.

Пора была идти к вечернему чаю.

Тут и почту принесли с поезда, от Аликс письмо — вчерашнее, да большое! (В этот раз ненадушенное, не до того.)

Николай поцеловал его и стал читать.

108

К отряду Кутепова подкрепления всё-таки не переставали откуда-то прибывать. Подошла команда разведчиков, человек пятьдесят, и единственный там офицер доложил, что это — из Царского Села, из 1-го стрелкового Его Величества полка. Почему именно разведчиков, а не боевая рота? — это не у кого было спросить. Ещё не дозвучал рапорт офицера, а взгляд Кутепова уже определил, что вид команды неважный. Тотчас и подтвердилось: полковник поздоровался с ней — она ответила весьма вяло, — а в ответе на приветствие, в том его и смысл, первей всего сказывается настроение солдат. И сразу же после ответа кто-то, скрываясь, выдал из строя: «Мы ещё сегодня не обедали». Такую команду хоть и не брать, отвести в ближайший двор и там упорядочить.

Не успел распорядиться с ними — подъехал эскадрон, оказывается — гвардейского кавалерийского полка. И ротмистр его, ещё не дождавшись приказания от полковника, тут же доложил, что лошади плохо кованы, люди не ели, устали от большого перехода и нуждаются в отдыхе. Всё это могло быть так, но не с первого слова и не перед строем должен был о том докладывать офицер. С презрением, громким голосом Кутепов ответил, что удивляется его словам и отрешает от командования, не в такой обстановке просят отдых. Командовать эскадроном тут же назначил поручика — и велел ему двигаться через Симеоновский мост к цирку Чинизелли,

далее выяснить обстановку в районе Марсова поля и в случае необходимости действовать решительно.

Тут, на Литейном, тесно было для кавалерии, да и кавалерия не хороша. А висел неотменённый приказ Хабалова двигаться к Дворцовой площади, вот и будет попытка такого движения. За четыре прошедших часа Хабалов не изменил и не повторил ни одного приказания, не подтвердил получения ни одного доклада — Кутепову приходилось действовать, как если бы никого в столице старше его не было.

Так что подкрепления не укрепили, войск продвигаться не было, заднюю роту преображенцев снимать с оцепления Кутепов не решился, чтоб не обнажить тыла. Передняя рота их и полурота кексгольмцев действовали справа на боковых улицах. И всего лишь с полуротой кексгольмцев Кутепов продвинулся до Дома Армии и Флота.

Но тут усилился обстрел по ним. Не только от Орудийного завода, но, очевидно, и с колокольни Сергиевского всей артиллерии собора (дым от горящего Окружного суда, всё ближе и гуще, мешал хорошо видеть). Неопытные солдаты, не бывавшие под огнём, стали прятаться в воротных углублениях и бросились в сам Дом Армии. Продвижение прекратилось.

К счастью, тут же на Литейном, в доме графа Мусина-Пушкина, помещалось одно из отделений Красного Креста. Кутепов попросил их немедленно принимать раненых. К раненым кексгольмцам поднесли и двух раненых с площади Преображенского собора.

Нашли годный пулемёт, и Кутепов установил его так, чтоб обстреливать угол Сергиевской и Орудийный завод.

Послал распоряжение преображенской роте справа действовать решительнее.

Бой вполне можно было вести и даже перерезать Литейный мост и теснить восставших в мешок, образуемый Невою, — только втрое и вчетверо бы сил, да снабжённых, да накормленных.

Тут подошла новая рота — 4-го стрелкового полка из Царского Села. И одновременно же пришло донесение о новой какой-то толпе, которая движется мимо Летнего сада к Пантелеймоновскому мосту. Удачно! Пять минут назад вовсе нечем было защитить левый фланг — теперь эту новую роту Кутепов и послал туда, налево: на углу Пантелеймоновской и Моховой встретить толпу огнём.

Едва отправил — сообщили спереди, что на Сергиевской за углом собирается много автомобилей, видимо для атаки. Современный стиль войны! Важный момент! Кутепов ринулся вперёд, изготовлять кексгольмскую полуроту на разгон автомобилей. Едва расставил и объяснил — с Сергиевской вылетели с заворотом на Литейный один за другим несколько автомобилей, облепленных и снаружи рабочими с винтовками и красными лоскутами. Они погнали прямо сюда, безпорядочно стреляя на ходу, не успевая выбирать цели.

Приготовленная полурота — от стен, из подворотен — открыла огонь, и все автомобили в минуту были подбиты, остановились, а один ещё продолжал гнать по Литейному, теряя на мостовую падавших, потом с визжанием завернул, подстреленный, с разбитыми стёклами, видимо раненым шофёром, и скрылся в Сергиевскую обратно. Остальные, побросав автомобили и убитых, убежали туда же.

Хорошо отбили, кексгольмцы! Молодцы!

Задалась новая работа: куда-то убрать убитых. Уже известен был пустой каретный сарай в одном из домов, стаскивали туда. От убитых сильно пахло спиртом.

Эти автомобили надо было бы завести и приспособить.

Литейный проспект уже привык к высокой фигуре полковника, не взятого ни одною пулей.

Кутепов подумал: а неплохо! Несколько критических моментов он уже перешёл, удерживаясь, укрепляясь и даже продвигаясь. В отчаянные минуты приходили и подкрепления.

Вдруг слева, с Пантелеймоновской, показался бегом ротный последних царскосельских стрелков — бледный штабс-капитан с одним оборванным погоном.

Остановился и через тяжёлое дыхание доложил: он довёл свою роту до угла Моховой, но там его солдаты смешались с толпой, из толпы оторвали его шашку, пытались избить, он бежал.

Вот тебе и подкрепление…

Да, у мятежников тут был большой перевес численности.

109

Бывают читатели, которых и землетрясение не оторвёт от книги, они удержатся за неё и в тот миг. Такие милые всем известные чудаки присутствовали и сегодня в Публичной библиотеке на

своих известных местах. А в остальном были пусты сумрачные залы и вестибюли библиотеки, как если бы был праздник, пришедшие с утра — поспешно ушли, и только сами служащие оживляли тишину и пустоту залов: то смотрели в окна на Садовую и на Невский, то спешили к телефонам узнать новости дальние, то друг ко другу — поделиться ими.

Вера же сперва не вскакивала и не ходила смотреть, сидела у себя глубоко за полками, откуда окошко было обращено на Александринский театр и не давало большой пищи. Что бы ни случилось снаружи, а работа сама не сделается, были заказы, были обещания. Но возбуждённые радостные сослуживицы подбегали к ней с новостями — увлекли и её. Новости, действительно, были сотрясательные, хотя неизвестно, какое продолжение получат. Восстания целых батальонов ещё же не происходили никогда! — это могло быть началом чего-то совсем небывалого. И Дума! — распущенная, отказалась расходиться! — и не где-нибудь в Выборге, а в самом Таврическом дворце. Это уже было как располощенное знамя революции над столицей. Все покинули последнюю работу и даже вовсе уходили со службы. Возбудилась очень и Вера. Неужели именно нам довелось быть современниками?.. А впрочем, всё это может быть и смазано в час-два приходом карательных войск.

При открытой форточке всё слышней и ближе была стрельба. И приходили слухи о пожарах, об убийствах полицейских и — офицеров!

Ах, хотелось, чтоб эта заря пришла как-нибудь иначе — зачем же поджигать здания и — убивать? И что начнут с убийства армейских офицеров, воюющих за Россию, — никогда не воображалось такое, что за ужас?

Вера очень порадовалась, что отправила брата вчера. Он непременно во что-нибудь бы встрял и мог бы попасть в число этих несчастных.

Хотя ещё и непонятно, как бы ему вмешиваться. Бунтари-то — свои, кровные, если Шингарёв среди бунтарей — то как же?

Тут её позвали к телефону.

И только трубку взяла, как ни искажал телефон голоса — что-то сильное тёплое сразу приложилось к сердцу.

— Да, здравствуйте…

Сослуживицы стояли рядом, ожидая, что будет сообщение новостей. Но по первому же голосу Веры поняли, что — нет, и отошли.

Это звонил Дмитриев! Боже, как она обрадовалась! Телефон, протянувший голос через провода, сжавший его, убравший окраску, передавал некий другой голос, условно считаемый за истинный, — а всё же интонация вся оставалась, умедления, растяжки, паузы или быстро-громко — и Вера слушала их.

Он звонит — просто так, никакого дела нет. Узнавши о событиях, звонит потому, что безпокоится о ней. Она ведь не знает, что такое безпорядочная стрельба, и эти безсмысленные невидимые пульки, которой одной достаточно. Одним словом…

— Вера Михайловна, я звоню — попросить вас… чтобы вы сегодня не были на улицах.

Боже, почему он просит? какое право он имеет просить! (Не сказала.)

— Но как же мне иначе перелететь домой, Михаил Дмитрич?

Ну, только домой — это совсем близко, пересечь Невский. Но сегодняшнее общее увлечение может утянуть в дальние прогулки, — так вот… не надо.

Вера растерялась, не нашлась ни пошутить, ни ответить серьёзно. Почти смолчала.

А он, пока ждал ответа, естественно молчал.

А она — неестественно.

Тогда он ещё: он просит прощения. Но он хочет, просто для *своего* спокойствия, чтобы Вера Михайловна ему пообещала, что никуда сегодня не пойдёт.

И Вера — ответила согласно, единственно как почувствовала:

— Хорошо.

И оттуда, пониженное:

— Спасибо.

Но так неловко сложился разговор, она теперь звонко:

— А что у вас? Откуда вы звоните?

И тут же мелькнуло, что вот это как раз и нельзя, что именно она его меньше могла спрашивать, чем он её, была такая целая заштрихованная, неоговариваемая область.

Но нет, всё обошлось хорошо. Звонит он с Обуховского завода.

Разве не бастуют?

Да, конечно, все бастуют, разошлись, никого нет. Но два литейщика согласились с ним поработать. Тут маленькая отливка, пробная. И — как странно всё выглядит на пустом заводе, в пустой литейке.

Описал. С медленностью, как всегда он.

Слушала, слушала.

Когда положила трубку и шла — спросили, что нового?

А Вера — ничего не могла сказать. Они поговорили, так и не сказав друг другу никакой новости.

Но — как это ново было! Но как она была ему благодарна!

Через весь город протянул охранительную руку и сказал: будь дома.

И хотя он не был свободен так говорить, но, Боже, как хорошо, что он так сказал, ведь он же не придумал, ведь значит, он так думал.

И она согласилась покорно, радостно. Будет дома.

Она и всё равно пошла бы прямо домой — а всё-таки это совсем иначе. Она как будто получила запрет. Она как будто потеряла свободу движений.

Как хорошо.

Последние часы её работы косо скользило солнечное в проход между театром и библиотекой. И день показался потеплевшим, весенним.

А когда вышла на улицу — ого, морозец как есть.

И весь Екатерининский сквер был наполнен народом, а Невский — и по тротуарам и по мостовой — весь залит толпой, никем не управляемой, не останавливаемой, — ни полиции, ни войск, ни экипажей. Солдат много, и большими кучками, но даже неприученный верин взгляд различал, что это — необычные солдаты, они как-то свободно, не в строю держались, кто с винтовками, а больше без винтовок. И — масса гимназистов. И студенты — некоторые тоже уже с винтовками, а один — в косой опояске пулемётной ленты.

Издали где-то и стреляли, но здесь — никто, очень мирно, дружественно. Вера шла без помех и только рассматривала лица, лица.

Было какое-то единое счастливое состояние — как будто облако счастья снизилось и всех их окутало, охмелило. Были лица растерянные, и любопытные (больше всего любопытных, так и рассматривали все друг друга, будто видели первый раз), были экстазно счастливые. Но больше всего — простой обмен хорошим дружеским настроением, повсюду перекличка голосов, оживлённый говор — это всё незнакомые разговаривали друг с другом, так много не бывает знакомых.

В толпах верующих у церквей, после праздничных обеден, Вера такое встречала — но необычно было увидеть сходное братское чувство у сухой петербургской толпы, никогда и ничем не спаянной.

Все едино знали, что теперь-теперь-теперь будет так хорошо и светло жить!

110

Как началось это всё с утра — Ободовский в Военно-техническом комитете продолжал, конечно, сидеть и работать, — но стало его изнутри всего растрёпывать, растеребливать.

После того, что вчера стреляли на Невском и, казалось, волнения подавлены, — он уже сам себя упрекал в своём двоении: как он мог в предыдущие дни колебаться, разделиться сочувствием, подумать: войну-то важнее кончить, а уж потом… А потом-то ничего и не добьёшься! Кроме Нуси, он ни с кем так не поделился, и никто не мог его упрекнуть, а как будто он своим усумнившимся чувством накликал поражение.

Но когда сегодня притекала весть за вестью, как расширяется по столице военный бунт, Ободовский очень быстро, своим опытом Пятого года, определил, когда другие ещё не смели назвать: р е в о л ю ц и я! Она!

И вот уже — ни его никто не упрекал, ни он никого — Она разливалась, и её победа захватывала сердце: всё равно Она уже текла, и что ж упрекать и подсчитывать, на чём отразится? — только бы теперь не сорвалась! только бы дотекла! Это — момент, которого ждут столетия, это — момент, которого нельзя откладывать ни ради чего! — он потом опять два столетия не повторится.

Другое: как мы, напряжённо годами её ожидавши и веря, — всё равно не приготовились и не угадали, что она пришла? Все эти дни — ведь не угадали.

И ещё другое: почему — так легко? Стояла, стояла стена — и вдруг так легко, так почти без усилий свобода прошла через неё? Неужели эта мощь была такая слабая? Ну, да она себя ещё покажет.

С Обуховского звонил Дмитриев: ему удалось сговорить двух рабочих и продолжать сегодня бронзовые отливки. Ну, молодец! Ободовский и сам же продолжал работать.

Но иногда откидывался на спинку стула и зажмуривался.

Или через форточку слушал выстрелы.

Или новость по телефону.

Или в окно смотрел на промелькнувшие красные клочки на одеждах.

Уже забирало его. Ещё работал — но уже забирало. И когда позвонила Нуся, что на Петербургской стороне ничего нет, — он рассказал ей, что чувствует, и предупредил: может быть, не придёт обедать, может, и ночевать не придёт, пусть не безпокоится.

Нуся понимала: если это революция — то какой там сон!

Раза два Пётр Акимович выходил наружу, и на проспект. Там уже всё более забурливало этой людской перемесью всех званий, состояний и возрастов, поздравления от незнакомых, совсем как на Пасху, иногда слёзы на глазах — набегали и у самого, — этим нарастающим, всех покрывающим братством. Какое дивное чувство, какая широта души, и что за чудо революция? — ещё вчера эти же самые люди друг ко другу ничего такого не испытывали? — откуда ж оно берётся и заливает сладко без берегов?

Можно бы толкаться так и часами, смотреть освобождённые лица и слушать освобождённые голоса, — но ничто при этом не продвигается, а фронт ведь воюет, а в окопах сидят… — и Ободовский возвращался к себе и продолжал с бумагами и с чертежами.

Ужасно, что это во время войны! Но чего не простишь революции за её ослепительность! Революция — как эпидемия, она не выбирает момента, не спрашивает нас.

А другой раз вышел на улицу — увидел большое военное шествие с оркестром и с красными знамёнами, правда — нестройно в рядах, без офицеров и формы сбродные, — но безпрепятственно! такой поток солдат! — голова не вмещала.

Потом — уже не было шествий. Прорывались эффектные безтолковые автомобили — видно, что без цели поездки, тратящие только бензин. И — стреляли, стреляли из винтовок, всё в воздух, всё без толку, и чаще подростки, нахватавшие откуда-то револьверов и с ними плясавшие вокруг толпы.

Безумные! Ведь завтра-послезавтра придётся оборонять Петроград против царских войск, через две недели, может быть, против немцев, если им откроют фронт, — но сотни патронов вылетали в воздух зря.

А офицеров — обезоруживали. Ободовский губы закусывал, как если б это оскорбляли его самого. Он представлял, что офицеру — такого оскорбления пережить невозможно. А некоторые — отдавали шашки и улыбались?..

Он засел за телефон — звонить, искать помощников, сотрудников, сообщников: около Арсенала, около патронного склада Орудийного завода и где ещё разграбили или могли разграбить, — что можно ещё спасти? Есть ли возможность выставить караулы?

Но не заставал он на местах и гражданских чиновников, а уж где было найти и организовать стройную воинскую охрану.

Революция — не может без хаоса и разрушения, это её отличительная черта. Но спасая её же самоё — надо было хорошенько дать ей по святым рукам!

А сил — не было! Никто был Ободовский, и тем более не военачальник и вообще не военный, никто ему не подчинялся, можно было надеяться только кого-то случайно уговорить и обратить. Но почти никого не было на местах! — все дали себе льготу сбежать или отправиться на улицу зрителями.

Несколько часов Ободовский нервно просидел за телефоном, мало чего добившись, — а между тем с каждым получасом, он чувствовал это остро, — революция сползала-сползала-сползала, а из-за войны — и вся Россия вместе с ней!

Ужасно, ужасно, что это во время войны, — и поэтому надо с первой же минуты ставить загородки и даже заборы против Желанной, не давать разрушать, а только перестраивать в дело!

Никто был Ободовский ни при заходящем царе, ни при восходящей революции, — не министр, не начальник, не генерал, не выборный, — но он был человек действия и, никого не спросясь, мог и должен был сам найти себе место. Уже здесь, в военно-техническом комитете, сидеть ему дальше было неразумно — огненная война перекинулась на сам Петроград.

Где же мог быть центр, где станут собираться добровольно другие люди действия и можно что-то спасти, организовать, перенаправить стихию в разум?

Очевидно, при Государственной Думе, никакого другого места в голову не приходило, хотя из Таврического, кому он там дозванивался, второстепенным, никто ему толком ничего не ответил. Вот туда и нужно было идти сейчас, с рабочего дня на рабочую ночь.

Но тут он ещё раз позвонил в ГАУ — Главное Артиллерийское Управление, куда несколько раз за день звонил, — и оказалось, что уже и последние разошлись, и господа офицеры, и служащие, швейцар вот один остался и ничего поделать не может: буяны во-

рвались и ящики тащат, топорами открыли ящик с буссолями, а тут и ковры и зеркала, а полиции нет.

Ах, мерзавцы! ах, мерзавцы! — рванул Ободовский пальто и шапку. Новые буссоли тащить? За буссоли он им сейчас покажет, сколько б их там ни было, хоть тысяча человек!

И журавлиными шагами, не замечая ничего на улицах, понёсся к ГАУ.

111

* * *

Кто и когда поджёг Окружной суд — свидетелей нет.

В самый разгар пожара толпа не пожелала допустить пожарную команду, та уехала. Стояли, глазели, одобряли. На пожаре ликовал Хрусталёв-Носарь, двумя часами раньше освобождённый из тюрьмы. Соседние гимназисты утаскивали папки, для забавы. Тащили «дела» с фотографиями осуждённых. Стоял молодой человек из судейских и, смелея, громко стыдил толпу, что горит нотариальный архив, и какая это беда, и для чего он нужен. Мрачный мастеровой сплюнул и выматюгался:

— …так и так тебя с твоим архивом. Дома и землю без архива разделим.

Заодно против суда разгромили редакцию «Русского знамени», в мелкие клочья на мостовую рвали их черносотенную газету, их брошюры.

Когда в суде уже выгорели окна и провалились потолки — допустили пожарников. Приехало сразу несколько частей, выдвинули несколько лестниц. Но поздно.

Теперь лезли мешать пожарникам пьяные, но уже публика их отымала, умиряла.

* * *

По Суворовскому проспекту мчался из первых грузовик, полный вооружённых солдат. Из боковых Рождественских улиц выбегали на него смотреть. В кузове в переднем ряду молодой унтер, с красным лоскутом на штыке поднятой винтовки, кричал:

— Ура-а-а! Долой тира-ана! Долой всякое господи-инство!

— Молодцы волынцы! — кричали им с тротуара. А старухи крестились в испуге.

* * *

На углах Бассейной, Жуковской, Надеждинской стояли солдаты кучками, с вышедшей домашней прислугой, рассказывали и матерились.

По Кирочной разъезжало верхом несколько штатских в котелках и фетровых шляпах, опоясанных саблями сверх пальто, — на лошадях, уведенных из казарм жандармского дивизиона.

* * *

Пассажиры с поездов не находят на вокзалах ни носильщиков, ни транспорта. Где — опрокинутые извозчичьи дрожки. Кто ищет санки для клади, а кто достаёт рогожный куль, на него свои вещи — и потянул по снегу.

Близ вокзалов все магазины закрыты, у витрин никого.

* * *

А на Садовой — обычный вид, магазины и лавки открыты, на Апраксином и Щукином рынках — толпы покупателей, приказчики зазывают, разносчики с лотками перекрикивают друг друга, шутят, смеются.

* * *

Как начали грабить Арсенал — за день похитили 40 тысяч винтовок и разбили много ящиков револьверов.

А на Невском разгромили охотничий магазин. Всё оружие растащили начисто.

* * *

По Суворовскому — снова грузовик с солдатами. Густой гудок непрерывно ревёт — и сбегается толпа. Из кузова выбрасывают на ходу на сторону — винтовки, сабли. Молодёжь подбирает, потом

ладит, как привесить. А подростки — беснуются от радости, первее всех хватают.

Стройно, строго идёт полурота во главе с прапорщиком. Но — ничего красного. В толпе:

— Это что ж, против народа?

— Да не.

— А пошто ж они не вопят?

* * *

У подворотен, у подъездов набираются любопытные — жильцы, чиновники, барышни, а то и офицеры с дамами. И опасно смотреть, и интересно. То кучки двинутся вперёд, в толпу — лучше посмотреть. То — бегут назад, и офицеры под руку с дамами тоже.

Обыватели бродят по улицам с любопытством и жутью. У встречных узнают, что делается там-то и можно ли пройти.

* * *

Литовский замок — женское исправительное арестантское отделение, кто-то добивался атаковать ещё в воскресенье вечером: кучки народа сходились в темноте, перебегали, постреливали. Все дома вокруг перепугались и свет потушили.

Но только в понедельник после полудня появился бронированный автомобиль и отряд солдат. Поднялась пальба, летели стёкла, прошибли двери. Защитного караула не нашлось. Начальник тюрьмы, не отдававший ключей, был избит и уведен окровавленный.

Стали выпускать арестанток. Потащили всякое разное, что нашлось в складах.

Откуда-то снизу, как из подвала, стал подыматься рыжий дым. (И перешёл в трёхдневный пожар.)

* * *

За этот день разгромили семь тюрем. Кроме Дома предварительного заключения (откуда освободили финансиста Рубинштейна, за ним сразу пришёл автомобиль), Крестов (откуда освободили Гвоздева и всю Рабочую группу) и Литовского замка — ещё четыре.

На улицах арестанты и каторжники, в халатах, в тюремном, прогуливаются весело, целуются друг с другом и с солдатами.

Всех до одного освобождали, не расспрашивая. Вместе с политическими вышли на свободу (много больше их) и все уголовные. И в тех же часах начались по городу грабежи, поджоги и убийства.

* * *

Через форточку запертого Михайловского училища юнкер Лыкошин, сын генерала, крикнул на Нижегородскую улицу:

— Товарищи! Мы — с вами тоже! Но нас отсюда не выпускают!

Тогда юнкер Юрий Собинов, сын артиста, закатил ему пощёчину.

* * *

Рабочие разоружили охрану Финляндского вокзала и захватили его. Порвали семафоры, и движение поездов прекратилось. Сестрорецкие оружейники тоже заняли станцию Белоостров.

Путиловские рабочие захватили оружейные магазины и с оружием разогнали последние полицейские наряды близ завода.

* * *

На улицах стали повсюду разоружать офицеров, мирно: шашку, револьвер отдай — и идите, ваше благородие.

Офицеры по людным улицам продолжают ходить, друг другу козыряя, — а шашек ни у кого и нет: или ножны пустые, или ничего. (Спрятал, дома оставил?..)

Двое штатских, интеллигентных, в хороших пальто, идут, оживлённо разговаривая, — и каждый с обнажённой офицерской шашкой в руке. (Сами отобрали? Переняли у того, кто отобрал?)

* * *

Винтовки так часто, много везде стреляют — будто сами собой.

Грузовые автомобили — всё чаще на улицах, и откуда берутся? — три года война идёт, никогда столь частых не видели. Они

движутся среди толпы как большие ощетиненные животные. На солдатах — пулемётные ленты наискось через грудь, свисая с плечей, в опояску, на дулах винтовок в обвив. На лицах — радость, нетерпение и прорыв ненависти.

— Ура-а-а-а! — непрерывно кричат они толпе. И толпа приливает к ним навстречу с красными клочками, лоскутами:

— Ура-а-а!

Могучий броневик «Ахтырец», не только с пулемётами, но и с пушкой, грохотно катит по Невскому. На его стальном корпусе — красный флаг.

* * *

Через толпу на Знаменской площади хочет пройти военный автомобиль, правит офицер, даёт гудки. Но толпа не раздаётся.

— Стой, мотор! Проезду нет! Вылезай!

Студент подошёл и положил руку на руль:

— Мы конфискуем ваш мотор.

Офицер резко:

— Кто это — мы?

— Восставшие. Прошу не раздражать толпы и не вызывать нас на насилие.

Капитан вышел, растерянный.

В автомобиль набилось молодёжи, и тот студент, — и они помчались, непрерывно наяривая сиреной.

Но капитану не дали отойти. Другой студент:

— Теперь вы должны отдать нам шашку.

Капитан потемнел багрово, вскинулся:

— Нет! Это лишит меня чести!

— Но нам необходимо оружие, — аргументирует студент.

Капитан смеривает его и ближних окружающих, наступивших:

— Тогда — убейте меня! Но шашки я не отдам.

Протискивается здоровый солдат и одной рукой упреждает молодёжь:

— Братцы. Ежели офицер отдаст вам шашку — он лишён офицерского звания. Одна шашка вам не пособит, а человек пропасть должон?

— А ты что за заступник?

— Я — сам противу начальства! А офицера в обиду не дам.

Отбил, отпустили.

(Далеко ли?)

* * *

На Суворовском какие-то солдаты подошли к офицеру и сорвали с него погоны.

Он отошёл несколько шагов в сторону — и застрелился.

* * *

В Преображенском дворе Иван Редченков со своим земляком Митькой Пятилазовым слонялись, выходили через ворота на Суворовский проспект — но там и вовсе гуляла воля, куда хочу, туда стреляю.

Целый день никто их не кормил, повара разбежались, да и полк растёкся, без команды, кто куда, а новобранцы идти боялись. А морозик за полчаса не брал, а за полдня очень разбирал. А в казарму идти, сказано, нельзя: будто ежели кого там бунтари захватят, то прикончат.

* * *

Дежурный офицер Измайловского батальона у ворот ответил подошедшим взбунтованным солдатам, что в помещение батальона входить нельзя. Его — закололи тут же в два штыка, стряхнули на землю. (Потом раздели — и голым бросили в чулан.)

112

На Петербургской стороне весь этот день прошёл как лёгкий мирный праздник, всеобщий праздник в будний день. По телефонам через Неву известно было, что происходит, а по мостам не пускали. С Литейной стороны перекинулось на Выборгскую, а сюда ничто. За Невой и за Большой Невкой — там всё решалось, стрелялось, а здесь только гуляли большие городские толпы, передавали слухи, а полиции нигде не было видно, и Гренадерский батальон — только у мостов.

Алексею Васильевичу Пешехонову, одному из лидеров партии народных социалистов (партия была теперь такая маленькая, что состояла сегодня почти из одних лидеров), надо было бы непременно писать статью для короленковского журнала, но и дома никак не сиделось, и он то и дело покидал свою статью, надевал шубу с меховым воротником, выходил и прохаживался в публике.

Настроение у людей было возбуждённое, охотно заговаривали с незнакомыми — от переполнения большою общею радостью. И Пешехонов делил эту радость несказанно. Думал ли он дожить до такого счастливого дня! Все свои пятьдесят лет он только и делал, что шёл и шёл в народ — учителем, земским статистиком, потом и членом Крестьянского (но городского) союза, всё с лозунгом «Хлеб, свет и свобода!». И вот — что-то начиналось наконец? Проснулся народ?

Но вместе с тем его и огорчало, что публика — такова уж наша публика! — только и ограничивалась этим общим любопытством и радостью. А никто не делал никаких попыток прорваться через оцепленья на мостах, присоединиться к восставшим, либо начать решительные действия тут, на Петербургской стороне.

Наконец, в которую по счёту прогулку, уже на закате, увидел Пешехонов на той косой площади, где сходятся Архиерейская, Большая Монетная и Малая Вульфова улицы, — кучку народа человек во сто из рабочих парней, девиц и ребятишек, которая, кажется, возмерилась что-то совершить. А вот что: они подступали, подступали и хотели бы прорвать цепь гренадеров, преграждающую путь к их казармам и дальше к Гренадерскому мосту на Выборгскую сторону.

Какой-то молодой рабочий вынул из-за пазухи кусок красной материи, нацепил её на палку и — поднял! и стал звать за собой остальных, кричать и руками махать.

А молодёжь ещё переминалась и не решалась.

Алексей Васильич ни минуты не колебался: он ощутил волнение того священного момента, который так знаком старым свободолюбцам и который не так часто выпадает на нашу долю. Не сгибаясь под тяжестью шубы, твёрдо ступая в галошах (левую, спадающую, он, к счастью, распёр бумажкой в носке), — он перешагнул, перешагнул пустое пространство — и уверенно стал под красное знамя рядом с молодым рабочим.

Вид ли его — пожилой, почтенный, но и простоватый, подействовал, или достигнута была раскачка, — но половина кучки тронулась, и Пешехонов в первом ряду!

Однако кто-то и на месте остался. А кто-то — метнулся за угол, опасаясь, что вот тут-то и грянет стрельба.

А хоть бы и грянуло, не обидно погибнуть за народную свободу!

И Пешехонов, гордо запрокинув голову в бобриковой шапке, не отставал от флагоносца, так они и шли рядом, вдвоём.

Всего-то пройти надо было сажен сорок, и не стреляли, даже враждебных движений не было в цепи гренадер, — а кучка растаяла, чувствовалось спиной и косым зрением. Около знамени осталось несколько человек. О, проклятое наше российское рабство!

Пришлось возвращаться, и подбодрять и смелость вдувать в этих молодых людей, и пристыдить. Пешехонов произнёс им небольшую речь, указывая на их гражданский долг.

Гренадеры слышали, не мешали. Они «вольно» стояли, разговаривая в цепи, и с улыбками кивали друг другу на демонстрантов. И молодой офицер прохаживался мимо цепи, ничего не командовал.

И даже такую цепь эта молодость не решалась прорвать! O tempora, o mores! О, как же низко упал боевой дух поколения!

Уже не так знаменосец, как Пешехонов повёл этих молодых рабочих второй раз, и третий, и четвёртый, — и каждый раз отставали, пятились, сворачивали, не выдерживали. Уже все его тут узнали и звали «батей».

Солдаты пожалели Пешехонова и при его близости шептали ему: «Да пусть идут!.. Мы препятствовать не будем… У нас и ружья не заряжены!»

Но — тщетно… Уже и красный флаг куда-то убрали.

Всё это так надоело Пешехонову, так глубоко оскорбило его, что он, уже никого не дожидаясь, ни на кого не оглядываясь, пошёл просто один, через строй, даже отчасти и желая мучительной смерти, чтобы горько устыдить струсивших.

И что же? Гренадеры не шевельнулись, и Пешехонов безпрепятственно прошёл сквозь их цепь — и дальше, дальше, мимо старинных желтокаменных казарм с колоннами — и даже до самого Гренадерского моста — и никто его не задержал и не окликнул.

И вот он уже стоял перед самым мостом, а перед ним — новая цепь гренадеров, которая, может быть, тоже бы его пропустила.

Но — горько ему стало, он увидел во всём этом случае рельефный символ, в нескольких фигурах выражающий всю русскую историю.

И повернул назад.

113

Названье сложили как по складам, подсказками всех: «Временный Комитет Государственной Думы для поддержания порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами». Сколько мудрости и осторожности было вложено сюда! Временный! — и для поддержания порядка! — самая законопослушная задача. И всего только для сношения — отнюдь не для действий и не для управления. И учреждения — могли быть только законны, это не революционные партии.

Кажется, нельзя было старейшинам фракций назваться осмотрительней и лояльней.

И всё равно, смутным сердцем ощущал Михаил Владимирович, что уже и это было незаконопослушно, что и на такой комитет Дума не имела права, — и это уже был акт революционный. Как неразумных детей, хотел Председатель широким объятием удержать своих думцев от пропасти — а они его туда и тащили.

(Перервали, постучали думские социал-демократы: можно ли им в 13-ю комнату, бюджетной комиссии, пригласить освобождённых из тюрем партийных товарищей, позаседать с ними. Мысли как-то не отвлекались, — кому, зачем. Сказал Родзянко: ну что ж, заседайте.)

Но успокаивало, что осмотрительный Милюков, так упиравшийся на частном совещании, — вот соглашался на такой комитет, не видел в нём слишком дурного.

И потом же уговорились на частном совещании, что такому комитету думцы будут безоговорочно подчиняться, — и таким образом хотя бы в Думе в этот опасный час будет создана единая твёрдая воля. Для порядка — это важно.

Объявили оставшимся членам Думы, неуправляемо бродившим по залам. И вот — Комитет существовал.

А Родзянко ушёл в свой кабинет в одиночество, чтобы справиться с бурными мыслями, с новыми раздирающими новостями из города, одуматься и понять. Он пытался снова звонить князю Голицыну и домой, и в Мариинский дворец, — но без успеха, не нашёл его.

Родзянко чувствовал себя королём Лиром, когда всё вокруг терялось, гибло и ревела буря. Он чувствовал себя мощным кораблём, но что-то слабеющим от этих ударов.

Он ходил по кабинету и мысленно разговаривал с неразумным слабым Государем. Он повторял ему слова своих телеграмм и ещё более сильные внушения, убеждая, что не мог поступить иначе, — но что и Государю не остаётся иного, как уступить. Он хотел вообразить ответы Государя, но ответы никак не доносились отчётливо до ушей, они, как всегда, были уклончивы.

Ах, почему, почему Государь ему не ответил на две отчаянных телеграммы?

Вдруг — позвонил телефон. И раздался, даже в телефоне различаемый, мягкий, ласковый голос великого князя Михаила Александровича. Он осведомлял, что уже в городе.

Ах, какое облегчение! Да как же он добрался? Легко?

Довольно просто: из Гатчины поездом, а от Варшавского вокзала на своём прибывшем автомобиле, и проехал по улицам довольно свободно. И теперь на частной квартире ожидает указаний Михаила Владимировича.

Он даже разговаривал покорно, милый великий князь! Он всегда очень прислушивается к Председателю — и это давало надежду сейчас! Государь был недостижимо далёк и глух, но единственный брат его — вот здесь, в мятежном городе, и может быть использован как великий рычаг.

Но — *как*? План ещё был неясен и самому Председателю. И тем более нельзя разъяснять по телефону: на станции услышат барышни — разнесут. И даже встретиться нельзя им в Думе, потому что многие здесь тянули сами в пропасть, а задача Родзянко — спасти Россию! Надо встретиться, но не здесь, а лучше всего — в Мариинском дворце, в главной резиденции правительства, потому что этот план не может быть решён без правительства, там наконец разыскать и министров, если они не совсем ещё задремали и умерли.

И уговорились с великим князем: встретиться там около восьми часов вечера, это будет через два часа после темноты, к этому

времени толпы обычно успокаиваются и расходятся, легче будет проехать.

И никому не сказал Родзянко о встрече, кроме заместителя своего Некрасова да секретаря Думы Дмитрюкова, которых предполагал взять с собой.

Но через полчаса ему принесли, что ходит по думским залам слух, будто великий князь Михаил Александрович сегодня в девять приедет в Таврический дворец и будет провозглашён императором. Тьфу!

А другой упорный слух уже час гулял по Думе: что близ Зимнего дворца стягиваются войска, верные правительству.

О-о-о, дело осложнялось. Конечно, правительство не бездействует. И вот они через несколько часов установят порядок в столице, — а Дума-то! Дума-то! — непозволительно перешла границы.

И — раскаялся. И усумнился во всём сделанном. И вчетверо встревожился Председатель.

А тут — стал снаружи доноситься большой шум, крики, проникающие даже в глубину толстостенного дворца. И прибежали думские приставы доложить, что снаружи подошла отчаянная вооружённая орда, и ни Керенский, ни Чхеидзе не могут её успокоить, а требуют они Председателя Государственной Думы! — иначе сметут сейчас все караулы и ворвутся.

Заколыхалась великанская родзянковская грудь. Это была опасность, но это был и долг — спасение Думы!

Не выйти было нельзя. Уже приближённые думцы подсказывали Родзянко, что всё выходит к толпе Керенский — надо его оттеснить, поставить на место. Народ должен видеть настоящего хозяина Государственной Думы!

Выйти — да. Но что говорить, выйдя? Нельзя произносить мятежных речей, льстить толпе мятежными обещаниями, — но и чем-то надо эту толпу насытить. Ведь это, очевидно, представители восставших частей.

Счастливо сообразя, Родзянко взял черновые бланки посланных телеграмм. Наросла обида: почему же Государь молчит на родзянковский честный призыв? Пожаловаться наконец самому народу, своей России? Прямо сказать о своём ужасном положении, они поймут! Пристав поспешно подал ему пальто, фамильярно-заботливо обмотал ему шею шарфом. Так и пошёл Председатель незастёгнутый, без шапки, с шаром темени едва не лысым, — шагом крупным, озабоченным.

И вышел на крыльцо, под внешние колонны, на этот рёв, прямо лицом к этой действительно орде, всей ощетиненной винтовками, да так, что штыки по неумелости торчали во все стороны, — тут было кроме солдат много вольных — и студентов, и мастеровых, и подростков, и черни, и даже двое в арестантских халатах. При выходе Родзянко они взревели ещё, и не очень почтительно, может быть даже угрожающе, — но это-то он мог перекрыть своим могучим голосом, лишь бы штыком ему не пропороли живота. Его и, ворвавшись, остальных думцев эта орда могла переколоть и перестрелять в пять минут, а защищаться было некому и нечем: не было правительственных войск, не было жандармов. Положение было исключительно опасное.

И Родзянко правильно прибег к своему козырю: что Государственная Дума всегда стояла и продолжает стоять на страже народных интересов. И вот какие телеграммы он послал царю (хотел сказать почтительно: «Государю», но в угоду толпе сам язык вывернулся: «царю»). И стал читать. Громко вслух. Стал читать, не соразмерясь, не повторив про себя текста, — и вдруг эти фразы, написанные от сердца и вполне же допустимые в обращении к Государю, — тут прозвучали страшным набатом, таким революционным грохотом, как будто первым мятежником был не вот этот размётанный полубезумный матрос гвардейского экипажа, а сам Председатель Государственной Думы:

— Правительственная власть в полном параличе и безсильна восстановить порядок… России грозят унижение и позор… Промедление смерти подобно… Убивают офицеров… На войска гарнизона надежды нет… Гражданская война разгорается… Если движение перебросится в армию — крушение России и династии неминуемо…

Он в ужасе несколько раз хотел остановиться! Но его несло как с горы на санях, он почему-то не мог обежать даже единой фразы, будто должен был тогда раскрошиться, как обо встречный столб.

— От имени всей России… Час, решающий судьбу родины, настал… Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца.

И сам вздрогнул от силы прочтённого. (Эту последнюю фразу — он послал или не послал?)

Так он всё это ужасное, первый раз увиденное им самим, громко прочёл, кинул этим шинелям, бушлатам, курткам, халатам — рвать на клочки…

И — действительно насытил их. Они заревели, заревели уже без угрозы, уже дружелюбно — и штыки опали, и никто не целился пропороть ему живот.

Так Председатель отбил эту орду и спас Думу, и воротился внутрь дворца, спасённого от разгрома. (Впрочем, какие-то неизвестные плохо одетые субъекты, не имеющие отношения к Думе, по пути там и сям попадались ему. Стояли малыми кучками, пошёптывались, приглядывались.)

И вдруг Родзянко почувствовал, что он — как бы какое предательство совершил. Что не надо было и брать с собой телеграмм на крыльцо, какая несчастная мысль! Не надо было их читать.

В стыде и подавленности он вернулся в свой кабинет. Он рассмотрел в большом зеркале — из окон всё меньше было света, день кончался — глыбу своего тревожного, рельефного и постаревшего лица. Стал расхаживать — то прямо на огромное зеркало, то поворачиваясь к нему крутой спиной. Расхаживал, чтоб успокоиться, но вспомнил этих субъектов в дворцовых переходах и опять встревожился, и вызвал старшего пристава (похожего на себя, тоже крупного, широколицего).

Тот доложил, что — да, какие-то социалистические деятели и ещё освобождённые сегодня толпой из тюрем, караул их пропустил, а у пристава нет сил выгнать — это может вызвать скандал.

Да-а… Да-а… Приходилось мириться… Сейчас скандалить нельзя.

Родзянко остался в кабинете — ходить и думать, поджидая дурных вестей.

Так и случилось, пристав прибежал с новыми: привели арестованного Щегловитова!

Как?? Кто это мог?? Председателя Государственного Совета? — другой такой же законодательной палаты, как Дума? — арестованным? Невероятно! Родзянко вскочил во гневе и побежал выручать.

В купольном зале Щегловитов был без шубы и без шапки, в простом домашнем сюртуке, с головой почти облысевшей и красной от холода — это он не разделся здесь, а так его привели по морозу? Дерзкий низкорослый студент с револьвером и саблей на боку возглавлял конвой, а два дюжих солдата держали сзади винтовки наперевес, не шутя.

Вокруг невиданного зрелища стягивалась толпа — и публика, и откуда-то немало солдат, уже внутри!

Высокий Щегловитов, с редкими начёсами седых волосиков, а усами тёмными густыми, был смазан из своего обычного делового выражения, без выдающихся черт лица, тяжело дышал. И молчал, завидя и Родзянко.

— Ива-ан Григорьич! Что-о с вами? Что-о за недоразумение? — басисто зарокотал, развёл руки Родзянко, намереваясь легко отобрать арестованного (однако не подал на рукопожатие).

Но студент сделал предупредительный жест — не подходить. И солдаты не потеснились.

Тут сбоку раздался взносчивый, петушиный голос Керенского, как закатился от торжественного значения:

— Иван Григорьевич Ще-гло-витов?!

Щегловитов смотрел напряжённо-растерянно и как бы не слыша крика. Большие усы его лишь пошевельнулись:

— Да.

Продержалась пауза лишь столько, сколько Керенскому набрать нового ликующего голоса:

— Именем революционного закона вы — арестованы! — чрезмерно звонко и очень подготовленно, без неожиданности, объявил он. — Вы будете иметь пребывание в Таврическом дворце!

Да что в самом деле? Да с каких пор, почему он здесь держался как первый? Родзянко вновь радушно развёл руки, одновременно подотталкивая Керенского:

— Иван Григорьич, пожалуйте ко мне в кабинет.

Но студент поднял нетерпеливую руку.

— Нет! Нет! — вскричал Керенский пронзительно. — Он здесь не ваш гость, и я отказываюсь его освободить!

Да почему — он? Он так говорил, будто он и арестовал, или был генеральным прокурором?

Генеральным прокурором — то есть министром юстиции — тут и был 9 лет, но — Щегловитов. А сейчас — таков же по статуту, как Родзянко! И — как преступника…?

Спеша не отдать жертву, Керенский возгласил:

— Вы — тот человек, который может нанести самый опасный удар в спину революции! И мы в такой момент не можем вас оставить на свободе!

Родзянко со слоновой высоты посмотрел на этого мозгляка, противоречащего ему тут, в Думе!

И вдруг — осел мешковато. Вдруг понял, что прежняя его тут власть — кончилась. Уже и приставы его думские тут были ничто.

Какой-то рослый унтер-преображенец с маленькими глазками, с рыжей бородой по раздатой челюсти, пристроился и уже толкал Щегловитова под бок — идти дальше, поняв, куда взмахнул лёгкой рукой Керенский.

И сам Керенский пламенной птицей кинулся перед ними вперёд.

Зашагали и два революционных студента, и солдаты с винтовками наперевес.

Со всех сторон испуганно смотрели на шествие. Члены Думы все знали Щегловитова.

Но его привыкли знать или ненавидеть как покрытого бронзой. А вот он шёл понуждённо, никому не кивая.

114

По одному пробравшись неузнанными через растревоженную столицу, министры снова собрались после трёх часов дня, уже в Мариинском дворце.

Здесь была рота солдат, скрытая в помещении близ швейцарской, да перед дворцом — два полевых орудия, а на самой Мариинской — пока никаких мятежных передвижений.

Из малого зала Совета министров на втором этаже открывался на площадь прекрасный вид — один из вечных видов Петербурга: за обширной, просторной частью, скрывающей под собою Мойку, — удалённая изящная клодтовская фигура Николая Первого, в спину, а дальше — величественное замыкание Исаакиевским собором, на куполах которого на короткое время заиграло солнце. Сколько раз видели эту устойчивость — и привыкли, и не ценили так остро, как сегодня — когда она грозила пошатнуться. Собирались, бывало, министры и в плохих настроениях, и казалось им, что плохо идут дела, а теперь: о, если б только как раньше, когда послушная столица мирно текла по тротуарам, в извозчиках, в трамваях, — а на перекрестках незыблемо стояли городовые!

Тот же был, с торжественными портретами и люстрой, тёмно-красный зал, тёмно-бордовый бархат кресел и такая же скатерть до полу на большом столе (сегодня этот красный цвет, хотя и приглушённый благородною темнотой, приобретал враждебно-победительный смысл). Тот же простор пройтись по залу, подойти к окнам, поговорить уединённо по двое, по трое. Здесь не было ощущения, что кабинет министров спрятался, как на квартире Голицына, и здесь они были как будто в привычной безопасности, сюда и собрались полнее, чем туда.

Однако — проредились их ряды. Кроме больного Григоровича — почему-то не было Риттиха, такого всегда непременного, — и не предупредил, с утра не звонил, и дома его нет. И цветущего прокурора Синода не было.

Ответственное и нервное натяжение. Что-то они должны были решить — немедленно, сделать — немедленно, но абсолютно непонятно — что? Военное подавление мятежа ведалось без них, Беляевым, он и поехал в градоначальство давать указания. А остальные министры — что ж делать могли во время мятежа?

Сохранялась телефонная связь с Таврическим дворцом. А там сидел дежурный чиновник канцелярии Совета министров и сообщал о событиях. Так что министры всё время знали, что делается в центре бури, и поверить нельзя было даже воображательно.

Самовольное частное совещание членов Думы… Самозванный Комитет по установлению порядка…

А — что же правительство?

И — зачем они тут собрались? Может быть, надо было сидеть по своим министерствам?

Все были не в себе, но нервнее других, ломая пальцы, с лицом усталого, проигравшегося игрока — всем коллегам тягостный и даже ненавистный Протопопов. Все так и ощущали, что из-за него-то и идут ко дну: ведь главная ненависть Думы бьёт по нему, и это он их топит. И это он не мог наладить порядка в столице. И теперь он потерял свой искусственный, победно-заносчивый вид, свою мину особого значения и знания, перестал казаться и притворяться, но открыто показывал, что изнемогает наконец.

Именно ему позвонил начальник Охранного отделения генерал Глобачёв с Петербургской стороны: ещё ничего не произошло, но как же быть с сотрудниками? с безценными сверхсекретными архивами?

А — что мог ответить Протопопов? Никто из министров внутренних дел, его предшественников, не попадал так — ни каменный Плеве, ни железный Столыпин. Уничтожать? — может быть рано. Рисковать оставить? — может быть поздно. Ждать.

И ему же подали записку, что дом министра внутренних дел разгромлен, возвращаться домой ему нельзя, жена же его спаслась у смотрителя здания.

Всё обрушивалось сразу вместе!.. Протопопов не удержал болезненного стона и обеими руками взялся за лысоватые темена. Взор его вращался.

На него обернулись — он охотно пожаловался вслух.

Два-три соболезнования промычали, — или это передавался общий страх за себя у каждого: ведь и их министерства могут вот так каждую минуту.

Заседания — всё не начинали, всё не начинали, всё переходили друг мимо друга, обмениваясь короткими фразами.

Ближайшие мнения были: что надо решиться известить Государя о проигрыше столицы. (Но разве она уже проиграна?) И что… следовало бы получить право вступить в переговоры с Думой. Правительство не ощущало за собой такого явного права: разговаривать со своим парламентом.

Министр финансов Барк говорил: не успеют обернуться никакие телеграммы, нечего ждать никаких ответов — надо всё решать сейчас здесь самим.

Но этот состав безсилен был решать!

Наконец вошёл маленький искусственный темноокий — нет, зловеще-тёмный — Беляев. Так хотелось верить в его силу, что он — генерал, но кукольность его была наглядна. Так хотелось услышать от него каких-нибудь, может быть, победных вестей, — но он их не произнёс. А отошёл с Голицыным в сторону и стал ему толковать полушёпотом. Что единственный выход спасти правительство и всё положение — это отделаться от Протопопова, исключить его.

Да князь Голицын разве думал иначе? Но не было у правительства права исключать своего члена: министры назначались и отрешались только самолично Государем. И даже самовольно уйти в отставку никакой министр не мог.

Протопопов как почувствовал, что говорят о нём, да они и покашивались невольно. И впился в них красиво-страдальческими, совсем уже неуверенными глазами.

Ну что ж, стоило начать обсуждение общее. Сели за стол.

И князь Голицын голосом мерным и со всею сдержанностью великосветского обычая стал говорить, что для единственно возможного спасения правительства кто-то из членов должен принести себя в патриотическую жертву и добровольно уйти в отставку, не ожидая государева решения.

И всё не называл — *кто*, всё кружился в околичностях, но, кроме может быть полуглухого министра просвещения, с первого слова всем было до такой степени ясно, что все и смотрели откровенно на Протопопова — с отвращением к нему и с надеждой спастись самим. Его отставка — может быть, спасёт их всех.

И Протопопов вспыхнул огнём, хотя вялая кожа его не была склонна к румянцу, и стал дико озираться в круговой осаде, которой не ждал. Все, как сговорясь, смотрели на него изгоняющими взорами.

Да он сам их терпеть не мог! Да он сам их презирал! Но отступили в немоту и сумрак все покровительственные фигуры, — и вот Протопопов сидел незащищённый, безсильный.

И так сразу стало одиноко, до воя, так стало жаль свою красивую жизнь, свою великую карьеру, не доведенную до зенита, — он как будто отыграл трагическую роль перед раёшной публикой.

Но не облегчил министрам — и не подсказал свою фамилию.

Тогда слово перешло к чёрной совке Беляеву. Маленький, с оттопыренными ушами, он мрачно смотрел из глубины глазниц через заставку пенсне и произносил без голосовой силы. Он извиняется перед Александром Дмитриевичем за свою военную прямоту. Но он видел сегодня нескольких видных лиц (не назвал — где, кого, но этот приём всегда производит впечатление достоверности), и все они заявили: безпорядки происходят от общей ненависти к Протопопову. Если он уйдёт — всё успокоится. И нельзя медлить ни минуты. Нельзя дразнить толпу, она наэлектризована.

Протопопов горел — и задыхался. Он даже не мог им ответить достойно. Он был более всего — оскорблён.

И тогда князь Голицын вежливо и торжественно обратился к Александру Дмитриевичу с *просьбой* от имени всего Совета министров: принести себя в жертву, оставить пост, — и это вызовет успокоение раздражённой толпы.

Никто не смел его заставить! Он мог сопротивляться! Но нервное горение, державшее его эти дни, вдруг вышло всё. Протопопов сник, уронил голову — и его добивали уже таким.

Что он — должен заболеть. Что его обязанность — тотчас заболеть и этим спасти правительство России.

И — не было ничьих глаз, ничьей души в поддержку! Да кто тут? — тут же не было высоких душ! Протопопов поднял голову в отчаянии, ему хотелось или захохотать, или разрыдаться:

— Что ж, господа, извольте! Что ж, если это вам так нравится, я могу объявиться больным!

И — не ужаснулись его жертве, не содрогнулись от своего предательства, — но все облегчились явно. Для них — распутывались все проблемы.

И от этого Протопопову стало ещё обиднее, горько сжало горло.

— Ах, какие вы злые-нехорошие! — выговорил он свою постоянную шутку.

А князь Голицын сказал:

— Я очень благодарю вас, Александр Дмитрич, от имени Совета министров, что вы приносите себя в жертву.

Протопопов еле сдерживался от хохота-плача. Он вскочил с закинутой головой, чтоб не видели глаз его, и, тяжело дыша, проговорил:

— Я даже могу для вас кончить самоубийством! Мне только и остаётся — застрелиться!

И вышел из зала.

Все вздохнули освобождённо, и никто за ним не поспешил. Не поверили.

Правительство было спасено. Заседание продолжалось.

Но хотя Протопопов и открыл им выход — этот выход никак не открывался. Что же было всё-таки делать?

Даже объявить об отставке Протопопова — не было у них видимого способа.

Вернуть столицу они не могли без внешней помощи.

А этой помощи — могли ли они дождаться?

Да и надо же было назначить заместника министру внутренних дел. Парадоксально всё же: в такую минуту остаться без министра внутренних дел!

Но ещё парадоксальней: никто не подготовил и никто не мог придумать никакой кандидатуры, даже самой временной. Голицын предложил энергичного генерала Маниковского, интенданта, — на него замахали руками. Главного военного прокурора?.. Секретаря Государственного Совета?

Стали телефонировать и предлагать — никто не соглашался.

Тем временем свой чиновник звонил из Таврического дворца с новостями. Что Керенский и Родзянко произносят поджигательные речи.

Покровский противительно откинулся в кресле:

— Не могу поверить, чтобы Родзянко, камергер, стал во главе революционной шайки. Что-то не так!

Но и всего-то могли они — сидеть в креслах и вести вялые, безпорядочные, безцельные обсуждения. Под ними вымывало, уносило столицу, твёрдую почву, дворцовый пол — а они ничего не могли придумать. Отчаяние и безсилие.

Князю Голицыну доложили, что толпа подходит к его особняку на Моховой, кажется, с намерением громить.

Вот — и у него уже не было выхода! И у каждого могло не стать через минуту!

А — зря они не объявили осадного положения. Ещё вчера вечером было не поздно!

Объявить теперь? Осадное положение тем удобно, что снимает всякую ответственность с правительства, всё передаётся военным. Но — как объявить уже мятежному городу? Даже, неожиданная проблема: кто и где напечатает такой приказ? и дадут ли развесить его по городу?

Сообщения из Таврического прекратились, чиновника, видимо, удалили от телефона.

Но вошёл в смятении Стишинский, старый видный член Государственного Совета, и объявил им: председатель Государственного Совета Щегловитов — арестован с квартиры и увезен в Государственную Думу!

Это ударило их как громом. Человек высшего государственного поста — и арестован? Одна законодательная палата арестовывает другую?! Что ж это будет? Это — и *их* могут, значит, тоже?..

Ломали пальцы. Тут кто-то кого-то вызвал за дверь и от правых Государственного Совета конфиденциально предложили: дать команду лётчикам, стоящим в Царском Селе: лететь на Таврический дворец и забросать революционное гнездо бомбами.

Предположительно осмелились повторить за столом заседаний, но все отшатнулись. А ухастый маленький Беляев сказал, что как военный министр ни за что такой команды не допустит.

Нет, чем дальше, тем больше видели министры, что положение неспасаемо тут, изнутри.

Нужен — диктатор извне, с войсками.

Слать Государю телеграмму с просьбой о войсках.

Но позвольте, господа, напоминал Покровский, но Дума требовала нашей отставки взамен на её роспуск. Нечестно нарушать условия.

Да, правда… Да и разумней всего, да и легче всего им было бы уйти в отставку и ни о чём больше не заботиться.

Но они не могли все сразу заболеть, как Протопопов. Значит, они должны были просить Государя о коллективной отставке правительства.

Далёкого молчаливого недостижимого Государя.

Послать ему такую телеграмму.

Покровский и Барк уже составляли её готовно и поспешно.

Совет министров дерзает представить Вашему Величеству… с объявлением столицы на осадном положении, каковое уже сделано… Ходатайствует о поставлении военачальника с популярным именем… В настоящих условиях Совет министров не может справиться с создавшимся положением и предлагает себя распустить, назначив председателем лицо, пользующееся доверием общества…

Князь Голицын убеждённо подписал.

115

Но и через Литейный мост воротясь — Кирпичников своих не собрал, все куда-то подевались. Всего-то народу кипело тьма, не то что утром, сейчас все смелые, — а вот своих не было. Утром, сколько ни было — он вёл, всю ораву, а сейчас были тысячи-тысячи, а его не только не слушали, уже не замечали, что за унтер такой идёт, щупленький.

Да ведь когда Арсенал на Симбирской разбили — одних браунингов набрали, наверно, несколько тысяч — и все у мальчишек, и все стреляют. И не отымешь, мальчишка — он хуже любого пропащего солдата: на него и гавкнешь — не слушает. А к чему это — в воздух палить, когда надо свободу добывать?

То и дело на них орал.

Утром Кирпичников с друзьями думал: как бы только не отказались со склада первый ящик патронов отпустить, не начать

же с голыми пальцами. А сейчас — все и вольные, кто только захотел, — с винтовкой, и патронами обгружен.

А от пожара на углу — огнищем пышет, и гарь, а повыше дым.

На Литейный проспект вывернулся какой-то отряд, хоть не стройный, не вовсе упорядливый, но всё ж отряд, и Кирпичникова фельдфебельское сердце обрадовалось: всё же строй понимают!

Что ж оставалось? Со своей новой небольшой кучкой примкнул Кирпичников к ихнему строю сзади. Пошли. Но впереди — стреляли, и строй разбежался быстро. За Фурштадтской дальше стояли кексгольмцы развёрнутым фронтом против свободных войск.

И свободные все забоялись, никто идти не хотел.

Кирпичников-то сделал сегодня больше всех, ему бы и не лезть. Но обида горела, что этак всё пропадёт, один раз остановись — и всё ведь пропало.

И вернулся он собирать-убеждать вперемежку солдат и вольных, что всем идти плотной толпой и не стрелять, а руками, шапками махать и уговаривать — нипочём тогда в них стрелять не будут.

Кого убедил, а больше — толпа поднапирала, изо всех улиц стекалось, толпы столько притекло и по Кирочной — что двинулась она на эту цепочку солдат как туча.

И так — махали бараньими шапками, фуражками, кричали им, уговаривали — и пододвигались.

И прапорщики велели стрелять — а кексгольмцы не стали.

И как толпа надвинулась — так этих прапорщиков из револьверов тут же и убили. А строй кексгольмцев — рассыпался.

И потекла толпа дальше по Литейному, без удержу.

А передали вольные, что за церковью стоит засада Семёновского полка, и там будто 8 пулемётов.

А ещё передали: тут, в чайной, засада — и ещё 2 пулемёта.

И растекались люди кто куда, не управишь: то ли засады брать, то ли тика́ть от них, то ли просто по улицам болтаться.

А Кирпичникова гвоздило: пока ещё не темно, надо на Марсово поле идти и павловцев присоединять.

И скричал себе кой-какую толпишку, уж их не построишь, — идут, и хорошо.

Пантелеймоновский мост перешли, но дальше вольные разубедили: на Марсовом, мол, большая засада, всех перестреляют.

И — опять кто куда рассыпался.

А что-то же делать надо.

Уже темно стало — и исправно засветились по всем улицам столицы ряды фонарей, как будто не было никакой суматохи.

Только те не светили, какие пулями рассадили.

116

Туда, на Пантелеймоновскую, где толпа обезкуражила царскосельских стрелков, полковник Кутепов быстрыми крупными шагами отправился сам, хотя и не придумал и придумать не мог, что ж он будет делать один против смешанной вооружённой толпы. Просто — никого он не мог снять ни из одной цепи, а ничего не предпринять тоже не мог, — и оставалось пойти самому.

И ещё раз ему повезло (собственно, весь день сегодня ему везенье, если по-военному прикинуть расположение сил и средств): на углу Пантелеймоновской подошло к нему ещё две роты подкреплений — лейб-гвардии Семёновского батальона с двумя молодыми прапорщиками, Соловьёвым и Эссеном 4-м.

И Кутепов поворачивал семёновцев на Пантелеймоновскую, чтобы сам туда их вести, — как доложили ему, что на Литейном подстрелен прапорщик, преображенец, который шёл к нему с донесением о действиях по ту сторону Преображенского собора.

Однако же и это не было быстрей, чем на войне, вполне фронтовой темп, Кутепов успевал и соображать, и без колебаний решать, хотя перевес неожиданностей склонялся к противнику. Он велел семёновским прапорщикам продвинуть роту по Пантелеймоновской, перегородить, а в случае появления враждебной толпы — открыть по ней огонь. Сам же услышал за спиной за два квартала, где была кексгольмская полурота, громкий крик:

— Не стреляй! не стреляй! —

и, небрежа своим званьем и высоким ростом, побежал туда.

И ещё издали увидел на Литейном тоже высокорослого офицера, который это кричал, — а на груди у него, на шинели — крупный красный бант.

И кексгольмцы действительно не стреляли, как завороженные, — ведь офицер! А тот приближался.

Кутепов, подбегая, резко крикнул открыть огонь.

Тогда и офицер побежал, скорее достичь кексгольмской полосы — но, подстреленный, рухнул.

Держались расставленные, разосланные Кутеповым роты, держали с дюжину каменных кварталов — но уже не могли продвигаться. И со всех сторон доносили, что следующие кварталы насыщены полувооружёнными безчинствующими толпами рабочих и разрозненных солдат. Огонь со всех сторон усилился.

А между тем день кончался. Проглянувшее после полудня солнце опять заволоклось, да и должно б оно было уже уйти за стены Литейного каменного ущелья. Света всё убывало, день шёл к сумеркам и к концу.

Что же должен был Кутепов делать дальше? Ни одного связного с приказанием или разъяснением так за весь день не прислал к нему Хабалов, и посланные Кутеповым не вернулись, и почему-то на телефонные звонки совсем не отвечало градоначальство. Кутепов и сам пошёл в дом Мусина-Пушкина телефонировать — и никак не мог дозвониться. С центральной телефонной станции ему заявили, что последний час градоначальство и вовсе никому не отвечает, не берут ни одной трубки.

Так что ж — градоначальство разгромлено?

Телефонистки не знали, хотя близко от них. А их самих на Морской улице охраняла и пехота и кавалерия до сих пор, и боёв не было никаких. А ещё что они знают вокруг? А ещё знают: на Дворцовой площади какие-то части строились, но потом уходили, некоторые и сейчас стоят. А за кого эти части? Телефонистки не понимали сами.

Послан был Кутепов — и забыт. И все роты его забыты.

И вот уже смеркалось. Но ещё освещались сумерки пожаром Окружного суда.

Не успел Кутепов кончить телефонные осведомления, как в самом доме услышал большой шум. Он кинулся по лестнице вниз — в дверь вбегали, теснились напуганные семёновцы, потом внесли на руках одного за другим смертельно раненных прапорщиков Соловьёва и Эссена 4-го.

А затем теснились и преображенцы, все с винтовками — и дом быстро наполнялся вооружёнными солдатами, Кутепов не мог остановить их, как ни кричал, — и сам был в безпомощном положении, не мог выбиться в дверь против потока.

Вся оборона его на проспекте — рухнула.

Когда он вышел на Литейный — было уже темно.

Весь проспект был заполнен толпой, хлынувшей из поперечных улиц. Толпа бежала, кричала — и стреляла в фонари или метала в них чем, чтобы разбить.

Среди криков Кутепов слышал и свою фамилию, сопровождаемую площадной бранью. Но самого его не различили.

Его отряда — больше не существовало.

Он вошёл в дом Мусина-Пушкина, приказал запереть двери. И накормить поровну всех, кто тут есть, тем ситным хлебом и колбасой, что купили утром по пути в лавке.

117

В такой день, замкнутый в бездействии и безсилии, Кривошеин и нуждался в близком собеседнике. Такого не было в его семье, и сам никуда он сейчас не пошёл бы в эту бурю, — и никто не мог прийти лучше Риттиха. Давний, многолетний помощник в министерстве земледелия, до деталей помнящий всю эту долгую структурную терпеливую работу, всю традицию, по полуслову отзывчивый, как строилось, делалось, расширялось в «министерство Азиатской России», и как боролись с Коковцовым за финансы, и как в позапрошлом году Кривошеин уволился, так рано по замыслам работы, а Риттих, перебыв при двух случайных министрах, наконец вот и сам принял пост. Для Кривошеина Риттих и был — он сам сегодня бы: не сломись его карьера так несчастно, это сегодня он, Кривошеин, должен был бы тянуться на заседание ничтожного безправного правительства или идти перекрыться у кого-то надёжного, а у самого бы теснились в памяти цифры вагонов, вагонов муки — прибывших, в пути и на погрузке на разных дальних станциях, и успокоительный итог, если цифры все осуществятся и дадут им разделиться на число едоков, и досада и отчаяние, что этой стрельбой, беготнёй и криками разделиться им не дадут.

Да, именно этим была занята и сейчас тщательно причёсанная, министерски представительная голова Риттиха, и Кривошеин приобнял его покровительственно за плечи:

— Как Риттих верный оставался…

У Риттиха ещё не остыли в горле отчаянные всклики его вынужденного красноречия перед Думой, как он, всего лишь на той неделе, безнадёжно призывал *их*: выйдет ли на кафедру кто-нибудь из них, не партийный оратор, но человек, до самозабвения любящий Россию?.. (И не вышел.) И в последней речи последние слова сложились у него — не пророчески ли: «Может быть, последний раз рука судьбы подняла те весы, на которых взвешивается будущее России»?

Теперь прихватывал озноб, что может быть — пророчески?

Теперь — и особенно — казалось Кривошеину, что он всегда так и предсказывал: э т о в с ё крахнет! Что он всегда предчувствовал: самоизолированный от своей страны монарх не может не пасть. Даже он точно вспоминал одну чудесную пароходную прогулку — такой момент, из каких и состоит прелесть нашего бытия: в мае Четырнадцатого, перед самой войной, был ужин на Островах для узкого круга: великий князь Павел Александрович со своей очаровательной морганатической супругой, только что приехавшие из Парижа, граф Витте с женой, Щегловитов, — а после ужина в белую ночь поехали на пароходе с цыганским хором на прогулку по Финскому заливу. И так же ли внезапно, как сейчас Риттиху на трибуне, в грудь Кривошеина вступило пророчество, или очень был красивый момент жизни и красива княгиня, и тянуло что-то высказать, — он сказал ей на палубе: «Вы жили так спокойно в Париже, зачем вы приехали в Петербург? Надвигается война, и она не кончится благополучно, будет взрыв, быть может трагический для трона».

Впрочем, это всё впечатляюще для предсказаний, но сейчас нет оснований думать, что уже и произошёл взрыв, трагический для трона. Всё это петербургское волненье могло так же легко и замириться в день-два.

Но вот они сидели в кабинете час за часом, иногда смотрели в окно на шумливое необычное пробеганье вооружённых групп (и разве Кривошеин не предупреждал о нелепости массового набора лишних солдат?), а больше по телефону получали сведения из разных мест, — хорошо хоть телефоны служили безотказно: что там делается и какие меры принимаются, — и все известия были, что побеждает мятеж. И как будто по всей столице с первого часа не было и следа никакой государственной власти — будто власть оказалась призраком петербургского сумеречного света.

Но даже если это должно было случиться — то почему именно сегодня? отчего? ведь не было никакого события. И — на несколько часов опережая роспуск Думы, и Дума ни при чём.

Устойчивое тридцатилетнее жильё, полжизни здесь, в тяжёлых рамах развешанные крупные картины фламандских и ломбардских мастеров, и русские пейзажи, и старинная русская люстра (Кривошеин любил допетровскую утварь), округлённая мягкая мебель и послушные ковры под ногами, — неколебимый шестиэтажный дом с мраморной лестницей и лифтом, неколебимый быт, — Кривошеин любил всё хорошее в жизни и умел устраиваться, и умел сочетать петербургскую квартиру, дачу и поездки за границу, всему свой час. И не так уж близко — два с половиной каменных квартала до подожжённого Окружного суда, невероятно, чтобы пожар достиг, хотя огненный присвет виделся в воздухе и сильно тянуло дымом, — но колебался дом вместе со всем, что заколебалось, и если могло рухнуть *Оно*, — то почему не этот дом?

И вот они, два государственных мужа, старший из них не раз предрекаемый в главу российского правительства, — были они здесь, на четвёртом этаже, два штатских безпомощных обывателя с телефоном — и не могли подействовать ни на что, но сами в любую минуту быть ввержены в этот огонь.

Риттих был уверен, что начнутся аресты министров.

Аресты? Ну, не так уж! Кривошеин не хотел этого допустить.

А пока, в промежутке между сведениями и стаканами чая — сидеть? расхаживать?

Риттих брался за свою голову, гладко уложенную до волоска:

— Мне — стыдно, Алексан Васильич. Мне стыдно, что я член такого правительства.

И не сегодня он это понял. Он тяготился коллегами ещё от своего назначения в ноябре. Он последние заседания кабинета еле высиживал. Все дни он был там лишний, слишком деятельный, и сейчас не раскаивался, что не искал их мёртвого, безвольного спрятанного заседания.

Да разве уж такое ничтожное правительство? Да там трое министров ещё продолжали быть из тех, кто работали и при Кривошеине. Да вот и Риттих — работающий министр.

А вот в чём ничтожное: неподготовленной пустотой на месте премьера. Затаённой пустотой на месте военного министра. И истерическим кошмаром Протопопова. Да и министр иностранных дел не годится. И это всё — в сочетании, и в такие дни!

Протопопов — как будто отвёл всем глаза, пробрался к власти как бледная нежить. Да ведь и Кривошеин его когда-то рекомендовал в товарищи министра…

Да, малокровная власть. Нерешительная. И со связанными руками.

— Да-а-а, — вбирал Кривошеин седую голову в пальцы. — Вот до чего они довели, сопротивляясь каждому шагу, каждой реформе!

— Но, Алексан Васильич, и не с пеной же у рта добиваться реформ, как они.

Говорили о разных «них».

Очень прислушливый к суду общества, Кривошеин, сколько мог, привлекал к обсуждению министерских дел представителей земств и городских управлений (оплачивая их из бюджета), тем вдвигая министерство в общество.

А Риттих суда общества над собою не признавал. Довольно было ему напрячься с продовольственным снабжением, как распространили слух, что он — немец, германофил и искусственно создаёт продовольственные затруднения.

Если сейчас — пошатнётся, и общество потребует его к ответу, — Риттих не признает суда такого общества. Он не пойдёт на их суд.

Но к такой крайности и не шло. Волнения в Петрограде — это ничто, вся армия вне. Городские волнения не означают падения государственной власти.

Риттих думал не так. Хуже.

Их понимания дальше расходились.

Но нужно было ждать дальнейших известий. Длились, тянулись мучительные часы. А пока, между двумя новостями… Вспоминать опять Коковцова? Даже — русско-германский договор 1904 года, исключительно невыгодный для русского хозяйства. Небывалый случай, когда великая страна добровольно надевала на себя экономический аркан. Неудачи нынешней войны во многом тянутся оттуда. И — как Коковцов много лет задерживал развитие России, сберегая мёртвое золото.

И конечно, Столыпина вспомнили. Чем дальше от него отодвигались годы — тем выше он выступал. Такой силы духа, такой силы духа — да, занять бы!

Впрочем, Кривошеин заметил, что рассуждал сейчас много более государственно и отвлечённо, чем встревоженный Риттих. И хотя не ждал такого худого, но понял и предложил:

— А что, верно, вы, Алексан Саныч, оставайтесь-ка у меня сегодня ночевать. Ко мне не явятся, а к вам домой, смотри, пожалуй…

И Риттих сразу согласился.

Смеркалось — и ярче отдавались в воздухе грозные отблески пожара. И дым тянуло над Сергиевской.

Как конец света.

Уговорил гостя — уже сейчас пойти и прилечь. Понадобятся ещё и силы и сон.

А сам — ходил и ходил по кабинету диагональю, промеченной по ковру. То стоял завороженный перед пожаренным окном. То опускался в угол дивана.

А не больше ли всех и виноват он сам? Почему он не брал премьерства, когда протягивал царь? Ведь он всё понимает и умеет лучше других — отчего же не брал? Вот и вывел бы Россию. Всё в колебаниях — брать, не брать — упустил приложить свои руки к ходу колеса. Сам себе расчистил дорогу — и не взял.

И — сожаление сжимает, что не направил сам.

И — облегчение, что сорвалось не при нём.

А сейчас, сколько можно охватить, наступала минута неповторимая. Царь — будет вынужден сейчас назначить сильного премьера, настоящего. И Дума — тоже нуждается в таком, но у неё — такого нет.

В этом январе у Кривошеина были тайные сношения с Василием Маклаковым и ещё кое-кем из Блока. И — ясно, что они согласны будут на Кривошеина. И газета Рябушинского вот недавно опять прорвалась: «Мы бы согласились на Кривошеина!»

Да, Риттих прав, аппетиты общественности бывают и невыносимы. И кадеты никогда не могли простить Кривошеину, что он на практике так легко и дельно показал вздорность кадетской земельной программы. И всё-таки! Вечное это противостояние — «мы» и «они». Надо когда-то прорвать эту пелену непонимания. И — соединить две стороны русской энергии.

Кажется — этому и пришёл момент.

И Кривошеин, вот, клялся себе, что сейчас, если предложат — уже не будет страшиться, а — возьмёт.

И бремя, и горе, и радость ответственности! — как говорил Столыпин.

После отставки жизнь как остановилась. Эти полтора бездеятельных года были окостенением. Но — есть ещё силы! Есть! И вот — он готов.

И, видит Бог, не для себя, хотя приятно иметь вес и влияние.

А — для России.

Соединить наконец «мы» и «они».

Дым и отсветы огня страшно отдавали по Сергиевской.

На письменном столе наклонно стоял портрет Государя, подаренный при увольнении Кривошеина, — в рамке из карельской берёзы, с серебряными украшениями от Фаберже.

Десять лет незабвенной благосклонности.

Но с того дня, осенью Пятнадцатого, как Кривошеин предложил отставку — и Государь не мог скрыть своей радости, — они не виделись больше.

А — каково ему сейчас?

Государь, Государь! Зачем вы так отделились?.. Зачем вы ушли в могилёвскую тишину?

118

Как только Гиммер пришёл утром на службу в своё туркестанское управление по мелиорации, чтоб оно засохло, так тут же и прилип к общему телефону, уже никому говорить не давая, да и кто мог узнать столько, сколько он! Он совершил круговую по десятку номеров, и снова круговую, и снова, и его нетерпение переходило просто в бешенство, когда телефонистки вяло-равнодушно отвечали: «занято», «занято»… — неужели у них самих кровь не горела!

Узнал, что Дума распущена — и не разошлась по роспуску. Да это одно уже составляло какой революционный шаг! А то, что Литейная часть, средоточие казарм и военных учреждений, бастион правительства, — оказалась первым революционным районом?!

Да не наступил ли тот решающий час, для которого работали поколения?..

Все служащие, побросав работу, обступили Гиммера в кабинете начальника (начальник был в отъезде) и жадно хватали головокружительные новости, которые он им бросал в перерыве между разговорами.

Но обзвонены были все, кто только можно, — и пребывать дальше за служебным столом казалось просто издевательством. И так, не начав никаких занятий, Гиммер пошёл бегать, смотреть революцию.

Однако на Петербургской стороне — и сцен-то никаких не было, только люди в избыточном количестве слонялись по тротуарам и присматривались. И Гиммером овладело томление духа от этого жалкого положения оторванного не-соучастника великих событий.

Вернее всего было бы прорываться через мосты. Но слишком явно слышалась стрельба — и в такую минуту озверелые солдаты не пощадят и на мосту. А переходить Неву по льду ещё опаснее — издали подстрелят на снегу, явную цель.

Да разве Гиммер предназначен был идти стрелять или просто драться? Его назначением, его вожделением было — отдать себя революции как силу литературную и как мощного теоретика. Ведь люди, ведь ограниченный, потрясённый обыватель, даже если и когда узнают сами события и весь ход, — они всё равно не сумеют их понять и истолковать.

А вот что! — лучше всего опять отправиться к Горькому: уж у кого у кого, а у него все новости сойдутся.

Так и есть: и Горький был дома, ещё несколько человек, сидели в столовой, ходили по комнатам, обсуждали, предполагали — и звонили, звонили, звонили за новостями.

Узнали про Временный Комитет Государственной Думы, про захват Выборгской стороны, — а так всё клочки, клочки, эпизоды, ничего цельного, кто там что из окон видел, в центре.

Так что ж, надо самим туда идти? Пойдёмте, Алексей Максимович? А что ж, и пойдёмте, — он в усы, неразборчиво.

Но тут пришёл такой слух: пешком через мосты никого не пропускают, а только в автомобилях военного образца.

Пребывали в удручающе томительном ожидании.

Из одного окна от Горького открывалась хорошая панорама, освещённая солнцем, часть Невы, также и Петропавловская крепость. Вот ещё Петропавловская крепость. Там собраны большие силы. Она очень угрожала — могла в любую минуту обрушиться огнём своих пушек на революционную толпу!

Кто-то принёс слух, что с Петропавловки уже обстреляли некоторые автомобили у Троицкого моста.

Вот так и езжай на автомобиле.

От большого пожара на той стороне тянулись клубы дыма над Невой.

Тем временем пришёл Шляпников — пешком с Выборгской. Он побывал в разных местах Петербургской стороны, посещал товарищей, везде движение свободное. Хотел на Васильевский, но на Биржевом мосту солдаты не пропустили, долго препирался, пропускают только чиновников всех ведомств и рангов.

Что ж он сразу с Выборгской стороны да не пошёл по Литейному мосту туда, в пожар, зачем же такой круг?

А Шляпников ничего не знал, поразительно! — ни что мятеж перешёл на Выборгскую, ни что Дума распущена и не разошлась, ни что создан Временный Комитет, вот темнота! Ну посмеёшься над этими большевиками, тетерями.

Ну так что, пошли в Таврический, что ли?

Уже смеркалось.

Пошли, Гиммер со Шляпниковым.

А Алексей Максимыч не пошёл никуда, не пустили его друзья и семейные: ещё погубим нашу литературу!

119

За Николаевским мостом Вероню и Фаню сразу ожидала другая жизнь: за спиною они оставили дремлющий ненавистный царский город — а тут вступили в город революции! Как она выглядит, революция, что это такое, революция, — ещё не было понятно, ещё же никогда они и не видели! — ещё на стенах домов и заборов висели те же воззвания командующего Хабалова с призывами к порядку и угрозами — но только что объявления, а нигде не было его ощетиненных полчищ, не охранялись ни другой конец Николаевского моста, ни набережная, ни Благовещенская площадь, — нигде полицейской охраны, редкие их патрули, а в вольно снующей публике с пестротою озабоченных и радостных лиц было повышенное число солдат без строя и команды, и много выздоравливающих из госпиталей, в возбуждённом говоре и помахивании повязками.

Но не было прямо ни митинга, ни красного флага — и девушки хотели свернуть скорее в центр, ближе к событиям. Однако перед собой, чуть поправее, увидели густые клубы дыма — и сказали им, что это горит Литовский замок, освобождают тюрьму. Ура! туда-то девушки и побежали — освобождать женскую тюрьму!

Но прежде чем добежали, перед Поцелуевым мостом на Мойке встретили процессию уже освободившихся арестанток — верени-

цу человек в 20-30, все в арестантских халатах и в туфлях — и так шли по снежной улице, хотя и не крепкий мороз — Боже! их же надо где-то переодеть, накормить, согреть! — Вероня и Фаня кинулись к их веренице, возбуждённо и сбивчиво: ну как? ну что? чем помочь, женщины, товарищи?! Но арестантки или ещё не очнулись от освобождения, или уже достаточно отвечали по дороге — даже голов к ним не поворачивали, брели безучастно, в затылок передним, никто ничего не ответил, а только одна послала их мужицким матом.

Вероня и Фаня, как ударенные, замерли, сробели, пропустили всю вереницу. Вероятно, они были одеты слишком хорошо и тем оскорбили арестанток.

Теперь они застеснялись идти к тюрьме. А идти в центр их отговорили симпатичные прохожие с революционной радостью на лице: что там царствует власть, а надо лучше идти в рабочие и армейские районы. И девушки отправились за Фонтанку.

Ожидания не обманули их. Уже скоро начали слышаться выстрелы. Это несколько подростков пробежало мимо них, стреляя в воздух из черно-блестящих новеньких пистолетов, и тут же из карманов на ходу снова заряжая их, откуда-то уже научились!

Скоро увидели они и митинг: на твёрдую груду снега взобрался студент, перепоясанный офицерской саблей, — и очень хорошо говорил о свободе, хотя партийное направление нельзя было определить, может быть наш, а может быть и эсер. Слушали его десятка два совсем случайных — раненых солдат, мещан, один чиновник. Девушки могли остаться и тоже говорить, и, может быть, поспорить со студентом, но теперь, когда они всё равно уже покинули свой остров и свой долг, — им хотелось больше видеть, вбирать в себя и двигаться!

И они дальше, дальше пошли.

Была сценка у дома: стоял какой-то бледный в штатском с белыми руками, прижатыми к груди, — против него — кучка с десяток людей, разных. И кто-то крикнул: «Да берём же его, товарищи!» А дама спросила: «Но вы поведёте его в Государственную Думу?» «Уж знаем, куда поведём!» — крикнули ей. А пока говорили — этот бледный кинулся в подворотню, во двор. И вся куча, с криками, за ним. И там раздался выстрел. А дама на тротуаре объяснила девушкам, что это переодетый молодой полицейский, живущий у них во дворе.

И девушки сжались: первую смерть — почти видели они.

А тут кричали:

— А-а-а, пришла-таки на вас расплата, фараоны, гамзеи!

Шли дальше. За Фонтанкой стало ещё живей. Был ещё митинг — с выпряженной ломовой телеги, и уже несколько ораторов. Но девушки не останавливались: то, что здесь говорилось, — они знали и сами, им хотелось — видеть и даже действовать.

А вот радость! — из мануфактурного магазина выносили свёртки кумача, уж ясно, что не купленный, — и прямо с порожка бросали свёртки в публику, так что они над головами летели и разворачивались, а потом падали кому-то на плечи или на мостовую. И все бросались на кумач и раздирали его, как если б он был дороже хлеба. Кто уносил целыми кусками дальше раздавать, остальные драли тут же, кто-то и булавки вынес из галантереи.

Как же это-то девушки не догадались раньше? Теперь они себе большие крупные розетки сделали на грудь, на пальто. Кто делал бантики, кто ленты. А Фанечка ещё оторвала длинную широкую ленту и перевязала через плечо наискось, как царские сановники носят ордена, смеху!

А кто-то брал на флаги, а кто — делал красные кокарды на фуражки, а кто-то схватил лоскут и нацепил солдату на штык — и тому понравилось, так и понёс, громко все кричали.

С этого места, с раздачи красной материи, когда зацветились сами и все люди вокруг, и никто не преследовал красное и не рушился с нагайками, — как будто запело всё вокруг, радостно переменилось.

Заметили девушки, что они уже не вздрагивают от близких выстрелов, а даже весёлым толчком отдаётся каждый. Тем более что никто и не падал раненный.

По Троицкой площади нервно, быстро шёл офицер, ни на кого не глядя. Ему пересекли путь два студента, два рабочих, все с красными бантами.

— Господин офицер! Сдайте оружие! — властно крикнул один студент.

Офицер вздрогнул, посмотрел по сторонам, никого на помощь не увидел, посмотрел перед собою на этих, полминуты колебался, боролся или решался — вынул шашку резким дёргом — и эфесом протянул студенту. Тот брал, а другие кричали:

— И рево́львер! И револьвер!

Пошли через Измайловские роты. Девушки не знали, чем отличаются измайловцы от других солдат, но какие-то солдаты группа-

ми свободно бродили по улицам, почти все с винтовками, никаким строем, ни командами, а кучками.

Проезжал солдат-кавалерист, с красным в гриве и на уздечке, а сопровождала его буйная куча подростков, кто за стремена держался, кто рядом вприпрыжку.

Толпа на глазах становилась всё красней от приколотого красного, всё многочисленней и оживлённей.

Вдруг раздался непрерывный, тревожный автомобильный гудок, как если бы сталкивались, он наезжал или хотел передать опасность. Все расшарахнулись со средины улицы — и он показался, легковой, открытый. Шофёр был в автомобильных очках и кожаной куртке, строгий, недоступный, в самом автомобиле сидело несколько солдат, штыки кверху, и тоже молчаливые, — но самое страшное, что на передних крыльях с обеих сторон полулежали, ногами на ступеньки, ещё по одному солдату, а ружья держали вперёд и всё время целились в кого-то, кто им помешает.

Вселяя ужас, грозный автомобиль промчался, неизвестно куда, неизвестно зачем, но очень быстро.

От этого автомобиля — ещё что-то вспрыгнуло и изменилось в настроении, ещё красней, ярей и веселей.

Фанечка сказала:

— Хочу стрелять!

Вероника изумилась:

— Да в кого?

— Ни в кого, просто стрелять! Стрелять в воздух — это и значит, что народ стрелять не будет, народ великодушен, не как царские сатрапы!

Тут раздался громкий шум и овации вдоль улицы. Ехал опять автомобиль, на этот раз грузовой, ехал не страшно, без гудка, медленно, ни в кого не целясь, — а через кабину вперёд у него вывешивался большой красный флаг, в кузове же стояли тесно человек двенадцать — солдаты с красными флажками на штыках, и студенты и рабочие с винтовками же, и одна сестра милосердия, — и все они сразу махали руками, красным и шапками, во все стороны кричали и призывали, но так как все сразу, то понять их было нельзя — и люди с тротуаров отвечали, кричали им тоже все сразу, ещё меньше можно было понять, ни слова, а — ликование! ликование!

И Вероня с Фанечкой, подбрасывая руки, тоже кричали им, махали, и потекли за многими другими по мостовой вослед медленному ходу грузовика, собирающего толпу.

И так они вытекли на площадь перед Технологическим институтом — а уж тут-то была толпа! тут-то был огромный митинг, масса студенческих фуражек, и рабочие в обычных чёрных одёжках, но сколько красного на всех! — и ещё десяток больших самодельных флагов над толпой, большие куски кумача, только что нарванные и насаженные на случайные палки. Боже, вот где был народный праздник! Вся толпа колыхалась, как жидкая глыба, — и туда вливался кипящим потоком Забалканский проспект.

Вероня трясла Фанечку за руки, чтоб им обеим поверить, что это — явь.

— Фаня! Неужели дожили? Фаня! Неужели это всё правда? И кровь не льётся! И так легко досталось? Да разве это можно теперь повернуть назад?

Разрывалась грудь от невместимого, неразделимого ликования, уже дальше и больше нельзя было быть счастливыми!

А по Забалканскому полз, окружённый вопящим народом, ещё один автомобиль — в этот раз большая грузовая платформа, грохоча цепями передач. А на платформе стояло человек двадцать пять, но эти ещё на третий лад, как замершие статуи, не приветствуя толпу, а показывая себя, как статуи: весь передний ряд, наклоняясь над спинами шоферов, — с винтовками на изготовку. А дальше — кто с красным флагом, кто с поднятою высоко винтовкой без штыка, и потрясывая ею, кто со штыком без винтовки, кто с косынкой, красным платком, — и так медленно ехали, застывшие, приветствуемые со всех сторон толпой.

Вся площадь сливалась в долгий вопль торжества.

— Хочу на автомобиль! — крикнула Фаня на ухо.

Уже сумерки были. А пока девушки пробивались через площадь и пока струи толчеи вынесли их на Загородный проспект — уже и зажглись фонари. Но в движении девушек ничто не изменилось — куда-то, зачем-то их несло всё дальше и дальше.

Разбивши витрину аптеки и дверь, тащили оттуда бутыли. Наверно, спирт искали.

В переулке куча молодых била одного старика, сказали — что дворника.

Небось доносил, теперь получай.

У царскосельского вокзала встретился им растяпистый солдат, один шёл и очень уж нехотя нёс винтовку без штыка.

— Солдатик! Дайте мне винтовку! — вдруг выдумала Фаня.

Он посмотрел бельмовато:

— А стрелять умеешь?

— Научусь! — бодро выкрикнула Фанечка.

— Ну, на! — без колебаний протянул ей. Она схватила, хотела идти. — Погоди! — Расстегнул пояс, снял тяжёлый подсумок. — А стрелять чем будешь? На! — И ещё протянул ей, кожаный, такой тяжёлый неожиданно, еле в руках удержала.

Сунула в карман — перекосил ей всю шубку.

Но и винтовка оказалась такая тяжёлая, не знала Фанечка, как и нести. Стала просто тащить её за дуло, а прикладом она волочилась по бугоркам утоптанного тротуарного снега.

Всё меньше было понятно, куда они идут под нечастыми фонарями, темно — а всё интересней! Хотя они ничего сегодня не сделали — но чувствовали себя настоящими участниками великой Революции! И самое главное — ещё должно было свершиться, ещё было впереди! Они сознавали, что вот так и наступает, и наступила новая эра. И теперь все люди будут братья, все равны, и все счастливые.

А тут с Семёновского плаца выезжал грузовик, на нём несколько человек. На выезде приостановился — и оттуда крикнули:

— Товарищ Мария!

Вероника вздрогнула, давно так не звали, посмотрела и при фонаре узнала: Кеша Кокушкин, с Обуховского. А он-то скалился всеми зубами:

— Садись с нами! Товарищи, это партийный работник! Возьмём её!

А там — никто и не спорил, раз место было — отчего не взять, хоть и не партийного. Протянули руки — и вскинули наверх и Веронику, и Фанечку с винтовкой.

А там — и Дахин, оказывается, стоял, и были у него шальные, злые глаза.

И поехали!

И с этого момента началось для девушек ещё что-то новое, необычное, уже самой высшей ступени. Под их ногами всё дрожало, и урчал мотор. На ходу их кидало, то склоняло вперёд, то откидывало назад, то валило на бок, — и удержаться можно было только за борта или друг за друга — за незнакомых, случайных спутников, но вот уже соединённых, в общем зачарованном движении и в общем великом деле. И эти касания и эти сжатия рук передавали всю могучую силу поднявшейся массы. Тут было несколько рабочих, несколько солдат и опять же два студента — но и со студентами не

было охоты, ни времени перемолвиться, искать знакомых, узнавать. Если в чём был смысл, то не в тихих словах, но в громких криках, какими не разразишься, если идёшь по тротуару, а отсюда, с грузовика, они рвутся сами, срывая с души весь избыток восторга. Как только дорога становилась ровней, ход равномерней, их не кидало — освобождались руки и вскидывались сами, и махали направо и налево. И так они поздравляли всех-всех-всех идущих по улице, а те снизу поздравляли их!

Куда они ехали — это мог знать один шофёр, но это было и неважно. Зачем — и вообще не было у них вопроса, сама езда и была *зачем*. Только быстрая колёсная езда, только она и могла сравняться с ходом событий и выразить весь восторг! всю победу! В кузове грузовика не разговаривали друг с другом, но едино дружно выражали общий восторг до охрипа, а если кто кому что и говорил — то тут же и пропадало.

Они сделали излом — а, это было на Владимирский, они вымчались на Невский чуть не давя разбегающихся людей, — а на Невском чуть не столкнулись с таким же грузовиком, идущим от Московского вокзала. Но не столкнулись — тот попридержал, а наш поехал быстрей — и в знак радости, что не столкнулись, и посылая друг другу революционные приветы — наши студенты оба выстрелили из револьверов в воздух — и выстрелами ответил тот грузовик.

И ехали уже по Литейному, и солдаты тоже стали палить из винтовок — в воздух или под верхние этажи высоких домов, — а Фанечка хватала их за плечи, сразу и держась, и крича на ухо:

— Хочу! — стрелять! — научиться!

А винтовка её валялась под ногами.

Один студент протянул ей револьвер и показал: она зажмурилась, выпалила и завизжала! Но револьвер пришлось отдать.

Да только выстрелами и можно было передать наружу, кинуть улице свою необъятную радость — уже горла не хватало, Вероня петь затягивала —

Вперёд, без страха и сомненья,
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья… —

ничего не вышло, не подхватили, или слов не знали. А просто — кричали кто что горазд.

На Литейном было много народу, солдаты бегали кучами, ехать пришлось помедленней. Тут проехали мимо большого выго-

рающего пожара, раскалённые обвалины и уцелевшие стены светились и пышели, так что и на средину улицы доставало жаром. Тут они впервые друг друга хорошо увидели как днём, своих товарищей по поездке, спутников по этой сверхсчастливой безумной езде, — и все друг на друге увидели неописуемую радость освобождения — и взмыло ещё большей радостью. И промчавшись дальше как бы во тьму, между рядками фонарей — они ещё докрикивали друг другу что-то, и Дахин пожал руку Веронике и тоже кричал.

Дорогу они уже и не замечали, её знал шофёр. Куда-то свернули, а, по набережной, зачем-то остановились, а — перед Троицким мостом. Подбежали к ним какие-то трое дядей и стали доказывать, что они важные революционеры, их нужно отвезти в Таврический — смех один. Какие уж такие важные, когда всё победило? И что могло быть важней общего торжества и вот этой их поездки? Все, в четырнадцать или в пятнадцать глоток сразу, они сверху объяснили революционерам — а тем временем шофёр опять затарахтел и поехал.

А пока стояли — один солдат научил Фанечку стрелять из винтовки. А ещё к ним залез один казак. И потом они пронеслись через Троицкий пустынный мост — а навстречу другой автомобиль, и фары бьют в фары, и можно столкнуться, а разминясь благополучно — кричат и стреляют в воздух те и другие, — и понеслись по Петербургской стороне, никто не понимая, куда они теперь едут. Тут картина стала ещё фантастичней — то тьма, то набегающие фонари, то набегающие, то отбегающие косяки людей, то повороты автомобиля — повороты целого города, с его набережными, огнями и пожарами, — не езда, а танец счастья, счёт которого отбивали в воздух револьверы и винтовки, а казак неистово крутил и вертел саблей над головой, чудом никого не проткнув и не отрубив никому головы.

120

Едва только начались сегодня на петроградских улицах уже самые серьёзные волнения — некие бьющиеся сердца стали стремиться найти то важное место, где смысл событий должен будет

сосредоточиться и направиться. И чьи-то сердца, может быть, и ошиблись, и повлеклись в орущую, стреляющую, полубезумную толпу, а ведь ясно, что единственным управляющим центром событий могла стать только Дума.

И социал-демократы — Франкорусский, всесторонне инициативный человек, и Шехтер-Гриневич, интернационалист-инициативник, и даже левый инициативник, — независимо друг от друга, в разных частях города, это осознали — и добрались до Думы из первых, часам к двум дня, и порознь проникли внутрь, обойдя стражников разными предлогами, — а уже внутри счастливо встретились и опознались.

Опознали они радостно, что ход рассуждения их верен, и что надо делать что-то — т у т. Но пока чувствовали себя здесь — робко, в этих пустых залах с наблещенными полами. Стали в Екатерининском зале позади колонн и тихо разговаривали. Очень легко их могли отсюда и вытурить.

Потом к ним присоединился бундовец Эрлих, с тем же ходом рассуждения. Уже стало веселей.

Потом — экономист Громан, не депутат, но видная фигура в думских кругах, узнал их, подошёл, поговорил. И они чувствовали себя всё более легально.

Затем, отделяясь от общего депутатского движения, стали подходить социал-демократические депутаты, обсудить новости и перспективы. Уже стали пришедшие и вовсе к месту.

И разрастался большой принципиальный разговор: что в том переполошенном смутном состоянии, в которое попадает город, нельзя ожидать инициативы цензовой буржуазной Думы, да и доверить ей нельзя эту инициативу. Что раз, правда, уже началось что-то настоящее, то надо и действовать самим решительно, в духе славных традиций 1905 года. А одна из самых дерзких инициатив того времени, Троцкого и Парвуса, была — Совет рабочих депутатов. Ничто лучшее, более яркое и более уместное, сейчас и в голову не приходило. Замечательно было бы такой Совет рабочих депутатов сейчас и восстановить.

Правда, самих рабочих — где раздобыть? — они там бегали по улицам, но тем более обязанность социалистических интеллигентов была — представить здесь рабочие интересы. Да и как бы можно избирать депутатов от заводов, пока длится всеобщая забастовка, на заводах никого нет.

Нет, вот их собралась инициативная, сознательная группа, вот им и объявить себя Советом рабочих депутатов. Хотя бы пока временным.

Надо дерзать, в этом пафос великих моментов!

И лучше всего объявить Совет не в каком-то случайном помещении, которого никто и знать не будет, а именно здесь же, в Думе, куда все будут приходить и интересоваться!

Эврика!

Инициативная группа подбодрялась, уже говорили громче, и не гостями стояли. А тут увидели — валит к ним пополнение: освобождённые из тюрьмы члены Рабочей группы Гвоздев, Богданов, Бройдо и внефракционный интернационалист Кац-Капелинский.

Гвоздев, правда, был в ошеломлении, и простецкое лицо его выражало, что он не успевает схватить момента. А остальные — уже бодро поворачивались.

Так замечательно! — Рабочая группа! — вот с ними и будет безукоризненный Совет рабочих депутатов! А ещё почётно прибавить Чхеидзе и Скобелева, вот и всё.

Идея стремительно воплощалась.

Пошли к Чхеидзе просить благословения, и добыть им комнату в Таврическом дворце.

Обременённый Родзянко отмахнулся, разрешил им занять в правом крыле комнату бюджетной комиссии.

Да можно было свободно занимать и не спрашивая: такая наступила в Таврическом неопределённость или растерянность, как-то сразу не стало хозяина, куда-то делись приставы и служители, а какие были на местах — те не вмешивались.

Да тут даже не одна комната оказалась, а две соединённых: 13-я — председателя комиссии, 12-я — самой комиссии, ничего, весьма просторная. С приятностью расселись вокруг большого дубового стола.

Стали рассуждать, с чего начинать. Бумага, чернила, карандаши, телефон — это всё у них теперь было, досталось вместе с комнатой. Но надо было придумать, как им отличаться от цензовиков. Ясно, что — красным революционным цветом.

Да вот что: добыть в хозяйственной части простой красной бязи, рвать её — и вязать себе повязки и банты.

Хор-рошо! Пошли за бязью.

Так, бумага есть, чернила есть — надо писать воззвание к народу?

Но прежде добавить бы сюда ещё кого-нибудь, от самых главных заводов? Или просто подыскать подходящих рабочих депутатов: где-нибудь на улицах? Но не расходиться же им для этого из занятого помещения — да в полную неурядицу, суматоху и стрельбу? Личные проходки можно заменить, во-первых, телефоном, во-вторых, вот этим самым Воззванием — и рассылать его со второстепенными лицами.

Итак: «Граждане! — (И зазвенела Французская революция!) — Заседающие в Государственной Думе представители рабочих…»

— И солдат!

Да что уж стесняться? «…и солдат…»

Солдатские массы надо спешить привлечь, да. Они продолжают держаться на улицах революционно — но это пока не проголодаются. А тогда из движущей силы революции могут обратиться в серьёзную для неё опасность. Если же они отправятся питаться к себе в казармы, то это будет распад революционного фронта, да и не попадут ли они там в ловушку? Но и Совет рабочих депутатов не имеет средств и организации, чтобы кормить восставших солдат. (Ещё самим-то успеть сбегать в буфет, он в конце коридора…) А вот что: составить ещё и второе воззвание к населению, чтоб население позаботилось кормить солдат, оказывающихся близ их домов. Отлично?

Для создания такой прокламации, массовой напечатки её, разброса по городу — молодой Совет выделил из себя Продовольственную комиссию, под председательством Франкорусского: если продовольствие вызвало народный взрыв, то чтоб оно его не погасило. Франкорусский пошёл искать ещё свободную комнату, и занял её уже без разрешения.

Тут, откуда ни возьмись, ворвалась комичная фигура: расхлябанный седой мужчина в штатском пальто, свисает кашне, а сверх наискосок, на ремне — офицерская шашка.

Не успели рассмеяться, как узнали — да он сам радостно вслух назывался:

— Я — Хрусталёв-Носарь, не узнаёте?!

И бил себя в грудь.

И ясно было, зачем он пришёл: возглавить их Совет. Ведь он и был — до сих пор не сменённый председатель разогнанного Со-

вета рабочих депутатов Девятьсот Пятого года. И его явление означало, что он претендовал председательствовать тут.

Но это было уже слишком! — вовсе он тут не нужен, и с какой стати, и откуда он взялся? Да он разве не за границей? Да, он десять лет провёл в Париже, а полгода как вернулся, сел по уголовному делу, — а сегодня, значит, освободили, и вот явился.

Ну нет, ещё чего! Новые советчики просто игнорировали, просто не замечали и не приглашали Носаря к столу.

Но кто ещё появился, тоже удивив, — Нахамкис-Стеклов! Удивив, потому что последние военные годы он совсем отошёл от революционных интересов: оторвался ото всех связей с товарищами, служил в Союзе городов спокойно, под своим именем, жена его держала на Большой Конюшенной институт красоты, сам, как цензовый обыватель, расхаживал в лучших костюмах — и сейчас в таком, и в пальто модном, вот не ждали его здесь сейчас. Он был дороден, высок, крупноголов, широк в плечах, рыжебород, красив, держался гордо — ему в Таврический и прокрадываться было не надо, его конечно пропустили как члена Думы.

И вот — нашёл тут их. И не ворвался носарёвским шальным порывом — но вступил основательным, хозяйским шагом, основательно оглядел присутствующих, и по углам, не затаился ли где кто, — прошагнул к дубовому овальному столу, сел — и сразу его место стало как бы председательским:

— Так, товарищи. И что же решаем делать? — Голос тоже у него был сильный, сочный, в подлад к его дородности.

Тем временем Капелинский мыслил остро-революционно: надо думать прежде всего о военных действиях! Надо собирать Штаб Революции, тут же, при Совете рабочих депутатов. А для этого надо найти хотя бы двух-трёх если не военных, если не офицеров, то хотя бы… И судорожно перебирали кандидатуры.

Ба! Да Масловский, он же Мстиславский! Известный даже и властям эсер, на время реакции устроился служить библиотекарем Академии Генерального штаба. Правда, не офицер, но по роду работы почти как офицер. Да вообще отлично мог бы догадаться и прийти сам, ведь Академия в трёх кварталах от Думы. Но не заявляется.

Сперва телефон долго не отвечал, но Капелинский всё крутил ручку, дёргал телефонных барышень. Наконец — трубку взяли. Он! И Капелинский, почти подпрыгивая перед настенным телефоном, и — туда, в трубку:

— Сергей Дмитрич! Ну, дождались?! Кажется, дождались? Скорей, скорей идите к нам! Таврический, комната 13! Или хотите — пришлём за вами автомобиль? У нас уже и автомобили есть!..

****

ТЫ МНЕ ДАЙ ТОЛЬКО ЛАПКУ НА ВОЗ ПОЛОЖИТЬ,
А ВСЯ-ТО Я И САМА ВСКОЧУ

****

121

Ото всего, что творилось вчера и сегодня, Вадиму Андрусову собственная жизнь стала казаться каким-то головоломным спектаклем. До вчерашней стрельбы на Невском была просто воинская служба, к которой за последние месяцы он как-то всё-таки привык. Вчера эта несчастная стрельба всё сдвинула: весь вечер потом в батальоне и отлучавшись в город ему пришлось оправдываться, что павловцы не первые начали стрелять в воскресенье, что их вынудили лукавой пулей, — но кто полностью ему поверил, был только друг его Костя Гримм. Эта обожжённость от неспособности оправдаться уже сдвинула в Андрусове все чувства.

Ночевал он в своей казарме, в учебной команде, на Царицынской улице, позади Марсова поля — и ещё неизвестно было, не взбунтуется ли ещё раз 4-я походная рота по соседству, в Конюшенных казармах, не придётся ли ночью или утром в понедельник против неё выходить.

Но и ночь и утро прошли спокойно, хотя утром слышалась пальба с Литейной стороны. А потом Андрусова вызвали — и приказали срочно: идти на полковую гауптвахту и освободить узника барона Клода, да и всех, кто там сидит. Гауптвахта была по ту сторону Марсова поля, всё пересечь, близко к мятежным кварталам,

потому, наверно, и освобождали. Барона Клода Андрусов немного знал со стороны и понаслышке, вид его был совсем не баронский и даже не гвардейский, мозглявый, чёрный, корявый, а известен был даже в Павловском полку выдающимся пьянством и сейчас сидел на гауптвахте за дебоширство.

Хотя уже близки были шум и стрельба, караул гауптвахты держался взаперти. Скомандовал Андрусов всё распахивать и выпускать. Открыли четыре карцера и всех выпустили. Солдаты, пришедшие с Андрусовым и которые тут раньше толпились несколько, — подхватили барона Клода на плечи, сами же смеясь, ибо всё понимали, а кто-то подкрикивал, что он жертва царского ре́жима, — и так пронесли его шагов двадцать, потом ссадили.

Один эпизод за другим как будто рассвобождал в голове какие-то скрепы, стяги, запреты, и это освобождение с гауптвахты тоже, ошеломившее караульную команду, но и самого Андрусова. Ото всех сдвигов и безпокойств он как будто стал пьяноват, хотя ничего не пил, как-то ногам облегчённее шлось, и облегчённее мыслилось.

Потом несколько часов провели в казарме, почти обычных, только без учения, — а потом спектакль возобновился, когда Павловский батальон, без 4-й роты, вдруг был торжественно построен с оркестром — и под музыку пошёл на Дворцовую площадь. В музыке и была главная ирреальность, когда, кажется, всему городу было никак не до музыки.

И на Дворцовой площади было всё торжественно — сперва. Вылетал в санях генерал Занкевич, держал горячую речь, и это тоже было как продолжение спектакля. И такое было настроение, что сейчас куда-то и двинутся.

Стояли преображенцы, измайловцы, ещё какая-то рота.

Затем подошла в своём чёрном рота гвардейского экипажа.

Подошло немного егерей.

Подъехало две батареи.

Собралось войско большое, но с тех пор, как уехал Занкевич, — ни один офицер больше не подскакивал ни с каким приказанием. Собралось войско на снежной площади, в полукарре вокруг Александровской колонны — и вот стояли на морозе за получасом получас. А солнце всё спускалось.

Офицеры-павловцы похаживали, спрашивали у соседей и друг другу передавали — что же к чему? И отвечалось совсем непонятно и вразнобой: будет ли действие и какое? И какое нужно?

И нападать — тоже на них никто не нападал. Ниоткуда не высовывался ни враг, ни друг, ни даже из тысячи окон Главного Штаба не смотрели на них, может быть только досужие лакеи из Зимнего дворца.

И вдруг — гвардейский экипаж, что-то узнав или решив и никому не сказавши, с матросским презрением к сухопутью — повернулся, вырвал свою чёрную колонну из карре — и ушёл через Невский, на запад, туда, в свою сторону.

И все ряды как-то замялись: холодно, не кормят, чего держат? Солдаты ворчали почти вслух.

Но не доводя до беды, пришёл приказ батальонного. Павловцы повернулись, изогнули левым плечом вперёд и, уже без музыки, пошли в раскрытые для них решётчатые главные ворота Зимнего дворца. Андрусов и это воспринял как продолжение необыкновенного спектакля.

По размаху дворца ворота казались совсем узкими, даже непонятно было, куда они вберут три тысячи павловцев. Но, не торопясь, входили, входили и все исчезали там.

И Андрусов, как несбывшееся дитя искусства, обрадовался, что сейчас их поведут какими-то дивными залами, всегда закрытыми для публики, и он увидит интерьеры, не доступные даже для профессоров Академии Художеств.

Интерьеров таких не открылось ему, однако. Уже и двор был домовый, а не дворцовый, и тем более — сводчатые толстостенные широкие коридоры, по которым дальше их повели (а как натоплено здесь хорошо!), — и даже простые солдаты умеряли шарканье сапог в уважение к значимости этих камней: и последний простачок понимал, что допущены они в жилище самого царя!

Но недолга была их заманчивая проходка по первому этажу: завернули их вниз по лестнице, хоть и мраморной, но уже простой домо́вой, и ширины её не хватало соблюдать строй, все смешались.

И опустились они в огромный подвал — тоже тёплый, но полутёмный, окошки малые кое-где наверху по бокам, а своды окутаны мрачноватыми тенями, и редкие тусклые электрические лампочки. Подвал этот был почти пустой, редко где скамьи, а так — более ничего (и ни винных бочек), только капители поддерживающих столпов.

Раздались, отдаваясь сдавленным эхом, призывы-команды по ротам, затем по взводам, шаркало множество сапог, гудели голо-

са, пристукивали винтовки, — а что дальше? Не стоять же было тут, хоть и «вольно», — значит, садись на чём стоишь. Впрочем, и камни здесь были не очень холодные, через шинель сидеть можно.

Сели. Необычная такая сиделка — в огромном темнеющем подвале три тысячи солдат, курить не приказано, говорить — и само громко не говорится, а только одно хорошо, что тепло, на этом и отошли. Говорили сдавленно.

В оконца снаружи уже никакого света не шло, а лампочки подвальные редко, и так — много чёрных теней по-за столбами и повдоль стен.

И Андрусова не покидало его сдвинутое полупьяное состояние, и он в шутку обдумывал, как бы ему дерзнуть да пойти бродить по дворцу, посмотреть архитектуру и лепку.

Но вот и ему стало передаваться общее стеснение и угрюмость: от низких сводов, от толщины непробиваемых стен, от темноты закоулков, а больше всего — от самих пригнетённых солдат. Сперва, когда сюда пришли, всем казалось хорошо: тепло и сидеть можно. Но посидели полчаса, посидели ещё полчаса — и ничто не менялось, и еды не несли, и не представлялось, чтоб сюда, в эту подвальную тесноту, могли её принести. Надземные окошки стали совсем чёрные, снаружи тоже стемнело. И наверно в солдатских сердцах стал рождаться страх ловушки: что ж, и ночевать тут? Зачем же в эти казематы загнали их? — и держат без смысла и без приказа?

Да не на погибель ли? Да не в отместку ли за вчерашний бунт 4-й роты? Да может, тут их водою затопят? камнями задавят? Пулемётами не выпустят? Теперь-то и ребячий ум мог сосмыслить: вчера за бунт — ничего, а сегодня с музыкой сюда — и в казематы загнали как глупеньких, значит — весь батальон сразу в темницу?

Где-то сшепталось, передалось, погромчело — и вдруг объяло всех с несомненностью:

— Братцы! Завели нас!

— Братцы — на погибель!

— Порушат!

— Подушат!

И — кричал ли какой офицер поперёк (Андрусов не кричал) — уже его и не слышали. Поднялся гомон и крик в тысячи глоток — и вскочила вся масса, стукнув прикладами, — и попёрла по памяти, откуда пришли, — душась и отталкивая, выскочить бы первыми. А голоса отчаянные надрывали:

— Завели-и-и-и!

— На убивство!

И началось — месиво выталкивания, его не то что удержать — а как бы самого не сплющили.

И теснились, и давились, и протискивались павловцы в толпяном страхе: ах, пошли Бог только в этот раз вырваться! Ещё разик в ненаглядные наши казармы вернуться — а уж там мы знаем, что делать!

122

Командир Самокатного батальона полковник Балкашин в момент нападения толпы не был в батальоне и прибыл позже, когда раненые уже были отвезены в госпиталь и там Елчину вынимали кортик из спины.

В батальоне состояло 10 рот: две уже сформированных, готовых к отправке на фронт, четыре боевых на формировании и четыре запасных. Они располагались тут по баракам (всё расположение, и бараки и забор, были деревянные, простреливаемые), и тут же было 6 пулемётов, а ещё 8 — на батальонном складе. Неудобство и уязвимость расположения была та, что оружейный склад и все гаражи батальона находились отсюда больше чем за версту, в начале Сердобольской улицы у станции Ланская.

Балкашин стал обходить роты на занятиях. Уже все знали о нападении и кипели, и не было надобности много убеждать, что толпа действует как нельзя лучше на руку немцам. В каждой роте Балкашин просил, что надо поддержать порядок, и все в один голос кричали: «Поддержим! Поддержим!»

Да и его самого любили, он знал.

Тотчас он назначил две роты дежурными, приказал им выйти и стать поперёк Сампсоньевского проспекта, фронтом в противоположные стороны — но стараться удерживаться от открытия огня, а улаживать мирным порядком.

Каждые два часа он эти роты сменял.

Долгое время толпа больше не подступала. Балкашин имел время получить много патронов с Сердобольской улицы, вооружить всех и особенно пулемётную команду.

Правда, из высоких фабричных корпусов понедалеку хлопали иногда одиночные выстрелы, на которые трудно было отвечать, неизвестно куда.

Первые часы ещё была телефонная связь со штабом Округа, но оттуда Балкашину не могли решительно ничего приказать, ни посоветовать. Что делать верно — он должен был сам тут, по обстановке, понимать.

А понимал Балкашин, что его маленькая часть, заброшенная в самую глубь и даль рабочего района, да ещё находясь в деревянных бараках, при всём своём боевом духе не могла принять бой со здешними десятками тысяч, уже значительно вооружённых. Он мог только стараться продержаться дольше до подмоги, а для этого больше угрожать, чем стрелять.

К концу дня из штаба Округа никто не отвечал вовсе, когда и была связь с другими телефонами.

Потом прервалась — перерезали? — и всякая телефонная связь с городом. Самокатный батальон, ещё утром в столице своей родины, вдруг оказался окружённым десантом в неприятельской стране.

Перед темнотой огромные толпы двинулись на батальон с двух сторон Сампсоньевского. Они напирали на дежурные выставленные роты, кричали, агитировали, но не стреляли — и тем более не могли стрелять в толпу самокатчики. Им доставалось только отступать.

Тогда, чтоб не допустить толпу ворваться во двор, Балкашин выдвинул на оставшийся кусок проспекта ещё одну роту и стал стрелять залпами в воздух.

Толпа остановилась.

Но и держать так роты дальше и в темноте становилось бессмысленно. Он постепенно завёл всех во двор, оставил за воротами дежурный взвод, а во дворе против входа поставил пулемёты.

Теперь толпа свободно соединилась, разлилась и двигалась по Сампсоньевскому, а самокатчиков трогать остерегалась. Однако зубоскалили, кричали, агитировали убивать офицеров.

А попозже должна ж была толпа разойтись — и так надеялся Балкашин с батальоном перебыть ночь.

Готовил он двух разведчиков из учебной команды — выпустить их, когда станет поглуше и темней, — чтобы шли через взбаламученный город в штаб Округа и получили бы указание, что делать дальше.

Поодаль на проспекте толпа разводила костры и ставила, видно, заставы.

Но рано успокаивался Балкашин. Задами, через снежные пустыри, задворки и переулки, пришли писари с Сердобольской: нахлынула толпа туда (а он рассчитывал — не найдут, охранить — не имел двух сил), смела часовых, разгромила гаражи — и увела все грузовики и мотоциклеты! (Да ведь как ухитрились увести! ни один мотоцикл по Сампсоньевскому не прошёл, тут бы заметили, догадались.) А до оружейного склада не добрались.

Ничего не оставалось, как послать и туда около роты.

Вызвал поручика Вержбицкого и двух подпоручиков.

123

А в Москве ничего особенного не происходило. И московские газеты были самые обычные. И не вывешено никаких чрезвычайных агентских телеграмм. Но редакции газет, то одна, то другая, получали сногсшибательные частные телефонные сообщения из Петрограда — и тотчас каждый такой телефон размножался по Москве двадцатью передачами к знакомым, а те звонили дальше, или им звонили из других мест, а тем временем из Петрограда подоспевали ещё новые сообщения — и всё это закручивалось в живительно-будоражащий клубок. Даже если не верить половине этих телефонных известий, то и то было сверхдостаточно!

А Сусанна Иосифовна, утром посещая знакомых больных, потом среди дня в магазинах, — сперва долго ничего этого не знала, нигде в городе не было никаких признаков. Потом перехватила новостей у знакомых — взяла извозчика скорей домой, вернулась к четырём часам. Давида дома не оказалось, от горничной узнала, что он давно прекратил приём посетителей, и не поехал в банк, много сидел у телефона, а теперь уехал в адвокатский клуб, не обещав и к обеду вернуться точно. Звонил и сын из университета, что — новости! новости! — они со студентами обсуждают, и его тоже пока не ждать.

И радостное это ожидание великих событий, может быть падения извечных цепей? — опалило Сусанну! И она — тоже прильнула бы теперь к телефону, если бы горничная не доложила ей, что ещё утром звонил полковник Воротынцев — и будет звонить после четырёх.

Что делать? Обязательство было взято, кто же мог предвидеть, что так всё взвихрится? Надо было принимать полковника, и даже сразу сейчас, пока Давида нет, Давида этот визит будет раздражать. Так что и телефона надолго занимать неудобно, вот горе.

Сердечные законы не слушают общественных событий. Они — настойчивей. Вот-вот придёт — и надо сосредоточить чувства, окунуться в разлад этих супругов. Такой разговор — это сложный тактический бой, и за свою доверительницу Сусанна должна провести его наилучше.

Хотя её тяготила избыточная доверенность к ней Алины и вся эта возложенная миссия — но сама Алина как незрячая, всё невпопад, и как не помочь ей в такую тяжёлую минуту?

А как — помочь? Все эти семейные посредничества — совершенно ведь безцельны: ни один случай не похож на другой, и никакого безошибочного совета не может дать сторонний человек. Да на советах и не выкарабкаться, это всегда долго, сложно, в сердечных крушениях только сами тонущие могут себя спасти. Уж если не мудрость нужна, так хоть ясное ви́дение, — Алина же и всегда повышенно сосредоточена на себе, а сейчас — только всё упорствует, что муж её боготворит, всё отсылает к его прежним письмам. А в них-то и поражает, будто написаны не живой, своей женщине, а женщине вообще. Да не только. В ту встречу осенью Сусанна перехватила взгляды тревоги его или неловкости за реплики жены. Но есть и противоречие между видом его нелакированным, схваченным боями, видом решимости и быстрых глаз, — и расслабленным поведением во всей этой истории. Как будто не укреплён новой привязанностью.

Впрочем, Сусанна знала за собой тонкие щупальцы чувств, опережающие то, что прямо высказывается, — она надеялась хорошо разглядеть собеседника.

Однако он всё не звонил и не звонил. И Сусанна Иосифовна с облегчением поняла, что и не позвонит.

И когда на руке её, на часах-браслетике (такие входили теперь в моду) показало без десяти пять — Сусанна прочно села за телефон, заглатывая, заглатывая новости, пусть противоречивые, и потом сообщая их близким знакомым.

При всех противоречиях — совершалась в Петрограде некая поэма! И уже назад, без следа и без рубца, не могла так просто схлынуть!

И — не заметила, сколько просидела, — может быть час, может быть два. Сына всё не было, а Давид вернулся — дико-радостно возбуждённый — как ураган внёс с собою! Что творится! Что творится! Обедать? — ну давай наскоро.

Сусанна надавила грушу звонка кухарке.

— В Петрограде — революция, вот что! — отрубливал ладонью Давид. — Государственная Дума — отказалась разойтись, это гениально! В Петрограде революция, Зусенька! — И обнял её, целовал.

И тут же покинул, что-то ища, она за ним в кабинет.

— В общем — до каких пор будем рабски ждать? История не делается помимо нас, а только нами! Допустимо ли бездействовать, когда другие совершают за нас? Неужели мы их не поддержим? Неужели мы не взорвём нашу глухую Москву?!

У них решено: сегодня вечером в городской думе собираются гласные, не все конечно, но прогрессивное крыло, — так вот с ними и другие прогрессивные деятели Москвы, с известными именами. И Давид — идёт! Конечно, раскачать на поддержку всю городскую думу — невозможно, слишком много болота, реакционный избирательный закон сказывается. Да и эти, кто соберутся, — мастера горячо поговорить и разойтись, это тоже ничто. А надо — как-то себя конституировать в виде зачатка новой власти, явочным порядком. Конечно страшно! В ещё ничуть не изменившейся Москве по одним только телефонным сообщениям из Петрограда — перешагнуть и объявить себя революционерами! Но к этому шло развитие десятилетий! Комитет? Очевидно. Но сейчас начнут трусливо предлагать: общественный комитет, временный комитет, какие-нибудь самоуничижительные названия. А надо набраться смелости — и перейти рубикон невозвратно. И Корзнер решил произнести речь и полыхнуть предложением:

— Комитет Общественного Спасения!

Его глаза сверкали неукротимо. Приподнял руку в кулаке.

Мужество, мужество! — вот что любила Сусанна.

124

В 1-м и 2-м кадетских корпусах в эти дни была корь, а в морском корпусе Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича — не было, и на субботу-воскресенье юных кадетов-гардемаринов отпускали, как обычно, в город. В воскресенье вечером, когда они вернулись из отпусков и уже спать легли, — прозвучал горн и созвал их на построение в зал. Им объявлено было, что Государь повелел прекратить городские волнения, и тут же стали назначать караулы для охраны от толпы их огромного здания на Васильевском острове между Невой и Большим проспектом. Караулы получали винтовки и настоящие патроны, которых большинство ещё не держало и в руках. Вахт, сменяемых по 4 часа, потребовалось так много, что ставили и малышей.

Однако ночью не случилось вообще ничего. И день понедельник долго проходил спокойно: на улицах вблизи не видно было никаких толп, и наряд Финляндского полка перегораживал Николаевский мост. Но после трёх часов дня кадетик Горидзе со своей вахты на набережной стороне с ужасом увидел, как целые черно-серые толпы вооружённых людей пошли сюда — сперва по льду, а потом и через мост. И из первых же зданий по набережной стоял Морской корпус.

Караулы гардемаринов вошли внутрь.

Пытались ворваться в ворота и в парадные двери. Кричали, что отсюда в них стреляли пулемёты. Снаружи раздались и выстрелы. Кое-кто из кадетиков ответил тем же. Толпа поняла, что здесь без боя не возьмёшь.

Тогда заявили, что хотят прислать парламентёров.

Для парламентёров отперли дверь — вошла куча солдат и матросов, ударили по голове прикладом вице-адмирала Карцева и схватили его. А в открытую дверь вваливалась и вваливалась толпа.

Учителя и ротные поспешили спасти младших мальчиков, винтовки покидали в холодные печи, ещё куда, — а самих рассадили по классам, будто идут занятия.

Чужие бегали по этажам, искали пулемёты. Раззявили рты на артиллерийские модели столетней давности. В картинной галерее штыками выкололи глаза всем императорам и всем адмиралам. Били где что попадётся.

И полностью разграбили кухню.

Ушли.

Что ж, стало нечего есть, и училище разграблено, и увезен в плен вице-адмирал. По всему видно, что не учиться завтра, — и кадетов распустили по домам, без палашей, но в форме.

Горидзе и его приятель К* пробирались через Благовещенскую бушующую площадь, на погонах — вензеля наследника, и развевались ленты с безкозырок: «Его Императорское Высочество». Одна мещанка увидела — и изблизи плюнула мальчишке в лицо.

К* утёрся.

Не знала та женщина, а К* только втайне мечтал, что ещё придётся ему в этой стране стать — адмиралом.

125

У всякой Революции видимо есть такое загадочное свойство: она и придя — не в первую минуту открывает нам всем своё прекрасное лицо. Она может прийти в маске будничности — так что ходит уже по нашей обычной жизни, а мы не узнаём, что Она пришла.

Так было и все предыдущие дни: ну хлебные волненья, ну громят лавки, ну задирают полицейских. Хотя и весело, а только — как счастливые эпизоды. Так и вчера, после стрельбы на Невском — хотя и спёрлось гневно в груди, хотелось бить в морду даже не какому-нибудь отдельному начальнику, а самому режиму, и даже вслух обещал Ленартович не простить им этого, — а к а к «не простить»? Что надо делать? К вечеру казалось, что вот и опять всё впадает в обычный подлый порядок, вот и подавили.

И вчера вечером Саша, как ни в чём не бывало, пошёл к Ликоне на именины — а там обречён был, среди совсем чужих, быть лишним, и оттого как бы неуклюжим, неудачным, и совсем ненужным Ликоне. Унизительно себя чувствовал. Пытался Ликоне напомнить, какой трагический день, — ей ничего не передалось. Пытался спросить — как же будет между ними? — она вдруг откровенно ответила: «Саша, я — плохая. Ты так и знай, что я — могу изменить».

Эта открытость — и была приобретение вечера. Эта открытость его поразила, ведь так никогда не говорят! Но это при-

знанное скольжение к измене — не отвращение к ней возбудило у Саши, а ещё больше раззарило: совладать с нею! завладеть ею!

Чем невозможней…

А утром — с таким осадком унижения проснулся, — лучше б не ходил туда вчера!

И потащился, как обычно, в своё окостенелое Управление, высиживать нудные часы над бумажками.

И когда по телефону вдруг стали узнаваться первые новости — ещё и тут не в минуту и не в час Саша разглядел, что Революция наконец срывает маску со своего вдохновенного лица.

Но всё-таки он понял это — раньше других. И при обеденном перерыве, не убирая бумаг со стола, выскользнул из своего учреждения, чтоб сегодня в него уже не возвращаться. А может быть — и никогда.

И откуда вдруг — такая нежданная сила народа? И почему вдруг оказался так слаб враг?

И — что теперь делать на улице? Как это — *делают* революцию? Надо было что-то громить — лучше всего полицейские участки, как самые верные гнёзда режима? Или кого-то присоединять, ещё не восставших? Саша угадывал, что революция — это прежде всего темп, сколько новых сторонников она успеет присоединить к себе за час.

Сердцем, порывом — он был готов, ничего не боясь. Но — шинель, погоны, шашка? опять отрывали его от сокровенного? В глазах всех он сейчас на улице — пёс режима. Что делать? Мчаться к себе на Васильевский и переодеться в штатское? Но мчаться пешком черезо все эти волнения невозможно, да и опасно, во что-нибудь и влипнешь по дороге всё равно. Опять не пускала его военная форма в настоящую жизнь? А нет — увлечь и её туда! Вот так, как он есть — прапорщиком и с шашкой, кидаться в революцию.

А бежало несколько возбуждённых парнишек и несли каждый по винтовке и револьверу. У одного винтовка уже по тротуару волочилась, хоть брось, — прапорщик его и облегчил, перенял. И почему-то поняли они, что он — *не против*, и за то дали ещё и револьвер, но без патронов.

А дальше он увидел дюжину солдат без унтера, бредущих как попало по мостовой, винтовки у всех по-разному, шинели раздёрганы (и карманы огружены патронами, и ещё в руках по цинку), — и молодые парни, и постарше, и видно, что растерялись, куда и зачем. Чужого молодого офицера они пропустили глазами как ненужность — а он по вдохновению крикнул им! Крикнул — и первый раз не узнал ни манеры своей, ни голоса, откуда сразу так сложилось легко и звонко, как будто он и вырос на командовании — да дело-то было родное:

— Ребята! Куда? Пошли штурмовать!

Он крикнул как имеющий право спрашивать и приказывать — и вдруг сразу поняли и подчинились, отозвались готовно. И первый раз за всю свою военную жизнь Ленартович почувствовал себя настоящим офицером и даже, может быть, прирождённым.

И весь день потом это личное чувство росло в нём рядом с общим ликующим ощущением Революции. Его изумляло теперь, как он четыре года не знал себя и не догадывался о себе. Даже усумневался прежде, не трус ли, — он забыть себе не мог, как перепугался насмерть, роя лицом картофельные борозды под Найденбургом. Он всюду всегда избегал и уклонялся опасности, в чём мог, да, а потом уловчил и убраться с фронта, но внутреннее чувство всегда говорило, что — нет, не трус, он внутренне знал, а просто — не погибать за чужие интересы, но сберечься от чужой войны к своей. И только сегодня среди свиста безсмысленных, ненаправленных пуль и направленных, когда в окна и двери отбивались полицейские, Саша не забыл радостно перед собой, что вот же он нисколько не боится! что он даже весел в этой опасности и ему даже не будет обидно пораниться или убиться в этот весёлый, красивый день.

Солдаты быстро стали звать его «наш прапорщик» и слушались так охотно и отзывно, как не слушаются унылых принудительных команд. «С нами прапорщик!» — кричали другим солдатам или публике, и это вызывало крики восторга, и команда их прибывала. Если Саша ошибался в распоряжениях — старшие солдаты не замечали тех команд, сами догадывались, как сделать лучше, — а он всё более ощущал себя подвижным, сообразительным, смелым, усотерённым на свою команду.

Сперва, чтоб увлечь их верно, он позвал их куда было ближе, куда он знал — на полицейский участок на Лиговке возле Чубарова переулка. Это, конечно, было не главное место в Петрограде, достойное атаки, но на это было легче собрать гнев людей. А впрочем, неглавных мест не было — в каждом совершалась великая работа Революции. За каменное здание пришлось вести бой, рассыпаться от оконных выстрелов, прижиматься к стенам, отбегать за

угол и стрелять так много, — патронов хоть засыпься, — что изрешеченный дом загорелся от выстрелов. Потом брать штурмом лестницу и драться на ней. Потом торжество над фараонами, наказание их, их умоления, отвод куда-то, и кажется же — не поджигали бумаг, никто такой мысли не высказывал, — а бумаги загорелись, загорелись, передаваясь через двери, через занавески, из комнаты в комнату и выкуривая победителей. Но и выкуренный, Саша стоял на улице в дерзкой весёлости, любуясь пожаром.

Так он начал сегодня мстить за дядю Антона! и за повешенных народовольцев! Так во многих местах Петрограда сразу, друг другу неведомая, но друг друга подкрепляя, торжествовала Справедливость сразу за несколько поколений. Час всеобщего возмездия.

А какое упоение он видел рядом на солдатских лицах!

Какой-то привязчивый интеллигент в шубе и в меховой шапке уговаривал Сашу двинуться на семёновские казармы: что этот упорный вышколенный царский полк никак не хочет присоединяться к революции — и надо его снять, хоть и силой.

Это было недалеко, и взять ораторство хоть перед батальоном Саша чувствовал себя вполне способным, и верил в силу своего убеждения. Но всё же сообразил, что отряд его на случай сопротивления слишком малочислен и несоединён.

И другие прохожие давали разные противоречивые советы, куда идти и что делать, — а Саша и любимые его отрядники, которых он не знал ни по лицам, ни по именам, а просто те, кто держались рядом, — стояли и любовались, как горит.

То был символ уничтожения старого и обновления, и гордость наполняла грудь и голову до состояния пьяной малочувствительности, когда тело не чует царапин, ушибов, не боится ран.

Присоединилось к ним несколько рабочих — в картузах, бушлатных куртках и с винтовками, взятыми на ремень. И они уговорили Сашу идти освобождать Пересыльную тюрьму — тоже не так далеко, и они тут знали дорогу, хотя и необычную: перелезали через железнодорожные заборы, пересекали пути — и вышли прямо к тюрьме, даже две их там было рядом, но Арестный дом уже освобождали без них.

Биться не пришлось: тюремная охрана сразу сдалась, распахнула двери, ворота и пошла отпирать камеры. Но самый этот процесс освобождения, состоять освободителем и видеть радость, приплясывания и ругательства освобождаемых узников — доставляло несравненный подъём.

И братья меч вам отдадут.

Не ждал себе Саша такой почётной, радостной роли.

Задержались, потому что некоторые освобождённые мстили тюремному надзору, кого-то били и разнесли тюремные вещевой и провиантский склад. Впрочем, последнее было не без пользы и сашиной команде, все изрядно проголодались — и охотно поели.

А потом повалили переулками к Старо-Невскому — и ещё очень вовремя пришли к разгрому Александро-Невской полицейской части, здесь ещё не кончилось взятие и только начинался пожар. Соседние пожарники отказались присоединиться к революции, за что подожгли и их каланчу, — она очень эффектно горела, высоко и долго, ещё и в вечер, нельзя было дождаться конца.

Так Саша побывал как будто на периферии событий, он не видел ничего центрального, но и он оказался для Революции существенный работник. А главное — сам в себе он испытывал такую окрылённость, такое поющее чувство, — может быть, это был самый счастливый день его жизни!

С каждым часом и каждой новой победой всё больше убеждался, что Революция несомненно берёт верх: да нигде не видели они сопротивления каких-нибудь войск и не слышали о таком.

Теперь, когда день кончался, уже темнота наступила, захотелось Саше попасть на какую-то более центральную революцию. И он решил пробираться к Думе, там кого-нибудь встретить, узнать лучше новости, чем они узнавали на улице от зевак и прохожих. Его команда, может быть, и переменилась, и перемешалась, и растеклась вокруг пожара Александро-Невской части, но всё ж ещё оставалось человек двадцать, которые звали его «наш прапорщик», — и они пошли с ним. И после разных приключений и остановок с десятком из них дошёл до Думы — и оставил их дожидаться на случай новых действий, а сам как офицер сумел проникнуть внутрь.

126

Сегодняшний как будто тихий, одинокий день был для Воротынцева потрясением. Он так неразрешимо растревожился, пришёл в такую растравленную непонятность, такую тревожную неоконченность — что и просто уехать из Москвы сейчас не мог.

После такого письма от Алины — уже и к Сусанне идти было незачем.

Подумал: вот мама с отцом так много лет жили в разладе — можно ли вообразить, чтобы мама написала такое письмо? Вот так — хлестала?

Наверно — никогда.

Наверно, мама бы сейчас поняла это его потрясение. Эту внезапную пустоту.

На маминых похоронах Калиса плакала в голос.

А давнéй, давней — двор на Плющихе, и синеглазая девочка, лет на пять младше, в тулупчике и пуховом платке, садилась на санки то к брату своему, то к нему, когда съезжали с ледяной горки. Её дразнили — она никогда не плакала, не обижалась.

Они были дети хозяина дома, где тогда квартировали Воротынцевы и куда Георгий потом наезжал в молодости. Калиса росла, дородностью будто старше своих лет, добродушная, приветливая, — как освещала всякий раз улыбкой и просторечным московским говором, мама её любила. А лет девятнадцати её выдали замуж за пожилого купца в Кадаши, Георгий уже кончил училище, служил не в Москве.

Но было и очень неловкое воспоминание. За год до Японской войны Воротынцев, тогда уже командуя ротой, приехал в отпуск, в конце ли февраля, то ли в марте, таяло. А Калиса как раз, по дальнему отъезду мужа, жила у родителей. И как-то вечером, встретив Георгия во дворе, позвала его на пирог с вязигой, только что испекла. Пошёл к ней, говорится — пирог, а полный стол был постного, шёл пост, засиделся, и всё вдвоём, родители её в гостях. Как будто ничего общего не было между его офицерским миром и её купеческим, и разговаривать бы не о чем, но она без затруднения журчала, журчала, и он слушал благодушный её речитатив. Глядел на её беложавое лицо, мягко-круглые плечи, она не толста была, но тельна, — и вдруг безстыдное, безумное, забубённое пламя овладело им: вот — сейчас! и — даром что замужняя! И — пошёл на неё, она испугалась, уже за плечи обхватил и внушал нетерпеливо, а она забилась, просила отпустить! — и тут незвано-нежданно вошла прихожая монашка. И всё порушилось.

Потом Японская война, женился, жил в Петербурге, в Вятке, а в 14-м году перед самой войной встретил её в Москве, в трауре. Муж её, напившись, угорел от печи, вполне русская смерть, Калиса осталась в мужнем доме в Кадашах, бездетной вдовой, а всего за тридцать, и даже в пущем цветении. И опять война.

А сегодня, когда сидел, выжженный, и память шарила по родной Москве — вдруг вспомнил Калису. С ней бы даже и говорить просто, а то ведь язык не провернуть в гортани.

Посыльный принёс от неё ответ круглым почерком, что — рада, дома, и ждёт его ужинать к семи.

В назначенный час он был. Особняк в глубине двора, при садике. Прислуга открыла — но и сама Калиса Петровна, в синем бархатном платьи с кружевным воротником, встретила его на пролёте лестницы. А он поцеловал ей руку. Она застыдилась, но не умолкла говорить и вела его в столовую.

Тут стоял большой старинный буфет с зеркалом и с резными грушами и виноградом на боковых дверцах. Квадратный дубовый стол с восемью тяжёлыми дубовыми стульями вокруг. Над столом спускалась махина пудовой висячей керосиновой лампы из фигурного розового стекла, но по цепи приплетена и электрическая лампочка, она и горела. (На стенах ещё в запас — двусвечники, заправленные свежими свечами, электричеству тут не верили.) Был и граммофон у стены, с огромною трубой, массивный. А ещё в стороне было особое кресло — с полого откинутой спинкой, наверху к голове оно имело кожаную подушку, покрытую ещё белой застилкой. И Калиса Петровна сразу заметила:

— А вы усталый-усталый какой, Георгий Михалыч! А садитесь-ка в это кресло пока, до стола. Отдохните.

И правда, угадала: он ведь ужасно устал. Ему именно отдохнуть надо было, первее всего.

В глухой тишине слышались даже мелкие звуки, поскрипывание его сапогов, призвякивание шпор.

Сел. Откинулся. Расслабился.

Он был разбережен, как болен. То ли что-то неповоротливое, невмещаемое наполняло его — то ли, напротив, вышло всё и ничего не осталось. Но — мешало жить и что-нибудь делать. А как хорошо угадал: тут и говорить не надо. Калиса Петровна расспрашивала о войне — как и не расспрашивала, сама рассказывала: что где с кем случилось, на войне ли или тут в Замоскворечьи, рядом.

И не пытался скрыть своё удручение. Дал ему волю выразиться — в постаревшем лице, в плечах.

А Калиса, дохлопатывая у стола и ни о чём его не спрашивая, одними перепевами голоса уже как будто угощала.

И как будто не было ничего неестественного, что он пришёл отдыхать в чужой дом и, откинувшись, вот молчал.

Не курил, представляя, что она не любит этого запаха в комнатах. Да даже и перестало нутро требовать горячего дыма, лекарства нервности, вот что.

Если бы пришлось объяснять, зачем же он пришёл, — он не мог бы. Но к счастью — и не надо было. А успокоение, что пришёл в правильное место. Никуда не пойти — он тоже не мог.

Вот — никуда и не надо идти. Хорошо.

А Калиса Петровна уже приглашала к столу. Она видела его сокрушённое состояние — но деликатно ничего не спросила, не коснулась. Приглашала к столу.

А на столе — заливная осетрина. Огурцы золотые со смородинным духом. Грибки маринованные разных сортов. Расстегай стерляжий розовый.

К ужину не идёт, а не хочет ли Георгий Михайлович и снетковой ухи? Есть, хороша.

И вот когда ощутил Воротынцев, какой он голодный, да весь день ничего не ел. А что, и ухи! Ну, и старки рюмку, мол, вы из боёв. Ещё рюмку. Хозяйка пригубила тоже.

И всё он стал одно за другим есть, оживая. А Калиса — непринуждённо, но и не поспешно, журчала о московской жизни, не присиливая его к отзыву. Уж не знала, как ему и польготить.

По этой старомодной столовой, и по угощению, и по глухой здешней тишине, — не доносилось ни звука с городской улицы, — как не было этой трёхлетней войны, и всеобщего упадка, стоял нерушимый замоскворецкий быт, и будет стоять ещё тысячу лет.

Отдохнуть, да. Смотрел в её синие полносочные глаза, с приемлющей добротой. Освежел.

Да вот что. Этой чужой доброй женщине он почему-то вполне мог и рассказать, как ему сложилось тяжело.

Но смотрел больше, больше, на её полные плечи в синем бархате, на белую шею с монистом из гранёных прозрачных медовых камней, — и вдруг сказал, не отрывая глаз от глаз, через угол стола, как они сидели:

— Калиса Петровна, а вы знаете, зачем я пришёл?

Смотрела простодушно.

А он, волнуясь, и вспоминая прежнее волнение:

— По пирог с вязигой.

— Ой, — всплеснула ладонями. — Нету сегодня, не догадалась.

А он смотрел, углубляясь в беззащитные, мягкие глаза. Она покраснела, отвела лицо:

— Ой, какой вы незабывчивый…

Он встал, шагнул — и десятью пальцами взял её выше локтей, за оба мякотных предплечья. Пальцы вошли — и оторвать нельзя.

И сказал, сверху вниз, глухо:

— Калиса, голубушка. Я ведь у вас останусь сегодня.

Она опустила, опустила голову, открывая ему затылок и густой накрут золотисто-тёмных волос.

И выдохнула:

— Ах, грех какой, Георгий Михалыч: ведь оба раза — на посту, на третьей неделе…

127

Этот Шляпников, хотя и писал иногда по несколько абзацев, но не был, конечно, никакой литератор. Уровень его был примитивный, из-за деревьев своей партийной техники он совершенно не видел леса революционной политики. Вот уж, наверное, приводил в отчаяние своих лидеров в Швейцарии.

Но приходится работать с тем людским материалом, какой есть. Так или иначе, а сейчас в Петрограде был единственный член большевицкого ЦК — Шляпников, и приходилось искать понимания с ним, особенно при таком горячем повороте дел.

Да Гиммер уже несколько раз искал случая хорошо объясниться с ним, но тот избегал, просто знал за собой неспособность к теоретической беседе. Однако откладывать было, вот, невозможно, использовать надо эту случайную встречу. И чтобы добиться координации действий с большевиками, Гиммер всю дорогу от квартиры Горького до Таврического добросовестно разъяснял Шляпникову создавшуюся конъюнктуру.

Впрочем, условия для разъяснений были неблагоприятны: они всю дорогу шли почти бегом, стараясь поскорей миновать опасные места. Сперва — мимо Петропавловки.

Толковал ему Гиммер: на первых порах власть и должна стать буржуазной, потому что без подготовки пролетариат не способен создать государственную власть. Для изолированной революцион-

ной демократии, да ещё в условиях войны, непосильна техника государственной работы.

Совсем стемнело, возможны всякие эксцессы. Шли и подбегали. Троицкий мост был свободен, всех пропускали, но довольно пустынен.

Опасность именно в том, чтобы буржуазия не отказалась от власти. Если она откажется — она одним своим нейтралитетом погубит революцию. Буржуазию надо именно *заставить* взять власть даже помимо её воли. Конечно, отдавая себе отчёт, что создание Временного Комитета Думы это вовсе не солидарность думско-буржуазных верховодов с атакующим народом, но попытка спасти династию и плутократическую диктатуру. Они хотели бы вести линию борьбы с революцией, но мы должны их втравлять во власть — и так заставить служить на мельницу революции.

Быстро проносились, и всё навстречу, автомобили — легковые и грузовые, во всех вооружённые люди с криками. Шляпников несколько раз кидался останавливать их, один раз остановил, догнал и что-то говорил.

— Что вы им говорили?

— Чтоб они ехали занять охранку.

— Ах, слушайте, это всё хорошо, но мы не можем так задерживаться. Нам, наоборот, надо бы подловить автомобиль да подъехать скорей в Таврический.

Бежали дальше, к концу моста.

Возложить на буржуазию и все задачи ведения войны — а зато нашу позицию это сделает значительно свободней. Вплоть даже до того, что как-то временно — ну, пригасить, что ли, антивоенные лозунги?..

Самое опасное место конъюнктуры — Шляпников промолчал. И то хорошо. Ну, правда, и бежали.

Повернули налево по набережной. То и дело раздавались близкие непонятные ружейные выстрелы: кто стрелял? зачем? куда? где пролетают пули? — ничего не разобрать. Так и вонзится, где не ждёшь.

Мимо Летнего сада добежали до Фонтанки и решили с набережной свернуть, чтоб миновать Литейный мост, так спокойнее пробраться.

Шляпников оказался, конечно, со всем подряд не согласен — да наверно на всякий случай, не могло быть у него собственного понимания, но по крайней мере составилось у Гиммера впечатление, что у большевиков нет решения разнуздывать стихию. Во всяком случае, нет у них ни готовых лозунгов, ни готового плана.

Тем лучше, передовые внефракционные социалисты сумеют их опередить и направить ход событий.

Бежали мимо кирпичной стены Орудийного завода, прямо на пожар Окружного суда. В его пламенном свете на Сергиевской стояло несколько пушек, но все дулами в разные стороны и без прислуги, так что не получалось боевого впечатления. Стояли и снарядные ящики, к ним свален экипаж, две бочки, отломанная стенка какой-то будки, несколько досок, набросано мебели и хламу — всё наподобие баррикады, но защитников у баррикады не было. А стоявшие там и сям на перекрестке группы солдат — никак к ней не относились.

Пожарники тщетно боролись с огнём. Толпились любопытные, но никто не помогал. Кое-где уже обрушились стены, держались арочные окна. Мостовая широко вокруг была в лужах от потаявшего снега.

Пересекли перекресток — и помчались дальше по Сергиевской. Непонятные выстрелы продолжались и здесь, но ни одна пуля не зацепила.

А дальше большое оживление, чем ближе к дворцу. На тротуарах и на мостовой толклась смешанная толпа штатских и разрозненных солдат, много молодёжи, но пройти было можно. Митингов среди толпы не было.

У самого дворца, перед сквером и в сквере, стояли, заводились, фырчали, останавливались и трогали автомобили всяких видов и типов, в одни впрыгивали вооружённые люди, с других спрыгивали, и почти в каждом были женщины. Всюду мелькали, торчали штыки винтовок. На один автомобиль грузились какие-то ящики, а с другого, наоборот, сгружались съестные припасы. Царил страшнейший безпорядок и крик, и почти все приказывали, и никто не повиновался. Вступить в разговор ни с одним автомобилем было невозможно.

Ну ладно, хорошо хоть целыми добрались. Теперь внутрь? Не так просто — стоит караул, а пропуском распоряжается какой-то гражданский цербер.

Но оказался — знакомый левый журналист, узнал Гиммера — и впустил их.

128

Всегда считалось достаточным освещение и на Шпалерной, и перед фасадом распластанного Таврического дворца с широко раскинутыми одноэтажными крыльями. Но не для таких событий, как сегодня! Фонари на Шпалерной казались редкими, улица не ярка, а сквер перед дворцом для такого столпления даже полутёмен, хотя горели фонари на колончатом крыльце и были освещены все окна. А над двухэтажной серединой дворцового тела светился, как мреющая голова, отдельно возвышенный среди темноты загадочно тусклый матовый купол. И впечатление было — притемнённости, скрытости, тайны: что здесь творится сокровенное. И хотелось туда проникнуть.

Ещё по контрасту напоминали о яркости необычные для города багровые зарева с разных направлений, хотя и заслонённые скученностью каменных кварталов. Близко, за Таврическим садом, горело на Тверской жандармское губернское управление. Недалеко же, но противоположно, Окружной суд. А между ними в третьей стороне и подальше — Александро-Невская часть.

А в сквере перед Таврическим всё сгущалось и накоплялось публики самой разношерстной. Много солдат, или группами, друг друга знающие, или разрозненные, — странный непристроенный сброд именно тех существ, которые никогда не пребывают без строя и команды. И первые уже матросы из экипажей. И всё больше молодёжи — студентов и курсисток, молодых рабочих и работниц, и даже гимназистов. (Уличных подростков не было, потому что у дворца не стрелялось.) Всё подъезжали и спирались без дела автомобили, легковые и грузовые.

И многие напирали, стараясь проникнуть в главные двери, а наружный караул оттеснял и окрикивал. В этой толпе напирающих штатских попадались и солидные мужчины, иногда в дорогих шубах, они устно доказывали проверяющим, почему им надо войти, а кто совал и документы.

И некоторое время строго проверяли, ходили осведомляться в комендантскую комнату, приносили разрешение на впуск. Потом толпа напирала сильней, отталкивала часовых — и вламывалась, кто успевал. Потом часовые брали верх, занимали прежние места, и снова начинался строгий контроль входа.

А внутри — и тепло, и в залах — уже света доподлинно на народный праздник. И так необъятны были внутренние помещения дворца, что и все эти волны прорвавшихся вместе с допущенными растекались, дробились, поглощались, и хотя во дворце становилось людно, а никак не толпяно. Но в два часа была утеряна вся чинность и парадность дворца, как могли оценить только члены Думы.

Почти они одни только и были без верхней одежды, сдав её ещё утром, как всегда, швейцарам. Так и ходили в сюртуках, сверкающих манишках, среди посторонних набравшихся — шубяных, пальтовых, шинельных, бушлатных, картузных, папашных. Да членов Думы уже и недосчитывалось многих, и оставшиеся тончали до затерянной примеси уже не привычных хозяев этого дворца, прекрасности и простора которого они не ценили прежде. И не показывались лидеры, чтобы властно распорядиться. И поисчезали служители Думы и приставы. Во дворце не стало никакого хозяина.

А ворвавшиеся — чаще не знали, что делать дальше: бродили в сапогах (оставляя снег и грязь на паркете, так что и поскользнёшься) и рассматривали залы. Праздные солдаты собирались ещё робкими кучками, негромко толковали. Но потом смелели, глядя на снующих, торопящихся образованных господ и студентов, начинали и сами сновать-рыскать, в конце одного коридора обнаружили буфет — и стали там потчеваться, не спросясь и не платя. Дознались новые солдаты — и буфет опустел вмиг, рестораторы не смели им препятствовать.

Екатерининский зал был с иную городскую площадь, и одни группы никак не мешали другим. Кто сновал по делу с важностью, кто изнывал от неопределённости, кто ждал чего-то терпеливо, нетерпеливо. А молодёжь собиралась своими кучками. Кто-то взлез на стул и начал малый митинг.

А в Купольном зале появился длинный стол, и за ним несколько человек сели, а другие стали к ним толпиться, наклоняться. Там выписывались какие-то пропуска и кому-то что-то разрешали, а кого-то куда-то посылали.

Через двери вестибюля всё чаще вводили арестованных — в полицейских мундирах, но больше штатском, разных возрастов и видов. Их сопровождали со штыками наперевес, с поднятыми револьверами, с обнажёнными саблями или кортиками — рабочие, солдаты, матросы, обыватели. Народ в вестибюле, залах и коридорах смотрел на этих арестованных с жадным любопытством:

именно то и притягивало и вызывало злорадство, что не полиция схватила, а её схватили, или других каких-то злодеев, прежде недоступных! Глазели на них во все глаза.

Уже знали, куда таких вести — в комнату финансовой комиссии. Там под председательством лихого, пронзительного Караулова заседали несколько членов — Аджемов, Пападжанов, Мансырев. В присутствии приведшего конвоя они снимали с приведенных поспешный допрос — и тут же вынуждены были выносить и выносили мгновенное и окончательное распоряжение о судьбе арестованного: отпустить ли его или заключить под стражу. Куда отводить арестованных, уже тоже было избрано: комнаты на втором этаже близ хор. (В министерский павильон Керенский такой мелочи не принимал.)

Приведшие всегда были с оружием — одни они с оружием тут, и горели огнём лихорадочной справедливости, и гордились, что это они догадались, схватили и привели. Из-под таких штыков и револьверов отпустить — было почти невозможно. Хотя схвачены были люди всего лишь за то, что этим вооружённым не понравился их вид, или за неугодно сказанное слово, или не пускали к себе в квартиру на обыск, — благоразумнее было пока арестовать, в расчёте отпустить завтра, а конвоиров благодарить и хвалить за то, что они трудятся для закрепления революции.

Ещё в начале этого вечера члены законодательной палаты были поражены произвольным арестом Щегловитова. Но прошло несколько часов — и вот уже думцы как будто примирились, освоились, и вот взяли на себя тоже суд и ряд, не имея на то никаких законных полномочий, попирая их вослед за Керенским. Он всех их увлёк на самозаконство.

Позже вечером с большим шумом вошёл в Купольный зал крупный конвой, приведший сразу человек тридцать — в форме жандармских офицеров, в полицейской форме и штатских. Командовал конвоем седой старик на костылях, натянувший форму поручика — вероятно старую свою, долголежалую. Посередине Купольного зала он громко возвестил, что просит доложить о себе — *руководителю революции депутату Керенскому.*

И хотя Керенского тут не было и близко — по такому вызову, откуда ни возьмись, он появился!

В Керенском быстро открывалась — да всегда в нём жила! — манера эффектно и благородно держаться перед революционной массой. Вот он подходил — не медленно (чтоб это не выглядело

чванно) и не быстро (чтоб не угодливо). Он остановился перед стариком с горделивой выпрямленной осанкой — но и с большим вниманием, чуть приклоня голову.

Инвалид, сколько мог на костылях, пытался стать во фронт и приложить руку к козырьку. Отчётливо отрапортовал, давая неистовую пищу первым революционным газетам:

— Имею честь доложить, что мною схвачены, обезоружены и приведены тридцать *врагов народа*! Головы их — отдаю в ваше распоряжение, господин депутат!

И Керенский ответил звонко, с пониманием и одобрением, как будто только и ждал этого рапорта и этого инвалида:

— Благодарю вас, поручик! И рассчитываю на вас и впредь.

Он — не спросил, кто такие, за что взяты, при каких обстоятельствах. И не отправил их в уже известную ему комиссию для допроса. Но выше всего блюдя свою осанку и неповторимость момента, тоном революционного омерзения негромко скомандовал, неизвестно кому, кто подхватит:

— Уведите их.

И удалился с важностью, не быстрой и не медленной.

Конвой перетаптывался. Поручик задумался: они как будто уже довели, что же теперь?

И тогда через конвой кто-то от натянувшейся толпы кинулся стукнуть врагов народа кулаками.

Другие — прикладами. В кровь.

Вступил избивать и конвой.

Враги не смели защищаться. Одни кричали о пощаде, кто упал под ударами.

Затем отвели их в арестные комнаты, на хоры.

129

А на Охте днём получилось затишье. На Большом проспекте Охты, где все дни народ густился, — теперь почти никого и не было. По льду тут напрямик не пойдёшь. Мост перегорожен. В городе стреляют, в городе кипит, вон и пожары взялись, а что там — никто не знает.

И кто к тому делу поерзливей — повалила братва большим крюком по Полюстровской набережной да на Выборгскую. А остал-

ся на Охте народ покойный и сидел больше по домам, коли уж забастовка.

Но и — городовых на постах не было, ни патрулей. Они собрались по своим участкам — и сидели, и только из окон выглядывали, фараонские рожи.

И всё стреляли, стреляли в городе — а на Охте спокойно.

И день кончился.

А к вечеру подвалили молодые охтенцы назад, да кто Арсенал погромил — те и с винтовками.

И там-сям собирались: да что ж мы у себя-то фараонов не выведем? Ведь их везде покончали, к ним помощь уж никая не приспеет.

Стоит на Охте 1-й пехотный полк — не восстаёт. Посылали к ним наших мальцов — отвечали: «На кой нам ляд?» Вот уж кислая шерсть.

Ещё посылали, солдатам сказать: уже весь питерский гарнизон поднялся, чего ждёте?

Наконец, кажись, и восстали, уж, кажись, почали и забор ломать — а по улицам всё нейдут, ни к нам на помощь.

Ну, не ждать! На полицейский участок повалили сами, гурьбой, фонари разбивая. (Как зазвенит да как потухнет — лихо на сердце!)

На углу Георгиевской и Большого подвалили к участку — а те окна раскрыли да и пальнули.

Ат-вал!

Но никого не поранили. (Может, в воздух били.)

Завалили подальше, в боковые улицы, стали ждать.

Стали ждать — 1-й полк пришлёт грузовик с солдатами.

Не шлёт.

А в городе всё — стреляют, стреляют. И зарева — ярко видны по темноте. От зарев — так и разбирает душу: эх, развернуться! да чем же мы хуже! Там, на Питерской стороне, ребята себе волю добудут — а мы так останемся?

Да что робеем, ребята? Да соберёмся! Да все сразу?

Именно сразу, а то ежели мы попрём, а с заугла не повалят?

Послать сказать: по свисту — и все разом!

Свист! — ят-те-дам! режет чище всякого выстрела! Свист — Соловья-Разбойника!

И — побежали со всех сторон! И — прихватили городовых — не успели те ни выстрела сделать, а уж вот мы, к стенам прилипли, окна побили им — камнями, лёдом, и двери высаживаем чем ни попадя.

И — внутрь толпой! А — чего толпа не сделает? Да у них-то сердце — давно в пятках, да куда им деться? Никуда не денетесь, ваши все далёко!

Не стреляли.

Схватывали их, одного по пятеро, тут же по морде били для началу, но — лишь для началу. А потом с руками извёрнутыми, выломанными — да вытаскивали их наружу, где простор для боя легче. Одни кричали, ругались, другие стонали, третьи просили.

Нет уж, у нас теперь не упросишься! Нет уж, дорвались! Много вы над нами поцарствовали, а теперь мы над вами!

— Братики!.. Ради Бога!.. Дети остаются…

Бей, кромсай их в мясо, не слушай! Ишь ты, дети! Добивай чем схватил — палками, прикладами, штыками, камнями, сапогами в ухо, головы в мостовую, кости ломай, топчи их, да втаптывай, да поплясывай!

Ещё от кого последнее:

— Бра-атики…

А как нас хватали — тогда не братики были? Эй, кто своих добил, дохрипел — иди нам помогай, доплясывать!

А бумаги ихние — на улицу вышвыривай!

Да почто? — поджигай да вместе со стенами!

Эх, вот когда наша жизнь начнётся — только теперь!

Не хотим боле с полицией жить — хотим жить по полной слободе!

130

Итак, дом графа Мусина-Пушкина на Литейном был заперт на крепкие свои дубовые двери, а в нём — набившиеся семёновцы, преображенцы и кексгольмцы, кто успел вбежать, и раненые, кого успели подобрать и внести.

А кто остался снаружи — теперь на перелицовку перед толпой, под мятежников.

Если за день перебывало под командой Кутепова две тысячи, то вот раненых набралось человек шестьдесят.

Управляющий и врачи лазарета просили полковника хотя бы всех здоровых солдат вывести из дому.

Да, приходилось.

И собрать, построить их на прощанье было негде — такого помещения или даже коридора. Полковник собрал их на лестнице, сам стоя на средней площадке, у изгиба черно-лакированных перил, и говорил то вниз, то вверх, не видя их всех сразу.

Не так многих он успел запомнить в лицо, а уже кой-кого и запомнил. Были у него на фронте сотни преображенцев, с которыми он прошёл все поля смерти, а эти — случайные полусолдаты, ещё не готовые к войне, почему-то ни одного выздоравливающего знакомого, и сам он здесь случайно, и бой у них был суматошный, раздёрганный, почти и на бой не похожий, — но вдруг проняло Александра Павловича, что перед этим сегодняшним боем может быть не стоили все его предыдущие, и будет он его вспоминать всю жизнь. А — проиграл.

И звучно сказал набитой плечами лестнице:

— Солдаты! От имени Государя императора… и от имени России… я благодарю вас за вашу честность и стойкость сегодня. Я — всех наградил бы вас Георгиями… но не имею возможности даже представить… Враг делает лютое дело: наносит нам удар в спину в середине Великой войны. Я вынужден всех вас сейчас распустить. Пойдёте по улицам, вернётесь в казармы, не можете сопротивляться — хотя б не помогайте врагу!.. Сейчас — все винтовки, все патроны отнесите, сложите на чердак. Потом сами разделитесь на небольшие группы, со своими унтер-офицерами — и идите. И благослови вас Бог!

Тепло-неразборчиво замурчала лестница, как не отвечают никогда солдаты. Да ведь они ж и не настоящие солдаты были. Да ведь они ж и не в строю.

Всё остальное произошло без Кутепова — его позвали к прапорщику Эссену 4-му.

Молоденький, он умирал. И, вцепясь в руку полковника, просил удостоверить его родных и его полк, что в первом испытании он вёл себя достойно и не посрамил безсмертного Семёновского полка.

Кутепов встречно сжал его руку. Записал адрес. Погладил по потному бледному лбу.

А другие раненые все замерли, слушали. Они были все здесь давние, лежалые, некоторые по три месяца как с фронта.

Тогда Кутепов пошёл разыскивать, где положили прапорщика Соловьёва. Его уже отсоборовали. В нём не осталось живости, как в Эссене, он лежал на спине, вытянутый, неподвижный. Но полуоткрытые глаза ещё выражали сознание, а на губах улыбка — ещё до Кутепова и при нём, совсем лёгкая молодая улыбка. Только застывающая.

А снаружи кипела возмущённая толпа, кто ещё не рассеялся и помнил, что враги заходили в этот дом. И кричали угрозы полковнику, кулаки поднимали и винтовки.

Если б на доме не было большого полотнища Красного Креста, уже давно стреляли бы и в окна и в двери.

Чета хозяев, опасаясь за свой дом, но не высказывая этого, несколько раз предложила полковнику, уговаривала полковника переодеться в штатское и так уйти.

У Кутепова, если присмотреться, было своеобразное и постоянное выражение лица — как будто он хотел осклабиться, но остановил движение черт и ярких губ между чёрными жёсткими усами и бородой. И эта остановка черт и густые глаза выражали как бы печаль, укоризну — или удивление? или обречённость?

А ранен он был, считая с Японской, уже пять раз.

Кутепов взял их обоих за руки, как умирающего Эссена:

— Господа, не склоняйте меня к недостойному маскараду. Я ещё никогда не стыдился русской военной формы. Как только будет возможность — я оставлю ваш дом.

Двух унтеров из ещё оставшихся он послал разведать снаружи всю обстановку и нет ли какого не стерегомого выхода.

Через полчаса один вернулся и доложил, что у всех возможных выходов стоят команды вооружённых рабочих и особо ждут именно полковника, все и фамилию уже знают — Кутепов.

Что ж, отпустил и этого унтера, остался вовсе один. В отведенной маленькой комнатке часто тушил свет и подолгу наблюдал, что делается на Литейном с его сквозным шумным движением, уже и автомобильным.

Поздно вечером пробрался в дом преображенский ефрейтор, хорошо известный полковнику, и принёс от своего фельдфебеля узел с солдатским обмундированием. Уверял, что сейчас не сторожат так пристально и в солдатском можно выйти.

Александр Павлович поколебался: своё же, преображенское.

А потом: нет! всё равно маскарад противный.

Услал его.

131

Действия Балтийского флота в зимние месяцы были стеснены ледовыми пространствами, дредноуты и линейные корабли на зимней стоянке пришвартованы в Гельсингфорсской гавани, на мёртвом якоре, лишь миноносцы ходили далеко в море, охраняя подступы. Но из-за льда и противник не мог нагрянуть сюда. Так и на рейде в Гельсингфорсе шла только вахтенная служба на судах, обычный ровный распорядок, да с несколькими учебными часами в день, — наильготное время для матросов. И для офицеров если когда и выпадает время беседовать, читать и думать — так вот теперь.

И капитаны 1-го ранга князь Михаил Черкасский, Иван Ренгартен и капитан 2-го ранга Фёдор Довконт на «Кречете», штабном судне Командующего, этой зимой установили между собой регулярные собеседования на политические темы. Они были почти полные единомышленники, морские «младотурки». Они любили свой флот и себя в этом флоте как людей, могущих со властью направить его к славе, — умных, отзывчивых на события, с твёрдыми решениями, лёгкими движениями. Но выше всего они ставили — что́ надо для России. И если бы кто-то знал и верно сказал любому из них в любую минуту, что его смерть нужна для спасения России, — каждый из них был готов в ту же минуту и умереть.

Как светлая любимая боль это вырастает в душе от юности вместе с нами: Россия! Безпредельная страна, великий душевный народ — и слезами омытый, и ограбленный, и во тьме, в невежестве, и почти всегда в руках недостойных правителей. С молоком всосанный долг — отдать народу всё, в чём мы его лишили несправедливо. Сокровенный, завещанный порыв: декабристы! Герцен! И вереница народных страдателей, просветителей и самоотверженных бунтарей. Сколько сделано для народной свободы! — и неужели всё зря? Святую освободительную традицию минувшего века каждый из них троих горячо любил, и был в долге и чувствовал себя в силе — продолжать!

А по службе они сошлись и возвысились в окружении Командующего Балтийским флотом: Миша Черкасский был теперь флаг-капитан по оперативной части, Ваня Ренгартен — начальник разведки. И недавним назначением молодого вице-адмирала Непенина в должность Командующего — значение их постов и обещание

их возможностей ещё более возросло. Хотя *Адриан* — как звали они адмирала между собой — и не был так последовательно развит в традиции Освобождения, но кого из образованных русских людей она не осенила своими крылами? У Адриана же натура была — нетерпеливо-прямая и честная, он благородно отзывался на всё благородное. И так они трое с постоянной радостью знали, что и адмирал думает сходно с ними. И с тем большей смелостью и успехом открыто высказывали ему свои мнения, стараясь ещё тесней объединиться.

На своих тройственных тайных беседах, однако с протоколами, они обсуждали этой весной общие вопросы возможной программы Великой России. И конечно, с подробностью вопрос о проливах, который вовсе не есть имперское стремление, но жизненная необходимость, — и для взятия нами проливов впервые за два-три века создалась благоприятная обстановка. А больше всего — нынешнее внутриполитическое положение и как вывести Россию из него.

Вся эта нескончаемая распутинщина-штюрмеровщина-протопоповщина, может быть государственная измена, сношения с неприятелем, — как вырвать родину из этого грязного месива? Из возможных решений напрашивался самый радикальный и верный путь — устранение Полковника (Николая II), а тем самым устранится и вся клика. Сидя на кораблях, они не могли бы участвовать в этом непосредственно, но могли подавать идеи, связываться, влиять своею позицией. Таково решение было — не их одних, однако всё не приходило ни к какому акту, где-то запутывалось в избытке сочувствующих и в недостатке реальных заговорщиков.

А вот последние дни, и особенно сегодня, хлынули события в Петрограде — терпеть больше невозможно!

Для связи вызвали маскированной юзограммой своего доверенного старшего лейтенанта Костю Житкова. А сами с 6 часов вечера заседали в каюте флаг-капитана. И Миша Черкасский изложил схему действий, как она у него построилась.

Об исторических событиях легко читать как о готовых. Но когда они происходят — совсем не легко выработать простейший план действий. Вот — события приняли грозный оборот, и момент даже уже пропускается. Ясно, что Дума, да и все общественные деятели — вялы, мягкотелы и не сумеют использовать возникшей обстановки. Необходимо дать им импульс извне, побудить занять активную роль. Никто из троих не может покинуть своего поста на корабле, но

Костя Житков поедет к одному-двум общественным деятелям, убедит их устроить частное совещание и на нём ответственно доложит настроение авторитетных кругов флота. Этим деятелям не миновать избрать из себя видных лиц, послать успокоить фронтовых начальников, чтоб не вмешивались: задача только, чтоб они не вмешивались, чтобы армия осталась нейтральной, — а зато вот обезпечена поддержка Балтийского флота, это ли не опора восставшей столице?! Внушить общественным деятелям действовать быстро: ничьего согласия не спрашивая, избрать правительство, ответственное перед Законодательным корпусом. И всё происшедшее просто довести до сведения Полковника: что назначенное им правительство более не существует. Вся высшая камарилья должна быть при этом так же игнорирована и устранена от власти. И — вековая мечта сбылась! И Россия — на новом пути!

План был прекрасен! — если заручиться твёрдой поддержкой Непенина. Но зная его свободолюбивое нетерпимое отношение к камарилье — очевидно, так и будет. Да князь Черкасский — и сам вёл штаб флота.

А флагманы просто подчинятся приказам Командующего. Других же офицеров, кто может оказать вред распространению идеи, постараться обезвредить, а кого можно — перевлечь на нашу сторону. И флот — весь наш!

Так они сидели в запертой каюте с двумя иллюминаторами, и хотя не видели ревущего Петрограда — а испытывали на себе треволнующее касание русской истории.

В другой форме, в других одеждах, в другой век — они безтрепетно повторяли неудавшийся подвиг декабристов.

132

И пошло, и пошло! Везде Каюров побывал. И к самокатчикам ходил, там солдаты цепью. Спросил солдат: «Что же вы стоите, товарищи? Почему не присоединяетесь?» Солдаты нехорошо улыбались, а офицеры грубо предлагали проходить дальше. «Да где ж пройти, когда вы проспект перегородили?»

И к московским казармам несколько раз бегал. Взяли их наконец, залила наша толпа весь двор — и много оружия к нам перешло, да многие солдаты охотно отдавали, а сами — на нары.

И Васька Каюров и Пашка Чугурин теперь имели по винтовке и по патронной ленте через плечо. С оружием ходишь, хотя стрелять не умеешь — а совсем другая сила в тебе, и ноги куда легче ходят.

Ещё ходили, штурмовали и подожгли два полицейских участка, городовиков уложили несколько, остальных избили, арестовали — и в их же кутузку.

День катился — как великий разлив неожиданной революции. Потом и солнышко нет-нет проглядывало. Ходили-бродили массы, поздравляли друг друга, кой-где несознательно лавки грабили: на радостях хотелось людям хорошо закусить, а особенно — спирту достать, но это надо поискать, измыслить, казённые винные лавки уже три года не в заведеньи.

Плясало общее ликование восставшей массы, и только редкие выстрелы ещё где-то засевших защитников режима да непонятное упрямство самокатчиков портили настроение.

А тут принесли готовый шляпниковский листок: «Продолжать всеобщую стачку!». Смехота!

А стал Вася Каюров так соображать, поскваживало у него в голове: что теперь ежели революция победит, то умных-проворных много найдётся, все полезут за властью. А нужно нам, большевикам, пока другие партии не расчухались, — всех и перепередить.

Но — что ж бы такое сделать? Как-то надо во весь голос, как в рупор, да крикнуть — всему рабочему классу, да всему солдатству. Не листок, нет, тут надобно, тут надобно…

Так это стало Каюрова распирать, что пошёл искать товарищей, советоваться.

Велика Выборгская сторона, но кто на ней освоен — тот как в большом дворе, всё знает и всех. Все разошлись-разбрелись, однако стал Каюров толпу прорезывать — и нашёл Хахарева. А Шляпникова никто нигде не находил — куда подевался?

И пошли опять на квартиру совещаться.

— Надо нам, братцы, — придумывал Каюров. — В таких случаях царь — Манифест пишет. И нам надо катнуть — Манифест! От большевиков.

Объяснить, что именно мы теперь поведём их всех дальше. А то ведь у нас перехватят.

Так-то так, пожелать — дело ретивое, а вот подит-ка составь, напиши. Разве мы у́чены?

И модельная работа — хитрая, но знал Каюров: писать — ещё хитрей.

— Эх, как умели в Сормове у нас, помню, в Девятьсот Четвёртом: «Пусть расстреливают нас — и пусть новорожденный царевич купается в нашей крови!» Вот так бы нам, что-нить…

— И Пётр Заломов умел! — вспоминали сормовские земляки.

Сел Хахарев карандашом выводить, а Каюров по комнате ходил — и так складывали.

Но всё приходило в голову прежнее: как подавляется рабочее сознание, как угнетают нас, да как обворовывают. Ну, там — царская шайка, революционный пролетариат, восьмичасовой день, конечно. Конфискация монастырских земель.

Нет, поновей: красное знамя восстания! разрушим царство холопов!

Нет, до чего-то главного недодували.

— Ну, пошли к Митьке Павлову посоветуемся, он пограмотней. А может и Гаврилыч там.

Пошли. Уже темнело.

Митька Павлов тоже был свой, сормовский, и даже когда в Девятьсот Втором Пётр Заломов понёс «Долой самодержавие», — то, чтоб людям было сподручней читать, — Митька шёл рядом и край знамени оттягивал. Потом — на завод не брали, в обществе потребителей так же перебивался, как и Каюров, а на квартире у него готовили взрывчатую массу для бомб. Но после восстания сразу в Петербург уехал и тут уже принялся как свой давнишний, 10 лет, женился, и пошёл аэропланы строить. А его квартира на Сердобольской так стоит — среди пустырей и сараев, филёрам трудно следить. Тут — и явка, и квартира БЦК, и в шахматном столике тайно прячутся бумаги.

Пришли — а в сенях у него сохнет: «Долой самодержавие», «Да здравствует революция», — маляр по кумачу расписал.

А ещё на квартире сидел Молотов мясомордый, из БЦК. Так-таки целый день тут просидел, и только от приходящих узнавал, где что в городе делается. Каюров порассказал, тому не верилось.

Каюров свой Манифест Митьке Павлову дал читать.

Митька добавил:

— Вперёд! Возврата нет! Безпощадная борьба!

А Молотов, маменькин сынок:

— А что такое? что?

Бумагу себе забрал, почитал, руки потирает, как ожегшись:

— А не преждевременно ли, товарищ Каюров?

Обидно стало Каюрову:

— Да нет же! Да не преждевременно! А где Гаврилыч?

Шляпников — тут был полдня, ушёл.

— Не преждевременно! Так всё пропустим! Минуты горят!

А Молотов карандашик достал, ручки потирает — и вычёркивать, и вычёркивать.

133

Это сползло как-то незаметно, обернулось совсем неожиданно: с утра в распоряжении генерала Хабалова был весь город Петроград, и все окрестности его, и вся губерния. Затем в течении дня не происходило никаких боёв, кроме неких действий полковника Кутепова на Литейном, о которых так и не прояснилось, и небольшой перестрелки в лейб-гвардии Московском батальоне. И вдруг к концу дня у Хабалова не стало ни губернии, ни окрестностей, ни города, а всего-то мог он ручаться за узкую полоску между Невой и Мойкой — Адмиралтейский остров, да ещё была в стороне, неизвестно что с ней делать, Петропавловская крепость.

Целый день сносились, сносились с разными воинскими частями, в разных частях города. Почти все батальоны оставались верны, только не решались выслать резервы и караулы, — и вся эта верность, и все эти батальоны незаметно как утекли между пальцами — и осталась, вот, полоска между Невой и Мойкой. А обо всём вне этой полосы — поступали только отрывочные сведения, и представить картину было очень трудно.

Да ещё кроме тех всех частей в городе размещались военные училища: два пехотных, Павловское и Владимирское, одно кавалерийское, Николаевское, два артиллерийских, Михайловское и Константиновское, одно инженерное, да школа шофёров, да корпуса — Морской, Пажеский, два кадетских, — это составляло больше двух тысяч штыков, 200 сабель, 16 орудий и 8 бронемашин. И Хабалову несколько раз за день напоминали об училищах, побуждая вызвать их к действиям и уверяя, что юноши рвутся на подавление бунта. Но как-то ему не хотелось, нет. Ведь верных батальонов и без того было полно, и в плане охраны города — не стояло привлекать училища, ничего не упоминалось. И — как потом

в обществе будут упрекать за вовлечение молодых людей в политику и междуусобицу!

И за весь день Хабалов не вызвал ни одного училища. Пусть учатся. И школы прапорщиков из окрестностей тоже не управился вызвать ни одной.

Подкрепления и так, сами, приходили время от времени. Около 5 часов пополудни, уже к закату солнца, вдруг прибыла из Павловска вызванная ещё утром гвардейская запасная батарея из 8 орудий, в полном порядке, с 52 боевыми снарядами. Командир её, полковник Потехин, хотя и ходил с костылём, но был весьма проворен, и, видимо, его очень слушались.

Неплохо, это хорошая сила. Но — куда ж её в городе применять? Не бросать же снарядами по зданиям.

Да у Хабалова и другие резервы собирались при градоначальстве во второй половине дня: один эскадрон, жандармский дивизион, конная и пешая полиция. А ещё большие силы у него стягивались на Дворцовой площади. Силы были, да, — но тем трудней задача, куда их двигать. А генерал Занкевич, полетевший туда орлом, вернулся совсем мокро-опущенным, что на преображенцев надеяться нельзя. Вот тебе раз.

Тут — разные были точки зрения, и они постепенно вырабатывались между руководительными генералами. (Ещё очень мешало и двоение с Занкевичем: кто же теперь кому подчинялся? кто вёл войска? — непонятно.) Тяжельников предложил так: вовсе покинуть центр города, где нет снабжения войскам, а пробиться на окраину или даже прочь за город. А оттуда потом концентрически наступать. И во всяком случае: чем больше шатких войск увести из города, тем меньше горючего материала останется в нём самом.

Может быть и так. Но куда же пробиваться? На Выборгскую сторону и дальше на Кушелевку за патронами и снарядами? Так там самая густота мятежников, будет большое кровопролитие, и не может своих патронов на то хватить. В Царское Село, чтобы соединиться с тамошним большим гарнизоном? И там удобно поджидать помощи от Действующей армии. Или укрепиться на Пулковских высотах? Но это значит — вовсе бросить город. А это не было предусмотрено планом охраны, не то поручено было Хабалову. И как же останется Петропавловская крепость?..

А можно — принять принцип прочной круговой обороны и защищать Адмиралтейский остров.

Принять решение было крайне нелегко, слишком необычно и слишком ответственно. И — головы уже помрачённые, тяжёлые, мысли у всех едва переступали.

А между тем шли часы, кончался и серел день, в который приказал Государь покончить безпорядки. Но это не удалось.

Кончался день, и стали поступать неутешительные сведения с Дворцовой площади. Матросы гвардейского экипажа постояли — и ушли, взятые назад великим князем Кириллом. Преображенские роты ушли ужинать — и не вернулись. Павловский батальон, размещённый в подвалах Зимнего дворца, в панике вырвался оттуда и ушёл в свои казармы. И пулемётная полурота куда-то подевалась. И кексгольмцы. И после этого какие были малые остатки — Занкевич благоразумно взял с площади вовсе, привёл в градоначальство.

Но надо признать, что за эти часы и командование мятежников тоже не предприняло никаких действий против правительственных войск. А по данным разведки — и нигде у них не было скопления, кроме Таврического дворца. К вечеру с улиц толпы постепенно рассасывались.

Так что оставшимися у Хабалова силами можно было промаршировать прямо и к Таврическому дворцу.

Но это тем более не было предусмотрено планом охраны. Как это? — нанести удар по Государственной Думе? Государственная Дума не может рассматриваться как противник или как мятежник. Против Государственной Думы никакие войска в Петрограде ни по какому плану не предназначались.

А с другой стороны: если и был какой-то противостоящий центр, то как будто именно Таврический дворец?

Странно. Неясно.

И обсуждали, и обсуждали генералы план охраны города. Да собственно, могли ли они быть уверены, что Адмиралтейский остров ещё весь в их руках? В темноте и при слабой разведке за этим не уследишь. Заведомо им принадлежали лишь несколько зданий: само градоначальство, Адмиралтейство, Зимний дворец. Условно (они его не контролировали) — здание Главного Штаба. Ещё — телефонная станция на Морской 24. Ещё — казармы лейб-гвардии Конного полка. На одном краю зоны — Мариинский дворец, но на его охрану почти не было сил. И как же правильно построить оборону на ночь? Всего этого не охранить. И если держать целую роту на телефонной станции (к удобству жителей, чтобы телефон не

прекращался), то невозможно иметь крепкую оборону ядра. А лучше всего — сосредоточиться в каком-нибудь одном здании и его оборонять.

Какое же избрать здание? Генерал Занкевич предложил Зимний дворец, как символ монархии. А генерал Хабалов, после размышлений, предпочёл Адмиралтейство: оно стоит совсем отдельно, окружено площадями, облегчающими оборону, и от него же открывается три направления к четырём вокзалам — Невский, Гороховая и Вознесенский, которые можно простреливать имеющимися пушками. И близко к градоначальству, не теряем и его.

Уже было темно, когда постановили: переходить всем в Адмиралтейство.

Перевести войска было нетрудно — совсем близко, и нет помех.

Сперва перетянулась артиллерия, объезжая сквер.

Перешла напрямик пехота.

Затем — пешие и конные городовые, жандармы.

Отряд переходил в дрёме и вялости, как и бездействовал целый день.

Трудней было градоначальнику Балку. Сперва он собрал всех своих чиновников, объявил, что занятия прекращаются, следует разойтись по домам. (Спрашивали, приходить ли на занятия завтра? Только если стрельба на улицах не помешает безопасно перемещаться.) С собою он брал лишь нескольких помощников. Градоначальство уже и переставало быть полицейским центром: хотя городские телефоны всё так же безотказно работали — с большинством полицейских участков связь уже прекратилась.

Уединиться было уже невозможно, и, не стесняясь посторонних, Балк стал сжигать секретную переписку из ящиков.

Смотрителям здания велел: после ухода всех — запереть градоначальство. И обо всех случаях телефоном доносить в Адмиралтейство.

Не оставалось времени и пообедать. Поехали так.

В городе далеко слышна была ружейная стрельба. Стояли зарева.

Автомобили с начальственными лицами должны были сделать крюк мимо Исаакиевского собора — а там, со стороны, примерно, Сената, стал работать пулемёт. Неизвестно откуда и в кого.

День — кончался. И не избежать Хабалову телеграфировать донесение в Ставку за этот день.

…Исполнить повеление Его Императорского Величества не мог… Большинство частей изменили своему долгу, отказываясь сражаться против мятежников. Другие даже обратили своё оружие против верных Его Величеству войск. К вечеру мятежники овладели большею частью столицы…

Практически это так. Не какие-нибудь мятежные части, но — наброд мятежников, повсюду. Весь город ими полон.

…Верными присяге остаются небольшие части, с коими буду продолжать борьбу…

134

В клинику Турнера никто не пытался врываться — и капитан Нелидов со своими злосчастными унтерами мог невозбранно пребывать там во дворе и в вестибюле, при запертой калитке.

Но стало ясно, что нет возможности прорваться с ними цельным отрядом в свои казармы, через бурлящие улицы, и с одной ногой.

А тем более закрыто было — вышагивать туда одному.

А батальонный телефон перестал отвечать.

Нелидов стал рассылать невооружённую разведку — по одному, по два. Из разведки представилась ему картина полного развала власти, вооружённые дикие толпы по всей Выборгской стороне и невозможность появиться офицеру.

И о самих казармах батальона узнал к вечеру, что они после перестрелки сдались и открыты толпе.

А тем временем фельдфебель поднёс капитану список всех присутствующих унтеров и ефрейторов.

Зачем?

А: они все просят запомнить их и подтвердить, что ни один не перешёл к мятежникам.

А его — легко отдали на убой. Осмотрительные ж унтеры! Нет, лучше было оставить их говеть.

Не предстояло боя никак. И держаться ли за клинику, и зачем? И как их тут кормить? Надо было их всех отпустить в казармы.

Но в захваченные бунтовщиками казармы Нелидов не хотел отдавать оружия. И он велел унтерам все винтовки разобрать и спрятать тут, в клинике. После чего отпустил их всех.

А сам — остался сидеть в привратницкой. Совсем он не знал, потерял — что же делать? Хоть был бы он подвижен, здоров, — но ведь и перемещаться он мог — еле, шагом.

Семьи, дома — не было у него в Петрограде. Да он только по ранению и оказался здесь — он сросся с полком, его место было — на фронте, кажется ещё не остывшее место, где все ожидали его возврата.

Знакомые, где можно переночевать, были — но по ту сторону Невского. А он даже до батальона не имел возможности дойти.

Но не себя Нелидов обдумывал — он мог хоть тут, в привратницкой, лечь на голую лавку и спать, если не пригласит больничное начальство, а не похоже, они от заставы сторонились. А пытался Нелидов понять эту сумасшедшую неразбериху: столица взбунтовалась во время войны? Да что столица — казаки были за бунтовщиков? Что ж это за невозможное происходит и чем кончится? Очевидно, не было другого выхода, как вызвать войска с фронта и давить. Но — сколько ж это прольётся крови? И какое пятно на Россию. И какой урон для фронта.

И сколько же крайностей и опасностей он прошёл за годы войны — и надо же влипнуть здесь! Досадно и ничтожно.

А ведь несколько их, боевых офицеров, подавали рапорт, чтоб им выдали броневые автомобили и научили обращаться, на всякий случай. Даже раненый офицер в броневом автомобиле — может стоить целой роты сброда.

Но рапорт заглох, но мысль не повязалась у начальства.

И сегодня так ясно было упущение!..

Вместо этого он учил солдат без винтовок, да должен был каждый день проштемпелевать цензурной ротной печатью по триста солдатских писем.

Удручённый Нелидов сидел у привратника — и вдруг вошёл рабочий — в чёрной куртке, в чёрной шапке. И одеждой и каким-то темноватым выглядом, который вырабатывается, может быть, на фабриках, — типичный рабочий, из тех самых, которые сегодня хватали Нелидова за руки и хотели убивать.

Нелидов подумал: ну вот! Ну вот, он сейчас и выдаст.

Высокий, худой, хотя пожилой, но крепкий, — а на бритом лице при больших усах была строгая серьёзность. Похож на *тех* — и не похож.

Рабочий поздоровался с капитаном, поклонясь. Привратнику он оказался знакомый, то ли родственник. Сел, разговаривал с ним, а сам посматривал на капитана. И сказал:

— Да, ваше высокоблагородие, на улицу вам нельзя. А что это вы с палочкой? На фронте повредились?

Нелидов ответил.

— На улицу вам никак нельзя, — покачал тот. — Эти бандиты вас сейчас расстреляют. А пойдёмте-ка у меня отдохнёте? Мы без улицы пройдём.

Его протабаченный голос и серьёзный тон вызывали доверие. Да ничего лучшего не оставалось. Пошли. Рабочий сдерживал шаг для больной ноги капитана.

Через заднюю дверь, тёмным двором, и ещё другим двором — и оказались перед домиком рабочего, с задней же стороны. Обыкновенный одноэтажный рабочий домик, в глубине ещё третьего двора, скудно освещённого.

А хозяйка была — широкая, сбитая баба с суровым лицом.

Предложили поесть — Нелидов не мог, еле стоял.

Отвели в маленькую узкую спаленку с одной узкой железной кроватью, комодом, крохотной керосиновой лампочкой и одним заставленным окном.

Двор-то был как ловушка, но хозяева вызывали полное доверие, хотя и поговорить с ними Нелидов почти не успел.

Он заметил, что руки его трясутся, как от новой контузии, а весь он в огне, внутреннем огне, кажется заболевал.

Но хозяевам не сказал. Разделся, лёг, как всегда перетаскивая руками атрофированную ногу.

Думал: так возбуждён, не уснёт. И заснул сразу.

135

После своего подвига против гренадеров Пешехонов вернулся домой. Здесь уже ждало его несколько знакомых, все с Петербургской стороны.

Сели, конечно, пить чай — какой же русский разговор без чая, тут вернулась и жена Пешехонова от визита к больным. В их обычной столовой за розоватой скатертью под розоватым абажуром

погрызали птифуры, клали в блюдечки клубничное и сливовое варенье — а сами были как заколдованные от светлого нежданного свечения радости. И нельзя было разрешить себе поверить — и нельзя же было пренебречь фактами, отрицать происшедший сдвиг. У них здесь был только праздничный сдвиг настроения — но там, за Невой, настоящие бои, целые поднявшиеся полки, — и отчего ж было не решиться назвать это слово? Да, это была О н а, долгожданная, измечтанная, — хотя бы и ещё раз её свергли в пропасть, обезглавили, повесили — но всё же Она пришла!?

Но и все твердыни ещё у врагов, и радоваться слишком рано.

Так они просидели, может быть, и часа два — как с улицы через законопаченные окна раздались сильные крики.

Усидеть было невозможно! Покинули недопитые чашки, торопливо, небрежно одевались, дрожащие ноги вставляли в галоши, заламывая края, достукивали уже на лестнице — и сбегали, сбегали вниз.

Крики были с площади на Каменноостровском, где Архиерейская переходит в Большой проспект. Поспешили туда.

Маленькая площадь в круговой цепи фонарей была залита радостным народом, который и кричал, махал, — а посредине высились два открытых грузовых автомобиля, в них стояло по десятку людей, ощетиненных штыками и с красными флагами. Были и женщины среди них, но и они потрясали револьверами.

Пешехонов стал проталкиваться к одному грузовику поближе, близ белогрудовского дома с башенками. Галдёж стоял невообразимый, все из толпы кричали сразу, и с автомобиля тоже сразу, почти невозможно было понять. Постепенно всё же усвоил Пешехонов, что революционеры прорвались через Троицкий мост и хотят здесь «снимать» войска и громить полицию. И теперь они спрашивали, где же полицейские участки и где квартируют воинские части, как им ехать. Но оттого что спрашивали все у всех и отвечали сразу все — не могли выяснить уже четверть часа.

И так стало жаль Пешехонову эту наивную, добродушную народную массу, без руководства: предел воображения их ненависти была простая наружная полиция, всего-навсего охраняющая простой порядок, который и всегда обязателен в любом цивилизованном государстве. А тут, на Петербургской стороне, раз уж они сюда прорвались, сидел ядовитый паук — Охранное отделение, и вот что надо было прежде всего даже не громить, а захватывать! — ценнейшие секретные документы, ключ к разоблачению осведомителей, и обезвредить силу паука! И Пешехонов, неловко цепляясь за борт грузовика, со страстью выкрикивал им, чуть шапка не слетела, — об Охранном отделении, и как это первостепенно важно, и как надо ехать на Мытнинскую набережную! И кто-то даже наклонялся, слушал его — но вряд ли в этой безтолковщине что-нибудь слышал и понял.

Да он сам бы поехал с ними, если бы знал, что он их направит. Он чувствовал, как смелое сердце растёт в его немолодой груди и пренебрегает невозможностями интеллигентского тела.

Нет, не мог он больше сидеть за чаем и обсуждать, как где-то что-то происходит! — он должен участвовать сам! Троицкий мост открыт — и нет оправданий бездействию!

Автомобили куда-то уехали. Ещё потолкавшись в народе, Пешехонов увидел своего гостя, попросил передать жене, что отправляется в Таврический дворец, — и пошёл по Каменноостровскому.

Таврический дворец был логически возможным центром движения. Если разгоралось пламя революции — то там.

Тут сошёлся ещё с одним знакомым, направлялся туда же. Пошли вместе.

По Каменноостровскому навстречу им время от времени мчались революционные грузовые автомобили, проносились дикими сказочными видениями, вспыхивая под фонарями, темнея на перегонах. Ах, как красива и грозна являлась Революция! в каком неожиданном лике!

Один автомобиль разбрасывал какие-то бумажки. Подняли такую и тут же, под фонарём, прочли. Это было гектографированное воззвание Временного Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов. Ого, куда пошло! уже есть Совет Рабочих Депутатов! а мы тут всё пропускаем! Листовка звала население кормить и приютить революционных солдат, проведших весь день на улице в завоевании свободы.

Но как же с охранкой? Пока охранка не разгромлена — никакая победа не прочна, завтра же возобновит свою деятельность! она даже, может быть, сию минуту работает!

И Пешехонов со спутником уже у Троицкого моста своими слабыми криками, а больше знаками, крупным маханием рук — сумели всё-таки привлечь и остановить один автомобиль. И рядом никто не кричал, теперь они успели объяснить про охранку и как туда проехать, — но те были так возбуждены, как будто вскручены

внутренними пружинами, они изнемогали от задержки, они неслись куда-то к намеченной, невидимой, несуществующей цели — и рванули, рванули дальше.

Троицкий мост был почти без прохожих, пуст, — а по ту сторону пугающе багровели три пожарных зарева — два слева и одно далеко справа.

На том берегу Невы они ожидали встретить революционное море, весь Петроград на улицах — но ничего подобного, так же пугающе и зловеще пустынно было на Французской набережной, всеми окнами темнели дворцы, только в обе стороны по разу промчались бешеные автомобили.

Свернули на Литейный — и вот где осветился им главный пожар, как они уже и знали: с утра зажжённое, ещё и сейчас пылало здание Судебных Установлений, Окружной суд, баженовская красота, творение безсчастного архитектора, у которого всё или не строилось вовсе, или не достраивалось, или гибло. Ещё светился накалённый остов, но уже всё внутреннее выгорело. А тут было чему выгорать: какие склады одних нотариальных актов, какие архивы гражданского судопроизводства, какая библиотека!

Пешехонов с раздумьем смотрел на эти развалины. Несколько раз следователь вызывал его сюда на допросы. И судили его тут, за «Крестьянский союз». Потом и сам он являлся по делам других. В пыльных залах и тёмных коридорах этого здания сколько провёл он — то в нервном возбуждении, то в нудном ожидании. Но вот — увидел раскалённые эти развалины, а удовольствия — никакого не ощутил.

Наоборот — тревогу. Суд — не должен гореть, без суда не стоит общество. А мы начинаем с поджога суда.

Подожгли его, наверно, первые же уголовники, получившие свободу: что ж им и делать, если не поджечь плохо охранённое здание суда?

Весь день прошёл как лёгкий, светлый праздник — и только в ночи эти динамичные, бешеные автомобили и эти пылающие развалины выдвинулись грозным напоминанием, что революция — не шутка.

Задержались они тут, простояли. Уже было часов девять, когда подошли к Таврическому дворцу.

Здесь, перед решёткой сквера и в сквере кипело, сновало много народа, больше всего солдат, но и гражданских вооружённых. И рычали заведенные зачем-то автомобили.

А внутрь — пропустили легко, хотя часовые стояли.

Пешехонов даже робел глянуть в полные глаза — сразу увидеть кипящий штаб революции.

136

В квартире Керенских как сегодня рано утром зазвонил телефон — так потом не умолкал: довольно было после разговора положить трубку, крутнуть отбой — как опять звонил.

Вчера вечером у них совещались — разошлись на том, что всё кончено, ничего не случится. А сегодня первый звонок был от Сомова, гимназического друга Саши по Ташкенту, потом тоже эсера, теперь тоже адвоката. Требовал Сомов разбудить Александра: среди солдат Волынского батальона — восстание, убили офицеров и шагают по улицам! Но пока Ольга Львовна пошла будить Сашу — телефон опять вернул её: звонил секретарь Родзянки, тот приглашал Керенского срочно в Думу, потому что получен приказ о её роспуске.

Двумя руками за щёки, бережно, — она всё считала мужа больным после прошлогодней операции, — Ольга Львовна будила Сашу, двумя оглушающими новостями с двух сторон. Он проснулся мгновенно и загорелся в минуту, и почти уже не мог завтракать, нетерпеливо блестел, уже сжигаемый мыслями, опережаемый своим порывом, уже не мог и отвечать на вопросы жены.

Последние недели висели тучи над ними — снятия депутатской неприкосновенности, ареста, следствия, — нуждались они в каком-то героическом внезапном выходе! И вот — он пришёл?

Для того и переселились они на Тверскую, рядом с Таврическим садом и первый этаж, чтобы Саше без труда доходить до Думы: операция у него была серьёзная, туберкулёз почек, и могло кончиться гораздо хуже. А уверял он теперь, что совсем здоров, — и правда опять был подвижен, как прежде, опять юн и быстр: хотя на два года старше Ольги, он выглядел всегда моложе её, так порывист.

Почему-то остро сжалось сердце, когда она провожала его за порог. Охватила за шею, просила быть осторожным.

Он засмеялся, высвободился, быстро ушёл.

А она осталась с плохим предчувствием. (Дано нам сжаться в предчувствии, не дано нам его разгадать. Кажется: что-то случится с мужем? убьют? не вернётся?.. А он — действительно никогда больше не вернётся в эту квартиру. Но — сам по себе. Вот и предчувствие…)

И всегда так, революционный порыв Саши был неудержим, Ольга лишь поспевала вослед, а покойный свёкор считал во всём виноватой её, начиная со ссылки Александра под отцовский кров в Ташкент. В роду Керенских бывали монахи и священники, старый Керенский был предан монарху и Церкви и не мог понять, откуда бы в их роду вдруг зараза. (Да и Ольга была генеральская дочь.)

А телефон! — телефон уже и за время завтрака несколько раз пронзительно дребезжал, и потом, и потом всё. Одни сообщали, другие спрашивали, весь Петроград иззванивался, исходил телефонами. А больше всех названивал Гиммер — он хорошо знал Ольгу Львовну, потому что иногда ночевал у них для конспирации, очень хорош был с Сашей, — и теперь, сидя у себя на глухой службе, надеялся из их квартиры, как одной из центрально-революционных в городе, узнавать всё самое первое.

Но самое первое мог знать только Саша, а он за весь день так домой и не позвонил. Однако другие звонки приносили известия и потрясающие, и Ольга Львовна передавала их Гиммеру и всем.

И в зареве этих известий постепенно растаяло её дурное предчувствие.

Наконец и она уже не могла оставаться дома трепетать над телефоном, но сила происходящего вытягивала её наружу. И оставив двух сыновей на прислугу, Ольга Львовна отправилась в Думу сама! Там она больше узнает, увидит и, может, Сашу самого.

По Таврической улице мелькало много людей, но первое, кого она увидела: разбитную солдатскую колонну без офицера. Солдаты лихо отмахивали руками и шли в заворот на Шпалерную.

Побывав эти годы сестрой милосердия, Ольга Львовна имела простоту с солдатами — подбежала и спросила одного:

— Братец, что случилось? Куда вы?

Всё шумело, но солдат услышал, оскалил молодые зубы и прикрикнул ей:

— Мы теперь — свободны! Идём в Думу!

О, замечательно! И Ольга — туда! Рядом со строем их, не отставая, готовая за руки взяться с этим братцем — во всероссийской, всеобщей, вселенской любви и ликовании! О, замечательно!

Вот они уже и к Думе подходили. Там дальше было сильно запружено — и на мостовой, и на тротуарах. Остановился и солдатский строй. Остановилась и Ольга.

Необъятная толпа, будто в каком-то церковном стоянии, вся лицом к фасаду Таврического дворца занимала и Шпалерную и сквер перед дворцом. Любопытствовали, гудели — и чего-то ждали радостно.

Впереди, то на выступах забора, то с грузовиков, то ещё на чём-то, возникали иногда ораторы. Их слышно было плохо или совсем не слышно сюда, назад, — но виделись взмахи их рук, и всем передавалось ликование.

Было не холодно, и солнце, и на ногах боты — и Ольга Львовна сама не заметила, как простояла тут час, и два, и три, и наверно больше. Да невозможно было уйти с этого вида пасхальной службы! Постепенно происходили переливы, перемещения толпы — и Ольга Львовна тоже стояла уже не в заднем ряду, но её втягивало и втягивало в гущу, затем уже и в сквер.

Перед вечером стали подъезжать то грузовики, то груженые фургоны, телеги — и толпа как-то отсачивалась, пропускала их внутрь. Они привозили, и с них разгружали — или тут же на снег, в сквере, или таскали внутрь через крыльцо — зачем-то боевую амуницию, патроны, бочки со сливочным маслом, мешки хлебных буханок, свёртки кожи, неизвестного содержимого ящики, — всё почему-то должно было быть загружено в Таврический дворец.

Между тем осмерклось, и стало темнеть, а ничего так и не происходило, давление смешанной солдатско-штатской толпы стало ослабевать: одни вовсе уходили, другие пачками врывались внутрь. Ольга Львовна была уже близка к крыльцу — и в одной из таких пачек тоже прорвалась. Хорошо, а то уж замерзала.

Но и внутри дворца был такой же ералашный вид, как и снаружи: пореже, но такая же смешанная безалаберная толпа, не знающая, чем заняться, а у стен круглого Купольного зала было навалено и ещё наваливалось всё это привезенное — и если верно говорили, что часть ящиков с порохом, то довольно было одной брошенной в ту сторону папиросы, — а их бросали, — чтобы дворец взлетел со всей торжествующей массой ещё прежде, чем она узнала свободу.

Около взрывчатых веществ стоял часовой, но еле держал винтовку и чуть не падал. Ольга Львовна подошла к нему и узнала, что

он поставлен уже много часов тому назад, но его забыли, никто не приходил сменить.

— Братец! — сказала Ольга Львовна. — Так давайте я за вас постою, а вы пойдите добейтесь, чтобы вас сменили.

Молод был солдат, но своё дело знал, только усмехнулся:

— Нет, сестрица, не имею права уйти без разрешения офицера.

Кругом проливался и вращался невообразимый хоровод, и сотни солдат с винтовками без дела, — но этот солдатик не мог уйти без разрешения офицера!

Ольга Львовна горячо взялась помочь ему — офицера она пошла искать сама. Это надолго её заняло, глаза её стали непраздными и не разглядывали просто так, что творится, а искали дело. Много ей пришлось проталкиваться, много порасспрашивать — но какой-то офицер в конце концов согласился пойти и сменить, и нашёл сменного солдата.

А затем Ольга была награждена тем, что из одного вихря, быстрого через толпу, выделился и Александр! — и она успела пересечь ему дорогу и стать перед ним, сияющая.

Разделить с ним нагрянувшую великую народную радость — и в самой таврической гуще! Да просто посмотреть, как он переносит этот день.

Он был струнен, бледен, молод, очень спешил — и сильно нахмурился, вдруг увидав её.

Такое соседство унижало его в историческую минуту? Она вдруг сейчас это поняла и застеснялась.

— Зачем? — спросил он тихо.

— Просто порадоваться! — оправдывалась она. — Просто… дома не могу.

Пожал плечами:

— Ну, как хочешь. Прости, тороплюсь отчаянно.

И уже направлялся дальше.

— Ты когда же домой?

— О нет! — отчуждённо улыбнулся он. — Мы все здесь теперь пленники. Нет, это исключено! Ни сегодня, ни завтра, не жди.

— А — как же?..

— Тут — на столах, на кушетках, — улыбка стиралась, уже уходил.

— Слушай! Звонили много!

Махнул рукой. Теперь — уже не имело значения, да, телефон устаревал в полчаса.

Ждала встретиться не так, но всё равно была рада. В такой день ни на кого, ни на что нельзя обижаться! Что была вся жизнь до сих пор — её, их обоих, всего их круга? — всё дыхание их было в Освободительном Движении.

И вот — оно взнеслось фонтаном!

О Екатерининском зале уже кто-то пустил словцо: Храм Народной Победы. В этом торжественном несравненном зале, где Потёмкин когда-то закатывал немыслимые балы в честь императрицы, между двумя спаренными рядами коринфских колонн, под семью ослепительными люстрами, каждая из трёх светящихся кругов, — и сегодня как будто открылся бал, но уже не вальсировал петербургский высший свет, а — кружился хоровод демократии! Хоровод небывалых тут гостей, не снявших верхнего платья, ни шинелей, не отдавших винтовок, перемесь простонародной солдатни и разночинной интеллигенции, домучившейся, дожившей до самого великого из праздников, какого и этот зал не знал, от взятия Измаила. И сверху, на балюстрадной галерее, толкались такие же странные гости, оттуда улыбались и помахивали.

Да как много мелькало знакомых лиц, вся петербургская интеллигенция! Ольга Львовна кое с кем здоровалась издали, не сближаясь, как бы перемещаясь в общем сложном танце тесноты.

И вынесло её снова к дверям в Купольный зал — и там у колонны увидела она только что вошедшего крупного старика в чёрном, с крупной благородной головой, — как он стоял с палкой, ровный, и смотрел на зал в изумлении. Увидела — и сразу узнала его, потому что лично хорошо знала, жена его сына была близкой подругой Ольги Львовны: Герман Лопатин!

Герман Лопатин! И вот кого притянуло сюда! Именно он — здесь! В такой день!

Да он — не больше ли всех заслужил этот праздник? Не больше ли всех он вложил в Движение? Личный друг Маркса и Энгельса! Член Совета 1-го Интернационала! Переводчик «Капитала». Автор отчаянной и неудачной попытки освободить из ссылки великого Чернышевского! И легендарный старший брат народовольцев. И 18 лет каторги! И почётный судья в споре Бурцева и Азефа.

Да кто же тут был сейчас почётнее его!

Ольга Львовна, выбиваясь из танцевального круженья, с радостью направилась к нему, нельзя было быть награждённою лучшей встречею сейчас:

— Герман Александрович!

Сразу узнал и он её, и тоже обрадовался. Впрочем, простая минутная радость не держалась, не могла сейчас удержаться на его великолепно-торжественном прибородом лице. Вполголовы выше толпы и зачарованно глядя на это кружение, так что даже выступил пот на его выкатистом лбу, без шапки, — он даже не просто стоял, но участвовал сейчас в мистическом обряде.

— Ны-не от-пу-щаеши… — сказал он проникновенно, медленно, густо, смотря даже не на Ольгу Львовну, а на кружение этих голов, из которых не всем, не всем дано было понять всё значение акта.

Оказалось: живя за городом и взбудораженный утренними известиями из города, он после полудня тронулся сюда пешком, потому что найти извозчика было невозможно, да он и хотел так, и обязан был так — пешком, не пропустить ни одного шага, ни одного взгляда. И прошёл пешком больше двадцати вёрст, это в 72 года!

Ровно стоял. И всё смотрел через малые на нём очки — на зал, на зал, на собеседницу редко. И говорил тихо, отчётливо, не наклоняясь к ней:

— Вот — день, которому я принёс в жертву всё, с ранней молодости.

Стоял, иногда закрывая глаза.

— Теперь я могу и умереть. Счастливей — я уже не буду.

Ещё закрыл глаза. Открыл.

— Хотя нет. Теперь — хочется пожить ещё немного. Посмотреть, как скоро всё устроится. И Россия заживёт наконец. Счастливой, свободной жизнью.

Расцветёт наша Россия как цветок в прекрасном саду.

Они нашли потом, где сесть, уступили им кресло и стул. И сидели рядом молча.

Переполненные счастьем.

137

Перечитывал, вчитывался в воскресное письмо Аликс — и как сразу растеплилось, согрелось, породнело всё вокруг! Как сразу не одинок!

Большое письмо — и одну за другой каждую милую подробность прошедшего дня мог представить. И как нежна к его пришедшим двум письмам, и как одинока, не с кем поговорить. И всё время в уходе, Аня больна и капризничает, слава Богу две младших держатся и помогают. События в городе не так страшны, совсем не Девятьсот Пятый, вся беда от этой зевающей публики, хорошо одетых людей, курсисток и прочих, которые и подстрекают к волнениям. И — ещё о детях (готов перечитывать без конца): у кого какая температура, у кого как болит. Ездили на могилу нашего Друга — и вот тебе кусочек дерева с Его могилы, где я стояла на коленях. Солнце светило так ярко — и я ощущала спокойствие и мир на его дорогой могиле. Вера и упование! Так спокойно, что и ты был у дорогого образа Пречистой Девы. Но твоё одиночество должно быть ужасно — окружающая тебя тишина подавляет моего любимого! Навеки твоя старая Солнышко.

Кусочек щепы с могилы — уж вовсе лишний, поклонение Аликс Григорию просто культ, — но, слава Богу, душа её мирна, и мир обнимал Николая. Распечатывая письмо жены, он всегда мог ждать и строгости, и упрёков, и выговора — и растеснялась его душа, когда ничего этого не было.

Даром ответным сейчас же хотелось и поблагодарить. И — тотчас же, отчётливо, крупно на телеграфном бланке: сердечно благодарю за письмо! Выезжаю завтра днём в 2.30. (Теперь уже скоро свидимся, недолго ждать! Но чтоб ещё успокоить:) Конная гвардия получила приказание немедленно выступить из Новгорода в Петроград. Бог даст, безпорядки в войсках скоро будут прекращены. Всегда с тобой…

Но телеграмма так мало выражает! А если тотчас отправить и письмо с вечерним поездом — оно почти на сутки опередит самого. Моё сокровище! Нежно благодарю тебя за твоё милое письмо. Как я счастлив при мысли, что через два дня мы увидимся! После вчерашних известий из Петрограда я видел здесь много испуганных лиц. К счастью, Алексеев спокоен. Безпорядки в войсках — удивляюсь, что делает Павел, он должен был бы держать гвардию в руках. Благослови тебя Бог, моё дорогое Солнышко, крепко целую тебя и детей…

Едва отправил — а вот и опять Алексеев. А вид-то больной, один сплошной сохмур, глаз совсем не видно, плечи поджаты, на щеках красные пятна.

— Ах, достаётся вам, Михал Васильич! Зря, наверно, вы приехали, ещё бы в Крыму пожили.

Хотя, конечно, ко времени, для подготовки весеннего наступления.

А пришёл Алексеев, опять держа в руках голубые бланки телеграмм, две.

И обе — от военного министра. Совсем свежие, поданные 20 минут назад.

И, странно: между их подачей был перерыв всего в семь минут — за 7 минут происходило новое событие?

И Алексеев на этот раз поспешил с ними тотчас.

— Ну, сядьте, ради Бога!

В первой докладывал Беляев, в противоречие со своей сегодняшней дневной телеграммой, что военный мятеж погасить пока не удаётся, напротив — многие части присоединяются к мятежникам. Ещё начались пожары, и нет средств борьбы с ними. И, чего не просил за семь часов до того: что необходимо спешное прибытие действительно надёжных частей — и притом в достаточном количестве, для одновременных действий в разных частях города.

Вот так та́к. Николай кинул испытующий взгляд на собранную хмурость севшего Алексеева.

Во второй, через 7 минут, Беляев сообщал, что правительство объявило Петроград на осадном положении, а Хабалов проявил растерянность.

Но Хабалов — и просил войск на семь часов раньше, когда Беляев успокаивал. Что же воистину творилось в Петрограде и с людскими мозгами?

И больше — не было телеграмм в руках Алексеева. Ах, как бы прояснила и помогла телеграмма от Протопопова! Но — ни слова от Протопопова.

Защемило-защемило сердце. Как тяжело — ничего не понимать, быть в отдалении, а семья — там рядом, может быть в угрозе?.. И некому открыться в этой защемлённой тревоге, и нельзя посоветоваться с Аликс!

Но разговор с Алексеевым теперь был уже прост, нечего стесняться. Ясно, Михаил Васильевич, что надо посылать в Петроград войска. И срочно. И много. И немедленно.

Сжатый, серый, неподвижный Алексеев был вполне согласен.

Полков несколько? Пять, шесть?

Да, и с разных фронтов, чтобы не ослаблять никакого.

И конницу, и пехоту?

Да..

Так займитесь этим, Михаил Васильевич.

Алексеев поднялся.

По крайней мере, главный вопрос был решён сразу и без колебаний. Стало сразу и легче.

Да, но вопрос: кого же поставить во главе посылаемых войск?

Кого бы? Ну уж, генералов ли не было в русской императорской армии! Генералов долгой, сплошной, блистательной службы, столько раз отблагодарённых на манёврах и смотрах, осыпанных орденами, потом и за бои! Но так сразу решительного, опытного, умелого — вот и не назовёшь. Надо признать, Суворова между ними всё-таки нет. Да разве на такое неблагородное дело, разгонять тыловую банду, — Суворова? даже стыдно и подумать. Как там ни серьёзно в Петрограде — но не настолько же. Да вот хоть Гурко вызвать, Гурко на близкой памяти, но и его жалко отрывать от гвардейской армии, да и пока приедет.

— А вот что! вот что! — вдруг осенило Государя. — Может быть, Николая Иудовича?

Действительно, ближе и быстрей назначить было некого.

Алексеев кисло морщился, от недомогания?

Вот мысль! Вот замечательная мысль! Государь был очень доволен своей находкой. Ведь Иванов сохранил ранг Главнокомандующего фронтом, и генерал-адъютант, и крупный опытный полководец, и безконечно предан. Георгий трёх степеней, золотое оружие с бриллиантами. И — свободен сейчас от должности. И — под рукой (в вагоне на могилёвском вокзале), просто ждущий «распоряжений» при Ставке, но никаких распоряжений он до сих пор, уже год, не получал. (Люди думали, что он так готовится чуть не на руководство всей Действующей армией, а Государь просто жалел его после отставки с Юго-Западного, куда деть старика? — вот и жил для почёта.) Да позвольте, да он приглашён к моему обеду, сейчас будет здесь! Так я ему и объявлю. (Удовольствие первому объявить лестную весть.) А вы уже затем введёте его в детали.

С Николаем Иудовичем было связано ещё одно воспоминание: это именно его фронтовая георгиевская дума наградила Государя крестом. И Государю было невыразимо приятно: он сам никогда бы не решился намекнуть, попросить, — а как же водителю русской армии и без георгиевского креста? Не то чтоб сию минуту он

это вспомнил, нет, но благодарная память всегда присутствовала в нём.

— А — в качестве кого мы его назначим? — предусмотрительно осведомлялся Алексеев. — В какой должности?

Подумали. Если ему действовать в Петрограде — то не может существовать в Петрограде сразу две военных власти. Да и Хабалов осрамился. Значит: командующим… нет, даже, с сохранением ранга, Главнокомандующим Петроградским военным округом.

Но войска будут с разных фронтов, собирать их надо где-то под Петроградом, соображал Алексеев. А сам он с чем поедет? Какие-то хоть малые силы надо послать при нём отсюда.

Верно.

Соображал Алексеев, съёженный болезнью:

— Батальон георгиевских кавалеров?

Опять прекрасная мысль! Храбрецы на подбор, ни у кого не меньше двух крестов, и тоже — рядом. (Символически охраняют Ставку.)

Алексеев, бережно переступая, пошёл распоряжаться, — как всегда свободный от обязанности быть на высочайшем обеде.

А уже — и время обеда. И выйдя к собравшимся, откуда начинали закусывать и пить по рюмке стоя, — увидел Государь и самого Иванова, простого, немудрёного, утопающего в лопатной бороде, — а что за молодец: с вереницей крестов, георгиевским оружием, в ремнях и при шашке — очень воинственен! И не стар: 65 лет — разве это для генерала старый?

Но неприлично было тут же, при всех, объявить ему о назначении. И невозможно было, нарушая распорядок, остановить обед, а Иванова увести к себе. Этикет есть этикет, и ближайшие полтора часа должны были быть отданы обеду.

Ставка считается постоянно «в походе», и потому из сервировки исключены все бьющиеся предметы; все тарелки, рюмки — серебряные, вызолоченные внутри, и подают лакеи в солдатской форме.

И только мог Государь — выделить Иванова своим вниманием, усадить его близ себя и навести расспросом — как Николай Иудович давил бунты в Девятьсот Пятом.

Чрезвычайно польщённый, сияющий генерал стал рассказывать, а рассказчик он был знатный! И все слушали с поглощающим вниманием, угадывая как бы намёк и надежду.

Широко, добротно рассказывал Николай Иудович, как он давил бунты без единого выстрела, лишь умением обращаться с солдатами. Знаменитые случаи в Харбине, в Кронштадте. Николай Иудович был сторонник мягких действий — не расстрелы, не военно-полевые суды (он не утвердил ни одной казни), а — поставить на колени, образумить, применить розги.

Ото всего простонародного, простосолдатского, бородатого вида генерала Иванова исходило надёжное успокоение. Вся свита повеселела, и Государю тоже стало намного легче.

Генерал сиял от необычного общего внимания — а ещё не знал он, какое ждало его почётное назначение.

Даже хотелось Государю послать Иванова прямо сегодня же, до полуночи, не дожидаясь завтрашнего утра, — но так быстро было бы безжалостно требовать от старика. Да и — разная подготовка.

Тянуло позывною тоской и самого Государя: как ещё долго-долго он не поедет в Царское, только завтра днём. Уже так увядал он быть без Аликс и без детей!

138

Особенно первые минуты в Таврическом Гиммер был исключительно счастлив.

В Государственной Думе он прежде бывал только среди публики, на хорах. А теперь — тут все были уже не гости. И не раздеваясь, да и не работал гардероб, в шубе, шапке и галошах Гиммер пошёл через Купольный зал, через Екатерининский, — и с интересом рассматривал необычную дико-пёструю публику на торжественном фоне десятков колонн.

Но вот что он понял уже через пять минут и совершенно замечательное: если не считать солдат и другого безсмысленно бродящего народа — тут было очень много интеллигенции, и все узнавали всех! Здесь все — друг друга уже знали, если не знакомы, то в лицо, каждый с каждым когда-либо где-либо уже встречался, хотя бы в каком-нибудь заседании. Да что ж удивляться! — не так-то, увы, велик социалистический радикально-интеллигентский Петербург, вот он и весь здесь, вот он и стёкся.

И Гиммер на каждом шагу встречал знакомых, а значит, сразу включился во все сведения и слухи. Тут он ещё раз убедился, что и

по телефонам вызнавал: за все эти дни, кроме пятёрки большевицкого ПК да нескольких кооператоров в Рабочей группе, никто в Питере не был арестован — вот растерялись! Тут он и сразу узнал: что руководящий холоп царизма, бывший министр юстиции, при котором топили Бейлиса, уже сидит запертый в министерском павильоне с приставленными свирепыми часовыми! Это была замечательная подбодряющая новость! Затем: что Протопопов, наоборот, успел скрыться и не взят. Затем: разные случаи, где уже разгромили полицейские участки и убили немало полицейских. Затем: что Родзянко поехал в Мариинский дворец на переговоры с правительством, и думцы очень безпокоятся, благополучно ли он вернётся.

Да, но главное! но главное! — как бомба чернобородая налетел на Гиммера Соколов: уже создан Совет Рабочих Депутатов! и Соколов — член его! и Гиммер — сейчас тоже будет член!

И поволок его в коридор правого крыла.

Гиммер стремительно соображал. Вот как? — уже Совет рабочих депутатов? С одной стороны, это хорошо, и отчего же в нём не участвовать? А с другой стороны, это как бы претензия на власть? А — рано, рано, испугает буржуазию.

В комнате за большим столом уже сидела радикальная партийная публика, но ещё свободные стулья были, и для Гиммера. А над ними всеми сторожливо возвышалась крупная, представительная голова Нахамкиса. Вот как? Перебирая возможных лидеров начавшегося движения, о Нахамкисе Гиммер как и позабыл: ну, потому что годы войны он очень себя оглядчиво вёл, таился, сторонясь партийной публики, дискуссий и публикаций, тихо жил на даче на Карельском перешейке. Уже думали — он совсем обуржуазился, — а вот?..

Ну что ж, он имеет право. Он — и член Совета Девятьсот Пятого года. И по фигуре, и по замашкам, и по характеру — он будет претендовать на лидерство, конечно. Ну что ж, разделим. Теоретической стези — ему всё равно не одолеть, тут Гиммер ни с кем не сравним.

Но посидел Гиммер немного членом Совета — и стал изводиться: скучно. (А Соколов ещё раньше убежал.) Куда до теории — они все были заняты минутной практикой: как набрать депутатов, когда открыть, — и как кормить бродячих солдат, если их не накормить, они сметут и всех нас, надо разыскивать по городу продовольственные склады, обирать их и везти в Таврический,

и тогда можно будет сплотить солдат. Вбегали и выбегали Франкорусский, Громан, куда-то слались грузовики.

И пожалуй, они правы, должен был согласиться Гиммер. Обстановка момента такова, что надо сосредоточиться, увы, не на большой политике, как тянуло его по нутру и по специальности. Начинать сразу действовать политически — это только спугнуть буржуазные цензовые круги и помочь неумеренным группам — большевикам, межрайонцам. Да! Нет! Совету надо пока сосредоточиться на *технике* революции, а ею владеет только революционная демократия, от буржуазии тут не дождёшься.

Но час истории — вот-вот стукнет. Вся демократия пусть занимается техникой, а Гиммер не мог искалечить сам себя. Сейчас — он хотел бы провести политическую разведку, ориентироваться в настроении буржуазных кругов. Сейчас дело не в Совете, а — в буржуазии. Если даже в умах думской левой, как Гиммер уже понял по первым сотычкам в зальной толпе, ещё и не вентилировался вопрос о взятии революционной власти — то кольми паче должны быть не готовы ни к чему такому буржуазные круги?

Ушёл с Совета, вышел в Екатерининский зал — и вдруг увидел: идёт Милюков!

Не идёт — ходит!

Не ходит — расхаживает! Твёрдой походкой, и с твёрдой посадкой седой решительной головы. Ах, как верно! Казалось бы: отчего не сидеть в удобном кабинете, зачем толкаться в этом безпорядке? А — верно: в такие минуты вождь — должен показать себя: что он — существует, что он — думает за всех. Вот: ходит — и думает. В ожидании какого-то важного часа? события? Среди мелькания и баламутного движения старается выдержать прямую линию, как будто никого не замечая, никого не ища, никого не видя. Если к нему подходили, заговаривали — то он так явно неохотно отвечал, его оставляли. Он должен мыслить и ходить один.

И — какой умный, благородный, респектабельный вид. О, вот с кем Гиммер сейчас хотел бы поговорить! Со всеми его буржуазными ошибками — это единственный великий человек, изо всех цензовых. И они — равны теоретическими умами! Но Милюков этого не знает, они совсем незнакомы, и он не сочтёт подошедшего за личность, не станет разговаривать. Досадно всегда мешает и несолидный, щуплый вид.

И Гиммер — не подошёл. С большим сожалением. А пошёл на разведку — в левое крыло дворца, куда совсем не пёрла пришлая

публика и где оставались властны думцы и их порядки. Но можно было свободно идти, приставы не дежурили.

Свободно вошёл Гиммер в кабинет товарища председателя Думы Коновалова, очень известного дружбой с левыми. У Коновалова сидел лидер прогрессистов неуёмный Ефремов. Так! Не проверяя знакомства, прямо и строго спросил их: как и кто будет создавать революционную власть?

Чистенький, прилизанный толстый мануфактур-советник, в золотом пенсне и ослепительно выбритый, Коновалов только моргнул, моргнул, не понимая, что-то протянул, вежливое однако. А Ефремов, с разлохмаченной бородой, в своё пенсне посмотрел остро-искоса — и только хрюкнул.

Не понимали даже, о чём речь. О, убожество! Ушёл от них, сильно расстроенный. Значит, наивны были его мечтания заставить буржуазию взять власть?

А в Екатерининском всё так же толкались, бродили, маячили (Милюкова уже не было), и солдаты плевали на паркетный пол. Набегал знакомый меньшевик Броунштейн: по городу — солдаты всё грабят и громят, — и это несомненно погромно-полицейская провокация черносотенных банд, этих солдат безусловно науськивает чёрная сотня. Предводительствуют бандами вне сомнения переодетые городовые! Броунштейн доказывал каждому, с кем разговаривал, что надо давить анархию, пока не начался еврейский погром.

Набегал и доктор Вячеслов, тоже меньшевик, левый интернационалист, известный в левых кругах врач, который не прекращал толковать о политике даже во время выстукивания, выслушивания и впрыскивания дифтеритной сыворотки. Вот он тоже был здесь и, на коротких ножках суматошно бегая от одного к другому, от одного к другому знакомому, каждого переполошенно хватал за лацканы пальто или сюртука:

— Слушайте! На Петроград снаружи движутся свежие полки! Мы будем раздавлены! Организуется ли кем-нибудь какой-нибудь отпор? Что делает штаб обороны? Надо сейчас же открывать заседание об обороне революции!

И сказав одному, бежал дальше повторять следующим.

О, чёрт побери! — действительно не стукнул час теории, а нужна была — техника революции. Действительно, положение всей революции и всех их в Таврическом было весьма критическое. Пока они тут, по залам и коридорам, убеждали друг друга — а вся

эта лаборатория революции плыла в пустоте, всеобщей анархии и зареве пожаров. Не то что батальона или роты, но даже взвода организованных солдат не было на её защите. Исчезновение офицеров объяснимо, поскольку их целый день разоружали, преследовали, даже убивали, — но вот оно становилось опасным для революции. Сейчас в Таврическом офицеров мелькало немало, но все — или приведены как арестованные, или сбежавшиеся беглецы, — и ни у кого никакой подчинённой команды. А революционные демократы — не обладали никакими военными знаниями. Даже успех восстания по городу — совсем не ясен, придуман, в чём и где уж такая победа? А правительственный паук даже тут, в Петрограде, может быть готовит смертоносный удар, может быть в Петропавловке: ведь сколько наведенных пушек и сколько солдат на стенах. Да может, через несколько часов они просто возьмут революцию голыми руками? А ещё же — миллионы Действующей армии все в руках царя. А тут — какой-то штаб обороны? Библиотекарь Масловский да с ним несколько невразумлённых? А заняты ли вокзалы против возможного прибытия царских войск? Никто этого не знал в Таврическом, да и кем бы они могли быть заняты, если ни одной организованной части? Взяты ли казначейство, телеграф? — никто даже не задумывался. Какие части гарнизона ещё совсем не перешли на сторону революции — и послан ли кто агитировать их? Никто не знал. Какие-то экспедиции снаряжались тут, перед Таврическим, но по расхлябанному, говорят, их виду трудно предполагать, чтоб они куда-нибудь доехали.

И Гиммер, теряя теоретическую высоту, сам стал метаться от одного к другому, как Броунштейн и Вячеслов. И вдруг — увидел необыкновенность: в Купольном зале стоял стройный, подтянутый, вооружённый молодой прапорщик с картинно смелым бритым лицом, открытым лбом, светящимися глазами и нескрываемой улыбкой радости. Это никак не был беглец, только что избежавший солдатской расправы, — нет, он просто радовался всему тут окружающему, впивал его и ждал уверенно.

И тут же — Гиммер узнал его, только не мог вспомнить фамилии: да, этот прапорщик представлялся ему на днях! Искал путей к революционной работе.

Узнал! Фамилию не вспомнил, но вспомнил кличку. И подошёл к прапорщику быстро:

— А, Ясный! Это вы?

Тот просиял — и ещё вытянулся, как перед строевым начальником. И заговорил, захлёбываясь от удовольствия, что целый день он действовал, что это так необыкновенно, он так рад служить революции, он и его команда…

Ах, и команда есть? Революционный офицер, да ещё и организованная команда! Это как раз и требовалось Храму Народной Победы! Не объясняя ему, как всё сложно и опасно, молодой энтузиазм в том не нуждался, — Гиммер сразу схватил его за рукав шинели — и потянул, и потянул — в штаб обороны, в левое крыло.

Они раздвинули перед дверью ожидающих, штатских и солдат, любопытных или посыльных, — и вошли внутрь. И Гиммер всё тянул, тянул прапорщика — прямо к Масловскому.

А тот — сидел в простом затрёпанном пиджаке, не в кителе даже, набок склонённая голова, усталый, кислый, на десять лет старше своих сорока, вид его показывал, что отвратителен ему этот штаб обороны, и эта оборона, и он вот досидит и уйдёт, и ни во что он не верит, и какой зачем прапорщик?

И это был — глава штаба обороны! И это был испытанный эсер!

Правда, рядом с ним чернел мундир бодрого морского лейтенанта, и тот сразу принял прапорщика.

А Гиммеру — и хватит, Гиммер уже поработал на технику. Сказал, что знает этого прапорщика по революционной работе, ручается, — и ушёл. Предстояло к открытию заседания Совета рабочих депутатов обдумать для него общую политическую стратегию, может придётся её излагать.

В правом крыле дворца сгущалась теснота, толпились солдаты с винтовками и рабочие, все не раздевшись и не снимая шапок. Так это — не собранные ли, выбранные уже депутаты? Увы, нет. Аккуратный Эрлих толкался, спрашивал, есть ли *мандаты*, кто *депутат*? — его и не понимали. Всё же он кое-кого записывал в бумагу и втягивал в комнату Совета как депутата. И при этом на заводимого цепляли красный бант, если ещё не было.

У Гиммера тем более уже был мандат от Эрлиха: «представитель социалистической литературной группы».

Очень громко распоряжался и много бегал Соколов.

Совет уже прихватил себе две комнаты. В просторной, 12-й, рассаживались: ведущая радикальная публика — за большим столом, а для солдат и рабочих положили вдоль стен на стулья какие-то доски и вносили ещё табуреты и стулья. Да всего-то, вместе, не наскребли ещё и полусотни, неудобно было начинать Совет.

Солдаты больше сидели чинно и молчали. Стеснялись перед образованными. Другие, поразвязней, рассказывали соседям, как и что сегодня произошло.

А лица-то — какие тупые, неразвитые!..

Ужаснулся Гиммер: да кого ж тут назвали? Да разве готовы они в серьёзное заседание? Да разве перед ними можно излагать теоретические проблемы?

А что они сами понесут, если им достанется выступать?..

139

Хоть и согласился Родзянко вынужденно на создание этого временного Думского Комитета и председательствовать в нём, но грызло его, что это — неправильный путь, незаконный путь, и обходный, и никакое не решение вопроса. И он пока не придумал этому Комитету никаких действий, ни заседаний. А взял с собой законную думскую головку — одного своего заместителя, Некрасова, секретаря Думы Дмитрюкова, одного лидера фракции, октябриста Савича, — и именно с ними поехал на свидание с великим князем.

Родзянко имел такие цели. Спасти монархию. И не дать взбунтоваться самой Думе. И — может быть, самому взять правительственную власть, — но только прямым законным государственным путём. Он был потрясён арестом Щегловитова: пусть политический противник, но занимал совершенно такое же положение в верхней палате, как Родзянко в нижней, и его арест был как бы зеркальным отображением ареста самого Михаила Владимировича, если дела пойдут вот так же. На аресте Щегловитова ещё прочней уяснил Родзянко, что надо искать законного пути, иначе всё погибло. (А со Щегловитовым что ж сейчас делать? Освободить его — значит только подвергнуть самосуду толпы.)

Если бы Государь был в Царском Селе — Родзянко поехал бы к Государю. Теперь же — он ехал к его брату, единственному тут сейчас, кто мог бы помочь, нося на себе обаяние царского имени.

На автомобиль Председателя кто-то уже насадил спереди красный флаг — и на глазах возбуждённой солдатской массы было бы

теперь рискованно этот флаг содрать. Пришлось с невозмутимым или даже довольным видом так и поехать. И на оба воскрылья прилегли по солдату с винтовками, штык вперёд: хотя и холодно было там лежать и свалиться можно, но за эти места почти дрались, всем понравилось. Да охрана автомобиля и полезна, но с каким это грозным видом!

Район до Троицкого моста считался эти часы *своим*, тут бушевал мятеж, и автомобиль с красным флагом ехал свободно.

Со стороны если кто узнавал Председателя Думы, странно он выглядел, наверно: как вождь революции.

А — никак им не был, и запретил бы всем так думать!

У Троицкого кто-то из кучки на пути махнул рукой, задержал автомобиль. Спросили кто. Пропустили.

А дальше по набережным было пустынно, и никто не задерживал, поехали совсем свободно. Эта пустынность в ранний вечер была необычна. Странная революция: проезжай по городу куда хочешь. Родзянко велел остановиться и снять красный флаг. Спрятали его на пол автомобиля.

Проскочили мимо Зимнего, мимо Адмиралтейства, завернули у Сенатской площади, так же пустынно, миновали Исаакий и выехали на Мариинскую площадь. Здесь народа было побольше, движение в разные стороны. У входа во дворец — две пушки и караул.

Приехавших пропустили без задержки. Самый крупный и тяжёлый изо всех, Родзянко сильным нетерпеливым шагом поднимался, всех обогнав.

С завистью заметил, что порядок здесь соблюдался: никаких подозрительных посторонних лиц, никто не рвался с оружием, на местах все служители в ливреях. Только не было верхнего света, все переходы и залы мало освещены.

От ротонды предупреждённый служитель повёл приехавших на сторону Государственного Совета, потянул перед ними палисандровую дверь, инкрустированную бронзой и перламутром, — и тут с неприятностью сообразил Родзянко, что входил в кабинет председателя, значит — Щегловитова.

Опять как символ. Щегловитов сидел в министерском павильоне запертый, ключ в кармане у Керенского, а Родзянко тут незвано входил в его же кабинет, как бы действуя заодно с Керенским.

Но и раздумывать и менять было поздно: уже великий князь Михаил сидел тут, не чинясь, что пришёл первый, и ждал. И легко, не царственно поднялся навстречу. Он был строен, с узкой, низкой талией.

С ним был только его неизменный секретарь, англичанин Джонсон. Думцы перездоровались с великим князем. Расселись за отдельным шестисторонним столом с инкрустациями, окружённым шестью стульями.

Несмотря на лихие, разведенные белокурые усы, неотверделое лицо великого князя, как всегда, не имело своего напряжения, своей заданной мысли, но открыто недоуменно смотрело на собеседника.

А голова у него была вся обритая, как у солдата, лишь чуть подросло.

Родзянко знал своё постоянное влияние на великого князя и теперь, со всей тяжестью своего авторитета, вида и голоса, очень строго стал ему внушать. (Но — как бы советуя только.)

Тут, прослышав о приезде, вошли министр-председатель князь Голицын и военный министр Беляев. (Родзянко звал его генералом Пфулем.) Не очень они были Родзянке нужны, и даже странное положение: как будто возглавители другой воюющей стороны, вот они мирно подсаживались к тому же столу. Голицыну нашлось шестое место, а маленький Беляев с оттопыренными ушами сел сбоку сзади него, ещё как бы уменьшившись. Нисколько не стесняясь присутствием этих теней, Родзянко продолжал.

В такую минуту на обязанности лиц ответственных и поставленных высоко — спасти положение. Спасенье ещё возможно сейчас, сию минуту, — и оно в руках одного великого князя!

Всё отражалось на впечатлительном, отзывчивом и нетвёрдом лице Михаила. Он как будто удивился — но вместе как будто и обрадовался: частный житель Гатчины, правда и генерал-инспектор кавалерии, — вот уж он не ожидал, что может спасти Россию. Именно он?

И хотя трудно виделся в этих чертах властный спаситель России, — да, именно он! — с растущей надеждой, густо непререкаемо внушал Родзянко. Именно: из-за отсутствия Государя и трудности связи с ним — прерогативы невольно ложатся на Его Императорское Высочество. Он должен сейчас, немедленно, явочным порядком, не дожидаясь утверждения, принять диктатуру над Петро-

градом, понудить правительство немедленно уйти в отставку в полном составе, а от Государя потребовать по телеграфу дарования министерства, ответственного перед Думой. А уж Дума такое министерство сформирует мгновенно, в один час.

Родзянко гонко и настойчиво всё это выложил. Нисколько его не смущало присутствие здесь главы так называемого правительства: это правительство они, Дума, уже много раз гнали вслух и открыто, вот ещё один раз! Хуже этого бездеятельного Мариинского дворца нельзя было ничего придумать. Впрочем, Родзянко уже отведал и топкость, неустойчивость Таврического. И теперь между двух опасных болот нужно было найти одну твёрдую тропинку.

Оба министра настолько были ушиблены и потеряны, что и не пытались возражать в свою защиту. Однако резкое возражение услышал Родзянко позади себя: то был ещё к ним вошедший Крыжановский, ныне секретарь Государственного Совета, а годами виднейший государственный чиновник. Он теперь наступил с упрёками Родзянке, что тот арестовал Щегловитова.

Родзянку проняло, очень обидело, он обернулся и честно стал объяснять, что — не он арестовал, он сделать ничего не мог, потому что сила у толпы и почему-то у Керенского. (Вспомнил «революционный закон» Керенского. Отсюда, из Мариинского, особенно было ясно: какой может быть «революционный закон» за два часа? До сих пор это называлось террором.)

— А если так, — ещё возмущённей выговаривал всегда сдержанный Крыжановский, — если вы не хозяин даже у себя в Таврическом, то как вы берётесь быть хозяином в России?

Родзянко покраснел — и действительно не нашёлся возразить (про себя решив и челюсти стиснув, что сегодня же ночью он свой Таврический обуздает).

Крыжановский ещё продолжал, всё так же наступательно: что правительство уже пожертвовало Протопоповым. (Как?! Думцы ещё не знали!) Что правительство и само послало просьбу назначить диктатора Петрограда, но послало Государю, кто единственный только и может это решать. (Он — косвенно для великого князя это всё говорил.) А Дума тем временем — виновница и глава революционного мятежа!

Так некстати он пришёл и так энергично повернул — сбил всё впечатление от родзянковского плана. И не сразу найдёшься ему возразить.

Да что теперь Протопопов! — махал Родзянко. Это поздно, нужно было раньше на месяц: бушует улица, и её уже не накормишь Протопоповым.

Тем временем набрался духу и запуганный князь Голицын и оправдывался перед Родзянкою, что он нисколько не держится за власть, что должности этой он не искал, взял её против воли, — и вот сегодня час назад послали Государю коллективную просьбу об отставке. И пока ответа нет — они сидят тут, во дворце, и рискуют арестом.

— Так уходите, в чём дело? — широкой рукой смахивал их Родзянко.

О нет, возражал Голицын: государев слуга не может уйти с поста самовольно, это бегство, это позор!

Действительно, тут были границы, которые забываются, когда знаешь, как увязчива стала почва и как бушует улица.

А если великому князю удастся восстановить единовластие и порядок — правительство будет только радо.

Но — не с *этим* правительством порядок был нужен Родзянке. Всё совещание пошло не так, как он хотел. А взятые им думцы, хоть и не брать бы их, молчали. Молчал и самый левый кадет Некрасов в волковатой замкнутости, как он бывал.

А великий князь смущённо слушал раздоры, будто он был последний, кого это касалось, и не к нему было обращено главное увещание. Взгляд его был светлый, почти детский.

Родзянко, однако, не утомился — и снова доказывал, что он — не революционер, но планом своим именно спасает монархию. И нет другого выхода.

И Голицын стал уговаривать на помощь: да, пусть великий князь, хоть с превышением власти, но возьмёт на себя диктатуру — и тогда пусть сразу уволит правительство, оно согласно.

А великий князь чем дальше, тем больше слушал их не с решимостью, но с грустью. И с грустью, и с мягкостью наконец возразил. Он — всегда поступает, как надо для блага родины. И — готов. И — всегда сочувствует Думе. Но… Что от него просят — это было бы похоже на…

Не выговорил — *на что* похоже. Не хотел никого обидеть.

Так он отодвинулся, печально улыбаясь, и испытывал явное облегчение.

Но Родзянко знал, какой же камень была бы эта неудача, какой же камень опять на его плечи! Своею нерешительностью этот не-

складный великий князь всё губил! Упускались последние часы — и потом все будут жалеть! И для всей России будет поздно!

И — с новым напором уговаривал. Сейчас Его Высочеству есть ещё время собрать непоколебленные части гарнизона!

Ещё уговаривал — тщетно.

Ещё уговаривал — зря.

Ну хорошо, пусть так. Пусть Его Императорское Высочество не объявляет себя прямо диктатором. Но — *поговорить* со своим августейшим братом он может? Вот сейчас по прямому проводу? И всё это передать?

Может быть, и говорить не так хотелось великому князю, но тут — из вежливости, из уважения — он согласился.

И преобразовалось это так, что начали тут же сообща составлять длинный текст того, что великий князь должен передать в Ставку от своего имени. Помогал и Голицын, и Беляев, и Крыжановский. Поговорить с Государем брату — это все одобрили.

Как э т о в с ё назвать? *Движение.* Оно приняло *крупные размеры.* И собственное мнение великого князя, что надо уволить весь Совет министров, — и князь Голицын подтверждает это же самое. (А Родзянку при этом упоминать не надо, чтобы Государя не сердить лишний раз.) И великий князь полагает единственно неизбежным, чтобы Государь остановил свой выбор на лице, которое *облечено доверием…*

Общества? Нет. Великий князь за такое не брался. Нет… Которое облечено доверием Его Императорского Величества — но одновременно пользуется и уважением в широких слоях… И на такое лицо возложить обязанности председателя Совета министров. Совета, ответственного перед… ?

У Родзянки не было сомнения: перед Думой! Иначе — никакого шага вперёд не будет сделано. Иначе — к чему весь этот разговор? При нынешнем положении на улицах…

Поддержали думцы. Остальные — молчали.

Эта тяжесть ложилась на плечи Михаила.

По его извинительному виду нельзя было догадаться, как же он передаст.

Ну, хорошо хоть — согласился поговорить.

Положение, мол, чрезвычайно серьёзно, и не угодно ли будет Его Императорскому Величеству уполномочить своего брата безотлагательно объявить в столице о таком и таком решении?..

Великий князь не откладывал: встал, поблагодарил, всем ласково улыбнулся, всем пожал руки. Он собирался теперь к прямому проводу со Ставкой в Главный Штаб. Но осмотрительный Беляев предупредил, что это может оказаться опасно, к Дворцовой площади уже близки мятежники, уже наскакивали. А можно поехать к нему на казённую квартиру, в довмин (дом военного министра) на Мойке, там стоит такой же дублирующий подсоединённый аппарат, да великий князь будет и чувствовать себя привольнее. Отлично, поехал с Беляевым.

Расходились и остальные.

Родзянко был сильно раздосадован такой слабостью великого князя, его неспособностью к государственным шагам. Но всё-таки не без последней надежды, что из этого разговора что-то и выйдет. И что Михаил назовёт же Государю *его* кандидатуру. (Если были бы наедине — он внушил бы это великому князю прямей.) Родзянко просил Беляева непременно потом телефонировать в Думу, сообщить результат.

В ротонде думцы чуть постояли с министрами, собиравшимися на новое вечернее заседание. Министры все были в безнадёжном обречённом состоянии и все ждали, что вот-вот ворвётся толпа. Они и в Мариинский дворец не все на автомобилях прибыли, а сходились и пешком, чтоб не обращать на себя внимания.

Между ними прошёл слух, что в Мариинский пришёл Гучков. И он — мог прийти, как член Государственного Совета. Но что-то покоробило: это был как торжествующий налёт ненавистника. Говорили, и вид у него такой.

Родзянко уезжал, испытывая деятельное превосходство перед ничтожным безсильным правительством, всё запутавшим — и вот теперь подавшим в отставку. О, *его* правительство будет не такое! Оно властно повернёт Россию.

Они возвращались уже без охраны на крыльях, их грозные сопровождающие куда-то подевались. Их автомобиль теперь несколько раз останавливали мятежники или просто озорники. Но, узнавая, что едет Председатель Государственной Думы, — громко приветствовали и пропускали.

А один раз они сами остановились, и шофёр снова прикрепил красный флаг впереди.

Неудобно было воротиться без этого.

140

А ещё после всех передряг на Невском и на Знаменской площади памятной — остался Кирпичников опять один: опять ни единого знакомого лица — все разбились, перемешались, куда-то подевались.

А и вообще толпа редчала, загустило автомобилей, грузовиков, на них солдаты. Кричали тем автомобилям, глазели, махали.

Глядел на это всё Тимофей — и не верил: неужели это он один всё управил? Неуж вся эта чертопляска по всему городу с него единого началась?

И вот опять он один.

Этим вольным можно глазеть и махать, у каждого какой-то дом, и вопозднь все разойдутся. А куда — солдату?

Солдату — в казарму, известно. Но куда — мятежному первому унтеру, зачинщику всей заворохи Тимофею Кирпичникову? А что, если в своей казарме как раз его ждут и схватят? Ночью, спящего — и схватят?

Лучше б не туда идти.

А больше некуда.

Взъерошил Тимофей целый Питер — а ни одного друга и заступника во всём Питере у него нет. Вот подкатит к военному суду, и ни у кого не спрячешься.

Так ли, сяк ли, раздумывая — а ноги сами его понесли к казармам. По Надеждинской.

Тут — волынцев увидел, троих, стоят. К ним. Курят, весёлые. На улице сласть солдату покурить, ведь до се запрещали. Нет, чужие, совсем незнакомые. Говорят — про раззор, про раззар.

Ни у кого и не спросишь, не посоветуешься.

Постоял с ними, дальше пошёл.

На углу Бассейной подумал — делать нечего, повернул к себе.

Сбоку так, подходя.

Фонтанная. Глушь уже, никто не ходит, где это всё многолюдство осталось? На главных улицах.

Ну, никого.

И сколько сегодня Кирпичников безстрашно шёл против солдатских цепей, против стрельбы, насколько утром превозмог всю тягость страха — а вдруг вот тут стало сердце сжимать.

Да шутка ли? Первый бунтовщик — и вот он шёл в казарму один, без подмоги, без защиты, без проверки, — захватят, и всё.

Вошёл в Виленский переулок — опять никого. И перед воротами часовых нет.

Вот попал! Сегодня утром здесь он вёл всю учебную команду строем — «умирать за свободу!». И разворачивал в узине переулка — и вот вернулся одиночкой, трусящим ареста.

Нет, не мог он своими ногами отнести голову в капкан.

Вот попал! Побрёл назад по Фонтанной, теперь по Бассейной в другую сторону, потом по Греческому, — опять никого.

Ну, хоть на снегу ночуй!

А морозик — ничего, берёт.

Только на углу Греческого и Виленского встретил своих из учебной команды.

— Ну что там у нас, ребята?

Только сейчас заметил: голоса совсем нет, охрип, всё выкричал.

— А ничего.

— В порядке?

— В порядке. А что?

— Ну, все дома? всё тихо?

Не стал им даже объяснять, что он тут раскладывал.

— Айдате!

Двор. Где лежал Лашкевич, уже убрали.

Лестница, которую думал пулемётами защищать, только как-нибудь в казарме продержаться бы, большего не чаяли, большее казалось несдвижимо.

А только чуть пихнули, одной учебной командой, — и пошло. И — погрохотало.

В помещеньи команды — увидели его, закричали. Тут и Канонников, и Бродников. А, мол, фельдфебель! Думали, что уже убит.

Чаю поднесли горячего.

Сел Тимофей на свою койку — и с такой охоткой попил, с такой охоткой, сладкий.

Прочнулся: дежурных-то офицеров нет? Нет. Не, братцы, так не годится, так нас схватят. А ну-ка, дозоры высылаем по соседним улицам. А — только половине раздеться на ночь, а половине — спать в шинелях, в сапогах, с винтовками.

Заворчали, заворчали ребята: на кой они, дозоры? На кой это — на ночь не раздеваться?

141

Часть офицеров-московцев, свободная от своих подразделений, — перед вечером ушла через Большую Невку в расположение гренадерских казарм.

Остальные ходили по офицерскому собранию, не находя себя.

Нападения больше не было — и стрельбы не было.

А по плацу уже свободно расхаживали и свои солдаты, и чужие, и штатские.

Капитан Яковлев снова собрал в библиотеке оставшихся офицеров — кроме братьев Некрасовых, это были сплошь прапорщики. И объявил, что бороться дальше надо не стрельбой, а словами. А для этого всем сейчас, на ночь, разойтись по ротам, в какие придётся, заменяя отсутствующих, — и там убедить солдат к порядку, и даже самим остаться там ночевать.

Даже Некрасовы удивились, а у прапорщиков вытаращились глаза: только что стреляли в этих солдат — и по одному разойтись к ним в роты?

Но, пожалуй, Яковлев был прав: если не бежать из батальона прочь, то ничего другого и не остаётся. Странная особенность войны против своих…

В 4-ю роту пошёл её командир штабс-капитан фон Ферген, весь день просидевший с караулом в клинике у Сампсоньевского моста. Он был для роты новый, всего месяц как с фронта, но рота уже знала и любила его.

Братья Некрасовы пошли бы в 3-ю роту, где больше всего было фронтовых солдат, — но как туда идти, если именно по ним стреляли днём? Пошли во 2-ю роту. Там тоже были кадровые унтер-офицеры, после ранений, кого Некрасовы хорошо знали. С капитанами и маленький Павел Греве, прапорщик, совсем ещё мальчик, недавно из кадетского корпуса.

Пошли, только револьверы оставили в собрании.

Вступили в ротную дверь — не раздалось воя, не произошло нападения, но дневальный громко скомандовал и отдал обычный рапорт, а штабс-капитан Некрасов отдал «вольно», хотя на «смирно», кажется, и не стояли.

И как будто не было во дворе стрельбы — вот, стояли солдаты в русской военной форме, и даже любимого Московского полка, с русским языком, многие бородатые запасники, невооружённые

новобранцы, только что от семей, — и ждали разъяснения и успокоения от отцов-офицеров. Во много рядов тесно сплотились кругом. Даже доверчиво.

Всеволод опирался на палку, маленький Греве таял, говорить было Сергею. И он теперь понял, что прав был Яковлев: никакой стрельбы сегодня вообще не было, это наваждение. А стоял их запасной полуобученный батальон в странной полувоенной обстановке.

И Сергей Некрасов, со своего роста хорошо всех видя, возвысил голос и чисто, звонко предложил успокаиваться, укладываться, утро вечера мудреней. (И самому так хотелось этой покойной ночи для раздумья и опоминанья.)

И с мужиков многих того было достаточно: они как бы прощёнными себя почувствовали за то, что поволновались сегодня, кто из казарм не выходя, а кто и побегал по плацу, — и теперь могли разоболокаться на ночь.

Но так просто не кончилось. Солдаты многие и расходились по нарам — а унтеры, напротив, приступили тесней, объясниться. И с ними тоже часть солдат.

Они, мол, унтеры, попали хуже всех, между двух огней. С одной стороны — присяга, им ли не понимать? А с другой — как же в толпу стрелять? Там же и бабы, и мальчишки, и все русские. Господам офицерам никакого зла не желамши, всегда защитят их от толпы. Но *вольные* — приступают, наседают, требуют разоружить офицеров, а иначе пушки привезут и все казармы им разнесут.

Некрасов встретил глаза Тарамолова, с кем под Тарнавкой опирались плечом, и у обоих Георгии оттуда:

— Ну ты-то, Тарамолов, неужели веришь? Какие пушки, кто разнесёт?

В пушки Тарамолов не верил, улыбнулся, — но какая-то сильная неназываемая причина была у него, как и у всех, — причина, которая кончала их прежний быт полка, ведомого офицерами:

— Ваше высокоблагородие, всех не перевозьмёте, от всех не отстрелитесь. Конечно, *им* отдать оружие вам не мочно, и мы такого не вносим. И они хотят оружию забрать, чтобы, может, вас перебить, да. Но отдать оружию *нам*, с кем вы вместе под немецкой проволокой лежали, вам никак не зазорно. Вы нам отдайте, а уж мы вас, своих, защи́тим. Мы вольным скажем, что вот разоружили — и пусть ко́тятся. А чего ещё придумать, ваше высокоблагородие?

Убеждённая его речью, уверенно и доброжелательно загудела унтерская кучка, подпёртая и солдатами. Эта доброжелательность уже была чудо — после сегодняшней стрельбы, разделившей их во врагов.

И эта доброжелательность сразила Сергея Некрасова. Чего б никогда он не сделал ни под какой угрозой, чего вообразить не мог в своей офицерской карьере — за несколько небывалых часов перепрокинулось и оказалось движением доверия и дружбы.

Переглянулись с братом Всеволодом. Убеждён был и он. Да ему-то — шашки не отдавать, только палка при нём.

Штабс-капитан Некрасов вытянулся. Прижмурился. Нахмурился.

Отстегнул шашку. Протянул Тарамолову.

И маленький Греве отстегнул — и отдал бережно.

И загудели, загудели мужики с одобрением.

И опять Некрасов почувствовал себя со своими солдатами — заодно, как и был всю службу.

Расходились солдаты спать. И офицерам теперь тоже следовало остаться ночевать здесь.

Но совсем не оказалось места — нары в два этажа и все набиты, ведь роты по полторы тысячи.

В ротной канцелярии? Тесно. На одного место, на писарской кровати.

Но они уже успокоили роту — и можно бы уйти.

Однако — зачем же тогда оружие отдали?

И уже назад не спросишь.

Как обворованные, с острым ощущением ошибки — вышли наружу.

Да, собственно, не их это и рота: Всеволод заведывал школой солдатских детей, а Сергей, как батальонный адъютант, лишь штабными писарями. Так что они и свободны.

Но — куда ж теперь? Стали на плацу.

В собственной адъютантской квартире — стёкла выбиты, гуляет мороз, и разгром.

По тёмному плацу мелькали чужие одиночные фигуры, которым по распорядку и времени не быть бы.

Да ведь одни ворота свалены. И часовых нигде нет.

Вспомнили Некрасовы: в новом офицерском флигеле — пустая квартира штабс-капитана Степанова, командира 3-й роты, уехавшего лечиться на Кавказ.

Пойти к нему.

У швейцара собрания взяли ключ и велели говорить другим офицерам.

142

Если бы Государь прошлым летом послушался советов генерала Алексеева, то уже давно всем тылом руководил бы единый министр-диктатор, и не произошло бы ничего похожего нынешним недостачам и уличным безпорядкам. Но все области тыловой жизни и отрасли руководства находились в разных несогласованных руках.

А если уж так, то, вероятно, лучше бы, чтоб этими руками были доверенные руки общества, нежели избранные в потайках Царского Села, — не возникало бы добавочного враждебного напряжения с обществом. Отчего уж и не дать всеми просимое и разумное министерство из общественных лиц, за какие такие таланты Государь предпочитал своих слишком случайных министров? (Дать — добровольно, не так, как предлагали заговорщики, приезжавшие зимой в Севастополь.)

А теперь трубил Родзянко, подглашал расчётливый Брусилов, вот с опозданием в сутки присоединялся к той же просьбе и осмотрительный, двуличный Рузский, — однако время ли принимать столь серьёзное решение в этакой суматохе?

Теперь, по упущенному, надо было весь день ходить из штабного дома в дом Государя, носить сверхважные телеграммы растерявшихся генералов. Теперь вот во главе всех идущих войск назначался Иванов. Уж его ли не знал Алексеев, достаточно послужа под ним и в Киевском округе, и на Юго-Западном фронте: никакой полководец, никакой стратег, панически склонялся сдавать Киев, совсем несовременный генерал, даже никудышный, только представительство — красиво молча гладит бороду и отечески разговаривает с солдатами. К нынешней роли он совсем не годится.

Но и знал Алексеев, что именно в выборе лиц, в личных назначениях Государь и бывал особенно настойчив. И в них приходилось Алексееву уступать. Если ему уж так понравилось… Почему начальник штаба должен был и тут исправлять выбор императора?

Да и действительно так сразу и не придумаешь никого, назначение неожиданное — и масштабное.

А можно восполнить недостатки Иванова тем, что потребовать от фронтов назначать во главе посылаемых полков и бригад — подлинно боевых генералов.

Не хотелось, не хотелось снимать с фронта значительные силы перед самым наступлением. Ведь их потом так быстро не вернёшь. Любил Алексеев иметь все полки на своих местах.

Впрочем, и понимал, конечно, что сегодня — фронтовая обстановка позволяла снять сколько угодно войск.

Ещё ж и познабливало, и подмучивало грудь и голову. Перебарывая, Алексеев сидел за столом, подыскивал войска, где — из резерва, это лучше, где и, нехотя, снимая даже с боевой линии.

С трёх фронтов брать примерно по два пехотных и по два кавалерийских полка. С Северо-Западного оказывалось удобно и быстро послать твёрдую бригаду 1812 года — лейб-Бородинский и Тарутинский полки, стоящие в резерве. Через две ночи и один день, на рассвете 1 марта они могут быть уже в Петрограде. Почти сразу за ними поспевают, тоже с Северо-Западного, Татарский уланский и Уральский казачий полки. Сутками позже добросятся с Западного фронта Севский и Орловский пехотные полки, один гусарский и один Донской казачий. Наконец, если будет неизбежно, — снять с Юго-Западного, из армии Гурко, гвардейские полки, хотя бы даже и сам Преображенский.

Проще было предоставить выбор полков самим Главнокомандующим фронтами, но, по своей въедчивой манере работать за подчинённых и всё самому знать до точки, Алексеев всё выбрал и назначил сам. Не мог он спокойно жить часа, не зная, какой же именно полк убудет.

В девятом часу вечера Алексеев аппаратно переговорил с начальниками штабов Северного и Западного фронтов. Хоть и мало сочувствуя всей затее, он, однако, отдал приказ недвусмысленный: войска отправить с возможной поспешностью, минута грозная, это вопрос нашего дальнейшего будущего. И послать генералов *прочных*.

Приняв решение, теперь уж нельзя было колебаться. Конечно, Ставка совсем не приспособлена к такой задаче — бороться с внутренними волнениями. Это не лучший исход гражданского кризиса, но тоже вполне возможный. Он обещает несомненный успех: в Петрограде нет войск, сравнимых по качеству с посылаемыми. Что такое восстание нескольких запасных необученных и почти невооружённых батальонов в изолированном углу страны, когда вся вооружённая Действующая армия остаётся верна? И вся Россия остаётся покойной? К тому же на дни дезорганизации Петрограда Ставка, благодаря присутствию в ней Государя, может взять на себя не только военное управление фронтами, но и полное государственное управление страной.

После этого, уже в одиннадцатом часу, Алексеев телеграфировал в Петроград военному министру о назначении генерал-адъютанта Иванова, о высылке с ним войск на Петроград и просьбу сформировать для Иванова штаб.

Эта телеграмма едва только была передана по прямому проводу в дом военного министра на Мойке — как оттуда донесли, что великий князь Михаил Александрович просит генерала Алексеева подойти к прямому проводу.

Брат царя! Неожиданность.

143

Генерал Николай Иудович Иванов возвысился из самых нижних слоев, происхождение его не было прозрачно известно, так что одни родовитые недоброжелатели утверждали, будто он из беглых каторжников, не то каторжник был его отец, другие — что он из перекрещенных кантонистов, отчего и отчество у него осталось Иудович и фамилия придуманная Иванов. А когда уже достиг он высоких постов и журналы печатали его фотографии в усеве орденов, то подписывали: «дворянин Калужской губернии». Но обликом своим выражал он подкупающую простонародность — на кочанной коротковолосой голове да лопатная чёрная с сединою борода и простовато выставляемый взгляд. И в самом распорядке дня своего: очень рано вставал и ходил по штабу корпуса, порта, округа или фронта, чем командовал, — как по крестьянскому двору, высматривая недостатки и поднимая на распёку. И та же простонародность в манере говорить, а ещё больше — умно молчать, поглаживая бороду. И известна была его отеческая попечительность к солдату. И Государю он никогда не высказывал никаких неприятных соображений, а был безхитростен и душевен. И от Турецкой войны, и от китайского подавления, и от Японской, и особенно от

этой войны — каких только не было у Николая Иудовича орденов, Георгий 2-й степени лишь у него и у Николая Николаевича. И так прочно сидел Иванов на командовании Юго-Западным фронтом, что поражён был своим внезапным отрешением с него год назад. (И ничем другим это нельзя было объяснить, как интригой и местью неблагодарного Алексеева, которого он же, Иванов, и в люди вывел.) Тяжко было ему проститься со своими войсками.

Но снять с такой высоты его сняли — а куда же было переставить? Никуда ниже уже нельзя, а равные посты — заняты, а выше посты — только Алексеев да сам Государь. Придумать заменительный пост было никак не возможно. Но тут выручило благожелательство Государя: генерал Иванов был поселён при Ставке в своём отдельном, удобном, хозяйственно устроенном вагоне (а женат он не был), так что распекать по утрам мог теперь разных встречных воинских чинов на станции Могилёв, а все обязанности его за минувший год были: являться к некоторым императорским обедам.

И сегодня был приглашён. И, тщательно помывшись, собравшись, препоясав своё хотя и объёмное, но совсем ещё здоровое тело, он надел китель со всеми крестами и орденами, прицепил золотое оружие с бриллиантами и поехал в присланном ему автомобиле. И принят был как никогда почётно, и посажен по левую руку Государя. И государевой милостью был приглашён к рассказам о прошлом, как он успешно давил волнения в 1905 году.

Тут генерал внутренне стал смекать что-то нехорошее, при вытяжке его долгой жизненной школы он всегда жил настороже. А тут ещё были какие-то дурные вести из Петрограда, генерал прежде того не придал им значения, а за обедом не поясняли. Но всё это на ходу соединив, Иудович в рассказах стал выставлять себя помягше, поотечественней, несручным к грозному моменту, — и надеялся, что всё и кончится этим обедом и этими рассказами.

Однако после обеда Государь позвал его к себе, закурил из своего коленчатого мундштука, пенковая часть для папиросы, золотой скрепляющий шарик, а янтарная часть в губы, — и, стряхивая над пепельницей в виде старинного русского ковшика, торжественно объявил генералу, что он назначается Главнокомандующим Петроградским военным округом вместо Хабалова и должен немедленно туда отбыть, о чём получит инструкции у Алексеева.

Куда как лестно. И до чего неожиданно. И как же спокойно, оказывается, Николай Иудович жил до сего дня! Горько захватило

дух генерала. Перед лицом Государя он должен был сохранять выражение прямоты и честной готовности послужить и пострадать, но внутри него всё опало: трудно было не понять, что им хотят откупиться, посылают его мало что в опасность, но в самую неловкую, затруднительную и может быть позорную миссию.

И чем больше вдумывался, тем грозней понимал все опасности своего назначения. Вот какое складывалось: если генерал-от-артиллерии Иванов успешно подавит волнения — он навсегда прослывёт карателем, и его убьют террористы, и уж во всяком случае заклеймит общество, так что не будет жизни. Тем более укорительно будет его положение, что Государь вряд ли сохранится твёрдым, а вот-вот уступит ответственное министерство, — и от нового министерства Иванову тем более не будет жизни. Если же волнения так велики, что подавить их уже нельзя, то положение генерала тем более опасно: ему не простят такого шага против Освободительного движения, а могут даже и повесить.

Со всех сторон рассуждая, его поездка была опасной и ненужной. Но, состоя на государевой службе и будучи доверенным лицом, он не смел выказать своё уныние или колебание. А что решил про себя: во всяком случае замедлять поездку, сколько будет возможно. Опыт жизни говорил: во всех случаях, когда прижимают, самое верное — это затягивать.

И неприятно было получать задание от своего бывшего подчинённого.

Алексеев давал ему с собой Георгиевский батальон. Ребята славные, но что ж это за войско, они привыкли состоять для парадности, да и мало их. Правда, обещал Алексеев придать к ним по пути ещё пулемётную команду. Изучили перечень придаваемых частей с Северного и Западного фронтов и когда они смогут поступить — 1-го марта и 2-го. Да есть ли уверенность в тех частях? Алексеев уверял, что самые надёжные. Так что, восемь полков? Мало! Настаивал Иванов высылать и с Юго-Западного ещё три полка.

Но чем больше частей, тем трудней их собрать и тем, очевидно, позже надо выехать самому. (К счастью, никто ему пока точно не указывал, когда выехать.) Кроме того, местом выгрузки частей правильно давать не Петроград, но расположить их по дальним окрестностям.

Так утро вечера мудреней? — завтра утром генерал Иванов ещё раз придёт?

Алексеева знобило. Он не возразил.

Ото всех неприятностей Николай Иудович поехал пока к себе на станцию, в свой уютный вагон. Уж давно пора и на боковую.

События в Петрограде протекают быстро, может завтра вся эта поездка уже и не понадобится.

144

Не успел Саша осмотреться в диковинной обстановке входного зала дворца, где связки ручных гранат лежали подле бочонков с селёдками, ящиков с яйцами, но этой необычности больше всего и радуясь, она-то и была верный признак революции! — как к нему направился маленький, сухой, безбровый, заострённый — Гиммер! — вот так удача! Пригодилось знакомство!

Узнал:

— А-а… Ясный! — оживлённо принял. И повёл, и повёл его по коридору, довольно многолюдному — куда? — в штаб обороны!

Штаб Обороны? Ну, не мог Саша попасть центральней! Чего ещё может желать в революции сердце! Он вошёл в эту комнату с сияющими глазами, даже мурашки по спине — от сбывшейся невозможности!

Это была просторная комната под сверкающей люстрой, кабинет кого-то значительного, дубовый письменный стол, а на других столах и креслах бархат, — а в комнате всего несколько человек — один моряк, лейтенант, один пехотный прапорщик, четверо солдат с винтовками в шинелях и неснятых папахах, в таком тепле, — и один штатский в поношенном пиджаке, с кислым, тяжёлым лицом. (Сашу толкнуло предчувствие, что это — революционер, только что вышедший из подполья.) И именно он оказался здесь старший. Гиммер указал ему Сашу, а после двух-трёх сашиных ответов ушёл.

Масловский требовательно смотрел и спрашивал: из какой части и есть ли у него в повиновении солдаты. Разочаровался, что из учреждения, но обрадовался, что солдаты — есть, человек 15, и все тут. (Саша отвечал уверенно, но, вспоминая случайность своей гурьбы, не мог бы поручиться, что через полчаса они ещё будут перед дворцом.)

А ещё из принадлежностей штаба был у них план Петербурга, неаккуратно вырванный из справочника и разложенный на столе

в ярком месте. Сидели как попало вокруг, и Масловский спрашивал того прапорщика, а потом солдат, а потом и Сашу, что они знают о расположении воинских сил в городе.

И Саша, который бывал же в армейской обстановке, всё-таки видел, как офицеры работают по картам, как наносится боевое расположение, — вдруг испытал к этому *штабу* — жалость и гордость. Жалость, что революция должна начинать с такой ничтожности: вырванный гражданский план, никаких цветных карандашей, планшетных досок, измерителей, штаб — на уровне солдат и прапорщиков, и ни один присутствующий не может толком сказать ни об одной неприятельской части, а о своих — всем известно, что рассыпались и их не существует, — а во главе их всех не полковник и даже не офицер, а — штатский. Но гордость: что они и с этим возьмутся начать — и ещё смотри победят! Что Революция — нарушает все правила, она — хулиганка, ей дозволено недозволенное, даже невежественное, — и всё равно она победит, такова инерция истории!

Тут вошли и выкликнули солдат на заседание Совета депутатов — они, оказывается, и пришли ни в какой не штаб обороны, их ткнули сюда временно для разговора, — а теперь пошли на Совет.

Только что удивлялся Саша, что набран штаб из солдат, — а вот уже и солдат не стало.

И осталось их четверо, а из оружия — три револьвера да две шашки, на лейтенанте Филипповском не было и кортика, зато оказался он давний эсер и даже из боевой организации, Сашу очень к нему повлекло. А прапорщик был какой-то совсем глупенький и даже не петроградский, он только сегодня с поезда, ехал из Вологды и попал во всю эту кашу, никого ничего здесь не знал, но готов был участвовать.

Оттого что их так мало теперь осталось, Масловский и Филипповский не отъединились от них, а обсуждали вслух тут же, что ж была за обстановка. Обстановка получалась такая: движением совершенно не затронут Васильевский остров, занятый Финляндским батальоном, — и не принято никаких мер к разложению его. Петербургская сторона только начинает осваиваться. На Выборгской стороне сопротивляется самокатный батальон. По всему остальному городу положение вполне неясное. Все казаки, и 9-й конный полк, и гвардейский экипаж, и семёновцы, — у себя в казармах, пока нейтральны, но могут выступить в любую минуту на любой стороне, да если выступят — то против нас, потому что за

нас только те части, которые отказались повиноваться, рассыпались, — и значит, больше не существуют. Все *наши* войска — не существуют. Петропавловская крепость занята правительственными войсками, её пушки наведены, но пока не стреляют. Ни об одном военном училище не известно ничего — и все они могут выступить против, вероятней ожидать так. Какие-то войска днём строились у Зимнего дворца — значит, они хабаловские, все кто в строю — уже не наши, у наших строя нет. Вообще силы Хабалова абсолютно неизвестны, они собраны где-то в центре города, намерения их неизвестны. Днём они пытались продвигаться по Литейному, но продвижение их задержали толпы, в толпы они стрелять не решались, и их заглотило. Но сейчас с темнотой толпы уже расходятся, улицы очищаются, — и у нас не остаётся никакой защиты, и противник очевидно перейдёт в решающее наступление. С нашими солдатами мы не защитимся, мы их просто не сумеем построить, да их, очевидно, от Таврического и отвести нельзя, они не пойдут. Уж тем более у нас нет ни конницы, ни действующей артиллерии, есть пушки для украшения, четыре пулемёта — не могут стрелять, без глицерина, — и нет никакой ни с кем связи, кроме городского телефона. Телефонная станция на Морской хотя и в руках хабаловцев, и под самым их штабом, но, удивительно, отвечает на все вызовы Таврического! Вероятно, потому они так делают, что подслушивают нас. Они могли бы выключить всю сеть — и мы вообще стали бы слепы и разъединены, — а у них-то для связи остаются военно-полицейские провода на отдельных столбах. Наконец, у кого все южные вокзалы, что на них делается — тоже неизвестно, в любую минуту там могут выгружаться царские войска, а мы не только безсильны препятствовать, но даже ничего не узнаем.

Положение было — вполне катастрофическое, по правилам обычных войн впору было — просто разбегаться, пока не захватили и не повесили их самих. Но Революция — хулиганка! Саша испытал даже дикую радость, что всё так плохо, это — как музыка была зовущая, есть какое-то особенное веселье — веселиться не от хорошего, а от плохого: перевеселиться катастрофу — и победить её! Он-то — полдня сегодня воевал, и побеждал, и знал уже воздух улиц, — этот воздух и был за них, хотя и не размечается на военных картах.

— Вы разрешите — ходить? — спросил он у старших и стал нервно ходить, хотя и не курил, он в движении этом, по ковру, уже зашлёпанному солдатскими оттаявшими сапогами, предвидел что-то найти. Вот будет юмор, если он придумает сейчас спасение!

Тут вбежал другой подвижный штатский и привёл им ещё одного пехотного прапорщика, а заодно сообщил, что в сквер въехал броневик, находится в их распоряжении.

Вот! броневик! Дела поправлялись.

Но новый прапорщик — ничего им не помог, он не знал, где какие части. А вологодский и даже ни одной петроградской улицы не знал. Чёрта с такой помощи и с таких прапорщиков.

Филипповский курил над картой, а Масловский не курил, как и Ленартович, но тоже стал нервно ходить.

— Тебе, — сказал он Филипповскому, — поручим защиту Таврического. Надо как-то эти противоаэропланные пулемёты привести в порядок да как-то расставить. А то — налетят!

Филипповский дымил, дымил над штатской картой.

— Надо будет собрать охотников из солдат перед дворцом — и пойти двумя командами на Николаевский и Царскосельский вокзал, если не занимать, то для разведки. Двое из вас пойдут, — говорил Масловский.

Что ж, это чудесная задача — занять целый большой столичный вокзал! Саша подтверждал, что готов идти, но… но… Он искал, вот уже близилась, крутилась в голове какая-то ещё более великая задача.

А Масловский — за это время как-то подтянулся. Настрожился. Остановился у мраморного камина. Будто прислушался. Одной рукой держался за полку, другою стал помогать своим рассуждениям:

— Вся сила — конечно, на стороне Хабалова. На нашей — одна революционная атмосфера. Но именно тут он и проигрывает! Потому что он — колода, и не знает опыта революций. Он концентрирует свои войска в самом центре города — это ошибка! Столица — всегда пылает революционной атмосферой, и здесь его войска рассыпятся! Опыт революций показывает, что правительственные войска побеждают тогда, когда вырываются из заразительной зоны столицы — и потом обкладывают её или, во всяком случае, наступают извне.

Так удачно он это высказал, такая создалась красивая, умная минута: и всё теряется от промедления — и хочется поговорить! От этого напряжения постигла Сашу догадка, хотя кажется и связи

тут не было. Он резко остановился, посреди кабинета, повернулся к Масловскому и сказал звонко, гордо, сам отчётливо ощущая свой тон:

— Скажите, а где же находится так называемое правительство? Почему мы его нигде не чувствуем?

— В Мариинском дворце, — ответил Масловский.

Ответил, а ничего у него не родилось! И Филипповский поднял глаза в дыму — ещё не охватил.

— Так дайте мне броневик, и ещё грузовик! — вскричал Саша радостным постижением, чтоб только никто раньше этого не высказал. — И я возьму свою команду и ещё наберу охотников — и поеду арестую правительство! Или — разгоню его к чертям!

Все смотрели на него с изумлением. Но и с растущим уважением.

— Но вокруг Мариинского, вероятно, крепкая защита.

— Если крепкая защита — постреляю, попугаю и уеду. Но я сегодня целый день на улицах и уже несколько зданий взял! Я убедился, что это очень легко! Что защитники старого строя сдаются в одну минуту!

Да ещё несомненное: нападение — лучший способ обороны! Раз у нас всё так плохо, незащитимо — так наступаем!!

Ну что ж? Ну что ж. — Переглянулись, подумали. — Ну что ж! Если вы предлагаете сами, если вы к этому готовы…

Саша — сейчас был готов ко всему! За сегодняшний день он понял сладость действия. И не боялся — нисколько. Да тот, кто смело действует, — совсем и не находится в самой большой опасности.

Правда, с броневиком он никогда в жизни дела не имел. Но он почти и ни с чем в армии дела не имел. Это всё — освоится.

Главное — дерзость, мгновенность, сейчас — и ехать, сейчас и схватить, пока они этого не ожидают. Арестовать правительство — и кто у них останется? Один Хабалов?

Мысль всё больше нравилась. Но, кажется, колебался Масловский, по силам ли прапорщику арестовать правительство?

Вдруг — раскрылась дверь, и никем не представляемый сам вошёл блистательный, с отличной выправкой, звеня шпорами, отстукивая сапогами, и доложился:

— Ротмистр Сосновский, гусарского полка! Отдаю себя в распоряжение революции!

И перед кем? перед младшими, перед штатским — ещё задержался в отлично откинутой чести, поражая их.

Все вскочили. Все сразу почувствовали природного военного! Начинало, начинало переходить царское офицерство!

Знакомились, все за руку. И какой симпатичный! — пушистые белые усы, живые остроумные глаза, роскошные рулады голоса, весёлая манера говорить, — просто очаровал и подбодрил их всех.

И Масловский, не теряя времени, предложил ему возглавить экспедицию на Мариинский дворец.

И Саша даже ничуть не обиделся: такое подчинение — по праву, и даже насколько легче ему будет с оружием и с распоряжениями. Да вот уж от чего он был ну совершенно свободен, это от какого-нибудь тщеславия, я или не я, кто старший. Он испытывал никогда не знаемую радость — служить, полностью отдавшись, ничего для себя.

Для себя — хоть смерть. Нет красивее смерти, чем в революцию.

Быстро распределили: Сосновский с Ленартовичем берут броневик, грузовой автомобиль, набирают солдат — и едут штурмовать Мариинский дворец. А два прапорщика, если наберут себе охотников в команды, — едут на Николаевский и Царскосельский вокзалы, тоже в автомобилях, автомобили близ дворца стоят какие-то.

А ещё из кого-нибудь собрать бы разведку в сторону телефонной станции и штаба Хабалова?

Сосновский и Ленартович дружно крупно зашагали по коридору. Саша наслаждался этой ровностью их движений, наслаждался, что он нравится всем, что у дела, что — настоящий военный и именно потому причастен к событиям. А Сосновский — какую-то несдержанную шуточку отпустил по поводу курсистки, промелькнувшей мимо них, даже протянул руку к ней, задержать. (Вот уж, гусар, нашёл время.)

Снаружи, в сквере, ещё сгустилось автомобилей и солдат, и разведено было несколько костров. Нашли они предназначенный броневик. Шофёр броневика сразу согласился ехать, а шофёр грузового требовал письменного распоряжения от депутата Керенского. Нашли другого, кто согласился без письменного.

Саша стал кричать: «Моя команда!» — пошёл к тому месту, где их оставил, там были другие, но не свои. Тогда он стал ходить от

костра к костру и выкрикивать просто добровольцев на операцию, разумеется не называя какую. Сразу не шли, спрашивали: пешком или на моторе? Узнав, что на моторе, — некоторые покидали костры и шли за ним. Один закричал: «Только я на крыле!», и второй: «И я на крыле!», — значит, почётно лежать на неудобном крыле, высунув штык вперёд.

Перед посадкой Сосновский ещё раз и совсем уже не к месту сказал какую-то пошлость на женскую тему, так вольно, что Сашу покоробило.

Но от этого недостойного повода вдруг толкнулась его мысль к Еленьке. И садясь рядом с шофёром, уже под заведенный рычащий мотор, с дюжиной солдат за спиною в кузове и перед тем как рвануть с места, он подумал о ней с новым чувством: не в том унизительном уговаривании, как проходили их последние встречи, но с властным чувством права: он выбрал её — и будет она его! по его воле, а не по своей!

Нет, что-то замечательное есть в войне! Революционной, конечно.

145

По дороге в Таврический привязался Гиммер и неумолчно болтал. Страх не любил Шляпников этих заумных книжных теоретиков, которые напильника или резца держать не умеют, револьвера — брать не брали в руки никогда, но наговорят тебе семь ворохов о пролетариате и о том, как революцию делать. Ты — пересекал границу под Полярным Кругом, ты таскаешься каждую ночь по новым ночёвкам, измучен от бездомья, от безсонницы, — а они в своей чистой одёжке, на чистой квартире, по своим паспортам, ходят в чистую контору — а теперь первые кинутся в прорыв, захватывать места.

А в эти несколько часов от предполудня до сумерок и произошёл великий Прорыв, которого и Шляпников-то всё не мог осознать, дотрясти себя до него, вот ещё на пути к Таврическому, озираясь, всё домекал: так — прорвало до конца? Всё, что загораживало нам годы, — и прорвало?

Но тогда, смекай, менялось и положение партий, и положение лиц.

Соревнование между партиями было и прежде, постоянное, но всегда в пользу левых, интернациональных и боевых, так что состязаться по-серьёзному приходилось только с межрайонцами, то и дело выхватывающими лучшие острые лозунги, ну отчасти с инициативниками, — а все остальные меньшевики, оппортунисты, оборонцы, гвоздёвцы всегда были в ауте, не говоря уже о трудовиках и об энэсах. (А эсеров вообще не было.) Но вот, если произошёл Прорыв, то сейчас, жди, в часы и минуты будет решаться совсем новая расстановка сил, кто какие места захватит. Прежние подлинные заслуги теперь станут ничто, а надо — вот сейчас захватывать.

И Шляпников — как никогда отвечал за то, чтоб не растеряться. Перед теми своими отвечал, кто вернётся из Сибири, из-за границы. И перед Лениным особенно, Ленин не простит никакого промаха.

И хорошо, что он поспешил в Таврический в первые же вечерние часы. Тут уже хорохорилась и петушилась вся мелкобуржуазная и литературно-социалистическая публика. Из рабочих районов — никого, а эти, кого давно что-то не видели, так и летели, как мошкара на огонь, носились из комнаты в комнату. И с большой значительностью расхаживали *выпущенные из тюрем,* хотя просидели кто три недели, как Рафес, кто две ночи — как Капелинский. Среди других как именинник болтался Хрусталёв-Носарь с шашкой на боку — и лез ко всем с объяснениями, что ему ещё сегодня утром грозило три года каторжных работ и что он с Пятого года несменённый председатель Совета. И важно расхаживал крупнотелый Нахамкис, два военных года просидевший в обывательском футляре. Все уже носились с красными розетками, бантами — и хотели в 7 часов вечера поскорей открывать заседание Совета рабочих депутатов, и все интеллигенты требовали себе мандатов в Совет. Конечно, настоящих выборов на заводах и не могло пройти в сегодняшней суматохе, но хоть кого-то же дождаться рабочих, просто неприлично. Еле Шляпников их пристыдил, уговорил передвинуть открытие на 9 часов. (Про себя рассчитав, что пока, при здешнем составе, у большевиков никаких позиций не будет, и даже сам он не пройдёт в Исполнительный Комитет.)

Отговорил — и кинулся к свободным телефонам: разыскивать и созывать своих. Но все они были на улицах, в событиях — а тут меньшевицкие прыщи стянулись расхватывать исторические роли.

Тем временем в большую комнату сносили стулья, табуреты и пёрли любопытные со стороны, пришлось часового поставить на дверях. Кому выписали мандат, кому нет, — собралось всего до полусотни. Большевики не подоспевали, всего один-два. Удивительно, что и пробойных межрайонцев не было, и их бешеного Кротовского. Зато был такой же бешеный Дмитриевский-Александрович, эсер.

Открывать собрание полезли сразу и Соколов, и Эрлих, и Панков. Соколов, с распахнутыми фалдами сюртука, конечно, чувствовал себя главным устроителем. Но и те переперéживали. Ораторствовали сразу несколько, начинали говорить каждый раньше, — и какой вопрос первый, а какой третий — долго не было решено.

Затем пришёл Чхеидзе, с видом весёлым, а сам расслабленный и не претендующий быть вождём, — маленький, сутулый, с большой пролысью, а бородой задёрганной до безформенности. Но меньшевики засуетились как вокруг несравненного лидера и посадили его на председательское место. Рядом с ним сел другой думский лидер — молодой, толстощёкий, с выложенной причёской, Скобелев, ещё ни на что силы не трачены, богатый сыночек, болтался, потом Дума, и подполья не знавал, — да как все они тут почти, кто слетелся.

А перед самым открытием ворвался и тоже сел с ними рядом мальчиковатый Керенский, в костюме в обтяжку. Но и тут же соскучился, что здесь для него не аудитория. Поводил узкими плечами, быстрыми глазами, бросил фразу о торжестве революции — и деловито, быстро ушёл.

И Нахамкис на видном месте сидел, пальцами прочёсывал красивую рыжеватую бороду.

Довольно скоро и Чхеидзе ушёл. Ещё меньше стало порядка. Соколов захлёбывался, Скобелев растерялся, не имея понимания и плана. А кто-то высказал, что для продолжения славных традиций Пятого года хорошо бы восстановить председателем Хрусталёва-Носаря.

И сразу же полез выступать Носарь, уже без шашки. Но неряшливой сбивчивой речью не собрал себе сторонников.

Тут уже Шляпников не сдерживался, да чтоб и голос же большевиков прозвучал — выступил резко против. Что нельзя выбирать одного председателя, а сразу весь Исполнительный Комитет. И во всяком случае Носарь — этот ренегат социализма и антисемит, не может быть не только председателем Совета, но даже и среди почётных учредителей.

«Антисемитом» он сразу сбил Носаря, не стали ни слушать, ни обсуждать: антисемит — и зарезано.

Но не стали и избирать Исполнительного Комитета: слово схватил Франкорусский, от продовольственной комиссии. И успокаивал, что уже по первой проверке оказалось положение с хлебом совсем не катастрофическое, а надо только…

Но не кончили обсуждать и продовольственного вопроса — Гиммер тонким голоском и Броунштейн потребовали в первую очередь обсуждать охрану города.

А тогда, кричали, более широкий вопрос: отпор царской реакции?!

Но Шляпников в эту гомозню больше не лез. Он, по-большевицки, обдумывал главное: как не упустить захватить побольше мест в Исполнительном Комитете? Пока что и численностью, и ораторством оттесняли большевиков, мелкобуржуазная свора грозила захватить рабочий плацдарм.

А пока назначали литературную комиссию: писать воззвание к населению.

А тут какой-то солдат вылез рассказывать, как у них в батальоне сегодня всё произошло, что он видел сам, как было в казарме и на улице.

Тогда и другой за ним, еле остановили.

Тем временем собрание всё больше брал в руки Нахамкис — фигура крупная, сильный голос, а вид такой уверенный, будто он подполье на своих плечах пронёс, умеют же люди!

Наконец, уже поздно, дошло до выборов в Исполнительный Комитет. Уже тем было сразу проиграно дело, что, конечно, Чхеидзе был единодушно выбран председателем, а Керенский и Скобелев — заместителями, и тут бой давать было невозможно. Руководство уже уходило к оппортунистам! И в секретариат сразу натолкались — Соколов, Шехтер, а он за собой дураковатого Панкова, но тоже инициативника, — и Гвоздева, которого сегодня тут все принимали с почётом. А когда стали выбирать рядовых членов ИК, то больше всех голосов набрали Нахамкис, Гиммер и Капелинский, — нефракционным и лишний шанс: за партийных голосуют только свои. Всё ж инициативники поддержали большевиков — и Шляпников с Залуцким тоже протолкнулись в ИК.

Но соотношение в ИК не обещало успеха. Шляпников сидел, и место под ним горело: что придумать? Он представлял, как его будет уничтожать Ленин — что был здесь в такую минуту и упустил руководство. Ленинская выучка всегда была: захватывать руководящие места.

А что Шляпников мог сделать? Как он мог заставить их тут всех себя слушаться? Он против этих говорунов робел.

А! вот что придумал, хорошо ли, плохо: в Исполнительном Комитете кроме членов избранных пусть ещё останутся места по назначению от партий, от каждой по три места.

Приняли. (Правильно рассчитал: все схватятся за лишние места.)

Значит, от большевиков будет и ещё трое, всего пять.

Но и трое меньшевиков. Но и трое эсеров.

Только та выгода, что от групп, как межрайонцы, — не больше одного.

146

После того как была стрельба подле московских казарм — вдогон потерял Вахов последних своих волынцев и фельдфебеля своего Тимошу Кирпичникова, и уж такой стал сирота-сирота, и совсем потерял дорогу, даже не знал, где этот мост искать, по которому бежали надысь.

Шёл, как слепой, по взбудораженной улице — и все куда-то, то ль от радости, то ль такие ж потерянные. Шёл — и губы развесил. И чего б дальше делал, и куда бы брёл — но заметил преображенского унтера с челюстью раздатой, а с малыми глазками, который тоже вёл с утра, — и к его команде Вахов пристал.

А команда его пришагала в это гомонное здание под куполом, и тут преображенцы стали в караул.

А Вахова не взяли. Да и что ему с чужими? И затосковал он крепко.

На'б к своим ворочаться — а где ж их по городу будешь искать? Да может, они уже не в городе, а в казарме? А может, никого в казарме нет, а там западня для бунтовщиков? Как туда идтить? Сильно боязно. Пока по городу гоняли, кричали, стреляли, с налёту брали здания — во всём была тысячная сила и заединство, и не страшно, а весело, как на лучшей гулянке, кружим как хотим. А где теперь та толпа? Да вольные погуляли — и по домам разошлись. А с солдата — голову.

Да ежели б от своих не отбился, так не страшно: со *всех*-то спросу быть не может. А вот — один.

А тут — хорошо: пребольшущий зал, как поле под крышей, и — народища! Сел Вахов у стенки на пол, винтовку положил, чтоб краем задницы её прижимать, не упёрли бы, солдат без ружья — тот же баран, а сам отслонился — да и стал подрёмывать. Брюхо грызёт, цельный день без еды — ну, зато тепло и в безопаске. Тут и переночевать, а утро вечера мудреней.

Не тут-то было. Рядом окликнули:

— Эй, волынец!

Прочнулся Вахов, обрадовался:

— Ну?

Думал — свои нашли, вот соединимся.

Нет, стоит солдат чужого полка и вольный с ним:

— Подымайсь! Будешь депутат от Волынского полка, никого от ваших нет. Пошли на совет депутатов!

На куда? Ещё во что встрянешь глубже? И место жалко у стенки, укромное, потом такого не захватишь, а посередь пола, на проходе. Думал бы Вахов укрыться, отказаться — так командуют, наклонились над ним, куда от них сокроешься?

Пошли. Через коридор.

Там накололи ему на шинель большой кусок красной материи. Хотел Вахов не даться:

— На кой он мне? —

эт' ещё занозливей куды-то втягивали. Солдату на шинели — нешто положено красное? Дурак любит красно, солдат любит ясно.

Но видит Вахов — тут у всех нацеплёно. Ну, ладно.

Сел у стеночки на скамью, винтовка стоймя меж колен. Слева, посмотрел, — вроде мастеровой. Справа, посмотрел, — вроде по торговой части. Ни с кем и не поговоришь.

А там, посерёдке, вокруг стола, сгрудились все образованные, ни одного меж них солдата, да и мастеровых не видать, — а все, знать, из одного места, и все друг со дружкой нанюханы. Ни разъяснения какого не заводят, да как бы уже третий день толкуют, и шибко друг друга понимают. А со стороны — мудрёно, много слов непонятных.

И чего Вахова позвали с хорошего плаца? Там бы и переночевал.

И все — лезут сразу говорить, перешибают, никому нельзя просторно, со стульев вскакивают и у стола друг друга отталкивают, суматоха. Никогда такого Вахов не видал.

И все до того радостны, ажник вот лопнут сейчас. И кого-то из себя куда-то определяют, руки подымают, опускают. Да вам-то что, вы-то через присягу ружья не подымали, вы все разбежитесь по домам, вас как не было. А солдату голову класть.

И — дело затолковали: что вот войска придут — чем и как отбиваться? И уже не такие стали радостные, а у Вахова прям' засосало сердце: ведь придут, придут наказывать! ведь вот — и эти пожидают. Ведь без штрафу ничего не обходится, не бунтуй в военное время! И правда, шутка сказать: война идёт — а мы своих офицеров на смерть уложили? Да ошастенели, что ли?

Потом — лучше стали говорить: чтоб солдат кормить, вне частей. И здесь, в этом большом дому — тоже кормить.

Это б хорошо. Каб' здесь кормили — можно пока в казарму и не соваться.

Тут ворвался от дверей какой-то солдат молодой и, между стульев пропихиваясь, — на серед комнаты. Ворвался — как если б гнались за ним, вот уже подступали. И винтовку двумя руками над головой тряся — туда, к передним, главным:

— Братья и товарищи! Я принёс вам братский привет от всех нижних чинов в полном составе лейб-гвардии Семёновского полка! Мы все до единого постановили присоединиться к народу против проклятого самодержавия! И мы клянёмся служить до последней капли крови! Мы приветствуем совет депутатов и поддерживаем его своими верными штыками!

Какой-то невразумный показался Вахову этот солдат, да ещё и паренёк совсем. Не понять: это что ж, он от самих семёновских казарм бежал? — так далече. Или только последний квартал? — так зачем? Потом: целый день нигде семёновских солдат не было, по казармам сидели, этот — первый появился, и сразу ото всех? Стрельба прошла — похвальба пошла. На лбу у него не написано, что ото всех, а чуди было б такого непутёвого юнца ото всего батальону слать.

А язык — свободно у него оборачивался, да по-ихнему, как вот тут говорят. Все кругом повеселели — и стали ему в ладошки хлопать.

А что ж? — начнётся над солдатами расправа — этих здешних заводил тоже ведь не погладят. Так что, видать, за них держаться, может они какую выручку и придумают.

За семёновцем — сапёр полез. И стал рассказывать — это уж вправду, как они сегодня на командира батальона своего решились — и загубили его. И как поручика Устругова прикончили. И ещё кроме…

И хлопали ему.

И слова сапёра грузились на сердце Вахову. Вот это — правда была.

Потом и из Литовского батальона говорил.

И тогда стали кричать:

— А ты, волынец?.. Что ж ты, волынец, молчишь? Да вы же — первые начинали!

И попался Вахов как волк в закуток, со всех сторон на него повернулись и понукали.

И поднялся он через прогвозд, только на винтовку свою и опираясь. И посмотрел на лица чужие. Как им говорить?..

Это надо б сперва объяснить, что весь их Питер для человека — хуже леса дремучего, сузёма, и для крестьянского сердца ни в чём тут заманности, а — тоска. Что в этом лесу только и держишься — отделением, взводом, знаешь своего ефрейтора, своего унтера, свою койку, свою кухню. По этим военным правилам, как слепые по бечёвкам, они только и пробирались. И нипочём бы эти бечёвки не порубили, когда б не послали их на такое нелюдство вчера (вчера, а как за горами): стрелять по народу. А только думали они — не идти в наряд и лестницу свою оборонять. Капитана Лашкевича — и сговору не было убивать, кто его убил, как? А как убили — так и сами себя отрубили, и весь свет уже тесен. А сейчас, к вечеру, и вобрать в голову нельзя: да неужто всё так и случилось? Как будто Вахов в одиночку погулял топором — и уже откинуть поздно, и забыть нельзя, в той крови, в том мясе все руки забрызганы — и страшно вернуться на то место, где Лашкевича уложили.

Но всего этого, понял он, выразить им нельзя. Топора погулявшего они не чувствовали, убитым офицерам только хлопали. И потянул он им, потянул:

— Так вот, братья-товарищи… Мы, конечно, волынцы первые… наша учебная команда… Мы, конечно, первые, а потом уже все за нами… — И осмелел, тут, среди них: — И если нужно будет, мы опять же постоим…

И за него докончили, крикнули:

— Против самодержавия!

Вот и сплёл Вахов, не намного хуже других, хотя и голоса не узнавая своего. И все, кто тут был, и все образованные, плескали и ему в ладошки и радовались.

Как будто топор тот, несказанный, они ему с греха снимали.

И — поопустило маленько Вахова. Уже и в казарму он склонялся хоть и пойти бы.

Может, как-то и минуется, будто мы не мы и я не я? Может, как-то и улягется, и в груди тоже?

Такую-то тьму — не загонят в тюрьму?..

147

Расхаживать по Екатерининскому залу Милюков выходил в надежде, что он дополнительным наблюдением и чьими-то сообщениями пополнит свои исходные данные, которых у него не хватало для верного синтетического суждения. В такие часы всеобщего сдвига и поиска от него требовалась, хотя бы прелиминарно, линия общественной равнодействующей, а она всё никак не определялась. Для самого же процесса мысли тут, конечно, было мало пригодно: Екатерининским залом почти нельзя было ходить по прямой, как обычно они тут прогуливались, а надо было то и дело отклоняться или останавливаться, пропуская. Набиралась публика, невозможная для Таврического, оскорбительная: совершенно распущенные солдаты, без водительства, кто курил (и окурки бросал на пол), кто сидел на стульях с шёлковой обивкой, кто топтался в грязных сапогах, там и сям подтаивали лужи на великолепном паркете, солдаты таскали за собою винтовки, потом надоедало им, и они их составляли в козлы по нескольку штук у колонн, преобразуя величественный зал в подобие бивуака. (Да хорош бивуак, если б они были готовы к отражению, — так ведь нет.) А ещё в несколько часов повылезала и вся стягивалась в Таврический полулегальная публика, много лет уже присмиревшая, — а теперь тут разживлялись. А члены Думы, напротив, робели и исчезали — незаметно, потому что уйти от торжества революции выглядело неприлично. И крутились весьма подвижные девицы, тоже конечно из околореволюционных кругов. Уже и маленькие митинги со стульев возникали в разных концах зала. Да что! В Купольном носили и складывали у стены — мешки с мукой, просто как на складе. Опять-таки, для возможной (невозможной) обороны Таврического это было бы и неплохо, но что за вид, Боже мой!

Вот уже в комнате бюджетной комиссии эта полулегальная публика что-то из себя формировала, ошибка была сюда их впустить, да не было сил не пустить, — а как теперь выгнать? А жизнь основная, высшее содержание этих залов, двенадцать лет составлявшая и высшее проявление русской истории, — таяла, отступала. И отчасти твёрдой своею походкой хотел Милюков напомнить о ней и отстоять. Пока эти деятели в бюджетной комиссии проворно там поворачивались — депутаты Думы подходили к Милюкову с такой растерянностью или даже глупостью, что и действительно не на что было отвечать. Одна только была прекрасная затея — думских журналистов, они пришли с таким предложением: газеты в городе не выходят, население ничего не знает, необходимо срочное оповещение — и они берутся такую газету выпускать сегодня же с ночи, — так можно ли считать её органом Временного Комитета Государственной Думы?

Отличная мысль, и Милюков ответил, что да. Но сразу встало: в наступившем хаосе какая типография будет их набирать? Сумеют ли они убедить и понудить кого?

Милюков дал согласие — от Временного Комитета. Временный Комитет становился реальной силой? Ещё несколько часов назад Павел Николаевич упирался и против создания такого Комитета. Но эти протекшие часы дали своё. От середины дня к вечеру картина событий быстро менялась. Шло ускоренное движение общего спуска, даже и к разгону, перевал перейден. И в этом спуске-разгоне упираясь, упираясь, — однако надо было и подаваться вперёд. И не слишком в этом отстать. Если мы не перейдём к действию — массы перестанут нас слушать.

Ещё недавно это было только эффектной фразой. После Рождества возвращался Павел Николаевич со своей крымской дачи, и в московской компании его спросили нетерпеливо: «Да что же Дума не возьмёт власть?!» И он тогда отгородился так: «Приведите к нам два полка солдат, и мы возьмём».

Но вот — полки, кажется, и были?.. Однако Дума…

Милюков ли не был главной фигурой Думы? Кто ж тогда была Дума, если не Милюков? И что была бы Дума без Милюкова? Но именно он сегодня и увидел дальше всех: это и хорошо, что Дума

пока не заседает, — только сужала бы новые творческие пути. И тем более возражал он предложению объявить постоянную сессию Думы, сделать Думу государственной властью: это была неуклюжая крайность.

Сейчас требовалось нечто более поворотливое. Временный Комитет Думы? Сам же Милюков и притормозил его длинным названием «для сношения с лицами и учреждениями» — на случай прихода кары, чтоб не подпасть под криминал. Но вот прошло несколько часов, и стало выясняться, что Комитет не только допустим, но даже очень кстати, но даже нужно его динамизировать. Он может стать регулятивом всех сложных обстоятельств.

Он может стать начатком новой власти.

Может быть, уже и пришёл исторический момент — брать власть? Как это узнать? Где это прочесть достоверно?

Всё искусство политики, по сути, ведь и сводится: когда взять власть? *как* её взять? и как удержать?

Да, вели конституционную борьбу, но время то перешло. Да, сейчас Дума только бы сковывала реальное движение к министерству. Брать власть — перешагнув и через павшее правительство и через Думу?

Тут была ещё неловкость личного вопроса. По сути, истинным главой новой России достоин стать только Милюков. Ведь он не просто — глава ведущей партии и глава Блока, но действительно только он может по-настоящему охватить, взвесить, направить.

Однако стыдливая ужимка истории такова, что самый достойный кандидат не только не может сам себя назвать, объявить, властно пройти вперёд (это у американцев замечательно честно: открыто выдвигай сам себя!), — но вынужден какое-то время стоять на втором плане, пока станет естественно передвинуться. А на первое место всегда выдвигают какие-то нулевые личности, которые всех претендующих устраивают своей невыразительностью, отсутствием воли.

Так и председателем Думы выбирали когда-то Родзянку: все сходились, что он недалёк и будет управляем. А он обманул надежды: слишком напористый нрав обнаружился в нём. И от самого создания Прогрессивного блока трудился Милюков всем внедрить и внедрил, что только не Родзянко должен возглавить будущее желаемое, мечтаемое общественное правительство, а вот… (все подсказывали) вот князь Георгий Львов прекрасная кандидатура (по тому же принципу невыразительности), всероссийская репутация.

Поменять кавалергарда на толстовца. (Который и от заговоров не прочь.)

Родзянко — невыносим. И не радикален. Неизбежно было сдвинуть его с этого места, и Павел Николаевич не сожалел о совершённой операции.

А со Львовым — посмотрим. Сегодня уже вызвали его срочно из Москвы.

Сегодня обстановка сдвигалась в часах, и надо следить за нею зорко. Вот, пока Родзянко мотался в Мариинский дворец, а Милюков ходил тут, по длине Екатерининского зала, — уже как много менялось. Хотя на устах порхает слово «революция» — но это ещё не революция. И она нам никак не нужна. А выглядит так, что нельзя и медлить, надо ей помешать.

Да умеренная общественность всегда была против революционного переворота. Но если уже всё так быстро покатилось вниз — то надо успеть и возглавить движение, взять его в руки. Реальная политика всегда требует зигзагов и даже крутых перемен. А Родзянко — этому как раз и сопротивляется. Тушею своей он занял председательское место, забил собой единственную дверь свободы, единственный выход — и сопротивляется.

Вот благополучно вернулся он из своей поездки, никто его нигде не задержал (а рекламировал, что едет в опасность), и засел опять своим необъятным задом в своём необъятном кресле. И съездил — ни для чего, вернулся ни с чем: великий князь Михаил в диктаторы не идёт.

Так значит — брать власть самим?

Нет! И на это Самовар не решался! И сам не брал — и другим не давал.

А загораживал он дорогу уже не как председатель Думы и ещё не как председатель Комитета, но по своей видности, но потому что даже Главнокомандующие фронтов были с ним в каких-то контактах, если не в сговоре. Обойти Родзянку — невозможно.

Сидел Милюков сбок его большого стола и рассчитывал только на свои дипломатические кружева. Задача и аргументация оказывались очень сложны: надо было толкать Родзянку как главное действующее лицо на взятие власти Комитетом — и одновременно же отстранять его с главного места. Кажется — несовершимо!

В голове, в лице Родзянки было что-то крупно-собачье. Тяжёлая широкая кость головы (по челюсти равнялись скулы и виски).

Мясистое лицо. Под тяжестью мясистых век — суженные глаза. И портили бы картину какие-нибудь волосы, всякие волосы были бы тут лишние — но и не было их: он был стрижен под машинку первый номер — да только вокруг макушки и было насеяно.

Не заседание Комитета, а так, кто собрался, — себеумный Некрасов, рохля Коновалов, франтоватый болтун Шульгин и решительный и мрачный дурак Владимир Львов. Достойных союзников Милюкову — не было. Всё нужно было проплести самому.

— Но вы же сами, Михаил Владимирыч, говорите: правительства больше нет, оно распалось. Подумайте, какой неповторимый момент для взятия власти! Буквально через два-три часа может быть иначе, совсем другой баланс.

На лице губошлёпа Коновалова было написано на всё согласие. (Какими бездарными руками у нас делается история! — ведь этот человек возглавлял самые прогрессивные «коноваловские» совещания!) Владимир Львов смотрел напряжённо-мрачно, будто вся тяжесть решения ложилась на него. А Некрасов, как всегда, отведя глаза, спрятав губы под хитрыми усами.

— Не может же, Михаил Владимирыч, такая огромная страна — и быть без власти? Если власть уже всё равно сама упала — в такую грозную минуту кому ж её поднять, как не нам?

Родзянко на две руки опёр свою крупную голову, сам в ужасе от происходящего. Но:

— Я не бунтовщик, господа! Мятеж произошёл потому, что нас не послушались. Но я никакой революции не делал и не хочу делать! Против Верховной императорской власти я идти не могу!

Я! — как будто он один существует, не Дума, не Комитет.

Шульгин (со вскрученными усами и бабочкой на шее) мелодично:

— Михаил Владимирович! Но если упавшую власть не подберём мы, то подберут другие. Кто же вас зовёт идти против Верховной власти! Монархии — мы не касаемся. Вы берите — исполнительную, и как верноподданный. А всё обойдётся — Государь назначит новое правительство, и мы передадим власть, кому укажут.

Ну, как бы не так, — думал Милюков.

— А если — не обойдётся? — спрашивал ошеломлённый Родзянко, и кажется, с усилием не давал челюсти опуститься.

— А если не обойдётся? Но чёрт возьми! — с лихостью выругался Шульгин, он любил острые ситуации. — Но что ж это за императорское правительство, если оно разбежалось без сопротивления? Им даже ещё не объявили уходить — а они уже ушли!

— Взять власть самим, — пыхал-шептал подавленный Родзянко, — это революционный акт! Я — не могу.

Опять — я! Заклинил собою единственную дверь к власти — и не решался.

И Милюков — не имел средств предпринять самостоятельного шага, а только через Родзянку. Оставалось перемалывать и перемалывать ему кости аргументами.

Весь Комитет должен был совместно толкать его в спину!

Уже закипало у всех раздражение против неподатливой этой туши. А он слабо оправдывался:

— Но ещё, может быть, Государь дал согласие Михаилу Александровичу на ответственное правительство? Может быть уже назначен и глава?

Однако Беляев не звонил. Звонили ему в довмин — никто не отвечал. Потом подошёл унтер: военный министр отбыли в неизвестном направлении.

148

Что́ и где было правительство, что и где были министры — об этом императрица не могла судить весь день: как не было больше никакого правительства в Петрограде. Если Протопопова, не дай Бог, убили — то был же ещё честный Беляев, — что же он? За весь день ни одно официальное сообщение или обращение не достигло её дворца, а притекали всё случайные новости от случайных людей, и новости эти были ужасны: полиция исчезла, в городе пожары, грабежи, и почти весь город у мятежников, а верные сопротивляются лишь где-то в центре.

Только телефоны, на удивление, служили безперебойно, и безперебойно же, по расписанию, ходили местные дачные поезда.

В Царском Селе, слава Богу, сохранялась всё та же неподвижность.

В тёмных комнатах лежали больные дети.

Государыня переходила между ними, ломая пальцы.

Уже три отчаянных телеграммы в Ставку она дала за этот день, что она больше могла?

А Ставка — молчала…

Но не один же там был Государь, пусть Фредерикс, или держимый из-за Фредерикса его энергичный зять Воейков, дворцовый комендант, он-то должен был связаться — давно и первый.

И всего только вчера, в это же время, дочитывала Александра Фёдоровна наивные планы мужа о перевозке детей в Ливадию — и весили для неё практические соображения о трудностях переезда, даже когда дети выздоровеют.

О, на каких бы сильных крыльях она перенесла бы сейчас детей, вместе с постелями их, — в Ливадию!

Увы, как всегда предчувствия дурные имели власть над ней больше, чем добрые, так и сейчас говорило ей: никогда больше им не видеть солнечной, сказочной Ливадии!..

Сколько лет Александра гордилась, что она — мужчина среди женщин, одетых в государственные брюки, — и как бы сильно и славно она управилась, будь у неё прямая власть и здоровье! Но вот когда, в эти часы, ощутила она себя женщиной безо всяких сил и преимуществ, и как же нужен был ей какой-то сильный, уверенный, старший мужчина рядом, кто бы сказал, что делать. И не было никого…

Был — Павел! Тут же, в Царском Селе, в своём доме-дворце жил великий князь Павел Александрович, государев дядя и генерал-инспектор всей гвардии. О, как хотела бы она сейчас — совета, защиты и помощи Павла. Но после убийства Божьего человека Павлу, как отцу Дмитрия, убийцы, она сама же запретила доступ к себе.

О, хоть бы он попросился сейчас! Хоть бы он обратился первый — она тотчас бы его позвала!

Но он не обращался.

А почему не мчался из города милый, верный, смелый адъютант Саблин? — объяснить, подбодрить и выручить! Когда же он примчится?

А главный военный начальник под рукой — генерал Гротен — как назло новоназначен, ещё мало знаком с дворцовой службой.

Уже вечерело. Милая Лили, так скрасившая и облегчившая государыне этот день, должна была возвращаться домой к своему семилетнему ребёнку.

— Что вы думаете делать, Лили? — печально спросила государыня. — Не лучше ли вам вернуться к Тити сегодня вечером?

Изящная, стройная Лили сказала, волнуясь:

— Разрешите мне остаться с вами, Ваше Величество.

Государыня обняла её и поцеловала:

— Но я не могу просить вас об этом.

— Но и я не могу оставить вас, Ваше Величество.

Ещё же у капризно-неумолимой больной Ани обязана была государыня просидеть два часа в день. Теперь — её могла заменить Лили, и у детей отчасти.

Уже темно было за окнами. Из Петрограда звонили, что он освещён пожарами, всюду революционные толпы, и власти уже никакой. С часу на час это могло переброситься в Царское.

А Ставка молчала.

И к чьей же помощи оставалось прибегнуть? В этом разъярённом, разволнованном Петрограде — кто ж теперь мог быть оставшейся несомненною властью? Очевидно, один только отвратительный, развязный, враждебный и глупый толстяк Родзянко. Как она гневалась прежде на него! Но сейчас просить защиты императрица могла — только у этого неотёсанного грубияна.

В Павловске, в двух верстах, стояла гвардейская конно-артиллерийская бригада, а командовал ею — флигель-адъютант Государя Линевич. Государыня протелефонировала ему и просила: съездить в Думу к Родзянке и спросить гарантий безопасности царской семье.

Уже не осталось у неё трёх четвертей прежней гордости. Опасность подливала к стенам дворца.

Устала ходить, ничему не помогало это смятение — прилегли с Лили в розовом будуаре, где висели иконы и картины Благовещения. Переговаривались — что́ может быть и как пойдёт.

В девятом часу камеристка внесла телеграмму от Государя. О, наконец!

Но какой спокойный тон! Как будто не было всего этого вулкана. Ники благодарил за присланное письмо. (Но ни слова о трёх сегодняшних телеграммах!) Сообщал, что выезжает в Царское завтра после двух часов дня. Что конная гвардия из Новгорода получила приказание немедленно выступить в Петроград. И уверение, что безпорядки в войсках скоро будут прекращены.

О, Боже! О, какое облегчение! Сколько тревог снялось с души! Наступил первый спокойный час за этот день.

Вспомнили, что не обедали, и решили попить чаю.

И в самом деле — чего боялись? Тихо стояло в Царском Селе. Безупречно нёс службу вокруг Александровского дворца Сводный

гвардейский полк. А близко — размещался гвардейский экипаж, они не только наши войска — они подлинные друзья! Да и вообще стояли в Царском гвардейские стрелки, стена! — запасные батальоны отборных полков, один из которых носит звание императорской фамилии.

А теперь вот скоро придёт и конница.

Надо было бы отменить поездку Линевича к Родзянке, если он ещё не уехал?..

Но — не кончился день так спокойно.

В десять часов вечера генерала Гротена вызвал к телефону Беляев — объявился наконец! За весь сегодняшний ужасный день он ни разу не дал о себе знать — а теперь с чем же?

Беляев говорил даже не от себя, а передавал совет того же Родзянки: чтоб императрица немедленно увозила детей из Царского Села — а завтра, может быть, будет уже поздно: петроградские толпы достигнут туда и нападут.

Пришёл Бенкендорф, с нероняемым моноклем в глазу, узкодорожными бачками и усами, всегда уравновешенный, — и передал это всё государыне. (А волновался.)

И — снова всё взвихрилось в безумной тревоге! Родзянко никак не был друг, но ещё до Линевича вот давал совет, и в его совете была какая-то несомненность: почему-то представилось, что именно так всё и произойдёт!

А — куда государыня могла двинуться с детьми, температурой по 39, раздирающим кашлем, больными глотками и ушами?

Только одно и было — телеграфировать в Могилёв (телефон туда, конечно, не работает), пока Государь там, и спрашивать указаний.

Указаний — о чём? Двигаться всё равно невозможно.

Государыня ломала пальцы.

149

Во всю бы жизнь никогда не прикасаться Михаилу Александровичу к государственным делам! Сколько есть достаточного для человека — военная служба, спорт, семья! Была когда-то несчастная полоса, после смерти брата Георгия считался он наследником престола. И тогда приучали его: членом Государственного Совета, и даже, для государственной практики, отсиживал заседания в Совете министров. И хоть никогда ничего там не высказал, никогда ничего сам не делал, — а стягивало его это под мундиром, лишало лёгкости.

Но однажды, в июле 1904, счастливой ночью в красносельском лагере принесли ему телеграмму. Он прочёл её в палатке при фонарике — и в бурной радости закричал адъютанту:

— Мордвинов! Вставай! Шампанского! Императрица родила мальчика! Я больше не наследник!

Так в 26 лет он освободился — и остался просто синим кирасиром, стоял в Гатчине, ездил на манёвры, отдавался верховой езде, теннису, конькам, посещал театры, имел свободу и погулять, и пошутить, и полюбить. Больше всего он любил спорт, во всех его видах, — и потому что он давал силу телу (в юности Михаил был слаб), и за азарт, и за риск. Мечта его была — управлять аэропланом, и он уже изучал машину, но ещё не знал до винтика. И кавалерийская ловкость была его гордостью. И никогда больше брат не путал его в государственные дела.

Но вот Михаил полюбил нешуточно, да женщину, разведенную дважды и с двумя детьми от последнего мужа Вульферта. Великому князю жениться на такой женщине абсолютно исключалось, двойное нарушение: неравнородная — дочь присяжного поверенного, и разведёнка. Но и, влюбясь безповоротно, Михаил тоже решил безповоротно.

С тех пор возникло большое напряжение с братом Государем, не стало постоянной между ними лёгкости. Хотя Николай был на десять лет старше и с государственным опытом, и Михаил искренно почитал его за ум, за такт, — но была раньше межбратняя простота и лёгкость — а после самовольной женитьбы исчезла. Такой вообще мягкий, Николай рассердился неумолимо, негодовала и Мамá, — хотя больше бы имел прав рассердиться Михаил, что они отдали его под сенатскую опеку как недееспособного. А Михаил тогда только что получил командование кавалергардским полком! Пришлось оставить и полк, и армейскую службу вообще, да от обиды и саму Россию, и два года прожить в Англии и может быть больше бы гораздо, если б не началась война. Наташа не хотела всё равно возвращаться — из гордости, а поступал бы он в английскую армию. У Наташи острый ум, твёрдый характер, и Михаил припеваючи жил с нею в лад, но тут — она не понимала: как можно не быть частицей родной армии, когда она воюет, это как с вынутою

душой! Миша дал телеграмму Николаю, прося разрешения воротиться, был зачислен в свиту Его Величества, получил звание генерал-майора и командование туземной кавказской бригадой — из одних добровольцев (кавказцев не призывали), отчаянных храбрецов. Но Михаил и сам в атаках не наклонялся от пуль, и сам был ловок на коне, и добр к подчинённым, и «Дикая» дивизия полюбила его.

А Наташа была затем пожалована в графиню Брасову. Но всё-таки прежняя простота между братьями уже никогда не возвратилась. И Михаил особенно это чувствовал последнее время, когда половина великих князей, как с ума сорвавшись, всё порывалась обличать Государя, пошли и на убийство Распутина, все они ждали от Михаила поддержки, а он не оказывал. А тут и общественные разные деятели искали через родственников повлиять на Государя — и среди них особенно Родзянко, которого Михаил почитал как выдающегося государственного мужа. Им всем единственный брат Государя представлялся очень влиятельной, значительной фигурой, имеющей вход в государственные дела, — а Михаил ни входа не имел, ни охоты ни малейшей, он был насыщен жизнью частного человека и обсуждать государственные дела даже как посторонний никогда бы не хотел. Но вот навязывали. (И Наташа тоже интересовалась Государственной Думой и сочувствовала общественным настроениям.) Разговаривая с этими деятелями и с Родзянкой, Михаил легко убеждался в их правоте и что конечно Николай мог бы во многом распорядиться лучше. Но если, по сочувствию к этим хорошим людям, он пытался начинать разговор с братом, тот даже и приглашал высказываться, — то первые же возражения Николая, отягощённые многими-многими государственными обстоятельствами, сразу лишали Мишу языка и доводов. Да никогда такого характера у него не было — настаивать со своими убеждениями.

И сейчас: жил он спокойно-тихо в Гатчине с Наташей, её детьми, и своим уже трёхлетним сыном, день дома, а через день приезжая на Галерную в канцелярию генерал-инспектора кавалерии, которым его недавно назначили, — так вот начались городские безпорядки. И как же несчастно, что брат как раз перед ними уехал в Ставку. Был бы он здесь — никто бы Михаила и не теребил.

И сегодня, когда Михаил ехать в город не собирался, Родзянко настойчивейше просил приехать. Да не преувеличены ли страхи?

Вчера, в воскресенье, днём Михаил и ездил в город, и с сестрой Ксеньей вместе они были в Петропавловском соборе на панихиде у гробницы отца — было вполне тихо на улицах.

Но Наташа убедила, что надо ехать: видимо, грозный момент. «Ты должен быть у места!»

А в Мариинском дворце, выслушивая все доводы Родзянки, Голицына, Крыжановского и видя крайнее их волнение и обезкураженность, Михаил, однако, с первой минуты ясно ощущал и то, что обращаются они к нему ошибочно. Это всё были уважаемые государственные люди — и тем грустнее их слушать: ну разве он мог такое на себя взять? да когда ж ему брат что-нибудь подобное поручал? Да он справедливо изумится: зачем вообще Михаил лезет не в свои дела? Такой разговор и в комнате нелёгок, а вести его по телеграфному аппарату, когда слова, неудачно выраженные и не исправленные интонацией, утекают, утекают неостановимо по ленте — и дружеский братний совет превращается в какой-то ультиматум?

Правда, ему написали, что́ телеграфировать, — но ведь это выглядело как самовольный захват власти в столице? Боже мой, чего они от него хотели? Он не взялся им напрямоту возразить — ему было неловко за них самих, — но как они могли до такого додуматься? Однако не имел он твёрдости им наотрез отказать. Что-то надо было сделать, уж он попался.

Ах, как ему не хватало сейчас Наташи рядом, для совета. Он привык понимать вместе с ней.

Но и перед чугунным куполом родзянковской головы Михаил уже знал, что конечно не будет просить министерства, ответственного перед Думой: ему известно было, как нетерпимо Николай относится к этому. А кто тут истинно прав — Михаил никогда не мог понять до конца.

И конечно же — он не посмеет предложить себя диктатором столицы.

Дом военного министра был на Мойке близ Кирпичного переулка. Беляев, за 40 лет не женат, жил один, — странный, бумажный человек.

У аппарата был дежурный телеграфист. Наладили передачу, а сам Беляев пошёл к телефону выполнить ещё одно поручение Родзянки: позвонить в Царское Село и передать, чтобы государыня с детьми уезжала бы поскорей да подальше, сегодня же в ночь. Вот как размахивались события!

Впрочем, говорить предстояло Михаилу не с братом, но, конечно, с генералом Алексеевым. Да не говорить, а передавать через телеграфиста уже подготовленные ему соображения.

И — надо было назвать предположительную кандидатуру будущего премьер-министра. А ему — не сказали. Но уже не раз Михаил слышал это имя и повторил: князь Львов.

Вот на что Михаил самое большее решался: не поручит ли Его Императорское Величество своему брату тотчас же и объявить в столице, какие будут решения Государя?

И ещё, когда Алексеев уже принял телеграмму, смекнул Михаил и посоветовал по-братски: что намечавшийся возврат Государя в Царское Село надо было бы на несколько дней отложить.

Медленно протягиваемая лента и печатание по букве — это не разговор. Не помещается сказать: как тревожно здесь, как неуместно было бы сейчас Николаю тут появиться, просто нельзя быть уверенным за его голову. За ничью голову.

Алексеев там понёс ленту на доклад. А Михаил тут, не отойдя от аппарата, сидел в расслабленной позе. Вот — и ещё раз он вмешался. Последний раз при поощрении Наташи он вмешался в ноябре, письмом: со всех сторон очень настойчиво его уговаривали. Его и поразила эта перемена в настроении самых благонамеренных людей: недовольство и осуждение высказывали люди, настолько до сих пор верноподданные, уравновешенные, чья преданность выше сомнений, что страшно становилось за трон, за государственный строй — кто ж оставался поддерживать его? страшно за царскую семью и за всю династию. И Михаил тогда написал брату письмо. Что всеобщая ненависть к людям, будто бы близким к трону (он имел в виду Распутина, Протопопова, но не назвал), уже объединила самых левых с самыми правыми. И такое впечатление, что мы стоим на вулкане и малейшая ошибка может вызвать катастрофу. Но может быть, если этих лиц удалить и заменить чистыми — общество оценит такую уступку, и расчистится путь для военной победы? Боится Михаил, что эти настроения общества, а значит и всей страны, не так сильно ощущаются в ближайшем окружении Государя и он может недооценивать их опасность. А кто делает доклады по службе — тот боится высказать резкую правду. А Михаил решается высказать по любви.

Как и сегодня.

Ответил тогда Николай: *они* всех будут ненавидеть, кого ни поставь. Они Протопопова ещё два месяца назад сами превозносили, и с ними европейские союзники. Они на самом деле добиваются: лишь бы не так, как ведётся в России. И запомни, что *общество* — это не страна Россия.

Задвигалась лента. Так и есть, Николай опять всё отклонял. И о правительстве и обо всём он распорядится сам, когда приедет в Царское, а выезжает завтра же днём. Завтра же отправляется на Петроград генерал-адъютант Иванов в качестве Главнокомандующего Петроградским округом, и завтра же начинают отправлять с фронта надёжные четыре пехотных и четыре кавалерийских полка.

От этого ответа веяло твёрдостью.

Но вот что! — лента ещё текла. Теперь сам Алексеев, уже от себя, просил великого князя: при личной встрече снова повторить Его Величеству просьбу о замене министров и способе выбора их. Ходатайства Его Императорского Высочества есть безценная помощь Государю в решительные минуты, от которых зависит ход войны и жизнь государства.

Ого! Какие сильные слова! — и уже как бы в тишке от Государя. И Алексеев — тоже думал так, как и все тут убеждали Михаила.

И только один Государь?..

Нет, что-то здесь не постижимое уму. Не Михаилу разрешить. Он сейчас вернётся в Гатчину к Наташе и будет опять простым человеком.

А Беляев — очень приободрился от вести, что восемь верных полков идут на Петроград. И что Хабалова ему не надо ни подменять, ни заниматься им больше. Совсем уже погасшее его пенсне опять поблестело. Прав он был, что отказал в этом безумном проекте — царскосельскому авиационному отряду бомбить Таврический дворец. Как можно брать на себя такую ответственность! А теперь придут полки, и всё будет в порядке.

Шёл двенадцатый час ночи, пора была великому князю ехать на вокзал. Но тут неожиданно на Мойке, рядом, поднялась сильная стрельба.

Странная стрельба: не носила характера огневого боя, совсем безпорядочная для тренированного слуха — а всё не утихала. Иногда звенели стёкла, кому-то в окна попадали.

Но задача прорваться через стрельбу уже была самая лёгкая из сегодняшних минувших. Беляев умолял обождать, не рисковать, но великий князь отклонил: глупо сидеть. Тем более, что если ворвутся во двор, то могут забрать и автомобиль, вообще не уедешь.

Выехали со двора сразу большим ходом — и погнали по пустынной Мойке к Красному мосту.

А Беляев, оставшись, решил прежде всего звонить в Мариинский дворец и поделиться новостями с министрами, и что им велено оставаться в должностях. Секретарь соединился, вызывал одного министра, другого, — подошёл будто бы Кригер-Войновский, но Беляев сразу узнал, что голос не тот. А пока трубку держали — услышал странную фразу на сторону о просмотре каких-то бумаг.

Кошмар! В Мариинском уже хозяйничали мятежники!? Правительство было разгромлено?!

Тогда и сюда, в дом военного министра, конечно могут явиться в любую минуту! (Ещё надо было звонить и Родзянке, но уже некогда!)

Одно спасение было Беляеву — переехать в штаб Хабалова, пока не перерезан путь.

Но поднялась опять стрельба и совсем рядом! — да не ломились ли уже и в ворота?

Было поздно заводить, выводить автомобиль. Да автомобиль и уязвим, и остановят!

Генерал Беляев накинул фуражку, шинель — и кинулся через чёрный ход. Если довмина уже не спасти — то спасти самого себя.

150

Назначили генерала Иванова, приняли решение о посылке войск — теперь всё будет хорошо, и петроградский вопрос решался, по крайней мере на сегодня. Сегодня — мог бы уже длиться и вечер — отдохнуть, поиграть с Граббе и с Ниловым в домино, почитать в постели историческую книжку, да и спать. Тихим поздним вечером все сберегательные силы организма так ощетиниваются: чтоб ничто не ворвалось и не нарушило!

Но — опять притащился хмурый Алексеев — и принёс телеграмму Рузского. Всё-таки вот Рузский — неискренний: сутки переждав, оглядясь, как неблагоприятно развиваются события в Петрограде (он получил копию панической телеграммы Беляева), — тоже присоединялся к Родзянке, тоже передавал его взбалмошную телеграмму — и, тоже заклиная победой, продовольственными и транспортными трудностями, дерзал всеподданнейше доложить о срочной необходимости успокоить население, но что меры репрессий скорее бы обострили положение, чем умиротворили его.

Не писал он прямо о поддержке ответственного министерства, но получалось, что поддерживал его.

Да и сам Алексеев, в золотых очках, с хмуро-недовольным видом, будто Государь нанёс ему личную обиду, тоже был того же направления.

Да подозревал Государь, что и свита вся уже мыслит так.

Но — невозможно было им всем объяснять или отвечать.

Однако — денёк! Прошёл час — и Алексеев снова появился в царском доме, ещё согнутей, кислей и озабоченней. Оказывается, у него только что был прямой аппаратный разговор с великим князем Михаилом из Петрограда, тот и сейчас остаётся у провода. Он просит доложить Государю, что волнения приняли крупные размеры и единственный путь успокоения — по его глубокому убеждению — уволить весь состав Совета министров. Он считает, что выход только: избрать лицо, уважаемое в широких слоях… — но ответственное единственно перед Его Императорским Величеством. И даже советовал кого: князя Львова.

Ах, Миша, Миша, скрутили голову и тебе, думаешь ты — головой Родзянки. «Глубокое убеждение»!..

Как сговорились, все в одном кольце осады против Государя. Да, и вот ещё: Миша имел суждение не советовать Государю ехать в Царское в эти дни!..

Очень опечалился Николай этим вмешательством брата. Именно близость советчика зацепляла за душу. Но не давая увидеть Алексееву этого семейного — Николай ответил сразу, поспешил ответить — с неудовольствием, для передачи брату. Что благодарит Его Императорское высочество за совет. Но ввиду чрезвычайных обстоятельств не только не отложит своего отъезда в Царское Село, но выедет завтра же. Приехав, он на месте всё и решит касательно состава правительства.

Ну, пожалуй, и сообщить ему о посылаемых войсках и об Иванове. От великого князя это не секрет.

Алексеев ушёл — а Николай, освобождённый от необходимости держаться невозмутимо, — стал расхаживать по кабинету, поскрипывая сапогами и разглаживая усы. Это известие от Миши задело его. Зачем, зачем он вмешивался не в своё? Зачем он дал себя закружить? Какая сила речей у этих говорунов, они затмят кого

угодно. До чего же дошло — Миша, всю жизнь занятый своей любовью и кавалерией, безпритязательный Миша даёт ему государственные советы, да какие — сдать позиции! Да разве у него есть государственный смысл? Он сам-то прощён и возвращён в армию и в Россию — ещё нет трёх лет.

А ведь именно он когда-то и был наследником престола — как же бы он повёл?

Николай перед собой и перед Богом знал свои недостатки. Он не только считал себя царём неудачливым, но — и недостойным. И не было у него ни грана тщеславия. И никогда не гнался за популярностью. Однако с годами всё больше, а от войны и полностью он отдавал себя всего этому званию, этому бремени — и уж теперь-то знал его вес и давление.

И тут — брат Георгий выдвинулся ему из голубой абастуманской дали, где умер он, и никогда не посещена его могила, — безвременно умер, безсмысленно, от запущенной простуды.

Да не безсмысленней, чем гигант-здоровяк Отец. Как-то внезапно ухватывало и уносило из жизни их ветвь.

Выдвинулся Георгий — не весёлым юным спутником дальневосточного путешествия, но уже с предпоследними своими печальными, чахоточными глазами, — и так вдруг больно потянуло Николая к несостоявшемуся брату. Кто бы был он сейчас, и какой, может быть, сподвижник? И какая, может быть, опора в династическом раздоре?

Подходила полночь, кончался день. Удивительно, что за весь такой тревожный день не было ни единой весточки от Аликс.

Это могло только значить, что волнения не столь опасны, и она не хотела тревожить мужа зря. Но тогда отчего не успокоила?

За 22 года привык, прижился, прирос Николай к ежедневным беседам с нею о делах или к её ежедневным многостраничным письмам, наполненным государственными тревогами и разъяснениями о людях, кандидатурах, ситуациях. Как к ежедневному делу он привык и приуютился медленно читать и перечитывать, и обдумывать эти письма, и делать выводы. Он привык думать и решать только вместе с Аликс. За всю жизнь не было у него друга и советчика более честного, более преданного, более умного, энергичного и проницательного, чем жена.

Кончался день, но не кончались, а только раскручивались тревоги. Опять, тяжело стуча сапогами, уже даже по-солдатски, а не по-офицерски, бедняга Алексеев, ещё больше озабоченный, пригорбленный и горящий температурой, принёс теперь телеграмму Голицына, составленную вполне растерянно.

Сперва: Совет министров дерзает представить Его Величеству о безотложной необходимости объявить столицу на осадном положении — впрочем, тут же и оговариваясь, что это уже выполнено властью военного министра.

Но Государь уже несколько часов как знал об этом! Он глянул теперь на пометки времени и изумился: принесенная телеграмма Голицына находилась в пути — пять часов! Что делалось с телеграфом, чьи злодейские руки могли так задержать телеграмму председателя Совета министров — своему императору?

Но уже и доискиваться был недосуг. А — читать дальше.

Совет министров всеподданнейше ходатайствует о поставлении во главе оставшихся верных войск — одного из военачальников Действующей армии с популярным для населения именем.

К счастью, именно это и сделано. Хорошо придумали с Ивановым.

И наконец: Совет министров предлагает себя распустить, а председателем назначить лицо, пользующееся общим доверием, — и было бы составлено ответственное министерство!

Редко-прередко Николай выходил из себя — но кажется, начинал выходить. Это изумительно! — государевы министры, государевы слуги, поставленные самодержавной Верховной Властью, они не только потеряли голову и всякую волю, но брались ходатайствовать за уничтожение собственного существования, чего до сих пор добивались только их враги! В минуту опасности — хотели дезертировать всей своей кучкой.

И голос энергичного, всегда бодрого, уверенного Протопопова — не выделился среди них. Ничего отдельного не шло от него весь день.

Неумелый, слабый, старый князь Голицын! — неужели именно сейчас было время для перестановок?.. Который уже раз, с какой стороны слышал Государь — но ещё ни разу от самого Совета министров — это нудно однообразное и головокружительно безумное по смыслу требование ответственного министерства!

И не в Алексееве тут было найти сочувствие, даже напротив. Привыкнув к простоте отношений, Алексеев сейчас, не ожидая спроса, глухо-бурчливым голосом присоединился уговаривать: уж если правительство само о том просит? Решить раз навсегда этот проклятый тыловой вопрос — и вести войну к победе.

Со стариком Алексеевым, кроме того несчастного случая с гучковским письмом, Николай всегда говорил уважительно: как было не полюбить его за неусыпное, кропотливое, пристальное бдение в штабе! Но сейчас — даже говорить не захотелось.

Холодно отклонил, что на телеграмму ответит сам.

И ушёл больной старик, хмурый, пригорбясь.

Николай курил — и ходил. Он ощущал себя в глухой круговой осаде. Со всех сторон все добивались одного и того же, не понимая, о ч ё м просят. Это была бы совсем не малая проходная уступка: это — почти упразднение Государя. Республика.

Над Николаем сейчас парило особенно воспоминание октября 1905 года. Тогда тоже казалось — так неизбежно уступить, все вокруг за уступку, никто не поддержал! — и Николай соскользнул. И сколько горя от того! И как же потом жалел! Но соскользнутого — потом назад не возьмёшь.

Так сегодня он не допускал себя испугаться, не допускал повторить той уступчивости: опять у всех обман чувств.

Какое же отвратительное состояние: быть так далеко от событий и получать сведения столь опоздавшие, столь отрывочные и столь грозные.

А непереносимей всего — без Аликс. Получать все эти ужасные телеграммы — и без неё. Ощущение сирости. Боже, как дожить до завтрашнего дня, чтобы ехать к ней?

Вдруг мелькнула мысль: а что бы — не дожидаться завтрашнего дня? Взять — да поехать раньше, скорей. Что тут держало в Ставке? — один утренний доклад Алексеева да этикет завтрака?

Кто был вокруг него? (Вот, они сидели ещё за одним, последним вечерним чаем.) Свита. Как будто необходимые, при своих обязанностях, и милые, — а совсем не действенные люди, не советчики, не помощники. Министр двора Фредерикс — уже совсем в рамолитете, порой слабоумен, содержимый по жалости, из традиции. Маленький адмирал Нилов — хорошее сердце, горяч, да всегда нетрезв. Сонливый Нарышкин, услужливый Мордвинов. Один Воейков энергичен, и голова работает практически, но больше всего практически — на собственное устройство. А досмотревшаяся до него Аликс предупреждала не раз, что при всей его внешней уверенности, самонадеянности и властолюбии — он внутренне трус и всегда может изменить.

Никем не подкрепляемый, Государь собственною рукой написал ответную телеграмму Голицыну: и новый воинский начальник, и войска прибудут в Петроград немедленно. Но перемены в личном составе гражданского управления (чтоб не назвать открыто для телеграфистов «правительство») при данных обстоятельствах считаю недопустимыми.

И — сам понёс телеграмму в штаб, чтобы своим появлением ещё раз внушить Алексееву, что никаких уступок по «ответственному министерству» не будет.

Оказалось, Алексеев настолько худо себя чувствует, что прилёг. Государь не велел его поднимать. Но передать ему, что *решение неизменно*.

Однако не успел Николай вернуться к себе, готовясь уже и почивать, — как снова, тяжёлой походкой, уже даже не военной, к нему прибрёл Алексеев. И — стал отговаривать от посылки такой телеграммы.

Какая-то часть мозга у всех у них была поражена! — и они не понимали, о чём просили.

Трудно было Алексееву подняться из постели и прийти.

Ещё труднее — Государю устоять на своём.

Но, собрав всю волю, устоял перед умолениями.

Он сам не узнавал своей твёрдости! Аликс гордилась бы им!

Однако вся эта последняя твёрдость, которую он в себе съёжил и додерживал, всё черезсильное состояние этого дня — могли вот-вот и рассыпаться. Тянуло прикоснуться скорей к спасительной силе жены и почерпнуть новой твёрдости.

Правда: что если б не откладывать на середину дня, а поехать в Царское раньше. Например, утром?..

Уже уходил спать в свою с наследником маленькую спаленку, уходил в нерешительности, уже как бы не веря, что день может так просто кончиться, — и тут доложился через камердинера и вошёл крупным решительным шагом Воейков. (По виду не бывало более уверенного и решительного человека, чем он.)

Вот с чем: только что из Царского Села поступил по перебивчатому телефону запрос обергофмейстера графа Бенкендорфа: *не желает ли Его Величество, чтобы Ея Величество с детьми выехали ему навстречу?*

Загадка!..

Николай изумился: при тяжёлой кори детей, по морозу — выехать навстречу? Как это понять? Только что, в последнем письме, отговорилась от поездки в Ливадию — весной и по выздоровлении детей, — а теперь готова в мороз ехать с больными?

Но поговорить прямо — невозможно, прямая линия с Царским всегда работала перерывисто, неразборчиво.

О, Боже! Как всё понятно: императрица — в отчаянном положении, она боится за детей, боится этого бунта больше, чем кори? Так каково положение там?

Практик Воейков быстро соображал: именно так и надо делать, немедленно выхватить семью из Царского, хотя бы на автомобилях, на аэропланах! А потом — в поезд, и в Крым. Именно так, Ваше Величество.

Но Государь представить такого не мог: дети, наследник — пригвождены к постелям, и как же можно рисковать везти их по холоду? Не такой же бунт, преувеличение. Сама же императрица ни одной грозной телеграммы не дала за день. Ни Протопопов.

Но Боже! Как ей одиноко, и смутно, и тяжело. Как же он мог ещё раздумывать, ускорять ли свой отъезд?

Ответить, если удастся, или телеграфом: ни под каким видом не ехать! Государь немедленно выезжает в Царское сам.

Решил — и как сразу облегчилось сердце! Вся тяжесть этого дня, этих дней — как будто уже и спала, пережита! Скоро — вместе! Скорей — соединиться! Всё изболелось! Как она одна там, бедняжка, как?!

И — послал Воейкова распорядиться подать царские поезда немедленно! Уже не ложимся спать в Ставке, а — сразу же едем!

Да мятежники, может, и правда угрожают Царскому? Но там — силища своих войск! И ещё едет георгиевский батальон. И начнут подъезжать полки с фронта!

Привычно, быстро уже собирал мелкие путевые вещи.

Но Воейков воротился с досадной задержкой: поезда технически не готовы к движению, можно приготовить только к концу ночи. А садиться в вагоны — можно около часа ночи.

Через час? Ну, хотя бы так. Собираемся.

Но — опять Алексеев! Прослышал о царском распоряжении — и снова поднялся и, пошатываясь, со сдвинутыми очками, пришёл уговаривать Государя снова, на этот раз: не ехать ни за что!

Так просил и Миша: только не ехать в Царское.

Так просил теперь и Алексеев: опасная минута, в Петрограде неопределённость, правильное место Государя — в Ставке. Вся Россия в покое, кроме Петрограда нигде безпорядков нет, вся Действующая армия — в порядке, строго подчинена державному вождю, — как же может Государь всё это покинуть и ехать сам на опасность?

Но — уже было радостно решено! И Государь просто не понимал безцеремонного вмешательства начальника штаба в его личные дела. Какой зов над человеком властнее, чем зов семьи?

А Ставка? — оставалась в руках Алексеева. Государь уезжал спокойно.

151

Выйдя с рокового заседания кабинета, на котором он отказался от поста, Протопопов побрёл по залам и лестницам Мариинского дворца, не видя ковров и ступенек. В таком отчаянии и таком безсожаленном одиночестве был он, как ещё никогда не бывал: куда идти, куда ехать? — его дом разгромлен — и это уже не его дом — он сам отказался от своего сияющего поста — и кто же он теперь был? Легко сказать «застрелиться» — но как нажать гашетку? — да и пистолета нет. Как решиться расстаться со всем, что есть жизнь, краски и движение?

К счастью, он набрёл на кабинет Крыжановского, и тот был у себя, и имел терпение и время беседовать, выслушать страстную исповедь и жалобы на министров, на Думу, на всех, — и поддержать, и успокоить. И обсудил с Александром Дмитриевичем, кончать или не кончать с собой, и уверил, что не надо.

Сам Крыжановский был весьма государственный человек и с большими познаниями: это он когда-то уверенно оппонировал Витте: что земство отлично совместимо с самодержавием и должно развиваться. Он был автор конституции 1906 года и, в исправленье, третьиюньского закона 1907. Крыжановский едва не стал и министром внутренних дел. И так — ему ни разу не пришлось занять подлинно крупного поста — что сегодня выглядело и безопаснее. (Но тревожился он за свои неосторожные дневники, где остался след многих государственных лиц и событий, — успеет ли дождаться ночи, чтобы сжечь их? И уже пора ли сжигать?)

И чем больше Протопопов выговаривался, изнемогая, в потерянности судьбы, тем всё же становилось ему легче. А Крыжановский тем временем обдумывал его положение и указал, что Мариинский дворец может подвергнуться разгрому и с тем большей

опасностью, если Протопопов будет находиться здесь, это навлечёт толпу на дворец. Тем более это крайне опасно самому Протопопову. И он же, выручатель, догадался, куда Протопопову скрыться: в здание Государственного Контроля, совсем рядом, Мойка 72. Позвонил и получил разрешение переночевать в служебном кабинете. Ах, какой подарок судьбы и в какую минуту! И не надо пробираться пешком через разбереженный, роящийся город, но — ускользнуть из Мариинского дворца чёрным ходом и шмыгнуть двести шагов позади него.

И вот — впустили. И вот за тобой заперта массивная дверь — благожелательный швейцар — пустой вестибюль — пустая лестница — о, надо испытать эти все опасности, уйти из-под молота судьбы, чтоб ощутить пустое вечернее учреждение как уголок спасительного рая! Во всём Петрограде нельзя было, наверно, сейчас придумать более безопасного места. За эту ночь могут разгромить все дворцы, все министерства, все частные квартиры министров — о, ни один из них, исключавших его, не посмеет сегодня спать спокойно! — а вот Александр Дмитрич пребудет совершенно безтрепетен. Одну ночь, но блаженно, как ангел: ни в какую же голову не придёт громить государственный контроль! Отвели его в кабинет помощника главного контролёра.

О, какое сразу освобождение нервов! Сразу утихла эта мучительная внутренняя дрожь, не отпускавшая весь день от утреннего звонка градоначальника. От этого резкого контраста, от этого спасения в десять минут — тёплые волны благодарного покоя заполняют душу и как будто взносят, как будто взносят, и ты плаваешь, ногами безчувственен к коврам. Так переволновался, так исстрадался, — но свалилась ответственность, но отпала опасность — и по контрасту теперь не хочется думать ни о чём дурном, но отдыхать, но может быть грезить, — а все заботы и огорчения пусть отодвинутся на утро!

А утром, может быть, всё и переменится?.. К утру, может быть, придут извне спасительные войска?

Целых двенадцать часов безопасности простирались перед ним! Надёжные каменные стены отгородили его от бунтующего моря.

Он долго с удовольствием ходил по кабинету.

А на столе стоял телефон.

Искушение телефона.

Его — не могли найти. Но мог найти — он…

Кого? Во всём Петрограде не хотелось ему никому позвонить. Жену — увели к смотрителю. Бадмаеву? Да, ещё Бадмаеву, целителю тела и души. (Вот куда бы ему сейчас унестись по воздуху — на Поклонную гору к Бадмаеву. Но нет, там-то и нашли бы.) Во всей столице, во всём корпусе, составлявшем государственный мир России, — ни к одному человеку не тянулась такая сердечная нить, чтобы позвонить по телефону. Протопопов стал ото всех отринут.

Но он мог позвонить в Царское Село?

Теснились милые образы. Даже и будучи в отпуску по болезни, он продолжал посещать царскосельский дворец с неформальными докладами государыне, и сколько говорили с ней обо всём, обо всём! Царское Село — это райский привлекательный остров, отдых души! Боже, государыне ли он не угождал? Доклады у неё не были реже, чем у Государя, и всякий раз от Государя он переходил к ней и всё повторял, даже ещё подробнее. Как неизменно ласкова была с ним всегда императрица, как верила в него! — особенно после ареста Рабочей группы, когда он предотвратил революцию. Нет, особенно после того, как он провёл энергичный розыск по убийству Распутина, самое предприимчивое его действие за всё министерство, добыл след от Головиной, любившей и убийцу и убитого, — он сам себя тогда не узнавал, как умно и удачно действовал.

И сейчас — государыня наверно ждёт от него известия. Но слишком многое случилось. О, гордая царственная страдалица с непримиримою душой! каково ей будет узнать обо всём? Может быть даже лучше ей — не сразу знать.

Да ведь он теперь уже и не министр.

Нет, никому он не смел звонить отсюда: он бы сразу выдал себя, открыл бы своё место. Перед искушением телефона он устоял.

Но теперь, когда отступила стопастевая опасность, — тем горше поднималась жёлчь: сбросили. Столкнули. Предали. И кто? Не думцы-враги, но свои же министры. Коллеги. Ещё надо было, оказывается, лавировать среди министров. И Штюрмер и Трепов называли его перед царём — сумасшедшим. (Государь сам открыл ему.) Штюрмер ему много неприятностей сделал. А Трепов прямо просил у Государя увольнения Протопопова и самому говорил: «Уйдите! вы мне мешаете!» Жалкие недалёкие люди, — естественно, что и Алексан Дмитрич не питал к ним добрых чувств. За пять месяцев переживши трёх премьеров, естественно, что и он обходил их, в чём мог, не сообщал внутреннедельских сведений, а ста-

рался доложить это в Царском Селе сам, показывая себя наиболее осведомлённым изо всех министров. Порекомендовал заменить Шуваева на Беляева, с которым надеялся ладить, — и вот сегодня первый Беляев, безглазый предатель, толкал Александра Дмитрича в отставку! И Протопопов же предлагал в Царском чудный выход: Штюрмеру «заболеть», чтобы смягчить думский конфликт, — а вот сегодня заставили «заболеть» его самого.

А кого у нас не ненавидят? За что так люто, так уничтожающе ненавидели Распутина? За разврат? А многие ли удерживались от разврата, когда открывалось раздолье? А обличающие были сами намного святей? Разве дворяне не кутили испокон? Как было простому мужику не сойти с ума, что высшие дамы кланяются ему до полу? Да не столько этого всего и было, раздули. Надо, напротив, удивиться, как Распутин сохранил свой природный ум и сколько трезвых советов давал, до которых и Дума не доросла. А когда Протопопов уговаривал его поберечь царское имя — он прислушивался. В ноябре не взял от Трепова взятку 200 тысяч за то, чтоб отставить Протопопова, сказал: «Не надо мне ваших денег». Что он безчисленно просил для кого-нибудь льготы? — но опутывали его дельцы, самому ему это не было нужно, они поживлялись больше, чем он сам.

За близкими крышами выдвигался корпус Мариинского дворца, хорошо видный из неосвещённого кабинета. Весь верхний этаж был залит электричеством — себе же на беду, привлекая толпу громил.

Александр Дмитрич успокаивался.

Не хотели вы Протопопова? Не хорош вам был Протопопов? — ну, как изволите.

Что они там заседают? что решают? что могут решить? Задумали спасти свои шкуры ценой Протопопова?..

Неужели всё его министерство оказывалось лишь короткой иллюзией?.. Нет, душа отринывала принять такое жестокое падение! Нет, ещё не вдребезги всё разбито! Это — только короткое испытание! Завтра, послезавтра войдут в столицу победоносные государевы войска — и чернь разбежится в порочном ужасе, и думские вожди кинутся на колени, и трусливая свора министров будет просить извинения за этот вечер. Только бы простили ему государыня и Государь! — простили бы эту невольную уступку ничтожествам, эту отставку вынужденную, горькую, по соображениям тактическим, никак не измену государевой воле!

А Государь всегда так охотно всех милует, он всем находит извинение, — неужели же не помилует своего любимца? А какие с ним чудесные откровенные беседы вели (их взгляды совпадают по всем вопросам)! Как нужно всегда знать этот тон (и Протопопов знал) — никогда не быть чересчур настойчивым, никогда не передавать ничего неприятного, чем постоянно обременён министр внутренних дел (как ругают Государя в гвардейских кругах, что пишут в письмах, — Государь не терпит перлюстрации).

Мариинский дворец между тем погас, весь погас, не светилось больше ни одного окна, отчего и тут в кабинете стало темней. Теперь на небе справа, от Невского, отчётливо выступило зарево.

Что-то где-то горит! Может быть и дом на Фонтанке…

Ну что ж, здесь хорошо. Правда, валик диванный не так удобен под головою, — а то и мягко, и просторно, и тихо, успокоительно цокают пристенные часы. Придётся не раздеваться, а укрыться собственной шубой. Ах, это всё пустяки, это всё можно перенести.

Самое главное, что прошли благополучно роковые даты, предсказанные Перреном. А теперь уже — он уцелеет.

И опять вернётся на вершину министерства внутренних дел. (А может ещё и премьером?..)

И снова они будут собираться в интимной царскосельской обстановке — и так мило беседовать обо всём. О, эта благосклонность ещё вернётся к нему!

152

Ни дяде Антону, ни кому из прежних жертвенных революционеров не досталась, и примечтаться не могла такая доля: ночным перебудораженным и уже безвластным Петербургом нестись по улицам в каком-то сказочном аппарате, по мостовым со скоростью птицы, с двух сторон на крыльях — стрелки, нацеленные винтовками вперёд, за спиной ещё десяток солдат, — нестись на взятие правительственной твердыни — в трёхстах саженях от Сенатской площади! Саша уже до такой степени был заранее полон счастьем, до такой высшей вершины вот уже взметнулась его жизнь — что была как бы и увенчана, лучшего уже случиться не могло никогда, и теперь он без сожаления мог с нею хоть и расстаться.

Вот — наступила *своя* война! Прежде он берёг голову — только для своего часа.

Впереди ехал опытный Сосновский на броневике, он выбирал и маршрут. Пронеслись мимо Летнего сада — и сашино сердце застучало ещё от этой символики: здесь Антон Ленартович стрелял в Дубасова, здесь был схвачен, да тут же прозвучали и первые выстрелы русской революции — каракозовские, — и вот отсюда нёсся Александр Ленартович на решающий последний штурм царизма!

Даже слёзную щемоту почувствовал в глазах. Как это бессмертно! Хотя бы он погиб сейчас — но этот подвиг впишется и будет вспоминаться: как Александр Ленартович брал оплот последнего царского правительства!

Так и повёл Сосновский по изогнутой набережной Мойки, так перескочили и Невский и Гороховую, не задерживаясь, — и вдруг, что-то заметив впереди, броневик круто остановил, а сашин шофёр не сразу мог затормозить — и едва не налетел и не расшибся об зад его.

Высунулась рука Сосновского, показывающая круговыми движеньями назад. Набережная Мойки, суженная снежными кучами, не давала простора двум автомобилям разъехаться, и сашин шофёр, матерно ругаясь, стал давать задний ход — до Гороховой и на саму Гороховую. Следом за ними вплотную своим грозным задом наступал и броневик.

Саша думал вылезти и узнать у Сосновского, что именно случилось, но мешали солдаты на крыльях, — да броневик, не задерживаясь и не объясняясь, повернул и рванул по Гороховой, а потом по Морской налево.

На середине квартала Морской сашин автомобиль догнал броневик. Теперь тот двигался осторожно, с выключенными передними фонарями. Сашин тоже выключил. Впрочем, на Морской было довольно уличных фонарей, они оба оставались достаточно видны дворцу, как и им был виден дворец, весь сияющий многими окнами двух этажей, редкое не светилось. Там сидели сейчас все министры? Всех министров можно захватить сразу?

Далеко за дворцом, в стороне Мариинского театра, пламенело в небе сильное пожарное зарево.

А перед дворцом — стояли две пушки. Вот тебе раз!.. Правда — стволами пока на Исаакиевский.

А против них и броневик ничто?

Тут раздалась пулемётная очередь. Сперва Саша так понял, что начал стрелять броневик, но нет, при повторе очереди стало ясно, что бьют сюда, и пули где-то близко тут щёлкают. (Нисколько не боялся Саша! Он вдруг обнаружил в себе то военное хладнокровие, которым восхищался, бывало, у настоящих офицеров: во время боя только соображения боя!)

Саша ждал решения Сосновского. Оно было совсем неожиданным: броневик зажёг передние фонари, открыл пулемётный огонь — и так, со светом и со стрельбою, совершил крутой поворот краем площади направо назад, мимо «Астории», к улице Гоголя.

И исчез.

Саша удержал шофёра от движения. Он ничего не понимал. Он не понял, в кого Сосновский стрелял. И не понял, куда тот поехал — совсем уже прочь от дворца. Они ни о чём не догадались сговориться заранее. Саша ждал теперь конца манёвра, он предполагал, что Сосновский обогнёт памятник Николаю I, уйдёт с линии пушек и выедет с той стороны против дворца, брать его в клещи.

Но Сосновский не ехал. Не ехал. Не появлялся.

Совершенно непонятно.

Как и непонятно, кто же открывал огонь по ним вначале. Больше не стреляли. Саша высунулся, обернулся, спросил своих в кузове, не ранен ли кто. Нет, никто.

А дворец светился, не гасил огней от стрельбы. Перед парадным входом, да, хорошо были видны две пушки — но без прислуги, вот что, сообразил Саша. Совсем без прислуги! Так они ни стрелять, ни повернуться не могут. У главных дверей стояло двое часовых и ещё с ними кто-то там рядом. И всё!

А площадь, сколько видел её Саша, от дворца до памятника, и дальше в сквер за памятник, и у той стороны Морской, — площадь была и не пуста и не полна: по ней не было обычного движения пешеходов, да мудрено бы к полночи, но какие-то кучки людей, не под фонарями, а подальше от них, собрались там и сям, в устьях улиц, у стен, у подворотен, у парадных, и как будто наблюдали, присматривались, ждали чего-то, несмотря на мороз. И все вместе — это много было.

Готовились ли они к атаке? На дворец? Чего ждали?

И Саша определил несомненный план: надо его грузовику ехать прямо на дворец! прямо на главный вход! Это — не больше минуты. Под прямой обстрел? Если поедет внезапно — не сразу от-

кроют огонь и не успеют выбежать к пушкам. Можно ещё и на ходу открыть ружейный безприцельный огонь. А тут повалят на поддержку все эти кучки из устьев. Да уж ничего нет опаснее, как он сейчас стоит. Конечно, без броневика меньше шансов на успех, но… Туда, ко входу, через полтораста саженей, может быть доедут они не все и сам он не доедет — но это единственно правильное. А подъезжать якобы с мирными намерениями — опаснее, подъехать вплотную не дадут, изрешетят.

Вдруг, не успел Саша снова высунуться назад и объяснить своим солдатам задачу — как во всём дворце одновременно погас внезапно свет! Весь сразу! Весь сразу дворец из оживлённого светового превратился в тёмный и затаившийся!

Для чего? Перед собственным нападением, прыжком? — но дворец не мог прыгнуть, а гарнизону довольно безсмысленно было бы наступать. Тогда для обороны? Чтоб лучше видеть и лучше стрелять? Так тем скорей на него кинуться! А может быть просто от перепуга, не выдержали у кого-то нервы? Или хотят разбегаться изо всех задних дверей в темноте? — ах, нет сил оцепить задние все выходы!

Небо было морозное, звёздное.

Саша высунулся назад, но что ж тут объяснять! И воодушевлять не требуется, все добровольцы. Он просто крикнул:

— Стреляй на ходу по окнам, кто куда! — И шофёру, за руку на руле: — Поехали! Без фонарей.

Автомобиль не был заглушён, и сразу поехали, по прямой пересекая площадь. Свету сильно убавилось, но всё-таки при площадных фонарях шофёр различил и объехал снеговой гребень, в котором бы застряли.

Над головами их оглушительно били свои винтовки и вспыхивали выстрелы.

Они быстро катили прямо к главному входу. Сейчас решалось: успеют там выскочить к пушкам?

Боковым зрением Саша успел заметить, что несколько кучек бежали тоже ко дворцу, наперерез и на соединение с ним. Так! И в одной из кучек появился над головами факел. (Успел подумать: как красиво!)

Саша всем телом сорвался бы с сиденья и полетел бы вперёд, обгоняя автомобиль, чтобы не быть изрешеченным!

Но автомобиль гнал хорошо, на фоне зарева тёмный дворец надвигался на них быстро! Стреляли по ним, не стреляли? — этого нельзя было понять из-за своих, — но вот уже оставались шаги до пушечных жерл — а из них не вспыхивал губительный огонь!

И, уже проезжая мимо них, прямо к ступенькам и аркам парадного входа, Саша скомандовал:

— Включай фонари!

И осветили в углублениях арок заметавшуюся охрану, несколько человек, никто из них и не пытался отстреливаться, уже поднимали руки вверх вместе с винтовками.

Надеясь, что свои верхние держат тех на прицеле, но не выстрелят же в своих, — Саша столкнул стрелка с воскрылья, соскочил и с пистолетом в руке взбежал по ступенькам.

Теперь только и было света, что освещали фонари остановившегося их автомобиля. Охрана по-прежнему держала оружие и руки к сдаче, офицера среди них не было.

— Двери раскрыть! — закричал им Саша надорванно-громким голосом, боясь ли, что не послушаются.

И один унтер потянул — растворил — и держал открытой перед ними широкую, высокую, тяжёлую входную дверь. А там дальше — темнота, ловушка, только на первые шаги давали свет автомобильные фонари.

Сашины солдаты соскакивали из кузова. Уже без его команды они обезоружили этих нескольких. Но дальше, внутрь, опасались.

Саша без колебания решил идти первый, придумывал команду, как оставить свою тут охрану снаружи. Но начали подбегать те кучки штатских людей, всё мужчины, и молодые, то ли рабочие, не рабочие, рассматривать было некогда. И первого же с факелом Саша взял с собой и повёл внутрь.

И остальные повалили за ними, вперемешку солдаты и не солдаты.

В вестибюле с красномраморными колоннами он остановился. Со смоляным факелом! Налево поднималась и потом раздваивалась парадная мраморная лестница. Наверно, все главные кабинеты и правительство помещались там наверху. Но был проход и по первому этажу, помимо лестницы.

И всякое незнакомое большое здание, если вот так в него ворваться, разрывает и затягивает — глаза разбегаются по лестницам, переходам, коридорам, в каждом направлении чудится самое-то главное помещение! Куда бежать сперва? Где искать? Кого захватывать? Где министры? Они ещё наверно не ушли, они где-то

прячутся! Как успеть захватить? Или важнее брать бумаги на их столах? Да, бумаги захватывать — это важней! А где их столы?

— Где швейцар? — услышал Саша свой громкий злой голос.

И сразу перед ним вышел в свет факела толстый испуганный пожилой швейцар в ливрее, а сзади в большом зеркале его спина.

— Где комендант дворца? — кричал Саша. — Где управляющий? Кто выключил свет? Расстреляю! Немедленно включить!

И не слушая оправданий, объяснений:

— А ну-ка, вы двое, со штыками — сопровождайте его и арестуйте коменданта, пока не появится свет. Скажите, что иначе я его расстреляю!

И двое повели швейцара куда-то в темноту.

Нет, и сам Саша оставался в темноте, при свете автомобиля, а главный свет факела уже без него избрал путь наверх по красному ковру — и с ним оживлённая кучка сбродных добровольцев.

— Пошли! — скомандовал Саша и тоже пошёл наверх, за факелом, — а кто-то пошёл за ним, а кто-то не пошёл. И тут он сообразил, что своих солдат, с которыми приехал, он не знал ни по батальонам, ни по фамилиям, ни по лицам, что он набрал их в тёмном сквере перед Таврическим — и так же в темноте вот сейчас потерял. И теперь о каждом идущем мог равно думать, что это из его команды, или из охраны дворца, или вообще откуда-то со стороны.

Но рядом оказался невысокий симпатичный чёрненький студент с припухлыми губами — и Саша сообразил, что вот это сейчас — самый нужный ему человек.

— Пойдёмте смотреть и захватывать главные бумаги! — скомандовал ему Саша — и тот выразил полный восторг. — Стой, факел! — окликал он переднего.

Но внизу лестницы возник второй факел и тоже качался сюда.

Саша сообразил, что ничего не скомандовал шофёру, и тот вполне может уехать, оставив их тут.

Но это было уже и безразлично. Без всякого понукания какие-то тёмные добровольцы взбегали и взбегали по лестнице и радостно вопили. Если б они подчинялись, можно было бы сейчас оцепить дворец и захватить всех министров. Но они не подчинялись и внимания не обращали на Сашу и его команды, а ещё опережали его и разбегались куда-то. Куда? кто такие? — непонятно, лестница дальше раздваивалась.

И тут — зажёгся яркий свет, сразу опять во всём здании, освещая белые лестницы, а выше — розовый зал.

И Саша увидел, что его площадные добровольцы уже возвращаются с какими-то старинными стульями, со скатертями под мышкой. А кто-то стал на подоконник высокого окна и с силою рвёт книзу дорогой занавес.

Трещала материя, сорвался и повис тяжёлый гардинный шток, едва не убив грабителя.

Гудели голоса по дворцу.

Но ещё с этим бороться — не было у Саши никого. Он оглянулся — никого, кроме этого студента.

Два каких-то солдата шли.

— Вы — мои? — спросил Саша. — Тогда станьте вот здесь часовыми. И если появится противник — стреляйте и предупреждайте меня. А мы будем дальше.

А дальше он видел круглый зал с бело-золотыми колоннами в два яруса. Ринулись туда.

153

* * *

1-й запасной полк на Малой Охте весь день удерживался: толпа прорывалась в казармы взять винтовки из пирамид — солдаты сами, без офицеров, выводили их из помещения, оружия не отдавали.

* * *

19-летний студент Семён, арестовавший Щегловитова, рассказывает: пришли, а его дома нет. Стали швейцаршу допрашивать: где он? Выдала: «Да у зятя своего, Харитоненко». — «А где Харитоненко?» Рассказала. Кинулись туда. Так обозлились — не дали ему ни шубы, ни шапки надеть, повели. «А куда вы меня повезёте?» — «В Государственную Думу». Согласился. Посадили в извозчичью пролётку.

К концу дня и вечером небольшие вооружённые кучки, во главе всегда студент, бросились на обыски по квартирам всех членов Совета министров, кроме либеральных Покровского, Кригер-Войновского. Но никого не оказывалось дома. Не застали и князя Го-

лицына. Взяли с его стола портфель и отнесли в Государственную Думу.

* * *

Семёновцы просидели весь день запертыми в своих казармах за Загородным, пока вечером не подошла восставшая толпа. Тогда — хлынули к ней. Ругань, крики, песни. Взяли оркестр и пошли к полицейскому участку. Разбили его, убили пристава. Подожгли.

Из толпы — увязали труп пристава в пачки бумаг и бросили в огонь.

* * *

К концу дня по всему городу уже закрылись все учреждения, магазины, рестораны, лавки, рынки, всякое предпринимательство. Никаких кинематографов и театров. Все — или по домам затаились, или валят на улицы, в толпы. Весёлые, дикие крики, стрельба в воздух повсюду.

Так много оружия стало у штатских и у молодёжи, что на Знаменской площади солдаты стали у них назад отбирать.

А с некоторых грузовиков, наоборот, раздают в толпу лишнее оружие.

Пугают всех легковые автомобили, где на воскрыльях лежат сумрачные солдаты и целятся вперёд из винтовок. Иногда и из грузовиков целятся в разные стороны, на тротуары. Страшно.

Привести в изумленье и в ужас — всех не покорившихся революции!

* * *

К вечеру сильно ожесточились к офицерам, с некоторых срывали погоны. На Невском офицер без ноги, с костылём, отказался снять — и его закололи штыком.

* * *

А кого больше всего искали бить и убивать — городовых. При безпорядочной и неумелой стрельбе, когда пули шально отскакивают от стен, — в один голос решали, что это городовые засели на чердаках и отстреливаются. Но нигде не находили их. И тем больше на них ярились.

* * *

И куда-то всё спешат — студенты с винтовками, матросы с винтовками, женщины с винтовками. На улицах всё стрельба, стрельба, неизвестно кто в кого. Пешеходы при стрельбе жмутся к домам.

Вечером толпы редеют. Многие сидят дома и даже свет потушили или зашторились, зажгли самые маленькие лампочки, лампадки.

А по улицам, освобождённым от толп, ещё быстрей и бешеней несутся автомобили, автомобили, гудки непрерывные, выстрелы, крики. Кажется — вся армия переезжает.

* * *

Наступило такое, что каждый житель столицы, из двух с половиной миллионов, оказался предоставлен сам себе: никем не руководим и никем не защищён. Выпущенные уголовники и городская чернь делают что хотят.

Уголовники помнят камеры мировых судей, где их судили, — и громят их. На 2-й Рождественской сжигали все дела мирового судьи, ворохи бумаг, а заодно грелись.

С особым озлоблением и ничего не щадя, громят квартиры приставов, всем соседям известные. Из одной такой с третьего этажа швыряли на мостовую имущество, мебель, выкинули и пианино. И всё затем сжигали на костре.

* * *

А какой-то человек (позже узналось: освобождённый из тюрьмы неприятельский агент Карл Гибсон) звал толпу громить «охранку» — а увлёк её громить контрразведку Петроградского военного округа на Знаменской улице. Служащих контрразведки отвели в Таврический и посадили как «охранников».

* * *

И весь вечер и ночь Петроград ловил и убивал свою полицию. По ночному времени, далеко не отводя, убивал на улицах, топил в прорубях Обводного канала. Снаряжались автомобильные экспедиции за городовыми.

А мысль массы, освобождённой от полиции, быстро зреет: почему не погромить частные дома? В квартирах, хоть и не найди офицера, ой-ой-ой сколько добра можно прихватить. И начали ходить по квартирам: «У вас офицеров нет? Разрешите проверить». Все ворота и подъезды велят держать открытыми — для поисков и обысков.

На Знаменской улице дворник не сразу отпер ворота прохожей банде — его убили за это.

* * *

За день были подожжены кроме Окружного суда: губернское Жандармское управление, Главное Тюремное управление, Литовский замок, Охранное отделение, Александро-Невская полицейская часть и много, почти все полицейские участки. Сожгли и здание полицейского архива у Львиного мостика.

Большой пожар был на Старо-Невском. Уже в темноте, при огне, из окон как будто прыгали с высокого этажа люди. Большая толпа стояла и глазела. Оказалось: это чучела одетые выбрасывают, горел полицейский музей.

Говорили: пристава Александро-Невской части подхватили на штыки и бросили живого в огонь.

* * *

А Финляндский батальон продержался и весь день, и эту ночь. Вечером от него были выставлены заставы между Горным институтом и Балтийским заводом, где несколько тропинок через Неву — и, после разгрома толпой Морского корпуса, остановили движение, не пропускали никого ни туда, ни сюда. Из-за Невы — пятна пожаров, глухой шум с выстрелами. Приблизился рёв ликующей толпы, рёв моторов — но через Николаевский мост финляндцы не пропустили их.

* * *

Поздно вечером революционная толпа дохлестнула и до измайловских казарм. Эта волна лилась с восточной стороны — а в те же последние минуты на север, через Фонтанку в центр, вышло около двух рот измайловцев на подкрепленье правительственным войскам. И успели уйти. Разделил тех и других — массивный, широкий, тёмный в ночи Троицко-Измайловский собор.

Уцелевшие очевидцы уверяли потом, что в окружной темноте крест на куполе необъяснимо светился. И кто замечал — снимали шапки и крестились.

* * *

Всегда бывало: у ворот поздно дворники стоят, сидят в тулупах, шаги запоздавшего прохожего гулки по пустой улице — и безопасны.

Сегодня — вымело дворников, темны все окна, идти страшно.

Вот двое засели в подворотне и добрый час стреляют вкось улицы по чердаку трёхэтажного дома — мол, там полицейский пулемёт. (Хоть не ответил ни разу.) Кому-то и в окно влепили, звон стёкол.

* * *

Ночью, после разграба Мариинского дворца, многие охотники ещё тянулись к соседней офицерской гостинице «Астория»: окна светятся, шесть этажей, и одни офицеры — во где добыча!

Но — и отбиваться будут. Штурм никак не стягивался.

* * *

Вести о петроградском солдатском мятеже к вечеру достигли и Ораниенбаума. Там стояли два запасных пулемётных полка, единственная пулемётная подготовка на всю русскую армию. В них были мобилизованы и питерские рабочие с революционным духом. Теперь солдаты заволновались, собирались у казарм, разбирали пулемёты, винтовки, патронные ленты и патроны. В гуле, гомоне стихийно решили: идти на помощь петроградским пол-

кам! Офицеры пытались остановить — тщетно, у них отбирали оружие.

Пулемётчики захватили железнодорожную станцию, приказали готовить себе поезда — но не решились ехать, боясь умышленного крушения. Уже после полуночи пошли большой колонной по шоссе на Петроград. По пути ещё присоединяли мелкие воинские части, ещё разбивали склады, брали вооружение и провиант. Шли через Старый и Новый Петергоф, Стрельну. Колонна растянулась на много вёрст, вели её унтеры.

****

ТЕРПИТ КВАШНЯ ДОЛГО,
А ЧЕРЕЗ КРАЙ ПОЙДЁТ — НЕ УЙМЁШЬ

****

154

Колоссальное четырёхквартальное здание Адмиралтейства, с четырьмя фасадами, семью подъездами и семью воротами, могло вместить десять и двадцать таких отрядов, несколько полков, — но, беззвучно темнея в самой ещё спокойной части города, никем не угрожалось и для защиты своей не нуждалось даже и в пришедшем отряде. И эта неясность задачи, безпреимущественность такого решения перед каким-то другим, не найденным, костенила не только штаб генерала Хабалова, но невольно сообщалась и рядовым. После целого дня бездействия и потерянного резерва Дворцовой площади — просто чувствовалось каждой душою, что делается что-то не то.

Хотя по городу всюду стреляло буянство, но без единой организованной воинской части, без единого строя и цепи. А улицы посвободнели ввечеру — и на самом деле отряду Хабалова были

открыты все направления, он мог наступать на Таврический дворец или без помех вовсе уйти из столицы, мог пойти и взять любое намеченное здание, освободить любых схваченных, — нет, Хабалов уже прочно отвёл такую мысль, или не мог её понять. Он без труда и без надобности самовогнал себя в торжественный, грандиозный саркофаг Адмиралтейства.

Тут неприязненно встретил их помощник начальника морского Генерального штаба, уже снесшийся с морским министром Григоровичем (он жил в этом же здании, но якобы болен был сейчас): морской штаб не может быть обращён в военный лагерь, это повлечёт приостановку текущих дел.

Генерал Хабалов потупился и обмяк: теперь уже и вовсе он не знал, куда ж идти.

Но вмешался генерал Занкевич и дипломатично уладил: отряду дали главный вестибюль и безконечные коридоры первого и второго этажа вдоль Александровского сквера и Дворцовой площади. Пехоту и пешую полицию ввели в коридоры, кавалерию, конных городовых и артиллерию — в обширные дворы.

Сам штаб Хабалова и группа градоначальника разместились в вестибюле, тут было довольно мебели и кресел, и телефон.

Учебная команда Измайловского батальона продолжала удерживать телефонную станцию, и телефоны работали безперебойно. Только никто не знал, что штаб ушёл из градоначальства — и долго не звонили на новое место.

Из первых новостей узналось, что разграблено и сожжено Охранное отделение.

Затем из Совета министров приказали прислать сильную охрану Мариинскому дворцу.

Но кого послать? Нельзя разбрасываться. Занкевич ответил, что войска мало и нечем растянуться до Мариинской площади. А не желают ли господа министры сами пожаловать в Адмиралтейство?

Тем временем подходили подкрепления — ещё около двух рот измайловцев, хорошо. И вот — эскадроны гвардейской конницы из-под Новгорода, вызванные в субботу. И — куда их теперь? Тут поместиться им негде, а главное — негде конницу поить и нечем кормить. Отправили их в манеж Конной гвардии.

Тут и полицейский вахмистр доложил, что кони с голоду дрожат, надо кормить.

А запасы фуража остались в градоначальстве! Вот те на.

Послали туда на фуражировку добровольцев-жандармов — тихо, через Александровский сквер. В градоначальстве оказалось спокойно и никого. Принесли оттуда овса и хлеба, а себе прихватили ещё и колбасы из незакрывшейся мелочной лавки на Гороховой.

Наружную охрану — всё-таки мороз был градусов 10, и солдаты одеты легко, — заменили наблюдением из окон второго этажа. Решётки ворот заложили досками и дровами, а позади каждых ворот поставили по орудию.

В коридорах и на ступенях спали теперь солдаты с винтовками, там и сям прикорнув. Офицеры — на стульях.

Во дворе на морозе ёжились кони и люди при них. И постовые.

Штабу Хабалова нашлась наконец отдельная комната с дверью, а в буфете — немного еды.

Хабалов, кажется, исчерпал все свои командные силы. Имел он всё-таки какой-то план или мнение? Да. Он так понимал, что надо продержаться ещё сутки — и с фронта подойдёт большая помощь. А сейчас в городе — может быть 40 тысяч восставших? может быть 60 тысяч? — и справиться с такой силой ему невозможно.

Ото всего города слышно было постреливание, иногда пулемётное. Но неблизкое.

Так и надмирали они в огромном пустынном Адмиралтействе, в опустевшем центре города. Надо было вот ночь так пересидеть, потом и день.

Ещё и к полуночи докладывал по телефону околоточный из градоначальства, что и там всё в порядке.

Можно было и оттуда не уходить.

И зачем они здесь, в пустоте морских коридоров? Какой-то сон.

Около 11 часов вдруг промелькнул по Адмиралтейству великий князь Кирилл. Никаких указаний не давал, ни за что не бранил, но обходил помещения — и посматривал, посматривал. Сказал, что ищет две свои роты экипажа, будто бы пропавшие с тех пор, как послал их днём на Дворцовую площадь.

Вполне может быть, что и ушли к мятежникам…

Уехал великий князь — появился пешком, без шинели по морозу и запыханный военный министр Беляев. Щуплый, маленький, прошёл по плитчатому полу вестибюля торопливой, щёлкающей походкой. Выслушал рапорт. Ничего не сказал о военных действиях — не похвалил, не укорил. Объяснил, что его квартира в

довмине стала совсем не безопасна, отступил оттуда под выстрелами. А Мариинский дворец уже захвачен мятежниками, и в бумагах правительства там хозяйничают.

Уединился позвонить по телефону.

После того распорядился: пока не идут военные действия, надо срочно обратиться к населению. Пользуясь тем преимуществом, что в Адмиралтействе помещается постоянно действующая типография и дежурные типографы налицо, — немедленно отпечатать и развешать по городу новое объявление командующего Округом. Во-первых: по высочайшему повелению город Петроград с сего 27 февраля объявляется на осадном положении. Во-вторых: что впредь жителям воспрещается выходить на улицу после 9 часов вечера. И в-третьих: что, вследствие болезни министра внутренних дел действительного статского советника Протопопова, в его должность вступает товарищ министра по принадлежности. (Беляев забыл, кого там решили назначить.)

У хмурых генералов, защитников Адмиралтейства, о Протопопове только то мнение могло проступить, что — ловко заболел мерзавец, ускользнул в последнюю минуту.

На «высочайшее повеление» Беляев, очевидно, имел распоряжение. Что ж, осадное положение можно было объявить, но не добавляло оно ясного смысла к тому, что творилось. Хорошо, тут же Беляев уже писал черновик, и типография оказалась готова, и распорядился Хабалов печатать тысячу экземпляров. Но вот насчёт невыхода после 9 часов возникал такой постыдный курьёз, что и Хабалов отказался. Где находясь, что́ видя глазами и что́ имея в голове — можно было такое сочинить? Нельзя уж так давать над собою смеяться.

Довольно скоро принесли и отпечатанные объявления. И тут хватились: а что же с ними делать дальше? Во-первых, не было того города, где бы их расклеивать. Градоначальник возразил, что расклейщиков пришлось бы охранять воинскими нарядами. Да ещё, простое: ведь нужны клей и кисти! А их тут нет. И где их среди ночи взять?

Без клея никак не расклеить, да.

Что ж, распорядился Хабалов: пусть полицейские нацепят несколько объявлений вот тут, на ограду Александровского сквера. А остальные — просто разбросают по Дворцовой площади и в начале Невского. Да можно нацепить и на решётку ограды Зимнего.

Так и сделали.

155

В Преображенском офицерском собрании, в комнате за биллиардной (старинные портреты и гравюры, кресла красного дерева, крытые серым штофом банкетки) сидело и после ужина два десятка обезкураженных огорчённых офицеров, пытавшихся разобраться в несчастной путанице минувшего дня. Были и те, кому опасно вернуться во взбунтовавшиеся казармы на Кирочной. Из биллиардной доносилось неизменное постукивание шаров — тех упорных киёв, кому безчувственно-неведомы все сотрясения внешней жизни.

Как знаменательно и обещательно начинался этот день! — и каким ничтожным пшиком кончался, нельзя примириться! Как это могло произойти, где сделана ошибка? Они разбирали.

Не надо ли было тогда же всё объяснить солдатам? — спрашивал теперь Розеншильд-Паулин. Может быть, наша ошибка в этом? Мы опоздали объявить?

Но два капитана, сидя рядом на диване, уверенно возражали, что это внесло бы раскол и сумятицу, преждевременное объявление могло бы всё испортить.

Да и — что объявить? Главная трудность — что объявить? Сама задача была расплывчата, непонятна офицерам — и днём, как и сейчас.

А потом этот ликующий восторг, когда шёл с музыкой Павловский батальон, и казалось, силы удесятерятся — и вдруг павловцы оказались *против* народа? Как это вместить и понять?

Так ведь — и гвардейский экипаж приходил, чернел, как будто был против Государственной Думы? И егеря?.. И кексгольмцы?

Прапорщик Гольтгоер, пользуясь известным правом младших начинать суждения, заявлял теперь резко, что не надо было ждать никаких подкреплений, а сразу идти и арестовать всю хабаловскую головку. Если капитан Скрипицын смог пройти туда безо всякой задержки, то очевидно, что атаковать их не составляло труда даже кучке, не то что двум ротам. И преображенцы оказали бы этим неоценимую услугу Освободительному движению: сейчас, в данную минуту, уже не с кем было бы в Петрограде воевать!

Прямо действовать против правительственных войск? Нет, они так не думали. Соображение, может быть, и интересное, но никто не помнил, чтобы Гольтгоер высказал его на площади.

Нет, это должно было совершиться гораздо тоньше, — но как? Днём утеряны были и свежесть настроения, и величественность задачи. Так ничего не совершив, только озябнув и духом упав, все стали расходиться, и преображенцы тоже захотели обедать и ужинать, вернулись в казармы, — а теперь куда уже на мороз и ночью? и зачем? И солдат не подымешь легко, и офицеры не видели смысла.

Но как этот Смысл за несколько часов — просеялся? продробился? провалился? Какая обида! Какое даже унизительное состояние неудачи!

Офицеры поужинали, но все оставались в Собрании, не расходились: ясно, что в такой день надо быть при казармах.

Но — идти в сами казармы? но — разговаривать теперь с солдатами? Нет, это тоже казалось нескладно, упущено.

Убедительные доводы были такие: солдаты — и сами из народа, и так по природе своей не могут быть против народа. И на тот момент, когда конфликт зияюще обнажится, — их поведение однозначно определено. Но наши теперешние солдаты слабо подготовлены в военном отношении, а в интеллектуальном тем более слабы, и такой психической нагрузки, данной заранее, могут не выдержать. Освещать им задачу преждевременно, сейчас — не надо, а только в самый момент действия.

Приложить силы батальона не поздно будет и завтра, конфликт продолжится, — хотя силы правительства будут подкреплены извне — и сойдётся ли ещё такой драматический, такой декабристский, такой неповторимый удобный момент?

И вдруг — в комнату вошёл — в гвардейском морском мундире, с аксельбантами генерал-адъютанта, с золотыми царскими вензелями на погонах, с тремя крестами, нашейным и грудными, бледный — великий князь Кирилл Владимирович.

Как кстати! Офицеры все поднялись и стянулись к нему. Вот от кого узнать и с кем посоветоваться! Контр-адмирал, командир гвардейского экипажа, видная фигура династии, старший сын второго колена, в случае сотрясений возможный кандидат на престол! И — многое знает. И — что он думает?

Но Кирилл не спешил ни приободрять, ни обезкураживать преображенцев. Он стоял вытянутый, смотрел со своим значительным надменным видом (а если вглядеться и понять — так и неуверенным) — и слушал от них, как от подчинённых, соображения. Всё лицо его было чисто брито, только густые короткие усы.

Капитан Приклонский, переглянувшись с другими, решился сказать:

— Ваше Императорское Высочество! Мы считали бы нечестным разговаривать с вами, не заявив, что мы — на стороне Государственной Думы.

Кирилл — не вздрогнул. Поднял брови, но не с гневом. Поискал слов. И вдруг протянул капитану руку:

— Господа. Я благодарю вас за откровенность. Сердцем — понимаю ваши сердечные чувства. — Глаза его были холодны, а слова предназначены выразить сильные эмоции: — Мы просили, мы молили, но это ни к чему не привело.

Все стояли, замерев от ужаса: дальше! дальше! Вот сейчас великий князь объявит себя их вождём — и поведёт!!

А он стоял всё такой же холодно-прямой, даже при самых крайних последних словах:

— До чего они довели Россию!

Приложил руку к козырьку, чётко повернулся — и к выходу. Два-три офицера поспешили проводить его к гардеробу.

Не обещал прямо союза и помощи, не сказал определённо — но как подбодрил преображенцев! Если так рассуждает великий князь — то до чего же дошло?

И отчего же преображенцам не открыться и дальше — ещё, прямо! Да отчего же сама Государственная Дума так и не узнала об их сегодняшнем высоком революционном настроении?!

Тут порывисто вмешался подпоручик Нелидов:

— Господа! Вот это как раз не поздно исправить! Все члены Думы сейчас на месте. Телефоны работают. Мой дядя Шидловский — председатель бюро Прогрессивного блока. Если только, господа, вы меня уполномочиваете — я сейчас же ему звоню и официально от имени батальона объявляю преображенскую поддержку Государственной Думе! — Он волновался, все возможности упущенного утра как будто вставали вновь. — Если только дядя сейчас там — он узнает мой голос и поверит.

Шумно вскричали, как за столом после удачного тоста. Очень понравилось всем!

Это и было единодушное одобрение. Гурьбой пошли к телефону.

Довольно быстро барышня соединила: удивительно, что телефон служил, несмотря на все уличные события.

На том конце взял трубку один, передал другому, а третий был уже и сам Шидловский.

— Дядя Серёжа! Дядя! — радостно и даже чрезмерно кричал в трубку Нелидов. — Ты узнаёшь мой голос? Слушай! — И торжественно: — Я звоню из Преображенского офицерского собрания! Мне поручено объявить, что офицеры и солдаты Преображенского полка постановили предоставить себя в распоряжение Государственной Думы!!

Это само так вымолвилось — не батальон, а полк. И — сам язык ввернул сюда и солдат, без этого бы не звучало.

Да как они уже убедили друг друга — с солдатами-то вопрос решённый.

156

Что же было делать?

Что же делать?

Что делать!

Как скалами, стиснут был Родзянко, после того как Беляев сообщил, что Михаил получил от Государя полный отказ.

А окружающие — наседали, советовали, толкали: брать реальную власть в столице.

Милюков для этого уселся вплотную, со своей неотвязчивостью он бывал как клещ, пока своего не докажет, Родзянко всегда побаивался слишком долгих с ним бесед, боялся уступить черезмерно.

Но и простодушный Шидловский склонялся к тому же. И мямля Коновалов. И наскочливый, остренький Шульгин. Тем более Караулов, бешеный казак, когда имел минуту забежать. Да вот и Некрасов, проделавший с Председателем всю сегодняшнюю петлю, немногословно переклонялся туда же. (Он любил долго молчать, поздно высказываться — и всегда оказаться правым.) После того, что переговоры Михаила с царём провалились (даже и лучше, события пойдут своим размахом, и чего можно было ждать от царя?), — нам остаётся продолжить поручение Государственной Думы, взять на себя охрану порядка.

Да вот почти и весь Комитет. А что думали Чхеидзе и Керенский — это вовсе было неизвестно, они сюда что-то и не заходили, они с кем-то другими совещались в другом крыле дворца.

И доводы были все — как будто верные. Правительство впало в паралич, да, если не разбежалось полностью. Никаких распоря-

жений не приходило и от Государя. Императорская власть в стране была — и как будто не была: куда она затмилась? Императорская власть над столицей не осуществлялась ни в чём — кроме единственного вялого генерала Хабалова, который тоже себя нигде, ни в чём не проявлял.

А между тем по городу разливалась анархия. Что днём казалось силой доведенного до отчаяния народа — то теперь превращалось в опасный сброд. Полицию — уже разгромили повсюду, никакой силы охраны порядка не осталось. Приходили сведения, что задерживают на улицах офицеров, оскорбляют — а то и убивают. Два с половиной миллиона жителей не могут жить без власти над собой, должны же кого-то слушаться. Для спасения жителей, и особенно офицеров — уже стоит взять на себя охрану порядка. А кто будет охранять банки, казначейство, винные склады? Караулы отовсюду сбежали.

Всё — так. Но давайте подумаем. Но нельзя решиться так сразу и быстро.

Да нельзя ждать! — чернь обрушится и на саму Думу, перебьёт и её! Для спасения Думы и для спасения Отечества — нет иного выхода, как обуздать анархию.

Наконец: пока мы будем думать да собираться — власть возьмёт кто-нибудь другой. Вон, уже затевают совет рабочих депутатов — да он и подхватит? Недаром Чхеидзе сюда не заявляется — он уже там у них председатель.

Всё так. Родзянко пересматривал лица. (От Милюкова старался отворачиваться.) Всё так. Но все его советчики, все члены Комитета не на столькое решались и не так отвечали, как Родзянко. Это *он* был Председатель их — и его решение единолично, и ответственность единолична.

Но это была дерзость выше его разумения и прав.

Но — никакого ответа он не получил из Ставки.

Но — ничего определённого не ответил Михаил.

Но — анархия бушевала по Петрограду.

И на что не решался Михаил — теперь предлагали ему самому?

Все до единого вокруг убеждали — брать власть.

Как скалами, стиснут был Председатель.

Не говорил Милюков, этот твёрдый кот в очках с оттопыренными жёсткими усами, что надо создать правительство, вместо одного правительства — другое, вместо императорского — ответственное перед Думой. На Совет министров Родзянко согласился бы

легче. Но нет, его толкали самовольно взять власть больше, чем правительственную, объявить небывалую власть Комитета — по сути Верховную?

То есть — власть, как бы равносильную власти Государя!

То есть — совершить государственный переворот? Переступить присягу и клятву? Выступить — первым мятежником — и против помазанника Божьего?

Но Родзянко не был мятежник!!

Но — Отечество погибало, а Родзянко за него отвечал!!

Да может, от этих назойливых голосов, обступивших лиц он и решить не мог? Ему надо было сосредоточиться, так хорошо подумать, как никогда в жизни не думал. Собственный его кабинет, всем думцам открытый, перестал быть таким местом.

— Вот что, господа. Если так — то оставьте меня в уединении. На четверть часа, на полчаса. Я должен подумать наедине со своей совестью.

Согласились, некоторые неохотно, особенно Милюков, не хотел отрываться. Стали выходить гуськом в соседний кабинет Коновалова.

Увы, как бы и не отгородился. Там, за этой одинарной дверью, он их всё так же видел и чувствовал: как они собрались, ждут, понуждают. Для них — решение уже было как бы и принято.

А ему без подставленных советов — тоже оказалось не на что опереться.

Помолиться? Это он оставлял на потом.

Что ему ещё мешало всё время, обидно? А вот что: к т о же будет власть? Каким молчаливым заговором, терпеливыми интригами Милюкова они вытеснили Председателя Думы с кандидатов в премьеры? Почему — Львов? С какой стати — Львов? Какой у него государственный опыт? Да его и в Петрограде нет, а тут каждая минута…

Но сам Родзянко — не мог же им сказать об этом. А никто другой не догадывался? Все его так уважали, а никто не предлагал.

Нет, что же было делать?? Что делать?

Он представил себе хорошо знакомое лицо Государя — и мягкое, и такое иногда светлое, а — плохо проницаемое. И последние их крутые, тяжёлые разговоры на аудиенциях — в январе и в феврале. Родзянко никогда не умел сдержать своего раскатистого гнева, а Государь всегда умел. Но в последний раз был так его лоб тёмен, что вот-вот промелькнёт и зигзагом молния.

И что ж он скажет, когда узнает, что Родзянко сам объявил себя властью?

А — почему не мог он ответить ни слова ни на вчерашнюю телеграмму, ни на сегодняшнюю? — как будто Родзянко жаловался ему на своё здоровье, а не доносил, что Россия гибнет.

Уже устав держать руками голову, он теперь руки держал над собой, сплетённым замком.

Ах, как невозможно было решиться! как — не на что было опереться! И истекали четверть часа. Большие настенные часы показывали полночь.

Вдруг (он еле успел опустить руки с головы) приоткрылась дверь из кабинета Коновалова — и всунулось обросшее лицо Шидловского. И заговорил не нудновато, как всегда он тянул, но необычно для него, крайне взволнованно:

— Михаил Владимирович! Простите, что я безпокою вас и в эту минуту. Но чрезвычайно важное сообщение.

— Да? — не досадливо, но с надеждой спросил Родзянко. Какого-то экстраординарного известия ему именно и не хватало для решения. Может быть, вот оно и есть? Какого-то малого довеска не хватало на весах, в ту или другую сторону.

Шидловский вступил весь:

— Сейчас звонили из Преображенского полка. По поручению офицеров полка — мой племянник Нелидов, он служит там. Он просил меня передать вам и всем здесь: что офицеры и солдаты Преображенского полка предоставляют себя в распоряжение Государственной Думы!

С неожиданности Родзянко выслушал, сидя за столом, но тотчас и встал, старый кавалергард. Это звучало как клик десятка фанфар: любимое Петрово детище, Преображенский полк, первый полк русской армии! — предлагал ему поддержку! склонился под знамя Государственной Думы!

(Такими фанфарами прозвучало — не ухватывала мысль поправить: Преображенский полк — весь на фронте, а здесь — тыловой запасной батальон.)

Родзянко ощутил могучие волны подъёма в своей могучей груди. Он сам стоял как на параде преображенцев, он слышал их марш!

И — голосом для плаца, не для одного Шидловского в кабинете, объявил:

— Благодарю за весть, Сергей Илиодорович! Я — принимаю власть!

Поправился:

— Государственная Дума — принимает власть!

157

Проникнув в Таврический, Пешехонов стал на каждом шагу встречать знакомых, как будто нарочно все его знакомые сговорились в этот вечер устроить всеобщее свидание под сводами Государственной Думы.

И не забывая о жгучей заботе, он каждого спрашивал: предусмотрен ли захват охранки, послан ли автомобиль? Большинство не знали, а кто говорил, что послан. Не было такого распорядителя, к кому бы обратиться. Народу было очень много, а — ни головы, ни смысла.

В Екатерининском зале в разных местах солдаты располагались, как в третьем классе вокзала, лёжа на полу, а ружья в козлах.

Солдат-то было разрозненных сотни — а офицеров не видно, какие-то прижатые. И странно, и тревожно. Странно, потому что в столице много офицеров передовых, правильно думающих — и как же в такой день и при таких событиях они все куда-то скрылись? И какая же судьба ждала восставшие солдатские массы без офицеров? как же они поведут бой?

Во всяком случае, было сейчас тут людей в тридцать раз больше, чем в перерыв самого людного думского дня. А если толкаться по густоте коридоров и открывать подряд двери — то и в каждой комнате тоже сидели, или заседали, или беседовали по десять, по двадцать человек.

Но в коридоре ему не пришлось расспрашивать, где же дверь Совета, — появился один из партийных товарищей, народный социалист, и подхватил его под локоть:

— Алексей Васильич, скорей! В Совете нет нашего представителя, сформируют всё без нас!

Пешехонов дал себя подогнать, подвести — и вступил в заседание Совета.

Но не успел по близорукости оглядеться, как кто-то из знакомых выкрикнул его кандидатуру в литературную комиссию, писать воззвание — таким образом, кажется, он не захватывал для

своей партии места в Совете? Но не нашёлся возразить при баллотировке — и вот уже был избран.

И тотчас же, торопясь к делу, вся литературная комиссия вышла из общего заседания, и так Пешехонов тоже вышел, не успев полюбоваться на Совет и повлиять на ход его.

В комиссию кроме Пешехонова попали — Соколов, Нахамкис, Гиммер и Шехтер. Соколов, тут уже всё знающий, бодро вёл их занимать помещение. Всё правое крыло стало нашим, всё забито и полно. Тогда Соколов повёл их на левую половину, думскую, и там они самовольно захватили кабинет Коновалова.

Вокруг его письменного стола с телефоном расселись, но непоседливый юркий Гиммер отпросился на пять минут, пообещав им собрать новости из штаба обороны, который тут близко. Действительно, неплохо было бы им, прежде чем составлять воззвание к населению, хоть узнать, что делается в боях.

Гиммер вернулся с ворохом новостей, хотя признался, что собрал не от членов штаба, а у дверей. Новости были скорей грозные, чем радостные. С одной стороны: Кронштадт перешёл на сторону народа! (Но в Кронштадте никто и не сомневался, зная его традиции.) С другой: царские министры собрались в Адмиралтействе, и там их охраняют с артиллерией, много войск. Так что враждебный центр был налицо — сохранился и готовил удар. И ещё какие-то новости о Петропавловке, но никто точно не знает: не то она сдаётся Таврическому, не то прислала ультиматум, чтоб сдался Таврический, иначе откроет огонь.

Последнее было гораздо более вероятно. Вообще, кто годами испытывал на себе неумолимое давление царского режима, знал его когти, — тот скорей мог поверить, что реакция собирает силы отпора — и удар будет сокрушительный.

Да вот и самое страшное: правительственные войска уже прибывают в Петроград! На Николаевском вокзале уже высадился нето 177-й, нето 171-й пехотный полк — и на Знаменской площади ведёт бой против революционного отряда.

Шехтер хватал себя за голову при каждой новости и только повторял:

— Погибнем мы! Погибнем!..

Лучше б Гиммер за этими новостями не ходил — только перебил всё настроение. Какой там «революционный отряд» может удержаться на Знаменской площади! — могут быть депутаты от полков, могут быть бродячие солдаты, — но боеспособного революционного отряда быть не может.

Под этими впечатлениями овладела литературной комиссией вялость, — высказывались нехотя, умолкали. Думали, только не об этом воззвании. Даже Гиммер в своём витье понеподвижнел, Соколов лишился неистребимого оживления. И Нахамкис при своей видной мужественной фигуре — рухло осел.

Может быть, им всем не миновать близкой расправы.

— Но, товарищи, — бодрился и стыдил их пятидесятилетний Пешехонов, старше их всех, — но мы так и до утра ничего не составим. Давайте же думать!

Никак бы им не сговориться, если б они стали давать политическую оценку момента: что именно произошло и что ожидалось бы завтра, — даже среди меньшевиков было четыре линии, а тут ещё Пешехонов. И даже *почему* произошло — тоже им было трудно согласовать: одни предлагали сослаться на военные неудачи, другие не соглашались, потому что армия и оборона не должны были быть поставлены под сомнение. Тогда о нехватке продовольствия в столице? И тут находились голоса против, Нахамкис считал, что это принизило бы значение революционного момента.

А тогда — почему же? Почему, правда, всё началось? Они сами не могли себе этого объяснить: п о ч е м у? Почему именно в эти дни, когда никто не ждал? И почему сразу в один день, так быстро?

Но если сама литературная комиссия этого не понимала, то что же поймут народные массы?..

Тут случилась новая помеха: открылась соседняя дверь и оттуда стали выходить думцы, члены Временного Комитета: сам хозяин этого кабинета Коновалов, Милюков, Некрасов, другие.

Их новость была, что Родзянко уединился, попросив время на размышление.

Но стол-то Коновалову пришлось освободить. На гостей косились, однако гнать не смели, как представителей революционной демократии.

Литературная комиссия сдвинулась в сторону и при громком разговоре думцев пыталась продолжать обсуждение, Гиммер набрасывал на коленях.

…Борьба ещё не доведена до победы. Старая власть должна быть низвергнута окончательно — и только в этом спасение России…

«Низвергнута окончательно» — но не знали они, доредактируют это воззвание, или поднапрёт 177-й полк от Знаменской площади — и побежит во все стороны Таврический дворец, а те, что в сквере греются у костров или разлеглись в Екатерининском зале, — не защитники. Это просто удивительно! — хотя бы одна-единственная рота была на защите революции — ведь ни одной.

…Для успешного завершения борьбы в интересах демократии… в столице образовался Совет Рабочих Депутатов из выборных представителей заводов и фабрик…

В это время зазвонил телефон — и требовали Шидловского, непременно его, а он вышел. Кто-то его позвал. А аппарат был такой, что надо было под рычагом держать палец или карандаш, а то разговор исчезал. Научили Шидловского держать карандаш.

Он очень оживился. Можно было понять, что говорят из Преображенского полка.

Так и есть! Шидловский закончил сияющий. Объявил всем в комнате, что Преображенский полк в полном составе поддерживает Государственную Думу!

Фу-у-у, намного стало легче.

Посоветовался с Милюковым и пошёл стучать к Родзянке.

Литературная комиссия, оживлённо пообсуждав Преображенский полк, опять уткнулась в своё воззвание, бодрей. Надо было сформулировать основную задачу Совета Рабочих Депутатов и основную цель его.

Скоро Шидловский вернулся и взволнованно объявил, что Родзянко согласился взять власть!

Присутствующие думцы захлопали.

Итак — революционная власть создалась! Литературная комиссия не удержалась и тоже захлопала.

(А 177-й полк, может, уже наседал?)

Нет, тут оставаться невозможно, думцы шумно разговаривали. Хотя интересно посмотреть-послушать, но и наш Совет ещё идёт, тоже интересно. А без воззвания вернуться нельзя.

Потянулись искать другую комнату. Тем временем в Екатерининском всё больше ложились спать, а в Купольный всё больше натаскивали каких-то грузов: пулемётные ленты, пироксилин, мешки с чем-то.

Нашли комнатушку вроде складской, со старыми изданиями, и там, застревая на каждом слове, еле дотянули воззвание до конца.

Пешехонов отправился на заседание Совета, но не дошёл до него: его перехватили и втащили в заседание финансовой комиссии, куда он тоже был кооптирован.

Там обсуждали, откуда Совету Рабочих Депутатов брать деньги на свою работу. Пешехонов сразу вошёл в проблему, что думать не об этом надо, а как сохранить казначейство и банки, чтоб их не разграбили.

158

Все права свои забирала уже ночь — и спали на полах и лестницах ратники хабаловского пёстрого отряда. А у начальства — нет, по-прежнему не было покоя.

Ненасытно подвижный генерал Занкевич, обходя посты, составил впечатление, что настроение солдат ненадёжно, и не только не готовы они к наступлению, но даже — оборонять это непонятное Адмиралтейство.

И снова горячо вернулся к своей идее и докладывал Беляеву: что разумней и достойней было бы перейти в Зимний дворец — и уж его защищать как эмблему царской власти.

И Беляеву, и Хабалову, и Тяжельникову очень трудно было думать ещё над новыми решениями. И так уж они как будто упокоились тут — а снова куда-то идти?

Но вот чем убедил Занкевич: сегодня люди голодные, и завтра с утра кормить их нечем. А в Зимнем дворце — много запасов в погребах, и будут варить горячую пищу, там можно выдержать любую осаду. А тут — и встретили недружелюбно, Григорович не вышел, ни привета не прислал, ни помощи. Да он и всегда играл в пользу Думы.

А правда, в этом есть благородство и честь — умереть, защищая царский дворец!

Согласились. И Хабалов отдал распоряжение — переходить.

Уже после полуночи — будили, поднимали, топали, собирались по огромным гулким коридорам. Люди среди ночи, среди тяжкого сна — не удивлялись, не волновались, выполняли механически. С усталости хотелось спать, а больше того, перебуженным, — есть.

И шире пошло по отряду впечатление, что начальство — силы не имеет и само не знает, что делает.

Морское начальство очень любезно провожало, радуясь, что отделалось.

Переходили — в темноте и в молчании, без громких офицерских команд. Тихо погромыхивала артиллерия. Фыркали кони.

Переступали, переезжали колёсами собственные разбросанные хабаловские объявления.

Стояла великолепная морозная ночь, в полную яркость мерцали звёзды — над тою самою площадью, где так ещё недавно в июльский день толпа на коленях пела гимн перед царём. И только вот этот последний обоз дотащился ото всего того.

В темноте и не догадались проверять — кто-то свернул и ушёл, по казармам, по домам. И крупные полицейские офицеры из свиты градоначальника исчезали, не попрощавшись. Да и весь вечер кто-то исчезал.

Освещённый собранными звёздными отблесками в темноте неба различался петропавловский шпиль.

И взглядом на небо видны были изощрённые фигуры по периметру зимнедворцовой крыши.

За площадью, за Александровским столпом, темнели обнимающие крылья Главного Штаба.

И ни единого прохожего.

Из города слышна была одиночная стрельба, да кой-где догорали зарева.

Пехота стала втягиваться через подъезд Александра II. Артиллерия с кавалерией — в ворота.

159

Глыбистый Родзянко вышел в кабинет Коновалова торжественно, как именинник — ровный, готовый к приёму поздравлений, только со щёк на голые темена красный от перенесенного напряжения.

Вошёл — и раздались аплодисменты. Но так немного, не совсем уверенные хлопки: процедура не выглядела в простой комнате, число людей было малое, да и слишком всё качалось во тьме, не до ликования.

А Родзянко, вступив шага на три, стоял перед своим Комитетом, как перед думским залом, и басово рокотал:

— Я — соглашаюсь, господа! Извольте, я соглашаюсь. Но на условии, разумеется, полного мне подчинения всех членов Комитета! Как и вообще всех членов Думы.

Милюков смотрел на эту тушу безнадёжно. Поморщились и некоторые другие: вот уж чего Родзянко никогда не понимал — ни коллегиальности, ни республиканского духа. Я — и всех дави.

— И особенно, — заметил Родзянко тут Керенского, — особенно я жду подчинения от вас, Александр Фёдорыч. — И выразительно-красно на него смотрел.

Это он явно напоминал ему давешнее столкновение о Щегловитове. (Да наверно готовил и освобожденье его? Но пока не вслух.)

Керенский, в своих летаниях по дворцу заскочивший сюда и тут заинтересованно дожидавшийся решения, — однако не ответил как-нибудь дерзко, а только выразительно качнул подвижной головой и проиграл бровями. Значение принятого решения осенило и его и задерживало тут.

Да и Милюков был доволен, несмотря на авторитарную форму объявления: он добился своего, сделан был важный шаг, которого не мог он сделать сам, а только через Родзянку. Теперь надо было закрепить публично, отрезать пути отступления, чтоб это не было кабинетным обещанием, которое можно взять и назад легко.

Неполная дюжина Комитета перешла в кабинет Председателя, там расселись. Родзянко за своим массивным председательским столом, а Милюков — у начала поперечного, но, по сути, повёл заседание.

Момент был переходящий: Комитет становился уже не «для сношений с учреждениями и лицами», а что-то новое. И надо было как-то известить население? Выразить публично свои намерения?

Да у Милюкова уже был подготовлен и текст, вот он, за этим у Милюкова никогда дело не стояло.

При тяжёлых условиях внутренней разрухи, вызванной, как это всем ясно, банкротством старого правительства, Временный Комитет Государственной Думы вынужден — просто вынужден — взять в свои руки — не власть, нет, это звучало бы неблагоприлично, а — взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка. И при этом выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче.

(Какой именно задаче? Тут-то и было самое важное, мысль Милюкова забегала вперёд, он готовил уже следующий мостик, для следующего шага.)

В трудной задаче создания нового правительства, которое бы соответствовало желаниям населения (то бишь — не императора) и пользовалось бы его доверием.

(Временный Комитет потому и Временный, что является только мостиком для создания *правительства* — которое уже не будет этот Комитет, но будет иметь реальную власть, — и к той-то власти ступал Милюков. Для того чтобы возникло правительство, Комитет должен будет отмереть — это пока один Милюков прозрел.)

Комитет слушал — возразить нечего. Даже всё очень разумно и умеренно. Правительство доверия? — так об этом Дума только и говорила всегда. Вот — «банкротством»? Может быть, мягче сказать — «мерами старого правительства»? Хорошо, мерами, Милюков был мастер уступать в формулировках, сохраняя суть. (Кто-то подал: да хоть и «маразмом» назови, не ошибёшься.)

А всё согласовано — так Милюков просил извинения и вышел на минуту в зал. (Опередил и Керенского!) Там уже его ждали журналисты — и подхватили коммюнике для издаваемой газетки. И бродячие из Совета депутатов тоже услышали, и, в общем, все приободрились.

А Родзянко, всё ещё переполненный звонком преображенцев, тем временем просил Шидловского поехать после заседания в их офицерское собрание и поблагодарить от его имени.

Было заполночь, но члены Комитета не только не расходились, но приступили к разговору: что же именно делать? Отовсюду продолжали приходить вести, что разгулявшееся население разбойничает, офицеров бьют или убивают, безсмысленно портят имущество и обыскивают частные квартиры. Удержать, защитить — не было никакой военной силы. Значит, надо было выпускать ещё одно воззвание?

В этот раз у Милюкова проекта не было. Стали составлять. Керенский уже улетучился, лихого Караулова не было, поэтому и резкостей не произносили, а — предложения умеренных разумных людей. Некрасов сидел волковато, непроницаемо, своих фраз не добавлял.

К жителям Петрограда. К солдатам. Во имя общих интересов щадить учреждения и приспособления, такие как: телеграф, водокачки, электрические станции. (Можно себе представить, если всё сейчас погрузится во тьму, а уборные перестанут сливать!) И трамваи же! (Досталось уже им.) А заводы и фабрики? Комитет поручает их охране самих граждан.

Об офицерах? Прямо сказать нельзя: будет зафиксировано, что офицеров травят, да и будет выглядеть, будто Комитет защищает реакционный строй. Но можно выразиться уклончивей, как-нибудь в самом общем виде: что недопустимы вообще никакие посягательства на жизнь и здоровье частных лиц. Да и на частное имущество? Вот так написать: пролитие крови и разгром имущества лягут пятном на совесть людей, совершивших подобные деяния.

Шульгин потряс головой и съехидничал:

— Не много же у нас прав для начала, если только и можем мы призывать к совести населения.

— Да чего ж больше, батенька! — с облегчением выдохнул прогрессист Ржевский. — Да что ж вам больше совести!

Всё же докончили, выслали второе воззвание журналистам…

Но в груди Родзянки поднималась гордость. Нет, не робкого он десятка! Да, он сделал такой шаг, и сделал его для спасения России. И теперь надо привести столицу в порядок, а значит, прежде всего собрать распавшиеся войска.

Но для этого — Временному Комитету нужен свой полководец.

Высказал. Обсуждали.

Однако все полководцы на фронте. А в Петрограде — негожие канцелярские генералы, вроде вот этого Беляева. Да и те, если не у Хабалова — так где их искать?

Стали думать, сразу в восемь голов. И в одной голове просветилось: да Энгельгардта!

Энгельгардт — полностью свой, член Государственной Думы. В прошлом — улан-гвардеец, любитель скаковых лошадей, — и окончил Академию Генерального штаба, хотя никак это не направило его последующей жизни. И ещё не стар.

Так великолепно! Он кто по званию? Нето подполковник, нето полковник. Отлично! А где он сейчас? Да где-то здесь, был на частном совещании, и ещё потом оставался.

Искать его!

И нашли.

Пришёл — в сюртуке, в белой манишке с бантиком, ничто не напоминало в нём военного. Но свой же человек, думский, октябрист!

Никогда он не возвышался до общества лидеров Думы, а тут — все лидеры ласково приветили его. И во мгновение кооптировали в состав Временного Комитета (получился — тринадцатым, а так подгонял Родзянко, чтобы было двенадцать!). И назначили — как

он будет называться? — поскольку командующий войсками пока Хабалов, — пусть будет «комендант Петрограда»!

И теперь он должен будет возглавить все воинские части, перешедшие на сторону народа. Собрать их, вновь организовать. А если придётся — то, да, и вести военные действия против войск реакции.

Но, господа, но так сразу?..

Вот сразу, двумя руками депутата, даже не надев мундира. (А мундир дома есть? — Есть.)

С опозданием ворвался длинноусый терец Караулов — с газырями на черкеске, — чем не главнокомандующий? вот он я!

Но не хватало терцу образовательного ценза.

— И как же безо всякого штаба? — спрашивал Энгельгардт.

Да позвольте, господа, тут какой-то штаб у нас уже есть по соседству, да вот в кабинете Некрасова.

В кабинете Некрасова? — изумился Родзянко. Вот тут, за стенкой штаб — и никто не доложил?

И воззрился на своего молодого, слишком ловкого заместителя.

Но Некрасову не добавилось румянца, и так же непроницаемо смотрели его синие глаза. А голос умел бывать таким искренним, простодушным: а что такого? товарищи из Совета депутатов попросили помещения…

Родзянко возмущённо поднялся. Нет! Так он не может руководить, ничего не ведая в собственном доме! Он не стал обходить кругом по коридору, а властно толкнул заклеенную небольшую скрытую дверь — и прямо вступил в кабинет Некрасова.

И за ним — Некрасов, Энгельгардт, ещё некоторые. (Милюков, как сугубо гражданский человек, не пошёл.)

А там тоже не ожидали, эта дверь, думали, не открывается. И вдруг — сам Родзянко!

Какой-то сидел угрюмый, исподлобный штатский, в мятом пиджаке и с мятым лицом. Какой-то лейтенант-морячок с косым начёсом. Один прапорщик. Несколько ожидающих. И груда винтовок в углу, на полу, вот и весь штаб.

Родзянко с неудовольствием быковато осмотрел весь этот непорядок. Но может быть, это как раз и было то, что нужно?

Кивнул им.

— Господа офицеры, — процедил, не находя подходящей формы обратиться.

Перед его величественной фигурой все давно вскочили и подтянулись.

— Временный Комитет Государственной Думы принял на себя восстановление порядка в городе. Для этой цели комендантом Петрограда назначается генерального штаба полковник Энгельгардт, вот, прошу любить, — которому вам всем и надлежит подчиниться.

Тут — никто не возразил. Но последние слова Родзянко слышали и несколько других, вошедших из противоположной комнаты (да они уже тут все комнаты захватили!). И во главе их какой-то лысый малорослый припрыгивающий штатский с расстёгнутым сюртуком, со смоляной прямоугольной бородой, вырвался:

— Не надо нам вас, толстопузых, цензовых! Это — штаб обороны Совета Рабочих Депутатов, и он никому не подчиняется!

То есть как? Родзянко остолбенел, как от удара палкой в лоб. Ведь он только что, принимая власть, предупредил: при условии всеобщего полного ему подчинения!

И вдруг — такие оскорбления? такой невозможный язык?

И это — рядом с его кабинетом?!

Но как раз оттуда, из кабинета, стал слышен настойчивый звон и звон телефона. А Родзянко приказал секретарям только самые важные звонки на него переключать. Значит, важный.

Без сожаления ушёл от этой несуразной сцены, из этого анекдотического штаба, за ним пошли и другие думцы.

Крупной лапой взял трубку, зовко отозвался — и впился слушать, уже только односложно отвечая.

И все тут замолчали, перейдя во внимание, стараясь уловить, о чём разговор. Кто говорит — не сразу поняли, но, видимо, кто-то связанный с правительством и с Государем.

И вдруг Родзянко посерел, и голос его пал. Переспросил:

— Восемь полков?!

И сразу всем понятно стало: откуда полков и куда.

Восемь боевых полков? А в Петрограде был десяток стадо-овечьих батальонов!

Проняла Председателя испарина — даже на шее и на груди. Ах, поторопился! Теперь если кто бунтовщик — так он первый.

Ну, что бы стоило Беляеву позвонить на час раньше! — и ещё можно было… ещё можно было… Что стоило ещё немного подождать? И зачем Милюков бегал к корреспондентам? И зачем разослали воззвание?

Поднялось в Председателе раскаяние: ликвидировать бы сейчас этот Комитет, пока не поздно!

Но смотрел на своих коллег — не посмел вымолвить.

И всех проняло молчание. И Родзянко мутно осматривал этих безпомощных, из которых ни один же не был настоящим военным, не то что кавалергардом, и ни один не мог постоять с ним плечо к плечу, — ни развалина Ржевский, ни простяга Шидловский, ни другие тихони, ни попрыгун Шульгин, — а уж Милюков предаст первее всех.

Много лет Дума атаковала, изобличала, насмехалась — а правительство сжималось трусливо, а Верховная власть не подавала признаков: слышит она? не слышит? И создался в Думе особый климат: говорить о *верхах* развязно, вести себя так свободно, как если бы верхов не было. И привыкли, что их — как бы нет.

А они — вот они. Восемь боевых полков.

Вдвинулась императорская рука — и прихлопывала их тут, вместе с их успехами, их Комитетом и воззваниями…

160

Уж лучше Сергея Масловского кто и представлял, как надо совершать революцию? В Девятьсот Пятом он написал (анонимно) листовку-инструкцию по тактике уличного боя с баррикадами. Правда, сам не проверял её на практике.

А то, что началось сегодня, — началось совсем неправильно. Если б это было серьёзное революционное движение, то уже то неправильно, что оно началось не в рабочих кварталах, не около заводов, даже не на проходном для всех Невском, — но в центре военных кварталов Литейной части, уж самой надёжной правительственной цитадели. (Потому и переполох был изрядный в академической профессорской.)

Да, одиннадцать лет назад, а под свои тридцать и после многих личных неудач, Масловский вступил в партию эсеров и, можно сказать, был участником той революции. Но всё было жестоко разгромлено, и он сам едва не угодил в Петропавловскую крепость, — и на последующие годы устроился в тихой должности библиотекаря Академии Генерального Штаба (по знакомству, отец его раньше был профессором тут) — и задыхался здесь, как заложник революции в стане оголтелой реакции, мракобесной преданности трону, и среди большинства должен был передвигаться невыразительно замкнуто, деревянным голосом говорить чего не думал, и лишь некоторым мог едко открывать свои вольные мысли. О его революционном прошлом и революционной сути знала, конечно, петербургская революционная демократия, но встречался он с ними редко, а не делал ничего, потому что вся жизнь замешалась в безнадёжном быте. С начала войны библиотекарство стало ещё и хорошим прикрытием от фронта, и Масловский вовсе закрылся. И так надо было эту войну пересидеть в покое — а вот, началось что-то…

Сегодня занятия в Академии рано прекратили — и профессора и военные слушатели, прежде чем расходиться по домам и услышав, что на улицах офицеров обезоруживают, — сдавали свои шашки на хранение в академический музей. И Масловский внутренне жёлчно хохотал над их безпомощностью: вот и герои, вот и рыцари трона! — ничего не могут и ничего не пытаются. Сам он тоже, стало быть, ушёл с работы, но у него шашки не было, не офицер. А жил он в соседнем доме.

Решили с женой, что в такой день никуда идти не надо, можно влипнуть, — и только посматривали в окна на Суворовский. На проспекте не утихало, а всё новые и новые разворачивались революционно-народные сцены. Закружились рои подростков, пошла безцельная стрельба, крики «ура», шапки в воздух, как будто уже одержана победа.

Так Масловский, растревоженно взволнованный, и просидел дома до темноты, наблюдая и рассчитывая, что завтра обстановка станет ясней. Но допустили такую ошибку: жена вышла в город посмотреть и разузнать лучше — а тут зазвонил телефон. И не удержался Масловский от соблазна взять трубку: может быть что-нибудь сенсационное, и без труда узнать? И — попался: это звонил из Таврического Капелинский — и кипел от радости, и звал его, именно его, первого изо всех — немедленно в Таврический, на помощь в организации.

Ах, досада какая! Но уже местопребывание открыто, не скажешь, что дома нет, — отступления нет. Свою революционную репутацию тоже нельзя было опорочить. Подвела старая слава.

Некуда деться. Масловский сбросил военную форму, надел неновый пиджак, неновое пальто, ботинки в галоши — и пошёл, сутулясь, к Таврическому. Это близко.

А там партийные товарищи, считая Масловского образованным военным специалистом, — посадили его руководить штабом восстания! Вот так дело, затрясёшься: из мирного обывателя —

и сразу штабом всего городского восстания! И показать нельзя, до чего это тебе некстати, все друг другу: «дождались!», «дождались!», «наконец настало!».

Правда, к его распоряжению были — настоящий морской лейтенант Филипповский, очень серьёзный и подвижный, и несколько зелёных прапорщиков. Но всё это — разве штаб? Никакой организации, и ни малой подчинённой воинской части, а какие-то суетливые автомобилисты и солдаты без команды в сквере перед дворцом. И по приносимым клочным сведениям — неоправданно лёгкий успех революционного дня проступал к вечеру полным кризисом, разрухой.

И Масловский двигался и что-то говорил товарищам — автоматически, не пытаясь овладеть событиями. Его раздирала тревога неопределённости. Он примерял к себе смертную казнь или каторжные работы, и в отчаянии был, что так глупо влип. Может быть ночью, к утру будет удобная минута — ускользнуть отсюда незаметно?

А тут ещё раздирали душу благожелательные посетители штабной комнаты, ведь она была нараспашку для всех желающих, как и любая комната дворца в эти часы. С того часа, как двери Таврического заперли для толпы и пропускали по выбору, — дворец наполнился людьми «общественного Петербурга», кругами приреволюционной демократии и просто сочувствующими. И они (вперемешку с журналистами) лезли непременно в штаб восстания и давали какие-нибудь советы: «А почему вы не захватите воздухоплавательного парка? у вас будут аэропланы!» — «А почему вы не прикажете перекопать улицы, чтобы не могли проехать броневики? Ведь у Хабалова сто броневиков, это абсолютно точно!» — «А почему вы до сих пор не взорвали несколько столбов военно-полицейского телеграфа, чтобы нарушить их связь?» — «А почему вы не штурмуете Петропавловскую крепость?»

И каждый же запоминал и будет свидетелем на суде, что именно Масловский руководил штабом восстания!..

А тут — даже нечем было оборонять Таврический. Правда, кто-то откуда-то привозил оружие — винтовки, револьверы, патроны, и несколько студентов приспособились в вестибюле снаряжать пулемётные ленты. Но не было самих пулемётов. Стояли на крыше два противоаэропланных, да были два в запасе — но стрелять они все не могли. Послали одного студента в аптеку хоть за вазелином для них — он вернулся с пустыми руками: уже поздно, всё заперто. *Революционер* — постеснялся дверь взломать!..

К полуночи из коридоров приносили слухи, что Хабалов вот-вот начнёт генеральное наступление. Да и естественно: ведь он за весь день себя ничем не проявил, очевидно был в том какой-то расчёт.

Вся революция висела в воздухе, не опираясь о землю ни одной реальной точкой.

Следовало ждать прихода возмездия. Но теперь и вырваться нельзя, не навлеча презрения революционных кругов.

Вдруг, уже около часа ночи, внезапно раскрылась глухая заклеенная дверь в стене кабинета — и появился сам Родзянко, распаренный до красноты, а за ним небольшая свита думских. Вид Родзянки был даже разгневан. Он посмотрел с изумлением, что здесь кто-то заседает, хотя он не приказал. И глыбою своей, кажется, мог их сейчас стереть. Но — только объявил с задышкой, что: назначает комендантом полковника Энгельгардта — и чтоб все ему подчинялись.

Комендантом *чего* — здания? города? Масловский не ухватил, но уже испытал облегчение. Однако ни он, ни штаб его не успели пошевельнуться — как из открытой двери противоположной смежной комнаты вырвался Соколов — и звонким адвокатским голосом стал оскорблять Родзянку. За несколько часов в Совете Рабочих Депутатов Соколов стал больше чувствовать себя хозяином этого здания, чем Родзянко.

Распаренный Родзянко, с потом на лысине, выслушал с недоумением. И — не взорвался дальше. Но, крупный, даже отступил от наскока маленького лысого.

А Соколов бушевал и размахивал быстрыми маленькими руками:

— Штаб уже сложился! Штаб действует! При чём тут Энгельгардт? Чтобы разбить Хабалова и Протопопова нужны не ваши назначенцы, а настоящие революционеры! Они и есть! И вашим тут делать нечего.

С Родзянкой — наверное, никто так не смел разговаривать. Он опешил, омрачился — и забурчал скорей по-домашнему:

— Нет уж, господа. Раз я согласился взять власть — то уж теперь потрудитесь мне подчиняться.

Ах вот что, он решился брать власть!? Масловский тут же сообразил, что это даёт всем хороший шанс. Председатель Думы! — законность!

А неуёмного Соколова узда не брала, он упивался своим достигнутым криком. Он кричал и брызгал, что Совет революцион-

ных рабочих и восставших солдат один будет руководить обороной, а думский комитет может прислать наблюдателей, но не начальников. И опять оскорбительно выразился о Родзянке, так что уже не выдержали прапорщики, бывшие тут, стали теснить Соколова и возражать. Принялся возражать и Масловский.

Он-то лучше всех знал, что никакой штаб тут не сложился и не действует, — и это замечательно, что Думский Комитет и Энгельгардт в самую страшную минуту возьмут всю ответственность на себя.

А Энгельгардт, мало кому известный думец, тоже, оказывается, присутствовал здесь, — тоже в штатском сюртуке, и стеснён, и неловко краснел. После того как права его утвердились и Родзянко с думцами ушли, он остался тут.

Поспорили — умерили Соколова. То, что здесь находилось, называлось уже от Совета Рабочих Депутатов — Военной комиссией. Вот — пусть она и будет такова, но — общий орган и Совета, и Думского Комитета. И во главе Энгельгардт. Поладили.

Особенно перед неумолимой вестью о посланных восьми полках.

Присели, поговорили, что надо бы такой приказ издать: всем воинским частям и всем одиночным нижним чинам немедленно возвратиться в свои казармы; всем офицерам — прибыть к своим частям и принять меры к водворению порядка; начальникам отдельных частей — явиться завтра в Государственную Думу для получения распоряжений. И так — мы возьмём в свои руки армию? А чем же иначе воевать? Вмиг создать революционную армию невозможно.

И Филипповский, с косым падающим начёсом на голове и подувая в тёмные усы, сел писать приказ. А потом отослать его в одну из захваченных типографий.

Но — призрачным представлялось, чтоб офицеры после убийств — вернулись бы к своим частям и обращали бы их к порядку.

Тут у Энгельгардта возникла мысль: обратиться к помощи Преображенского батальона, чьё счастливое вмешательство повлияло в полночь на Родзянку и где офицеры, очевидно, остаются на своих местах и сейчас. Так Энгельгардт — поедет туда! Сперва поблагодарить их, потом и опереться. Только они одни и могут атаковать Хабалова.

Разумная мысль! Согласились.

Но тем самым — Энгельгардт исчез, а Масловский опять остался поджариваться во главе заклятого штаба.

И прапорщиков поредело. Неизвестно, с кем он и оставался, — а уйти не мог. И все гости, общественные деятели, из Таврического разошлись. А думцы больше не приходили.

Посылать ещё куда-нибудь команды добровольцев — уже трудно было и найти командиров, и добудиться солдат. О многих посланных командах так и не было слуха, они растеклись и исчезли.

Зато позвонил молодчина Ленартович: он таки взял Мариинский дворец! — но без единого министра, и теперь там занят проверкой и захватом бумаг.

Однако это не меняло густой тайны вокруг намерений Хабалова. По случайным донесениям Масловскому стало казаться, что всю Таврическую часть города в тиши окружают кольцом пулемётов.

С Выборгской звонили, что самокатный батальон отстреливается и не сдаётся народу.

С Николаевского вокзала требовали подкреплений. Но сколько ни посылали туда — никто не дошёл, куда подевались?

Таврический дворец по комнатам и залам — разлёгся спать. Но Военная комиссия — да Масловский с Филипповским вдвоём, не могли ни уйти, ни глаз смежить.

И на улице перед дворцом обезлюдело, не кишели добровольцы.

А тут известие, что толпа собирается громить казённый винный склад на Таврической улице, рядом. Значит, надо собирать и посылать охрану, а то пьяные и нас разнесут.

А хабаловское наступление всё не разражалось — хотя уже и ночь в глубине, и улицы все пусты, никто ему не загораживал.

161

На всякого мудреца довольно простоты. Теперь, час за часом сидя запертый в так знакомом ему министерском павильоне, куда столько раз он приходил на заседание Думы, Щегловитов уже хорошо понял, что надо было ему сегодня с утра — скрыться полностью, уехать прочь из города, — и даже, может быть, жене любимой — не говорить? Хотя и скрывать же невыносимо!

А вот…

И ведь столько он уже переполучал за эти годы — посылок с гробиками и писем с виселицами, из России и из Соединённых Штатов, что можно было предвидеть: первый удар и должен прийтись по нему. Рука мщения и должна была проявиться в революции самой быстрой.

Но этого явления — «революция» — мы же не знаем в обычной жизни, она не входит в наш накопленный жизненный опыт — и ошибаешься на первом же шагу. Особенно если всю жизнь провёл между натянутыми юридическими струнами. Трудно было осознать сегодня с утра, по первым забунтовкам в запасных батальонах, что отныне понятие *закон* прекращает существовать, и даже он, глава верхней законодательной палаты Империи, не защищён более никаким регламентом. Щегловитов был из самых сильных юристов России, всю жизнь его держал юридизм, — и юридизм же подвёл. Щегловитов был настойчив, суров и находчив — пока стоял на стезе закона. А чуть не на ней — вот и потерялся. Сидел у зятя, постучались нормальным стуком в квартиру — а за дверью вооружённые саблями и револьверами два студента-еврея, с ними два солдата. И маленький студент сразу закричал: «Щегловитов? Вы арестованы!» Прирождённый юрист не мог не возразить: «Кем? По какому ордеру?» — «Волей революционного народа!» — заносчиво вскричал тот и положил руку на саблю.

Глава законодательной палаты, никак не менее рядового члена палаты, до снятия своей неприкосновенности не может быть арестован ничьею волей, это ясно. Но тут был перевес четырёх молодых вооружённых над 55-летним штатским, и оставалось — подчиниться? Но ещё так бешено почему-то торопили они, тащили за локти и толкали в спину, что не дали надеть ни шубы, ни шапки: «Через пять минут будем в Таврическом, а там тепло!»

Таврический? Ну, это неплохо. Это такая же вторая законодательная палата, и там сейчас всё разъяснится.

Но Родзянко?! — трусливо отступил, отказался освободить. А ничтожный адвокатишка Керенский, который и юристом-то никаким не был, но собрал себе дешёвую славу демагогическими речами на политических процессах, — пронзительно кричал и показал распалённому конвою вести арестованного за собой.

Но с какой же совестью отступил Родзянко?

Впрочем, и он не успел сообразить? Эти короткие минуты, когда решается судьба твоей жизни и тела, — почему вдруг соображение может так покинуть нас? — и ты оказываешься телесным мешком, вот запертым простым дверным замком, а ключ — в кармане у твоего врага.

И припомнилась ему одна странная его ночь тридцать лет назад — весной 1887 года. Как самого младшего в петербургском окружном суде, его назначили присутствовать при казни группы Ульянова в Шлиссельбурге. И он поехал туда накануне, ночевал в крепости и — как будто его самого должны были казнить — всю ночь не сомкнул глаз: ждал и жаждал телеграммы о высочайшем помиловании. И ещё утром своею властью оттягивал, оттягивал казнь, всё ожидая телеграммы. Не пришла.

Да. Что-то похожее.

Щегловитов был ровесник александровских реформ, полюбил их идею, в их либеральном воздухе прошёл училище Правоведения и долгие годы не отличался от общего потока тех либералов. Он стал профессором правоведения и печатал статьи в защиту закона от нажима. (Хотя и тогда уже видел радикальный распад александровской судебной реформы — оправдание засуличей и десятков таких, и тогда уже порицал адвокатские извращения в публичных процессах, высмеянные Достоевским.) И восторженно принял Манифест 17 октября как открытие эры правовых норм — и в те же месяцы его вынесло к высшему законодательству, а от самого рождения нового государственного строя он стал, и девять лет пробыл, министром юстиции. Смена нашей служебной позиции не должна бы менять наших убеждений, но и не может остаться без влияния на наши взгляды: становится зримо то, что скрыто от сторонней критики. Хотя ещё и через год, после 2-й Думы, Щегловитов спорил против столыпинского третьиюньского изменения избирательного закона, но тем более считал теперь нужным железно защищать и созданный конституционный строй и правительственную политику — в годы разгула террора, когда либералы не только рукоплескали убийствам, но и теоретически оправдывали террор тем, что общество не удовлетворено государственным устройством. И так Щегловитов потерял всякую либеральную репутацию, да уже и не пытался её удерживать. Но его законы об исключительном положении всегда бывали *законы*: с указанием точной процедуры, точных сроков и ответственных лиц, никого не могли арестовать просто так, как вот сегодня его самого. Да в революционные годы он несколько раз уже назначался мишенью террористов, в 1908 сидел дома в двухмесячной осаде, а один раз не был убит лишь потому, что случайно задержался в подъезде, не вышел к карете, а к ней уже кинулись трое.

С годами Щегловитов видел переполнение судейских рядов расслабленными болтунами, делавшее суд плохой защитой не только государственного строя, но самой жизни граждан. Однако — не давал себе произвола насильно формировать суд, нарушать закон несменяемости

судей. А лишь прибегал к таким хитростям, как соблазнять негодных подачей в отставку с получением пенсии, что облегчалось, если судья проявлял пороки личного поведения и мог попасть под дисциплинарное разбирательство. Это была медленная работа: воспитывать в судах сознание государственной устойчивости. Верных тридцать пять лет бешеные волны размывали, разрушали её. А остальное общество, и дворянство, и высшие государственные слои всё это как будто видели — и не видели. Никто не хотел поверить, что устои могут рухнуть. Всё правящее держалось в раскачке вяло и спокойно, в малодушии и безхарактерности старались как бы не замечать угрозы. У своих чиновных коллег видел Щегловитов лишь переползание из шкуры в шкуру, с должности на должность, при равнодушии к сути дела. Так, много лет отдав укреплению русского государственного строя, Щегловитов привык, что в России не с кем соединяться, не с кем действовать вместе, а только что сделаешь сам. И как было не заразиться этим всеобщим покоем? Щегловитов тоже отдал ему дань. В таком ли настроении не остановил он недолжно начатого киевскими судебными властями дела Бейлиса. А когда оно стало принимать мировой размах, отступать показалось поздно, и при раскале страстей сам Щегловитов тоже не остался безстрастен, финансировал приезд экспертов обвинения, — однако процесс прошёл в строгих рамках закона, весь стенографировался, был открыт репортёрам, было допущено столько свидетельств и адвокатов, сколько требовало дело, и, по логике закона, подсудимый был начисто оправдан.

Но этим процессом Щегловитов был пригвождён обществом навсегда. И в те же самые годы он потерял поддержку трона: императрица не прощала, что он был непримирим к Распутину — не только не льстил ему, но не льготил ни в чём, даже не принимал его самого вне очереди посетителей, а уж прошения, идущие через него, разрывал. (Но всё равно в обществе утвердилась клевета, что Щегловитов — подручный Распутина.)

Ещё летом 1914 это Щегловитов помешал Государю изменить конституцию в пользу самодержавия, сдвинуть палаты от законодательности к совещательности: «Я считал бы себя изменником своему Государю, если бы сказал: Ваше Величество, осуществите эту меру!»

А в Пятнадцатом году, перед думскими тучами, Государь уступил его в отставку. В царских касаниях, которых немало было за девять лет его министерства, суждено было Щегловитову испить всю горечь государственного человека, чьи знания, умственные силы, труд, воля и служба оказываются прахом для неуверенного ветерка: бывало, он горячо убеждал Государя в каком-то решении или уже проводил его месяцы — и вдруг Государь всё отменял под влиянием случайно слышанного мнения. Государь всегда чуждался сильных характеров.

Редкие консерваторы в России имели мужество открыто заявлять о своём веровании. Со всей страны нельзя было натянуть съезда правых иначе, как взяв половину с улицы — какие-то бедные, грубые, непросвещённые силы. Такой съезд собирали в ноябре 1915 — на нём не появились сановники, крупные чины, — стыдились. Правые предпочитали встречаться малыми скрытыми кружками и шушукаться. Потеряв равновесие на отставке, Щегловитов пошёл возглавить этот съезд.

Теперь весь одинокий запертый вечер, и уже в ночь, Иван Григорьевич бродил по комнатам министерского павильона. Удлинённый, но не слишком большой зал заседаний, стол под сукном в окружении кресел и несколько диванчиков. Два кабинета. Людская. Уборная. Сколько раз тут бывал — а мог ли предположить, что окажется в таких обстоятельствах?

Предположить — не мог. А предвидеть — должен был.

Полтора года Щегловитов наблюдал развал — со стороны, безсильно. А с этого Нового года Государь вернул его к деятельности, поставил Председателем Государственного Совета — Щегловитов взялся со стеснённым чувством, но решительно.

И вот в необитаемых комнатах призрачного недавнего правительства — отведено было Ивану Григорьевичу, без еды, без питья и без общества, — ходить безпомощно взаперти, уже и заполночь — и думать вволю.

Щегловитов вообще держался независимо от Двора и подальше от великих князей. Своей любимой дочери Анне он запретил стать фрейлиной, как ей предлагали, считая, что это — почти горничная. И когда у него осведомились, как отнесётся он к получению титула графа (Витте был без ума, получивши), — Иван Григорьевич ответил, что иностранный титул будет смешон при его исконно русской фамилии. (Щегловитовы — старинный род Шакловитовых — указом Петра должны были слегка изменить буквы, чтоб отмениться от казнённого Шакловитова, фаворита Софьи.)

Дочь Анечка — была сердце его. Он дважды вдовел, вторая жена умерла, рожая Аню. Иван Григорьевич близко участвовал в её воспитании. На Пасху в имении заставлял её христосоваться с каждой мужицкой семьёй. Стала старше — возил её в итальянскую оперу, даже выбирал ей платья.

А третья жена — красивая, умная, пианистка, из общества, и с властным характером, — владела им, направляла, он сознавал и не мог изменить. И с Анечкой она — разошлась и рассорилась. И — разрывало сердце.

И что будет с Анечкой, когда она узнает об аресте отца?..

Последний человек, с кем Иван Григорьевич разговаривал, — был Керенский, с тяжёлым ключом в руке, комично высокомерно

предложивший Щегловитову протелефонировать в Царское Село о безполезности сопротивления и посоветовать сдаться на милость народа.

Этот выскочка уже командовал Трону — сдаваться?

Щегловитов и полного взгляда ему не отпустил.

Два десятка лет наблюдая размыв и разрушение при апатии всех, — мог ожидать он всего плохого. По пути сюда на извозчике Щегловитов повидал взбудораженные улицы и тут роящийся дворец — и объём происходящего выступил перед ним.

Что это — крушение, которого и следовало ждать в непрерывно раскачиваемой, подрываемой стране.

И он не внушал себе, что завтра утром будет освобождён.

162

От полутора лет тесного общения с Государем не осталось у Алексеева почтительно-дистанционного отношения к монарху, никакого облака тайны или мистического порога превосходства. А был для него Государь — самый простой человек, любящий Россию и армию, но стратег — никакой, впрочем весьма покладистый сослуживец, приёмистый к решениям Алексеева. Сам про себя Алексеев отлично знал, что он — совсем не блестящего десятка среди военачальников, только незаслуженно возвышен Государем, — но это не мешало ему понимать про Государя, что тот и менее способен и слабей его. И это превосходство Алексеев по смежности начинал ощущать и в других областях, вот — как относиться к общественным возбуждениям.

Поэтому-то, передавая по телеграфу ответ царя своему брату, Алексеев от себя добавил великому князю просьбу: когда Государь вернётся в Царское Село и они увидятся — не остыть и снова ходатайствовать о замене нынешнего Совета министров, а главное — *как* их выбирать. (Он не решился вымолвить — пусть будет ответственное перед Думой, но имел в виду именно это.)

Впрочем, виделось теперь Алексееву, дорог каждый час, и не опоздать бы с уступками в то драгоценное время, пока Государь ещё будет ехать до Царского Села.

А тут же в подтвержденье и от безудачливого князя Голицына пришла умоляющая телеграмма — уволить их всех и передать власть ответственному министерству. С разных сторон решительно все в один голос просили одного и того же, такого простого, — и почему ж было не уступить? Удивительно умел и упираться этот человек!

Ещё и генерал-квартирмейстер Лукомский побуждал Алексеева не сдаваться и уговаривать. Как люди, всё же касающиеся образованных слоев, они понимали друг друга, им доступен был стон и ожидание общества, чего венценосец никак не воспринимал.

Но уговоры Алексеева прошли зря, и, не дотягивая вечера, он лёг.

Тут вдруг — сам Государь пришёл в помещение генерал-квартирмейстерской части, принёс телеграфный бланк для Голицына и ещё специально передал Алексееву через Лукомского, что решение окончательно и докладывать ещё что-либо по этому вопросу — безполезно.

И именно от такой передачи Лукомский стал уговаривать Алексеева — снова подняться и идти обламывать: в этой оговорке Государя не было ли уже начала сдачи?

И в своём дурном состоянии Алексеев снова побрёл убеждать царя: упущенное время бывает невознаградимо и от таких минут может зависеть жизнь государства. Правильно было посылать войска, но и правильно уступить с правительством. Гораздо лучше бы — обойтись безо всякого кровопролития и насилия, а скорей обернуть все силы страны к делам войны.

Всё снова зря. Хотя довод избежать кровопролития всегда отзывен был у Государя — а сейчас он не слышал о министерстве, как заколодел. И стал у него голос глухой, без тембра, без окраски, и щёки впалые. Да таким ссунутым он и вернулся из Царского Села на днях.

Ладно, в конце концов не больше же всех Алексееву нужно было решать государственные вопросы за всю их династию.

Пошёл лёг.

Но тем временем Государь принял внезапное, а в нынешних условиях ошеломительное решение: немедленно, сегодня же ночью, выезжать в Царское!

Ведь вот же и брат разумно просил его не ехать! — зачем же ехать при таком опасном положении? Алексеев надеялся ещё завтра отговорить Государя — а он ехал уже сегодня? Это не вмещалось ни в какую нормальную голову! Как же мог в такую смутную минуту глава государства и Верховный Главнокомандующий поки-

нуть центр командования и центральный узел всех воинских телеграфов, покинуть верный ему 7-миллионный фронт от Балтийского до Чёрного моря, и с этой превосходной устойчивой позиции, откуда направлялись действия армий, — поехать без реальной охраны по незащищённым путям в самую близость бушующей, взбунтованной столицы?

А ещё и того опасался Алексеев, что когда Государь соединится с супругой — его уж не уговоришь ни к малой уступке, только здесь и пробовать.

Свинцовыми сапогами опять потащился начальник штаба.

И опять безполезно.

Такой у Государя твёрдости, такой ослеплённости и оглушённости не помнил Алексеев за полтора года.

Ладно, закусил удила — пусть и едет.

Только непонятно было, как же они будут связаны с утра, когда поезд будет в движении?

Ещё послал двум фронтам распоряжение охранять примыкающие к маршруту железные дороги от безпорядков.

Тут Северный фронт доложил, что полки в Петроград назначены и через сутки будут там.

Ну, как будто всё предусмотрено и всё налаживалось. Теперь-то, в час ночи, мог наконец Алексеев дотянуться до постели?

Дежурный подполковник доложил ему о таком разговоре с Главным штабом из Петрограда: что по всему городу стрельба, доставка телеграмм невозможна, все телеграммы с двух часов дня лежат на телеграфе, и там опасаются, что вот-вот прервётся телефон.

Но тут принесли ещё более странную телеграмму, не от кого-нибудь, а от самих петроградских телефонных чиновников: что они окружены со всех сторон мятежниками, стреляют пулемёты. Не могли переслать даже высочайшей депеши председателю Совета министров, ни единой вообще, и есть опасность не успеть уничтожить все прежние, не попали бы в руки мятежников. Просят больше никаких депеш в Петроград не посылать!

А царь уже уехал на вокзал, в свой поезд.

Ну, упёрся, так пусть едет.

Что ж поделать: распорядился Алексеев никаких телеграмм в Петроград не передавать, лишь поддерживать техническую исправность линий.

Ещё подали запоздавшую телеграмму Хабалова, пять часов в пути вместо часа: что большинство частей изменили своему долгу, что к вечеру мятежники овладели большей частью столицы, верными присяге остаются лишь небольшие осколки разных полков, стянутые у Зимнего.

Эту телеграмму Алексеев ещё послал царю вослед, в поезд. Пусть почитает.

163

Зимний дворец был нежилой — и жилой (часть залов под лазаретом и прислуги же сколько). После холодноватого, темноватого Адмиралтейства эти тёплые, ярко освещаемые вестибюли с зеркалами и цветами, мраморные лестницы под коврами, первые же комнаты с мягкой красивой мебелью, дорогими занавесями, — одно преддверие нескончаемых богатых анфилад было воистину царским местом. И жаль было эту красоту и лепость разрушать обороной.

Но и старшие, знавшие о богатстве дворцовых кладовых, и рядовые, могущие догадаться, что такая роскошь не живёт без изобилия припасов, — все предчувствовали, что сейчас по крайней мере наедятся за день.

Конечно, не диваны были здесь для людей, но сами тёплые наблещенные паркетные полы уже манили сесть и лечь. Люди размещались. Поставив во дворах коней и орудия, через внутренние двери втягивались кавалеристы и артиллеристы. Офицеры сами, или посоветовавшись со старыми доброжелательными дворцовыми лакеями, искали и указывали своим, где лечь. Ставили наряды у многочисленных дверей, а с пулемётами поднимались на второй этаж, проходили сказочные пустынные залы — с пустующим троном; изукрашенные гербами; в колоннаде белого мрамора и с Георгием Победоносцем; малахитовый; широченные коридоры, изувешанные портретами сотен генералов наполеоновской войны, — и занимали позиции у окон по нескончаемо длинным стенам на площадь и на набережную.

Ночь должна была пройти как-нибудь и так благополучно, без стрельбы, а утром просить смотрителя распечатать окна, глухо закрытые на зиму, чтобы стёкол лишних не бить.

Странно переместилось: постоянный житель этого дворца, чьё величие должна была хранить и возвышать эта роскошь, — давно

пренебрег этим местом, покинул втуне, не жил здесь, но когда подошла решающая минута, то последние верные пришли именно сюда.

Всем, кто переступил порог этого дворца, хотя бы дверей задних и боковых, — сообщалась особенность места.

Штаб генерала Хабалова разместился на первом этаже в больших комнатах с коврами, картинами, мягкими диванами и креслами. Даже ещё не расположились, ещё не имели времени обдумать новый план действий и обороны — как с опозданием спустился к ним поднятый ото сна управляющий дворцом генерал-лейтенант Комаров и решительно протестовал против их самовольного военного вторжения по праву силы и категорически заявил, что он не может допустить пребывания их здесь без разрешения министра Двора, графа Фредерикса, находящегося, как известно, в Могилёве.

Если из командующих генералов кто и был поражён, то только не Хабалов (да и не Тяжельников). Весь минувший день Хабалов не командовал, а стыл, в ожидании того, что произойдёт само. А происходить могло только всё худшее и к худшему, он уже понял и теперь ничему не удивлялся — и покорно принял, что в Адмиралтействе они нежеланные гости, и вот — нежеланные гости в Зимнем. Он уже много часов ощущал отряд как тяжесть на себе, и не радовался никаким подкреплениям, потому что тяжесть только увеличивалась, — впрочем, не увеличивалась, а со всеми подкреплениями всё такая же и оставалась, полторы-две тысячи человек, остальные незаметно подтаивали. И всё такой же малый запас патронов. И никакого фуража. И никакой еды. И с этой полудюжиной рот он готов был брести куда-нибудь и дальше.

И Беляев как-то не чувствовал себя министром, особенно против дворцовых царских порядков. Да он — потерян был, он сам еле ушёл из-под стрельбы, и ему тоже некуда возвращаться: в довмин уже наверное нагрянули с арестом. (А собственно: что он плохого успел сделать за своё короткое министерское правление? Почему Государственная Дума так несправедливо плохо относится к нему?)

Но энергичный Занкевич, который и придумал весь этот символический переход и понимавший, что уже и выбора никакого не остаётся, — стал настойчиво спорить с управляющим дворца. Нужно получить разрешение? — будем его получать, а пока остаёмся здесь.

А связь была — особым (и ещё не повреждённым) проводом с Царским Селом. Не Могилёв, — так можно получить все разрешения из Царского Села.

Стали телефонировать туда.

Оттуда подошёл царскосельский помощник дворцового коменданта генерал Гротен, затем обер-гофмейстер граф Бенкендорф. Нет, связи с Могилёвом у них сейчас нет, и испросить мнение графа Фредерикса они безсильны. Тревожить докладом Ея Величество — до утра невозможно. Сами они тем более не могут решить такого вопроса.

Генерал Занкевич быстро смышлял, что — и не надо, сами тут останемся. А вот — дайте разрешение накормить отряд из дворцовых запасов.

Но к удивлению — и это малое Бенкендорф тоже был не в праве разрешить. Он уверял, что продуктов во дворце вообще мало, и надо кормить лазарет на 350 человек, и врачебный персонал лазарета, и именно в такие дни их запас должен быть длителен. И ещё же дворцовая прислуга. И звал к телефону генерала Комарова — и тот говорил ему то же самое. Но что-то, что-то, может быть, попробуют всё же выделить?..

Самому-то штабу лакеи по собственному почину уже принесли горячего чаю с хлебом.

У телефона менялись. Генерал Гротен, несмотря на глубокую ночь, разговаривал бодро и начальственно:

— Что там у вас в Петрограде происходит?

Градоначальник Балк ответил:

— Уже всё произошло. Теперь генерал Хабалов с войсками не может найти места, где расположиться.

— Меня интересует, — настаивал Гротен, — наступил ли уже порядок в городе?

Стали ему объяснять подробно. Тон его переменился.

— Тогда я прошу вас утром своевременно мне сообщить, если мятежные силы направятся в Царское Село.

А вот что, пусть перечислят, какие силы у генерала Хабалова сейчас. Какая конница? Великолепно, так конных жандармов отправьте немедленно в Царское Село для несения разведывательной службы.

Начались ещё эти новые переговоры. Командир жандармского дивизиона генерал Казаков доказывал, что их казармы заняты

бунтовщиками из первых, ещё утром, и люди и лошади не кормлены уже скоро сутки. Что лошади не подкованы на острые шипы — и если пройдут 25 вёрст, то не смогут нести разведывательной службы.

А генералу Хабалову было всё равно — так ли, этак, он ни на чём не настаивал.

А военный министр, как будто старший из генералов тут, не участвовал во всех этих спорах. Он спросил, где есть ещё телефон, перешёл туда и в укромности позвонил в Государственную Думу Родзянке: предупредить его, что на Петроград посланы с фронта войска.

В прошлый звонок из Адмиралтейства он не поспешил сообщить эту новость мятежникам, чтоб не увеличить их сопротивление. Но это — неверно. Недопустимо рассматривать Государственную Думу как врага правительства. И Беляев говорил сейчас с Родзянкой очень любезно, если не даже предупредительно. Охотно сообщил, что звонит из Зимнего дворца, где находятся сейчас последние войска Хабалова. А новость о войсках он никак не мог передать раньше, ибо был обстрел дома военного министра и пришлось оттуда отступать. Эту новость он передавал теперь со стыдливостью за армию, как если б сам не был военным министром: да, вот так: четыре пехотных полка и четыре кавалерийских, под общим командованием генерал-лейтенанта Иванова.

А к Хабалову явился обезкураженный командир гвардейского кавалерийского полка, чьи эскадроны разместились в манеже Конной гвардии: к нему пришли какие-то выборные от эскадронов, что они не хотят оставаться без пищи и фуража и сейчас уходят в свои казармы под Новгородом, а офицеры пусть как хотят.

И эти офицеры тоже теперь притянулись кучкой сюда, увеличивая собою штаб Хабалова при всё уменьшающемся отряде.

А Хабалову было всё равно: чему наступить — тому наступить, и ничего не может исправить воля никакого генерала.

От старшего до младших весь отряд закисал, дремал, ждал решения, — да ждал же и еды. Никто о том не объявляет — но сама опускается вниз эта тягучая неопределённость.

И вдруг! — сверкнуло по всему дворцу, по всем его помещениям, коридорам и дворам — известие, что приехал родной брат царя — великий князь Михаил Александрович! Никто о том не объявляет — но стремительно доходит такая весть до всех.

И оживила всех! и придала новых сил! Целодневное их мучительное, безцельное перетаптывание, перехаживание измучили людей пуще голода. Таких же не было глупых солдат, кто бы не понимал, что дело проигрывается час от часу, что городом завладевают восставшие — а положение их, всё ещё зачем-то чему-то верных, становится всё безнадежней и безнадобней.

Но вот, в этот царский дворец, в тяжкую минуту последних верных войск — среди ночи примчался сам брат царя! — чтобы возглавить их на смертный бой! а если нужно — с ними вместе умереть за это священное царское место.

И — все взбодрились! И откуда прилили к ним вновь — и терпение, и смысл, и отвага! Они оказались именно в том главном месте, для чего была вся присяга их и вся служба!

Брат царя — почти всё равно что сам царь!

Ждали, что он — построит, выйдет, скажет! Да и накормит.

164

Из дома военного министра, после неудачного телеграфного разговора со Ставкой, великий князь Михаил Александрович в сопровождении секретаря Джонсона поехал на автомобиле к Варшавскому вокзалу, ещё рассчитывая застать последний ночной гатчинский поезд.

Но от Троицко-Измайловского собора и дальше к вокзалу всё колыхалось в мятежной неразберихе: бродили какие-то толпы, ездили шумные грузовики, стреляли, кого-то тащили на расправу, били, — докатился мятеж и до измайловских кварталов, ещё перед вечером тихих. Тогда удалось тут проехать на автомобиле спокойно — сейчас нечего и думать, до вокзала не допустят.

После нескольких попыток выжидания, объезда, потом попыток вырваться прямо на Гатчинское шоссе — хотя 50 вёрст по ночной снежной дороге в мороз тоже были риском, приходилось великому князю с досадой признать, что захлопнуло его в Петрограде и где-то придётся переночевать. Проклинал Михаил Александрович этого неуёмного Родзянку. (Да ведь Наташа сказала — поезжай!) Проклинал весь свой безполезный приезд, только обидел, очевидно, брата и вступил в размолвку с ним.

Так хотелось сейчас к Наташе! Но не избежать ночевать где-то в Петрограде. К Джонсону? Как раз тот район бурлит. В своё управление на Галерную? Тоже там неизвестно что делается в тёмных улочках. Да и по любой улице Петрограда сейчас опасно ехать,

даже и ночью, даже и с большой скоростью, — могут остановить. Не обидно погибнуть с достоинством на фронте — но обидно попасть в грязные руки мятежников. Да не всякого и хорошо знакомого потревожишь во втором часу ночи с ночлегом. А вот что! — более спокоен остаётся район Дворцовой площади. Мелькнула мысль поехать просто в Зимний дворец, хотя никогда не было обычая останавливаться там.

Но каково было его удивление: застать не дремлющий тёмный дворец, с одною прислугой, — но светящийся и наполненный войсками! Ну и сюрпризная ж выдавалась ночь.

Лёгким, невесомым шагом Михаил Александрович поднялся на третий этаж, в один из кабинетов, — и тут же нагнал его управляющий дворцом Комаров с жалобой на захватное самоуправство войск, которые выставить следует сейчас же, иначе утром начнётся бой и пострадают безсмертные ценности Зимнего. Управляющий отчаялся связаться с Могилёвом, из Царского Села не взялись ему отчётливо приказать, собственной власти ему тем более не хватало — и он безмерно был рад приезду великого князя (на которого, во всяком случае, и перекладывалось теперь всякое решение). А лучше бы — выставить.

Как перед всяким ответственным решением, отяготился Михаил Александрович. Но предлагаемое выглядело весьма справедливо. Взять на себя разрушение Зимнего, этой жемчужины Романовской династии, Михаил Александрович не мог, тем более теперь ожидая упрёков от брата, разгневанного его сегодняшним вмешательством в государственные дела. И что, в самом деле, за нелепая мысль была — ввести войска в Зимний? Будто на одном здании сошлась им вся столица, мало было места, где биться без него? Эпизод с восстанием окончится через несколько дней — а вечный Зимний будет разрушен? Нет!

Да и какие потом будут разговоры, что в народ стреляли из семейного дома Романовых! Зимний дворец — и против народа? Как ясно он увидел решение на лице умницы Наташи. Наташа всегда внушала ему, что красиво и благородно сочувствовать общественному движению. Она и принимала в своём салоне многих из них. Сейчас — категорически бы заявила: и разговору быть не может!

Увидел наташино решение — и как сразу стало легче. Боже, как она нужна ему всякую минуту! Как он любит её, как полюбил её с первого момента, едва она появилась, жена его полкового

офицера, и сразу их потянуло друг ко другу, и она стала любовницей задолго до того, что женой. Какой жар. Какой дар. Какая умница!

Велел призвать к себе Беляева и Хабалова.

Пришли — маленький насупленный большеухий Беляев, съёженный и почерневший за эти два часа, что они не виделись. И свинцово-тяжёлый, невыразительный Хабалов, медлительная развалина.

По своей большой природной мягкости Михаил Александрович не стал ругать их за промах. Но указал, что они совершили ошибку и надо её исправить немедля: войска — вывести из дворца.

Хотя два часа назад великий князь был запросто гостем Беляева, пил чай в его кабинете — но генерал Беляев от того не сохранил никакого права обсуждать или оспаривать мнение государева брата. Да не он, а Занкевич придумал этот Зимний дворец, Беляев и не считал это здание пригодней какого-либо другого, он и не имел довода возразить.

А Хабалов, кажется, не имел силы и вообще языком шевельнуть и выразить хоть какое-нибудь мнение.

И они ушли распоряжаться. А великий князь стал готовиться ко сну, лакей уже постелил ему в одном из покоев.

Итак — уходить. Но куда же было уходить?

Кто-то предложил перейти в Петропавловскую крепость.

Правда, Петропавловская и весь день была их. Там стояло гарнизоном несколько кексгольмских рот, и никакого боя не вели.

Позвонили туда. (Телефоны действовали безотказно, измайловцы всё удерживали телефонную станцию.) К телефону подошёл помощник коменданта крепости барон Сталь. Спросили его: есть ли возможность пройти к ним без боя, и что́ в крепости? Сталь ответил, что крепость свободна, но на Троицкой площади видны вооружённые мятежные толпы, и у них есть бронеавтомобили, а на Троицком мосту, кажется, баррикады.

Не обрадовал.

Набережную до Троицкого моста да и сам Троицкий мост, даже и площадь за ним — в полчаса можно было исследовать собственной разведкой. Но раз говорил офицер из крепости — что ж тут было проверять?

Пробиваться? Было у них при пушках 60 снарядов да полторы тысячи человек. Но если не нашлось духа на атаку минувшим днём, когда ещё не были изморены голодом и безсонницей, — то сейчас и вовсе не теплилось порыва ни у кого.

Стояла первоклассная крепость, вот она, через Неву, подать рукой, — а дотащиться до неё порыва не было.

Все генералы — устали, и все впали в уныние.

Куда ж? Опять в Адмиралтейство…

Будили. Велели строиться. Так и не покормленных.

Поднимали, строили людей, не дождавшихся выхода сияющего государева брата.

И командовали им выходить на мороз, и тем же путём назад опять.

Сияли звёзды, крепчал мороз. Город — смолк, уже никакой и стрельбы. Заснул наконец.

И ворчали солдаты: куда нас опять? что мы дались? что за безголовые у нас командиры?

Тихо переступала конница. Хрустели по снегу колёса пушек.

В холодном, неуютном Адмиралтействе садились как попало. Головы сваливались на сон.

Скоро уже и утро.

* * *

Ни куса, ни крова холопу.
Одна заклёпа.

165

Гиммер в этот вечер ставил своею задачей всюду успеть, всё видеть и всё знать. Хоть один человек в этой грандиозной неразберихе должен же был знать всё, — так пусть этот человек будет Гиммер!

Попасть в литературную комиссию ему сперва казалось по принадлежности, и он туда охотно пошёл. Но никак не думал, что

влипнет с этим больше чем на два часа. То ли игра самолюбий, или отупели все к глубине ночи после такого дня, или грозность боевой обстановки, — но на этот документ в полстранички они потратили сил, времени и споров, будто сочиняли проект новой конституции России. Сам Гиммер это воззвание написал бы в 15 минут — и оно было бы блестящим. Он и так всё время пытался писать собственной рукой, фразу за фразой и поскорей, — но от него требовали отчёта, что́ он написал, критиковали в прах — и надо было начинать всё с начала. Когда очень уж упирались друг между другом медлительный, респектабельный Пешехонов и упрямый, подавительный Нахамкис, — Гиммер клал листок, говорил: «я сию минуту» — и убегал.

Ему надо было успеть знать: а) что делается в штабе обороны; б) что делается в думском Комитете; в) что делается в центре царских войск.

Последнего он ни от кого никак узнать не мог — но и никто в Таврическом этого не знал тоже. Перед Военной комиссией толпился всё время народ, не пропускали внутрь, и скамейки поставлены, как баррикады, — но всё равно и в главной комнате, куда Гиммер пробирался, было полно бездействующей и посторонней публики. Масловский всё крутил глубокомысленно карту Петрограда и выслушивал всякие внеочередные заявления и неотложные вопросы. Не подтвердился слух с переходом Кронштадта, не подтвердился слух с капитуляцией Петропавловки, но и не подтвердилось, что сто семьдесят какой-то полк движется с боями от Николаевского вокзала сюда: то ли он вообще не прибывал и не высаживался, то ли был распропагандирован уже на Знаменской площади, этого выяснить так и не удалось.

Зато новость о думском Комитете сама ввалилась к ним на заседание литературной комиссии — и Гиммер искренно аплодировал ей: это и был как раз его замысел, о котором он толковал последние дни, — заставить буржуазию взять власть! И вот — она взяла!! Без этого — был бы военный бунт, городской мятеж, никакого авторитета в обществе и легко бы подавлялся. Но теперь цензовая общественность легально закрепляла произошедший переворот, брала всю ответственность за него — на себя! Это и требовалось! Теперь намного ослаблялось положение царской власти и намного укреплялось положение революции!

Правда, возникала другая опасность: опасность создания буржуазной диктатуры. Но именно её-то и могла не допустить демо-

кратия, Совет рабочих депутатов, выгодно находясь за спиной думского Комитета и даже в его собственном помещении.

Перед лицом царизма надо было заставить буржуазию взять власть. А за спиной буржуазии — позаботиться, чтоб эта власть не стала реальной.

Наконец вырвался Гиммер из несчастливой литературной комиссии, оставили Шехтера перепечатывать воззвание на машинке — и с Соколовым и с Нахамкисом ринулись в заседание Совета, которое всё ещё продолжалось, хотя заходило уже за два часа ночи.

Работа Совета была в полном разгаре! — но уже и с признаками разложения. Уже не сидели на всех стульях, ни на всех скамьях, но некоторые стояли, переговаривались и проявляли нетерпение. В комнату насочилось посторонних, и они тоже не держались у стен, но надвинулись на собрание и смешивались с депутатами. Все уже плохо друг друга понимали и плохо держались на ногах.

Последний час, оказывается, вёлся спор: входить или не входить членам Совета во Временный Комитет Государственной Думы? Была точка зрения Керенского и точка зрения Чхеидзе (хотя Керенский больше в Совете не появлялся, а Чхеидзе присутствовал лишь временами). По Керенскому было: входить без сомнения (там он и кипел уже). Чхеидзе считал, что нельзя украшать своим присутствием и освящать авторитетом социал-демократии орган Прогрессивного блока; сам он вошёл в этот Комитет только до вечера, до апелляции к Совету.

Наконец, после утомительных прений, склонились к тому, что надо входить. Входить — и следить, чтоб ни одно важное действие не предпринималось без Совета Рабочих Депутатов, чтоб за спиной восставшего народа они не протаскивали остатков царизма.

Теперь Совет мог расходиться или считаться разошедшимся, — но доставалось бурлить Исполнительному Комитету. Во-первых, заявил Гиммер (наперебой с Соколовым), что сейчас принесут воззвание и надо его обсуждать. Во-вторых, поднимался вопрос, где ж его печатать. В-третьих, ещё более общий вопрос, что не может Совет Депутатов существовать и действовать, не имея собственной газеты. Питер уже три дня без печатного слова и нуждается получить первые сведения из рук демократии.

Но тогда возникал ещё более широкий вопрос: а как с другими газетами? Возгорелись прения уже по этому вопросу, некоторые садились снова. Соколов отстаивал принцип свободы печати, и чем быстрей восстановятся нормальные условия жизни, тем крепче будет стоять революция. Но Нахамкис грузно выступил, что неразборчиво и опасно было бы дать свободу всей прессе, это может привести к печатной черносотенной и контрреволюционной агитации.

И Исполнительный Комитет принял его предложение: разрешать выпуск газет лишь в зависимости от их направления.

Гиммера восхитило это голосование! Восхитительно здесь было то, что ни у кого из голосовавших ни на одну минуту не возникло сомнение: а Совет ли Рабочих Депутатов должен решать свободу газет? Никому в голову не пришло, никто и полслова не прохрипнул, что этот вопрос надо бы уступить власти Думского Комитета!

Это был — акт защиты революции, и нельзя было его предоставлять правительству из думского крыла! Даже не было нужды доводить до его сведения.

Да кому ж подчинятся типографские рабочие, если не Совету? Надо назначить комиссара по типографиям — и брать их в свои руки. Сразу выдвинулся и был признан комиссар по типографиям — пузатый Бонч-Бруевич, перепоясанный ремнём: и чтоб военный вид себе придать, и чтоб живот подобрать. Он объявил, что типография газеты «Копейка» уже и без того захвачена, сейчас он отправится туда — и будет печатать воззвание. (Воззвание прослушали один раз через зевоту — и приняли без прений и без голосования.)

Сунулся Пешехонов с обывательским возражением, что недопустимо захватывать частные типографии, — подняли его на смех, слушать не стали.

Гиммер стал собирать своих единомышленников — как захватить редакцию подготовляемой газеты Совета, создать там своё большинство.

Шёл уже четвёртый час ночи или утра — но всё не кончалось заседание Исполнительного Комитета или ещё полного Совета, а расползлось в многоголосую безпорядочную беседу кого попало с кем попало, и кажется, никаким нормальным образом оно уже не могло кончиться, как только если снаряд разорвётся в куполе Таврического дворца. Так разболтались, как будто вся судьба революции уже была обезпечена и только оставалось решать будущее направление республики.

Гиммер снова сбегал в Военную комиссию за новостями, опять пробрался через часовых и через баррикады скамеек — но

застал всё тех же Масловского и лейтенанта Филипповского, ещё появился известный инженер Ободовский, нервный от безтолковщины, всю ту же картину полного незнания обстановки, безплановости, безаппаратности, беззащитности, ни одной воинской части в распоряжении — и только слухи: из Ораниенбаума и из Царского Села движутся полки на Петроград — неизвестно какие, неизвестно с какой целью, но скорей же всего — для подавления. А о Петропавловке снова шёл слух, что оттуда звонили и нащупывали, как бы сдаться Государственной Думе.

Вот и помогало звание Государственной Думы, помогал Родзянко! Отлично!

Впрочем, переставал уже бояться Гиммер и Петропавловки, и этих полков. Хотя эту ночь Таврический, кажется, держался ни на чём, в сквере — несколько костров, несколько пыхтящих военных автомобилей, пара никем не обслуживаемых пушек, ничто бы не устояло против единственной организованной роты, — но ночь проходила — а Хабалов такой роты не присылал.

В Военную комиссию кто-то принёс кастрюлю с котлетами, без вилок, и белого хлеба. Гиммер тоже пристроился.

166

Близ кабинета Родзянки была полукруглая комната с мягкой мебелью, которую называли «кабинет Волконского» по прежнему товарищу председателя, последнее ж время она кабинетом не была, служила для частных бесед, малых совещаний.

Для бесед была очень удобна, а вот для ночёвки никак: не было в ней ни одного большого дивана. На маленьком поместился, скорчась, Коновалов, на единственном тут столе, сняв ботинки, улёгся Милюков на своей меховой шубе (из гардеробной все думцы разобрали своё верхнее платье, при таком нахлыне народа опасно было оставлять) — и уже спали! Что спал Коновалов — нечего и удивляться: здоровый, телесный нестарый мужчина, кроме того всегда с налётом сонности, даже когда усердно работал. Но поразительно было, что так быстро и крепко заснул Милюков: казалось бы, вождю Прогрессивного блока в такую ночь не уснуть, должны были разрывать его мысли, планы или сожаления, или он должен был раздавать поручения своим сторонникам, — а вот, показывая, насколько он ещё не истрачен нервами, спал в неудобном положении, даже не ворочаясь и равномерно уверенно прихрапывая.

Горел в комнате верхний свет.

Сколько лет работали вместе ведущие думцы, делили заседания, беседы, завтраки и обеды, но в простом бытовом виде никогда друг друга не видели: с распущенным галстуком или вот ботинки сняв, в одних носках, или узнать, кто храпит, кто нет.

А Шульгин с Шингарёвым, обсудив, что слишком далеко им идти на полнóчи в глубь Петербургской стороны, на Монетную, да ещё под обстрелом, однако прозевали захватить где-нибудь диванчик или кривоспинную козетку, как Керенский в одной из комнат. Шингарёв где-то лёг на полу, подстелив ненужные бумаги, нравы опростились за один день. А Шульгин нигде не пристроился и пришёл доночёвывать сидя, в мягком кресле за овальным столиком.

А в другом кресле тут же сидел самый приятный сосед — Василий Алексеевич Маклаков. Ему не так было далеко домой, но он тоже почему-то остался в Таврическом.

Да что-то было в этом моменте — парадоксальность, неуяснимость, тревожное ожидание, — отчего даже и не хотелось в кровать домой, но — быть здесь, наблюдать, думать, лучше почувствовать. Ещё так колыхалось в них возбуждение этого дня, что они и без большого усилия сидели, хотя два часа пополуночи.

Да уже то было хорошо, что как будто сюда, в эту комнату, к ним не могли ворваться. Всего несколько часов наплыва этих масс, или рож, или черни, или народа испытала Дума, — и вот уже в собственных думских залах они стали с радостью видеть знакомое думское лицо как соотечественника на чужбине.

Кто бы не понял, что миновал самый необыкновенный день их жизни! Ещё он не обмысливался и не укладывался. Впрочем, Шульгин, не без злорадного удовольствия и к самому себе, предупредил:

— Попомните, Василий Алексеич, это — первая наша неудобная ночь, но далеко не последняя.

Маклаков с подкупающей своей улыбкой:

— Какая задача может быть благороднее, чем наблюдать нравы?

И тут — не только шутка была, Шульгин тоже это чувствовал: да! чёрт с ним, с сидячим положением, а хотелось именно — на-

блюдать. И думать высоко. Как бы смотреть на всё происходящее с высокой-высокой-высокой вершины. Да ведь это и был тот радостный толчок, прыжок, которого почему-то, вопреки всем соображениям безопасности, всегда жаждет наше сердце.

И он напомнил:

— Да это и был ведь ваш тезис: если у нас власть не умеет быть мыслью — пусть мысль станет властью!

Да у Маклакова было много тезисов. Был и такой, напечатанный в «Русских ведомостях»: когда же наступит то вожделенное время, когда мы с *Ним* рассчитаемся! Последние месяцы Маклаков не очень скрывал, что заранее знал и о замысле убить Распутина и даже сам дал Юсупову свинцовый кистень из своей адвокатской коллекции. Как-то это не считалось выходом за законность.

Маклаков глубоко-внимательным взглядом встретил фразу, как будто с удивлением: его ль она?

Ответил тихо-явственно — они одни разговаривали в комнате — и тем отчётливей было всякий раз заметно его смягчённое «р»:

— Да, но мне противен меч. Я не хочу меча. Мы ведь всегда хотели избежать революции. Мы для того и добивались свалить правительство, чтоб избежать революции. И вот…

А Шульгина подымала какая-то романтическая лёгкость:

— Во-первых, это ещё не революция, ещё посмотрим. А произошла — так пусть! Непреднамеренный путь, неожиданный поворот — но в этом история! Мы же любим читать о великих событиях прошлых веков — почему не любим переживать сами? А рассуждайте от обратного. После отступления Пятнадцатого года мы все говорили: *этого* простить правительству нельзя! Отчего мы все и пошли в Блок. Правительство, которое сумело отступить до Ковно и до Барановичей и дало возникнуть панике даже в Риге и в Киеве, — какое имеет право оставаться у власти? Вот его и устранили, одним ударом. И мы даже обязаны радоваться. Даже если оно восстанет без *облечённых доверием народа* — то уже не в прежнем позоре, нет! У нас никогда не хватало сил разорвать этот обруч, который нас душил, — и вдруг в один день они все разбежались?!

— Как ска-зать… — потягивал Маклаков. Никаким спором его никогда нельзя было увлечь на одну сторону: он всегда сохранял холодок равновесия и внимание к противоположным доводам. —

Ещё надо понять, в каком направлении мы идём и продолжаем ли мы дело России. Ведь лозунг Блока был: «всё для войны»? Ведь это же не отменено? А сегодня всё, что произошло, — это для войны? Или для немцев? Вот начнут сейчас бить свои фабрики и заводы — кончилась наша оборона и война.

Бурные события этого дня как бы оставили Маклакова в стороне: он не выступал на частном совещании, он не вошёл и в Думский Комитет. Происходящая постепенно передача власти всё ещё не затянула его в свою воронку — хотя он был несомненный первый кандидат стать министром юстиции. Но пока отстранённо и свободно он мог размышлять:

— Русский народ — великолепный материал. В умелых руках. Но предоставленный сам себе он может проявиться дикарём. Как научиться нам исправлять недостатки, не нарушая самого государственного здания?

— Да помилуйте! — воскликнул Шульгин. — Да кто же трогает всё государственное здание? Да оно незыблемо во веки веков! Это — всего лишь петроградский эпизод, он за два дня войдёт в колею. Идут же войска какие-то с фронта.

— А Дума — во главе мятежа, — указал Маклаков.

— Ну-у, не во главе! Мы — во главе народного доверия. Хотя, — засмеялся и сам себя исправил: — в буфете пока разокрали все серебряные ложки. Да, русский народ должен состоять в хороших руках. Но монархия и есть такие руки.

— Монархия — лучше управляет страной, да. Но настроению общества больше соответствует парламентарный строй. Самодержавие приспособлено для бурь. А в мирные эпохи оно вырождается. Очевидно, неизбежно.

— Да-а, времени терять нельзя, — согласился по-своему Шульгин. — Надо укреплять центральную волю, иначе может и разлететься. Кто-то должен молниеносно сообразить и действовать. Заставить себе повиноваться. Но где этот кто-то? — Вздохнул.

Не знали они такого. Милюков? — даже смешно сказать, поглядев на него на спящего, без очков.

Маклаков смотрел в ковёр под ногами, выискивая в узорах:

— В смутные эпохи выдвигаются люди по тщеславию, по зависти, по злобе. По неумению быть справедливыми. Настоящие великие люди, то есть кто видят Россию дальше других, — они мало участвуют в таких событиях. Да всякая партийная борьба отучает быть справедливым.

Да что ж это, к трём часам ночи — и негде было спать, да и не засыпалось. От безсонницы не на что себя употребить.

И ещё Маклаков, полузвучно:

— Все мы чувствовали, что идём к какому-то рубикону. И вот дошли. А если уж раскачается Россия — никакая сила её не остановит…

Насколько же кресла хуже стульев, никогда этого не понимали: стулья можно сдвинуть три-четыре, вот и постель. А из лучших кресел никак не составишь постели, подлокотники мешают.

Но ждём же мы иногда железнодорожных пересадок и спим сидя? Надо научиться спать и в кресле. Вряд ли завтрашний день будет покойней сегодняшнего.

Маклаков взвешивал довольно мрачно:

— Самое опасное, что мы с первых же шагов — не ведём событий. И куда же они зайдут? А если солдаты не вернутся в казармы — что мы с ними можем поделать?

И ладя голову к спинке кресла:

— Мы привлекли Ахеронт к борьбе — мы сами изменимся в этом.

167

Но — не дали поспать старику-генералу! Часа в два ночи в вагоне адъютант разбудил Николая Иудовича: что Государь внезапно уезжает из Могилёва, сейчас уже в своём поезде и вызывает его к себе.

Что ещё приключилось? Не худо ли дело? Трясущимися руками одевался, перепоясывался.

Как всегда начальство: вызывает потому, что самому удобнее. Как и Иванов же поднимал подчинённых в пять утра. Государь был в поезде, а поезд не шёл, вот и вызвал.

Императорский поезд стоял изнутри тёмен, без единого огня, с наглухо зашторенными своими широкими окнами. На перроне никого не было близ. Только стояли конвойцы-часовые, при кинжалах и в чёрных мохнатых папахах.

Нет, было у Государя и прямое дело к посылаемому генерал-адъютанту: только что пришла новая телеграмма от Хабалова: большинство петроградских частей отказались сражаться против мятежников и даже некоторые братались с ними, обращая своё оружие против войск, верных Его Величеству. И вот уже едва ли не вся столица в мятежных руках, стянулись защищать последний Зимний.

(Ох-хо-го, ох-хо-го, куда закатилось!.. Куда ж и зачем теперь Иванову ехать?.. Каким же Округом там командовать?)

Всякий раз, когда через силу встаёшь, натура противится тому, что хотят тебе навязать. Но постепенно бодрь перебарывает ночную лень, и начинаешь соображать, что нужно делать.

Надо было: каким-то обиняком получить согласие Государя на не слишком уж решительные действия. И смекнул Иудович представить дело так: воинские части будут прибывать из разных мест. В эшелонах они уязвимы и к бою не готовы. Для того чтобы их правильно развернуть и друг с другом согласовать — потребуется время, подержать их на дальнем кольце, не вводя сразу в столицу. Такой образ действий имеет преимущество, что можно избежать лишнего кровопролития, не начинать усобицы прежде времени.

Государь и всегда был за миролюбие, на чём они с Ивановым и сходились. А тут — повеселел с вечера, оттого что был уже в вагоне и ехал в Царское. И не оспаривая, отчасти и рассеянно ответил: «Да, конечно».

А Иудовичу — большего и не нужно было! Это «да, конечно» он мог развернуть теперь на вёрсты и на дни миролюбивых действий. Это «да, конечно» он имел право теперь принять себе за основное указание. К тому ж кроме Петрограда была и другая цель его экспедиции: защитить от угрозы мятежных войск Царское Село, императрицу и августейших детей.

Государев поезд ещё не скоро отходил, Государь разговаривал охотно, и генерал долго просидел у него. Говорили, как это всё постепенно уладится. (Нелегко было вообразить Иудовичу — как, если вся столица у мятежников, но они не говорили — именно *как*.) Николай Иудович выставлял разные трудности с возможной ненадёжностью войск, забастовками, с продовольствием в столице. Очевидно, ему понадобится, чтобы министры незамедлительно выполняли его просьбы.

Государь оживился и даже схватился за это: они оба с генералом Алексеевым именно и хотели иметь диктатора, единую твёрдую власть по тылу. Так вот что:

— Передайте генералу Алексееву утром, чтоб он телеграфировал председателю Совета министров, чтобы ваши все требования исполнялись Советом министров немедленно и безпрекословно!

Перемахнул Государь, Иудович так не продумал и не хотел. Даже дух захватило у старика: он становился не только Главнокомандующим Петроградским округом — но Верховным Диктатором всей России?! Нет, Николай Иудович не добивался такой чести в смутных обстоятельствах. Напугался ещё больше.

— Да как же мне генерал Алексеев поверит?

— Поверит!

— Ваше Императорское Величество, вы знаете: моя честная, чуждая искательства офицерская служба 47 с половиной лет…

Но — уже свершилось! Назначено безповоротно.

На прощание предложил Государь, что завтра утром они снова увидятся с генералом в Царском Селе? (Где генерал будет уже сегодня?)

Иудович не возразил, что может ещё и не так скоро…

168

Но и в четыре часа утра, это удивительно, Исполнительный Комитет не стал хозяином в комнатах Совета: уже давно не было общего заседания, а всё стояли, гудели, не расходились — и кучка солдат, и какие-то рабочие не рабочие, но представители районов, или просто кто ночевать тут собрался, — невозможно было Исполнительному Комитету позаседать и поговорить откровенно. И отяжелённые безсонницей, усталостью, уже отгрызшим неутолённым аппетитом, с головами тёмными, побрели, да не все, а остатки ИКа — где б ещё им устроиться позаседать?

И брели неловкой вереницей. А Чхеидзе вовсе шаркал, не по силам ему достался этот день, был он не из орлов кавказских, а уже и за пятьдесят. И подкрепил же его этот день как восторжествовавшего патриарха, вот собрались во множестве его пасомые, но что именно они делали, решали, постановляли — он, счастливый и измученный, успевал только кивать головой или качать, согласен или не знаю. Вообще — он был согласен со всем, что делали в Совете, и не согласен ни с чем, что делали в думском Комитете. И праздником для него было председательствовать на Совете, и вот его под руку вели всё для того же.

В Купольном зале стучала машинка, заряжала пулемётные ленты. Патроны лежали грудами.

Комнаты думского крыла были заперты одна за другой, и ключи вставлены изнутри.

Екатерининский зал выглядел весь как огромная спальня. На скамьях с шёлковой обивкой и на полу лежали сотни солдат, положив под головы винтовки, подсумки, папахи, руки. Натаяло под их сапогами. Или это была — как большая поляна, где воины, застигнутые ночью на переходе, свалились, даже не выставили часовых.

Но кликни сейчас тревогу — эти воины ни во что построиться не могли.

Измученные члены И-Ка потянулись по лестничке вверх, устроиться на хорах зала заседаний. Но оказалось: там, в прилегающих комнатах, содержат арестованных полицейских, жандармов, — и караул не пропустил даже членов Исполнительного Комитета.

Так пошли просто в большой зал заседаний?

Пошли. Тут препятствий не было.

В этом Белом зале, столько слышавшем сотрясательных речей, откуда и раскатывалось волнение общественной России, где столько гремливало аплодисментов и проганивалось корреспондентских карандашей, — теперь почти не было света, разумно выключенного приставами, лишь одиночные слабые лампочки над дверьми. Зал перекатил своё бурление дальше на столицу, а сам отдыхал. И отдыхали одинокие фигуры, темнеющие в разных местах, в креслах амфитеатра. А кто-то лёг на полу в покатых проходах. А кто-то, оказывается, лежал и на дне лож. И тоже не сгонишь.

Но одна ложа, именно корреспондентская, осталась свободна. Исполнительный Комитет вошёл в неё, переставили удобнее стулья и начали заседать.

Кроме живчика Гиммера, дородного Нахамкиса да двужильного Шляпникова, не оставалось, кажется, члена, который мог бы выдержать ещё это новое заседание. Чхеидзе доспотыкался, сел — и ссунулся носом.

И всё-таки заседание возобновилось.

Но теперь над ними издевательски возвышался на стене за кафедрой Председателя, в дорогой массивной раме с венком — репинский портрет царя, роста в два человеческих! Вот именно сейчас, в эту сонную ночную минуту, когда весь революционный народ исполёг от усталости, — над его последним недремлющим Исполнительным Комитетом так же недреманно стоял раздражающе царь с косой лентой по мундиру через плечо и как бы наблюдал, —

правда в позе почтительно идиотской, с расставленными носками, с фуражкой в опущенной руке, как будто он не проверять пришёл, а доложиться.

Но всё равно раздражал ужасно. Тот самый царский портрет, про который Чхеидзе когда-то восклицал думцам: «Вот он, смотрит на вас своими безумными глазами!» Нет, и не безумными были глаза царя, и не угрожающими, и даже не величественными, а — воззрительными. Но всё равно надо его убрать поскорей, это непереносимо!

Шляпников настаивал не откладывать и сейчас же вводить в Исполнительный Комитет поимённо представителей от партий. От большевиков вот он уже сейчас диктует: Молотов, Шутко…

Другие завозражали: дайте же подумать! Ещё же будут назначать меньшевики, эсеры, Бунд…

Нет, не довели обсуждения, нет сил, бросили на завтра.

А вот что срочно, надо было вот что: назначить районных комиссаров, чтоб они с утра… Стали называть кандидатуры комиссаров. На Выборгскую сторону сам вызвался Шляпников, на Петербургскую придумали назначить, он там живёт, Пешехонова, хотя он задевался куда-то. Но на все районы тоже не хватило памяти, фантазии, сил, языков. Запнулись. А что ж, принимать царское деление полицейских участков? Ну и не менять же впопыхах.

А Шляпников гнул: немедленное вооружение рабочих Петрограда.

Заспорили: рабочая милиция при заводах? порайонные сборы вооружённых рабочих?

Всё же Шляпников добился: вооружить — десятую часть рабочих. И поручили — ему.

Пока обсуждали, спорили, — а со всех концов зала к их ложе стали собираться фигуры — растяпистые, сонные солдатские образины: о чём тут гуторят?

При них и не поговоришь. Ну, всё равно кончать.

Так в этом знаменитом зале свет люстр перешёл в тёмную погруженность, прения — в журналистскую ложу, хоры публики — в арестантские камеры, самоуверенные дневные думцы — в ночных солдатских призраков.

Кто уходил. А Гиммер кинул свою тяжёлую ватную шубу на пол ложи Государственного Совета — и лёг там.

Председатель же того Государственного Совета сидел, арестованный, через коридор — в министерском павильоне.

Темно и тихо стало в думском зале с пяти часов утра.

Но вот-вот должен был забелеть стеклянный его потолок.

Обвалившийся ровно десять лет назад.

169

ЭКРАН

Тупоносая, шестиэтажная, с закруглённой крышей «Астория»,
часть окон светится,
как она видна мимо памятника Николаю I
вдоль Вознесенского проспекта, близко упёртого в башню Адмиралтейства.
Ночь, редкие фонари.
В полутьме на площади почти никого.
Только кучки совещаются.

Ближе.

Кучки солдат толкуют между собою,
с оглядкой,
с поглядкой на «Асторию».
Видно, что сброд, не из одной части. У кого винтовки, у кого палки.
И матросов с пяток.
Закинулись на гостиницу.
Где окна светятся в рядах, где темны.
Нижние витринные — все темны.
Ещё оглядка.
= Пустая полутёмная площадь.
Только настороженные кучки солдат
против обоих фасадов «Астории».
А вот ты нам и нужна!
И — сигнал! махнули!
резкий свист двупалый!

и — кинулись с обеих сторон угла!
кто откуда,
все с винтовками, с палками, с ломами!
А широкие, более двух ростов человеческих, сверху полукруглые окна не окна, двери не двери, —
а стёкла цельные, а за ими видно плохо, без света: что там?
А ну, как ты колешься? — тычком приклада!
Брень!
И разбилось и не разбилось, тёмная рваная дыра —
а всё стекло сразу не подалось. Не как стекло бьётся, скорей как фанера.
Так по другому месту!
Брень! Брянь!
Так по третьему! — в несколько рук.
Так и рвёт дырами, ни прохода, ни проёма, гляди обрежешься.
Сгрудились у такого окна, бьют чем попадя.
А коли винтовку безо штыка обернуть, за дуло перехватить — то далеко вверх достаёт приклад,
и там садит. Такая ж дыра!
А кто-то и пульнул вверх!
Выстрел.
Да дырка мала,
Выстрел
для забавы больше.
А там — тьма.
Кто пролез — тащат изо тьмы чего-то,
тащат сюда наружу — тяжёлое.
Здоровая кадка с деревком диковинным.
Сломали ему стволок о зазубры стекла, —
да и кинули кадку на мостовую, боле на смех.
Делов! Неча тут и шарить.
Кто поумней — налево, налево побежали,
мимо ещё одного окна разбитого,
мимо ещё разбитого,
дале, дале!
Спешит солдатня навыпередки, тут може на всех хватит, а може не на всех, переднему сподручней захватывать!
Дверь!! вот она, не спутаешь, тут главные ходють! Заперта.
Сгрудились, доступа нет.

Бей её! прикладами! палками! матросики!
Дзень! тресь!
Ши́бки малы, не пролезешь.
А прикладами сюда, рассаживай! Пошла, пошла!
Тресь! крах!
Уж видит око ихнее благоденствие, там свет, да рука неймёт — ещё одна дверь, запертая!
= Но внутрях бежит генерал, руками машет!
У генерала по чёрному околышу фуражки — золотыми буквами: «Астория»!
Сейчас, мол, сейчас открою, только не бейте, ради Бога!
— *А чего запираешься?*
— *А чего тут позапирались, падаль такая?!*
Дверь — на одну половинку открыл. В проходе чуть не подавились, друг друга отталкивая, кто раньше:
— *А кто тут живёт такой?*
— *Кто тут живёт? Ахвицера́?*
Светло тут!
Генерал — руки распялил перед лестницей, задыхается:
— *Господа офицеры проживают. И вообще господа всякие. Одумайтесь, господа солдаты! — ведь спят оне. Приходите утром.*
— *Ха-га-га-а!.. Ха-га-га-а!.. Утром?!*
— *А мы из постелек повытаскиваем! Пощупаем нежно тельце!*
— *Там и барышни, надоть, с ими?*
Да кинулись — а навстречу такая ж лава! другие солдаты! и тоже-ть с матросами! и тоже-ть с оружием! и лихо на нас!
Ну, сейчас сполосуемся! Вся лава и стала.
И та, встречная, стала.
Один наш винтовку замахнул — и там замахнул, сходный.
Догадались!!
— *Эт' зеркало во всю стену, не робь!*
Зареготали.
— *Ну, живут!*
= А матросики, самые быстрые, прежде всех догадались, и уже по лестнице вверх, взмётом!
вверх! вверх туда, где уметнулся кабыть в офицерской форме.
— *Бе-е-ей! Бе-ей, погоны золотые!!*

И солдаты наверх гурьбой. Туда! Шесть етажей, есть где разгульнуться!

= А самые-то сметливые — тут, внизу, приступили к этому слуге:

— *А вино — где у вас? Вино, вино показывай!*

****

ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ ЖИСЬ!
ПРИВЯЖИСЬ, ХОРО-О-ШАЯ!

****

170

— Ваше Императорское Высочество! Ваше Императорское Высочество, проснитесь!

Голос был такой ласковый, такой прислужно-домашний, — он почти не будил, а сам входил как часть сна. Но тёплой хрипловатостью он повторялся, повторялся — и наконец заставил проснуться.

Это старый, седой зимнедворецкий камер-лакей, с пышными струистыми бакенбардами, давно уже не избалованный, чтобы кто-то из царской семьи тут ночевал, вместо радости покоить сон высокого гостя решился войти в комнату и наклониться над постелью:

— Ваше Императорское Высочество! Во дворце становится опасно. После того как ушли войска, уже несколько раз в разные двери ломились какие-то банды. Держат только замки. Какие ж у нас есть силы отбиться?

Холодное и мерзкое пробуждение вошло в Михаила. Вот этого он не ожидал! — чтоб на дворец посягнули какие-то банды? Какие же банды могли быть в столице?

— Откуда банды?

— Бог их знает откуда, — сокрушался камер-лакей. — Соберутся по нескольку и дикуют. Есть и солдаты. И всякая чернь. Небось знают, сколько сокровищ у нас тут. Какие погреба.

Вполне уже проснувшись, вытянутый на спине, Михаил лежал среди атласа, в алькове. Между раздвинутыми занавесями смутно была видна крупная голова камер-лакея — там, позади него, какой-то малый свет на столе, свеча, он не посмел зажечь лампы.

Но почему ж Михаил, едва ото сна, должен был сообразить, что им делать с дверьми и как защищаться? Такая охрана должна быть кем-то предусмотрена, а что ж генерал Комаров?

— О Боже, Ваше Императорское Высочество! — всё тем же тёплым, глухо-домашним голосом няни квохтал камер-лакей, которого Михаил помнил с детства, он и в гатчинском дворце бывал одно время, и в Аничковом, вот только забыл, как звать. — Не извольте подумать, что я обременяю вас этой заботой. Я взял на себя дерзость прервать ваш сон лишь в тревоге о вашей безопасности. Ведь у нас нет вооружённой охраны, мы все старики. Этой ночью ворвались в Мариинский дворец — кто ж помешает им ворваться к нам? Они может уже и ворвались бы, да думают — здесь засели войска.

Михаил живо повернулся:

— В Мариинский? Когда же?

— Да вот после полуночи. Нам звонили.

— Так а… — Он же сам там совещался только что! — А Совет министров?

— Не могу знать, Ваше Императорское Высочество. Вероятно, тем и сохранился, что разошёлся.

И всё ж ещё Михаил не понимал до конца! И старик дояснил:

— Нельзя вам теперь пребывать во дворце, Ваше Императорское Высочество. Ворвутся, найдут. Здесь вам — опасней, чем где бы то ни было. Надо вам… Пока не рассвело… Перейти… Переехать… А при свете узнают.

И только вот когда вся горечь влилась в пробуждённую грудь, в очнувшуюся голову: из-под родного крова он должен был ночью, сейчас, тайком, поспешно — бежать?!

Михаилу постелили на третьем этаже, рядом с неприкосновенной спальней отца, где тот жил ещё цесаревичем — но ни дня не провёл с того громового, когда деда — уже без ноги и обливая кровью мрамор лестниц, паркет полов — едва донесли до первого одра, на последние минуты жизни.

С тех пор отец — должен был скрыться в Гатчину от новых покушений. Бежал.

И — брат за 23 года царствия почти не жил в этом дворце, — бежал в Царское, бежал в Петергоф.

И вот Михаилу, пришедшему всего лишь на ночь, — предлагали так же: бежать.

Как легко подниматься в ночи по боевой тревоге — и сейчас же куда-то скакать в темноту, в строгом строе полка. Но что за мука и боль, когда при дрожащей свече тебя поднимают изгнаться из твоего родного!

Лежал Михаил на спине, как придавленный, не в силах подняться, ни даже голову, но всё ясней соображал.

И теперь ему так было видно: да, наивно же он отправился спать в Зимний дворец. Сам себя и подставил под разбой.

Спать во дворцах как бы не миновало время?

Сидел бы сейчас с Наташей в Гатчине — и горя мало. Ах, Родзянко, Родзянко, большеголовый! — заманил в западню! И мало того, что вызвал в этот хаос, — ещё и покинул без своей защиты: ведь его автомобиль пропускают везде, мог довезти до вокзала. А теперь вот здесь…?

Опасность от распущенной пьяной банды была унизительна, с ней нельзя биться как с равными и в окружении боевых друзей. Что бы ни делать, как ни поступить, — всё равно позор, оскорбленье, ущерб. Михаил не боялся скачущего немецкого гренадера — но русский пеший озлобленный солдат представился ему страшен, он почувствовал.

А что же делать? Он приподтянулся. Ехать на автомобиле через город сейчас? — вряд ли безопаснее, чем оставаться во дворце, — автомобиль и вовсе бы не имел защиты от такой банды.

Куда же? В свой штаб, на Галерную? Тоже слишком известное место.

К адъютанту, графу Воронцову? Не близко.

Так он ничего и не мог? Выхода — не было вообще?

Нежноликий, в ночной сорочке, великий князь с растерянным изумлением смотрел на старого камер-лакея.

А тот уже обо всём подумал, ах, старче. Ни ехать, ни пешком идти по городу нельзя, всё равно опасно. Но может быть, Его Императорское Высочество может припомнить какую-нибудь вполне надёжную семью совсем близко от дворца? А лучше бы всего — на Миллионной, потому что туда выход хороший.

Если б он не сказал «на Миллионной» — быть может, Михаил и не сообразил бы, долго блуждал бы мыслью. А по Миллионной только стал перебирать по домам — и вспомнил: да его же кавалергард, полковник князь Путятин, шталмейстер двора! Двенадцатый дом.

Старик обрадовался, взялся пойти телефонировать и будить секретаря Джонсона, а великого князя просил одеться, и если можно — то при свече: по внешним комнатам не следует сейчас зажигать большого света, привлекать внимание, пусть дворец как бы спит.

Свеча в чашечном подсвечнике осталась на стене, и в этом отвычном освещении большой дворцовой комнаты Михаил одевался, чуть вздрагивая.

При свече всё выглядело иначе — лепка потолка, гардины, старинная мебель — как в начале прошлого века, как при прадеде. И дышало — веком тем и веком ещё предпрошлым. Михаил и не думал, что так глубоко чувствует эту связь с династическим гнездом, — однако же вот сегодня сразу отказал войскам расположиться здесь — потому что не место это для боя. Этот дворец — сокровище воспоминаний.

Впрочем, если б войска оставались — то не пришлось бы, пожалуй, и бежать?

А, бедные, куда они поплелись ещё? Может быть, надо было их оставить?..

Возвратился камер-лакей, ободренный: телефоном он разбудил княгиню Путятину. Самого князя нет, он на фронте — но княгиня гордится оказать приём Его Императорскому Высочеству и будет бодрствовать в ожидании его прихода.

А секретарь уже встал, сейчас присоединится.

Ещё кого-нибудь разбудить?

— Ваше Императорское Высочество, — дрожал голос камер-лакея, — если вы доверите мне ваш вывод, то не надо более никого и посвящать. Ещё будет знать один сторож Эрмитажа и привратник Эрмитажного театра. Вы выйдете на Миллионную всего в нескольких домах от 12-го номера. Распорядитесь, как пройти по второму этажу, — я могу отпирать вам все пустые залы парадной стороны, но это дольше. А можно пройти через лазарет.

— Хорошо, родной, ведите через лазарет. И дальше как знаете.

Камер-лакей припал с благодарностью к руке великого князя. Он едва не рыдал — и от этого ещё удвоилась горечь в сердце Михаила: ещё раз передалось ему, что он не просто меняет место

ночлега, перебегает на несколько часов в укрытие, — но делает что-то важное, безповоротное, чего и не охватывал ум.

Старик принёс с собой другую свечу, заправленную в фонарь. А эту — погасил при уходе.

Он пошёл впереди и держал фонарь повыше, так чтоб сфера дрожащего света раздавалась шире.

Михаил шёл сбоку него и сзади шага на два.

А ещё сзади — Джонсон.

По адмиралтейской стороне третьего этажа они дошли до угловой лестницы, тут горели слабые лампочки. Спустились на второй. И пошли всей анфиладой, отданной под лазарет, окнами на площадь.

Этот лазарет открыла Александра Фёдоровна с самых первых дней войны, и с тех пор он был тут. Многие сотни раненых уже прошли через него.

Камер-лакей опустил свой фонарь и нёс у колена. Горели ночники кое-где на стенах и у столиков дежурных сестёр. Больные спали, не метался никто — не было свежих тяжёлых, давно не было крупных боёв, долечивались больные долгие. Один-два встававших, там, здесь, увидели проход молодого генерала — может быть, удивились, но не узнали. Сестры, кажется, узнали.

От прохода лазаретными залами — отпустило томительное разлучное сжатие сердца. Вот, все мы здесь вместе, русские, скованные единой войной, единой цепью забинтованных ран. Мы все — на одной стороне. А те банды — то не мы.

Залы так высоки, что при свете ночников снизу не разглядеть потолков. Много уже лет не бывало тут балов, но Михаил ещё застал молодым, помнил. Стены тогда украшались ветками тропических деревьев и цветами из царских оранжерей. Вдоль лестничных подъёмов и зеркальных стен выставлялись ряды пальм, всё это залито было сверком люстр и канделябров — и блистали многоцветные мундиры, шитые золотым и серебряным, а на женщинах диадемы и ожерелья неисчислимой стоимости. Всё открывалось всегда полонезом. И только тут, кроме Польши в единственном месте, танцевали быструю мазурку.

Всё исчезло давно — всё круженье, многолюдье, и погасли все света, — а вот и ночники остались за спинами. Из последней лазаретной комнаты старик отпер дверь, переходили закрытым мостиком в Эрмитаж. И он снова поднял фонарь, освещая.

Освещая петербургские виды — галерею, увешанную видами старого Петербурга, в золотых рамах. Старого Петербурга.

Промелькнули окна висячего сада, беззащитные зимние жасмин и сирень, занесенные снегом.

И ещё такой же переход-мостик, ещё порог расставания, перешли в Новый Эрмитаж.

И — опять перевилось и сжалось сердце роковым предчувствием. Почему бы, кажется, не вернуться через неделю при полном свете дня и, звеня шпорами, пройти уверенно?

А чувство было — прощания. И даже в полной тишине позвякивали шпоры чуть-чуть.

Теперь шли залами картин. Ни одну нельзя было на ходу и при фонаре увидеть как следует, а тем менее — вспомнить, Михаил и залы эти путал, а только виделись на стенах огромные натюрморты, то животные, то — лавки с дичью, рыбой, фруктами, овощами, — непомерное, монументальное кричащее изобилие, от которого совсем не радостно сжатой душе.

А посреди залов стояли то порфировые вазы, то порфировые торшеры.

Двумя свободными ладонями Михаил закрыл лицо, сделал умывающий жест.

С каждой новой комнатой, с каждым рядом картин, этой навешанной набитой мёртвой дичью, мёртвой рыбой, безчувственными фруктами, — заслонялась та милая домашняя покинутая часть дворца, где живал его незабвенный отец и куда теперь не возвращалась матушка.

И так показалось: а зачем это всё собирали? А зачем не жили проще?

В зале на завороте — монеты, медали, монеты, медали…

И пошли галереей, которую спутать нельзя уже ни с чем, — лоджиями Рафаэля.

И плыл впереди поднятый фонарь — не затекала рука старика — как будто нарочито показывая по стенам библейские сцены.

Михаил обернулся проверить Джонсона — и увидел грозную тень свою, плывущую по лоджиям, — как видение ещё одного предка ещё одному потомку.

Но неуклонно надо было идти дальше. Нести эту тень, в назиданье кому неизвестно.

И ещё раз они свернули — в фойе Эрмитажного театра, через длинный остеклённый переход над заснеженной Зимнею канавкой, французские окна до полу.

В окна через небо отблескивало дальним пожаром.

Верный старик остановился, обернулся:

— Ваше Императорское Высочество! Если сейчас по чёрной лестнице выйти — то будем во дворе, но с него только на набережную, и вам придётся огибать, далеко. А вот этим коридором — через казармы преображенцев, и тогда сразу выйдете на Миллионную, а там ещё дома четыре и перейти только Мошков переулок. Как велите?

Какое ж сомнение? Да он не хотел ли тем спросить, не боится ли великий князь гвардейцев-преображенцев?

— Велите мне вас сопровождать по казармам?

— Нет-нет, — тихо ответил Михаил.

Преображенцы — свои.

И одной рукой вдруг приобнял старика.

А тот зарыдал и ловил кисть поцеловать.

И это рыдание камер-лакея как прорвало последнюю плёнку сознания: что произошло?

Он — разумно перекрывался? Или — бежал? Или — ушёл из-под крова семи поколений Романовых — последним из них?

Правнук жившего здесь императора, внук убитого здесь императора — он бежал как за всех за них, унося с собою и их?

И не заметил, на каком же это пороге произошло. На каком переступе?

Беря военный шаг, пошёл последним коридором.

СОДЕРЖАНИЕ

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ФЕВРАЛЯ, четверг

Глава 1 9
В Царском Селе после смерти Распутина. — Перемены в правлении. — Одиночество царской четы. — Пора и в Ставку. — Показать властную руку! — Путевой покой.

Документы — 1 16
Обмен письмами между царём и царицей.

Глава 2 17
Уличные сцены в Петрограде.

Глава 3′ (Хлебная петля) 24
Продовольствие или общая политика? — «Власти нет!» — Меры Риттиха. — Хлебная развёрстка. — Заседание Думы 14 февраля. — Речь Риттиха отклонена. — Милюков выставляет диаграмму. — Продовольствие и банки. — Риттих отвечает на диаграмму. — Городские комитеты и «аграрии». — Стягивается петля. — Как привыкли смотреть на деревню. — И в каком она состоянии. — Тень реквизиций. — Просчёт с твердыми ценами. — С крестьянской стороны. — Шингарёв выполняет партийный долг. — Исповедь Риттиха. — Упразднить правительство! — Там, где хлеба не молотят.

Глава 4 44
Саша Ленартович снова в Петербурге. — У Гиммера. — Саша держит социалистический экзамен.

Глава 5 50
Как взорвать Европу из Швейцарии. — Как расколоть швейцарских социалистов. — Платтен в ловушке. — Высшая точка кампании Ленина и спад. — Все насквозь оппортунисты.

Глава 6 57
Козьма Гвоздев в тюрьме. — Как хотел вести Рабочую группу и как получилось. — Махаевщина, зубатовщина. — «Ах, во том ли стружке».

Глава 7′ (К вечеру 23 февраля) 63
Неожиданность событий этого дня в Петрограде. — Их ход. — Вечернее совещание в градоначальстве.

Глава 8 66
Ольда. — Шапка для боярыни. — Сам открыл?.. — Сквозь ночь вопросы и ответы.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЕ ФЕВРАЛЯ, пятница

Глава 9 70
Простак Воротынцев. — Как на вечной войне. — Ничего, всё в мире исправимо.

Глава 10 73
Фрагменты. Утро в Петрограде.

Глава 11 82
Вероня и Фанечка на бегу.

Глава 12 84
Тимофей Кирпичников. — Волынцы на краю Невского. — Пропустили по-хорошему.

Глава 13 87
Уличные сцены в Петрограде.

Глава 14 91
Корь у царских детей. — Последние предсказания Друга. — Подробности дня убийства. — Великокняжеская семья наседает. — Слухи о безпорядках. — В церкви Знаменья.

Глава 15 97
Ликоня в жизни Саши. — Дневная репетиция «Маскарада». — Весело на улице! — Волшебство революций. — Диалектика военного мундира.

Глава 16 102
Весенняя тяга Ковынёва на Дон. — Добродушие на петербургских улицах. — Федина разбережа.

Глава 17 106
Опрокинутый трамвай. — Двоение чувств Петра Акимыча и Нуси. — Грандиозная провокация?

Глава 18 109
Поездка Воротынцева в Петроград. — А не так, как рисовалось. — Заныло. — У огня.

Глава 19 114
Как оправдались все предсказания Председателя. — Родзянко спасает столицу от голода.

Глава 20 117
Одиночество царя в Ставке. — Над письмами.

Глава 21′ (К вечеру 24 февраля) 121

Глава 22 124
Февральские споры социал-демократов о демонстрациях. — И неожиданный прорыв! — Большевики не знают, что предпринять. — Шляпников ночью на Невском.

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ФЕВРАЛЯ, суббота

Глава 23 130
Воротынцев с Ольдой возвращаются в Петроград.

Глава 24 134
Фрагменты утра в Петрограде.

Глава 25 138
К Ольде на Песочную. — Алина знает! — Расставание.

Глава 26′ (Дума кончается) 144
Левые в Думе. — Поношения правительства. — Речи Керенского. — Декабрьские съезды. — Думские кадеты в заминке. — Банки. — Законопроект о волостном земстве. — Положение правых в Думе и перед троном. — Депутаты-крестьяне. — Искусство Председателя Думы. — Речь Милюкова 15 февраля. — Снова Блок в заминке. — Крайняя речь Керенского. — И ещё на раскачку. — Судорожная последняя неделя. — Прения 24 февраля. — Объяснения Риттиха. — Прения 25 февраля. — Эта Дума больше никогда не соберётся.

Глава 27 161
Волынцы на Знаменской площади. — Воронцов-Вельяминов.

Глава 28 163
Сегодняшний быт государыни. — Как незаменим Протопопов. — Не смогла направить Государя к действиям. — Ведёт приём. — Недавняя поездка в Новгород.

Глава 29 168
Фрагменты. На петроградских улицах. — Убийство ротмистра Крылова.

Глава 30 173
Ликоня. Встреча в сквере.

Глава 31 174
Лёгкости и трудности министра Протопопова. — Земгор на казённые средства. — Передать бы продовольствие губернаторам. — Другие проекты. — Нанести смертельный удар революции. — Неудача с Курловым. — Утро министра. — Приём Спиридовича.

Глава 32 181
Горечь напоминаний, столыпинский эпизод. — Задержка в карьере Спиридовича. — А на кого в России опираться власти? — Ялтинские дела.

Глава 33 186
На квартире Соколова. — Программа Гиммера. — Сбор социалистов. — Керенский провидит. — А думские кварталы тихи.

Глава 34 192
Федор Ковынёв идёт по Петрограду. — Телефонный слух. — «Рано».

Глава 35 194
Вера всё видит. — Состояние Георгия. — На вокзал и обратно. На Невском. — Георгий всё хуже. — Вечер дома. — Наставления няни.

Глава 36 201
День царя в Могилёве. — Над письмом Аликс. — О поведении посла Бьюкенена. — Сведения о петроградских волнениях, урожай телеграмм.

Глава 37 204
Ликоне принесли записку.

Глава 38 206
Разгорячённое заседание городской думы.

Глава 39 210
Одинокий вечер Гучкова. — Маша Зилоти сегодня и в юности. — Память Комиссаржевской. — Телефонная тревога: опять душат.

Глава 40 216
На Охте. — Дразнят казаков.

Глава 41 217
Фрагменты петроградского вечера.

Глава 42 221
Ночное заседание Совета министров у князя Голицына. — Министры-новички и министры-ветераны. — Кто б объяснил события? И что предпринимать? — Попробовать сговориться с Думой.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ФЕВРАЛЯ, воскресенье

Глава 43 233
Утренние фрагменты.

Глава 44 235
Военно-бюджетные дела Шингарёва. — Приход Струве. Тревога. — По Каменноостровскому. — Эволюция Струве. — В чём ошибались мы, в чём они. — Трудности свободы. — Зряче ли мы любим? — Троицкий мост.

Глава 45 246
Жизнь Винавера. — Растянувшиеся похороны 1-й Думы. — Ответ Шингарёву и Струве.

Глава 46 251
Андрусов в Павловском полку. — Отчего началась стрельба на Невском.

Глава 47 254
В семье Кривошеиных. — Гика вырвался на улицы. — Стрельба. — В студенческой компании. — Ленартович.

Глава 48 260
И снова Кирпичникову на Знаменскую площадь. — Проступок ефрейтора Ильина. — Штабс-капитан Лашкевич учит разгонять. — Стрельба по Гончарной.

Глава 49 264
Шляпников с сормовичами и по городу. — Вот и кончено?

Глава 50 266
Сусанна и Алина.

Глава 51 270
Заседание бюро Прогрессивного блока. — Расчёты. — А кто же войдёт в правительство?

Глава 52 274
Екатерининский зал. — Маклаков вернулся с переговоров. — Отдать власть просвещённым бюрократам?

Глава 53 279
Гиммер у Горького. — Неясные сведения отовсюду.

Глава 54 281
Больные в царском дворце. — Поездка царицы на могилу Распутина. — Её молитва и предчувствия.

Глава 55 284
Служба генерала Хабалова. — Положение в штабе Петроградского округа. — Гул котла. — Сегодняшние уличные события. — Донесения о бунте в Павловском батальоне. — Что с ними делать?

Глава 56′ (Бунт павловцев) 288
Как он пыхнул. — Опохмеление.

Глава 57 293
Телефонные нервности Гиммера.

Глава 58 294
Сердечный припадок у Государя в церкви. — Опоздавшая телеграмма Хабалова. — Ставочный распорядок. — Новые телеграммы. Затревожился. — Распоряжение прекратить безпорядки.

Глава 59 299
История усилий Родзянки. — Набатная телеграмма.

Глава 60 304
Революционный путь Васи Каюрова. — Выборгский райком на огородах.

Глава 61 306
Карьера генерала Алексеева. — Его особенности и привычки. — Отношения с Государем. — Веянья общества. — Доиски общественных деятелей. — Болезнь. — Возврат в Ставку.

Глава 62 313
Фрагменты. Петроград к вечеру.

Глава 63 315
Вечеринка у Ликони.

Глава 64 316
Совет министров решился на перерыв Думы. — Протопопов в градоначальстве. — Его телеграмма в Ставку. — Ночные тревоги в градоначальстве.

Глава 65 321
Состояние лейб-гвардии Московского запасного батальона. — Приказы на завтра.

Глава 66 323
Заговор Гучкова всё не состаивается. — Вечерний возврат от Коковцова. — Безсонница. Проигранная женитьба.

Глава 67 335
Волынцы вернулись в казармы. — Кирпичникову завтра опять. — Сговор унтеров. — Когда всё отрезано.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ФЕВРАЛЯ, понедельник

Глава 68 341
Волынцы просыпаются. — Выдали патроны!

Глава 69 343
Сон Козьмы.

Глава 70 344
Кирпичников обрекает себя и роту. — Приход офицеров. — Бунт. — Убийство Лашкевича.

Глава 71 348
Воротынцев возвращается домой. — Ножницы.

Глава 72 351
В канцелярии Волынского батальона.

Глава 73 354
Пробуждение Протопопова. — Предсказания астролога. — Роковая личность. — Ссора с Родзянкой. — Звонок градоначальника.

Глава 74 358
Волынцы вырвались на улицу. — К преображенцам.

Глава 75 362
Как Ваня Редченков попал в гвардию. — Бунт застиг.

Глава 76 364
Утро генерала Хабалова. — Вызов полковника Кутепова.

Глава 77 366
Солдатский бунт разливается по Кирочной.

Глава 78 368
Как Владимир Станкевич стал сапёрным инженером. — Увлечь сапёрный батальон. — Растерянность на Кирочной.

Глава 79 372
Полковник Кутепов в собрании Преображенского полка. — В штабе Округа. — Его движение с отрядом.

Глава 80 377
Фёдор Ковынёв по улицам.

Глава 81 381
Нехватка сил в Московском батальоне.

Глава 82 382
Покатилось само неразборно. — Взяли тюрьму. — Взяли Орудийный завод. — По Литейному мосту.

Глава 83 386
Прорыв заставы на Литейном мосту.

Глава 84 389
Думское утро. — Бюро Блока. — Активность Керенского.

Глава 85 394
В семье Кривошеиных. — Приход Риттиха.

Глава 86 397
Капитан Нелидов и его унтеры. — Прорыв расширяется.

Глава 87 399
Московцев осаждают.

Глава 88 402
Кутепов закрепляется на Литейном. — Успокоение солдат на Басковой.

Глава 89 407
Бегство Протопопова из министерства.

Глава 90 411
Лили Ден едет в Царское Село. — Утро царицы. — Адам Замойский. .....

Глава 91 416
Команда Шабунина на Лесном проспекте. — Фермопилы четырёх прапорщиков.

Глава 92 420
Костенение Хабалова. — Звонки и визиты в градоначальство.

Глава 93 424
Заботы Васи Каюрова.

Глава 94 426
Утро Государя. — Телеграммы, телеграммы. — Загородная прогулка.

Глава 95 432
Воротынцев в пустой квартире. — Письмо Алины.

Глава 96.....437
Душевные страдания Родзянки. — Его вторая телеграмма царю. — Вызов Михаила Александровича. — Совет думских старейшин. — К Думе толпа. — Керенский, Чхеидзе, Скобелев приветствуют со ступенек.

Глава 97 445
Вместо заседания Совета министров, на Моховой.

Глава 98 448
Бегая по Васильевскому острову.

Глава 99 450
Штабс-капитан Сергей Некрасов. — Оборона Московского батальона.

Глава 100 454
Взятие Крестов. — Кирпичников остался один.

Глава 101 457
Толпа у самокатного батальона. — Кортик в спину.

Глава 102 459
У Хабалова ни патронов, ни снарядов. — Кого собрать на Дворцовой площади. — Назначение Занкевича. — Великий князь Кирилл в градоначальстве.

Глава 103 462
Частное совещание членов Думы в Полуциркульном зале. — Во дворец врываются! — Керенский ставит и снимает караулы.

Глава 104 470
Настроение Преображенских офицеров. — Тени декабризма. — Выход на Дворцовую площадь. — Стояние. — Павловский полк!

Глава 105 475
Настроение павловцев. — Капитан Чистяков. — Павловский марш.

Глава 106 478
Генерал Занкевич принимает войска на Дворцовой.

Глава 107 480
Государь после прогулки. Телеграммы. — Совет Алексеева. — Шапка Мономаха. — Конница из-под Новгорода.

Глава 108 485
Подкрепление Кутепову. — Отбивает автомобильную атаку.

Глава 109 487
В Публичной библиотеке. — Телефонный звонок Дмитриева. — Вера на Невском.

Глава 110 491
День Ободовского.

Глава 111 494
Фрагменты петроградского дня.

Глава 112 499
Пешехонов и гренадеры.

Глава 113 502
Создан Временный Комитет Государственной Думы. — Соображения Председателя. — Родзянко с крыльца Таврического оглашает свои телеграммы. — Привели Щегловитова. — Родзянко безсилен.

Глава 114 508
Совет министров мнётся в Мариинском дворце. — Исключают Протопопова. — А что делать дальше? — Телеграмма Государю с коллективной отставкой и просьбой о диктаторе.

Глава 115 514
Кирпичников возвращается. — Стычка на Литейном проспекте. — Растекаются дальше.

Глава 116 516
Конец кутеповского отряда.

Глава 117 518
Кривошеин и Риттих.

Глава 118 523
День Гиммера.

Глава 119 525
Вероня с Фаней на улицах. — Упоение торжества и езды.

Глава 120 532
Социалисты стягиваются в Думу. — Зарождение Совета Рабочих Депутатов.

Глава 121 537
Андрусов: всё — как спектакль. — Павловцы бегут из подвалов Зимнего.

Глава 122 541
У самокатчиков. Оборона полковника Балкашина.

Глава 123 543
Сусанна поджидает звонка Воротынцева. — Что делается в городской думе.

Глава 124 546
Юные гардемарины.

Глава 125 547
Ленартович работает на революцию.

Глава 126 551
Воротынцев ужинает у Калисы.

Глава 127 555
Гиммер со Шляпниковым на бегу в Таврический.

Глава 128 558
Вечерний Таврический. — Привод «врагов народа».

Глава 129 561
Охта. Расправа над полицейскими.

Глава 130 563
В доме Мусина-Пушкина. Прощание. — Кутепов не ищет скрыться.

Глава 131 566
Морские декабристы.

Глава 132 568
Каюров сочиняет большевицкий манифест.

Глава 133 571
Штаб Хабалова к вечеру. — Переход в Адмиралтейство.

Глава 134 575
Капитан Нелидов остаётся один. — Помощь рабочего.

Глава 135 577
Грузовики прорвались на Петербургскую сторону. — Пешехонов идёт в Таврический.

Глава 136 581
Утро в квартире Керенских. — День Ольги Львовны. — Новый бал в Екатерининском зале. — Герман Лопатин.

Глава 137 586
Послать войска на Петроград. — Назначение Николая Иудовича. — За императорским обедом.

Глава 138 591
Гиммер в Таврическом. Теория или техника революции? — Отводит Ленартовича в штаб обороны.

Глава 139 597
Поездка Родзянко в Мариинский дворец. — Переговоры с Михаилом.

Глава 140 604
Кирпичников возвращается в казарму.

Глава 141 606
В казарме московцев. Некрасов и Греве отдают шашки.

Глава 142 609
Генерал Алексеев. Назначение полков на Петроград.

Глава 143 611
Генерал Иванов ошеломлён назначением.

Глава 144 614
Ленартович в штабе обороны.

Глава 145 620
Шляпников на первом заседании Совета.

Глава 146 624
Вахов в Совете.

Глава 147 628
Милюков определяет шаги к власти. — Уламывание Родзянки.

Глава 148 633
Смятение государыни. — Совет Родзянки.

Глава 149 636
Михаил телеграфирует Государю.

Глава 150 642
Государь в круговой осаде. — Ехать в Царское Село немедленно!

Глава 151 649
У Крыжановского. — Протопопов спрятался на ночь.

Глава 152 653
Взятие Мариинского дворца.

Глава 153 659
Фрагменты петроградского вечера.

Глава 154 664
Хабаловский отряд в Адмиралтействе.

Глава 155 668
Преображенские офицеры приняли сторону Думы.

Глава 156 671
В Думском Комитете уламывают Родзянку взять власть. — Звонок преображенцев.

Глава 157 675
Пешехонов в Таврическом. — Муки литературной комиссии Совета.

Глава 158 679
Хабаловский отряд переходит в Зимний дворец.

Глава 159 680
Временный Комитет Думы начинает жить. — Назначение Энгельгардта. — Дерзости в штабе обороны. — Сообщение Беляева о восьми полках.

Глава 160 686
Масловский в штабе восстания.

Глава 161 691
Щегловитов под арестом.

Глава 162 696
Последние безплодные уговоры Алексеева. — Катастрофические телеграммы из Петрограда.

Глава 163 699
Хабаловский отряд в Зимнем дворце. — Отказ в приюте. — Переговоры с Царским Селом. — Звонок Беляева Родзянке. — Приехал брат царя!

Глава 164 703
Решение Михаила Александровича. — Отряд уходит.

Глава 165 706
Гиммер на окончании Совета. — Не все газеты разрешать.

Глава 166 710
Думцы ночуют в Таврическом. — Шульгин и Маклаков в безсоннице.

Глава 167 714
Генерал Иванов в царском вагоне.

Глава 168 716
Исполнительный Комитет под куполом Белого зала.

Глава 169 719
Разгром «Астории».

Глава 170 722
Уход Михаила из Зимнего.

Литературно-художественное издание

Александр Исаевич Солженицын

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ
ТОМ 11
КРАСНОЕ КОЛЕСО
Повествованье в отмеренных сроках

Узел III. Март Семнадцатого
КНИГА 1

Редактор
Наталья Рагозина

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Корректор
Ирина Машковская

Верстка
Валерий Калныньш

Подписано в печать 29.10.2007.
Формат 60x90/16
Бумага офсетная. Печать офсетная
Тираж 5000 экз.

«Время»
115326 Москва, ул. Пятницкая, 25
Телефон (495) 951 5488
http://books.vremya.ru
e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано на ОАО «ИПП
“Уральский рабочий”»
620019, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
http://www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru

Солженицын А. И.

С60 Собрание сочинений в 30 томах. Т. 11. Красное Колесо: Повествованье в отмеренных сроках. — Узел III: Март Семнадцатого. Книга 1. — М.: Время, 2008. — 744 с.

ISBN 978-5-9691-0273-6

В первой книге «Марта Семнадцатого» описаны начальные дни Февральской революции в Петрограде: последние прения в Государственной Думе; разгон уличных демонстраций, стрельба; бунт запасных батальонов; растерянность Совета министров; Ленин в Цюрихе; Государь в Могилёве. Первые аресты чиновных лиц в Петрограде.

ISBN 978-5-9691-0273-6

9 785969 102736